

Валентина
ПОЛУХИНА



ИОСИФ
БРОДСКИЙ

*глазами
современников*

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

журнал ЗВЕЗДА



Валентина Полухина — профессор Кильского университета (Англия), специалист в области современной русской поэзии, автор ряда работ о творчестве Иосифа Бродского «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (CUP, 1999), «Brodsky Through the Eyes of his Contemporaries» (London: Macmilan, 1992) (расширенные русские версии: «Бродский глазами современников» (СПб.: Журнал «Звезда», 1997) и «Словарь тропов Бродского» (совместно с Юлей Пярли; Тарту, 1995)). Редактор (совместно с Львом Лосевым) сборников статей: «Brodsky's Poetics and Aesthetics» (London: Macmilan, 1999) (русская версия: «Как работает стихотворение Бродского» (М.: НЛО, 2002)). В качестве гостевого редактора журнала «Russian Literature» (Амстердам) подготовила два специальных номера, посвященных Бродскому: «Brodsky Genres» (1995), «Brodsky as a Critic» (2000). Составитель «Большой книги интервью Бродского» (М.: Захаров, 2000, 3-е изд. — 2005), двуязычных сборников стихов Ольги Седаковой (1994), Олега Прокофьева (1995), Д. А. Пирогова (1995), Евгения Рейна (2001). Составитель и редактор (совместно с Дэниелом Уайсбортом) «Anthology of Contemporary Russian Women Poetry» (2002, 2-е изд. — 2005).

Валентина
ПОЛУХИНА

ИОСИФ
БРОДСКИЙ

*глазами
современников*

*Книга вторая
(1996–2005)*

Издательство журнала «ЗВЕЗДА»
Санкт-Петербург
2006

ББК 84.7США
П 53

*Подготовка этой книги осуществлена
при финансовой поддержке Британской Академии наук*

*Редакция журнала «Звезда»
приносит искреннюю благодарность
за финансовую поддержку издания
Акционерной Финансовой Корпорации «Система»
Филиалу «Санкт-Петербургский»
ОАО «Альфа-Банк»*

Портрет Иосифа Бродского работы Роберта Моргана

*Редактор
А. А. Пурин*

*Художник
В. А. Гусаков*

ISBN 5-7439-0105-8

© Валентина Полухина, 2006
© Я. Гордин, предисловие. 2006
© Переводчики, 2006
© В. А. Гусаков, худож. оформление, 2006
© Журнал «Звезда», 2006

Каким его видели

В 1997 году в издательстве журнала «Звезда» вышел первый сборник под названием «Бродский глазами современников».

В рецензии на английское издание сборника Петр Вайль писал: «Это отнюдь не очередной венок на свежую еще могилу, скорее — свидетельство удивительной жизнестойкости творческой экспансии Бродского... Интервью, взятые Валентиной Полухиной, вводят фигуру Бродского в общий контекст отечественной поэзии второй половины века. Поэт, представлявшийся при жизни либо мраморным монументом, либо неисчерпаемой кладовой версификационных находок, либо объектом идеологических спекуляций и личных амбиций, превращается в живого участника литературного процесса».

Надо иметь в виду, что Валентина Полухина брала интервью, составившие первую книгу, еще при жизни Бродского. И, соответственно, вполне понятная корректность заставляла участников разговора сосредоточиваться на чисто литературной стороне дела. Особенность книги состояла еще и в том, что интервью были взяты исключительно у поэтов.

Сборник сыграл значительную роль — Петр Вайль совершенно прав — в восприятии поэзии Бродского русской аудиторией. Впервые с разным уровнем профессионализма, с точки зрения совершенно разных жизненных позиций, с существенно различной человеческой окраской, русскому читателю, недавно выигравшему из малоподвижных вод советского литературного бытия, было представлено то, что Чеслав Милош, друг Бродского и тоже Нобелевский лауреат, назвал «гигантским зданием странной архитектуры».

Оказалось, что с творчеством Бродского связано множество трудноразрешимых, непривычных для советских и постсоветских исследователей и чрезвычайно увлекательных для читателей, проблем.

Нет сомнения, что выход в 1997 году сборника интервью послужил мощным допингом для тех, кто искренне пытался разгадать «загадку Бродского», секрет его мощного влияния и на читательское сознание и на творческое поведение множества поэтов.

Бродский умер.

За время, прошедшее с момента формирования книги (автор этого предисловия давал интервью в 1989 году) и выхода ее английского варианта (1992), ситуация принципиально изменилась.

Вышло множество исследований, посвященных его творчеству. Вышли «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова — обширный и многомерный взгляд самого Бродского на свою жизнь. Разумеется, структурированный Волковым, но не теряющий от этого своей ценности.

Это, однако, тот вариант биографии поэта, который представлялся ему самому эталонным. Но при всей своей важности он не может по особенностям общественного сознания и характера читательского интереса считаться исчерпывающим.

Если в конце 1980-х годов стояла проблема анализа и осмысления огромного комплекса пришедших к русскому читателю текстов Бродского, то теперь встала проблема адекватного реальности восприятия его личности и судьбы. Хорошо это или плохо, но без этого глубокий читательский интерес

не может быть удовлетворен, а представление о творчестве оказывается неполным.

Сам Бродский исповедовал другую точку зрения. Он считал, что его стихов, эссеистики и интервью вполне достаточно. Его готовность давать многочисленные и подробные интервью — в том числе и автобиографического характера, — вызвана была отнюдь не мелким тщеславием, которым он не страдал, но стремлением удовлетворить возможное любопытство и нейтрализовать будущих биографов. Как известно, он решительно возражал против написания его биографий и в предсмертном письме обращался к друзьям с просьбой не сотрудничать с возможными жизнеописателями и самим не заниматься мемуаристикой. Пожелание, конечно же, утопическое, хотя мотивы его понятны. Он смертельно боялся вульгарного и бесцеремонного копания в его личной жизни. И, как мы убедились, боялся не зря...

Вторая книга «Иосиф Бродский глазами современников» — корректная попытка заполнить этот драматический пробел, не нарушая впрямую воли поэта. Интервью построены таким образом, что на первом плане оказываются личность Бродского и жизненные обстоятельства, связывавшие его с рассказчиком. Валентина Полухина проделала огромную работу, опросив десятки людей из России, США, Франции, Польши, Англии, Италии, Швеции, людей, знавших Бродского в разные периоды его жизни с разной степенью близости. В результате образовалась гигантская фреска.

Одно из безусловных достоинств книги в ее многообразии — тут личные друзья Бродского, иногда не имеющие профессионального отношения к литературе, его товарищи-поэты, Нобелевские лауреаты в том числе, его переводчики, его редакторы и издатели...

Тема «запрета на биографию» возникает в интервью достаточно часто. Надо, однако, понимать, что никакого юридического запрета быть не может. Наследники и душеприказчики Бродского, обладающие всеми правами на его литературное наследие, не могут запретить кому угодно писать воспоминания, научную или популярную биографию поэта.

Своей просьбой Бродский поставил в нелегкое положение тех, кто и в самом деле является его друзьями, но отнюдь не связал руки разного рода фантазерам, а иногда и клеветникам.

Разумеется, рано или поздно неизбежно появление фундаментальной научной биографии Бродского. Это может произойти после выхода академического собрания его сочинений, о котором уже идет речь. Но и это собрание, и эта биография будут неполными, поскольку в начале девяностых годов Бродский наложил запрет на полвека на все личные материалы — письма, дневники, документы, — хранящиеся в Отделе рукописей Национальной Российской библиотеки (С.-Петербург).

Предлагаемая читателю книга — личность и судьба Бродского глазами десятков хорошо знавших его людей — в некотором роде призвана заменить отсутствующую серьезную биографию и хотя бы отчасти нейтрализовать всякого рода безответственные писания.

Многое в предлагаемых интервью неизбежно субъективно. Многое будет нуждаться в процессе исследований в корректирующем комментарии. Но мы уверены, что и в таком виде книга делает благое дело, давая широкому читателю представление об одном из крупнейших людей мировой культуры второй половины XX века и в то же время воссоздавая тот жизненный контекст, в котором формировался, жил и умер Пятый нобелевский лауреат русской литературы.

Я. Гордин

I

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ, 28 МАЯ 1996, ЛОНДОН

— *Это правда, что 22 октября 1987 года вы сидели с Иосифом в Хемстеде в китайском ресторане за ланчем, когда пришло сообщение о Нобелевской премии? Кто именно принес вам туда эту новость? Какова была реакция Иосифа? Не помните ли вы, что он сказал?*

— Да, мы были в этот момент вместе. Я повел его в китайский ресторан. Теперь он уже закрылся. Я вам покажу место, где он был. Захудалый был ресторанчик, но кормили неплохо, и я туда заходил. Когда я позвал Иосифа на ланч, я думаю, он принял приглашение по двум причинам: во-первых, у Рене Брендель² не принято было пить, во всяком случае не столько, сколько ему хотелось бы, а во-вторых, конечно, ему надо было как-то убить время в ожидании новостей. У меня-то об этом не было ни малейшего представления. Я просто-напросто не помнил, что это был как раз момент присуждения Нобелевских премий. Я не люблю литературу в ее общественных проявлениях, литература как индустрия мне противна. Так что пришла моя жена Джейн, мы вдвоем сели за столик и принялись болтать о том о сем, разговор о пустяках в духе Иосифа — о девушках, о жизни, обо всем, и тут Рене Брендель появилась в дверях. Она крупная немка, высокая, все еще говорит с легким немецким акцентом, весь авторитет и известность ее мужа как бы перешли к ней, и она говорит: «Иосиф, тебе нужно идти домой». А он говорит: «За-

Джон ле Карре (род. в 1931 г.) — известный автор романов из быта разведок и разведчиков.

¹ Бывшая жена пианиста Алфреда Бренделя. Бродский посвятил им стихотворение «Муха».

чем?» К этому времени он уже выпил два или три больших виски¹. А она говорит: «Тебе присудили премию». Он говорит: «Какую премию?» А она говорит: «Нобелевскую премию по литературе». Я сказал: «Официант! Бутылку шампанского!» Так что она присела и согласилась на бутылку шампанского. Я у нее спрашиваю: «Вы откуда узнали?» Она говорит: «Шведское национальное телевидение подстерегает Иосифа возле нашего дома». Оставаясь в этот момент единственным трезвомыслящим человеком, я спрашиваю: «Кто вам сказал, почему вы уверены?» Она говорит: «Все шведы говорят». Я говорю: «Ну, знаете, кандидатов-то три или четыре, так что шведы, может, у каждой двери караулят, нам надо поточнее разузнать, прежде чем мы сможем спокойно выпить шампанского». А тогда как раз издатель Иосифа, Роджер Страус, был в Лондоне, так что Джейн позвонила ему в гостиницу, и он подтвердил, что да, пришло сообщение из Стокгольма о том, что премия присуждена Иосифу. Итак, мы выпили шампанского. Иосиф шампанское не любил, согласился символически, ему хотелось еще виски, но Рене сказала, что ему нужно идти домой, и мы пошли.

— *Было видно, что он обрадовался?*

— Погодите, погодите. Выглядел он совершенно несчастным. Так что я сказал ему: «Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни». Он пробормотал: «Ага, ага...» Когда мы вышли на улицу, он порусски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал: «Итак, начинается год трепотни»². Это было великолепно. И потом он отправился приниматься за свои дела. Конечно же, была у Иосифа и другая сторона — он был выдающимся профессионалом. Умел оказать давление на кого надо и, я уверен, делал это.

— *А вы знаете, что его номинировали на Нобелевскую премию еще в 1980 году?*

¹ Обычная порция виски в баре — две унции (около 60 г); «большое», или «двойное» виски соответственно в два раза больше.

² «Now for a year of being glib» — буквально: «Итак, за год, когда надо быть поверхностно-болтливым» (при этом используется устойчивая литературная формула «a year of being glib»).

— Нет.

— *Я как раз была в США, работала над своей первой книгой о поэзии Иосифа, и однажды в апреле или в мае он заметил мимоходом: «В воздухе запахло нобелевкой». Но, как вы знаете, в том году Нобелевскую премию дали Чеславу Милошу, и Иосиф, который, как вы говорите, был исключительно профессионален, очень радовался за Милоша.*

— Так что, он на самом деле хотел?

— *О да, хотел.*

— Я спрашиваю, хотел ли он, потому что выглядел он очень несчастным. Хотя, конечно, есть такая еврейская молитва: «Да не сбудется то, о чем я молю».

— *Я полагаю, вы встретились с Иосифом тогда не в первый раз. А где и когда вы с ним познакомились?*

— Я познакомился с ним в доме Рене Брендель, но он у них тогда не останавливался, а снимал что-то (или кто-то пустил его пожить) под горкой в Саут Энд Грин, а после ужина у Рене (мы сильно выпили, но были в очень хорошем настроении) мы дошли до его дома и пили там уже вдвоем. У него там была впечатляющая коллекция виски. Это было еще до того, как я побывал в России. После этого мы встречались еще пять-шесть раз. Ни о чем существенном мы не говорили. Я чувствовал, что ему приятно со мной, а мне было приятно с ним.

— *Не помните ли вы каких-то занятых разговоров с Иосифом?*

— Да, однажды я рассказал ему, как я не интервьюировал Светлану Алилуеву. Дело в том, что, когда она попала к американцам и они прятали ее в Америке, меня и Трумэна Капота должны были на самолете доставить в ее тайное убежище, где мы могли бы задать ей наши вопросы. Все это дело строго контролировалось ЦРУ, для них это был большой пропагандистский козырь. До того она жила в Индии, и никто не знал, что ее перевезли в Америку. Интервью должно было прежде всего появиться здесь, в Англии, в «Обсервере», затем в «Пари-матч», который тогда еще был наполовину приличным изданием, и в «Шпигеле», то есть всемирный размах... Грандиозный заход с пропагандистского козыря. Меня попросили показать заранее, для примера, пару вопросов из тех, что я собирался задать. Я понимал, что ничего не знаю о России, и

никто из нас в те времена ничего не знал о России, но я решил, что задам два вопроса, которые бы задал любому беглецу (и я задал их на этот раз Иосифу): «Что заставило вас бежать именно в ту страну, в которой вы теперь находитесь?» и «Какие перемены в стране, которую вы покинули, заставили бы вас туда вернуться?» Пришлось Иосифу попотеть.

— *На второй вопрос он ответил?*

— На самом деле нет. Знаете, как косноязычен он иногда бывал.

— *Да, потому что, несмотря на репутацию холодного рационалиста, он был человек весьма эмоциональный. Даже по-русски он мог быть порой косноязычен, поскольку старался любой ценой избегать клише, о чем бы ни шла речь. Было видно, как он старается найти оригинальный способ для выражения своей мысли. Читал ли он что-то из ваших романов?*

— Не имею ни малейшего понятия. Думаю, что нет.

— *Я думаю, что да, потому что в эссе «Коллекционный экземпляр» имеется прямая аллюзия на одну из ваших вещей: «Что было намного холоднее — это точно. По крайней мере для шпиона, который явился с жары». А вы до того, как познакомились с ним, читали что-нибудь из его стихов или прозы?*

— Я читал большинство эссе, которые вошли в книгу «Меньше самого себя». Мне особенно понравились про Ахматову и про Ленинград.

— *Как вы думаете, какие-то из этих эссе могли быть написаны англичанином или есть в них нечто, выдающее русскость автора?*

— Есть, и это напоминает английскую прозу Конрада. Мне никогда не удавалось совместить Бродского, которого я знал, чей английский язык мне казался косноязычным, и Бродского, который вот написал же по-английски то, что напечатано на этой странице. Я всегда сильно подозревал, что имеет место сложный процесс перевода. Он пишет с утонченностью и с иностранным акцентом, что в грамматическом и синтаксическом отношении получается прекрасно и может быть сравнимо только с Конрадом. Если, читая Конрада, помнить о немецком языке, который, я полагаю, оказал на Конрада самое большое влияние из всех языков, то начинаешь как бы слышать немецкий акцент, и все равно это будет прекрасно. И Конрад ближе, чем кто бы то ни было к великим, разверну-

тым, многоэтажным абзацам Томаса Манна. То же самое чувствуешь, когда читаешь английские эссе Иосифа. Я не могу судить о его стихах. Читал я их много. Но стихи в переводе — это совсем другая история.

— *Вы верите в то, что только второстепенные поэты могут выглядеть в переводе лучше, чем в оригинале?*

— Да, в хорошем переводе плохой поэт может выглядеть хорошо, и наоборот. Я не слишком доверяю собственным впечатлениям от его стихов. Я отношусь к ним с уважением, но, когда я это читаю, дух не захватывает. А вот проза замечательная, и мне всегда хотелось у него спросить (только вот мы никогда не говорили ни о чем серьезном), как это происходит. Мне кажется, что в этом отношении он всегда был скрытен. А что вы знаете о его творческом процессе? Ведь он же не владел английским в такой степени.

— *Его письменный английский намного, намного превосходит разговорный. В интервью, которое мне дал Дерек Уолкотт, переводивший стихотворение Иосифа «Письма династии Минь», сам Уолкотт сказал: «Иосиф слишком щедро приписывает мне этот перевод, это его собственный перевод, я языка не знаю. Мы просто сели рядом, и Иосиф объяснял мне по-английски строчку за строчкой, делал таким образом подстрочник, а потом я предлагал поэтический перевод, который он всякий раз отвергал как неподходящий, порой Иосиф стонал от злости и отчаяния и в конце концов сам создавал то, чего требовал от меня»¹.*

— Как интересно!

— *Давайте поговорим о двух эссе — «Кембриджское образование» и «Коллекционный экземпляр».*

— Я читал оба, и мне кажется, что это единственная тема, которой Иосиф не вполне овладел. У него вообще затруднения с Западом, а тут трудность высшего порядка. Он не понял постколониальной анархии, которая царила в этом поколении. Все дело с Блантом² и его группой было в том, что их

¹ Valentina Polukhina. Brodsky through the Eyes of his Contemporaries. NY: St. Martin's Press, 1992. P. 316.

² Речь идет об Энтони Бланте, крупнейшем английском искусствоведе, который в конце жизни был разоблачен как многолетний советский шпион.

выращивали для власти, и они были зачарованы властью как таковой, возможностями применения власти. Настолько, что если тебе самому власть недоступна, начинаешь задумываться о занятных альтернативах.

— *Похоже, что он винит кембриджскую систему образования в том, что оттуда вышли трое из четверки самых знаменитых советских шпионов, когда пишет, что «при отсутствии религиозного воспитания единственным источником нравственного образования становится для нас история». Вы согласны с этой критикой Кембриджа?*

— Он не сумел достаточно основательно разобраться в этом. Все эти люди были связаны круговой порукой. В собственных глазах они были отчуждены от общества, связаны одним заговором, сексуальным заговором. Самой своей природой они были отчуждены от ортодоксальной общественной структуры. Как замечательно было мечтать о свободной любви, единственном виде любви, им доступном; о далеком эдеме, с которым познакомиться поближе они не хотели. Так что вина тут романтизма, а не Кембриджа.

— *Почему же, вы полагаете, столь многие западные интеллектуалы, игравшие видную роль в европейской и американской культурной жизни, становились советскими агентами или охотно помогали Советам, когда возникала в них нужда? В большинстве случаев это не было связано с гомосексуализмом.*

— Самая первая книга о Филби, которая вышла у нас (она, между прочим, нарушила все законы о государственных секретах, какие только существовали), была подготовлена группой журналистов из «Санди Таймс». Я написал к ней предисловие, которое на днях перечитал. Оно немножко недотянуто, но все же там есть здоровое зерно. Я полагал (и полагаю), что дело было в первую очередь в секретности, которой окружил себя Советский Союз, при этом самой глубокой тайной Советов было то, насколько примитивна, малоэффективна и тиранична была их государственная система. Для моего поколения так и осталось загадкой, как же открытые процессы (над «врагами народа») не открыли глаза людям вроде Филби. Потом, когда становишься старше, начинаешь понимать, что они были влюблены в идею перестройки общества, в очищение наций, они рассматривали это как великую поступь истории, великие общественные перемены, необходимые для со-

здания совершенного общества. Так что чем больше они читали о преследованиях, о расправах, тем больше им казалось, что наконец-то что-то происходит в мире, который был таким инертным и скучным.

Иосиф очень прав в том отношении, что шпионить порой чрезвычайно занимательно: времени на это уходит немного, тебе самому это дает ощущение собственного всемогущества, это способ поместить себя в центр дел человеческих, по крайней мере так кажется. А шпионские ведомства сами по себе очень традиционны и ортодоксальны, все делается там по правилам. Великие ученые, великие писатели, великие ведомства никогда не бывают прагматичны и неортодоксальны, все они отличаются покорностью обычаям. Любопытно, что зачастую стать шпионом (в пользу чужой страны) значит броситься в объятия другой ортодоксии, стремясь убежать от той, которая тебя вскормила.

— *Как вы думаете, что побудило его написать о Филби и других шпионах? «Чтобы заглушить приступ сильного отвращения» при виде лица Филби на почтовой марке, как он писал? Или он воспользовался поводом, чтобы произвести еще одно исследование в области «вульгарности человеческого сознания»? Или что-то совсем иное?*

— Не знаю, но когда я познакомился с Сахаровым, который мне ужасно понравился (это было в Ленинграде, когда он еще назывался Ленинградом), он стал мне задавать те же самые вопросы о шпионах. В случае Сахарова для меня было очевидно, что передо мной человек огромной личной смелости; как и Иосиф, он один на один бросил вызов деспотическому режиму, пошел наперекор власти в обществе, где это было крайне опасно, тогда как Филби и Клаус Фукс, которым особенно интересовался Сахаров, пошли по пути обмана в открытом обществе. Вот что занятно. Наше открытое общество открыто не без ограничений, в нем есть недостатки, все беды, о которых мы с вами знаем, однако если мы им недовольны, то мы можем кричать об этом во всю глотку, писать об этом, и никто нас в тюрьму не посадит. Но Филби мира сего не хотелось этого замечать. Они предпочитали видеть свою страну как опасный монолит, управляемый безумцами и т. п., что, как они сами в глубине души знали, не было правдой. И они предпочитали тянуться к противоположному

монолиту, который по определению должен быть чист. Мне кажется, именно это очень занимало Сахарова. Особенно потому, что в его жизни мог весьма реально быть и такой вариант — стать не диссидентом, а просто шпионом. Сохранить все привилегии, иметь спокойную семейную жизнь, послать детей в лучшие учебные заведения, и при этом совесть его была бы спокойна. У Иосифа, наверное, были сходные мысли, потому что в изгнании у человека есть много времени, чтобы поразмышлять о том, кому он сохраняет лояльность. Для меня он всегда оставался изгнанником. Мне было очень интересно, чем именно это было для него, когда он столкнулся с проблемой: возвращаться ли в Россию. Хотя бы в этом смысле его смерть была providенциальна. Это, должно быть, был очень трудный последний акт его драмы.

— *Он однажды сам подстроил себе ловушку, когда в 1983 году на вопрос «Вернулись бы вы в Россию?» ответил: «Я бы вернулся в Россию исключительно при одном обстоятельстве: если бы там опубликовали все мною написанное... собрание сочинений»¹. После того, как все его сочинения были там опубликованы, ему пришлось придумывать сотни оправданий, шуточных, простых и очень серьезных, объясняя, почему он не возвращается.*

— Наверное, это было бы ему трудно. Как мы все знаем, Солженицын писал о Западе негативно, а что Иосиф думал о Западе, по-настоящему я не знаю, но о России он писал замечательно.

— *Он также был влюблен в Англию, в английский язык. Как вы объясняете его пожизненную влюбленность во все английское?*

— Ему нравилась самоирония. Ему всегда доставляло удовольствие самого себя ставить на место. Ему нравились кодифицированные отношения между людьми, а англичане в этом весьма преуспели. Думаю, что ему также нравилось, что здесь не выражают эмоций, потому что это давало свободу его воображению — воображать, что люди чувствуют на самом деле. Наконец, в нашем лучшем варианте мы очень хорошие, очень приятные люди. В худшем — мы кошмарны. Я мог бы влюбиться в Россию по тем же причинам. Но в то же самое время

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью. Сост. В. Полухина. М.: Захаров, 2000. С. 223.

меня всегда занимало, в какой степени мы для Иосифа «иностранцы», в какой степени здесь все еще для него «заграница». Мне было вполне ясно, что я имею дело с большим талантом, который как бы отчасти осиротел, отчасти как бы бродит в поисках родителей. О нем думают как о человеке женолюбивом, но на самом деле он был очень скор на дружбу с мужчинами. И в этом смысле ему, наверное, не хватало своего круга, своей юности.

— *Да, русская близость дружеских связей на Западе неизвестна — тесные и требовательные дружбы.*

— *Да, я знаю, очень интенсивные.*

— *Но вокруг Иосифа всегда были люди, друзья, особенно в Америке, где ему нравился демократизм общения.*

— *При условии, что он — главный.*

— *Иосиф также был влюблен в язык как таковой. Однажды он сказал, что если бы ему пришлось сделать выбор, растаться либо с английским, либо с русским — он бы сошел с ума. Сам по себе процесс писания эссе по-английски имел для него огромное значение, доставлял ему такое удовольствие, что он не мог бы без этого обойтись. Он еще и стихи пробовал писать по-английски, а под конец стал собственным переводчиком.*

— *Мое восхищение им было скорее политическим, чем поэтическим. Меня восхищала отвага, храбрость, которую он проявил в 1964 году.*

— *Да, этого у него в самом деле было хоть отбавляй — отваги.*

— *К тому же, когда встречаешь такого человека, как Иосиф, чувствуешь, видишь нечто в глубине взгляда, внутреннюю энергию. Мне интересно, как представлял себе Иосиф свою дальнейшую литературную жизнь. Где она должна была происходить? Какая песчинка была между створками? Чему предстояло стать творческим раздражителем?*

— *Но он знал, что умирает. На самом деле он заигрывал со смертью задолго до срока, со времен первого инфаркта, если не раньше. Я помню наш разговор после первой операции на сердце. Я сказала: «При условии, что вы бросите курить, Иосиф, вам еще лет десять гарантировано». Он ответил: «Валентина, жизнь замечательна именно потому, что гарантий нет, никаких, никогда». Если бы вы вовсе не были знакомы с Иосифом, каким бы*

вы его себе представляли, прочитав, скажем, «Коллекционный экземпляр»? Автор — поэт? университетский профессор? любитель-психолог? Его анализ явления правилен? глубок? поверхностен?

— Для меня было увлекательно то, что Иосиф вообще заинтересовался шпионскими делами, потому что с этим связаны все основные вопросы литературы: кто я такой? перед кем я несу ответственность? кому я верен? что для меня истинно? Вы исследуете мир, исследуя в то же время самого себя. Именно создаете контраст между своими чувствами и своим поведением. Вам мое общество может быть противно, но я об этом никогда не узнаю, поскольку у нас вежливые формы существования. Может быть, вы донесете обо мне новому КГБ — я об этом не узнаю никогда. В некотором роде русские до Фрейда узнали о психологии больше, чем после.

— *Потому что это было связано с выживанием.*

— Да, с выживанием, отсюда проникновенность русской литературы. Инстинктивно у русских больше понимания человеческой природы, чем у любого ученого специалиста. Я полагаю, Иосиф обо мне знал больше, чем психоаналитик узнал бы за двадцать лет.

— *Если это так, то это еще и потому, что он поэт. Вы сейчас сформулировали то, что Иосиф сказал в одном из своих интервью: «Я всегда полагал и до сих пор полагаю, что человеческое существо должно определять себя, в первую очередь, не этнически, не расой, не религией, не мировоззрением, не гражданством и не географической, какой бы она ни была, ситуацией, но прежде всего спрашивая себя: „Щедр ли я? Лгун ли я?“»*

Перевод с английского Льва Лосева

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ, ИЮЛЬ 2004, МОСКВА

— *Когда вы впервые услышали имя Иосифа Бродского?*

— В молодые годы у меня был друг (одно время — самый близкий мне человек), обладавший особым даром — Владислав Травинский, отставной милиционер, журналист, автор популярных тогда книжек про Черную Африку. Владька обладал совершенно удивительным природным талантом — организатора общественных сил. Вокруг него всегда крутилась куча необыкновенно интересных людей, и так «притягательно» этот человек был устроен, обладал таким чутьем на перспективные таланты, что они задерживались в его кругу надолго. Я без конца посещал его съемную квартирку на Пионерской улице и оказался к той компании «сопричастен»...

Через Травинского я познакомился с Борей Стругацким (тогда всего лишь — соавтором «Страны багровых туч»), с Мишей Шемякиным (для него Владька организовал самую первую в жизни этого художника персональную выставку в журнале «Звезда», где Травинский служил), да и с другими, впоследствии известными людьми...

Однажды Владька принес на службу, в редакцию «Звезды», десяток стихов, переписанных ручкой на листиках — едва

Михаил Хейфец (род. в 1934 г.) — в прошлом ленинградский, ныне израильский литератор, работавший преимущественно в жанре исторической публицистики. В 1974—80 годах отбыл срок за написание статьи «Иосиф Бродский и наше поколение», предисловия к пятитомному (так называемому марамзинскому) собранию сочинений Бродского. В лагере и ссылке написал (и опубликовал в Париже) три книги о советских лагерях. Был выдворен из СССР после отбытия срока. Сотрудник Иерусалимского университета и газеты «Вести». Автор двенадцати книг.

ли не автографы неизвестного поэта. Откуда он их добыл — я не спрашивал, думаю, через Сэнди Конрада (Александра Кондратова). Было это примерно в конце 1959-го либо в начале 1960 года. Проглядев их, я понял с первого мига, что передо мной стихи поэта, о каком мечтает любое поколение. Там были юношеские стишки, которые Бродский потом всячески скрывал от публикаций — о них его поэтический учитель Евгений Рейн как-то упомянул: «Обычные геологические вирши»... Верно, но ведь Рейн и сам, причем сразу, с первого прочтения, почувствовал необычность личности автора, особость его, ни на кого из пишущей братии в Ленинграде непохожего — потому и обратил на него внимание, потому выделил сразу — сам признался... Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост.

— *Что необычного вы заметили в юношеских стихах Бродского?*

— Ну не соединял никто любовную лирику с таким тропом — «как мост»! Это прозвучало как взрыв из совершенно другой сферы. Из стихов про войну, что ли... И тот и другой жанры были нам привычны, но вот смешение вызывало эффект «балдежа»... Стихи заканчивались так: «Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути...» От этого внезапного сомнения — «может быть» — мы и приходили тогда в возбуждение... Как выразился потом Яков Гордин, «успели вскочить в этот поезд»!

— *Каким Бродский показался сначала?*

— Боюсь, сегодня это не будет понятно никому. Мы жили в как бы вполне нормальном мире, в Пространстве социализма, то есть в обществе, задуманном как гармоническое и, следовательно, в принципе — бесконфликтное. Люди в нем нормально гордились, что имеют «непрерывный стаж», то есть всю жизнь работали на одном и том же рабочем месте; жили чаще всего на одной и той же «жилплощади» всю жизнь! Поездки за границу, новые страны, даже новые края в своей стране виделись роскошью, доступной лишь немногим везунчикам. Как правило, любая новизна была разовым, сюрпризным товаром. Все заботы их (нашей?) жизни были обычными, общечеловеческими: дожить спокойно от полочки до полочки, завоевать в виде доказательства своих достоинств новую женщину (мужчину), сделать карьеру, ну и славу до-

быть хорошо бы... Стихи Бродского вырывали нас из равнобесконфликтного житейского пространства, из пошлости (обыкновенности) нормального быта, мы вспоминали, что существует Время, Дух, Бог. Нас как бы предупредили, что есть предел у обычных желаний, у людской нормальной похоти — имя ему смерть, что существуют варианты иной жизни, чем наша попрыгучая суэта советских сует... Иосиф восславил Язык, который им якобы водил, но на самом-то деле — я об этом никогда не посмел бы при жизни ему сказать — выучивал советских (не только советских, как выяснилось в итоге) читателей жить по-иному... Сам он в это никогда — даже перед смертью — не смел, да и не желал поверить! Но мне видится — так было.

— *Позднее Бродский гордился тем, что вернул русской поэзии слово «душа». А трогал ли он души своих современников?*

— Кто-то сравнил его с «укротителем кобр», скрывавшихся в душах современников — юнцов и девиц. Флейтой своей поэзии он вызывал скрытые страсти из тьмы тайников — заставляя души танцевать перед ним.

Помню, в той, первой читанной мной подборке были «Пилигримы». Поразительно новым словом прозвучали для нас эти обычные сегодня, наверное, стихи (тоже трудно это понять) — восславление не активных строителей мира, к чему нас десятилетиями приучали футуристы, конструктивисты, соцреалисты — Маяковский, Луговской, Тихонов, Сельвинский... Бродский приоткрыл, что соль мира таится и в чудачках, и в юродивых на обочине жизни, в тех, кто «гуляет сам по себе». Как киплингские кошки!... Еще помню из подборки «Стихи о Мигуэле Сервете»: сам персонаж завораживал меня со школьной парты, еретик, сожженный не инквизицией, а врагами ее, теми самыми, коих инквизиция истребляла... Напоминание о судьбе одиноких упрямцев!

Травинский приносил, помнится, и более поздние сочинения (запомнилось, напомнилось, — «Каждый пред Богом наг, жалок, наг и убог»), в общем, рукописи доходили до меня ручьем!

— *А когда вы лично познакомились с Бродским?*

— Лично я познакомился с Иосифом случайно — вроде в «Звезде», куда он зачем-то забрел. Наверно, пообщаться... Потом уже мы виделись в Публичной библиотеке — на широ-

кой площадке перед входом навверх, к читальным залам, и вбок, в Рукописный отдел, там обычно собирались «говорунны», компании приятелей, обмениваясь мнениями и информацией. Помню, стоим втроем — с уже покойными историком Борисом Коганом (одним из авторов «Мифологического словаря») и Дмитрием Балашовым, впоследствии историческим писателем, а тогда моим коллегой-аспирантом... Подходит Иосиф, молча, угрюмо, сонно слушает байки. Не вмешивается в беседы мудрых историков... А мы-то заливаемся, хвосты распускаем, пытаюсь друг другу понравиться. Боря Коган говорит: «А еще есть такая гипотеза: пирамиды в Центральной Америке выстроили пропавшие десять колен Израилевых...» Слышу странный звук сбоку: Иосиф встрепенулся. Сказал неожиданное: «О!» и опять замолчал. Но я заметил в этот миг другое, живое лицо!

— *Почти все, знавшие Бродского, рассказывают какой-нибудь забавный эпизод, связанный с ним. Найдется ли таковой в вашей памяти?*

— Забавный эпизод произошел через год (или позже?): вместе с Травинским мы сработали первый сценарий — для фильма «Николай Кибальчич» (режиссер В. Мельников). Лента получила хорошую прессу, первую категорию, прочие причиндалы. И вызывает меня на «Леннаучфильм» редактор В. Кирнарский: «Миш, с тобой хочет поговорить наш заслуженный режиссер» (кажется, фамилия его была Гайворонский, но за давностью лет, возможно, что-то перепутал. Не придавал детали никакого значения! Ну хочет познакомиться, так пусть хочет...). У «заслуженного человека» оказалась просьба: «Надоело работать со старыми авторами. Хотелось бы получить сценарий от какого-нибудь молодого таланта. Вы можете рассказать, кого в Ленинграде стоит пригласить на студию — из талантливой молодежи?» О, на это я всегда готов! И начал петь гимны своим приятелям, нуждавшимся в работе, в куске хлеба, каждую характеристику завершал, естественно, координатами — адресом и телефоном. Под конец сообщаю: «Самый талантливый человек в нашем городе — Иосиф Бродский. Если бы вы могли помочь ему, было бы истинное благодеяние. Совсем молодой человек, среднюю школу не окончил, подрабатывает в геологических партиях рабочим, в семье его считают пропащим... Если бы смогли дать ему какой-то

заработок... Поверьте, никого лучше, никого талантливее в Питере не найдете! И заодно поможете его ситуации дома!» И разливаюсь соловьем, ибо почувствовал — вот тут клюет! Я искренно не понимал — в силу особенностей собственного дара, — что есть люди типа Иосифа, которые не могут писать на заказ, не в силах творить вопреки избранному жанру или выработанному стилю... В моем поведении работал чисто практический подход: надо помогать таланту «пробиться» в советское кино! Смешно, конечно, рассказывать про этикие штучки, но историю не перепишешь... Режиссер слушал, а потом говорит: «Адрес и телефон не нужен. Бродский — мой племянник. Мы в семье действительно считали его пропащим пареньком, но раз уж такой человек, как вы, его цените...» Я потом начисто позабыл смешной разговор, а вспомнил его случайно, через много лет, когда Марамзин в 1973 году прислал мне на дом три тома собрания сочинений Иосифа для написания предисловия. В одном из томов и увидел текст сценария, если не ошибаюсь, «Сады Павловска», а в примечании от редакции (то есть, видимо, от Марамзина) говорилось, что по сценарию был-таки снят фильм, получил в главке высокую оценку — но с некоей оговоркой: Министерство кинематографии рекомендовало студии «Леннаучфильм» переделать закадровый текст! Все-таки у них служили молодцы в главке, люди с чутьем! Ведь имя Бродского не было запретным. И известным оно еще не было — никому, кроме горсточки питерских любителей рукописной поэзии. Но чиновники в Москве, восхищаясь лентой, учуяли-таки в ритмах неизвестного автора чуждый им запах. И попросили — убрать его! Что на свой лад, конечно, доказывает: они тоже были люди талантливые! В своем деле.

Я встретился с Кирнарским, и он, усмехаясь, рассказал, как трудно было ему работать с новым сценаристом, как, придя на просмотр, Бродский гаркнул: «Это вы — редактор? Вас надо распять на экране!»

— *Как бы вы назвали ваши отношения с Иосифом в те годы? Дружбой? Хорошим знакомством?*

— Мы, что называется, вовсе не были с Иосифом «накоротке». Поэтому сегодня возникают в памяти странные разрозненные сценки: вот на выпускном вечере в токовской заочной школе я кричу «во весь голос» своим ученикам-же-

лезнодорожникам: «Запомните, мы живем в эпоху Иосифа Бродского! Запомните это имя сегодня!» Они смеются: ну выпил учитель на выпуске, с кем не случается! Еще помню, как в квартире у Травинского Иосиф впервые читал «Шествие». Считалось это действо собравшимися литераторами неким событием: первая большая поэма, написанная Иосифом! (Или ошибаюсь? «Авраам и Исаак» написаны были раньше или позже? Точно помню — «Шествие» воспринималось именно как чтение первого сочинения в крупном жанре. Как такие бродские «Руслан и Людмила»!) Народу набилось — от стены до стены (я — как свой — усажен был просто на пол...), Иосиф читал нараспев, как шаман на камланиях, я не улавливал почти ни слова. Но четко помню, как был разочарован: решительно поэма эта мне не понравилась... Запомнилось же действо вот почему. Во время антракта Иосиф вдруг высказался: «Ребята, сейчас я буду читать жутко антисоветский кусок». Уж тут-то я вслушивался в «пение» изо всех сил (любил антисоветчину) — но не услышал ни одного интересного слова...

— Но в ткань «Шествия» уже были вплетены Цветаева и Данте, Пушкин и Шекспир. А уж проблемы души, добра и зла прямо взяты из Достоевского. И антисоветчины в поэме при желании можно было найти немало.

— Думаю, та читка сыграла роковую роль в его судьбе. Не может такого быть по тогдашним временам, чтоб в обширном «незаконном сборище» у ГБ не нашлось хоть завалищего, да информатора! Информатор, конечно, тоже ничего не разобрал в заунывном тексте, но услышал, что там есть «жутко антисоветский кусок». После донесения, думается, и началась разработка операции по удалению вольнодумца из города — но «за тунеядство». Гэбисты не идиоты и, когда у него дома появились их нарочные с ордерами на арест и обыск, то, конечно, те, кто скрывался за спинами «действующих лиц» и планировал комбинацию с «тунеядством», были заранее убеждены: у столь популярного автора не может не найтись каких-то антисоветских строк. Вся «игра» велась по сценарию «социалистической гуманности»: можем, мол, запрятать лет на пять за антисоветчину, но «ограничиваемся» ссылкой... Гуманисты! Не сталинские времена!.. Что-то в этом роде и говорили в правлении Союза писателей Ефиму Эткинду, когда тот

вступился за Бродского: мол, лучше бы вы поблагодарили органы за гуманный подход. Но номер у них не прошел: Ефим справедливо возразил, что у органов «гуманность не в заводе», слава Богу, мы их знаем, и если б что-то нашли у Бродского политическое, то не смолчали бы, даже если б не вставили эти строки в его приговор... Нет, они принципиально ошиблись в оценке объекта операции, были введены в заблуждение обычным профессиональным недостатком — излишним доверием к оперативной информации. В сущности, даже такой неопытный в конспиративных делах человек, как я, и то выигрывал у них игровые ситуации за счет примитивной дезинформации «оперативных источников». В этом пункте они, обычно люди донельзя недоверчивые, делаются наивными, как дети! На чем и ловятся...

— *Присутствовали ли вы на суде Бродского в феврале и в марте 1964 года?*

— Мне, конечно, захотелось пойти на суд Иосифа. Но я, скажу откровенно, побоялся. Недавно женился, очень любил молодую жену, а себя, конечно, тоже знал: если появлюсь на месте, то не удержусь — во что-нибудь вляпаюсь, сяду вслед за Иосифом. Так оно, по сути, и получилось, но — десять лет спустя! Где-то моя бывшая боязливость вызрела гнойником и — нарыв прорвался в тот момент, когда я сам предложил Марамзину написать о Бродском статью-предисловие.

— *А как складывались ваши отношения после возвращения Бродского из ссылки?*

— После окончания ссылки Иосифа мы более не встречались в Питере. С моей стороны не было желания — Иосиф уже попал в разряд знаменитостей, и соответственно я стал его избегать. Думаю, как ни странно, он тоже охладел ко мне, потому что не забыл историю со сценарием о Павловске. Иосиф, как мне видится, принадлежал к людской породе, что не прощают ни дальним, ни ближним попыток помочь им, тем паче — в каком-то «пробивании». Много в этом чувстве, по-моему, сгустилось: возможно, и страх соблазна, страх клюнуть на советский успех (тоже ведь был — человек)... И еще — отталкивание таланта, изначально ощущавшего свое превосходство над окружающими, оскорбленное чувство от покровительства тех лиц, кого ощущал мелкотравчатыми — своих доброжелателей-«удачников», которым повезло, конечно, в

карьере, но ценой-то какой — «приспособились вовы» к житейско-советской модели поведения. Аналогичный тип гения я иногда наблюдаю в истории — скажем, в Рихарде Вагнере. Вспомните, как гений обошелся со всеми «благодетелями» — с дирижером Бюловым, с баварским королем, с Мейербером, вообще с теми евреями в мире музыки, что открыли его, восхищались, ахали и возносили до небес этот «мало кому известный талант»... Такого — не прощают.

К сей мысли я пришел много позже, в 1988 году, в Штатах, в Амхерсте, куда привез меня в гости к Иосифу энергичный Юз Алешковский. Иосиф казался в США уже не диковато-отчужденным юношей, как в Питере, а простым и благожелательным хозяином. Едва ли не первое, что выговорил при встрече после многолетней разлуки: «Миша, ты привез что-нибудь свое в Америку? Может, хочешь, чтоб я порекомендовал в свое издательство?» Сам бы я ни о чем его не просил, не так воспитан, но раз уж он предлагает... Со мной была как раз в Америке рукопись «Путешествия из Дубравлага в Ермак», и через день мне позвонили из «его» издательства... Ничего из проекта не вышло, что закономерно (не американская это книга!), но запомнилось, с какой охотой и удовольствием он оказывал мне покровительство. Вот тут была его истинная стихия! А обратный вариант — он не терпел...

— *Расскажите, как вы распространяли стихи Бродского в самиздате.*

— В промежутке от ссылки и до его выдворения из Союза мы не соприкасались — только в аудиториях, на читках. Однако в эти именно годы я и сделался, как это называлось, «активистом самиздата». Новые же стихи Иосифа доставал мне коллега-друг Марамзин, он был и главным источником моего неподцензурного чтения. И потому, как говорится, я «находился все время в курсе»...

— *Как родилась идея собрать все написанное Бродским в России?*

— Когда поэта выкинули из России, мы побаивались, что он как творческая личность кончился. Как ему писать на великом уровне, потеряв языковую стихию, «дикое поле» русской лексики, потеряв читателей, чувствовавших оттенки бесконечного ряда культурных ассоциаций, да и просто лишившись тех страстей, которыми он от нас заряжался —

независимо, понимал ли такой исток сам поэт. «Там» он окажется чужим, «там» кто ж оценит Дух! (Я, как видите, не скрываю уровень нашей тогдашней сообразительности — в мировой ситуации вообще, в поэзии в частности. В конце концов, мы были нормальными советскими людьми, нафаршированными молвой о том, как бедовали за границей писатели-эмигранты, особенно всякий поэтический молодняк.) Короче, судьба Иосифа виделась оборванной на высшей точке ее творческой дуги. Мы несильно, видимо, отличались в расчетах от наших сверстников из КГБ, только выводы делали противоположные: они-то хотели высылкой задушить голос поэта, а мы пытались сохранить его для будущего, для истории (в историческое бессмертие поэзии Бродского мы действительно уже тогда верили).

— *Расскажите об участии Владимира Марамзина в собраниях сочинений Бродского.*

— В 1972 году я въехал в новый жилкооператив Союза писателей на Новороссийской улице. Писателей там жило сравнительно немного, в основном купленные квартиры предназначались для их детей. Моя семья сдружилась с молодежным кружком, который крутился в доме вокруг Вахтиных (семьи лидера тогдашней ленинградской «молодой прозы», основателя группы «Горожане» Б. Вахтина) и Маши Эткинд, дочки профессора Ефима Эткинда.

Примерно через год, весной 1973 года, в пустой гостиной Дома писателей (бывшего Шереметевского дворца) я повстречал Владимира Марамзина, одного из лидеров ленинградской «молодой прозы» и участника «Горожан».

Наверно, тут место оговорить мои неформальные отношения с Володей. В СССР действовала стихийно сложившаяся сеть распространителей «самиздата». Марамзин был одним из ее ленинградских «резидентов» (так или не так — до сих пор не знаю, но, во всяком случае, я от него получал регулярно десятки документов «самиздата»: рассказы, романы, документы, статьи). От кого добывал их сам Марамзин — представления не имею, но по прочтении все получаемое должен был аккуратно ему возвращать. Однако и Марамзин не знал, что получаемые от него экземпляры я относил к надежной машинистке (Людмиле Эйзенгардт) и распечатывал в пяти копиях. Четыре продавал знакомым, каждую за 20% от общей стоимости (листы

перемешивались, чтоб качество любой копии оказалось одинаковым, себе же за «организаторскую работу» в качестве гонорара брал первый экземпляр). Сеть была неуловимой: повторяю, Марамзин ничего не знал о моих «клиентах», я виделся ему только читателем, в свою очередь я тоже не поручусь, что кто-то из моего «кооператива» не распечатывал со своего экземпляра еще пяток копий — уже для своего круга...

Итак, я встретил Володю в Союзе писателей (видимо, отдавал ему очередную порцию «прокатных» документов или получал от него новую — не упомяну). Он делился новостями: «Пришло письмо из Штатов. Иосиф Бродский стал большим человеком...» И показал письмо, где рассказывалось об американских успехах Бродского. Подпись отправителя Володя закрыл рукой (нравились Марамзину эти конспиративные игры! Позднее, прямо лучась от удовольствия, майор КГБ Рябчук сообщал: «Это было письмо от Киселева! Киселева!»). Потом Володя сказал: «Собираю все, написанное Иосифом. Он уехал без единого листка. Мы решили, пока стихи не потерялись, собрать — у баб, у родных, друзей, приятелей... Сделать собрание сочинений. Как положено: с комментариями, датировками, расшифровками посвящений... Он оказался жутко плодовитым автором! Три тома мы собрали. Еще два сейчас добираем — стихи на случай, в подарок, детские, переводы, записи разные... Все ерунда, но для полного собрания и это необходимо. Трудность в том, что никто не берется написать предисловие. Не потому, что боятся кого-то, но боятся — ответственности».

Я не знаю даже сейчас, кто конкретно входил в марамзинское «мы». Точно наличествовал литератор Михаил Мильчик: уже позже, сразу после обысков у меня и Марамзина, Миша пришел к нам домой и рассказал о своем участии в «проекте» — разумеется, не в квартире, а на лестничной площадке, у лифта. От него я впервые и услышал, что все тома Бродского «уже там, там!». А недавно довелось читать, что все публикации «российских» стихов Бродского опираются на так называемое «марамзинское собрание».

— *А как складывалась ваша писательская судьба?*

— К тому времени в моей писательской судьбе несколько лет складывалась диковинная ситуация. Примерно с 1971 года я не мог пробиться в печать. Никуда! Пробуя вырваться из

этого, на свой лад, мистического невода (мне в голову не приходило, что мной уже интересуется КГБ!), я пробовал себя в новых и разных жанрах — например, вместо прозы и публицистики писал сценарии или внутренние рецензии. Марамзин про эти «пробы пера» знал, и в его реплике, мол, «никто не берется писать», конечно, таился косвенный вызов в мой адрес. Я так и понял и сам предложил сделать нужную для собрания вступительную статью.

Летом 1973 года Марамзин прислал мне на дом требуемое для работы «сырье» — три тома, основной корпус лирики Бродского. Самиздат, как выяснилось, работал хорошо, пришлось осмысливать давно знакомые литературные «объекты».

— *Было ли вам известно, что к 1973 году о Бродском писали Глеб Струве, Пьер Эммануэль, Ольга Карлайл, Вольфганг Казак, Джордж Клайн и сам Оден?*

— Сегодня-то, конечно, известно, что к тому времени о Бродском писали мастера на Западе, включая великого поэта Одена. Но в Союзе мы об этом не подозревали. Молодыми питерцами Бродский смотрелся как «самиздатский» поэт, то есть как стихотворец, существующий вне нормального литературного процесса. И теперь — прочувствуйте мою задачу, ту, что отпугнула всех прочих «кандидатов»: виделось, что я окажусь первым в истории исследователем творчества великого поэта! (Помню, с какой дрожью — не в переносном, в буквальном смысле слова — я снабдил в этой статье Иосифа таким эпитетом. Ощущалось жуткой, хотя неизбежной дерзостью — присваивание подобного звания современнику.) Возможно, я действительно оказался первым исследователем Бродского в России? Статья, авторские экземпляры которой хранятся в архиве ЛенУКГБ, надеюсь, даст профессиональным исследователям поэтики слепок того, как воспринимались ранние стихи Бродского неким «голосом из хора шестидесятников».

Конечно, начинающему критику делать профессиональный разбор стихов Бродского было «не по чину» — я быстро это понял. Но как отказаться от задания? Подвести Марамзина, сорвать выход пятитомника, спасовать... Нет. Требовалось нащупать, в каком качестве литератор М. Хейфец мог оказаться читателю интересным как автор вступления к первому собранию сочинений великого поэта.

сказать читателю, как исторически возник в Ленинграде феномен поэзии Бродского. Почему в блестящем созвездии питерской школы (С. Кулле, Г. Горбовский, А. Городницкий, Е. Рейн, А. Кушнер, Л. Лосев, В. Уфлянд, В. Британишский, С. Стратановский, В. Лейкин, Т. Галушко — называю первые всплывшие в памяти тогдашние имена) Иосиф считался бесспорно номером Первым.

— *Не перескажете ли кратко содержание вашей статьи, ведь она никому не доступна?*

— Суть сводилась вот к чему. Иосиф Бродский — поэт не политический, не антисоветский, исторически преходящие феномены, вроде советской власти, его не интересуют вовсе. Но любой поэт живет среди современников. Хотя считает он себя орудием Языка, но ведь Язык — творение народа, и Ленин был прав: «Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя». Никакой башней, отгораживающей Творца от суетности и пошлости мира, нельзя оборвать связи с людьми — через тот же Язык, к примеру. Допустимо, например, что поэта Бродского в 1969—70-х годах действительно увлекла специфическая литературно-творческая задача — сымитировать «Римский цикл» Марциала или Катуллы — без каких-либо политических аллюзий.

— *Но почему у Бродского возникла эта творческая идея и именно в то время?*

— Ход моих рассуждений был таков: после оккупации Чехословакии в окружавшем Бродского обществе рухнула, вернее сказать, растворилась стержневая коммунистическая идеология (в ее различных, в том числе оппозиционных советскому режиму вариантах). В коммунизме имелась своя внутренняя логика и этика, свойственная этой системе идей. Оккупация же малой коммунистической страны коммунистической империей являлась феноменом, никак не укладывавшимся в коммунистическую этику. Акцию такого сорта идеология вынести, не сломавшись, не могла — ни при какой погоде! После 1968 года в СССР осталась жить голая имперская идея захвата и покорения чужих народов — в незамутненно державном виде. Бродскому, естественно, дела не было ни до коммунизма, ни до империальности, но поэт не мог не ощутить глубинный сдвиг в обществе, в коем жил Орган мира сего. В «Римском цикле» невольно даже для создателя отрази-

лась грядущая гибель ленивой, пошлой, сгнивавшей от бездуховности и потери моторных идей империи. Естественно, тезис доказывался цитатами и сравнительным анализом стихов — «до» и «после».

— Ну, знаете ли, вы просто напрашивались на срок.

— Фрагмент, посвященный Чехословакии, позднее и инкриминировался мне — по словам следователя В. П. Карабанова (сам я «следственный» анализ моей статьи не видел, но нет оснований отвергать его правильность: статья несомненно была антисоветской). Поэтому, когда она оказалась в руках заказчика (Марамзина), Володя, естественно, испугался: «Миша, нас всех посадят, и культурное начинание будет погублено». Я мог, конечно, рисковать — но собой же, а не им и всей компанией. Поэтому согласился на Володино предложение переделать ее — «деполитизировать», как впоследствии деликатно выразился следователь. Но усилия что-то сделать, что-то изменить кончились пшиком: то ли не в силах оказалось написать литературоведческую статью, то ли просто неинтересно было переделывать... И я совершил неосторожный поступок: стал показывать рукопись знакомым литературоведам и писателям, которые могли дать какой-то совет насчет «переработки». Сколько-нибудь полезную идею не подсказал никто, но информатор органов среди них нашелся...

— Каким образом к вашей статье оказался причастным Е. Г. Эткинд?

— Давал я читать рукопись, например Маше Эткинд. Не без задней мысли, врать не буду — понадеялся, что если статья Маше понравится, она, возможно, покажет ее прославленному отцу. Ефим Григорьевич считался в тогдашнем Питере лучшим знатоком поэзии вообще и поэзии Бродского в частности. Расчет сработал: однажды Маша прибежала к нам в квартиру: «Приехал папа, хочет с вами поговорить».

Так мы встретились с Ефимом Эткиндром в первый раз. Профессору статья понравилась настолько, что он не ограничился устной похвалой, а приложил к моему тексту исписанный с двух сторон листок — собственную рецензию. Однако имелось у него и существенное возражение, собственно, его мы с ним тогда и обсуждали. Эткинд писал, что, со слов Бродского, знает: имперскую сущность коммунистической державы поэт осознал не в 1968-м, а в 1956 году, после венгерского

ского, знает: имперскую сущность коммунистической державы поэт осознал не в 1968-м, а в 1956 году, после венгерского похода. При всем уважении к авторитету Эткинда я исправлений вносить не стал. Ибо даже если принять как факт, что Бродский нечто подобное Эткинду говорил (наверно, так и было!), я-то анализировал тексты, а не устные мнения поэта о себе самом. И явственно ощущал сдвиг в мироощущении поэта после 1968 года, а не ранее.

— *Вы догадывались, как обо всем этом стало известно в КГБ?*

— Я сделал две роковые, как выяснилось, ошибки. Гордясь высокой оценкой профессионала-литературоведа, приколочил его рецензию к первому экземпляру моей рукописи. И — потом позвонил Марамзину: видимо, бессознательно стремясь к реваншу за его отказ от моей рукописи (все мы, человеки, слабы!) похвастал по телефону: «Сочинение прочитал Машкин отец, и оно ему понравилось». Но телефон-то Марамзина был уже «на кнопке», как я понял впоследствии, а значит, невольно дал ЛенУКГБ дополнительную и важную для них информацию.

Другой оплошностью было то, что я показывал рукопись соседу по дому, приятелю-прозаику В. Он был человеком неплохим, но, увы, слабым и сильно развращенным близостью к властям и вытекавшими из государственного подкупа писательскими привилегиями. Как раз в момент, когда он возвратил мне рукопись, я заподозрил в нем внештатного сотрудника органов. Как ни глупо звучит, не придал своим подозрениям важного значения. Ну стукач, но не идиот же, не станет закладывать соседа, приятеля, с которым вместе детей выгуливает? Что, не найдет объекты для доносов менее близкие, менее опасные для себя? Я рассуждал как бы разумно — но в том таится роковой просчет моего обычного подхода к жизни. Люди часто не в состоянии рассчитать выгодную им самим линию поведения; именно неразумие (иногда даже безумие) партнера — самое неподрачетная и самая сложная ответная реакция, когда ведешь с кем-то жизненную игру.

— *Но ведь Марамзин вроде бы уже нашел нового автора?*

— Да, через некое время я узнал от читателя моей рукописи (приятеля Маши Эткинд — врача В. Загребы), что Володя, устав дожидаться нового варианта (а может, разуверившись в

моей способности его изготовить), заказал новое предисловие и получил (помнится, Загреба назвал мне и фамилию автора — поэта Игоря Бурихина). Это стало моральным облегчением для меня: теперь я мог больше не биться над исправлением текста, который изначально изготовлялся именно таким, как я мог и хотел его сделать. Другой человек исполнил необходимую общественную работу — слава богу! Я спрятал текст статьи, все отпечатанные на электрической «Оптиме» экземпляры в архивный ящик моего письменного стола и... забыл о них. (Замечание в скобках: Марамзина, видимо, мучили некие комплексы относительно отвергнутого заказа, и он обещал все-таки позже забрать мой текст и отдать в редакцию самиздатского журнала «Евреи в СССР». Так я впервые узнал о существовании сего печатного органа. Интересно мне, по этой или по какой-то другой причине ЛенУКГБ сочло нужным подключить к нашему делу редактора «Евреев в СССР» профессора Александра Воронеля. Но по нашему делу Воронель прошел сравнительно благополучно — всего лишь был выдворен из СССР.)

— *Расскажите о самом аресте, пожалуйста.*

— Утром 1 апреля 1974 года будит жена: «Мишка, к тебе пришли».

Возле подушки возвышается крепкий мужик: «Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович», — и сует под нос книжечку: «Старший лейтенант КГБ Егерев». С ним был лейтенант КГБ Никандров, кто-то еще и, как бы выразиться... их понятия.

Странно сегодня, но я нисколько не удивился. Все смотрелось, как в кино.

— Райка, кинь трусы, — с такого возгласа началась моя лагерная карьера.

Практически в тот момент я начисто забыл про давнюю статью о Бродском. Ну лежит что-то в архиве... Во-первых, не принята заказчиком, следовательно, документ личного писательского собрания. По меркам того времени — неподсудный феномен. И вообще я просто забыл, о чем писал полгода назад! Работал много, успел сделать куда более опасную рукопись. Настолько опасную, что ее, единственную, замаскировал в столе. Только ее обнаружения и боялся! Но гэбист Никандров подержал ее в руках (в «маске») и... отложил в сторону. Так и началась моя удивительная «везуха» по части обыгры-

вания КГБ в конспиративных играх (ее завершением явилось появление в парижской печати двух книг, написанных в зонах и ссылке).

Когда гэбисты извлекли из брюха письменного стола «Бродского», я, правду сказать, забеспокоился, но не о себе, а об Эткинде. Вот — замешал постороннего человека в дело! Гэбисты были обрадованы находкой, но как-то и тихо растеряны... Меня после обыска не арестовали, хотя по канонам должны были вроде... Из чего был сделан вывод, что меня не арестуют вовсе. Как выяснилось — ошибочный: увели в следственный изолятор через три недели. В день рождения В. И. Ленина.

В том трехнедельном промежутке мы и встретились с Эткиндром вторично. Он приехал на Новороссийскую и увел меня погулять в парк Лесотехнической академии, находившийся напротив нашего дома. Обсуждалась некая юридическая тонкость...

Я изложил ему тактику, избранную на допросах (меня уже несколько раз допрашивали — «как свидетеля»): мол, ходил советоваться с разными специалистами, как «деполитизировать» статью (термин, который впоследствии я услышал от старшего лейтенанта В. П. Карабанова), следовательно, с точки зрения закона правонарушений не совершал — не распространял сочинение, а напротив, хотел его обезвредить... Эткинд соответственно тоже ни в чем не должен считаться виновным: когда ему дали статью, он же не знал ее содержания и читал текст как консультант по поэтике, а когда прочел — указал мне на ошибки. Но позиция нашей «посредницы», Маши Эткинд, выглядела юридически уязвимой: она-то статью дала читать отцу, то есть совершила чистый криминал «распространения с целью подрыва и ослабления»... И мы договорились с Ефимом, что вовсе не будем упоминать про участие Маши в деле: соврем, что отдал я ему статью напрямую...

Я не понимал серьезности собственного положения, тем более — ситуации Эткинда. Ну прочитал он мою статью, так что из того?

— *А Ефим Григорьевич понимал?*

— Понимаете, — объяснял мне в парке опытный собеседник, — они не в состоянии понять, что мы действуем как свободные люди — каждый сам по себе. У них существует

издательство «Советский писатель», и у нас должен быть «Антисоветский писатель»! У них есть их авторы, вы — наш автор, у них составители, значит, Марамзин — наш составитель, у них главный редактор Лесючевский, у нас я — главный редактор...

— *А как вы сейчас оцениваете все случившееся с вами?*

— Сейчас, глядя из будущего, я полагаю, что мой арест явился следствием ошибки, просчета ЛенУКГБ, как и дело самого Бродского. Узнали о подготовке пятитомника, получили через В. черновик-предисловие (мы «имели ксерокс», как выразился на допросе полковник Л. Барков — тогда я впервые услышал этот термин, до того про ксерокопирование не знал ничего, только про фотокопии). Они имели, видимо, и закордонную информацию, что пять томов «уже там» — как виделось, обладали полноценным фактажом для привлечения меня к суду. Обнаружили не домашнее вольномыслие, дозволявшееся по тем временам либеральничавшими властями, а контакт с заграничными «центрами», что было строжайше запрещено! Изъятие из моего архива всех экземпляров статьи о Бродском явилось потому-то большим разочарованием для следотдела ЛенУКГБ. Из-за чего, наверно, меня и оставили на три недели на свободе... Но информацию перепроверили, и когда подтвердилось, что предисловие «там», «за кордоном», — решили брать! Роковым для расчетов начальства оказалось неизвестное, как мне виделось потом, на допросах, обстоятельство, что предисловие-то оказалось не моим, а бурихинским...

— *Но ведь ваша статья была действительно антисоветской!*

— Конечно, она была несомненно антисоветской — в этом пункте я с органами не спорил, не оспариваю их мнение и сегодня. В конце концов, я не был ребенком и понимал, на что иду («Посадят тебя, Мишка», — сказала жена, прочитав статью о Бродском. «Пусть посадят», — ответил я и точно помню, сознательно принимал такой вариант судьбы). Тем не менее, согласно самими же властями придуманным правилам юридических игр, некое «домашнее вольномыслие», не выходящее за рамки личного круга знакомых, не подлежало наказанию по суду — об этой позиции объявил «городу и миру» генсек Брежнев. И еще по их же, советскому, закону, если

человек отказался от преступного намерения до того, как про его правонарушение успели узнать власти, — наказанию по суду он тоже не подлежал. Вот по этим, предложенным ими самими правилам игры я и повел партию со следствием — не без успеха, признаюсь. Первое: сумел скрыть свое участие в распространении самиздата (изобразил, будто являлся пассивным покупателем обнаруженных рукописей на «свободном рынке»). Скрыл «самиздатский кооператив» (о нем не узнали ничего). Второе: статью изобразил черновиком (каким она фактически оказалась), который под влиянием советов Эткинды и Марамзина я лично и забраковал. Потому нигде не напечатана...

— *А как вели себя власть имущие?*

— Важной ошибкой следствия я считаю нечаянную проговорку старшего лейтенанта Карабанова, в принципе как раз юриста тонкого и умного: пытаюсь убедить меня рассказать правду о том, как статья попала в руки к Ефиму, он сказал: «Остальные свидетели нам не так интересны, но про Эткинду и Марамзина мы должны выяснить все точно». Тут я понял, кого намечено ввести мне в «подельники» и соответственно как мне строить линию защиты.

Вторую ошибку допустил другой следователь, майор Рябчук. «Эткинд — ваш интеллектуальный соавтор», — заявил он на допросе. Так вот, значит, на каком основании и в какой роли Ефима собираются привлечь к суду? Я мог поэтому планировать свою контригру юридически грамотно.

Третьей ошибкой ГБ оказалось помещение меня в одиночную камеру почти на весь срок следствия (за исключением краткого срока, когда ко мне посадили «наседку»). Впрочем, роль сокамерника я осознал даже до того, как его увидел, но это — ненужный финт в сторону от «основного» сюжета). В одиночке у меня нашлись время и возможности мысленно проработать оттенки следовательских вопросов, выявить их последовательную систему и, таким образом, предугадывать их последующие шаги и подкидывать свои, якобы откровенные ответы.

Признаю: в КГБ работали умные и талантливые юристы, но в избранном мной дебютном варианте они при правильной игре обречены были на поражение. Я ведь объяснял, что да, мол, написал антисоветскую статью, но под влиянием со-

ветов, в первую очередь Марамзина и Эткинда, от преступного замысла сам и отказался. Эткинд мне указал на фактическую ошибку? Указал! Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме КПСС, но — критиковал! Исправить статью, согласно его критике, я не сумел — потому-то сам добровольно отказался от публикации. То есть отказался от совершения преступления еще до того, как органы о нем узнали. И Эткинд куда как в этой ситуации виделся хорош, но и я тоже...

И тут убедился, что даже профессионалы в их системе играют по системе Остапа Бендера. То есть когда партию можно выиграть, проведут миттельшпиль по правилам и с блеском («я чту уголовный кодекс!»). Но когда приходится проигрывать (а всегда выигрывать не дано никому — во всяком случае, никому из смертных), в эндшпиле они украдут с доски ладью или вломят оппоненту доской по глупой голове. Честно признаюсь, я был поражен их бесстыжим «беспредделом» (термин узнал позднее, в зоне) — мое презрительное возмущение к игрокам с другой стороны отразилось в ехидном «посвящении» им первой лагерной книги — «Места и времени».

— *Доходили ли до вас новости извне?*

— Сидя в следственном изоляторе, я понятия не имел, что творилось на воле: прочитал об этом только через шесть лет — в книге у Эткинда. Признаюсь, *post factum* был восхищен тем контекстом, в который заочно мое имя вставляли. Вот навскидку две цитаты. Юрий Вячеславович Кожухов, профессор истории СССР, член-корреспондент Академии педагогических наук, проректор ЛГПИ по научной работе: «Вопросы Эткинду я бы задавать не стал. Двойственности тут нет — это тактика врага. Он на своей позиции стоит давно и твердо, начиная с 1949 года и кончая 70-ми годами, когда эволюция неизбежно столкнула его с такими подонками, как Солженицын, Хейфец, Бродский и др.». Исаак Станиславович Эвентов, профессор кафедры истории советской литературы: «Я почти не соприкасался с Эткиндром... Он стал духовным отцом для проходимцев, молодых антисоветчиков, распространителей Самиздата. Эти энергичные молодые подпольщики — Хейфец, Марамзин — смотрели на Эткинда... Он был в известной степени знаменем какой-то части молодых людей,

которых т. Брежнев... назвал сорняками» («Записки незаговорщика». Лондон: ОРИ, 1977, с. 64—65). Пикантность ситуации усугублялась тем, что если Ефима я практически не знал и даже советами, который он мне дал, пренебрег, то как раз с Кожуховым и Эвентовым был знаком неплохо: у первого дома бывал, второй считался в аспирантуре моим научным руководителем — так что чисто формально именно он и должен был прославляться в Ленинграде как мой «духовный наставник»...

— *Как шло следствие?*

— Оно велось по такой методе. Сначала я отказывался говорить — тогда следователь осторожными вопросами «наводил» меня на того или иного свидетеля. «Михаил Рувимович, — говорил он, — вы же видите, что про имярека мы все равно знаем все нужное. Так что для свидетеля нет особой разницы, назовете вы его или нет: я все равно буду обязан его вызвать. Но если у меня не имеется на руках ваших показаний, то он, конечно, откажется — „знать, мол, ничего не знаю“... Для вас разницы нет: у нас имеется письменная рецензия Эткинда, есть пометки Марамзина на рукописях, и этого вполне хватит прокуратуре, чтоб вас обвинить: два свидетеля — достаточная норма. Но для самих свидетелей разница выйдет немалая: я ведь могу сообщить на их места работы, что они — недобросовестные свидетели... Они — люди творческого труда, живущие на доходы от договоров. Вы думаете, после такого сигнала с ними будут заключать договоры? А почему я должен этих людей жалеть? У них своя работа, у меня — своя. Я не прошу их давать ложные показания, наоборот, вы видите, я заинтересован только в одном: чтоб они подтвердили лишь то, что происходило на самом деле! Но своей ложью они мешают мне исполнять мою работу. Почему ж я не имею права мешать им в их делах?»

— *Они что, полагались на вашу порядочность?*

— Конечно. Логика «паразитирования на нашей порядочности» (выражение, услышанное позже, в зоне, от украинского поэта В. Стуса) подействовала на меня. После освобождения мне приходилось слышать всякие легенды о «пытках» и всем прочем... Думаю, с точки зрения профессиональной морали пытки в ГБ могли бы в принципе существовать («зачем подследственный мешает нам работать?»), но как раз в общении со мной это оказалось бы для Управления совершенно

лишним инструментарием. Ибо я действительно сразу понял: засудят меня или нет, не зависит ни от каких показаний свидетелей или моих собственных. Гэбистов показания интересовали чисто технически — свидетели должны были «озвучить» (как сейчас говорят) оперативную информацию (а вот ее-то суду поставлять не положено). Если на следствии кто-то что-то лишнее ляпнет, офицеры болтовней, конечно, воспользуются, почему ж нет, но реально только одна оперативная информация считалась достоверной — на правах языческого предрассудка! (Впоследствии я использовал сие заблуждение чекистов, чтоб выигрывать у них разные партии.) После того как узнал, что в подельники ко мне намечено оформить лишь двоих людей (Эткинда и Марамзина), а для остальных судебные кары не предусмотрены, то считал для себя важным вывести из-под внесудебных ударов людей, что подвергались опасности из-за моего бывшего легкомыслия. Потому вариант, предлагаемый следователем, смотрелся выгодным для меня — по многим параметрам. Первое: такой ход позволял оставить за пределами внимания КГБ друзей, кто читал рукопись, но почему-либо не попал в поле зрения оперативного надзора (тех же Вахтиных, соседей по дому — Коробовых, врача А. Ланского, моего соавтора Ю. Гурвича и его жену и многих других). Второе (и главное в тактике): признав «причастность» тех, кого следователи будут «припирать» моими показаниями, я вынуждал ГБ показывать знакомым текст моих показаний. Но коли следователю не требуется свидетеля «садить», то ему ведь безразлично само по себе содержание показания, но только наличие — чтоб убедить приглашенных лиц «закрыть оперданнные». Поэтому я неизменно излагал, как тот или иной свидетель «давал мне отпор», «призывал отказаться от замысла» и пр. Следствию по-своему тоже это выгодно, ибо давало возможность демонстрировать в суде, какая у нас хорошая советская писательская публика и какой я отщепенец, если не внял предостережениям стольких хороших людей...

— *Допускали ли вы какие-то ошибки на допросах?*

— Разумеется, всегда выигрывать — не получается. Где-то я «прокололся», назвав кого-то, про кого следователь, оказывается, не знал (например, писательницу Марию Рольникайте). Но где-то «прокололись» профессионалы... В целом, ви-

дится, следствие я выиграл: удалось их убедить, что с показаниями, которые есть против Эткинда или Марамзина, тащить обоих в суд — невыгодно. Санкция на возбуждение дела против фигуры с такой международной известностью, как Эткинд (Ефим был не только мэтром в сфере поэтики, но крупнейшим в Союзе знатоком французской культуры, соответственно человеком, популярным во Франции), дали Большому дому с Лубянки, конечно, с условием, что дело в Питере подготовят основательно и юридически чисто. Судить и сажать такого деятеля без улик представлялось даже Андропову нежелательным. И потому я уверен, что жуткая, возмутительная кампания, развязанная против него в Союзе писателей и на Ученых советах, должна была завершиться не высылкой профессора в Париж (пустили щуку в реку, называется), а внеслужебной командировкой совсем в иную зону — в секретные места Мордовии или Пермской области. Но с набранным в итоге следственным материалом думать о процессе оказалось невозможно — и пришлось трубить отбой! Заменять Явас Парижем...

— *Следователи с Лубянки бывали с вами откровенны? Рассказывали какие-то байки?*

— Бывало. Вот пример: кто-то туда донес, что Эткинд дал мою рукопись артисту Сергею Юрскому, который якобы готовил тогда программу из стихов Бродского. Майор Рябчук уверенно мне про это рассказывал, и, признаюсь, я был здорово польщен! Сам Юрский... Какое ж возникло разочарование, когда через много лет Юрский приехал на гастроли в Израиль, я пошел к нему за кулисы, чтоб спросить, правду ли мне говорил в 1974 году Виталий Николаевич Рябчук, и артист твердо ответил: нет, ничего такого не было, ничего моего он не читал, они его тогда вызвали на допрос, «я им так прямо и ответил»... Может, у Эткинда мелькнула некая мысль, может, он озвучил ее дома, при включенных микрофонах, да тут же и забыл, — мало ли что приходит в голову, а идея-то была зафиксирована в оперативно-наблюдательном деле как свершившийся факт! Поскольку «припереть» Юрского моими показаниями не могли, он и остался в ситуации «недобросовестного свидетеля», и вот — артиста-премьера Ленинграда пять лет не выпускали на сцену...

Любопытный психологический феномен: Юрский и в

Иерусалиме отказывался поверить, когда я объяснил ему всю эту механику. Понятно: человек может смириться с наказанием даже суровым, если он действительно в чем-то виновен. Но никак не может впустить в голову, что сам, как говорится, «ни сном, ни духом» ничего не совершал, но по «неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса» (А. Солженицын) выкидывают его ни за что из театра — и на долгие годы... И намекал же ему главреж БДТ Товстоногов: «Пойдите в Большой дом, спросите, что они имеют против вас», — а Юрский не мог в такую абсурдную чушь поверить...

— *Расскажите, как вы спасали Машу Эткинд от ареста.*

— Среди оперативных сведений, которые они собрали в квартире Эткинда, была точная информация о том, кто передал профессору мою рукопись. Маша! Следователю для «зачистки» дела требовалось эту информацию «закрыть» свидетельскими показаниями. А я, конечно, уперся: как договорились с Эткиндом, все долбил свое — мол, все из рук в руки профессору отдал...

На одном из последних допросов Карабанов меня «расколот»: «Михаил Рувимович, я искренно не понимаю вашей позиции. Вы видите, что я ничего не придумываю — я не предполагаю, я точно знаю, что вашу статью Эткинд получил из рук Марии Ефимовны. В остальных случаях, когда вы понимали, что имеется информация, которой я точно владею, вы соглашались сотрудничать со следствием. Почему же именно в случае с Марией Ефимовной этот вариант не работает? Вот что меня заботит. Что вы такое особое в этом случае можете от нас скрывать?» — «Ладно, Валерий Павлович, постараюсь объяснить. Давайте чисто гипотетически предположим, что вы правы. Вывод? Мы с Эткиндом сидим в прежней позиции, но Маша-то несомненно будет обвинена в “распространении”. Зачем мне такие показания?» — «А, понял... Что ж, по-своему логично. Но поймите вы и мою логику. Мы не заинтересованы в аресте Марии Ефимовны. Только этого не хватает: на скамью подсудимых рядом с вами посадить молодую женщину с грудным ребенком... Никому это в органах не нужно. Но и невозможно закрыть дело, пока имеется явное расхождение оперативных данных со свидетельскими показаниями. Есть еще обстоятельство, неизвестное вам пока что. Уже принято решение разрешить семье профессора Эткинда

выехать в Париж. Но пока ваше дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах в Ленинграде. Как только суд кончится, Эткинды выезжают во Францию, это точно. Вы не против им в этом немного помочь?» — «Я хочу им помочь. Но не могу, Валерий Павлович. Над Марией Ефимовной в случае, если я приму как данность вашу гипотезу, может повиснуть обвинение по “семидесятке”. Нет!» — «А если предположить, что она не прочла тогда вашу статью? Зачем, на самом деле, ей читать? И, не знакомясь с содержанием, только узнав из заголовка, что статья о поэзии, о Бродском, отдала ее отцу как чисто литературоведческое сочинение. Тогда никакой ответственности она не подлежит...» — «Пожалуй, эту версию можно обдумать».

Через некоторое время мне дали очную ставку с Машей. Какая оказалась редкая умница — мгновенно схватила суть новой ситуации, хотя не понимала, зачем я изменил намеченный заранее с Ефимом план действий. «Мишину статью читала? Зачем? Это поэзия, а у меня грудной ребенок...» Врала с настоящей женской естественностью, так легко и быстро, что мне казалось — даже следователь начал ей верить, будто не он сам всю эту историю для нас придумал...

Но вот показания согласованы, следователь разрешил «поговорить о бытовых делах», пока сидит за пишмашинкой — оформляет протокол очной ставки, глубоко погружившись в ее текст. А сам, конечно, ушки наострил — вдруг интеллигентные простачки проговорятся о чем-то важном, думая, что он их не слушает...

— Как дела в доме? — спрашиваю.

— Все по-прежнему.

— Как (называется чье-то имя)?

— Нормально.

— Как В.?

— В Париж уехал.

— Гонорар получил?

— Да.

Ничего интересного, правда? И следователь ничего интересного не слышит... И УСЛЫШАТЬ не может — потому что при словах «гонорар получил?» я яростно тычу в грудь рукой. И Машка — все сразу поняла! Это была самая важная для меня в то время информация — сообщить на волю, кто в

нашем доме стукач. Пусть не поверят (не поверила, как выяснилось позже, даже моя жена) — но уж психологию-то писателей я знал хорошо: больше при В. откровенничать никто не будет. Береженого Бог бережет...

— *Почему вы до сих пор отказываетесь назвать имя этого В.?*

— Мне его жалко. Он, по моей личной оценке, главная пострадавшая фигура в этом деле. Кстати, его имя не раз называлось — прежде всего Соловьевым в его романе «Три еврея», да и сам В. писал о своем сотрудничестве с органами в «Ленинградском литераторе»... Но он человек слабый, а у них разработаны качественные методики для вербовки слабых людей (меня самого раз десять, возможно, вербовали, поэтому я точно это знаю). Его сломали — и пусть ему судьей будет Бог, а не я.

— *Как вас наградила родина за ваш вклад в бродсковедение?*

— Получил шесть лет: четыре — зоны и два — ссылки. На самом деле, мне, по их расчетам, полагалось меньше (уже после моего прибытия в зону следователь В. Карабанов вызвал мою мать и жену и предложил — «как частное лицо»! — чтобы я написал просьбу о помиловании, обещав, что в таком случае «Михаил Рувимович через год будет воспитывать своих детей». Жена живо описала это действие в письме, доставленном в зону: «Он меня спросил: “А вы-то что сами для своего мужа хотите?” — “Я хочу, чтоб он остался тем же, кем был — порядочным человеком”. — “Вот вы какая!” — заорал он, потея от злости»). Увы, я, как раньше и сам Бродский, отказался признавать себя виновным и потому должен был поиметь самую высшую, допускаемую судебной практикой меру от Ленгорсуда. Впрочем, он все же смягчил просьбу прокурора от ГБ на один год — вместо семи дали шесть...

— *Как реагировала ленинградская интеллигенция на дело Хейфеца?*

— Дело Хейфеца вызвало неожиданный общественный резонанс. До тех пор молодая литературная школа в Ленинграде рассуждала так: трудно жить и работать при советской власти, но Россия — единственное место в мире, где способен творить русский писатель. Что бы ни было, здесь всегда сохранялся шанс работать творчески, одновременно как-то зарабатывая на жизнь — переводами, дубляжом фильмов, халтурками на малых студиях, внутренними рецензиями. Сама

идея отъезда из СССР выглядела духовно порочной — если исключить, конечно, возникновение еврейского национального сознания в чьей-то литературной душе. В этом варианте считался допустимым и отъезд. Но таких случаев было ничтожно мало.

Кажется, в 1973 году я получил вызов из Израиля. Узнав об этом, Боря Стругацкий сказал мне: «Дезертирство это, Мишка! Мы держим фронт. Сплошной линии нет, каждый сидит в своем окопчике. Но я всегда знал, что где-то за горизонтом в своем окопчике сидит Мишка. И — было легче держать оборону. Сейчас ты дезертируешь. Езжай. Твой выбор. Но мне — будет труднее...»

Когда же рассказал о вызове Юрию Осиповичу Домбровскому, он откликнулся: «Значит, меня одного оставляете?» — «Но здесь я никому не нужен». — «Вы не нужны здесь только тем людям, которые сами тут никому не нужны. А России вы нужны».

Я повздыхал... и остался. Так же мыслили все мои сверстники в тогдашней молодой литературе. И Бродский тоже от нас не отличался: перечитайте-ка его предъотъездное письмо на имя Брежнева! Марамзин — тот, даже выйдя из зала суда, не собирался эмигрировать: «Что русский писатель будет делать на Западе!»

Но когда через шесть лет я вернулся в Ленинград, то застал — литературную пустыню. Уехали из города почти все знакомые литераторы, не только изгои, но даже люди, признаваемые властями. Город будто опустел!

Я вовсе не связывал пустошь с собственным «делом»: слишком скромное место в литературной жизни города занимал. И осознал связь случившегося с собой, только прочитав уже в Израиле повести Сергея Довлатова. Мы с Сергеем практически не были знакомы (изредка раскланивались в Союзе писателей, и все). Тем не менее я упомянут четырежды в его собрании сочинений. Вот, к примеру, цитата из «Заповедника»:

«— Я не поеду. Пускай они уезжают (*говорит жене герой повести, «Далматов»*).

— Кто они? — спросила Таня.

— Те, кто мне всю жизнь отравляют. Вот пусть они и едут.

— Тебя посадят.

— Пусть сажают. Если литература — занятие предосуди-

тельное, наше место в тюрьме... И вообще за литературу уже не сажают.

— Хейфец даже не опубликовал свою работу, а его взяли и посадили.

— Потому и взяли, что не опубликовал. Надо было печататься в «Гранях». Или в «Континенте». Теперь вступиться некому. А так на Западе могли бы шум поднять.

— Ты уверен?

— В чем?

— Что Миша Хейфец интересуется западную общественность?

— Почему бы нет? О Буковском писали. О Кузнецове писали... Еще раз говорю — не поеду.

— Объясни — почему?

— Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна... Как раз березы меня совершенно не волнуют.

— Так что же?

— Язык. На чужом языке мы теряем 80 процентов своей личности. Мы теряем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит».

Как всякий истинный писатель, Сергей уловил глубинные мотивы в психологии наших коллег: «Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново. Да еще по собственной воле. Большинство людей и жениться-то как следует не могут».

Но в финале повести герой уезжает в Штаты!

...После моего «дела» множество питерских молодых литераторов, у кого оказалась возможность уехать по израильской визе, покинули Ленинград. В Мичиганском университете еще раньше профессорствовал Иосиф Бродский, в Дартмутском сделался профессором Лев Лосев, в парижской Сорбонне — профессорствовал Ефим Эткинд, в редакции парижского «Континента» и «Эха» работал Владимир Марамзин, Игорь Ефимов организовал издательство «Эрмитаж». В «Новом американце» появился редактор — Сергей Довлатов.

А в Иерусалимском университете позже всех начал службу новый научный сотрудник — Михаил Хейфец.

— Сейчас фигура Бродского предстаёт перед читателем то бронзовым монументом, то объектом идеологических спекуля-

ций и кладом версификационных находок. Каков для вас реальный Бродский сегодня?

— Я по-прежнему больше люблю «своего», то есть раннего, «русского» Бродского. Из поздних сочинений ближе некоторые куски прозы. Да, понимаю всю искусность, глубину мыслей в стихах «заграничного» периода, но сердцу не прикажешь — ранний Бродский ближе...

Главный урок, извлеченный из собственного общения с феноменом Бродского, — это вера в справедливость объекта, которым я сам преимущественно занимаюсь. Иосиф воспринимается как «монумент», как «классик»? Значит, есть смысл оставаться верным себе, пренебрегая соблазнами — деньгами, признанием (властей или общества — все едино), личными успехами. Не получится — значит не получится, значит не дано было свыше, но только так, сохраняя верность себе, можно чего-то прочного в жизни достичь.

Иосиф — это человек, который реализовал себя. В этом для меня главный урок этой жизни. А что еще человеку надо?

— *Мне хотелось бы обсудить с вами еще одну важную тему: Бродский и еврейство. Как по-вашему, имя Иосифа родители дали ему в честь библейского Иосифа или в честь великого тирана?*

— Несомненно, в честь великого вождя Иосифа Виссарионовича. Это довольно искусно придумали — с одной стороны, вполне еврейское имя, привычное для семьи и для еврейской родни и окружения, с другой, — имя верноподданное. Даже более чем!.. Все-таки отец работал в печати, так ведь?

— *Бродский не стыдился и не гордился своим происхождением. Объясняя причину своего ареста, он сказал: «Так случилось, что я соединял в себе два привлекающих внимание качества — я писал стихи и был еврей»¹. Кто он был в первую очередь — еврей или поэт?*

— Любопытный вопрос. И, несомненно, имеющий право на существование. Примерно как спросить — кем был, в первую очередь, Вальтер Скотт или там Джонатан Свифт — британским писателем или шотландцем, ирландцем... Разрешите

¹ James Atlas. A Poetic Triumph // New York Times Magazine. October 21. 1980. P. 34.

немного отвлечься в теорию, чтобы моя позиция по этому вопросу стала яснее будущим читателям.

Я разделяю теорию парижского исследователя Д. Гузевица, что в России давно существуют две культуры — российская, имперская, и русская, народная. Всякая имперская культура создается из потоков, питаемых культурами всех народов, в империю входящих, — она принимает из этих культур какие-то подходящие ей ценности или наоборот отвергает их, если они почему-либо интересам империи не соответствуют. Причем это относится к культуре имперообразующего народа тоже, т. е. к русской. Пример, приводимый Гузевичем, особенно ярок: Императорская Академия наук более ста лет состояла почти на 90 процентов из этнических немцев, однако несомненно была великим феноменом российской культуры (но не русской). С этой точки зрения Пушкин, например, есть великий российский поэт, недаром он писал — «и назовет меня всяк сущий в ней язык», а вот Кольцов или Ершов, жившие в ту же эпоху, — конечно, поэты русские. Гоголь — великий российский писатель, а его современник Шевченко — великий украинский поэт, Блок — российский поэт, а Есенин — русский поэт. Это два разных явления, хотя близких, — российский и русский, и их изучение, конечно, вполне достойно стать предметом в литературной науке.

С этой позиции, Бродский — конечно, великий российский поэт, но не русский...

— *Я позволю себе вмешаться в ваши рассуждения. Манера чтения Бродского собственных стихов многими воспринималась как имитация иудейской молитвы. Голос, интонация — всегда были для Бродского сутью поэта. «Биографии не оставалось ничего другого, как следовать за голосом, постоянно от него отставая», — пишет он о Цветаевой¹. Если то же самое происходило и в случае самого Бродского, как нам отделить иудея от русского поэта?*

— Я именно полагаю, что нечто еврейское (возможно, интонация, голос — вы правы!) вмешивалось постоянно в его поэзию. Как, скажем, шотландские мотивы в творчество Валь-

¹ Иосиф Бродский. Поэт и проза // Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. Т. 5. С. 133. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.

тер Скотта, как «байронизм» или «шекспиризм» в творчество имперского дворянина Пушкина... Но зачем — «отделять»? Это естественное свойство имперской культуры, какой российской культура являлась по своей сути, — вливание в нее каких-то интонаций других, нерусских народов, тем паче со стороны такого мощного потока, каким в XX веке являлось в империи влияние российского еврейства.

— В 1963 году Бродский пишет библейскую поэму «Исаак и Авраам». Чего в этой поэме больше: Библии или Кьеркегора?

— Я думаю, что Библия там сыграла лишь сюжетообразующую роль. То есть самую минимальную. Сомневаюсь, что поэт в Ленинграде 1963 года мог что-то знать о комментариях к Библии, то есть про *осмысление* евреями ее сюжетов. О Кьеркегоре — не думал, не знаю. Но вполне возможно, что поэма отразила собственное отношение Бродского к жизни, и в чужих влияниях он вообще не нуждался. Но, повторяю, просто не знаю...

— Вашу точку зрения разделяет и Шимон Маркиш: «“Исаак и Авраам”, — пишет он, — сочинение еврейское не в большей мере, чем „Потерянный рай” Мильтона или „Каин” Байрона, или библейские сюжеты Ахматовой»...¹ Однако другие исследователи творчества Бродского видят в этой поэме иудейскую символику куста и образа бредущей с песком травы-скитальца. Михаил Крепс трактует этот образ как «первое вещественное олицетворение еврейского народа»². Насколько убедительно для вас подобное толкование?

— Все неубедительно. То есть я вполне допускаю, что в тот период воображением Бродского владела символика национального, группового пути в человечестве — в частности, и еврейского тоже, почему ж нет? Но на самом деле это были образы, которые возникали в подсознании многих его российских современников, вовсе не только у евреев (может быть, даже не столько). Как раз вскоре появились и русские «деревенщики», появились и украинские национал-демократы —

¹ Шимон Маркиш. «Иудей и Еллин»? «Ни Иудей, ни Еллин»? // Иосиф Бродский: Труды и дни / Сост. Лев Лосев и Петр Вайль. М.: Независимая газета, 1998. С. 209.

² Михаил Крепс. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor: Ardis. 1984: С. 162.

Стус, Светличный, Дзюба, Калининцы... Судьба групп в человечестве, неких «категорий», что ли, через которые все человечество только и может себя выявить, внезапно возникла в воображении целого советского поколения — и великий поэт, рожденный в этом поколении, естественно, это подсознание и выразил... А что сделал он это на еврейском примере — так это ж Библия, то есть общеимперская книга для всей России.

— Зеев Бар-Селла пишет в одной из своих статей, что «после „Исаака и Авраама“ у Бродского было два пути: перестать жить или перестать быть поэтом. Он нашел третий путь: перестал быть еврейским поэтом»¹. Насколько серьезно можно воспринимать этот упрек?

— Опять мне придется отвлечься в теорию. Кто есть в принципе национальный литератор, чем определяется чья-то принадлежность к национальной литературе? Кровью в жилах? Тогда Гоголь точно не русский писатель, как и Блок, как и Фет, как Василь Быков, к примеру... Языком, на котором он пишет? Тогда Жаботинский — русский писатель (хотя на самом деле — несомненно еврейский). В моем представлении принадлежность писателя к той или иной национальной культуре определяется тем, к какой аудитории он мысленно обращается. Пушкин не африканский писатель, а российский, потому что обращался ко всем читателям Российской империи. Достоевский не поляк, а российский писатель, потому что его аудитория — аудитория российская. С этой позиции Бродский никогда не был еврейским писателем и не собирался им становиться — потому что мысленно обращался к читателям Российской империи (Советского Союза). Даже стихи, написанные на «еврейскую тему», вроде «Еврейского кладбища», стихи, вызванные некими особенностями еврейского существования («отщепенца» в обществе), были своего рода откликом на общеимперские темы, общеимперские вопросы. Пусть сам этого не осознавал, как любой поэт, творящий для себя, естественно, не для кого-то вонне, но «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», в этом я согласен с Лениным. Он с самого начала был и оставался российским поэтом и не мог, и не собирался становиться еврейским —

¹ Зеев Бар-Селла. «Страх и трепет» // [альманах] 22. 1985. № 41. С. 213.

«ни при какой погоде». Даже если бы приехал в Израиль, все равно — я думаю, не стал бы еврейским поэтом.

— *Почти одновременно с поэмой «Исаак и Авраам» Бродский пишет «Большую элегию Джону Донну». Стоял ли он в этот период перед мировоззренческим выбором между иудаизмом и христианством?*

— Ни в коем случае. Во-первых, ничего об иудаизме не мог знать вообще — я все-таки входил примерно в тот же круг литераторов в те же годы и уверенно говорю: ничего об иудаизме знать конкретного он не мог. Некому было нам рассказать! Честно признаться, я абсолютно не верю и в его христианство: это была просто тяга к Богу, которая в тот период была очень распространена в безбожном и потому аморальном обществе, искавшем интуитивно спасение от себя самого. Конечно, было у него общекультурное знание христианства — через музыку, через живопись, через русскую публицистику, но до подлинно религиозной веры от этого познания еще очень далеко. А уж об иудаизме — даже и этого минимума не было вовсе.

— *То есть вы не чувствуете противоборства иудейской и христианской парадигм в судьбе Бродского?*

— Ни в коей мере. Разумеется, были некие еврейские особенности в его судьбе (по словам критика Володи Соловьева, некая завпоэзией «Авроры» отвергла стихи Бродского, даже когда некто влиятельный порекомендовал что-то напечатать, причем отвергла с мотивировкой: «Какое право имеет Бродский писать о русском народе!» — тут хочется вспомнить знаменитое ленинское: «Права не дают, права берут»), но они не сыграли в этой судьбе никакого значения. Или ты поэт, или нет, прочее несущественно.

— *Сформулирую вопрос иначе. Из трех составляющих мироощущение Бродского — иудейства, античности и христианства — какая доминирует?*

— Я думаю, цивилизационно доминирует (вы ведь об этом спрашиваете меня?) российская культура с ее мировым пространством, возникшим для нее во второй половине XIX — XX веках.

— *Какую роль играло еврейство в формировании «внутреннего ландшафта» поэта?*

— Ну как на это ответить? Он всегда знал, что — еврей.

Даже картавил, да? И все окружающие это знали. Ну и что? На самом деле, антисемитизм в бытовом отношении проявляется, по-моему, когда ты чем-то раздражаешь соседа лично, ну он ищет, чем тебя зацепить, а твоя национальность — лишь удобная зацепка. Но бедность Бродского, его бытовая неустроенность виделись всем настолько очевидными («но двух рублей давно не видя вместе»), невозможность прорваться в печать (разве что ценой отречения от себя) настолько ясными, что кому же он мог казаться предметом зависти или отторжения? А то, что государство дискриминировало евреев первыми в очереди, да, это правда, но оно на самом-то деле с большой разборчивостью осуществляло политику в этом вопросе, и евреи, служившие партии, а особенно сексотами КГБ, были совсем неплохо устроены в СССР. Так что все-таки первое место отводилось, как говорится, «классовым», а не национальным особенностям: ты — за или ты — против? А поскольку Бродский всегда был не то что «против», а просто «вне» советской власти, он и воспринимал происходившее с ним вне своего «еврейского ландшафта». Ну да, еврей — знал это, это некая данность, в какой-то мере, видимо, на что-то влиявшая, — все мы явились на свет в силу того, что наши предки проявили свою волю к продолжению себя в человечестве, и в этом смысле все мы создания не только себя самих, но и той группы в человечестве, которая через нас в нем продолжает существовать, но это все равно что спросить, скажем, Кондолизу Райс, в какой мере цвет ее кожи определяет «ландшафт» ее деятельности как госсекретаря США.

— Под «внутренним ландшафтом» я имею в виду такой идеосинкретический ландшафт, на который проецируется лирическая личность поэта. Процитирую самого Бродского: «Видимо, всегда было какое-то «я» внутри той маленькой, а потом несколько большей раковины, вокруг которой «все» происходило. Внутри этой раковины сущность, называемая «я», никогда не менялась и никогда не переставала наблюдать за тем, что происходит вовне» (5:16). При этом предельная подвижность перспектив становится одним из принципов построения «внутреннего ландшафта». А разве такие качества; как сторонний наблюдатель, безымянный человек, «совершенный никто», для которого «любая страна — всего лишь продолжение пространства», не намекают на его еврейство?

— Нет. Извините за резкость, но у вас древнее представление о сути еврейства. Конечно, некогда евреи жили именно так, как вы себе представляете, — рядом, но не вместе с земляками-аборигенами, отдельной жизнью, которую государственные границы могли разделить только очень условно. Для большей ясности — бытие евреев напоминает, скажем, бытие дворян, для которых главной ценностью обычно являлся род, семья, честь семьи или личная честь, но то или иное подданство — позиция относительно случайная, часто выбранная (скажем, дворянин в России мог «отъехать» от сюзерена к другому, например, от Гедеминовичей к Романовым или наоборот, и это ничего не меняло в его жизни). Как это вы определили: «Любая страна лишь продолжение пространства». Именно так. Но начиная со второй половины XIX века евреи сделались патриотами стран проживания, я бы сказал — на мой вкус — даже излишне горячими иной раз патриотами. Слишком уж активными! И Бродский, мне видится, вовсе не составлял исключения из общееврейского фона. Он был и оставался патриотом, но — империи русского языка, империи российской культуры — все ассоциации, оттенки смыслов, языковые поиски и игры — всё было связано с ней. Почему думаю, что не ошибаюсь? Перечитайте его письмо на имя Брежнева, написанное перед самым отъездом. Да и ситуация, когда органы вынуждены были «выдворять» его из СССР, угрожая посадкой, — говорит о том же самом. Позднее, в Америке, он этой позиции стыдился, я знаю, но по сути он оставался и там «подданным русского языка».

— *Бродский идентифицировал себя со многими известными личностями, как историческими, так и мифологическими, в том числе и с его современниками-евреями, как, например, сэр Исайя Берлин. Что он мог видеть общего с этим либералом и сионистом, кроме еврейства?*

— Вы же сами сказали — со многими личностями, не только с евреями. Что касаясь конкретно сэра Исайи Берлина, возможно, увлекало сходство судеб: оба — евреи из Российской империи, оба евреи, овладевшие английским языком так, что вызывали восхищение и зависть тех, для кого этот язык был родным, оба евреи, которые учили британскую (американскую) элиту их собственной культуре, которую они знали и понимали лучше кого бы то ни было из местных... Что касает-

мо сионизма сэра Исаяи, то это был сионизм, сопряженный с симпатией к еврейскому народу, но с глубоким неуважением к его наличным лидерам — допускаю, что подобный подход и Бродскому импонировал... Не знаю ничего, но допускаю. Во всяком случае, в Израиль он отказался приехать, хотя я лично передал ему приглашение от мэра Иерусалима Тедди Колека. Так что, как видите, многое могло лично связывать Бродского с Берлиным, помимо либеральных взглядов последнего, которые поэту уж наверняка не нравились — если есть в мире нечто противоположное поэтическому видению мира, то это — либерализм.

— *Вам не кажется, что Бродский воспринимал иудаизм и христианство как культурные категории?*

— Не думаю, что он размышлял над этим, честно признаться. Мне кажется, церковное для него было вовсе посторонним, как и советское. Оно задевало его по касательной, как все существовавшее в мире, но — не вижу, чтоб это являлось предметом его интереса.

— *На вопрос, верующий ли он человек, Иосиф отвечал: «Я не знаю. Иногда да, иногда нет»¹. Какое у вас впечатление?*

— Для меня это доказательство, что он приблизился к Богу, насколько это возможно для человека. И, потрясенный Его необозримостью, иногда протестовал — против своей неизбежной человеческой ограниченности.

— *Бродский поддерживал идею многобожия (см. «Путешествие в Стамбул»), считая, что «конфликт между политеизмом и монотеизмом... одно из самых трагических обстоятельств в истории культуры»². Уже по этой причине он, казалось бы, не может быть увлечен иудаизмом. Однако его поэма «Исаак и Авраам» заставляет нас задуматься о роли иудаизма в мировоззрении Бродского.*

— Я — человек примерно того же поколения (чуть старше) и окружения, жил в том же городе. И я, например, узнал самый термин «Устная Тора» (главный в иудаизме!) от своей дочки, вернувшейся с урока в израильской школе. В возрасте 46 лет!

¹ Иосиф Бродский. Рождественские стихи. М.: Независимая газета, 1996. С. 68.

² Там же. С. 67.

В конце концов, сюжет «Исаака и Авраама» заимствован из Библии, которая, конечно, священная книга иудаизма, но ведь христианства — тоже, и в исламе многое в ней признают и почитают. Так что никакой конкретной связи с иудаизмом я увидеть в нем не могу.

— По мнению Льва Лосева, «начиная с «Рождественского романа», календарь поэзии Бродского только христианский, определяемый не датами солнцеворотов, а Рождеством, Пасхой, Сретеньем»¹. Значит ли это, что он поэт христианский?

— Не верю и в это. Конечно, признание христианских праздников означало отторжение аморальной советской жизни, опору на Бога, на некую Божественную традицию, но отсюда до «христианского поэта» еще очень и очень далеко. Для пояснения: автор «Гавриилиады» — поэт христианский? А ведь наверняка чтит и соблюдает все праздники.

— Да, но для Бродского, с одной стороны, христианство было связано с идеей структурирования времени, а с другой — он принимал Христа за Богочеловека: «В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный... с тех пор как я принялся писать стихи всерьез... я к каждому Рождеству пытался написать стихотворение — как поздравление с днем рождения»². В какой степени интерес Бродского к христианству оттолкнул от него еврейских читателей?

— Ни в какой. Кто любил поэзию, тот любил Бродского, а кто любил себя как «избранных», тому до Бродского как поэта дела не было. Их могло раздражать, что он не поехал в Израиль и не послужил «великому делу сионизма», это я допускаю (даже немного про это знаю), но какое это имеет отношение к читателям? Эти господа его бы не читали — им он требовался в ином, непозитическом качестве.

— Кстати, почему, на ваш взгляд, Бродский отказывался поехать в Израиль?

— Мне лично ответил по-бытовому: «Зимой я работаю, сам видишь (мы встретились в Амхерсте, где он преподавал), занят, а летом у вас слишком жарко для моего сердца». Я был

¹ Лев Лосев. «Ниоткуда с любовью» // Континент. 1977. № 14. С. 321.

² Иосиф Бродский. Рождественские стихи... С. 58.

очень глуп и, не зная его материальных обстоятельств, соблазнил гостевой комнатой у себя в квартире и обещал сам водить по Иерусалиму и Израилю... Но на самом деле я не очень ему поверил. У меня возникло ощущение, что его что-то отталкивало... Он даже что-то такое говорил, помнится, про каких-то идиотов (это мое определение, он выражался не так резко), которые в Вене, узнав, что он заворачивает в Штаты, провели демонстрацию с лозунгом «Позор Иосифу Бродскому!». Все могло быть, евреи такой же народ, как всякий другой, и дураков у нас хватает без ограничений. Но, возможно, ощущал какую-то неловкость, какую-то неестественность при столкновении весьма благополучного американского поэта с вечным Иерусалимом, с тем кустом, о котором вы упомянули, с тем Богочеловеком, который там был просто человеком и ходил босыми ногами по этим самым камням... Это мой домысел, но мне так увиделось.

— *Можно ли обратить слова Бродского о Цветаевой на него самого: «Цветаева-поэт была тождественна Цветаевой-человеку; между словом и делом, между искусством и существованием для нее не стояло ни запятой, ни даже тире: Цветаева ставила там знак равенства» (5:180)?*

— Я этого не понимаю, может быть, просто не чувствую. В моем ощущении творец вкладывает лучшее в себе в поэзию, при этом отсекая, иногда произвольно, все пошрое, что есть в каждом из нас. И в нем тоже. В Бродском-человеке была, конечно, пошлость, как она есть во мне, в вас, в любом. А вот в его поэзии я ее не ощущаю. Для меня поэт — идеал, какой Бродский лепил, хотя из себя самого, из своей реальной личности.

— *И наконец, последний и, может быть, самый важный вопрос. Какую роль сыграло еврейское происхождение Бродского в том, что мы оказались современниками самого большого русского поэта второй половины XX века? Не питало ли оно энергией все творчество этого еврейского мальчика, родившегося в антисемитской стране?*

— Кто это знает? Ваш вопрос напомнил мне давнюю беседу со следователем КГБ, тонким и умным человеком В. П. Карабановым. Он тоже пытался выяснить у меня, не питается ли моя позиция, изложенная в предисловии к пяти-томнику Бродского, «энергией еврейского мальчика, родив-

шегося в антисемитской стране», если использовать ваше выражение. Так вот, я отвечал ему, помнится, что евреи должны быть благодарны советской власти за ограничения, которые она воздвигала на их путях. (К слову, хотя это и в сторону от нашего сюжета: лично я думаю, что антисемитизм тут играл третьестепенную роль, а главным было сохранение некоей группы людей в постоянном напряжении, чтобы их энергию и усилия можно было всегда использовать там, где это властям вдруг понадобится — и без особых усилий и расходов на них: например, при создании атомной бомбы, каких-то ракет и прочей электроники... Тогда приоткрывали крышку дискриминации и кого-то способного выпускали «на волю», и уж он или они старались свыше всякой меры!) Благодаря стеснениям, евреи менее развращались «государственной хлявкой», менее воспитывались советскими людьми — не по политическим убеждениям, тут у каждого по-разному складывалось, а по менталитету, по отношению к своей судьбе: в еврейской среде действительно господствовало сильное убеждение, что для того, чтоб добиться в жизни того, что как бы «положено» русскому или иному аборигену, еврею нужно выложиться много сильнее (необязательно в добром направлении, но это уж — проблема иная). Так что возможно, вы правы. Но это никто никогда не узнает, потому что «случилось то, что случилось».

ЛЕВ ЛОСЕВ, АВГУСТ 2004

— *Мы в свое время беседовали о вашем знакомстве и дружбе с Бродским в Ленинграде. Как часто вы общались с ним в Америке?*

— Когда как. Первые три года, когда и он и мы жили в Энн Арборе, очень часто, почти каждый день. В семьдесят шестом году, когда мы только приехали в Энн Арбор и пока еще не нашли квартиру, мы — я с женой и двумя детьми — жили у Иосифа целый месяц. Жалко его было. Подниматься рано утром для него всегда было мучительно. Помните: «неохота вставать, никогда не хотелось»? Но своей машины у нас еще не было, а детей надо было отвозить в школу, и ему приходилось это делать. Потом мы переехали в Нью-Гемпшир, а вскоре и он покинул Энн-Арбор и стал жить попеременно в Нью-Йорке и Саут-Хедли. Саут-Хедли — это всего часа два от нас на машине. Одно время, в середине восьмидесятых, он довольно часто приезжал к нам. У него тогда были и другие близкие люди в нашем колледже. Я тогда нередко ездил в Нью-Йорк и почти всегда останавливался у него или у его друзей в том же доме. В последние годы, девяностые, встречались редко — раз-два в год. Но по телефону подолгу разговаривали. Обычно звонил он — прочитает только что написанные стихи, или ему не терпелось рассказать новый анекдот, или надо было навести справку, ну а потом начинался длинный разговор. В последний раз я с ним говорил примерно за месяц до его смерти, а виделись мы последний раз в мае

Интервью без указания места их проведения были взяты по электронной почте.

Лев Лосев (род. в 1937 г.) — поэт, эссеист, автор книг стихов «Чудесный десант» (Тенаfly, 1985), «Тайный советник» (Тенаfly, 1987), «Новые сведения о Карле и Кларе» (СПб., 1996), «Послесловие» (СПб., 1998), «Sisyphus redux» (СПб., 2000) и др. Лауреат Санкт-Петербургской премии «Северная Пальмира» (1997). С 1976 года живет в США.

девяносто пятого года. Мы с Ниной приезжали к нему в Саут-Хедли.

— *Вы навещали его в Маунт Холиоке? Расскажите о его жизни в этом городке, который мне показался еще скучнее, чем Энн Арбор.*

— Маунт Холиоок — это название колледжа, а городок называется Саут-Хедли. Городок, действительно, игрушечный — небольшой кампус старинного женского колледжа Маунт Холиоок в центре и вокруг несколько кварталов белых с зелеными ставнями новоанглийских домов, где живут преподаватели. Но так же, как Маунт Холиоок входит в консорциум вузов, в котором кроме него Амхерст-колледж, Смит-колледж, Массачусетский университет и Хэмпшир-колледж, так и городишки переливаются друг в друга: Саут-Хедли, Амхерст и Нортхэмптон. Так что получается в сумме приличного размера населенный пункт, где у Иосифа было много друзей и знакомых. Он любил свою нью-йоркскую нору в Гринвич Виллидж и свои полдома в Саут-Хедли. (Кстати, сейчас, буквально вот в эти дни, делаются последние отчаянные попытки спасти это жильё Иосифа от сноса и замузееить его.) Это было очень удобно — можно было убежать из Нью-Йорка в Саут-Хедли и из Саут-Хедли в Нью-Йорк. Между двумя жилищами автомобильной езды два часа, а с превышением скорости и полтора.

Хотя телефон звонил и посетители появлялись и в Саут-Хедли, но все же не так, как в Нью-Йорке. Так что Саут-Хедли был для него вроде убежища, где можно спокойно поработать. Вроде Комарова или Переделкина, только без писателей.

В американском документальном фильме, снятом вскоре после Нобелевской премии, есть эпизод, где Иосиф с вершины холма смотрит на Саут-Хедли, на долину реки Коннектикут, в тех местах она называется Пайонир-вэлли (Pioneer Valley), и говорит, что вот не такое уж плохое место, чтобы быть похороненным. Такой вариант обсуждался после его смерти — похоронить его где-нибудь под деревом прямо на кампусе, но оказалось, что это не разрешается законом. Потом колледж повесил на стену дома, где жил Бродский, бронзовую табличку с очень красивой фразой, сказанной на панихиде одним профессором в прощальной речи: «Здесь при-

ходили к нему слова, и он возвращал их в вечность произнесенными своим голосом». Сейчас участок этот продан, дом вот-вот снесут, а куда денут табличку, я не знаю.

Что касается скуки — мне кажется, что Иосифу никогда не было скучно с самим собой.

— *Объединяет вас с Бродским кроме любви к поэзии и общий дар дружбы. Кроме Юза Алешковского и Томаса Венцловы какие у вас с Бродским есть/были общие друзья в Америке?*

— Я не могу сказать, что мы с Томасом близкие друзья. Он замечательно талантливый человек, и мне всегда очень интересно и приятно с ним встречаться, но это происходит очень редко. Познакомил нас Иосиф уже в Америке. Кроме Юза у нас с Иосифом есть еще один общий друг в Америке — это Гарик Гинзбург-Восков. Он приехал в Энн Арбор в 1977 году и до сих пор живет там. Иосифу он был больше чем друг, — как старший брат. Иосиф познакомился с Гариком в ранней юности, почти подростком. Сейчас не осталось другого человека в мире, который бы так интимно, по-семейному понимал характер Бродского.

— *Люда Штерн рассортировала все окружение Бродского по четырем категориям: кого он любил, к кому хорошо относился, кого терпел, кого на дух не выносил. Попадут ли в разные камеры «ахматовские сироты»?*

— Я полагаю, что у всех нас знакомые относятся к этим четырем категориям. Из «ахматовских сирот» (дурацкое название!) Иосиф нежно любил Рейна. Из остальных, по известным причинам, одного презирал, а другой его раздражал.

— *Известно, что Бродский не терпел вокруг себя определенный тип людей. Как бы вы охарактеризовали этот тип?*

— Не знаю, как насчет типологии, но были у него такие постоянные определения для тех, кто ему сильно не нравился. «Баранина в глазах» — о бессмысленных и назойливых энтузиастах чего-либо. Это чаще о соотечественниках. «Костюмоноситель» — о пустых, претенциозных господах. Это чаще об американцах.

— *Иногда Бродскому трудно было не только с другими людьми, но и с самим собой. У меня было такое впечатление, что он не любил себя. В письме к Сергееву он говорит о своем «гнусном характере». Трудный у него был характер?*

— Об отношении к самому себе, о постоянном сознании

собственной экзистенциальной вины у Бродского очень много сказано в стихах и в интервью. Мне к этому нечего прибавить. А характер — «нрава он был не лилейного». В молодости часто высказывался с обидной прямолинейностью, дерзил. С годами, конечно, стал вежливее, тактичнее. Кроме того, он жил с нестандартной скоростью и этим мог причинять окружающим неудобство и огорчение, поскольку люди, живущие в обычном человеческом темпе, воспринимали это как непостоянство. Но это я сужу со стороны. К нам с Ниной он всегда относился очень деликатно. Мне с ним было легко.

— *При всем при том, он оставался в любой ситуации самим собой, а для этого следует хорошо знать себя. Как, на ваш взгляд, он относился к самому себе? С любовью, с уважением, с гордостью, с должным смирением?*

— На каждый из этих пунктов можно ответить: знал себе цену.

— *«Люди, которые занимаются поэзией, — самые совершенные в биологическом отношении образцы человеческого рода», — говорит Бродский в одном интервью. Разделяете ли вы столь политически некорректное заявление?*

— Это ведь не рациональное умозаключение, а метафора, по-настоящему понятная только в контексте других метафорических высказываний Бродского о поэтах и поэзии. Понимать и «разделять» это буквально — нельзя.

— *Бродский несколько раз пишет о предательстве и в стихах и в прозе: «неважно, сколько раз тебя предавали». Что конкретно он имеет в виду? Предательство женщин, друзей, знакомых? Или что-то более глубокое и общее?*

— Думаю, что «предательство женщин, друзей, знакомых».

— *Его самого тоже продолжают обвинять в предательстве: отказался приехать в родной город и получить звание почетного гражданина, не вернулся в Россию, и вплоть до истеричных выкриков: «нет не любил он, не любил, не любил он родину». Стоит ли защищать его от пошлости неправды? Или лучше нам вспомнить слова самого поэта: «И защищать тебя / от вымысла — как защищать деревья / от листьев с ихним комплексом бесвязно, / но внятно ропщущего большинства»?*

— Обвинения в «предательстве» — полная чушь. Они — свидетельство ущербности обвинителей. Ведь кто обычно распадается в любви к родине, «обижается за державу» и т.п.?

Те, кому нужно заполнить пустоту в душе заемными символами — березками, двуглавыми орлами, осьмиконечными крестами или там шестиконечными звездами, звездами и полосами... Для Бродского родина — это люди, страдания которых он разделял в сумасшедшем доме, в вагонзаке и на колхозном поле, это «уступчивость речи русской», это русская литература, петербургская архитектура. От этой родины его оторвать невозможно, она — его стихи, его кровь и плоть.

— *Что вы знаете о «карьере» летчика? Он учился летать в Мичигане. Вам не кажется, что без этого опыта он не написал бы свое послание человечеству «Крик осеннего ястреба»?*

— Он в юности очень увлекался книжками Сент-Экзюпери «Ночной полет» и «Земля людей». В Энн Арборе взял несколько уроков. Бросил это дело главным образом потому, что для пилотирования самолета нужно научиться очень четко пользоваться профессиональным языком летчиков и авиаконтролеров, а у него и обычный английский тогда еще оставлял желать лучшего.

Очень может быть, что взгляд с высоты — из опыта полетов. Но не в меньшей степени «Осенний крик ястреба» обязан и мифу об Икаре, и оде Горация «К Меценату», и «Царскосельскому лебедю» Жуковского, и, конечно, «Орлу» Гумилева, и даже, может быть, «Песне о Соколе» Горького. Между прочим, я как-то прочитал это стихотворение ученому-орнитологу и услышал, что с точки зрения науки там все невероятно, чистая выдумка. Стихи гениальные.

— *Как вы относитесь к сегодняшним исследованиям о творчестве Бродского? Вам не кажется, что в некоторых из тех, что опубликованы в последние годы в России, вместо анализа сложного и прекрасного мира поэта идет подмена и упрощение его воззрений и идей?*

— «Бродсковедение», которое мы с вами начинали лет двадцать назад, сейчас работает с индустриальным размахом. Есть хорошие исследования — книга Ранчина, например. Есть две очень емкие, интересные книги — насколько я с моей весьма скромной философской подготовкой могу судить — о Бродском в свете философии: Ирины Плехановой (издание Иркутского университета) и Евгения Келебая (Москва, изд. «Университет»). В обеих книгах, правда, не все в порядке с названиями. У Плехановой то ли несколько названий на вы-

бор, то ли одно несусветно длинное, а у Келебая — короткое, но непонятное: «Поэт в доме ребенка». При чем здесь заведение, куда сдают подкидышей, я не понял. Кроме того, Келебая мне было очень трудно читать из-за его манеры чуть ни каждое второе слово брать в кавычки. Вроде: «Келебая „очень трудно“ „читать“ из-за его „манеры“...» Это вроде как разговаривать с человеком, у которого лицо дергается от сильного нервного тика.

Но за всем уследить я не в состоянии. Меня огорчает то, что мы имеем дело с огромным количеством анализов и интерпретаций, но только изредка с историко-архивной и текстологической работой. А ведь в литературной и общественно-политической биографии Бродского еще многое требует прояснения. Конечно, Бродский не раз высказывался против «биографизма», говорил, что факты личной жизни поэта ничего не дают для понимания его стихов. Но как только он сам принимался рассуждать о стихах Цветаевой, Кавафиса, Фроста и других, то всюду пользовался биографическими материалами. Пока что мы часто принимаем за биографию Бродского тот миф, который он сам лелеял, и тот миф, который ему, по словам Ахматовой, сделали («Какую биографию делают нашему рыжему!»).

— *Приходилось ли вам видеть Бродского в состоянии обиды или раздражения? Как он переносил эти чувства?*

— Конечно, он бывал обиженным, раздраженным, огорченным. Мне очень печально, что наш последний длинный телефонный разговор был, в значительной части, именно об этом. О двух обидах. Иосифа обидела рецензия Кутзее в «Нью-Йорк ревью оф букс» на его книгу «О скорби и разуме». Прохладная критика задела его тем более, что Кутзее он ценил и тепло о нем отзывался в рецензируемой книге (в эссе памяти Стивена Спендера). И в том же разговоре он с обидой и раздражением говорил о бывшем приятеле, который опубликовал в Москве зарифмованную сплетню о нем.

— *«Меня обвиняли во всем, кроме погоды». Боюсь, что Иосиф ошибся: Солженицын обвиняет его в «полярном климате» души, а Коржавин¹ — оба — в необязательном выборе слов. Даже та-*

¹ Александр Солженицын. Иосиф Бродский — избранные стихи // Новый мир. 1999. № 12. Наум Коржавин. Генезис «стиля опережающей гениальности», или Миф о великом Бродском // Континент. 2002. № 113.

кой шедевр, как «Я входил вместо дикого зверя в клетку», Коржавин не в состоянии прочитать беспристрастно.

— Я об этом писал в статье «Солженицын и Бродский как соседи». Мне кажется, что тут просто проблема поколений. Эстетика и поэтика Бродского просто «не прочитывается» Солженицыным. То же и с Коржавиным, от которого я не раз за годы нашего знакомства слышал темпераментные филиппики против Бродского. Спорить в таких случаях бесполезно. Это вроде как я не слышу современную музыку. Для меня она просто неприятный шум.

— Бродский говорил, что никогда не мог относиться всерьез к любым словесным нападкам. Огорчили бы его нападки Солженицына и Коржавина, особенно резкие и унижительные? Почему оба они решили написать так о Бродском только после смерти Бродского, когда он ответить не может!

— Думаю, что ему эта критика была бы безразлична, хотя кто знает! Что касается «только после смерти», как я уже сказал, от Коржавина я слышал то же самое задолго до смерти Бродского. И Солженицын, наверное, давно уже так думал, хотя в 1977 году он еще писал Бродскому, что с интересом читает все, что Бродский печатает в русских журналах. Конечно, смешно думать, что Солженицын или Коржавин боялись, не решались высказать свое мнение при жизни Бродского. Так вышло, что обнародовали они свои оценки только после 1996 года. Я в этом ничего незачинного не вижу. Если мы с вами имеем право после смерти Бродского писать о том, как мы его любим, так же другие имеют право высказывать противоположное мнение. Проблема тут не в этике, а в эстетике, в том, что эти два писателя старшего поколения эстетически глухи к поэтике Бродского.

— Что вас наиболее удивляло в зрелом Бродском? Его мудрость? Его смирение? Его щедрость?

— Храбрость. Он был смертельно болен, не тешил себя никакими иллюзиями и продолжал делать свое дело буквально до самого конца.

— Как известно, Бродский «плохо» относился к своим ранним стихам. Уже в 1972 году в интервью Майклу Скэммеллу он «осудил» свои юношеские стихи: «Они не так хороши... Это я только сейчас понимаю». Это что, нормальное отношение зрелого поэта к своим юношеским опытам? Согласны ли вы с этой оценкой?

— Согласен. Как Бродский сам сказал интервьюеру: «Я не Рембо». Рембо не Рембо, а в России никто не писал великих стихов в юности. Даже юношеские стихи Пушкина и Лермонтова интересны и милы задним числом, в свете их зрелой лирики. Самый ранний в нашей поэзии расцвет — это Мандельштам. У Иосифа настоящие стихи начинают появляться с 1962 года. То, что раньше, интересно с точки зрения становления этой необычной личности. Даже в первую настоящую книгу Бродского, «Остановка в пустыне» (1970), еще проникло несколько ювенильных вещей: «Глаголы», «Стихи под эпитафией», «А. А. Ахматовой». Повторяю, они интересны, поскольку сыграли значительную роль в судьбе поэта.

— *Почему не вышел уже подготовленный в Союзе писателей сборник «Зимняя почта»? Виктор Топоров утверждает, что издательство отказалось включить в сборник большие поэмы, а сам Иосиф где-то говорит, что вмешалась цензура. Что известно вам?*

— Судя по опубликованным издательским документам, либеральные сотрудники редакции и внутренние рецензенты из всех сил старались протащить книжечку стихов Бродского. Интересно, как в запротоколированном редакционном обсуждении на все лады мелькает слово «небольшая» — о книге; они словно бы заклинают духов советской власти: ну небольшую-то книжечку разрешите! Ну какой от нее вред, от небольшой-то?! Но издательское начальство издевательски долго тянуло с ответом и потом практически потребовало от Бродского написать на полкниги идеологически выдержанных стихов, а тогда уж во второй половине могут быть его стихи «о природе Севера». То есть они знали, что он ничего такого писать не будет, и просто издевались. Примерно такая же история в том же издательстве (Ленинградском отделении издательства «Советский писатель») чуть позже произошла со сборником рассказов Владимира Марамзина. Только горячий Марамзин запустил директору издательства в харю чернильницей, за что его судили и дали год условно, а презрительный Иосиф плюнул и издал «Остановку в пустыне» в Америке. Почти наверняка директор издательства действовал по указке ленинградского обкома партии и ленинградского КГБ. Я помню, как вскоре после того, как Иосиф окончательно распле-

вался с «Советским писателем», он вызвал меня для разговора и рассказал, как с ним встретились двое из КГБ и в свойственной им эвфуистической форме предложили доносить на приезжающих к нему иностранцев: «Знаете, в основном, конечно, это честные, порядочные люди, но иногда попадают...» Если он согласится — «В наших силах сделать так, чтобы ваша книга вышла...». Иосиф сказал, что он желает «торжества справедливости» (так он иронически говорил об издании своих стихов), но быть им полезным никак не может.

Вот такие вещи, между прочим, и требуют еще историко-архивных исследований.

— *По свидетельству Андрея Сергеева, Бродский переделявал свои стихи основательно и пристрастно. Это правда? Вам знакомы его черновики?*

— О, да! В черновых тетрадах он по многу раз записывает строки и строфы, пробуя новые варианты, переписывает стихотворение целиком, потом начинаются еще перечеркивания и вписывания. Потом он перепечатывает текст на машинке. Потом начинается зачеркивание и надписывание в машинописном тексте. Иногда что-то заклеивается полоской бумаги с другим текстом. К листу подклеивается кусочек бумаги снизу. Получается порой интересный предмет — хоть в музее выставляй. Чувствуется, что эта работа его сильно увлекала, доставляла ему удовольствие. А вот публикация, увидеть свои стихи напечатанными — это его во второй половине жизни не интересовало. Он очень любил читать стихи вслух — с эстрады или один на один, но был равнодушен к печатному тексту.

— *Бродский — аристократ духа, поэт элиты, застал рабочий класс в том состоянии, в котором его описал Маркс, и полтора года провел среди крестьян. Сделал ли его этот опыт жизни среди народа более демократичным?*

— Бродский, зрелый Бродский, для неподготовленного читателя трудноватый поэт, но ошибка думать о нем как об отпрыске петербургской элиты, прирожденном эстету. Он вовсе не был «юношей тепличным». От природы он был необычайно умен и одарен, но он не был интеллигентским ребенком, внезапно брошенным в народную среду. Его семья была интеллигентной в бытовом понимании, но ни к интел-

лектуальной, ни к художественной элите города не принадлежала. И с точки зрения этой семьи, Иосиф катился вниз по социальной лестнице, когда он плохо учился, остался на второй год в седьмом классе, бросил школу и пошел на завод и т. д. Если он не вполне вписывался в городской пролетариат, то это в силу его психологических, а не культурных особенностей. Но у него так мало общего было с профессорскими и писательскими сынками. (Я знаю, я сам из таких.) В северной деревне произошло преображение безумно талантливого, но культурно дезориентированного Бродского в гения, сознающего, что он делает, что он должен делать. Но это произошло благодаря углубленному чтению книг, а не благодаря пахоте, березкам, мужикам и бабам. Сельский труд, северная природа и сельские жители не были потрясением и откровением для Иосифа. Он чувствовал себя с ними спокойно и уверенно. Действительно на равной ноге, без народнических придыханий.

— *В «Набережной неисцелимых» Бродский пишет: «... я не мудрец, не эстет и не философ», но именно так он воспринимается большинством читателей. В чем тут дело?*

— Я уже употребил выше выражение «подготовленный читатель». Не только Бродский, любой серьезный писатель требует подготовленного читателя, то есть такого, который не пытается выяснить: «что хотел сказать автор своим художественным произведением», а умеет наслаждаться поэтическим текстом как таковым. Я уже сказал, что Бродский никак не эстет. Что касается философии, то попробуйте выстроить хоть какое-то подобие философской системы из сентенций Бродского в стихах и прозе. Ничего не получится. Все всему противоречит, все необосновано, шутки и парадоксы притворяются силлогизмами. Он интересовался философией, но сам занимался совсем другим делом. Единственный, кого из великих философов Иосиф напоминает, это Ницше. Но большинство нынешних философов считают Ницше не философом, а поэтом.

— *В какой степени мировоззрение Бродского можно назвать христианским? Насколько всерьез был он захвачен христианской тематикой?*

— Об этом он сам написал и сказал так много, что мне нечего добавить. Смотрите, например, «Путешествие в Стамбул».

— К своим переводчикам Бродский не имел снисхождения. Был ли он снисходителен к своим автопереводам? Какие из его переводов собственных стихов останавливают ваше внимание?

— Я некомпетентен отвечать на этот вопрос.

— Насколько Бродский преуспел в скрещивании двух культур, двух поэтик и двух языков? Я имею в виду английский и русский. И что от этого выиграла русская литература?

— Русский язык и русская культура всегда прибавлялись иностранными заимствованиями. Это самая благодетельная форма империализма — завоеванная территория ничего не теряет, а нам прибавляется. Компас русской культуры стал показывать в англо-американскую сторону еще, я думаю, в тридцатые годы. Я имею в виду тогдашнее повальное увлечение Джойсом, Хемингуэем, Хаксли и др. в хороших, кстати сказать, переводах. И для Иосифа все началось с антологии новой английской поэзии Гутнера, на самом деле Мирского, и американской Зенкевича и Кашкина. Обе книги вышли перед Второй мировой войной. Я помню энтузиазм по поводу приезда в СССР Фроста в шестьдесят втором году. (Бродского, между прочим, в Ленинграде в это время не было. Я думаю, что он как раз был в Казахстане в это время, так что у Виктора Куллэ в комментарии к собранию сочинений ошибка — Бродский Фроста не видел.) Ну, казалось бы, понятно, что мы, молодые, знали, благодаря нашему западничеству, кое-что о Фросте. Но ведь и очень даже советские писатели старшего поколения разволновались. Я перевел тогда несколько стихотворений Фроста, что, к слову говоря, очень способствовало возникновению нашей дружбы с Иосифом, и понес их в редакцию журнала «Нева». Отделом поэзии там заведовал Сергей Орлов, танкист с обожженным лицом. Какой он был человек, я не знаю, но поэт — самый стандартный, советский. Одно у него было знаменитое стихотворение — «Его зарыли в шар земной, / А был он лишь солдат...» — и то ходили слухи, что он этот образ, «зарыли в шар земной», у кого-то свистнул. Но вот этот Орлов мои переводы у меня прямо из рук вырвал и в ближайшем номере напечатал. Видно было, как ему интересно. И при всем при том, если влияние американской прозы двадцатого века на русскую очень даже легко проследить, с поэзией не получается. Даже переводов приличных после тех антологий за шестьдесят лет очень

мало. Разве что переводы Андрея Сергеева, но даже у него не все удачны. Как-то очень трудно врубиться русскому поэту в совсем иную поэтическую идиоматику. Даже очень большому поэту, как Кушнер. Я читал несколько стихотворений Ларкина в переводе Кушнера — это какой-то анти-Ларкин. Иосиф, пожалуй, единственный, кто органично освоил жанры англоязычной поэзии двадцатого века. В русской поэзии до конца столетия продолжал доминировать жанр лирического стихотворения, а вот, скажем, такого отчужденного от лирической персоны, наполненного внутренним драматизмом «рассказа в стихах», как у Э. А. Робинсона, Фроста, Одена, Макнуса, до «Школьной антологии» и «Посвящается Ялте», у русских не было. На более глубоком уровне, Иосиф создал русский адекват идиоматики англо-американского стиха двадцатого века, в первую очередь, конечно, оденовского, — этот в общем-то очень искусственный, который только каким-то чудесным образом производит впечатление естественного, лирико-иронический сплав вульгарного просторечия и интеллектуального дискурса.

— *«Вот чего нашей Музе недостает — этого отвлечения от себя, плюс диагноз происходящего без личного нажима», — писал Бродский Андрею Сергееву. Восполнил ли он этот пробел?*

— Он старался.

— *Составляя хронологию жизни Бродского, я еще раз подивилась, с какой скоростью и интенсивностью он жил: «гигантское ускорение сознания» в стихах и сотни поэтических выступлений, десятки стран, квартир, отелей, друзей и знакомых в жизни. Что гнало его по жизни с такой скоростью?*

— Как говорил Зощенко, «позвольте мне, старому, грубоватому материалисту...». Я думаю, все дело в генетике. Так уж его природа запрограммировала. В юности он сам не мог понять, что с ним происходит, что это за *evlan vital* его несет, а после Норенской как-то смирился с таким скоростным существованием.

— *Поэт, мудрец, умница, Бродский к тому же обладал неотразимым обаянием. Пользовался ли он этими качествами с выгодой для себя?*

— Ну, во-первых, не все его любили и считали таким уж неотразимым. Кокетства в нем не было совсем. Быть резким, неприятным он умел, особенно смолоду. «Обаять» — нет.

— Самуил Лурье считает, что Бродский выстраивал главный сюжет своей жизни вокруг его страсти к свободе: никому не принадлежать, ничего не иметь, никого не любить. Как бы вы кратко определили главный сюжет жизни Бродского?

— Как ни странно, но такой пронизательный критик, как Лурье, впадает в заблуждение, характерное для неопытных читателей: отождествлять выстроенную автором лирическую персону с самим автором. Дело, конечно, не в том, что Иосиф в стихах притворялся, вставал на демонические котурны. Нет, но в лирической поэзии выражает себя фрейдовское сверх-Я. Особенно неверно, если вы точно цитируете Лурье, насчет никого не любить. В одном стихотворении, которое по личным причинам мне особенно дорого, Иосиф писал: «Я люблю немногих, однако сильно». Мне как-то пришло на ум посчитать на основании того, кого я знаю, кого Иосиф мог включить в эту рубрику. Я легко составил список из двадцати человек (не «донжуанский список», а именно кого любил — включая и платоническую любовь, дружбу). И еще позднее он писал: «Многие в этом мире, собственно все, достойны любви». Это отнюдь не противоречит страсти к свободе.

— Вы не просто присутствовали, но и принимали активное участие во всех трех службах: в траурной службе в Grace Church в Бруклине 31 января; в соборе St. John Divine 8 марта и в церкви Св. Михаила в Венеции 21 июня. Какая из этих служб пришлась вам особенно по душе и почему?

— Никаких положительных эмоций я по поводу ни одного из этих мероприятий не испытывал.

— Известно ли вам желание самого Иосифа, где бы он хотел быть похоронен: в Нью-Йорке, в Саут-Хедли, в Венеции, в России?

— Насколько я понимаю, он особенно над этим не задумывался. Он несколько раз высказывался, в том числе в документальном фильме о нем, «A Maddening Space», в том смысле, что вот, наверное, тут мне и лежать, в Новой Англии, в Саут-Хедли. Уже после похорон в Венеции я наткнулся у него в шутовском стихотворном послании Андрею Сергееву на строки о желании быть похороненным на Сан-Микеле. Но это все не очень серьезно. В стихотворении «Лахта», например, он просит похоронить его в песочке на пляже этого ленинградского пригорода.

— Правда ли, что некто Колеров предложил Марии Бродской перевезти тело Иосифа за счет его компании в Санкт-Петербург и организовать там перезахоронение?

— Не знаю. На нью-йоркских поминках крутился какой-то «новый русский». Возможно, тот, которого вы называете. Помню, что он «за свой счет» привез на похороны Женю Рейна, а что хотел обратно с гробом улететь, этого мне не говорили. Все это немножко напоминает анекдот про богатого грузина, который «Ленина видел». — «Был в мавзолее?» — «Зачем? Дал двести рублэй, они мнэ его вынэсли».

— *Илья Кутик пишет в российской газете о том, что гроб с телом Бродского открылся в полете, а когда в Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам и тело Бродского пришлось переложить в другой гроб. Вырыли могилу у ног Эзры Паунда, нашли в ней кости, вырыли другую могилу, очень неглубокую, «захоронили почти на поверхности, едва присыпав землей» (Независимая газета, 28.01.1999). Где тут правда, а где вранье?*

— Все, что написал Илья Кутик по этому поводу, несусветная ахиня. В Венеции Кутика не было, какой-то звон он слышал и все переврал для макаберного эффекта. Я не люблю жанра «пишем к редактору», но в тот раз написал в газету возмущенное письмо, и оно было напечатано. Я думаю (надеюсь), что когда Кутик проспался и увидел, чего наплел по поводу похорон Бродского, ему стыдно стало.

— *Что вам известно о встрече Бродского с Горбачевым, когда тот навестил его в Библиотеке Конгресса?*

— То же, что он рассказывает в интервью Адаму Михнику, которое вошло в составленную вами книгу. Кроме того, он говорил, что встреча была мимолетной. Их представили друг другу. Горбачев сказал: «Иосиф, за что вы меня ненавидите?» Иосиф: «Помилуйте, Михаил Сергеевич, с чего вы взяли?» Горбачев: «Ну, значит, меня неправильно информировали». Вот и все. Потом Иосиф добавил, что Горбачев сам этого не понимает, но впечатление такое, что с ним в комнату входит История. Что-то в этом роде. Что-то такое Иосифа взволновало.

— *Говорили ли вы с Иосифом о политике? Как он относился к переменам в России?*

— О политике говорили всегда и немало — о советской,

американской, всякой другой. Дружно прерывали телефонный разговор, когда начинался «Час новостей» Макнила и Лерера на телевидении. Потом он звонил или я звонил, и продолжали разговаривать. Его «Демократия!» оказалась довольно-таки верным предсказанием того, что происходит в России сейчас, но вообще «Подражание Горацию» точнее отражает его отношение к событиям начала девяностых годов. Это все его волновало, и ему хотелось надеяться. Страшно радовался переименованию Ленинграда в Петербург. Радовался разгону парламента в 93 году. Прислал мне по этому поводу открытку из Пизы с двустижием: «Мы дожили — мы наблюдаем шашни / броневика и телебашни». Под конец мы вместе осуждали то, что Москва стала творить в Чечне. Он даже повторил потом в интервью то, что я ему сказал: «Просто-напросто нехорошо, когда большой бьет маленького».

— *Российская империя пала, но имперская ментальность будет жить еще долго, судя по моему наблюдению за англичанами. В какой степени универсальна его метафора империи?*

— У Иосифа, как это ни странно, немало ницшеанских идей. Его империя сильно смахивает на ницшеанские «вечные возвращения», дурную бесконечность истории.

— *Говоря об империи, что вы знаете об отказе Бродского от поездки в Японию после того, как он принял приглашение самого императора?*

— Ни от Иосифа, ни от японского императора никогда об этом не слыхал.

— *В характере Иосифа, считает Андрей Сергеев, был дидактизм. Чему он вас поучал?*

— Да, он был не прочь поучить. Найман, с его памятьливостью на недостатки друзей, смешно описывает где-то, как Иосиф объясняет компании докторов природу желудочных заболеваний. В последний раз он меня учил, что сказать автомеханику (я пожаловался на то, что в моей машине мотор глохнет). Сначала, выслушав симптомы поведения машины, он уверенно сказал: «Это карбюратор». Потом назвал еще несколько деталей. Я уже отъезжал, а он, раздухарившись, кричал вдогонку: «Карданный вал, так и скажи!»

— *Бродский всюду чувствовал себя одновременно иностранцем и как дома — и в России, и в Америке, и в Европе. Где нам*

искать объяснение этому странному феномену: в характере, в еврейских генах, в таланте?

— По-моему, это возрождение типа русского интеллигента — космополита вроде Версилова у Достоевского. Все мы, когда впервые оказываемся в Риме или в Париже, испытываем радость узнавания, как будто вернулись после долгой отлучки.

— *Другая, не русская и не еврейская, черта характера Бродского — нежелание жаловаться, стоическое принятие любой ситуации.*

— Да, он так себя воспитал; дисциплинировал, но я не думаю, что это этническое. Я знал и русских, и евреев, и всяких других с таким же характером.

— *Является ли для вас Бродский еще и великим подвижником, или только великим поэтом?*

— Насчет подвижничества не знаю. Эпитет «великий» слишком затерт, чтобы иметь смысл. Что для меня несомненно, это то, что Иосиф по природе своей был человеком необычным. Как я уже сказал, таким уж он уродился — с повышенной интенсивностью чувств, скоростью мысли.

— *Что вас до сих пор больше всего озадачивает в Бродском?*

— Вот это и озадачивает. Поэтому литературоведы, вроде меня, и не должны никогда претендовать на полноту интерпретации такого феномена, как Бродский или любой другой природный гений. У нас просто-напросто нет и не может быть сравнимого собственного опыта, чтобы вполне понять ход мысли и чувства гения. Даже Лотман или Гаспаров, когда имеют дело, скажем, с Пушкиным или Мандельштамом, это меньшее, пытающееся осознать большее.

— *К 1978 году, когда Бродский уже создал цикл «Часть речи» и написал такой шедевр, как «Колыбельная Трескового мыса», он считал, что «Горбунов и Горчаков» — одна из его самых серьезных вещей, которую он сделал за свою жизнь. Как вы объясняете такую иерархию оценок?*

— Не знаю (см. ответ на предыдущий вопрос). «Горбунов и Горчаков» действительно удивляет и интеллектуальной насыщенностью, и порою виртуозным стихом, и архитектурой целого. Предполагаю, что Иосиф высоко ценил эту поэму, в первую очередь, как раз из-за последнего качества. У него нет другой вещи, где бы он так справился со сложной, но безуп-

речно симметричной постройкой. А он ведь очень любил неоклассическую архитектуру. Ну и, конечно, в «Горбунова и Горчакова» был вложен самый страшный из его жизненных опытов.

— *Бродский сожалеет, что он не написал свою «Божественную комедию», своих «Метаморфоз». Но ведь он пишет историю своей жизни как эпическое полотно, пусть даже фрагментарно, и не только в плане ранних поэм, но и в плане экспансии времени и пространства. А как вы видите это полотно?*

— Я знаю, в каком смысле вы употребили слово «полотно», но мне бы хотелось за это полотно ухватиться и переосмыслить: ткань. Как известно, слово «текст» однокоренное со словом «текстиль», оба от латинского глагола «texere» — «ткать». Все мы в каком-то смысле ткем текст нашей жизни, но Бродский в больших и мелких стихах, в прозе, в письмах, шутках, поступках всегда словно бы видел все нити и следил за их переплетениями, никогда не упуская из виду и общий дизайн своей гигантской шпалеры. Он оставил нам свою ткань неоконченной. «И, наколовшись об шитье с невынутой иглой...»

— *Бродский сумел повернуть русский стих в новое направление. Как бы вы его определили?*

— Я не разделяю распространенного мнения о том, что большие поэты что-то «вносят» в русский стих, куда-то его «поворачивают». Все, что вносится и поворачивается в поэзии, происходит только в индивидуальном порядке. Повторять эти достижения — удел эпигонов. Был гениальный Маяковский, а потом какой-нибудь бездарный М. Луконин или Р. Рождественский писали «лесенкой». То же с многочисленными подражателями обэриутов, Мандельштама, Есенина, Бродского. Свое надо иметь.

— *Вы составляете комментарии к двухтомнику Бродского, который выйдет в «Новой библиотеке поэта». Кроме удовольствия ежедневного общения с Бродским, какие трудности вы испытываете?*

— Никаких. Одно удовольствие. Поэтому и тяну это дело уже семь лет.

— *Ваше стихотворение Бродскому!*

— Возьмите любое.

* * *

Где воздух «розоват от черепицы»,
Где львы крылаты, между тем как птицы
Предпочитают по брусчатке Пьяццы,
Как немцы иль японцы, выступать;
Где кошки могут плавать, стены плакать,
Где солнце, золота с утра наляпать
Успев и окунув в лагуну локоть
Луча, решает, что пора купать, —
Ты там застрял, остался, растворился,
Перед кофейней в кресле развалился
И затянулся, замер, раздвоился,
Уплыл колечком дыма, и — вообще
Поди поймай, когда ты там повсюду —
То звонко тронешь чайную посуду
Церквей, то ветром побежишь по саду,
Невозвращенец, человек в плаще,
Зека в побеге, выход в Зазеркалье
Нашел — пускай хватаются за колья,
Исчез на перекрестке параллелей,
Не оставляя на воде следа,
Там обернулся ты буксиром утлым,
Туч перламутром над каналом мутным,
Кофейным запахом воскресным утром,
Где воскресенье завтра и всегда.

9 мая 1996

ИГОРЬ ЕФИМОВ, 10 НОЯБРЯ 2003, НЬЮ-ДЖЕРСИ

— *Вы знали Бродского и в России, и в эмиграции. Вы жили с ним в одном маленьком городке Энн Арбор и в большом Нью-Йорке. Как завязалось ваше знакомство с Бродским и когда?*

— В свое время в Ленинграде мы встретились с ним впервые в доме Евгения Рейна, мы были соседями. Я думаю, что это был 1962 год. Нет, все же знакомство произошло сначала с поэзией. Друг наш, знаток поэзии, Александр Штейнберг (он фигурирует во многих воспоминаниях) первым принес какие-то стихи, а потом Яков Виньковецкий дал мне «Шествие». «Шествие» меня ошеломило абсолютно, это было из тех произведений, которые меняют жизнь. Я перепечатывал его много раз для друзей по четыре копии, раздавал, до сих пор помню огромные куски наизусть. Так что когда мы встретились у Рейна, это был уже в моих глазах значительный, любимый, дорогой поэт. Хотя он был младше меня на четыре года, я знал, как много он для меня значит.

— *В связи с «Шествием» у меня такой вопрос. Иосиф говорит, что он прочитал Данте и Библию в 1962 году, но его «Шествие», которое он написал в 1961 году, наполнено цитатами и*

Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г.) — писатель, философ, издатель. Эмигрировал в 1978 году, живет с семьей в Америке, в районе Нью-Йорка. Автор десяти романов, среди которых «Зрелища», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», а также философских и социологических трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравенства».

заимствованиями из Данте. Вы не знаете случайно, когда Иосиф читал Данте?

— Нет, не знаю. У меня при чтении «Шествия» этой связи не возникло, но я верю, что специалисты могут что-то найти. Про то, что «Шествие» написано человеком, не читавшим Библию, — я сам об этом писал¹. Надо сказать, что многие свои стихи Бродский не то что разлюблял, но ему дороже всегда было то, что еще трепетно прорастало в нем. Иногда он рассказывал, забегая вперед, какие-то образы из будущих стихов. Когда его кто-то просил прочитать куски из «Шествия», он часто отмахивался с таким оттенком пренебрежения. Мне помнится, что во вступлении к «Шествию» есть какая-то извиняющаяся нота: «Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она — гимн баналу». Это кокетство, ничего банального в поэме нет, это персонификация человеческих страстей, состояний. Поэма эта и поэтически самостоятельна и философски смела. Меня всегда огорчало его пренебрежение к этой поэме, но мы часто свою молодость неправильно расцениваем.

— *Присутствовали ли вы на суде?*

— Да, я был на суде от начала до конца, и потом меня даже использовали, когда пересылали стенограмму Вигдоровой на Запад. Хотелось, чтобы она была кем-то заверена еще, другими свидетелями. Меня позвал Борис Вахтин, чтобы вычитать ее и перед отправкой подписать. Кажется, это происходило в квартире известного германиста Адмони, одного из свидетелей защиты. Я помню, что когда мы писали письма в защиту, я написал для газеты, воспользовавшись тем, что я был не тунеядец, а работал инженером. И я, и поэтесса Елена Кумпан, мы были такие нормальные инженеры, поэтому нельзя было сказать, что Бродского защищают одни тунеядцы. И когда газета «Вечерний Ленинград» писала отповедь защитникам, она упомянула, что и Ефимов, и Кумпан неправильно видят проблему идейного провала нашей молодой литературы, и так далее.

— *Так что вы свидетельствуете, что все, что записала Фрида Вигдорова, соответствует действительности? Ее записки напоминают сцены из Шекспира.*

¹ Игорь Ефимов. Крысолов из Петербурга // Иосиф Бродский размером подлинника. Таллинн, 1990. С. 176—192.

— Да, абсолютно, и даже атмосфера этого напряжения воссоздается в стенограмме.

— Скажите пару слов об эмоциональном состоянии Бродского во время суда.

— Я был изумлен его выдержкой. Он дал петуха только однажды, позволив себе такую высокопарность поэтическую.

— «Я думаю... это от Бога»?

— Нет, это он уже говорил в состоянии полного самообладания. Я сейчас с трудом вспоминаю нечто вроде того, что «все, что я делал, я делал ради родного языка и даже своей страны»¹. Он никогда не отдавал властям понятия «Отечество» и «Родина»; не важно, что они захватили это и профанируют. Это то, что отдавать нельзя. Я могу по стихам доказать, сколько раз он обращался к этой теме еще до стихов «На смерть Жукова».

— Сказанное им на суде он почти буквально повторил в стихотворении «1972 год»:

Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.

В октябре 1964 года вы с Яшей Гординым навестили Бродского в ссылке в Норенской. В каком состоянии вы нашли Иосифа?

— Во-первых, он знал о нашем приезде и сумел приехать на станцию. У него уже были там какие-то знакомые водители, так что от станции мы ехали к нему на грузовике. У него, к сожалению, болел зуб в эти дни — там до врача не добраться, — и он боролся с болью иногда путем выбегания на улицу. Мы говорили ночи напролет, он, допустим, выбегал на улицу, ходит минут десять и, вернувшись, продолжал фразу с того места, на котором остановился. Он ждал большего в вестях, которые мы привезли, он ждал каких-то писем, их не было, от важных для него людей. Никаких сдвигов в сторону освобождения мы не привезли ему. Только еду, выпивку и множество лекарств по его заказу. Мы даже тревожились, за-

¹ Может быть, это были следующие слова: «Я убежден... я верю, что то, что я пишу, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям».

чем ему столько лекарств, но там нам стало ясно: заходили крестьяне, и он practiced medicine without licence (без лицензии занимался лечением). Еще одно преступление совершил. Днем мы вместе ходили помогать ему разгребать горох — в амбаре лежал зеленый горох слоем примерно в полметра и начинал греться внутри, его нужно было постоянно ворошить. Надо сказать, что он к работе не очень врался.

— *Но жалоб никаких от него не слышали?*

— Нет, мы настолько сразу утонули в разговорах о стихах, о литературе, об общих знакомых... Помнится, его огорчило... с нами прислал Рейн свою какую-то поэму. Она была лично-го свойства, и Иосиф был очень огорчен. Потом простил Рейну.

— *Согласны ли вы с объяснением самого Бродского, что именно личная драма помогла ему пережить и суд, и ссылку?*

— Наверное, мы должны верить ему в этом. То болело настолько непрерывно и настолько сильно, что боль изгнанничества и одиночества вынужденного, видимо, отступала на второй план.

— *Вы видели его в отчаянии, корчившимся от боли. «Лицом к лицу с противником ... он — сама выдержка, твердость, спокойствие. Но, оставшись наедине или с близкими, он снимал запоры», — пишете вы¹. Не эта ли способность держать эмоции под контролем дает основание незнающим и нелюбящим Бродского обвинять его в холодности?*

— Я думаю, да. У нас у всех была немножко такая зековская закваска, даже у тех, кто не сидел, привычка быть все время настороже. Когда ты с 13—14 лет ощущаешь, что всё, что ты любишь, запрещено любить, а то, что ты ненавидишь, нужно восхвалять, давление режима делает тебя изгоем довольно рано. Поэтому те, кто не сумели выработать этой защитной зековской брони, многие из них просто погибли. Тонкие и талантливые люди сходили с ума, как Рид Грачев, как Генрих Шеф, наши сверстники. Это была необходимая спасительная броня. Я думаю, вы правы.

— *А как это перенеслось в поэтику потом, если мы здесь можем протянуть какую-то ниточку? Зная Бродского, его рациональность принимаешь за прием, а не знающие его принима-*

¹ Игорь Ефимов. Шаг вправо, шаг влево // Звезда. 2003. № 9. С. 158—166.

ют ее буквально: для них он холодный, рассудительный интеллектуальный поэт.

— Я думаю, что у Бродского и у любого человека с широким эмоциональным диапазоном мы можем видеть весьма противоречивые состояния. Нашу любовь к обобщениям должно держать тут на короткой сворке. Людей такого многообразия невозможно обобщать. Да, он мог быть и холодным, мог писать стихи:

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей. (2:422—23)

И это отчасти было правда. Но он писал и другое:

За ваши чувства высшие
цепляйтесь каждый день.
За ваши чувства сильные,
за горький кавардак,
цепляйтесь крепче, милые. (1:109)

Это уже вам не холодность. Огонь и лед, огонь и лед.

— Кого из своих друзей Бродский побаивался? Кого особенно уважал?

— Я с удивлением наблюдал некоторые его дружбы: меня интересовало: «А с этим ты о чем говоришь?» И он говорил: «А с ним так хорошо всех вас понести!» Он был ужасно падок на злословие, он обожал это и любил людей, с которыми он мог состязаться в этом. Все наши великие поэты были эпитграммисты — и Пушкин, и Лермонтов, и Бродский. Он много раз подчеркивает свою дружбу с Рейном. Мне кажется, что и в Ахматовой, и в Рейне он чувствовал поэтическое начало, независимо от стихов. И он умел ловить это. С Ахматовой я не был знаком, но с Рейном мы провели очень много времени, мы подолгу вместе жили на даче, в нем разлита поэтичность, которая даже может не нисходить до стихов. Но все же я свидетель, что с наибольшим удовольствием и бесконечно он мог проводить время с Найманом. В Наймане, конечно, всегда горел такой костер и талантливости, и страсти, и артистизма невероятного, и тоже безжалостности. Эта их поездка

по Черному морю, которая описана и у Наймана, и еще в каких-то местах, и в устных новеллах. Конечно, мало нашлось бы людей, с которыми бы Иосиф готов был себя погрузить на такое долгое совместное путешествие. Им никогда не было скучно друг с другом. Вообще недаром ко второму сборнику Бродского на Западе «Остановка в пустыне» Найман написал предисловие, подписанное НН. И мы не должны забывать, что это было сделано как раз в те годы, когда Синявский и Даниель за такие вещи получили свои сроки.

— *Вам не кажется, что Иосиф сильно преувеличил роль Рейна в своей поэтической биографии? Назвав Рейна своим учителем, Бродский дал ему повод претендовать и на Нобелевскую премию, и на оксфордскую мантию, и на прочие награды, которые получил Бродский.*

— Я позволю себе увильнуть от прямого ответа на этот вопрос. В Рейне много страстей, которые мне через внутренний опыт неизвестны, непонятны, поэтому я не в силах судить о них. Я и сам тщеславен тоже, но совсем по-другому.

— *Вы долго наблюдали Бродского в Энн Арборе на близком расстоянии. Знаете ли вы, как Бродский готовился к своим лекциям и семинарам?*

— Про это я очень мало знаю. Какие-то обрывочные анекдоты от студентов я слышал. Сам он говорил, и студенты подтверждали, что он заставлял студентов заучивать наизусть стихи, что было крайне непривычно для американских студентов. Я не очень этой стороной его деятельности интересовался, потому что с годами убедился, что поэзия — это такое непередаваемое счастье. Вот у нас есть русская поэзия, и все попытки переводить ее на другие языки... в лучшем случае будут написаны хорошие стихи на английском, немецком, французском на заданную тему. Когда всплывают какие-то строчки Бродского, ну смешно думать, что можно перевести: «В конце большой войны не на живот, / когда что было, жарили без сала» (3:63)... не на живот, жарили — это же не только жарили, но и убивали. Он умел такой метафорический букет создать в одной строчке! Как это можно все перевести? Это наше русские счастье, а у них есть свое английское счастье.

— *Вы когда-нибудь заглядывали на его лекции или семинары?*

— Нет, я попадал только на его выступления перед русской аудиторией.

— С кем близко дружил Бродский в Энн Арборе, помимо Профферов и вас?

— Там жил его старый друг — Гаррик Восков, и мы встречались вместе у Гаррика. Я знаю, что к нему приезжала дочка Эткинды, Маша. Но чаще мы с ним встречались у Профферов.

— *Изменился ли Иосиф в Америке — стал ли более тактичным, научился ли формальному общению?*

— Тоже я вряд ли лучший свидетель в этом плане: почти все наши встречи происходили в таком интимном кругу, где он расслаблялся и чувствовал себя как дома. Один раз я видел его в боевой раскраске, когда при стечении народа на поминках Проффера, уже после торжества и выступлений, к нему подошел с какими-то претензиями писатель Саша Соколов. И вот как он его отбрил, это я слышал, довольно резко, не хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь так отбрил. Так что хватка зековская оставалась в нем, и многие его побаивались не зря.

— *Почему Бродский так идеализировал язык? Был ли язык, в частности русский язык, для него заменой России? Или просто помогал ему сохранить свою сущность в иноязычной среде? Или его педалирование на значение языка всего лишь дань общему лингвистическому поветрию XX века?*

— Я не знаю о его отношениях с лингвистическими научными сферами, но я думаю, каждый из нас обожает ту сферу, где он ощущает себя блистательным мастером. И наслаждение от работы со своим материалом переполняет душу художника. Наверное, если бы музыканты были красноречивы, они бы объясняли нам, какое это важное счастье — музыка, да я государством буду управлять при помощи своего рояля. Я помню, один знакомый фотограф, Лев Поляков, когда надо мной сильно стучались тучи и друзья даже ждали ареста после допроса моего в КГБ, все спешили как-то утешить, поддержать, Поляков приехал и привез фотографию, которую он сделал и подарил мне ее как предмет, который должен во всем утешить, помочь и избавить от этой напасти. Он снял толпу, ликующую на каком-то празднике, через голову партийного босса, страшный лысый такой череп. Очень пугающая фотография, не знаю, как она могла утешить кого-то.

— *Иосиф считал, что «литература не о жизни, да и сама жизнь не о жизни, а о двух категориях: о пространстве и вре-*

мени». На ваш взгляд, это сужение или расширение рамок литературы?

— Мы уже упоминали начало поэмы «Шествие». Страх быть банальным в Иосифе жил всегда. Поэтому многие его высказывания, мне кажется, рождались только из того критерия, что вот я сейчас что-то скажу, что уж точно не банальное. Я так с осторожностью эти его максималистские формулы воспринимал, иногда даже сердился на него. Однажды, я помню, он написал статью о событиях в Польше в начале 80-х годов: коммунисты давили рабочих, подавляли движение «Солидарность». Ему понравилось истолкование, что финансисты западные не пришли на помощь, и он создал формулу, что «Солидарность» задавили не танки, а банки. Рифма!

— *Боюсь, что к этой же категории оригинальных гиперболов вы отнесете и следующее высказывание Бродского: «Ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе, взятые по отдельности: ни то ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека», — пишет он в эссе о Каввафисе. Одни называют Бродского христианином, другие — язычником, а третьи — иудеем. Кто он для вас?*

— Когда разразилась английская революция XVII века, был целый взрыв религиозных христианских новых сект и среди них (мне доводилось изучать все это, когда я писал исторический роман о кромвелевской революции) была секта, которая называла себя seekers. Это были христиане, которые ощущали себя последователями Христа, но утверждали, что ни одна из существовавших церквей не удовлетворяет их, поэтому они продолжают искать — to seek. Я думаю, Бродский был seeker, вечный seeker. Я и себя причисляю к ним. Я послал ему свою статью «Крысолов из Петербурга» еще в рукописи и приложил к ней открытку с просьбой сделать multiple choice (выбор из разных ответов): в квадратиках — прочел с восхищением, с удовольствием, с интересом, с недоумением, с недовольством. И самое страшное последнее — читать не стал. Он отметил квадратик: с интересом и с удовольствием. На открытке оставалось еще место и вокруг него он стал писать: «Игорёк, мои отношения с Богом все же сложнее...» Места было так мало, что текст остался недоконченным. Когда он говорит, что «не могут удовлетворить душу человека», он делает незаметное обобщение, ставя знак равенства между все-

ми людьми. Огромное большинство людей вполне удовлетворяются существующими религиями и живут в мире с собой и с Богом, и с мирозданием. Иосиф часто, мне кажется, экстраполировал свое душевное состояние на всех людей, хотя мог, отвечая на вопросы в зале еще совсем молодым, сказать, когда его упрекнули в дерзости из зала, он ответил: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку»¹. Так что высокомерия тоже было в нем достаточно. Но часто в рассуждениях он забывал об этой разнице и приписывал людям то, что было свойственно ему как исключению.

— *Дано ли нам, его современникам, понять все многообразие и величие мира Бродского? Ведь даже великий Солженицын не понял Бродского. Вы ответили ему спокойно и достойно². Но все-таки в чем дело? Может быть, в том, что Солженицын был и остался советским человеком, а Бродский был и остался человеком западным? Или мы должны искать какое-то другое объяснение этому глубокому непониманию и даже нежеланию понять поэта?*

— Я попытаюсь разбить ответ на два. Во-первых, люди, которые обожают стихи Бродского и находятся под его сильным влиянием, из них никогда никто и не посмеет и не подумает, что он может охватить всего Бродского. Нормальный человек понимает, что это как огромный парк, ты вошел в него и ты понимаешь, какой это огромный прекрасный парк, но это не значит, что его сможешь или должен обойти его целиком и весь увидеть. Тебе довольно того, с чем тебе повезло соприкоснуться и полюбить. Эти люди совершенно особняком стоят от людей, которые не получили от Бродского того волшебного, душу поднимающего мира и переживания, то есть находящиеся к нему во враждебной позиции. Я думаю, это абсолютно нормально. Мы должны быть готовы к тому, что человек, создающий свой мир художественный с

¹ Это было на «турнире поэтов» в 1959 году. Но И. Б. ответил не просто высокомерной фразой — он прочитал стихотворение, построенное на этой фразе. — *Ред.*

² Игорь Ефимов. Солженицын читает Бродского // Новый мир. 2000. № 5. С. 231—235.

такой напряженностью и силой, как Бродский или как Солженицын, мы должны ожидать их несовместимости. Я свой ответ Солженицыну, если помните, начинаю с воспоминания о знаменитой истории о том, как Толстой отвергал Шекспира, а Владимир Соловьев — Лермонтова. Мне довелось выступить с лекцией в Испании недавно, где я попытался осветить несовместимость миров Толстого и Достоевского. Потом это превратил в статью. И когда Толстой отвергает Достоевского, а Достоевский сторонится Толстого, это ни о чем не говорит, не умаляет ни Достоевского, ни Толстого. Это мореплаватели в океане духа, которые плавали разными маршрутами и разными морями. И они приносят рассказы о своих плаваниях, картины этих плаваний. И мы должны помнить, что они в разных морях плавают.

— *Вы думаете, что Иосиф бы огорчился, прочитав статью Солженицына? Сам он куда великодушнее отзывался о Солженицыне, называя его советским Гомером, хотя и не принимал его стилистики.*

— Я думаю, не огорчился бы. Уж про это он знал, про то, как всякий мощный творческий дух вынужден отвергнуть все существующее, чтобы построить настоящее здание, к этому он был вполне готов. И его отношение никогда не строилось на «признание за признание». Вы, конечно, помните, как в каком-то из интервью всплыл рассказ о том, как Ахматова ему сказала: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи»¹. И он заметался. Но поэтический мир Ахматовой был ему настолько близок помимо стихов (то, про что Цветаева писала: «Поэт — это прежде всего состояние души»), он слышал ее напрямую, и она слышала его.

— *И все-таки в статье Солженицына содержатся очень обидные обвинения Бродскому: что он не любит Россию, что у него плохой русский язык, что он недостаточно интересовался еврейской темой, что и сострадание ему несвойственно, и прочее и прочее. Это не то, что он отвергает его мир, как вы деликатно и щедро интерпретируете статью о Бродском Александра Исаевича.*

¹ Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 225.

— Про Александра Исаевича я придумал короткий «ефимизм», как я их называю. Александр Исаевич может написать мемуары под названием «Лагерь, который всегда с тобой» с эпиграфом «Вермонтский волк тебе товарищ». Александр Исаевич может стать рядом с судьей Савельевой по несправедливости своих обвинений. Русский язык Александра Исаевича — это кошмар. Его обращение с историческими темами ни в какие ворота: еврейскую тему лучше бы он не затрагивал. Но что делать? А вот Толстой в 1908 году пишет жене Черткова: «Я тут всё забывши начал читать всеми забытого Достоевского. Мне сказали, что “Братья Карамазовы” это очень хорошо. Начал и не смог преодолеть отвращения к этому кривлянию, к этой истерике языка». Ну что мы будем с этим делать?

— *Описал ли Бродский наш тоталитарный опыт с достаточной убедительностью?*

— Думаю, что нет. Он реагировал на него замечательно и ярко, ближе всего к этому подошел в «Речи о пролитом молоке»: «Календарь Москвы заражен Кораном» (2:27) и там чудно сформулировал эту границу: «Я не занят, в общем, чужим блаженством. / Это выглядит красивым жестом. / Я занят внутренним совершенством: / полночь — полбанки — лира» (2:32).

— *Следует ли придавать какое-то значение тому, что российское правительство не извинилось перед Бродским за суд и ссылку, за все страдания, причиненные ему советской властью?*

— Я думаю, что нет. По моим политическим представлениям, не должно новое правительство извиняться за деяния режима, которому оно пришло на смену.

— *Ну смотрите, Папа Римский продолжает извиняться за все плохие деяния католиков.*

— Да, но ведь не было разрыва, не было крушения и свержения католической церкви. Папа несет ответственность за всю историю католической церкви. Это абсолютно логично и правомочно.

— *Но и Горбачев, и Ельцин, и Путин — все они бывшие коммунисты, одобрявшие в свое время политику партии.*

— Так ведь мы можем сказать, что Хрущев сажал, а Брежнев освободил Бродского и позволил ему уехать, не отправил в лагерь.

— Не считаете ли вы, что своим невозвращением в Россию Бродский как бы подтвердил неотменимость своего страдания?

— Нет, это не имело никакого отношения. Немножко мы с ним говорили про это. Я запомнил один очень характерный телефонный разговор в конце августа 1991 года. Он был очень возбужден и сказал таким прямым текстом: «А правда, Игорёк, впервые за отечество не стыдно». Он переживал за отечество и не чувствовал себя предателем. Человек, который живет в империи языка, и предать-то его не может никогда. Любой другой может его предать, а он навеки уже предан языку и через это — стране. Я думаю, самое человеческое и простое объяснение он дал в письме Собчаку, который его зазывал и зазывал в гости. И Иосиф написал: «Боюсь приехать в город, где могу встретить одноклассника, который у меня попросит милостыню»¹. А всем не подашь. Это мучительное состояние.

— Как вы относитесь к его интервью? Как к материалу для биографии или как к тексту, который надо интерпретировать, как и все написанное и сказанное Бродским?

— Я бы сказал так: Бродский не любил вранья, не любил сам врать. Ему было так интересно думать, переживать и делиться. На вранье у него ни времени не было, ни интереса. Я много прочитал его интервью, и я всюду вижу и слышу его голос. Даже сквозь волковские интерпретации и искажения и особенно сортировку ужасную — я вижу прорывающийся знакомый родной голос. Вот интересная деталь, по которой можно понять, подвергалось интервью чистке или нет. Бродский был одним из остроумнейших людей своего времени и нашего круга. Когда прочитываешь книгу, подготовленную Соломоном Волковым, в которой нет даже тени иронии, нет проблеска иронии, понимаешь, что это разговор с человеком, который закрыт для иронии. Таковым является Соломон Волков. Но это еще нормально. Это эмоциональная несовместимость. Я так представляю, что Бродский шутил, а Волков это просто опускал. В других-то интервью блещет его юмор. О том же Солженицыне. Когда читаешь «Большую книгу интервью» Бродского, видишь, сколько раз он возвращается к Солженицыну, отдавая должное этой фигуре. Бродский умел

¹ Людмила Штерн. Ося. Иосиф. Joseph. М.: Независимая газета, 2001. С. 248.

ценить шекспировское величие фигуры, а не морально правильные, какие-то расценочные категории. Конечно, в Солженицыне есть эта мощь борца, летописца и пророка. Как это можно не ценить? А в толстой книге разговоров с Волковым оставлено одно упоминание Солженицына в самом пренебрежительном контексте: «Да ну, про этого господина и говорить неохота»¹. Тут я вижу, что Волков сильно передергивает в угоду своим вкусам.

— *И последний вопрос: как вы относитесь к фактическому запрету — во всяком случае для друзей — на официальную биографию Бродского на следующие полвека*²?

— Я, наверное, не тот человек, который имеет право отвечать на этот вопрос. Я уже нахулиганил по этому поводу с перепиской с Довлатовым, нарушил законы какие-то, оказывается. Я надеюсь, что этот запрет будет нарушен. Как я сказал уже, люди большого художественного дара совершают путешествия в мире духа, и скрывать от нас их путешествия — это все равно, как если бы мы скрыли результаты путешествия Колумба, Магеллана, Марко Поло, Амундсена. Все критерии, которые выдвигаются здесь... Получается, что мы больше уважаем частную жизнь отдельных людей, чем волнующие и важные, и безумно нужные нашей душе плавания в такие дали, в которые у нас у самих не хватит духу поплыть. Я за то, чтобы мы знали об этих плаваниях. А то, что несколько человек будут задеты, огорчены открывающимися подробностями, комментариями... Мир литературы заполнен таким количеством клеветы, намеренной, целеустремленной, что этот пуризм — а вот мы вот здесь в этом месте останемся абсолютно чистыми — он невыполним, он иллюзорен, и он просто оставляет поле нечестным и лживым интерпретаторам и биографам.

¹ Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским... С. 294.

² Разумеется, юридического запрета нет и не может быть. Но настоятельная просьба, обращенная к друзьям Бродского, не сотрудничать с возможными биографами, запрет на сколько-нибудь обширное цитирование стихов, равно как и использование писем, делают серьезную биографию невозможной. Проблема биографии Бродского обсуждалась в интервью Виктора Куллэ с Марией Бродской и Энн Шелберг (Старое литературное обозрение. 2001. № 2. С. 35—39). — *Ред.*

ГЕНРИХ ШТЕЙНБЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ 2004, МОСКВА

— *Вы старый друг Иосифа Александровича, и ваши воспоминания очень ценны для читателей его поэзии. Когда вы впервые встретились с Бродским?*

— Иосифа я встретил в первый раз, наверное, в 1958 году, может быть, в 1959-м на так называемом турнире поэтов во Дворце культуры им. Горького. Он выступил со стихотворением «Еврейское кладбище». Надо сказать, что я это запомнил, но особого внимания на Иосифа как на поэта тогда не обратил.

— *И даже его манера чтения вас не удивила?*

— Да нет, пожалуй, немного удивила, но не более того. Все-таки в основном я следил за текстом, за звучанием, а не за авторской манерой выступления.

— *А когда вас удивили его тексты?*

— Я обратил внимание на его стихи году в 1961-м или в 1962-м. До этого я к Иосифу относился как к знакомому моего друга Жени Рейна. В то время в Ленинграде существовали очень интересные поэты: Рейн, Горбовский, в Ленинградском горном институте у Глеба Семенова было замечательное литобъединение — Володя Британишский, Александр Городницкий, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Лена Кумпан — геофизики, геологи — товарищи мои по факультету и замечательные друзья — Виктор Соснора, вернувшийся из армии, и Саша Кушнер из института Герцена. Им было по двадцать — двадцать пять или больше, а Иосифу еще не было и восемнадца-

Генрих Семенович Штейнберг (род. в 1935 г.) — геолог, геофизик, вулканолог, академик РАЕН (1993), лауреат ряда российских и международных премий.

ти. Про них уже можно было сказать: поэты, тогда как Иосиф только начинал, а начинающих было много.

— В 1961 году, когда вы его начали ценить, как к вам его стихи доходили?

— Я на Камчатку уехал в 1960-м, но появлялся в Ленинграде каждый год несколько раз и встречался со своими друзьями. Женя Рейн был моим самым большим другом, с военного детства, как и Андрей Битов. Года с 1954—55-го знал и друзей Жени: Толю Наймана и Диму Бобышева, они учились вместе с Женей в Технологическом, знал и Володю Уфлянда и, конечно, университетских ребят: Леву Лифшица (Лосева), Леню Виноградова, Мишу Еремина, Илью Фоякова, Леву Куклина.

— А сами вы стихи не пописывали?

— Нет, я стихов не писал, если не считать наше с Рейном сотрудничество в «Вечернем Ленинграде», в разделе «На острие пера», где мы, «джентльмены в поисках десятки», пописывали фельетончики, иногда рифмованные. Но это же не стихи, не поэзия.

— Вы упомянули, что в вашем доме часто встречались поэты и писатели. Скажите пару слов об этих собраниях.

— Встречались часто у меня, потому что жил я в роскошной — по тем временам — большой трехкомнатной квартире, в центре города, на Пушкинской улице, дом № 9, по счету пятый от Невского, рядом с памятником Пушкину. Отец мой до войны был архитектором, в войну строил в Ленинграде аэродромы, вернее, временные посадочные площадки, а после войны аэропорты; он хорошо знал литературу. Собственно говоря, для меня и поэзия-то началась, когда, приехав из эвакуации и зная, что и положено знать к десяти годам: Пушкина, Лермонтова, Ершова, Некрасова, у отца в библиотеке нашел том Багрицкого.

— А Заболоцкого там не было?

— Нет, Заболоцкий был позже; для десяти лет «Столбцы», пожалуй, рановато. Для меня, как, впрочем, и для Рейна, поэзия началась с Багрицкого, вот с этого тома. Собирались у нас очень часто. Началось это в 1954—55-м. Отец с большой любовью относился к молодежи, он и сам был очень красивый и молодой, чуть за сорок. И брат, Саша, учился в Политехническом и тоже интересовался литературой.

— *А Иосиф бывал в вашем доме?*

— Иосиф бывал, но вообще заходил на Пушкинскую не часто, иногда с Женей Рейном. Обычно мы встречались у него. Для встречи вдвоем там, в доме, что на углу Литейного и Пестеля, было очень удобно. А поскольку в Ленинград я прилетал хоть и часто, но на две-три недели, то ждать, как теперь говорят, тусовки, времени не было: я звонил Иосифу, и мы договаривались о встрече, обычно через день-два. И встречались у него; почти всегда это были встречи вдвоем, с открытым разговором обо всем, за кофе, бутылкой вина.

— *Он уже тогда отделил для себя полкомнаты?*

— Да-да. Уже у него этот ящик, эта каюта существовала.

— *И родители его никак не мешали вам?*

— Нет, никак не мешали, их как бы и не было: в этой маленькой комнате было два входа — из гостиной и из коридора коммунальной квартиры, откуда мы обычно и заходили. Иногда, просидев вечер, я уходил не увидев никого, кроме Иосифа. С Александром Ивановичем познакомился в начале шестидесятых, а с Марией Моисеевной значительно позже, года за три-четыре до отъезда Иосифа.

— *Расскажите, пожалуйста, Иосиф был приглашен вами или сам захотел участвовать в геологических экспедициях?*

— Иосиф начал работать в геологических экспедициях в конце пятидесятых¹, а зимой 61-го года он пришел ко мне. У меня была уже некая известность, популярность в советской прессе; над этим Битов потом не без юмора поиздевался в «Путешествии к другу детства»... Случился тогда в те времена эпизод, из которого сделали сенсацию: спуск в кратер действующего вулкана. Об этом в газетах, журналах написано было много, и кинохроника снимала, и на телевидении я выступал... А Иосиф пришел и попросил взять его в экспедицию на вулканы. В 1961 году я его не взял, сказал: «Иосиф, ты в прошлом году из Дальневосточной экспедиции в середине сезона удрал, а мне нужны надежные рабочие». Не взял.

— *А в 1961 году он сам к вам пришел или его кто-то рекомендовал?*

¹ Впервые Бродский поехал в геологическую экспедицию на Белое море в 1957 году. См. стихотворение «Прощай, позабудь...» (1957; 1:19).

— Сам пришел. Он знал, что в 1957 году, когда был в Технологическом институте разгром газеты «Культура», Женю Рейна выгнали из института и сразу же после исключения должны были забрать в армию, а я устроил его на Камчатку, в экспедицию 11-го района, где работал на практике в 1956—57-м году. Вероятно, если бы Рейн попросил за него, я бы взял, а так для меня по тем временам Иосиф был просто знакомым, ничем не примечательным.

— *Так был ли случай, когда вы его взяли к себе?*

— Нет, была длинная история, как я пытался его взять в 1966-м, в 1967-м, в 1968-м годах. Сначала пробовал принять его в свою экспедицию на полевой сезон стандартным, легальным порядком. Как, например, два сезона работал у меня Глеб Горбовский. Работал в идеальных для поэта условиях: сидел один на тихой сейсмической станции, под вулканом, все лето писал стихи, раз в сутки менял сейсмограмму и выходил на связь, сообщая, что на станции все нормально. Природа, горячие источники, вулканы... Но в 1966-м и 1967-м Иосифу не дали пропуск на Камчатку: тогда это была погранзона. В 1968 году мы «пошли другим путем». Все документы и вызов оформил я на Мишу Мейлаха: в те времена билет на самолет продавали без паспорта и при посадке на самолет документы не спрашивали: билет есть и вперед. Решили, что Иосиф полетит с билетом на имя Миши Мейлаха, а в Петропавловске, где проверка документов, я его встречу, а с милицией, пограничниками договорюсь, поскольку был начальником экспедиции и человеком достаточно известным. В июне или в июле, получив телеграмму с датой прилета Иосифа на Камчатку, я на экспедиционном «Ан-2», с которого вел контроль за состоянием вулканов, прилетел в Елизово, на военный аэродром, где лайнеры садились. Связался с лайнером, сказал, что на борту у них находится Михаил Мейлах, которого ждет наш «Ан-2», и чтоб его на проверку выпустили первым, не задерживая наш вылет. Лайнер садится, заруливает на стоянку, подкатывают трап, и вместе с нарядом милиции иду я встречать Иосифа. Открывается дверь, и на трап выходит... Миша Мейлах. Оказывается в последний момент Иосиф решил, что за ним следят, его подловят, раскрутят дело о нарушении пограничного режима, и не полетел. Так что его поездка на Камчатку не состоялась.

— А Миша Мейлах таки работал вместо Бродского?

— Миша Мейлах две недели летал со мной на вертолете, участвуя в подготовительных работах по выбору площадок с максимальным соответствием поверхности Луны по рельефу и физико-механическим свойствам пород. В следующем, 1969-м, и в 1970 году на этих площадках экспедиция, которой я руководил, проводила ходовые испытания лунохода.

— В письме к вам Иосиф пишет: «Еще не знаю точно, уплы ли я на «Сириусе»¹. О каком «Сириусе» идет речь?

— «Сириус» — парусное учебное судно морского училища, и была возможность устроиться на него матросом. Судно шло без заходов в порты и высадки на берег, поэтому для участия в рейсе виза не требовалась. Иосиф хотел устроиться матросом на это судно.

— А что вы знаете о другой мечте Иосифа — стать летчиком?

— Он к авиации относился серьезно, но о желании стать пилотом от него не слышал. Он хотел полетать над вулканами, особенно когда я ему сказал, что у нас свой самолет, по Камчатке летаем где угодно и что можно будет попробовать управлять самолетом. В свое время я и сам так освоил «Ан-2», а уж потом закончил курсы и получил свидетельство. Иосиф любил авиацию: в его стихах самолетная и вулканическая темы возникают часто. Большая печаль для русской поэзии, что он на Камчатке не был.

— И не воспел ее.

— Конечно. Кстати, последние записи Пушкина, буквально за день-два до дуэли, это конспект замечательной книги Степана Крашенинникова «Описание Земли Камчатки»², в котором прекрасны фрагменты пушкинского описания Кам-

¹ В этом письме (февраль 1968-го) Бродский пишет: «Здесь всё идет своим паршивым чередом, и все живут своей говенной жизнью. Самое неприятное, друг мой, что человек не в состоянии совершить в этих условиях поступки, пропорциональные ситуациям, в которые он попадает. Это можно только в кино, но там — сюжета меньше. Возникает избыток психической энергии, который приводит одних в желтый дом, других — к скотству, третьих никуда не приводит».

² Степан Крашенинников. Описание Земли Камчатки. М.: ОГИЗ Географгиз, 1948. Это первое обстоятельное научное описание Камчатки по результатам экспедиции Беринга 1740—1741 гг., в которой Крашенинников участвовал как представитель Академии наук.

чатки. Высокая поэзия, хотя по форме проза и даже не самостоятельная, а конспект.

— *Вы еще упомянули об увлечении Бродского футболом. Он действительно интересовался футболом, и когда бывал в Англии и шло футбольное соревнование, он просил включить телевизор. Что вы знаете об этом его увлечении?*

— Здесь необходимо небольшое отступление. В послевоенные годы футбол в Ленинграде, да и в Союзе был действительно спортом номер один. Футбольные матчи — как праздник. Я это хорошо помню, потому что играл в футбол с детства, сделал успешную, даже стремительную карьеру.

— *Профессионально?*

— Да, у меня был замечательный тренер, Николай Михайлович Буднев, к которому попал я в тринадцать лет, в детскую команду «Труда». Он уже на втором году тренировок расписал всю мою футбольную карьеру: «в тринадцать-четырнадцать лет играешь в детской команде, в пятнадцать — в юношеской, в семнадцать лет — в воротах сборной юношеской Ленинграда, в восемнадцать — за мужской коллектив в первенстве города, а в девятнадцать — возьмут в мастера». Все так и было. В 1952 году — сборная юношеская Ленинграда, в 1953-м — первая мужская «Труда»; в 1954-м взяли в мастера, а в 1955-м — в дублирующий состав «Зенита», одним из двух дублеров голкипера. А вратарем «Зенита» был Леонид Иванов, великий вратарь, защищавший ворота сборной страны в 1952 году в Хельсинки, на первых для СССР Олимпийских играх; это после Иванова, в 1955-м или 1956-м в воротах сборной Союза появился Яшин. А в 1956-м Иванов уходил из футбола и мне пришлось принимать решение: или футбол, или институт. И ушел я из большого футбола, продолжая играть за институт, за «Труд». Любовь к футболу осталась; я и на Камчатке играл за «Водник», за сборную области, да и сейчас иногда случается. А Иосиф любил футбол. И году в 1959-м пару раз ездил со мной на игры, сидел у меня за воротами. В общем, он к футболу относился серьезно. Помните:

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб...

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммураппи, самые главные — пенальти и угловой. (3:122)

— Так когда же вы действительно прочитали и оценили стихи Бродского?

— Пожалуй, в конце 1961-го и уж совсем точно: в 1962 году я знал, что он замечательный поэт: на уровне Рейна, Горбовского, Британишского, Кушнера, Сосноры. А некий прорыв, когда я понял, что он на голову их выше, — это 1965 год: «Два часа в резервуаре». Для меня она и сейчас совершенно замечательная поэма, а тогда я ее с двух прочтений запомнил наизусть.

— Он читал вам стихи, когда вы его навещали в этих «полутора комнатах»?

— Читал, конечно. Всегда читал...

— Читал полностью? По памяти?

— Иногда, на длинных стихотворениях («Авраам и Исаак», «Горбунов и Горчаков») заглядывал в текст, но в основном читал наизусть. Временами это было даже немного утомительно. Когда закончил читать «Горбунова и Горчакова», сказал: «Вот за это мне когда-нибудь дадут Нобелевскую премию». Однажды, по-видимому, перед моим приходом он закончил стихотворение и сказал: «Послушай, замечательный стишок, если понравится, я тебе его посвящу». И прочитал «Дебют». Полагая, что тема, сюжет стихотворения как-то связаны с тем, кому оно посвящено, я сказал: «Иосиф, это гениальная шутка, но посвящать его мне не надо. Посвятишь какое-нибудь другое...»

— «Дебют» — это 1970 год. И больше он вам не предлагал посвящений?

— Больше не предлагал. И я про себя жалею: нужно было просто выбрать и сказать, и он бы посвятил. Но ведь живешь и думаешь, будет еще не одна встреча. Так что остались всего два стихотворных посвящения, написанные на книгах. На сборнике «Новые стансы к Августе» он написал:

Пока ты занимался лавой,
я путался с одной шалавой.
Дарю тебе, герой Камчатки,
той путаницы отпечатки.

*От Иосифа Бродского
18 июня 1989 г., Нью-Йорк.*

И на пьесе «Мрамор»:

Прочтите эту пьесу, сэр:
Она — отрывок СССР.

18 июня 1989 г., Нью-Йорк

— *А вы наблюдали или были свидетелем каких-либо столкновений Иосифа с властями?*

— Нет, не был свидетелем. Более того, уже в позднеамериканском периоде, когда я там появился, он очень неохотно говорил обо всем, что касалось его процесса и отношений с властями во время ссылки.

— *Кстати, когда вы появились в Америке впервые?*

— В июне 1989-го. Это был мой первый выезд за кордон, потому что я был совершенно невыездной человек по знакомствам, по работе и по отношениям с КГБ. В шестидесятые годы, когда шла гонка за Луну, у меня появились «лунные» работы. Сначала это было для меня нечто вроде хобби. Я полагал, что лунной геологией и вулканами на Луне кто-то занимается серьезно, но мы об этом не знаем, потому что все закрыто. Но вот появилась в «Известиях Академии наук» некая статья по геологии Луны, которую я прочитал и понял, что почти все в ней написанное полная ерунда, даже с моих, как я считал, любительских позиций. Сел и по молодости, по заводке написал и отправил в тот же журнал большую статью, где сравнивал свою аэрофотосъемку вулканов со съемками Луны из обсерваторий и с космических станций. И еще написал короткую статью для «Докладов Академии наук», где печатаются наиболее важные научные результаты. Но для публикации в «Докладах» необходимо представление академика. Какого? Кто из академиков у нас Луной занимается? От брата я знал, что фигурирующий в СМИ без фамилии, так называемый Главный Конструктор — академик Сергей Павлович Королев. Рабочий адрес Королева в академическом справочнике — Президиум Академии наук, Ленинский проспект. Туда и отправил. Статья с представлением Королева вышла в октябре 1965-го. Потом выяснилось, что это была единственная статья, представленная им за всю его академическую карьеру. И тут возник контакт с чекистами: они нача-

ли давать мне материалы по геологии Луны как опубликованные, так и полученные по своим каналам. А потом у меня с ними возник конфликт.

— *Уж не пытались ли они сделать из вас стукача?*

— Пожалуй, нет. Они сразу пообещали не задавать вопросов не по делу и только однажды спросили вскользь о какой-то мелочи: то ли пьянке, то ли адюльтере; я вопрос «не заметил», а повторять они не стали. А вот после «дела о луноходе» и увольнения из института возник серьезный конфликт, связанный с моими контактами с «западными коллегами» и друзьями из эмиграции. В 1975-м мне под расписку было объявлено официальное предупреждение. Но возвращаясь к Иосифу, мне кажется, что ему действительно не хотелось вспоминать суд, ссылку, а тем более сводить какие-то счета, называть имена-фамилии. Ему это было неинтересно.

— *Потому что он не хотел считать себя жертвой режима и не хотел, чтобы другие считали его жертвой или акцентировали внимание читателей на преследовании его советскими властями.*

— Да. Но, главное, сам процесс и то, что вокруг этого происходило, было ему уже давно неинтересно. В то же время он был человеком невероятно любознательным, он спрашивал про вулканы и про геологию. В 1992 году, когда началось катастрофическое извержение вулкана Сьеро-Негро в Никарагуа, полетел я туда руководителем группы МЧС. Рейс шел через Майями, и оттуда я позвонил Иосифу, позвонил рано, в начале восьмого. Ответил автоответчик, я начал диктовать мессадж, но тут он взял трубку и сказал: «Ради Бога, не рискуй, не лезь никуда и, когда все закончится, позвони сразу». Он помнил мои тяжелые травмы 1962 года на извержении Карымского вулкана: семь суток без сознания, сутки без медицинской помощи, длинная история. Это было во время Карибского кризиса, и военные не могли к нам прилететь. На наше счастье, на второй день после ЧП кризис закончился, и вертолет ВМС нас вывез. Ну не важно. Иосиф повторил: «Когда все закончится, обязательно позвони мне и расскажи». Второй раз позвонил ему после успешного финиша работы на извержении. Посол устроил для меня, Юры Тарана и Юры Дубика небольшой прием и разрешил мне позвонить по международному телефону. Когда же услышал, что разговариваю с Брод-

ским, очень зауважал (оказалось, что сам стихи пишет). Уважение посла к Иосифу очень мне помогло: потом, когда поступило приглашение от президента Панамы дать заключение по новым кратерам, образовавшимся в районе вулкана Бару, посол дал команду все быстро оформить, доверительно сказав мне перед вылетом: «Дипломатические отношения с Панамой только что установлены, там нет еще ни консульства, ни посольства и никого из дипкорпуса. Я вот по совместительству посол, а там всего два человека из России, один на Канале, а второй из ИТАР-ТАСС, журналист, но я его не знаю, может быть, он из другого ведомства».

— В 1968 году Бродского допрашивали в КГБ по поводу «самолетного дела». Что вы знаете об этом деле?

— Глубокая осень 1968 года. Я прилетел в Ленинград, и когда мы встретились, сначала были стихи, общие разговоры, а потом я спросил его: «Что ты сейчас делаешь?» Он сказал: «Вот письмо пишу». — «Что-то личное?» — «Да не совсем. А впрочем, вот посмотри». Письмо адресовано было Л. И. Брежневу по поводу приговора с высшей мерой наказания по ленинградскому «самолетному делу». Я прочитал письмо и, естественно, как реалист, спросил: «Зачем тебе это? Ведь ничего не изменится: приговор из-за твоего письма не отменят, а ты и так на контроле, под колпаком: лишнее лыко в строку». Он: «Тут же смертный приговор... Я должен написать». Меня это тогда немного удивило.

О том, что его допрашивали в КГБ по ленинградскому «самолетному делу», я не знал. Он об этом мне не говорил. Вот по среднеазиатскому «самолетному», но это же пятидесятые годы.

Есть тут еще один момент: если попытаться дать Иосифу предельно обобщенную характеристику, ее можно сформулировать в одной фразе — он был человек *достойный*. И держался с достоинством, в любой ситуации. А себя ловлю на том, что имею десяток разных лиц: здесь — директор, там — подчиненный, тут общаюсь на своем уровне, на родительском собрании в школе — отец, а на трассе с инспектором ГАИ — нарушитель и т. д. И всюду выступаешь в новой роли: при этом пьеса — говно, режиссер — мудака, актеры — дебилы, каждый тащит одеяло на себя. И ты им под стать, потому что играешь этот спектакль и в разных ампулах на сцену выхо-

дишь. А вот Иосиф был всегда в одном образе и не перестраивался в зависимости от обстоятельств. Он был предельно цельный человек. Граней много, а образ один. Этому можно позавидовать. И не меньше, чем таланту: ибо талант от Бога, а это от себя самого. С возрастом становишься консервативным и уже не перестраиваешься под собеседника; с годами методом сравнения, проб и ошибок, по «гамбургскому счету» устанавливаешь свой истинный уровень, или как нынче говорят — рейтинг. А Иосиф уже в двадцать лет свой уровень знал. А когда ему стукнуло двадцать пять, это знали многие.

— *Это весьма любопытно, что вы рассказали о письме Бродского Брежневу. Следовательно, его письмо Брежневу при отъезде из СССР было не первым.*

— Да, не первое. Не знаю, отправил ли он его, но то, что оно было написано, могу засвидетельствовать, потому что читал.

— *Так все-таки была эмиграция или высылка? Были ли у Бродского желания и попытки уехать из СССР еще до 1972 года?*

— Да, были. В 1968 году, видимо, это было связано с любовью к английской девушке¹. Учитывая его сложную личную жизнь, я никогда не спрашивал его ни о Марине, ни о других женщинах, хотя что-то на глазах происходило, что-то от Рейна знал, но самого Иосифа об этом не спрашивал. Знаю только, что брак как бы должен был состояться, но в соответствующих органах тоже об этом знали и девушку в Союз не пустили. Тогда у него и появилось желание оказаться за границей для того, чтобы... И в том же 1968-м он меня спрашивал: если он наймется на рыболовное судно, что не так сложно было, то можно ли в узком проливе (Каттегат, Скагеррак) прыгнуть и доплыть до берега. Я ему сказал, что это совершенно безнадежный вариант.

— *Особенно учитывая, что плавать Иосиф не умел!*

— Я даже не спрашивал, умеет ли он плавать, но это дохлое дело: во-первых, тебя могут с судна уложить или достать: спустить шлюпку, догнать. И даже если это сделать ночью незаметно, то два километра в холодной воде — это вариант самоубийства. Такой разговор был.

¹ Речь идет о Фэй Вигзель, которой посвящены стихи «На Прачечном мосту» (1968) и «Пень без музыки» (1970).

— А когда он уезжал в июне 1972 года, вы были в Ленинграде?

— Нет, я с ним последний раз виделся в марте 1972-го.

— Скажите пару слов о том, как вас готовили в космонавты.

— Лунной я занимался давно. Сначала это было хобби, потом мне дали договорную работу, а в 1966 году после нескольких «лунных» публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях предложили переехать в Москву, в Институт космических исследований (ИКИ). Я согласился и прилетел договариваться. Когда все согласовали, я спросил: «А где будет институт?», полагая, что где-то под Москвой. Но услышал: «Станция метро Калужская!» Тогда я как-то увял, поскольку Москву, да и вообще города (кроме Петербурга, разумеется) не люблю. Посоветовался с моим учителем по Луне, А. В. Хабаковым, который сказал: «В ИКИ вас рекомендовал я, но работы там ближайшие два года не будет, институт-то еще не построен, есть только решение Правительства о создании, и значит, года два там будут делить деньги, бороться за должности и т. п. У вас есть возможность на Камчатке работать по этому направлению?» — «Есть», — говорю. «Ну вот и работайте, — сказал он, — работа себя всегда покажет». И начал я выполнять договорные работы «по лунной тематике» с ИКИ, а также институтами и КБ военно-промышленного комплекса.

А в 1968-м профессор Черкасов, который занимался физико-механическими свойствами лунных пород и работал со своей аппаратурой на выбранных мной вулканических площадках, сказал: «Генрих, сейчас идет набор научного состава на станцию „Салют“. По научным и физическим данным вы подходите, отправьте заявление и документы». Спрашиваю: «На чье имя заявление и какие документы?» Отвечает: «На имя Келдыша. А впрочем, вас Виноградов (вице-президент Академии наук) знает, тогда на его имя: заявление, анкету и характеристику». Я написал, отправил, но не думал, что этому будет дан ход. Однако через три месяца пришла открытка-вызов. Прилетел, прошел амбулаторную комиссию, два-три дня — все нормально, и тогда поместили в стационар. Там пробыл месяц и тоже все прошел. Может, потому, что относился к этому не слишком серьезно. Для многих, проходив-

ших комиссию вместе со мной, в основном сотрудников конструкторских бюро, кандидатов на места борт-инженеров, — пройти комиссию и попасть в категорию «спецконтингент» — это — свет в окне, большой шаг в карьере. А у меня отношение к этому было почти спортивное, да и я, по тогдашним понятиям медиков, для спецконтингента был человек старый: тридцать три года, а для космоса им нужна была перспектива лет на десять-пятнадцать. Но с другой стороны, космонавт-исследователь должен быть кандидатом наук, а тогда в геологии мало кто раньше сорока защищался. Одним словом, оставляют меня на центрифугу, еще на месяц. Я говорю, что не могу задерживаться, командировка кончается, у меня луноход и прочее. Они: «Как это не могу? Сейчас телеграмму пошлем, и будете сидеть столько, сколько надо». Еле-еле упротил. Оказалось, что медицинскую комиссию проходит у них один из пятидесяти двух, а из прошедших выдерживают центрифугу двое из пяти, то есть в среднем: один из ста двадцати пяти, а за год клиника может пропустить не более двухсот, каждый прошедший на счет.

После медкомиссии направили на беседу к референту Келдыша. Просмотрел он мои бумаги и говорит: «А почему вы не оформились?» Я не понял, говорю: «У меня допуск есть и все документы в порядке». Он уточняет: «А почему вы не в партии?» Отвечаю: «Партия — это большая ответственность, то да се, а потом научных работников в партию не принимают». Он: «Не валяйте дурака! Чтобы осенью на центрифугу приехали с документами». Вышел от него и не знаю, что делать. Спросил совета у двух друзей, совершенно антиподальных по своему «социально-профессиональному статусу», — у Андрея Битова, члена Союза писателей, которого полагали надеждой русской литературы, и у Иосифа, внесоюзного, непубликуемого, отбывшего срок. Оба ответили по сути одинаково. Андрей сказал: «Система умнее и тоньше, чем мы думаем. Полагаем, что партийность, национальность, семейное положение, моральный облик определяют и т. п. Ан нет: вот русский, партийный, семейный, морально устойчивый, а за кордон не пускают, а вот — еврей, и беспартийный, и разведенный, и бабник, а везде ездит. Потому что тот не наш, а этот наш. Система безошибочно определяет: наш — не наш. Вот и все. Ты не писатель, не режиссер, не артист. Ты вулка-

нолог, а наука — субстанция объективная и давить по партийной линии на тебя не станут. В каждой игре свои правила: так что — давай!» Примерно то же самое было и с Иосифом. Он не был диссидентом в принятом смысле этого слова, но для власти предержажшей был «не наш». Он был другой, но они этого не понимали — двоичная система мышления: черное/белое, чет/нечет, «кто не с нами, тот...» и т. д. Иосиф, кстати, сказал хорошие слова про Слуцкого и Окуджаву (коммунистов), а к проблеме моей отнесся с юмором и, помянув Париж и моего тезку, добавил: «Ты будешь первым евреем, которого поцелует Подгорный». Поскольку тогда встречали космонавтов с поцелуями руководителей страны и ковровой дорожкой на Красной площади и в Кремле.

Иосиф расспрашивал меня про детали медицинских испытаний, про центрифугу; про то, что со мной делали целый месяц, ведь вращения, центрифуга только раз в неделю; о снах во время испытаний, о лунной программе, которую я писал. Вообще Иосиф хотел знать все.

— *Вам известно, как он относился к своему еврейству?*

— У меня такое впечатление, что почти никак. Ведь бывает так: идет некий постоянный звук, шум, и ты его не слышишь, точнее, перестаешь слышать, он уходит в подсознание, возникая в сознании, когда кончился, когда «тишина, ты лучшее из того, что слышал». Так и еврейский комплекс — производная государственного антисемитизма, существовал тогда в подсознании как данность и обсуждался только в случаях беспредела, то есть выхода за некие «установленные границы». А в круге личного общения эта тема возникала разве что в анекдотическом плане. Другое дело, когдаходишь в контакт с госучреждениями, партией, КГБ, МВД. Тогда вспоминаешь, who is who, а не вспомнишь — напомнят. Но на Камчатке, где проработал почти двадцать пять лет, от подобных комплексов я был избавлен. Эпиграфом если не к жизни, то к выбору места жительства поставил бы его строки:

Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться. (3:11)

На Камчатке антисемитизма не было по причине почти полного отсутствия семитов. А те немногие, что там были, не занимали мест, на которые кто-то претендовал.

— *Антисемитизма не было и в Сибири, где я родилась. Я впервые с ним столкнулась, когда переехала в Москву. Но вы оба жили в Ленинграде, где антисемитизм процветал и в школе, и в университете, и на каждом шагу. В связи с Бродским этот вопрос не праздный, потому что он писал регулярно рождественские стихи. Как нам совместить его христианство с его еврейством?*

— Да, казалось бы, это трудно совместить. Но есть ли в том необходимость? Во второй половине XX века в СССР, России христианство и еврейство были разными категориями: христианство — категория религиозная, а еврейство — этническая (социальная, почти политическая), не зависящая от религии. Вопрос о соотношении еврейского и христианского в творчестве (личности) Иосифа для интервью слишком серьезен. Он годится для обстоятельной статьи или даже диссертации. Замечу, что христианская тема в большинстве его стихов сосредоточена на младенчестве Иисуса: Рождество, Сретенье. По существу тема иудео-христианская: младенец рожден, обрезан, некрещен, все окружающие его, включая священников, — иудеи, религия — Ветхий Завет, Бог — Яхве, да и «храм» — синагога... И когда говорится о взгляде Отца, Бога-отца на младенца Иисуса, чей это Бог? Иудейский, христианский? Не знаю. Идеи триединства (как и христианства) еще нет. В «Разговоре с небожителем» по строкам «...не возоплю: "Почто меня оставил?!"» и «...идешь на вещи по второму кругу, / сойдя с креста». Ясно, к кому обращается автор. В «Натюрморте» Бог назван по имени. «Как совместить его христианство с еврейством?» Вероятно, так же, как они совмещаются в Библии: Новый Завет не отрицает Ветхого, а является его продолжением. Теория относительности Эйнштейна не отрицает классической механики Ньютона.

Был у нас однажды разговор о Боге, Жизни, вулканах. Впрочем, скорее, это был мой монолог об отличии вулкана от других геологических объектов. В геологии по результатам процесса восстанавливаешь процесс, протекавший миллионы, даже миллиарды лет назад, а вулканология, пожалуй, единственная область геологии, где наблюдаешь этот процесс в

масштабе реального времени. Вулкан — это живой объект, он рождается, растет, достигает расцвета, зрелости и потом начинается затухание, наступает старость и умирание. Возраст вулканов сопоставим с возрастом человечества — десятки или сотни тысяч лет — от питекантропов, неандертальцев и до homo sapiens. Хотя есть вулканы, которые извергались только один раз. Но большинство были активны на протяжении всего существования человечества. Человечество может себя уничтожить, а вулканы останутся. Поэтому, находясь на вулкане, который живет, дымится, дышит перегретым газом, светится раскаленными площадками, струями горящего газа, ручейками расплавленной серы, образует новые кратеры и минералы, понимаешь, что он будет жить, когда не станет тебя, а может быть, и человечества. Вулкан — это жизнь, а жизнь — это Бог. Поэтому мне близко античное или синтоистское начало, где у каждого явления природы и у вулкана тоже есть свой Бог или божок. Иосиф сказал, что ему это тоже близко. Кстати, в стихах у него не раз проходит тема «божков»: «...как жаль, что нету в христианстве бога — / пускай божка — воспоминаний» или «крылатых женогрудых львов, / божков невероятной мощи» и в других. По воспитанию и по культуре Бродский, как и я, христианин, точнее, иудео-христианин. Если же говорить о Боге, который по определению непознаваем, то для меня: Яхве, Иисус, Аллах, Кришна (или другие имена) — названия вариантов (литературных, исторических, теологических) идеи единого Бога. Мне ближе иудео-христианский, не оттого, что он лучше мусульманского, буддийского, синтоистского и пр., с которыми я и знаком-то поверхностно, а потому, что в нем я воспитан.

— *Мифология?*

— Да, мифология. Сюда еще можно добавить античную, которая, опять же по воспитанию, знакома лучше других. А христианство — религия почти утопическая, ибо требует отказа от двойного стандарта, который мы на словах осуждаем, но по которому жили и живем. Думаю, что двойной стандарт — это норма человеческих отношений: к ближним своим относиться с любовью — по-евангельски, по-христиански, а к дальним — по справедливости, то есть ветхозаветно, по-еврейски. И полагаю, это правильно. Я не встречал людей, которые чужих и незнакомых детей любят как своих, да и тех, которые

любят врагов своих, тоже не знаю. Я могу относиться к врагам своим безразлично, но полюбить их не сумею и пытаться не стану. Может быть, святые и могут, но я обычный человек и живу среди людей...

— *И в самом христианстве ведь два Завета, Ветхий, еврейский, и Новый, христианский.*

— Да, два. Но в жизни и юридических документах всех времен и народов реализуется ветхозаветный принцип: «око за око и зуб за зуб». Различия могут быть количественные: не «око за око», а «око за два» (или наоборот). Но ветхозаветный принцип справедливости, «неотвратимости наказания», а не христианское «прощение», лежит в основе всех правовых кодексов, независимо от веры, культуры, традиций.

— *А что было для Иосифа самым трудным в жизни в Советском Союзе?*

— Пожалуй, невнимание к его стихам людей творческих, тех, которых он уважал. Однажды собрались у Юрия Павловича Тимофеева, который занимался детской литературой, был влиятельным человеком и по возможности помогал молодым и способным. Я не помню, по какому случаю собрались, но Иосиф пришел читать стихи, а у всех было легкое, праздничное настроение, стол накрыт — не до стихов! Он обиделся и ушел. Почти такой же сценарий был и на вечере в Союзе композиторов. И на Дне поэзии, когда замечательный человек, поэт и руководитель литобъединения Горного института Глеб Семенов остановил его выступление после первого стихотворения, поскольку в зале сидели партийно-литературные бонзы, искавшие повод прикрыть «День поэзии», который был чуть ли не единственной возможностью для выступления молодых поэтов перед большой аудиторией.

— *И наконец, расскажите о ваших встречах с Иосифом на Западе.*

— В июне 1989 года я приехал в Штаты, устроился на Брайтон-Бич и на второй день позвонил Иосифу, его не было, я оставил Марго свой телефон и сказал, что хочу его увидеть. Он позвонил утром и подробно объяснил, как до него добраться. Легко нашел Мортон-стрит, поднимаюсь на крыльцо-лесенку с улицы, нажимаю кнопку, нет ответа. Полминуты жду и еще раз нажимаю, и вдруг снизу слышу голос: «Заходи!» Я не очень понимаю, куда заходить. Спускаюсь, иду в

узкий проход, Иосиф стоит, курит и держит под козырек. Вполне узнаваем. Конечно, он изменился, но я уже видел кое-какие его фотографии из «американской жизни».

Вспоминаю, как в марте или апреле 1988 года в Доме культуры медработников, что около Никитских ворот, был первый легальный вечер, посвященный Иосифу, вел его Женя Рейн. Я прилетел с Сахалина дня за два, но Женя поставил меня в список выступающих — приятно было оказаться среди достойных людей: М. Козаков, З. Гердт, Е. Камбурова. Билеты на вечер спрашивали начиная от Тверской (тогда Горького). За кулисами стоял стол для тех, кто выступал, и Миша Козаков на афише написал мне: «Генрих, неужели мы дожили и до этого?» Словом, в Нью-Йорк я приехал уже немного подготовленный: у Иосифа уже побывал Женя Рейн и кто-то еще, кажется Саша Кушнер, Андрей Битов.

А в июне 89-го мы прогуляли день по Нью-Йорку и просидели целый вечер вдвоем на Мортон-стрит. И Мэри, забыл фамилию...

— *Маша Воробьева?*

— Нет, англичанка.

— *Марго Пикен?*

— Да, Марго. Зашла Марго, и мы поднялись к Маше Воробьевой поужинать. Он на следующий день улетал, а я еще сутки там прожил. И Марго там жила. Странное ощущение было: семнадцать лет прошло, а казалось, что только неделю или месяц не виделись или не разговаривали. Вернее, последний раз мы разговаривали в 1983 году, наверное. В день рождения Иосифа мы, его друзья, обычно собирались. В тот год я оказался в мае в Ленинграде, а день рождения Иосифа отмечали у Володи Уфлянда. И поскольку Иосиф знал, где будем собираться, он позвонил. И Яша (Гордин) или Володя сказал ему: «Тут твой друг с Камчатки». И несколько минут мы говорили. Я запомнил, что он ни разу не назвал меня по имени и в разговоре никакой «информационной составляющей» не было.

— *То есть вы оба понимали, что разговор прослушивается и записывается?*

— Конечно. Андроповские времена. Зачем называть имена, пусть расшифровывают сами. Хотя все зафиксировано: и кто вошел, и кто что сказал. И потом помню, что там я в

последний раз видел Марину Басманову. Она приехала уже в 12-м часу. Я ее не видел с середины шестидесятых. Был еще один контакт с Иосифом: я послал ему письмо с Курил, полагая, что там, в отличие от Камчатки, я не под колпаком, точнее, послал своему другу-вулканологу на Гавайи и попросил переслать в Мичиганский университет в Энн Арбор. Адреса я не знал, но это письмо дошло.

— *О чем вы говорили с ним в 1989 году? Он спрашивал вас о России?*

— Он спрашивал о России и о конкретных людях. Он был в курсе основных событий в России, а о положении в стране сказал: «По-моему, они (Горбачев, руководство) не знают, что делать, и мне кажется, единственный выход — это Союзу войти в ЕЭС, если примут. Это и Союз усилит и (с улыбкой) европейский рынок ослабит, что мне как американцу приятно». Очень забавно, с юмором, но без малейшего оттенка неуважения к корреспондентам своим, говорил о письмах («часто с фотографиями»), приходящих от девушек: «Предлагают свои услуги: работать секретаршей, вести переписку, хозяйство и т. п. Одним словом, “ноги мыть и воду пить”». Одной я обязательно отвечаю: восемнадцать лет, очень красивая и ни о чем не просит — только ответить. Пишут, что стихи слышали в школе, учителя читали, объясняли. Неплохо, а?» Или о другой эпистолярной истории (спокойно, без обиды): приходит текст: «Мы до тебя, жидовская морда, доберемся» и т. п. А через неделю от того же адресата: «...мы-де в прошлом письме кое-чего напутали, примите наши извинения». О том, что сбываются самые фантастические прогнозы. Здесь я заметил, что в Москве вышел платоновский «Котлован», о котором Иосиф в 1970-м сказал мне: «Эта книга при советской власти не будет напечатана». Он улыбнулся: «Так ведь это уже не советская власть...» Напомню, что был июнь 1989 года, только что состоялся или должен был состояться последний съезд КПСС (XXVIII или XXIX?), в горкомах, обкомах еще заседали выездные комиссии и КГБ был в силе.

О только вышедшей книге Толи Наймана об Ахматовой: «Это неплохая книга, но там много вранья, с первой страницы», правда, это было сказано шутя, с улыбкой. И еще: «А. А. у него невероятно болтлива, а она была молчаливым человеком. И потом мне кажется, что ему очень хотелось обязатель-

но опубликовать те открытки, что написаны ему, а я знаю людей, которым А. А. писала длинные письма, но им и в голову не пришло бы их публиковать».

Когда поднялись на второй этаж, где он показал мне мою комнату, я спросил, правда ли, что он держится в стороне от многих эмигрантов? Он улыбнулся и сказал, что никого не избегает, но встречается только с теми, кто ему интересен. Никаких имен он не называл. Но, когда встретился в Вашингтоне с Аксеновым и сидели мы у него дома за «рюмкой чая», Василий грустно заметил: «Ты, наверное, единственный человек в Штатах, который вчера в гостях у Иосифа был, а сегодня у меня». Из чего я понял, что некое разделение, антагонизм существует. Впрочем, Рейн, Найман тоже и в Нью-Йорке и Вашингтоне встречались, но они, как и я, «не американцы».

— *Все хотели бы встретиться с ним?*

— Да. Когда днем мы с ним гуляли по Нью-Йорку, его «мерседес» проходил осмотр в «русском автосервисе». Он спросил, куда я еду. Я ответил, что в Аризону. Он взглянул на мои куртку, брюки и сказал: «Там же 40 градусов, а ты так одет!» После чего привел в магазин и купил мне легкий летний костюм. Это была серьезная помощь, ибо в те времена россияне были бедны как церковные крысы: валюта в Союзе не продавалась, а при наличии загранпаспорта с визой обменивали рубли на сумму не более 30 долларов, о чем делали отметку в паспорте.

— *Он вас возил на своем «мерседесе»? Оценили вы его как водителя?*

— Возил. Да я как-то особенно и не обращал внимания. У него был не новый, но вполне приличный «мерседес». Надо сказать, что в Штатах ездить не трудно. Хотя в Нью-Йорке, в центральной части — не просто.

— *Это не самая ваша последняя встреча с Бродским?*

— Была еще одна встреча в Нью-Йорке в 1994 году в День Победы, 9—10 мая. Он уже жил на Бруклинских высотах. Мы прогулялись по Нью-Йорку, и, как и пять лет назад, он купил мне светлый пиджачный костюм, легкие туфли, а Марине, моей жене, какое-то летнее одеяние; затем пошли в китайский ресторан. Подарки друзьям и визиты в китайские рестораны составляли для него несомненное удовольствие. Он был

широкий человек. Потом заторопились успеть к семи часам домой, чтобы увидеть, пока не уложили спать, его дочку Ньюшеньку — Анну Марию Александру. Прелестная девочка, ей тогда, кажется, еще и года не было. Там и познакомились с его женой, Марией, молодой, красивой и молчаливой. Поужинали и поднялись на второй этаж, в его кабинет. Он читал последние стихи и только что законченные замечательные переводы из Еврипида: пролог и хоры из трагедии «Медея», сделанные по просьбе Любимова. Он довольно много говорил о театре, о его циклическом и поступательном развитии от античности до нашего времени. Был весел и остроумен. С ним мне всегда было легко, что в шестидесятые, что в девяностые. Курил он много, почти непрерывно, а когда сигареты кончились, послал меня на первый этаж квартиры, объяснив, где загашник; сам не пошел: «Мария догадается, за чем я, а про тебя не подумает». От того вечера осталась сорокаминутная кассета, записанная с некоторыми дефектами и потому до сих пор нераспечатанная.

Попрощались очень сердечно. Первый раз за тридцать пять лет встреч-прощаний обнял меня и поцеловал. А ведь сентиментальным он не был. Или что-то чувствовал? Не знаю. Говорил, что со здоровьем неважно, что дело идет к операции; даже просил узнать про какого-то врача из ленинградской Военно-медицинской академии. Потом спросил: «Когда ты из Вашингтона в Москву?» — «24 мая». — «Задержись на пару дней и приезжай 25-го на день рождения». — «Конечно, приеду». На том и расстались. 22-го или 23 мая пошел я менять билет в Аэрофлот, а у них уик-энд и в Вашингтоне билет не обменять, надо ехать миль за тридцать в аэропорт. Да и Марине 25-го надо в Москву вернуться. Одним словом, позвонил я Иосифу, объяснил, поздравил. Он сказал: «Ладно, не последний раз видимся!»

А оказалось — последний. Вернее, 30 января с Женей Рейном и Сашей Кушнером прилетели мы на похороны и видели еще три дня в похоронном доме на Манхэттене, рядом с Мортон-стрит и «Русским самоваром», где три дня мы его поминали... А 1 февраля его отпели. В католическом соборе утром, в православной церкви вечером. И хоронили. Временно, в склепе. А уж летом, в Венеции — навсегда¹.

¹ Бродский был перезахоронен в Венеции 21 июня 1997 года.

ЭДУАРД БЛУМШТЕЙН, 26, 30 ИЮНЯ, 12 ИЮЛЯ 2004, ЛОНДОН

— *Когда и где вы впервые увидели, услышали Бродского?*

— По-моему, в конце 1959-го или в 1960 году. Бродскому тогда было двадцать лет, а мне двадцать три. Жили мы недалеко друг от друга: Иосиф — на углу Пестеля и Литейного, а я — на пересечении Некрасова и Греческого. Переулками пятьдесят минут ходьбы. У меня с Иосифом были приятельские отношения, и эти хорошие отношения сохранились надолго. Мы довольно часто встречались, я приходил к нему домой, был хорошо знаком с его родителями, помню, что разговаривали о мировой и советской политике, обычно в антисоветском, саркастическом ключе, делились тем, что выловили из обильного потока самиздатской литературы, и обсуждали поразившие нас идеи, говорили о том, как бы отсюда свалить. Выпивка случалась, но большого места в отношениях не занимала, не в последнюю очередь по бедности. Помню, что он был впереди меня во многом, имел свой независимый подход, но, видимо, что-то во мне ему тоже было интересно; например, я неплохо знал географию мира, физическую и политическую, и очень много читал. Вместе с Осей мы ходили в гости к другим людям из его и моего окружения, так я познакомился с Леонидом Ентиным, Владимиром Швейгольцем, Ефимом Славинским, Александром Пинскером, Леони-

Эдуард Блумштейн (род. в 1937 г.) — геолог, специалист по золотородным месторождениям. С 1963-го по 1968 год был женат на Раде Рабинович, которая составила сборник ранних стихов Бродского. Эмигрировал в США в 1975 году. Автор ряда научных статей, открыватель нескольких месторождений.

дом Аронзоном и другими, ныне известными и неизвестными поэтами, писателями, журналистами. Жизнь в шестидесятые годы в Ленинграде была интеллектуально очень интересной. Среди геологов было тогда много поэтически одаренных и пишущих людей, многих Бродский знал и помимо меня, а я его знакомил со своими друзьями-геологами, многие из них любили и понимали поэзию и, скажем, хорошо на гитаре играли. Но красивыми девушками геологические компании не славились, только умными. Таков был срез поколения, насыщенный фон эпохи «оттепели» или, проще сказать, начала шестидесятых. Значение этого стало понятно позже, но жить тогда было очень интересно. Однако я не могу сказать, что был близким другом Иосифа; думаю, что у него было много таких приятелей.

— *Как рано вы поняли, что перед вами необычный молодой человек?*

— Сразу же как мы познакомились. Особенно после того, как я слушал его стихи, он замечательно читал. Меня это трогало необычайно. Ранние его стихи, были, конечно, хороши, принесли ему много славы.

— *Хотя сам он потом от них отказался.*

— Я знаю, но я не разделяю его отрицательного отношения к ранним стихам. Эти стихи Иосифа выразили тогда настроения и душу нашего поколения, этого самого ленинградского круга, и именно эта близость к поколению, должно быть, потом ему и разонравилась, он совсем в другом стал видеть свою задачу. Иосиф потом стал саркастически относиться к людям, которым нравились его ранние стихи. Иосиф хотел видеть не только простаков, которым по-прежнему нравятся стансы Васильевского острова, «Пилигримы» или «Еврейское кладбище».

— *Иосиф уже бросил школу, а где вы учились?*

— Я учился на геологическом факультете Ленинградского университета. Иосифу нужна была пишущая машинка для перепечатки стихов, и я ему давал свою. А когда я был в поле, моя мама одалживала ему ее. Машинки время от времени приходилось менять, иначе КГБ легко мог бы определить, кто печатал самиздат. Много лет позже, когда я уже жил в США, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, Бродский приехал читать стихи в университет Юты, и собралось огромное количе-

ство людей, большой университетский зал был переполнен, был открыт еще один зал, в котором поставили телевизионный экран. После чтения я подошел к нему с мамой, и они вспомнили, как Иосиф приезжал на велосипеде, клал пишущую машинку в рюкзак и ехал в пригород, в Комарово, где машинистка перепечатывала его стихи. В Солт-Лейк-Сити Иосиф был в нашем доме в гостях, рассказывал про Нью-Йорк, и почему-то помню, что он много времени провел с кошкой.

— *Не вспомните ли вы год, когда Бродский читал у вас в Солт-Лейк-Сити?*

— В 1980 году.

— *Общались ли вы с ним в Америке?*

— Общался, но не так много, мы жили в разных концах большой страны. Мы эмигрировали в 1975 году, приехали в Калифорнию в декабре. Бродский позвонил мне через три-четыре дня. Мы тогда жили в городе Сан-Хосе. Через несколько дней Бродский приехал читать стихи в университете в Беркли, на другой стороне Сан-Францисского залива, заехал за мной и забрал меня туда, поговорить, послушать его стихи и посмотреть на людей. После выступления пошли в какое-то кафе, там он был с какой-то красивой девушкой; кроме этого, про нее ничего не помню, как только что прибывшего человека меня тогда заботили более простые вещи, например, как сказать по-английски (я указал на свою сумку с книгами) — «вот эта штука». Иосиф сказал: «Stuff, Edik, stuff».

Следующий раз был где-то году в 1986-м, мы тогда жили в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, я уже работал главным геологом большой горнодобывающей компании и мотался по всему свету. Меня не было в городе, когда Бродский приехал в Альбукерк с Марией и с приятелем¹. Они хотели посмотреть музеи, картинные галереи и испанскую колониальную архитектуру в Санта-Фе, в часе езды от Альбукерка. Моя жена Лена, которая хорошо в этом разбирается, их приняла и показывала им Санта-Фе. От этого визита остались замечательные фотографии всей команды, сделанные Леной, а также совет, переданный мне от Иосифа, не

¹ В 1986 году Бродский не мог приехать в Альбукерк с Марией, поскольку он познакомился со своей будущей женой в 1990 году.

работать так много и не стремиться много зарабатывать. От Нобелевского лауреата слышу! А фотографии вам должны тоже понравиться.

— *Фотографии мне очень нравятся, спасибо. Вы упомянули уже два чтения Бродского в Америке, на которых вы присутствовали. Изменилась ли его манера? Какое впечатление он производил на американскую публику?*

— Он очень хорошо читал, так же хорошо, как в России и в той же манере и каденции, как он читал в Ленинграде. Более уверенно, очень хорошо был одет, выглядел красиво. В зале было полно народу, его исключительно внимательно слушали. Это вообще меня приятно поражает в американской публике, люди, которые едва ли знают по-русски, приходят слушать знаменитого иноязычного поэта и, выслушав краткий перевод, реагируют так, будто все понимают. Конечно, там было какое-то количество студентов-славистов, но, я думаю, основная публика была не университетская, а из города.

— *Вам легко было общаться с ним после долгого перерыва?*

— Да, у нас с ним много общего, даже и в мелочах — например, мы разделяли любовь к рубашкам... Я жалел, что мы живем так далеко от Бродского и от Нью-Йорка.

— *А любовь к женщинам вы разделяли?*

— Любовь к женщинам мы разделяли, конечно, но девушки у нас были разные, и у него их было намного больше. Но это всегда был готовый сюжет для обсуждения.

— *Вы считаете, что желание уехать из Советского Союза появилось у Иосифа довольно рано?*

— Да, я думаю, что рано. Но Иосифу было сложнее из-за всего комплекса отношения к русскому языку, на котором он писал стихи. Не осознавая полностью размеров его дарования, я этих сложностей тогда не понимал, потому что сам сильно хотел уехать, а его совращал, но реальный отъезд наступил примерно лет через десять.

Сейчас, перечитывая его ранние стихи, например «Воротишься на родину. Ну что ж. / Гляди вокруг, кому еще ты нужен...», я, как бесконечно путешествующий геолог, думаю: как такое понимание противоречивого чувства возвращения в родное место оказалось доступным Иосифу Бродскому в двадцать один год? Наверное, в этом и состоит его особый талант проникновения в суть вещей.

— *А как Бродский работал в геологической экспедиции и как себя чувствовал в заброшенных местах?*

— Иосиф всегда хотел уехать куда-то в экспедицию, посмотреть совершенно новые места, свалить на время из Питера, ему было важно также заработать побольше денег, чтобы зимой можно было заниматься только литературным трудом. Была даже однажды такая романтическая, но неосуществленная, идея, когда он работал в Средней Азии, убежать из Советского Союза. Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавиться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть одну тушенку. Холодно бывало часто.

Бродский добросовестно делал свое дело, но он был нервный такой парень, эмоциональный. В одно лето, уже добравшись до Якутии, Иосиф впал в меланхолию, переживал смерть своего знакомого Феда Добровольского, который утонул за год до этого, его мучили какие-то страхи. Он решил уволиться и уехал обратно в Ленинград, чем очень осложнил ситуацию — так как геологическая партия не могла на месте найти замену¹. Но это было один раз только. В принципе он хорошо

¹ Вот как описывает Сергей Шульц этот случай: «В партии было 4 геолога и 4 коллектора, они должны были проводить геологосъемочные и сопутствующие поисковые работы в восточной части Алданского щита. Долетели сначала до Иркутска, оттуда в Якутск, из Якутска в Усть-Майю. Из Усть-Майи уже спецрейсом вылетели в поселок Нилькан и там ждали оленей. Его (Бродского) охватила страшная ностальгия. За два года до этого во время полевого сезона в геологической партии умер молодой коллектор, 18-летний мальчик — Федя Добровольский. Иосиф глубоко переживал его смерть, посвятил его памяти два стихотворения. И вот во время бездейственного пребывания в этом крохотном поселке он почувствовал, что его душит смертельная тоска и предчувствие неотвратимой гибели. Иосиф говорил мне потом, что он чувствовал: еще несколько

ориентировался в полевых условиях и хорошо с местным народом ладил, не терялся. Конечно, потом в ссылке в Норенской и в тюрьме, может быть, пришло более глубокое понимание людей и т. д. Но выход на природу, и до какой-то степени в народ, начинался с полевых работ в геологических экспедициях. Ну не то что Иосиф был совсем свой в народной среде, он картавил, был рыжий, но этого и не требовалось — быть своим, он умел с людьми ладить, умел общаться. Когда ты работаешь в поле, то ты видишь другой народный срез и слышишь другой язык, чем в Питере.

— *Генрих Штейнберг тоже заманивал Бродского на Камчатку, но в последнюю минуту Бродский передумал.*

— Генриха очень уважаю, замечательный вулканолог. Я был далеко не единственный, кто помогал Бродскому устроиться на работу в геологическую экспедицию. Да, Генрих заманивал Бродского на работу на Курилы, было ясно, что это будет интересный опыт, но почему-то этого не получилось.

— *Галя Дазмарова, которая сейчас живет во Флоренции, тоже устраивала его куда-то.*

— Да, как замечательно, что вы знаете Галю Дазмарову. Очень талантливый человек, геолог тоже, на гитаре хорошо играет, вот из этого как раз геологического круга, который я раньше упоминал. Другой человек, который вам может рассказать об «экспедиционных намерениях» Иосифа, это поэт Сергей Шульц, теперь известный геолог и автор исторических книг. Я учился у его отца, профессора геоморфологии и тоже Сергея Сергеевича Шульца. Я думаю, что Сергей и был первым, кто его устроил в экспедицию. Сергей уже тогда был широко образованный человек, с Иосифом у них были свои

дней — и его настигнет такой же удар, как тот, от которого погиб Федя Добровольский. Зная экспансивную натуру Иосифа и вспоминая то состояние, в каком он был, когда вернулся в Ленинград, я убежден, что это действительно могло произойти. И он сообщил начальнику партии, что он болен, что ему необходимо вернуться домой, и вылетел попутным рейсом обратно в Усть-Майю и Якутск, оставив одного из геологов партии без коллектора, чего начальник партии Г. Ю. Лагздина так и не смогла ему простить, и это ему припомнили на суде в марте 1964 года». // Сергей Шульц. Иосиф Бродский в 1961—1964 годах // Звезда. 2000. № 5. С. 76.

отношения, интересные и долгие. Машинистка, которая печатала стихи Бродского, печатала также стихи Шульца. Поскольку Шульц работал во Всесоюзном Геологическом институте — ВСЕГЕИ — и занимал там определенное положение (я, кстати, тоже стал потом работать в этом институте), он помогал Бродскому подыскать хорошую полевую работу.

— *Кто попадал в его друзья?*

— Это, безусловно, определялось какими-то симпатиями, особенностями поведения, биографии или принадлежностью к какой-то группе. Это были люди, которые вызывают ощущение душевного комфорта. Если же с человеком неинтересно разговаривать, неинтересно проводить время, никакой дружбы быть не может. В основном ему было интересно с поэтами.

— *Менялись ли ваши с ним отношения?*

— Другая стадия наших отношений с Иосифом наступила, когда я женился на Раде, у которой была хорошая фигура, замечательное знание русской поэзии и несравненная память на стихи. Примерно через полтора года скитаний в Ленинграде по разным снятым квартирам нам удалось купить кооперативную квартиру на острове Декабристов, на восьмом этаже, с видом на Финский залив. Туда к нам часто приходил Бродский, он был другом нашей семьи. Тогда мы уже понимали очень хорошо, что имеем дело с великим поэтом.

С согласия Бродского Рада взяла на себя труд собирания автографов его стихов. Эту работу она выполняла очень хорошо. Она стала ревностно собирать все новые стихи Бродского и все более ранние стихотворения, насколько это тогда было возможно. Сам Ося довольно быстро привык к этому и, зная ее этику и дисциплинированность, сам приносил, подписывал и правил. Рада все это собирала в такие машинописные тома, сшивала их, составляла каталог. Я думаю, что в кругу людей, изучающих поэзию Бродского, таких, скажем, как Лев Лосев, Петр Вайль, Александр Генис, Яков Гордин, можно назвать и еще нескольких уже немолодых людей, которые осознают большое значение ее вклада, но я нигде не видел напечатанного признания этого факта.

— *Где это все находится?*

— Это все находится, я думаю, в квартире у Рады в Париже. Я знаю, что она знакомила со своим архивом Лешу Лосе-

ва, который готовит собрание стихов Иосифа Бродского для «Новой библиотеки поэта».

— *Насколько близко вы наблюдали отношения Бродского с Мариной Басмановой?*

— Не близко. Мы были кое-как знакомы с Мариной, но я ее не принимал за человека хорошего и интересного. Но поскольку их отношения были довольно сложными, то когда Иосиф к нам приходил, мы иногда разговаривали про Марину.

— *Вы знали родителей Иосифа?*

— Александр Иванович и Мария Моисеевна меня любили. Я много раз приходил в их дом, они ко мне относились как к человеку, которому можно было доверять. Когда Иосиф был в ссылке, им надо было звонить с переговорного пункта в Архангельскую область. Я часто их сопровождал в эту переговорную контору, поскольку обстановка там была неприятная. Были и другие разные дела; они всегда знали, что мне можно позвонить, и я это сделаю. Они были очень похожи на моих собственных родственников, и мне было с ними легко.

— *А самый его отъезд вы помните?*

— Самый его отъезд я помню. Он происходил исключительно в большой спешке, все это случилось очень быстро. Хотя у него и у нас было такое предчувствие, что это может случиться. Было понятно, что его из России будут выживать, поэтому я не до конца разделял идею тоски по родине. А вот что было не ясно, это что Александра Ивановича и Марию Моисеевну никогда не выпустят за границу. Вот это оказалось неслыханной подлостью властей. Бродский же не был политическим деятелем или диссидентом, их злило, понятно, что он великий поэт и они не в силах это отменить. И особенно это злило даже не московских больших начальников, а ленинградских местных подлецов.

— *Макс Волошин говорил, что главное произведение поэта — это сам поэт. Вы наблюдали, как Бродский создавал свою личность?*

— Это я наблюдал и пытался здесь сказать об этом, очень значительное самообразование, следование своему пути в жизни, склонность к философскому анализу, поездки в экспедицию, природа, которую можно было наблюдать, понимание людей, женщины — все вместе это и создавало личность Бродского.

— *Что есть у Бродского, чего нет ни у одного русского поэта?*

— Меня всегда привлекал необычный философский и аналитический подход к жизни, который я у него видел, мне также нравились неожиданные сравнения несравнимых вещей и отношений, которыми так богаты его стихи. Технически мне в его стихах нравились переносы из одного четверостишия в другое на середине предложения, создается такой интересный длинный ритм. Насчет «чего нет ни у одного русского поэта», я, как не филолог, не владеющий их терминологией и приемами сравнительного анализа, говорить много не должен, но связь с поэзией Мандельштама для меня очевидна. Вот вы меня про это спросили, и может, напрасно, вот я и пытаюсь вам добросовестно ответить, в то время как Иосиф Александрович уже предупредил, что я «в поэзии кусаю очень юного ежа».

— *По мнению Рейна, Бродский шел по лезвию между теизмом и атеизмом. Кто для вас Бродский в религиозном отношении — христианин, иудей, кальвинист, атеист?*

— Конечно, с одной стороны, все мы вышли из советского атеистического общества, но к этому у Бродского было плохое отношение. Для меня очень важно, например, что он к своему еврейству относился как к данности, к тому, что с ним навсегда... Для него это было нормально — быть евреем, он воспринимал это гораздо спокойнее, чем многие, хотя не сталкиваясь в России с ее глубокой антисемитской традицией, я думаю, никто не может, а это делает ситуацию еврея в России далеко не нормальной. Надо пожить вне России, чтобы это понять, и даже там некоторые этого ощущения не приобретают. Я сам не тот человек, который может хорошо понять религиозность Бродского. Конечно, у него были большие поиски на христианском пути, это очевидно из его рождественских стихов и многих других, но какую-то грань он не хотел переступать. Израильское государство он не уважал, отказывался туда ехать, боялся, видимо, попасть в слишком узкую категорию, посмеивался, когда его включили в книгу «Знаменитые евреи». Но с другой стороны, было довольно много евреев, которые крестились и потом стали христианскими писателями и заметными и активными христианскими деятелями, и хотя я целиком согласен с тем, что это их глубо-

ко личное дело, но я всегда чувствовал какой-то дискомфорт с этим. Я думаю, что чувство внутреннего такта не позволило Бродскому встать на такой путь. Но это моя персональная точка зрения, ничем она не обоснована.

— *Он отказывался об этом говорить.*

— И правильно делал. Когда человек принадлежит к какой-то церкви или синагоге, то после службы люди остаются, чтобы полчаса-час пообщаться с другими прихожанами, чтобы помочь им или попросить о помощи, это становится определенным социальным институтом. Но глубина веры — это совсем другое, и это глубоко персональная субстанция, может, никогда до конца не сформулированная, и он, понятное дело, не хотел об этом говорить. Это все в его творчестве высказано. Для меня Иосиф — такой еврейский человек, у которого были определенные религиозные поиски, христианского толка в основном, и на этом пути он прошел определенное расстояние, но он при этом считал бестактным уходить от себя самого, каким он родился, и от тех, среди кого вырос.

МИХАИЛ АРДОВ, 4 СЕНТЯБРЯ 2004, МОСКВА

— *Бродский не раз останавливался в вашем доме. Каким он был гостем?*

— Замечательным, умным, тактичным, таким, который пытается доставить наименьшее количество неудобств. Мало того, он даже старался обедать не каждый день, чтобы не быть обузой для семьи. И это надо было всегда как-то специально оговаривать.

— *С каким типом людей Бродский легко находил общий язык? Или это были самые разнообразные люди?*

— На мой взгляд, самые разнообразные. Очевидно, в них должны были быть какие-то созвучные ему черты, при этом они могли быть в одном — одни, в другом — другие. В одном — какой-то интерес к поэзии, в другом — человеческая мягкость и деликатность, в третьем — его могли занимать какие-то научные интересы. Думаю, что тут никакого общего знаменателя нельзя подвести.

— *Не создалось ли у вас впечатление, что Иосиф немного боялся быть как все в повседневной жизни?*

— Нет, никогда. Он не боялся быть как все и он не боялся быть таким, какой он есть. И мы, и всякий нормальный человек его должен был воспринимать таким, какой он есть, со всеми его человеческими слабостями, иногда с какой-то нервозностью и даже раздражительностью по временам, но

Михаил Викторович Ардов (род. в 1937 г.) окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. Нынче — настоятель одного из московских храмов. Выступает в печати с мемуарами и публицистическими сочинениями. Автор книг «Легендарная Ордынка» (М., 1995) и «Монография о графомане» (М., 2004).

это никогда на тебя не обрушивалось. Он был деликатен и никого никогда не нагружал своими проблемами. Он ценил сочувствие, но вовсе не требовал его от своих друзей и никак не обременял вашу жизнь своими проблемами.

— *По совету вашего отца, Виктора Ефимовича Ардова, Бродский согласился лечь в психиатрическую больницу имени Кащенко в декабре 1963 года и с его же помощью быстро оттуда выписался. Можете рассказать более подробно об этом событии?*

— Тут Евгению Борисовичу Рейну изменяет память — он по этому поводу написал что-то несусветное: что якобы Ардов освобождал Бродского, добыв главному психиатру билет на концерт Утесова¹. Я даже не знаю, с чем это сравнить — поцеловал медсестру в руку выше локтя, и поэтому Бродского освободили. А на самом деле кроме моего отца был привлечен наш друг, и ныне здравствующий, Михаил Юрьевич Ярмуш. Он психиатр, а также поэт и переводчик, у него есть книжки опубликованные. Его ценила Ахматова. И он как психиатр принимал в этом участие. Как я помню, положить в больницу было легче, нежели кого-то оттуда выковырять. Но тем не менее это все состоялось. Я опубликовал, как мы с Юлией Марковной Живовой пришли в эту страшную сумасшедшую больницу и как среди гуляющих несчастных людей увидели Бродского. Он подбежал к забору и кричал криком: «Я здесь не могу находиться, скажите Ардову, чтобы меня немедленно отсюда выпустили!» Кстати, если бы он был потерпеливее, — ну мы знаем еще много обстоятельств, которые его вызвали в Питер, — он бы, конечно, мог оттянуть или вовсе избежать этого безобразия.

— *Сколько приблизительно дней он там находился?*

— Я думаю, дней пять. Очень коротко.

— *Существует мнение, что за Бродского не вступился никто из пожилых писателей, потому что он многих из них оскорбил своими резкими отзывами. Соответствует ли это действительности?*

— Думаю, что нет. До определенного момента, кстати сказать, и мой отец очень активно помогал, потом в какой-то

¹ Евгений Рейн. Заметки марафонца. Екатеринбург: У-Фактория, 2003. С. 129—130.

момент по непонятной для меня причине он отступил и перестал заниматься этим делом. Это написано даже в дневниках Лидии Корнеевны, как Ардов звонил Толстикovu. В Ленинграде ему нельзя было дозвониться, а Ардов сообразил, что в Москве он один из постояльцев гостиницы «Москва», раздобыл его телефон и позвонил ему в номер. Кроме того, существовали и телеграммы в суд Маршака и Чуковского. И сама Лидия Корнеевна, не говоря уже про Анну Андреевну, так что нет, этого не было. Я думаю, что как раз поколение молодое и среднее, которое просто ревновало его к популярности и таланту, вроде того самого мерзавца Воеводина, который выступал на суде, вот они на него злились.

— *Как вы составляли и составили ваше личное представление о поэзии Бродского? Под влиянием Ахматовой и ваших родителей или самостоятельно?*

— Абсолютно самостоятельно. Я все-таки с ним познакомился, наверное, в 1962 году, когда ему было двадцать два года, а мне-то уже было двадцать пять. Я в это время, воспитанный Ахматовой, имел вкус к поэзии вполне устоявшийся. Мне не нужно было никаких рекомендаций. Я оценил меру таланта этого человека довольно быстро.

— *Он читал вам свои стихи, когда вы гуляли или у вас дома?*

— Повсюду. Я помню, как он читал, когда я приходил к нему на Литейный. Он охотно читал свои стихи.

— *Только что написанные или вчерашнего дня тоже?*

— И сегодняшнего, и вчерашнего дня тоже. И дарил мне свои стихи.

— *Мы знаем, что Иосиф не то что отказался от них, но перестал любить свои юношеские стихи. Что вы о них думаете?*

— Я понимаю, что и Лермонтов бы в ужас пришел, если бы знал, что напечатают его юношеские стихи. Ахматова терпеть не могла своих ранних стихов, которыми ее всю жизнь преследовали, вроде «Сероглазого короля» или «Перчатки с левой руки...». Бродский настолько яркий талант, что, безусловно, его юношеские стихи превосходны.

И кстати сказать, у него мало плохих стихов, что не очень типично для русских поэтов, совсем мало; может быть, у Мандельштама также мало плохих стихов, но это отдельная

тема. Понятно, что у каждого поэта на свои сочинения взгляд всегда субъективный, и в эту психологию мы не влезем, но достоинство ранних стихов это никак не может умалять.

— *Что было для Бродского самым большим испытанием в его жизни в Советском Союзе?*

— Просто унижительность существования, безденежье, то, что ему, взрослому человеку, сложившемуся, с таким интеллектом, приходилось жить за счет родителей, за этой стеночкой, в этом отсеке комнаты. Вот эта унижительность вообще советского существования и его в особенности с невозможностью зарабатывать достаточно денег, невозможностью видеть свои стихи в печати и так далее.

— *В своей книге «Монография о графомане» вы описываете один из последних дней Бродского в Союзе, который вы провели вместе, сопровождая Бродского по инстанциям. Какое ваше впечатление, его выдворили из страны или он сам хотел уехать, как утверждают некоторые мои собеседники?*

— Я думаю, что этот момент был очень двойственным: было и то и другое. Вот эту реплику, которую я привожу и которую он сказал около дома, около ограды Преображенского собора, он сказал: «Уехать отсюда — невозможно, но и жить здесь — невыносимо!» Мысль об отъезде у него, безусловно, была. Я помню... этого я, кстати, никогда не писал, пожалуйста, вы можете впервые это опубликовать. У нас был такой приятель — Майк Туми, ирландец, который работал на британских выставках, и вот мы с Бродским ходили туда в гости к ним, там нас хорошо кормили, поили виски. Особенно вкусным был консервированный язык, который мы назвали English language. Обычно выставка была в Москве в Сокольниках. А тут почему-то Майк Туми попал в Питер, меня там не было, и он позвал Бродского на обед на английское судно, которое стояло в Ленинградском порту. Об этом мне Бродский рассказывал, я запомнил на всю жизнь его фразу. Он сказал: «Вы себе не представляете, Михаил, что я почувствовал, когда оказался на судне под британским флагом!» Я бы не сказал, что его советская власть специально выгнала, но вся жизнь, все это существование, то давление, которое выпало на него, — а он как человек тонкий, гениально одаренный, он это давление чувствовал гораздо сильнее, чем обычный человек, — и конечно, вся советская действительность

его выдавливала и выталкивала. И в конце концов, это не могло так или иначе не произойти. Слава тебе, Господи, что это так произошло, потому что с ним могло здесь случиться все, что угодно.

— *Большинство недоброжелателей Бродского и на Западе и в России до сих пор считают, что преследование властей сделало Бродскому «классическую биографию», как предсказала Ахматова. В какой степени эта биография способствовала его международной славе?*

— Эти обстоятельства, безусловно, способствовали славе, или как бы сказали сегодня: все это было неплохим пиаром. Но заметим, однако, что примерно в таких же обстоятельствах уезжали еще десятки писателей, но почему-то никто из них не получил Нобелевскую премию, ни Синявский, ни Максимов. Да, этот элемент существует в его биографии, но биография есть биография, какая она есть.

— *Кстати, как вы относитесь к запрету наследниками поэта писать биографию Бродского в ближайшие сорок два года?*

— Я считаю, что это глупый запрет. Никакие наследники не могут себе присвоить никакого писателя, никакого поэта, тем более великого. Таким запретом они могут только ухудшить дело, потому что в таком случае за это возьмутся скорее люди не вполне добросовестные и желающие на этом заработать, чем те, кто мог бы этим заниматься с пользой для дела и на высоком уровне.

— *Вам не кажется, что именно потому, что политический элемент в его биографии так акцентирован другими, в какой-то степени объясняется тот факт, что сам Бродский отказывался говорить о преследовании КГБ, отказывался подчеркивать роль суда и Фриды Вигдоровой, на что многие обиделись, отказывался осуждать Советский Союз, то есть всячески пытался оттеснить эти политические моменты своей биографии и хотел, чтобы о нем судили прежде всего как о поэте?*

— Я как-то об этом не думал, потому что я не так много читаю подобной литературы по разным причинам, мне хватает трехтомника Бродского для того, чтобы об этом размышлять, но думаю, что в этом есть доля истины, потому что делом его жизни была поэзия и литература. Ему, конечно, претило, когда его переводили в политическую часть спектра. Я об этом с ним никогда не говорил, да и не было повода, тем более что

после его эмиграции мы с ним увиделись всего один раз, только в 1995 году, 5 марта. К тому же он с некоторой брезгливостью относился к политике вообще, как, впрочем, и я.

— *Еще одно принципиальное расхождение Бродского с Солженицыным.*

— Кстати, можете первой опубликовать отзыв Бродского о Солженицыне. Как мы знаем, у Солженицына есть довольно глупая работа, в которой он разбирает стихи Бродского¹, достаточно беспомощная и которая, на мой взгляд, унижает самого Солженицына, выдает в Александре Исаевиче довольно мелочного человека. Когда Солженицын получил Нобелевскую премию, Бродский был еще здесь, и он сказал: «Солженицыну можно дать Нобелевскую премию, но не в области литературы, а в области медицины, поскольку он исцелился от рака».

— *Что вы знаете об отношении Бродского к Пастернаку? Английские родственники Бориса Леонидовича убеждены, что Бродский не любил Пастернака. Когда-нибудь вы говорили с ним о Пастернаке?*

— Никогда, не вспоминаю ни одного случая.

— *Ваш отец рассказывал об излишней жестокости маршала Жукова. Как он принял стихотворение Бродского «На смерть Жукова»?*

— Не помню. Он в это время был уже очень болен, так что вряд ли читал это стихотворение.

— *А вы лично как его воспринимаете?*

— Очень хорошее стихотворение, хотя, конечно, стихотворение одностороннее, потому что Жуков — невероятный мерзавец, и сейчас Виктор Суворов опубликовал одну книгу и будет печатать другую, где он выводит его на чистую воду. У советской власти все вранье, за что ни возьмись; например, Павлик Морозов не был пионером, у меня есть масса таких примеров. А Жуков, их самый главный победитель, был мародер, садист и карьерист. Кстати, Суворов назвал свою книжку «Тень победы». Но Бродский ничего этого не знал. Поэт, как мы знаем из пушкинских стихов, волен выбирать себе любой предмет для своей поэзии и делать из него шедевр.

¹ См. примечание 1 на с. 62.

— Бродский встречал чуть не каждое Рождество новым стихотворением. Следует ли из этого, что мотив Рождества — самая значительная тема в духовном развитии Бродского?

— Нет, не уверен я в этом, тем более как он Сретенье описал. Я думаю, что это просто дань именно самому празднику Рождества. Эта атмосфера праздника как-то его увлекала, может быть, связана с елками, вот такой январь с этой хвоей. И уж, конечно, не «тайна воплощения» Господа Иисуса Христа.

— А не присутствует ли здесь элемент состязания с Борисом Леонидовичем?

— Нет-нет, тем более что я-то не большой поклонник религиозных стихов Бориса Леонидовича. У него из них, наверное, только два совсем хорошие, а все остальные — это такая очень искусная имитация.

— Значит, вы не считаете Бродского религиозным поэтом?

— Нет. Я вообще считаю, что религиозного поэта на самом деле быть не может. По моему глубокому убеждению, все светское искусство, и поэзия даже в особенности, является скорее демоничным, чем божественным. И Муза скорее пробуждает бесов, чем ангелов. Демонизм проявляется то явно, то тайно, иногда совсем явно, как «Мчатся тучи, вьются тучи...» у Пушкина или «Двенадцать» у Блока. И Цветаева, и Ахматова — с Бродским я на эту тему не говорил — они хорошо сознавали природу этого таинственного дара. Поэтому я считаю, что религиозного поэта быть не может. Мало того, я считаю, что настоящую религиозную поэзию могут создавать действительно считанные люди, как Пушкин например, «Отцы-пустынники», потому что сами по себе все эти метры, ямбы и хорей столько столетий служили противоположным целям, а именно демоническим, что на этом языке говорить что-нибудь о религиозном крайне трудно и только в считанных случаях это удается. Природа самой поэзии такова, что она находится вне области религии.

— Да, Бродский тоже говорил, что «мастерство всегда плетет заговор против души», но он одновременно верил, что его «работа по большому счету есть работа во славу Бога»¹.

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 512—513.

— Вполне возможно так сказать.

— *В какого Бога верил Бродский?*

— В какого Бога он верил? Такой вопрос задать можно было бы ему, но я не уверен, что он кому-либо на него ответил. Во всяком случае, на моей памяти у меня был один существенный разговор, когда я крестился в начале шестидесятих годов, в 1964-м, по-моему. Мы шли по Клементовскому переулку, между Пятницкой и Ордынкой, и я спросил у Бродского: «А вы не думаете креститься?» На что он сказал: «I am a Jew». Я уже писал об этом; думаю, что этот мотив отошел у него на задний план с течением лет. Во всяком случае, летом 1995 года, менее чем за полгода до смерти, я получил от него письмо, где он спрашивал меня: «...как вы считаете, Мишенька, принадлежность к той или иной религиозной доктрине расширяет метафизический потенциал индивидуума или его сужает?» Я ему ответил, что несомненно расширяет; но, к сожалению, жить ему осталось уже так мало. То есть можно считать, что, может быть, он и делал в этом направлении какие-то шаги, но как далеко он пошел и что творилось в его замечательно умной голове, я думаю, мы никогда не узнаем.

— *Вы уверены, что Бродский был некрещеным? Его мать рассказывала Наталье Грудининой, что когда они были в эвакуации в Череповце, женщина, которая его нянчила в отсутствие матери, крестила Иосифа без ведома Марии Моисеевны. Я просила нескольких людей узнать что-нибудь об этом в церкви в Череповце, но это оказалось невозможным.*

— Абсолютно невозможно. Если бы это была царская Россия, то была бы запись в книжке этой церкви. А в 1943 году, тем паче если это делали без ведома родителей, можно себе представить, как все это делалось. Но это в данном случае не имеет никакого решающего значения и вот по какой причине. Мы знаем, что сейчас 80 процентов людей в России крещены, но к церкви не имеют никакого отношения. Бродский, если он не крещен, имеет перед ними огромные преимущества, тем более что у него были некоторые понятия о религии и некоторое воззрение, которое мы можем назвать религиозным.

— *Тема смерти — лакмус поэтической этики. Выдерживают ли этот экзамен стихи Бродского в жанре in memoriam?*

— Думаю, да. Безусловно. Он был человек мужественный.

Я помню стихи, которые Петр Вайль читал по радио «Свободы» в те дни, когда он умер, совершенно замечательные строчки, которые на меня произвели сильнейшее впечатление. Я, кстати, до сих пор их в напечатанном виде не видел, но сразу запомнил:

Я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту,
чтобы в каре веков вклинилась их свинья!
И мрамор сужает мою аорту¹.

— *«Главное — величие замысла», — говорил Бродский Ахматовой. Какой из его замыслов вы считаете великим?*

— Во-первых, это вопрос некорректный, опять замыслы и так далее. Я думаю, что не надо так судить. Бродский ставил перед собой грандиозные задачи в своей поэзии и в восьмидесяти случаях из ста, а может быть и больше, добивался поразительных результатов.

— *Поставим вопрос по-другому. Как вы представляете себе нарисованную Бродским картину мира?*

— На этот вопрос не могу ответить.

— *Бродский сожалел, сказав: «Я так и не написал “Божественную комедию”». Татьяна Щербина утверждает: таки написал, только во фресках.*

— Видите ли, в чем дело. «Божественная комедия» вообще одна на все времена. Она стоит во времени между Средневековьем и Новым временем. Это совершенно уникальная вещь. Даже Шекспир, который, наверное, не меньше Данте, тоже не написал «Божественную комедию». Этого никому никогда дано не будет, потому что, как мы помним, Пушкин сказал, один только план «Божественной комедии» — как построен космос: Ад, Чистилище, Рай — одно только это гениально. А то, что Бродский сожалеет об этом, и говорит о величии его замысла! Невозможно сравнивать с Данте вообще никого, но в ряду тех великих поэтов, которые следуют в списке за Данте, он занимает отнюдь не последнее место.

— *А с Пушкиным он выдерживает сравнение?*

— Вы знаете, Пушкин для России — это тоже...

— *Наше все?*

¹ Иосиф Бродский. Пейзаж с наводнением. Dana Point: Ardis, 1995. С. 197.

— Это, конечно, идиотская фраза, как вроде «красота спасет мир» у Достоевского, но в нем есть, безусловно, пушкинский элемент в его огромном видимом разнообразии. И быть серьезным и играть, писать хулиганские стихи, лимерики. Например, если сравнить его с Блоком, то Блок будет чрезвычайно однообразен в сравнении с Бродским.

— *Какую самую большую правду он сказал о нашем времени?*

— Он сформулировал замечательный этический принцип, который весьма актуален в современном мире — «ворюга мне милей, чем кровопийца».

— *Свою книгу «Монография о графомане» вы решили закончить смертью Бродского. Как вы узнали о его смерти и как ее переживали?*

— Я как раз в те дни прилетел в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, и собирался в ближайшие дни с ним связаться и встретиться. Я позвонил Алешковскому и спросил, как Иосиф себя чувствует. Он ответил, что плохо себя чувствует, очень плохо, он готовится к следующей операции. Я говорю: «Тогда я ему звонить не буду, ты будешь с ним говорить, скажи, что я здесь, дай ему мой телефон. Пусть он мне сам позвонит, когда ему будет полегче». Это было 27 января, а 28-го утром позвонил мне мой знакомый, который жил тогда в Америке, и сказал, что Бродский умер. После этого мне позвонили с русского радио, и я по телефону что-то говорил. Действительно, для меня это было очень большим переживанием, потому что я летел именно для того, чтобы с ним как следует пообщаться. Мы договаривались, что я прилечу предыдущей весной, и все будет... Вроде понятно, что сердце больное, но казалось, что не его очередь умирать, но Господь так распорядился.

— *И похороны Бродского, и сороковой день, и перезахоронение в Венеции — все проходило по христианским обычаям...*

— Вот это неправильно, на мой взгляд. Правда, там Мария, она католичка. Я, во всяком случае, панихиды не служил. Я не уверен, что он бы все это одобрил, а коль скоро я в этом не уверен, то я... Я действительно молюсь и желаю ему милости Божьей и, если это Богу будет угодно, Царства Небесного, но произносить такие слова, которые в этом случае произносим и распеваем, не следует.

— *Это уже мой личный вопрос. Я всегда, когда бываю в*

церкви в любой части света, ставлю за него свечку. Правильно ли я делаю?

— Абсолютно. Совершенно правильно делаете.

— Вы пишете, что поддержали нежелание Бродского приехать на родину, когда он получил приглашение от Собчака. Почему? Ведь многие не могут простить Бродскому именно его нежелание посетить Россию.

— Я поддерживал не столько даже его нежелание посетить, сколько связаться с Собчаком, стать профессором какого-то жульнического университета, который Собчак затевал в Петербурге¹, вот это было бы Бродскому не по чину. Не то что я как-то специально не люблю Собчака, но когда Собчак приглашает Бродского приехать в свой Петербург, я вспоминаю: Эльза Триоле и Луи Арагон пытались выписать в 1965 году к себе в гости Ахматову, Ахматова не поехала и сказала: «Мне же не приходит в голову приглашать в гости Римского Папу». Вот приглашение Собчаком Бродского это и есть приглашение Римского Папы. Еще там был один момент смешной. Собчак ему обещал, что он сделает вечер в Октябрьском зале². Я говорю Бродскому: «У вас есть что там прочесть, например, «что мы сломали Греческую церковь» вот на этом самом месте. Ну представьте себе: приезжает Бродский в Ленинград и выступает в Октябрьском зале! Вы знаете, как Бродский надписал Собчаку книгу?

— «Городскому голове от городского сумасшедшего»³?

— Вот это действительно здорово!

¹ Это вполне безответственное заявление остается на совести М. Ардова, поскольку речь идет о серьезном учебном заведении, успешно работающем и ныне, — Европейском университете в Санкт-Петербурге, созданию которого А. А. Собчак способствовал. Разумеется, никакой профессуры Бродскому Собчак не предлагал. — *Ред.*

² На самом деле речь шла о вечере в Большом зале Филармонии. — *Ред.*

³ Людмила Штерн. Ося. Иосиф. Joseph. M.: Независимая газета, 2001. С. 244—248.

ОЛЕГ ЦЕЛКОВ, ИЮНЬ 2004, ПАРИЖ

— *У вас было много друзей среди поэтов, среди них и Бродский.*

— Хотя я и был знаком лично с многими русскими поэтами, я тем не менее не считаю себя человеком, связанным с литературой. Да и литературу, как современную, так и старую, знаю не очень хорошо. И не думаю, что то, что я сейчас буду рассказывать о Бродском, может представлять интерес для профессиональных поэтов. Скорее всего, рассказанное мною будет похоже на жанр воспоминаний, и заранее прошу прощения, если все это будет малоинтересно. Мне хотелось вспомнить даже и незначительные эпизоды, связанные с Иосифом Бродским.

— *Ну начните, например, с какой-нибудь забавной истории.*

— Забавной? Вот вам забавная история, чтобы можно было красочнее представить молодого Иосифа. Однажды в Питере мы с ним шли по направлению к моему жилью, и у меня слегка подвернулась нога и немного побаливала. Я шел прихрамывая. И вдруг у подъезда моего дома, а я жил на шестом этаже без лифта, Иосиф, ни слова не говоря, как забот-

Олег Целков (род. в Москве в 1934 г.) учился в Московской средней художественной школе, в Минском художественном институте и в Академии художеств имени Репина в Ленинграде. Закончил образование в Ленинградском театральном институте на факультете Н. П. Акимова. С 1977 года живет в Париже. Участник многих выставок «нонконформистов». Картины Целкова находятся в нескольких музеях и частных коллекциях Европы, США и Японии, в Государственной Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музее современного искусства (Москва) и Государственном Русском музее.

ливый и более сильный товарищ или, скорее, как отец малого сына, берет меня, как говорили деды, «на закорки» и тащит на себе вверх по лестнице. Через пару этажей я пришел в себя от изумления и нежной благодарности и пошел сам, но Иосиф продолжал помогать мне, поддерживая под руку. Играла в нем молодая кровь — больное сердце будет потом. Но и потом при наших встречах он не хватался за сердце, а с удовольствием хлопал пяток рюмок водки и затягивался очередной сигаретой, предварительно оторвав фильтр.

— *Расскажите о вашем знакомстве с Бродским, где, когда, при каких обстоятельствах?*

— Должен признаться, что я этого точно не помню. Это произошло в Ленинграде, возможно в 1958 году, а может быть, даже в 1959-м, а может быть, и позже. Я тогда водил близкую дружбу с группой молодых поэтов, которые часто собирались вместе за бутылкой водки. Нам всем было в среднем по двадцать лет — Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Александр Кондратов и Владимир Уфлянд. Кроме этого, я дружил с двумя питерскими же поэтами — Анатолием Найманом и Евгением Рейном. Через кого-то из них, скорее всего через Анатолия Наймана, я познакомился с Бродским.

— *Если вас познакомил Анатолий Найман, то это не могло быть раньше 1959 года, потому что сам Найман познакомился с Бродским только осенью 1959 года.*

— Ни года, ни обстоятельств я не помню. Вообще я не имею очень хорошей памяти на прошлое. По-видимому, это связано с тем, что сам я достаточно эгоцентричен и мало интересуюсь окружающим, больше собственной персоной. Но помню, что впечатление Бродский произвел на меня очень «впечатляющее», если можно так выразиться. Сразу же, с первой встречи! Я в нем почувствовал, что называется, родную душу, ибо сам я тогда ходил, так сказать, «в гениях», то есть все мне было нипочем: никаких учителей, никаких авторитетов. И надо сказать, что и Бродский тоже выглядел вылепленным из этого же теста: был он самоуверен, никакого заискивания, никакого ученичества, на все имел собственный взгляд. Мне он сразу понравился еще и тем, что был очень необычен внешне. Он был рыж, отчаянно картавил, и это придавало его облику и его лицу с несколько заносчивым выражением этукую притягательную привлекательность.

— *А где и когда вы впервые слышали, как Бродский читает свои стихи?*

— Не помню, у кого впервые слышал его стихи, возможно у Кирилла Косцинского на квартире. Читал он необычно: я никогда до этого подобного чтения не слышал. Он походил на какого-то отчаянно молящегося еврея, который, раскачиваясь и прикрыв глаза веками, во весь голос пел этаким, я бы сказал, фальцетом в нос: пел все слова подряд. Выскакивали из этого пения отдельные словосочетания, которые производили какое-то незнакомое, новое и сильное впечатление. Я могу это впечатление сравнить с тем, которое я пережил, когда мне было лет четырнадцать и случайно мне попался в библиотеке томик Маяковского с поэмой «Облако в штанах». Когда я впервые стал разбираться в «Облаке», я был ошеломлен, убит, потрясен. Я занимался тем, что в малопонятном, но притягивающем, как магнит, тексте отыскивал сначала рифмы, запутанные в знаменитой «лесенке», потом выкладывал слова в строки, потом искал подлежащее, сказуемое и все прочее. А потом и весь смысл. И тогда стихотворение, которое первоначально производило на меня сильнейшее впечатление, усиливалось тысячекратно. Примерно так же воспринимались мною спустя восемь-десять лет стихи Бродского. При этом потрясены были, как правило, все вокруг.

Второе, что потрясало в его стихах, — тут я опять бы сравнил мои впечатления от него с теми, которые на меня произвел Маяковский в «Облаке», — это какая-то абсолютно новая поэтика. Это было совершенно не похоже на традиционный русский стих, к которому мы привыкли. Абсолютно не похоже. Если классическое русское стихотворение звучало вполне разборчиво и материал его был тебе обычно известным и понятным, то у Бродского речь шла о вещах непривычных. При этом поражала форма, где сложное предложение с несколькими придаточными скручивались друг с другом в нескончаемую спираль. Я бы сравнил еще это с впечатлением, которое произвело на меня чтение Достоевского. Я открыл какой-то из его романов и решил прочитать, но застрял на первой же странице. Мне она показалась настолько любопытной в стилистическом смысле, что я начал читать ее снова. В третий раз я прочитал эту страницу, выделяя все придаточные, посмотрел на толстую книгу, закрыл ее и решил, что мне ее не осилить.

Я хочу сказать, что стихи Бродского напоминали мне (прошу прощения, но как художник я имею право сказать такую глупость) зарифмованную в стихах страницу романа Достоевского, которую я перечитывал три раза. Бродский плел ткань, в которой проза становилась поэзией, поэзия превращалась в прозу, а проза в свою очередь вновь обертывалась с помощью рифмовки и, разумеется, с помощью поразительного сцепления слов в невероятно неслыханную поэзию.

К этому времени я был довольно долго дружен с очень тогда знаменитым поэтом Евгением Евтушенко, которого я спросил однажды, что он думает о стихах Бродского. Мне он тогда, то есть почти полвека назад, ответил, что это не очень похоже на русское стихосложение. И так, стихи Бродского воспринимались как небывалые. И именно здесь я усматриваю самое большое сходство с Маяковским, с его неординарностью.

— *Сходство их поэтик замечено несколькими исследователями.*

— Я не говорю, что стихи Бродского похожи на стихи Маяковского. Они очень разные поэты, но оба входили в русскую поэзию, как будто бы они «с неба свалившись».

— *Да вот и Виктор Кривулин писал нечто похожее о своем впечатлении от публичного выступления Бродского: «Мы, подростки, балдели от ощущения новой, неслыханной музыки»¹. А чем вас больше всего удивлял Бродский как человек?*

— Чем еще поразил меня Бродский и отчего мы с ним даже как бы несколько подружились, хотя ни я слишком не вчитывался в его стихи, ни он слишком не всматривался в мою живопись. Дело все в том, что мне было наплевать, выставляют ли мои картины, и ему — напечатают ли его стихи. Главное — создать. Такой точки зрения придерживались далеко не все.

— *Что усмотрела советская система в его стихах опасного и крамольного?*

— Случилось так, что так называемый «социализм» в эти годы дал свою очередную трещину. Как известно, по закону нам даны и свобода слова, и свобода собраний. Поэтому мне писать свои картинки у себя дома и показывать их друзьям не

¹ Виктор Кривулин. Слово о нобелитете Иосифа Бродского // Русская мысль, 11 ноября 1988. Лит. приложение. № 7. С. 2.

возбранилось. И Бродскому писать свои стихи и читать их у кого-то на дому тоже не запрещалось. К этому трудно было «пришить» какое-то политическое дело, если непосредственно в этих стихах или картинах не было какого-нибудь антисоветского лозунга. Но подобные нам люди сильно разрушают монолит советской власти. Законом тоталитарных режимов должно быть единомыслие. И к ним старались подобрать какие-то «ключи» с тем, чтобы их либо утихомирить, либо изолировать.

Бродского судят и высылают в ссылку совсем не за его стихи как таковые, а за то, что он — Иосиф Бродский, за то, что он личность. Но главное за то, что он, живя в советской системе, был человеком, никакого отношения к «советскому» не имеющим. Однако власти просчитались: они не представляли, что дело Бродского вызовет такой невероятный резонанс. Питерские власти решили пугнуть свою питерскую интеллигенцию. И фигура Бродского показалась им наиболее подходящей. Но вышло наоборот: они сделали его имя более славным и более знаменитым.

— *Затронуло ли вас как художника «дело Бродского»? Ведь ваше собственное творчество государство тоже считало ересью.*

— Я должен признаться, что частенько опасался, что кто-нибудь сзади толкнет под машину. Но надо было привыкнуть быть ко всему готовым. Как видим, Иосиф оказался готовым: он не поднял руки вверх, не запросил пощады.

— *Часто ли вы с ним встречались?*

— Вначале мы с ним сталкивались в Питере довольно часто. Мы с ним вдвоем любили заходить в кафе, которое называлось «Уют», частенько брали бутылочку вина, какую-то недорогую закуску и о чем-то болтали. Это не были серьезные разговоры об искусстве, это было милое времяпрепровождение, болтовня.

Бывал я в его необычной комнате, в которую нужно было входить через шкаф, служивший дверью: ты открывал дверцу шкафа, переступал и выходил из другой стороны шкафа в его комнату. Он любил все непохожее на общее, любил веселую шутливость. Когда впервые я вошел в его комнату, я увидел несколько энциклопедий, в том числе геологическую. Это меня поразило. Сейчас мне кажется, что он свое образование получил, читая разнообразные энциклопедии.

Он совершил еще один невероятный в те времена поступок: он вышел из седьмого класса во время урока и больше никогда не вернулся в среднюю школу. Поступок этот сверхневероятный, в него даже трудно поверить.

— *Позвольте вас поправить, Бродский ушел из школы из восьмого класса.*

— Я мог ошибиться, но, покинув школу, он пошел работать фрезеровщиком. Он не был кабинетным мальчиком, он не боялся грубой жизни. И при этом никогда не скрывал свою «рыжесть» и «картавость».

— *Разбирался ли Бродский в живописи?*

— Не думаю, что уж очень разбирался. Так же, наверное, как я в поэзии. Может быть, побольше, чем я в поэзии. Но мне было очень лестно, когда я показал ему свои картины, он отозвался о них с восторгом. Когда я много лет спустя побывал в Америке в его квартире, я с изумлением увидел на стене плакат, на котором была репродуцирована одна из моих картин. Мне это было лестно.

— *Вы поддерживали отношения с Бродским на Западе?*

— Да, мы виделись с ним довольно много раз и в Нью-Йорке, и в Париже, и даже в Венеции и Турине. Однажды, когда я прогуливался по Венеции, меня окликнул Иосиф. Это была случайная встреча. Он предложил сфотографироваться вместе. Мы стояли на знаменитой площади Сан-Марко, окруженные голубями. Фотограф, видимо, специально насыпал им корму. Бродский потом зашел за фотографиями и одну подарил мне. Она сейчас должна храниться в архиве Владимира Марамзина, которому я отдал ее на сохранение, так как сам не имею архива и ничего не сохраняю.

— *Я эту фотографию определенно где-то видела. Она была опубликована.*

— И еще одно воспоминание. Когда мы гуляли по Венеции, он спросил меня вдруг, не помню ли я наизусть одно стихотворение.

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бдения:
В бездействии ночном живею горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю¹.

Наизусть я его не помнил. Неожиданным для меня было и то, что именно это стихотворение, и просьба вспомнить его наизусть.

— *Вам не кажется, что последнее четверостишие этого стихотворения Пушкина Бродский мог бы вполне обратить на собственную жизнь? Ведь называл же он себя «исчадием ада»². Вы сказали, что встречались с ним в Турине. Что делали там вы и что делал там Иосиф?*

— Мы с моей женой Тоней приехали в Турин, в издательство, где выходил альбом с моими картинами. И мы узнаем, что сегодня Иосиф читает в театре Нобелевскую лекцию³. Звоним ему в отель, приходим. «Я, — говорит Иосиф, — только что из Испании, писал там эту лекцию». Вид у Иосифа какой-то «пыльный»: рыжеватый пиджачишко, рыжеватые башмаки, но что сразу видит Тоня: из-под полы пиджака болтается тряпка. «Что это у тебя, Иосиф?» — спрашивает Тоня. И он, ухмыляясь, машет рукой: «Так, подкладка кармана порвалась». Каково же было наше удивление, когда вечером, в набитом богато одетой публикой зрительном зале, на сцену с пачкой листов в руке поднимается наш новоявленный «но-

¹ Пушкин «Воспоминание».

² Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С 337.

³ Бродский был в Турине в 1989 году, принимал участие в фотовыставке «Поэт и его Муза». Вероятно, читал он не Нобелевскую лекцию, а на тему выставки. Новую версию этой лекции он прочитал на следующий год в Британской академии в Лондоне. Русский перевод: «Altra Ego» (6: 68—79).

бель» в том же дневном обличье с висящей из-под полы подкладкой. После выступления в фойе начинается party. «Мы пойдем, — говорю я, — не будем тебе мешать». — «А куда вы идете?» — «Пожинать к издателю моего альбома». И вдруг: «А меня с собой можете взять?» — «Ты теперь важная персона, «нобель», тебя теперь везде можно брать», — смеюсь я. И мы тихо и сразу же смываемся.

— *Расскажите о ваших с ним встречах в Париже.*

— Как-то в Париже Иосиф вместе с Львом Лосевым и Вероник Шилец, если мне не изменяет память, пришел ко мне домой есть тещины пельмени с водкой. Я шутя спросил его, способен ли он сочинять экспромты. Он тут же, через пару секунд, на тещиной скатерти написал: «Здесь ел пельмени / готовый к измене / родины. / Иосиф Бродский».

Мне эти стишки сейчас, когда его нет, особенно дороги. Бывал я в Париже на его поэтических вечерах. Кстати, он уже не пел стихи, как раньше. А однажды даже читал стихи как прозу, не разбивал на рифмованные строки, не педалировал рифму, а терял ее.

— Говорили ли вы с ним о других поэтах?

— Наверяд ли ему было интересно разговаривать о других поэтах со мной, но одно помню абсолютно точно. Когда умер Высоцкий, я спросил у Бродского, что он думает о Высоцком, останется ли Высоцкий в русской литературе. На что Бродский тогда мне ответил следующее: «Ну в литературе вряд ли, может быть, в фольклоре». Это буквальные его слова.

— *Что вы знаете о дружбе-соперничестве между Евтушенко и Бродским? По рассказам Рейна, Евтушенко старался помогать Бродскому после освобождения из ссылки в 1965 году.*

— По рассказам Евтушенко, он непосредственно принимал участие в освобождении Бродского. Осенью 1965 года, сразу после возвращения Бродского из ссылки, Бродский, Найман и Евтушенко провели вечер за мирным ужином в моей квартире в Тушино.

Я был всю свою жизнь дружен с Евгением Евтушенко. Насколько я понимаю, Бродский внутри себя очень враждовал с Евтушенко. Но я абсолютно уверен в том, что Евтушенко не испытывал к Бродскому никакой вражды. Я довольно хорошо знаю Евтушенко, он человек очень доброжелательный. А вот со стороны Бродского, мне кажется, была явная

агрессивность. Чем она была вызвана? Я думаю, что они были слишком противоположными поэтами, поэтами-антиподами. А Бродский как более молодой отстаивал свой новый путь. Это была, я это так понимаю, точка зрения, а не ненависть. Это была неприязнь нравственного плана. По-видимому, Бродскому претило то, что Евтушенко был весьма преуспевающим поэтом в СССР, публиковался гигантскими тиражами, был богат, разъезжал месяцами по всему белому свету, о чем и во сне не могло присниться обычному советскому человеку. Бродского Евтушенко раздражал. Очень часто он бывал по отношению к нему в высшей степени несправедлив. К примеру, Евтушенко обращается в «инстанцию» с просьбой-советом выпустить Бродского за границу: «Не держите его, отпустите его, он хочет уехать». А Бродский, уже попав в Штаты, перевернул все наизнанку: «Меня Евтушенко советовал выгнать в шею». И еще. Для Бродского поэзия была делом элитарным. Читать стихи, как Евтушенко, на стадионах было, с его точки зрения, кощунством, издевательством над поэзией, которая пишется для узкого круга знатоков, а не для многотысячной толпы, мало что понимающей к тому же.

— *Почему, вы думаете, Бродский демонстративно вышел из Американской Академии, когда в нее приняли Евтушенко?*

— Я уже частично выше ответил на этот вопрос. Выход из Академии — продолжение борьбы за свою точку зрения, а знаменитый Евтушенко — заметная мишень. Вообще Бродский не был таким ангелом и мог позволить себе достаточно грубую выходку.

— *Изменился ли Бродский после получения Нобелевской премии?*

— Лично мне он показался прежним. Я вам расскажу такой эпизод. Как-то в Нью-Йорке мы с Тоней позвонили Иосифу, он только что получил Нобеля. В телефонной трубке радостный голос: «Давайте, заходите сразу. Мне надо, правда, по делам идти, но полчаса есть». Мы идем в ту самую, многими описанную, квартиру на первом этаже с садиком. «Ну, показывай медаль», — говорю я. Иосиф лезет в ящик стола, достает коробку, вытаскивает медаль, дает мне в руку. Я смотрю на медаль, потом ему в лицо и спрашиваю: «Ну что ты испытываешь?» — «Ничего», — отвечает он. «Абсолютно ничего?» — спрашиваю я. И он, уставившись мне в упор глазами в глаза,

раздельно произносит очень серьезно: «Абсо-лют-но ни-че-го». — «Молодец», — проносится в моей голове. А затем тон нашего разговора делается свободным. «Ребята, — говорит Иосиф, — вы любите индусскую кухню? Возле меня чудесный ресторанчик, пойдёмте. Я сам закажу вам. Острое любите? Пошли!»

— *Есть ли у вас самое любимое стихотворение Бродского? Какое и по каким причинам?*

— Должен честно признаться, что для меня чтение литературы было всегда трудным занятием, поэтому я читал Бродского не всего, как и других поэтов и писателей. Но несколько вещей Бродского я знаю чуть ли не наизусть. Однажды то ли в Венеции, то ли в Париже мы с ним прогуливались, и я читал самому Бродскому наизусть его «Письмо генералу Z.». А вот совсем недавно мне попала статья Александра Кушнера о Бродском, и там я наткнулся на стихи «Письмо в оазис». У меня, как когда-то, лет сорок назад, перехватило дыхание. Какая могучая воинственная интонация! Какие слова! Какие стихи! Это одно из самых последних моих восхищений стихами Иосифа.

— *Раз уж мы с вами начали нашу беседу с забавной истории, хорошо бы ее таким же жанром и закончить. Не припомните ли еще что-нибудь?*

— Ну вот такой еще маленький эпизод. «Ты знаешь, как я начал писать стихи? — совершенно неожиданно и не к месту однажды спрашивает меня Иосиф. — Тебе что-нибудь говорит это имя — Британишский?» — «Да, — говорю, — Владимир Британишский, я с ним был знаком, питерский поэт, он был знаменит среди нас». — «Так вот, — продолжает Иосиф, — я слышу вокруг все говорят: Британишский, Британишский! И я взял вдруг лист бумаги и сам попробовал писать стихи. И вижу, что мне это совсем нетрудно. И с тех пор я стал писать стихи»¹.

¹ См. версию самого Бродского о том, как он начал писать стихи: Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 141.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

— *Расскажите о вашей первой встрече с Иосифом.*

— Мы впервые встретились летом 1966 года в Вильнюсе — то ли в августе, то ли уже в сентябре, во всяком случае ближе к осени. Иосиф приехал в Литву по совету нашего общего приятеля Андрея Сергеева. Среди литовских друзей Сергеева были братья Рамунас и Аудронис Катилюсы (первый из них — физик, второй, младший — архитектор). Я хорошо знал и знаю обоих — Рамунас, в просторечии Ромас, был моим одноклассником, а с Аудронисом, или Адасом, мы как-то на байдарке плыли по Неману от истоков до устья. После ссылки Иосиф был не в лучшем состоянии, личная его жизнь складывалась плохо, и Сергеев сказал Катилюсам, что он должен

Томас Венцлова (род. в 1937 г.) — поэт, переводчик, эссеист, филолог, профессор Йельского университета. Опубликовал множество работ по славистике и литуанистике, в том числе «Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов» (1986), «Собеседники на пиру» (1997) и воспоминание об Ахматовой (вместе с Кривулиным и Муравьевым). По-литовски вышло несколько сборников его стихотворений: первый, «Знак языка», вышел еще до эмиграции, последний, «Разговор зимой», а также сборник интервью «Полагаю, что...» и книга путешествий «До Литвы 10 000 километров». В Москве в русском переводе издан сборник стихов «Граненый воздух» (2002) и сборник «Статьи о Бродском» (2004). Его переводы на литовский язык поэзии Шекспира, Элиота, Одена, Фроста, Бодлера, Милоша, Херберта, Ахматовой и Пастернака собраны в отдельную книгу и изданы на родине. Там же опубликованы три книги эссеистики. Эссе он пишет по-литовски, по-русски, по-польски, по-английски. Кроме этих языков владеет французским, немецким и итальянским, знает латынь и греческий.

сменить место, побыть «в более нормальной обстановке». Те пригласили Иосифа в свою немалую по тем временам квартиру на улице Леиклос (сейчас под окнами квартиры установлена мемориальная доска). Я тогда был, кажется, в Паланге, но через день или два тоже явился в Вильнюс и сразу зашел к Катилюсам. Мы вдвоем с Иосифом прошлись по городу. Первый наш разговор, помнится, был о польском поэте Константине Ильдефонсе Галчиньском, который в Вильнюсе жил, и о нем писал в тридцатые годы. Я знал переводы Иосифа из Галчиньского и был несколько ошарашен, когда он без обиняков заявил: «Галчиньский — плохой поэт». Вечером мы все оказались в гостях у известной переводчицы Натальи Трауберг — тогда тоже вильнюсской жительницы. Там произошло нечто вроде ссоры: Иосиф пренебрежительно отозвался о Честертоне, которого Трауберг всю жизнь переводила и редко почтила. Стычка выбила из колеи самого Иосифа. С самого первого дня знакомства я узнал его трудный характер — заносчивый и ранимый одновременно. В Вильнюс Иосиф привез только что написанное «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром». Он провел у Катилюсов несколько дней, читал на их квартире стихи пяти-шести общим знакомым, мы съездили в далекое предместье Судярве с замечательным храмом-ротондой и, кажется, в Тракай. Думаю, эти вильнюсские дни, да и другие приезды в Литву, были для него в общем радостными.

— *Вы писали, что Литва для Бродского столь же важна, как Грузия для Пастернака или Армения для Мандельштама. Не потому ли, что в Вильнюсе родился дед Иосифа, или по другим причинам?*

— Я слышал от Бродского, что род его матери происходил из Литвы — он упоминал в этой связи местечко Байсогалу, вблизи которого, по его словам, мать жила в детстве у деда. Но он всегда говорил, что это никак не повлияло на его отношение к Литве. Важнее были вильнюсские друзья, архитектура и традиция этого города. Помню фразу Бродского, что «для русского Литва — всегда шаг в правильном направлении», то есть в направлении Запада. Любопытно, что он не испытывал большого интереса, тем более любви к Эстонии и Латвии, которые считались, да и были более «западными» и для многих его сверстников стали предметом едва ли не культа. Дело,

видимо, в том, что Литва сходна с Польшей и Италией (а не с Германией и Скандинавией), то есть с теми странами Европы, с которыми Бродский ощущал внутреннее родство. Может, еще и в том, что литовская история куда более впечатляющая, чем латвийская и эстонская: тут и единственное в своем роде Средневековье, и католическое барокко, и восстания, и отчаянное упорство «лесных братьев».

— *В «Литовском ноктюрне», вам посвященном, Бродский называет вас своим двойником. В какой степени это метафора для вас?*

— Бродский был настолько уникальным человеком, что с трудом это выносил и постоянно искал кого-то на себя похожего. Наша судьба была отчасти параллельной — обоих не печатали, оба вели себя с некоторым вызовом по отношению к властям преходящим, наконец, оба любили примерно тех же поэтов. Впрочем, таких людей тогда было немало. Сказалась разница языков, которая как-то скрадывала наше несходство в других отношениях. Сам я не считаю себя «двойником» Бродского — и надеюсь, это не стало моей биографической метафорой. Не говоря уже об очевидной разнице масштаба, каждый имеет и должен иметь свою собственную, а не заемную судьбу. Так оно в конце концов и получилось.

— *Как часто вы общались с Бродским в Америке?*

— Мы жили в разных городах — Иосиф в Нью-Йорке, я в Нью-Хейвене. Но это, в общем, рядом. Лет десять я ездил в Нью-Йорк — и, естественно, заходил к Иосифу — раза два в месяц, а то и чаще. Потом, когда мы оба стали жить семейной жизнью, встречи стали более редкими: пожалуй, скорее Иосиф гостил у нас с Таней, чем мы у него с Марией.

— *Вы навещали Иосифа в Маунт Холиоке. Как он там жил?*

— В Маунт Холиоке я был всего два раза (я один из немногих американцев, которые обходятся без машины, а на другом транспорте туда добраться трудно). Поехал в Маунт Холиоке летом 1984 года, когда в Петербурге умер отец Иосифа, и проводил его, на его же автомобиле, в сторону Нью-Йорка. В моем дневнике записано, что он снимал у колледжа за двести пятьдесят долларов половину огромного деревянного дома, почти пустую и холостяцки неустроенную. Обжитой была всего одна комната, и та относительно: на столе и на полу лежали горы бумаг, постельное белье особой чистотой

не блистало. Тогда Иосиф впервые прочитал мне «Литовский ноктюрн», заверченный незадолго до этого. Во второй раз я оказался там в феврале 1988 года вместе со своей аспиранткой и переводчицей Дианой Сенешаль, на ее машине, чтобы взять у Иосифа интервью для литовского журнала «Акирачяй». Это интервью напечатано и широко известно. Дом выглядел так же, но в зимний, едва ли не российский вечер у лампы в нем было несколько уютнее. Наконец, с этим домом связано еще одно воспоминание. Мы говорили по телефону с Маунт Холиоком, то есть с Иосифом, незадолго до его смерти, и по голосу поняли, что он неважно себя чувствует. Жена моя Таня рвалась ему помочь — сварить суп и так далее, — но Иосиф ее отговорил, сказав, что вблизи есть люди, которые сделают все необходимое. Видимо, так и произошло, но лучше было бы туда поехать.

— *Случалось ли вам спорить с Бродским? За кем оставалось последнее слово?*

— Случалось. Я, как правило, уступал Бродскому, хотя и не всегда с ним соглашался.

— *Ваша многолетняя дружба с Милошем и с Бродским — удивительное литературное содружество. Вы переводили друг друга на польский, литовский и русский. Вы жили в городе юности Милоша и в городе, где родился и вырос Бродский. Что вас троих объединяло больше всего — опыт несвободы, литературные интересы или просто человеческие симпатии?*

— Милош как-то говорил, что наш «триумвират» (это его термин), возможно, предвещает будущие отношения между тремя народами — польским, русским и литовским, — которые исторически уживались, в общем, скверно. Дай-то Бог. Думаю, в нашем тяготении друг к другу — скажем так: в нашем взаимопонимании — сыграли роль все три момента, которые вы упомянули. С одной поправкой: опыт несвободы объединяет только тех людей, которые несвободу преодолели. И еще: для всех нас общей была любовь к Литве и Вильнюсу. Для двоих — еще и любовь к Петербургу (Милош относится к этому городу примерно так же, как и Мицкевич, то есть с опаской).

— *Повлияла ли эта дружба на вашу поэзию?*

— Конечно, повлияла. У меня много того, что называется интертекстуальными связями с Бродским (равно как и с Ми-

лошем), хотя, надеюсь, это не подражание, а диалог. Строго говоря, подражание возможно только тогда, когда поэты пишут на одном языке: смена языка влечет за собой перестраивание всей поэтической системы, даже при заимствованиях или прямом переводе (хороший тому пример — Жуковский). Может быть, еще важнее воздействие «жизненного текста» Бродского и Милоша — то есть я многому у них научился в смысле взглядов на жизнь, да и в поведенческом плане.

— *Поэт в иноязычной среде — это идеальная ситуация, как считают некоторые, или наоборот — мучительная?*

— Пребывание в иноязычной среде — ситуация не то чтобы мучительная, но трудная. Однако еще труднее, по-моему, пребывание только в собственной среде, когда свой язык не с чем сопоставлять и невозможно на него взглянуть снаружи. Правда, абсолютно одноязычная «своя» среда вряд ли возможна. Опыт показывает, что эмиграция часто стимулирует поэта, независимо от его самочувствия в чужих краях. За примерами недалеко ходить, особенно в Восточной Европе: Мицкевич, Норвид, Цветаева, Ходасевич. Впрочем, известны и противоположные примеры — общей формулы тут нет.

— *Идею о самоценности и саморазвитии языка Бродский сформулировал еще в 1963 году. Где, по-вашему, истоки этой идеи?*

— Идея эта в шестидесятые годы, в общем, носилась в воздухе. Хотя Бродский с иронией относился к структурно-семиотическим увлечениям тогдашней интеллигенции, его мысли о языке, о «диктовке языка» часто сходны с положениями тартуско-московской, да и французской структуралистской школы. Впрочем, ирония Бродского здесь была умеренной, скорее касалась личностей (и амбиций) некоторых семиотиков, чем сути дела. Он уважал Вячеслава Всеволодовича Иванова, испытывал некоторый пиетет перед Романом Осиповичем Якобсоном — правда, недооценивал Юрия Михайловича Лотмана, но при личном знакомстве это прошло. К своему пониманию языка Бродский мог прийти самостоятельно, однако его «лингвоцентризм» — вплоть до полемических крайностей — в целом очень характерен для атмосферы той эпохи.

— *Кто у кого в плену: язык у поэта или поэт у языка?*

— Не думаю, что слово «плен» здесь адекватно. Язык ве-

дет поэта, поэт очищает и сгущает язык, возводит его в квадрат (и даже в более высокие степени).

— *Как понимал Бродский отношения между наукой, религией и искусством?*

— Полагаю, искусство для Бродского в каком-то смысле было шире науки и религии, логически предшествовало им и заключало их в себе.

— *Бродский никогда не отказывался от идеи божественного, от идеи Бога. Почему многие отказываются считать его христианским поэтом?*

— Отношения Бродского с Богом были сложными. Как-то я процитировал ему упомянутого ранее Честертона. Тот говорил, что примет кальвинизм и его догму о предопределении, когда увидит кальвиниста, считающего себя предопределенным не к спасению, а к гибели. «Так вот, ты и есть этот кальвинист», — сказал я. Он не стал меня опровергать. В общем, Бродский всю жизнь колебался между верой и неверием (как многие в наши времена). Его нельзя назвать христианином в строгом, то есть церковном смысле слова — кажется, он даже не был крещен, хотя этот вопрос я с ним никогда не обсуждал. Но бывают люди, которые не посещают храм, не исполняют ритуалы и даже называют себя атеистами, однако оказываются ближе к христианскому духу, чем иной церковный деятель. Таким был, например, Андрей Дмитриевич Сахаров (которого Бродский весьма уважал). Некоторые стихи Бродского, прежде всего «Сретенье», да и «Натюрморт», с редкой глубиной и проникновенностью выражают именно христианский взгляд на мир. Случается и другое, но этих стихов вполне достаточно, чтобы назвать его христианским поэтом — более христианским, чем, скажем, Рильке. Думаю, в этом имени ему отказывают прежде всего те, кого нынче зовут «шибко православными» — то есть люди, как правило, недавно пришедшие к Церкви, склонные к нетерпимости, формализму, поминанию Бога всуе (этот тип встречается и в других ветвях христианства, но, по-моему, как-то реже). У Бродского «шибко православные» и им подобные вызывали сильную аллергию. Здесь я с ним вполне солидарен.

— *В состоянии ли мы на данном этапе обсуждать его религиозные воззрения? Ведь у нас нет языка, не найден механизм, не разработана методика анализа его энергетизма.*

— Обсуждать религиозные воззрения поэта — дело вообще трудное, ибо оно выводит за пределы литературы и часто ведет к смешению понятий. Во всяком случае, в этом деле необходима сдержанность и скромность.

— *Бродский считал, что Цветаева — это самое грандиозное явление, которое вообще знала русская поэзия. Разделяете ли вы столь высокую оценку?*

— В общем нет, хотя Цветаеву я люблю и в ее величии ничуть не сомневаюсь. Но для меня самого ближе Ахматова, Мандельштам, Ходасевич.

— *Бродский еще радикальнее, чем Цветаева, изменил функцию строки в стихотворении: строка у него потеряла свою автономность и превратилась в ступеньку для следующего подъема мысли. Будет ли это иметь какие-то последствия для русского стихосложения?*

— Наверно, будет, хотя предсказывать пути развития стихосложения — не самое плодотворное занятие. Бродский в очередной раз сблизил поэзию с прозой (причем научной, чего раньше почти не делали), а в дольнике произвел примерно ту работу, которую до него произвели в силлаботонике. Все это уже оказывает воздействие на поэтов.

— *Объясняя своим студентам, почему он любит Кавафиса, Бродский сказал: «Пожалуй, главная причина — это непрерывная нота опустошенности, которая является важным человеческим чувством по отношению к жизни и которая ни до него, ни после него не проявлялась в поэзии с таким постоянством». Слышите ли вы похожую ноту опустошенности в стихах самого Бродского?*

— У Бродского слышу, а вот у Кавафиса не очень, разве что в его любовных стихах. Бродскому вообще было свойственно придавать другим поэтам свои собственные черты.

— *Что помогает поэту «вперед и вспять провидеть»? Было ли у вас ощущение, что Иосиф «послан»?*

— В каком-то смысле было. Но это очень тонкие материи, о которых, по Витгенштейну, лучше молчать.

— Обсуждал ли с вами Иосиф идею переложения Псалмов и всей Библии на стихи?

— Не обсуждал.

— *Сэр Исая Берлин говорил, что в присутствии Бродского немедленно появлялось ощущение, что ты находишься рядом с гением. Испытывали ли вы подобное ощущение?*

— Говорят, что Александр Габричевский, познакомившись с Бродским, сразу сказал: «Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни». — «Побойся Бога, ответили окружающие, — ты видел Стравинского, Кандинского и даже Льва Толстого». — «Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни», — невозмутимо повторил Габричевский. Когда я встретился с Бродским в 1966 году, я знал, что он гений, но непосредственное ощущение этого возникло не сразу. Было очевидно, что он человек трудный, закомплексованный, очень живой, умный и оригинальный. Но гений? Сразу не скажешь. Репутация Бродского слилась с прямым ощущением его личности через год-полтора.

— *Он считал, что его «первая» и «вторая» эмиграции терпеть не могут. У вас есть тому подтверждения?*

— Явных подтверждений, пожалуй, нет: иногда представители этих эмиграций нападали на Бродского в статьях, но не очень часто. С людьми из «первой» эмиграции он бывал и близок — неплохо относился, например, к Нине Берберовой, — но в целом считал их взгляды, да и их самих анахронизмом. На «вторую» эмиграцию смотрел настороженно, не без оснований полагая, что многие в ней симпатизировали (или даже симпатизируют) нацистам. Это отрицательное отношение было взаимным.

— *Какое у вас впечатление от погромной статьи Солженицына и недавней анти-Бродской статьи Коржавина?*¹

— Статья Солженицына стопроцентно предсказуема и поэтому неинтересна. Статью Коржавина я не читал и, честно говоря, читать не собираюсь. В свое время Наум Коржавин изложил мне свои претензии к Бродскому в длинной ночной беседе. Тогда он меня не убедил. Не думаю, что его аргументы с тех пор стали более убедительными.

— *Бродский — простой смертный. Любил ли он выпить? Рейн утверждает, что под настроение Иосиф мог выпить бутылку коньяка или виски.*

— Бродский несомненно мог выпить: не знаю, как насчет бутылки коньяка или виски, сам не наблюдал, но допустить могу. Однако алкоголь никогда не был для него проблемой, как стал для слишком многих. Проблемой Бродского был ни-

¹ См. примечание 1 на с. 62.

котин. На мои увещевания бросить курение (которое в конечном счете свело его в могилу) он как-то ответил: «Обезьяна взяла в руку камень и стала человеком. Человек взял в руку сигарету и стал поэтом». Я заявил: «Неправда, потому что Данте не курил — тогда в Европе не знали табака». — «Очень сильный аргумент, но курить я все равно не брошу», — сказал Бродский.

— *Бродского интересовало многое, кроме литературы: музыка, архитектура, футбол, еда, женщины, но, кажется, меньше всего философия. Кроме Шестова и Сковороды, он не жаловал других философов, хотя сам он то и дело философствовал и в стихах, и в эссе, и в жизни. Чем вы это объясняете?*

— Говорят, что философы бывают трех видов: мудрецы (Сократ, Конфуций, Сковорода), мыслители (Монтень, Розанов, Шестов) и философы как таковые (Кант, Гегель, Гуссерль). Философия третьего вида — нечто вроде высшей математики, она имеет очень ограниченный круг читателей, и Бродский, как большинство из нас, специально ею не занимался. Но в его стихах она иной раз, пожалуй, присутствует. Думаю, что ему был интересен Кант, и он в общем разбирался в кантианских положениях (я пробовал это показать в статье о кенигсбергском цикле Бродского).

— *Что вы знаете об отношениях Бродского с Евтушенко? По словам Рейна, Бродский многим обязан Евтушенко: так, сразу после ссылки, когда Иосиф вернулся не в Ленинград, а в Москву, Евтушенко устроил в его честь банкет, водил его в рестораны, дарил ему книги и даже костюм. Они вместе выступали в МГУ.*

— О взаимоотношениях Бродского и Евтушенко я знаю не очень много. Известно, что Бродский, во всяком случае в эмиграции, резко отзывался о нем как о поэте и общественной фигуре, хотя и предпочитал его Вознесенскому. Может быть, я заблуждаюсь, но мне казалось, что в частных разговорах у Бродского проскальзывал оттенок симпатии к Евтушенко — хотя и очень относительной. Кстати, я слышал: после ссылки Евтушенко пробивал в печать сборник Бродского, но сказал ему, что для книги необходим «локомотив» — стихи о Ленине. Бродский, естественно, отказался. Говорят, у них с Евтушенко дошло даже до рукоприкладства. Но все это — слухи, а к слухам надо относиться соответственно. Биография Бродского и так слишком в большой мере зиждется на слухах.

— Иосиф проговаривается, что актриса Зара Леандер была для него идеалом женской красоты и что «все его последующие вкусы и предпочтения... были лишь отклонением от обозначенного ею идеала». Вы не находите, что все женщины Бродского чем-то похожи друг на друга?

— Бродский любил тип женщины, который встречается у живописцев итальянского ренессанса — Леонардо да Винчи или (скорее) Гирландайо. Сходна ли с этим типом Зара Леандер, не скажу, потому что совершенно забыл, как она выглядела. Кажется — иначе.

— Бродский запретил писать его биографию. Не потому ли, что он оставил множество женщин с разрушенными биографиями, или по другой причине?

— Я против обсуждения личных дел Бродского (впрочем, чьих бы то ни было) в печати. Разрушал он биографии женщин или нет — вопрос, который касается только его и этих женщин. Позволю себе добавить, что о таких разрушенных биографиях не знаю, хотя в дела Бродского был в определенной мере посвящен. Бродскому был бы крайне неприятен факт, что его близкие и не очень близкие знакомые сейчас обсасывают в своих сочинениях его частную жизнь. Кто-то скажет, что без этого не поймешь и стихи. Тут есть определенный резон. Но во всяком случае было бы лучше оставить это исследователям и биографам далекого будущего. Можно — пожалуй, даже надлежит — фиксировать какие-то факты в рукописях, но незачем спешить с их публикацией. Увы, здесь я — глас вопиющего в пустыне. Все же в том, что касается личной жизни Пушкина, Блока или Ахматовой, сохраняется оттенок тайны, так оно и должно быть. Так, надеюсь, в конечном счете будет и с Бродским.

— Перед отъездом из СССР Бродский сказал Андрею Сергееву, что сделает изгнание своим персональным мифом¹. Насколько он преуспел в этом замысле?

— Преуспел в высшей степени.

— Как вы оцениваете литературу о Бродском? Десятки монографий и сборников статей, сотни эссе, воспоминаний и прочих публикаций. Такое впечатление, что Бродский существует уже сотню лет.

¹ Андрей Сергеев. Омнибус. М.: НЛО, 1997. С. 448.

— В литературе о любом писателе бывает много шелухи, это касается и Бродского. И все же я рад, что им занимаются. Спасибо, что в русской литературе второй половины XX века есть автор, кем заниматься не менее интересно и полезно, чем авторами Серебряного века.

— *Я знаю, у вас есть стихи, адресованные Бродскому. Можно мне включить одно из них в сборник?*

— Возьмите «Зима. Ее септимы, квинты...» из сборника «Граненый воздух».

* * *

Зима. Ее септимы, квинты. Кто Голос сейчас запишет, который ты слышал секунду назад, а? Он мысль превосходит. Мембрана не дышит. На связь не выйти. Вернувшись, письмо обретет Адресата.

Еще ясновидящим светом трепещет камин, и мост, его жалкая вечность, себя продлевает, но небытию, словно раковине, за помин души, одиночество форму уже отливает.

На Страшном суде, пробудившись от времени, ты Пребудешь таким. В мире большем, чем наш, тебе гидом шепотка ли славы послужит, глоток немоты иль гаснущий пульс, но подвластный одним аонидам.

Сквозь груды щебенки весной пробивается смерть. Насилие, разум презревшее, пенится в устном и письменном пафосе. Сердце, устав тяжелеть, срастается с дольним. И это зовется искусством.

В летейные воды два раза вступают, в тот край, где ночь, где рука отдыхает, в значении сбывться словам повелев (океан, мотылек, свет, прощай), чтоб нить оставалась и было за что ухватиться.¹

1996

¹ Перевод Владимира Гандельсмана.

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ, 28 СЕНТЯБРЯ 2003, ЛОНДОН

— *Какие чувства вызывает у вас упоминание имени Бродского?*

— Каждый раз, когда я вспоминаю о Бродском и когда другие вспоминают, как будто бы я вспоминаю о родном брате.

— *В своих воспоминаниях «Друзья и тени» (Нью-Йорк, 1989) вы пишете, что Бродский в 1961 году приехал к вам домой «пообщаться», не будучи с вами знаком. Поделитесь, пожалуйста, подробностями.*

— Да, действительно это так. Я как раз был демобилизован из армии, буквально в первых числах апреля я вернулся в Ленинград, был еще в форме, в шинели, такой молодой красивый офицер, пошел на Невский проспект и тотчас встретил Илюшу Авербаха. Илюша спросил меня: «Ты слышал о Бродском?» Я слышал, я расскажу потом, почему я слышал. «Да, он самый гениальный поэт. Вам нужно увидеться». Я сказал, я с удовольствием, и мы разошлись. Буквально, может быть, через день или через два, часов в пять или в шесть вечера, звонок в нашу коммунальную квартиру. Мы жили далеко от центра, на Выборгской стороне. Я жил один в пустых двух комнатах, мама умерла за полгода до этого. Я выхожу, стоит какой-то молодой парень, обросший щетиной, и говорит: «Вы

Давид Шраер-Петров (род. в 1936 г.) — поэт и прозаик, автор романов «Герберт и Нэлли» (М., 1992), «Эти странные русские евреи» (М., 2004), поэтических сборников «Барабаны судьбы» (М., 2002), «Форма любви» (М., 2003) и др. С 1987 года живет в США.

Давид Петров?» — «Да, это я». Петров был мой псевдоним тогда, если я что-то уже и напечатал или ходило в списках, было подписано либо Петров либо Шраер-Петров. «А я Иосиф Бродский». — «Да, — говорю, — я слышал о вас, проходите». Он приехал на велосипеде. Метель начиналась, сумерки. Я был несколько потрясен, хотя знал, что ко мне будут приезжать, мы все дружили тогда и держались друг за друга. И Рейн, и Найман, и Бобышев. Прошли ко мне, у меня бутылка мадеры была, я затопил печку, потому что он приехал не в пальто, а в каком-то пиджаке, может быть даже в свитере, и я боялся, что он заболит. Он был меня моложе лет на пять, так что я к нему испытывал чувства старшего брата. Он вошел, и меня поразила сразу же какая-то его одержимость. Это первое, что я могу сказать, — одержимость. Он шел, как к магниту. Я был центром стихов, моих стихов, и он тянулся ко мне.

Меня поразила одна деталь: во второй комнате к стеклу еще с осени прилип желтый кленовый лист, и он обратил на него внимание и говорит: «Это как шестиконечная звезда».

Мы сели, я затопил печку, и мы читали друг другу стихи. Я тогда помнил все свои стихи на память. Он сказал: «Вы знаете, Давид, почти никто не пишет любовную лирику, поэтому я к вам приехал, я знаю многие ваши стихи на эту тему». И мы прониклись каким-то очень теплым чувством друг к другу, какой-то доверительностью. И это продолжалось до самого его отъезда. Как только мы встречались, как будто мы не расставались, могли говорить откровенно друг с другом по всем проблемам — и литературным, и политическим. Мы просто потом разошлись, но никогда между нами ничего не было, что помешало бы нам быть откровенными. И так мы говорили о многом в тот вечер. После этого Иосиф стал приглашать меня на чтения, то есть когда он читал, он хотел, чтобы и я читал вместе с ним. Это мне было очень приятно, потому что я понял сразу, какого масштаба этот поэт. Не надо было рассказывать или рекомендовать, я сразу же увидел, что это, во-первых, мощнейший эмоциональный накал, а во-вторых, это совершенно невероятный ум, то есть такого интеллекта среди моего поколения литераторов, да я думаю, и всех ленинградских поэтов я не видел ни у кого. Единственный, с кем я мог бы представить соревнование, хотя они были совершенно разные по стилю поэты, это с Генри-

хом Сапгиром. У него тоже было очень большое сердце, богатейший эмоциональный накал и желание знать чужие стихи. И мощный интеллект.

Мы читали на разных вечерах. Я помню, один вечер был совершенно потрясающий в университете. Там Горбовский читал, Дима Бобышев, я был и, по-моему, Кузьминский еще.

— *А вы слышали о том, что у Бродского в это время была кличка «еврейский Пушкин»?*

— Нет, никогда. И то, что он сказал о кленовом листе, могло бы прийти в голову и Блоку, например, или Сергею Викулову, просто этот образ просился. Надо сказать, что мы тогда не так уж много говорили о еврействе.

— *Тема эта довольно важная, и она интересует исследователей, но ни у кого нет достаточно знаний или такта, чтобы ее обсудить. Вот вы заметили, что он не только сравнил кленовый лист с звездой Давида, но вы также заметили, что Бродский привнес в русскую поэзию еврейское смятение души. Утихло ли в нем это смятение со временем или оно приобрело какие-то другие формы?*

— Вы знаете, Валентина, первое впечатление у меня было такое, что это еврейский мальчик, который ворвался в русскую литературу, неся огромный запас смятения. Именно смятения, потому что войти в русскую литературу на таком вот накале, как он вошел, невозможно было спокойно. По-моему, толчком самым первым для него были какие-то еврейские мотивы, например «Еврейское кладбище» и другие стихи, но не более того. Помню, как я что-то процитировал про еврейскую религию или про Бога, я уж не помню что, он сказал, что для него существует не еврейский Бог, а просто Бог Вселенский. И мне кажется, что со временем вот это смятение души было выправлено, потому что он вдруг понял, что он вошел в русскую литературу, что он достиг определенного уровня и уже выше этого уровня, то есть ему уже не надо беспокоиться. Он избавился от этого комплекса, который мы все испытывали... Я помню, приходишь в редакцию, даже если тебя зовут Давид Петров, все равно видно в каждой строчке, кто ты. Он для себя решил с самого начала не ходить по редакциям и не мечтал публиковаться. Он понимал, что с его стихами он здесь не преуспеет как печатающийся поэт, что он достиг сразу такого литературного уровня, что нечего бес-

покоиться. И тут никакого значения не имеет, еврей он или грузин, русский или татарин. Важно, что он вселенский поэт, который пишет на русском языке. Я бы сказал, что он очень быстро ощутил себя внациональным, вселенским поэтом, который в совершенстве пишет на русском языке. Если бы он родился где-нибудь в Грузии или в Англии или в Уганде, он, на мой взгляд, с таким же успехом написал бы все те же стихи, только, конечно, с учетом колорита, какие он написал на русском языке. На мой взгляд, принадлежность к иудаизму или к католицизму не имела для него большого значения. И со временем он как-то успокоился. И если сравнить его строфику и манеру написания гласных-согласных и рифмующихся созвучий, то вы увидите, что очень скоро он стал писать спокойные, продуманные, очень твердые, окончательно гениальные стихи.

— Тем не менее нам не избавиться от еврейской темы в стихах Бродского и от его еврейства. Он родился и вырос в антисемитской стране. В России до сих пор упрекают Бродского в том, что он потерял свою русскость. Евреи в Израиле не считают Бродского своим поэтом и упрекают его за то, что он отказался ехать в Израиль. Кстати, почему он отказывался туда поехать?

— Я не думаю, что он отказывался. Может быть, оттягивал? Во-первых, упрекать его не за что. Я вообще считаю, что никто никого ни за что не должен упрекать, потому что таков его выбор и так он решил сделать. У Бродского начиная с 1961 года и до самого конца время от времени вспыхивали еврейские мотивы. Вспомним «Литовский дивертисмент» 1971 года или «Послесловие к басне» с еврейской вороной 1994-го. Упрекать же его за то, что он мало писал истинно фольклорных (славянских) стихов, преждевременно. Мы потом вернемся к этой теме и поговорим о Бродском и о крестьянских русских поэтах.

— Вы шутите?

— Нет, совсем не шучу. Просто это в его стихи вошло так гармонично, так тонко, что читатель не замечает.

— Вернемся к еврейской теме.

— Есть поэты, которые высказывают эту тему открыто. Есть поэты такие, как Пастернак, когда при очень кропотливом анализе вдруг ты видишь: идет еврейская просодия, очень

и очень тонко. Есть поэты, которые никогда ни словом не говорят о своем еврейском происхождении, хотя они пронизаны этим. Я помню, когда мне было лет тридцать, я встретился впервые с Львом Аннинским и показал ему свои стихи, в которых ни одного слова не было о еврействе, он мне сказал: «У вас стихи пронизаны еврейством». — «Как вы узнали?» — «Ну я вижу по строчкам, по характеру». Так и здесь. Конечно, Ося выпитал с молоком матери, что он не такой, как все. Он писал об этом сам. Но между тем это не было темой его бесед с людьми, это не было главным интересом. Его интересовали стихи как таковые независимо от их национальной принадлежности, мне кажется так.

— *Язык у Бродского одна из центральных тем, как вы знаете. Идею о самоценности и саморазвитии языка Бродский сформулировал еще в 1963 году. Где, по-вашему, истоки этой идеи? Не считаете ли вы, что они в Библии?*

— Валентина, я не могу не согласиться с этим. Действительно, он серьезно читал Библию. Как мы все, он читал ее по-русски; например, у моей бабушки была Библия, в которой с одной стороны — перевод на идиш, а с другой стороны — русский перевод. Ранний Бродский написал поэму «Исаак и Авраам». Проблема Исаака, Авраама и Измаила до сих пор не решена. И конечно, он думал об этом, тогда все думали, что происходит там, в Палестине.

Вы затрагивали вопрос, хотел ли он ехать туда. Нет, мы с ним говорили об этом, я помню, я даже специально приезжал из Москвы, по-моему в 1970—71 году. И он сказал, что он не хочет ехать в Израиль, что он поедет на Запад, но не в Израиль. Кстати, я не согласен с тем бытующим сейчас представлением, что его выгнали.

— *Вы имеете в виду его отъезд из Советского Союза?*

— Да.

— *У вас есть основания думать, что он хотел эмигрировать до того, как ему предложили?*

— Да, я знаю это от него, и он впоследствии был очень недоволен, что мне об этом сказал.

— *Значит ли это, что Иосиф, как почти любой большой поэт, рано или поздно начинает переписывать свою биографию, создавать свой миф?*

— Я не думаю, что это он создавал миф. Я думаю, что миф

создали люди, которые в этом были заинтересованы, поскольку надо было сбалансировать Солженицына и Бродского. Я не знаю, как на самом деле происходило с Солженицыным, но я был в течение девяти лет отказником, я знаю, как это происходило в нашей среде, знаю, что некоторые отказники, которые добивались выезда в течение десяти лет, в последний момент, когда им давали выездную визу, вдруг заявляли: «Меня выгоняют». Пример — Юрий Карабчиевский, мы с ним хорошо были знакомы, оба были отказниками. Он приехал ко мне и говорит: «Мне дают визу, а я не хочу уезжать». И он отказался уехать, но отказался, когда время позволяло отказываться.

В случае с Иосифом я, помню, говорил ему: «Ты уже один раз был в ссылке, а времена не становятся лучше, они становятся лучше или хуже для отдельного человека, но в целом все нагнетается». Он мне сказал, что он об этом думает и предпринимает шаги. Даже приезжала одна дама, другая дама, и речь шла о фиктивном браке. Он при этом говорил: «Ты меня должен понять, я не могу. Когда я представляю себе, что я с ней должен целоваться, даже фиктивно, меня отвращение берет. Хотя я хочу и должен уехать. Здесь конец, здесь никакого смысла мне нет оставаться. Там я печатаюсь, и книжка вышла». Он мне сам это говорил, может быть, потому, что я вышел из этого окружения и уехал в Москву, и он понимал, что можно со мной быть совершенно откровенным. Или потому, что он помнил, как в самые тяжелые для него минуты я выступал в Союзе писателей в его защиту. Я был самым молодым кандидатом в Союз писателей, меня Вера Панова рекомендовала. Я выступал и говорил: «Что же вы делаете? Это же самый талантливый сейчас человек в Ленинграде». Может быть, поэтому он был откровенен со мной. Знаете, в Ленинграде было слишком тесно, нельзя было откровенничать ни с кем, завтра это будет известно в Большом доме. Во всяком случае, я знал и никогда никому этого не говорил, сегодня я говорю вам первой об этом, но это абсолютная правда. Вот его фотография перед нами, он меня видит сейчас, он не будет возражать.

— *Тот факт, что он хотел эмигрировать, это известно, он, по-видимому, делился своими планами и с другими. Тем не менее он говорил потом, что когда тебе предлагают выехать, от такого предложения в Советском Союзе не отказываются.*

— Конечно, это все равно ошарашивает. Мы девять лет ждали, меня арестовывали, а мою жену Милу избивали на демонстрациях, но когда нам позвонили из ОВИРа и сказали, что разрешение дано, вы уезжаете, это ошарашило. Ведь это же твоя страна. Сразу вся жизнь проходит перед глазами, и ты видишь, что как будто бы пристань отдаляется от тебя, и ты уже где-то совершенно в другом пространстве. Я понимаю, что так и было с ним. Но то, что он хотел уехать, это тоже правда.

— *Я опять возвращаю вас к еврейской теме. Перенасыщенность его стихов идеями можно ли приписывать его еврейскому происхождению?*

— На мой взгляд, нет. Я ни в коем случае не хочу и не могу и не имею права так думать, потому что достаточно вспомнить Пушкина и Блока и Цветаеву.

— *Но Блок, допустим, не такой уж поэт-мыслитель.*

— Правильно, Бродский более поэт интеллекта, чем Блок, тем не менее у Блока есть огромный резерв эмоциональной мысли. Если вспомнить, как Толстой говорил — «ум сердца», этого у Блока не отнимешь.

— *Кстати, чем вы объясняете неприязнь Бродского к Блоку?*

— Я думаю, что это из ревности. Бродский совершенно не переносил никаких соперничеств. Вот эта тройка — Бобышев, Найман и Рейн. Хочется продолжить: тройка, семерка, туз и Пиковая дама — это Анна Андреевна. Только потому, что Иосиф прекрасно понимал, что он выше их всех вместе и каждого в отдельности, это позволяло ему до поры до времени с каждым дружить. Как только Женя немножко приблизился к нему, он в своем предисловии к «Избранному» Рейна полностью его уничтожил.

— *Уничтожил комплиментами?*

— Да, именно комплиментами, он же был умница. Один раз он был крайне недоволен мною. Это было, кажется, в 1962 году. Борис Вахтин, сын Веры Пановой, изумительный человек, прекрасный переводчик и прозаик, с которым мы очень дружили, устроил такое соревнование в Институте народов Азии. Мы все пошли туда, как овцы, но потом я проанализировал, что это был очень тонкий ход. Мы читали все четвером (Жени Рейна не было, он был на сценарных курсах в Москве), а потом публика из нас из четверых одного отвер-

гала. Там был огромный зал. Представляете себе, соревноваться с Бродским! Слава у него уже тогда была колоссальная. Найман тоже пользовался большой популярностью. Дима, на мой взгляд, лучше поэт, чем Найман, гораздо лучше и глубже. Я сейчас говорю о Бобышеве как о поэте. Он не был популярен, он вообще непопулярный поэт; несмотря на то что у него замечательные стихи, ахматовские октавы и все такое, он непопулярен. Найман был душка: красивый, читал изумительно, остряк, все его любили. И я его тоже любил в то время. И в результате что получилось? Найман упал, Диму не выбрали, получилось, что мы с Иосифом остались вдвоем: я прочту стихотворение, Ося прочтет. Каждый должен был читать по одному стихотворению. Как раз в это время Марина Басманова покинула зал, Иосиф сидел рядом со мной, и я заметил, как он побледнел, и в результате никто не победил. Он был моложе меня тогда, и я к нему относился как старший товарищ, я уже жизнь видел, я пожалел тогда, ах, думаю, надо было...

— *Позволить ему выиграть?*

— Да. И мне кажется, это был один из первых незаметных стежков, которые нас развели потом. Хотя все равно мы виделись и потом, когда я уехал в Москву. Когда я приезжал в Ленинград, как будто бы все было по-старому. Но мне показалось, что с этого момента он как будто немножко отдалился, чуть реже мы стали видеться, меньше стали обмениваться стихами, как будто бы он понял, что и он без меня может обойтись и я без него. Что, наверное, так и было.

— *А как сложились ваши отношения в Америке?*

— До Америки мы в последний раз виделись году в 1972-м перед самым его отъездом. Я встретил его на Тверском бульваре около редакции журнала «Знамя». Он сказал, что ведет переговоры по поводу переводов, по-моему. Я сейчас боюсь ошибиться, но какие-то переговоры там велись с отделом поэзии. В это время там уже работала Наташа Иванова. Он был хорошо одет, в дубленке, такой уверенный... И я подумал, что у него все в порядке. Это была наша последняя встреча в России, помню, он очень высоко отзывался о Слуцком, так и сказал: «Я Баруха очень люблю». Хотя Слуцкого никто не звал Барух, все звали Борис Абрамович. Кстати, Слуцкий не ходил за еврейского поэта, это потом все об-

наружилось, а тогда он ходил за комиссара из левой прогрессивной поэзии, он и Мартынов, это были два комиссара хорошей интеллигентной прогрессивной поэзии. Не подпольной, а полуофициальной. Они общались с нами, печатались все мало. Несмотря на то что я был в Союзе писателей, я публиковал преимущественно переводы с литовского и других языков, но не свои стихи. Мы расстались с ним. Я не знал, что он уезжает, он мне ничего тогда не сказал, но дал мне какие-то советы житейские.

Вы спрашиваете о Соединенных Штатах. Я передал для Иосифа большое количество стихов с Васей Аксеновым, когда тот уезжал. По-моему, это было в 1980 году. И вдруг я получил открытку из Сан-Франциско от Васи, что он читал мои стихи по телефону Иосифу и что они постараются сделать все возможное, чтобы меня вытащить «оттуда». Переписки я с Иосифом никакой не вел, единственно, с кем я вел переписку, это с Димой Бобышевым. Мы приехали в Америку в августе 1987 года. Я послал в редакцию издательства «Liberty» рукопись книги «Друзья и тени» и несколько рассказов в журнал «Время и мы». И вдруг у меня взяли сразу три рассказа. Издатель «Liberty» позвонил и сказал, приезжайте, договор заключим. Но мы все тянули, просто у нас денег не было. Решили поехать в Нью-Йорк с Милой, Максимом и друзьями на Рождество. Я не мог быть в Нью-Йорке и не зайти к Иосифу. Хотя до меня уже доходили слухи, по-моему, Женя Рейн говорил, что Иосиф крайне был недоволен, что я вступил в Союз писателей. Но я уже давно вылетел из него. Не знал, как он встретит меня, Иосиф только за неделю до этого получил Нобелевскую премию. Я знал его адрес, Женя дал и телефон. Я решил пойти просто так, без всякого звонка. Я боялся звонить, вдруг что-то не то, и я его не увижу. А я всегда относился к нему с большой любовью, с какой-то нежностью даже. И мы пошли, хотя все отговаривали: не надо, не ходи, он тебе ни разу не написал, зная, что ты в отказе. Господи, он столько перенес, ну что я буду сейчас считаться. Мы с ним не ссорились. Я нажимаю на звонок, никто не отвечает. Вдруг открывается дверь и выходит Иосиф. Я говорю: «Ося, это ты?» — «Давид, как хорошо, что ты приехал!» Я говорю, я не один, там Мила, Максим и наши друзья. «Давай всех, всех приводи». Как будто бы мы только вче-

ра расстались: такой милый, такой простой, домашний. Привел нас в свою гостиную — стол с пишущей машинкой, в ней стихотворение, которое он перепечатывал. «Что будете пить? Коньяк будете? И кофе сварю». Он так засуетился, как будто близкие родственники приехали. Очень трогательно. Мы хорошо посидели, и вдруг он говорит: «Ну, чем мы будем заниматься?» Горбаневская правильно подметила, он как будто из польского языка взял этот оборот. Я говорю, я буду писать и заниматься научной работой, то есть тем, что делаю всю жизнь. «А где?» — «Может быть, в Браунском университете получится. Сейчас заключил договор на книгу, и, кстати, там есть глава о тебе. И я хочу, чтобы ты ее прочитал». — «Мне, — говорит, — не надо, мне не важно, пиши, что хочешь». — «Нет, Ося, я хочу, чтобы ты ее прочитал, и я тебе ее пришлю. Если ты мне не ответишь, значит, все в порядке. А если она тебе не понравится, ты мне не разрешишь печатать ее, и все. Я pošлю такие главы всем, кто здесь живет, тебе, Бобышеву, Аксенову». Я так и сделал, я всем послал. Мы хорошо так посидели, часик или полтора. Иосиф мне подарил три свои книжки с очень трогательной надписью. Мы еще задержались в Нью-Йорке, у меня тоже было приподнятое настроение, я заключил договор, получил аванс, через три месяца после приезда в Америку, это тоже не шуточка. На следующий день я звоню ему попрощаться и говорю: «Ося, если я приеду опять в Нью-Йорк, могу я у тебя остановиться?» Мы расстались на такой волне, что как будто бы родственники. А он говорит: «Нет, нет». Я просто был в шоке.

— *Но ведь там физически негде было спать еще одному человеку — одна маленькая спальня.*

— Если бы он мне позвонил, я бы отдал ему свою постель и ушел бы к соседям. Я понял, что он изменился, что-то произошло. Я говорю: «Хорошо, Иосиф, я просто пошутил». И я уехал и послал ему эту главу. Он мне не ответил. Книжка вышла, я ему послал эту книжку. Он мне не ответил. Я ему позвонил, говорю: «Ося, ты получил мою книжку?» — «Да, получил». — «Раз ты не ответил, значит, ты одобрил, во всяком случае не возражал?» — «Да. Я и сейчас не возражаю. Но я бы о тебе написал по-другому». Затем он приехал в Провиденс, он хотел быть профессором английской литературы в Браунском университете, и у него была там лекция. Я знал об

этом и позвонил ему: «Иосиф, ты приедешь, пожалуйста, милости прошу остановиться у нас». — «Ну мы увидимся, я буду читать, приходи на мое чтение». Конечно, я пошел, мы все пошли. Он читал очень успешно, курил все время, читал замечательно, ему задавали вопросы и о Рейне, и о Наймане. И он отвечал на них. Он видел, что я сижу перед ним, но он ни одного слова не сказал обо мне, как будто меня там не было. Конечно, я к нему не подошел, ушел домой, для меня это была большая травма. Это была последняя встреча с ним живым.

В ночь с 27-го на 28 января 1996 года у меня дома отмечали мое 60-летие. И вдруг мне звонит Григорий Поляк, издатель «Серебряного века», и говорит, что кошмар, трагедия, умер Бродский. Я позвонил Диме Бобышеву. Дима заплакал. Я позвонил домой Бродскому, подошла жена и сказала, где будет панихида. Утром 30 января я поехал в Нью-Йорк. Я приехал минут за пятнадцать до того, как открывался доступ к телу покойного. Это был итальянский похоронный дом с объявлениями об отпеваниях в разных католических церквях. Об Иосифе было сказано, что отпевание будет в соборе рядом с Колумбийским университетом. Около дверей толпились русские корреспонденты и первые из пришедших прощались. Скоро нас пустили в зал. Передо мной шла очередь в десять-двенадцать человек. Я надел свою кипу. Я встал напротив гроба и всматривался в черты покойного. Лицо у него было торжественное, красивое, лоб мощный, нос крупный. Он походил на спящего патриция. В сложенных руках у него был кипарисовый крест на черном шнурке. Как помнил, я прочитал по-еврейски «Кадиш», заупокойную молитву. Я тяжело пережил смерть Бродского — от 28 января, когда узнал об этом, до времени, когда я встал напротив гроба. И вдруг от меня отпало. Больше не было тяжести и не было человеческой пронзительной жалости. Осталось только уважение к писателю. Почему? Ведь я трепетно любил его стихи, болел за него и делал что мог, когда его преследовали, виделся с ним до его отъезда, у него или случайно. И каждый раз это была, так я думал, взаимная симпатия и любовь каждого из нас к стихам другого. Что же произошло? Почему я больше не оплакивал его как брата? Конечно же, не из-за нашей встречи на его чтении в Браунском университете.

— *Как вы объяснили себе такое поведение? Это что, защита от русских, которые наседали на него со всех концов? Или он помнил обиды так долго?*

— Нет, это была реакция на мою главу о нем. Я потом эти раскаленные гвозди глотал всю жизнь и до сих пор глотаю. Аксенов поднял страшную кампанию. Потом я уже узнал, когда у меня вышел роман об отказниках (он на Букера номинировался в Москве), я рукопись отдал в издательство «Фаррар, Страус и Жиро». Редакторша прислала мне письмо, где было сказано: «Ваши стихи настолько хороши, что печатать Вашу прозу было бы несвоевременно. Сначала следовало бы стихи Ваши напечатать». Потом я уже узнал, что эта редакторша была близкая приятельница Иосифа, фамилию ее я сейчас не помню. Как она могла знать о моих стихах, если не от Иосифа? То есть я хочу сказать, что он все время следил за мной, за тем, что я делаю и что печатаю, и относился ко мне весьма ревностно. Почему ему не понравилась эта глава? Потому что я написал о нем не в таких восхвалительных тонах, а как о поэте, который развился и вырвался, преодолел, но все-таки он вышел из нашей среды, он один из нас. И это чудо Бродского было подготовлено тем, что группа поэтов, с которой он общался, была очень сильной. И среда была сильной, посмотрите, Горбовский, Кушнер и Соснора. Так что явление Бродского не случайно.

— *Вы обещали рассказать, как вы впервые услышали о Бродском.*

— Я служил в армии, и вдруг я получаю письмо (это было году в 1960-м) от своего друга, Бори Смородина, который никогда не писал стихов, но всегда ходил со мной, как мой адъютант, на все чтения, так что он всех знал, со всеми дружил. Он пишет, что была свадьба у Сосноры, на этой свадьбе некий молодой поэт Бродский подрался с Соснорой. Это было первое упоминание о Бродском. Говорит, поэт замечательный, но вот подрался с Соснорой. Возвращаясь к нашим отношениям с Бродским, я думаю, что причиной охлаждения их была все же моя глава о нем, что-то я, видимо, написал так, как он не хотел, чтобы о нем писали. Он очень ревностно относился к своей славе и к своей личности, и, конечно, он себя ощущал уже олимпийцем.

— *Вам кажется, что он не хотел, чтобы западный читатель много знал о его юности и молодости?*

— О некоторых деталях. Да, я намеренно не писал о путях его отъезда, потому что я сам прошел через это. И он сам рассказал мне об этом очень естественно.

— *Но вы, может быть, не знаете, что Бродскому не нравилось ничего из того, что о нем писали, — ни замечательная монография Дэвида Бетеа о нем, ни другие монографии, ни мои собственные писания. Утешая Дэвида, я, помню, сказала ему: «Иосиф, видимо, ждет, что о нем кто-то напишет так, как он сам пишет о Цветаевой или об Одене; боюсь, что ему при жизни не дожидаться».*

— Да, и я вам скажу, что мой сын Максим к тому времени тоже написал статью (и опубликовал ее в 1993 году, и Иосиф наверняка знал о ней) о Бродском и Бобышеве, где он сказал, что победителем все-таки оказался Бродский, хотя «траурные октавы» написал Бобышев и словосочетание «ахматовские сироты» придумал он же, тем не менее Бродский выиграл. Но Иосиф Максиму никогда не написал ничего. Мне кажется, что он не должен был превращать себя в олимпийца, другие должны были это делать. И мне кажется, что это стоило ему больших усилий. Может быть, и его болезнь сердечная как-то связана с тем, что он все время держал себя в такой узде. Очень трудно все время играть роль.

— *Вы считаете, что Бродский грешил гордыней?*

— Я не думаю, что это грех.

— *По христианской вере это большой грех.*

— Да, но он не был христианином. Я не знаю, был ли он иудеем. Мы как-то говорили об этом с Димой уже после смерти Иосифа, как раз Дима написал замечательное стихотворение «Гость», очень трогательные стихи. Ему-то досталось больше всех, но он и стоит этого, потому что предательство должно быть наказано.

— *Иосиф его все-таки не простил?*

— Нет, и нельзя его простить, и я его не простил за Иосифа, и я не мог простить Наймана за Рейна. Для меня предательство — это самый конец. Тем не менее мы как-то вспоминали с Димой об Иосифе и пришли к выводу, что он не был ни иудеем, ни христианином. Он был язычником. Теперь я вижу, что ближе всего ему был пантеон античных богов, и он бы хотел себя приобщить где-нибудь между Аполлоном и Зевсом. Очень хорошо в свое время написал об этом Рейн

в стихотворении «В Павловском парке»: «Смотрит в затылок твой пристально Аполлон, / ты уже вытянул свой золотой талон». Я думаю, что ему все это стоило большого труда. Есть люди, которые естественно переносят славу, а он, видимо, к ним не относится.

— *Но ведь слава сопровождала его с самого начала процесса...*

— О, гораздо раньше. Вот он приехал ко мне, а через два дня мы были на этом чтении. Горбовский гремел в Ленинграде в свое время, он был хороший поэт, но что там творилось, когда Ося вышел читать, это было сумасшествие. Я такого никогда не видел. Да, я был на выступлениях Вознесенского, он тоже здорово читал, и толпа гудела, но такого шума не было. Потом, Вознесенского готовила советская власть, он был любимый сын и людей, которые любили поэзию, и любимый сын идеологической комиссии при ЦК КПСС. Он был дитя советского общества. А это же появился мальчишка незаконнорожденный, который владел залом абсолютно. И вот этот накал ни одного раза он не снизил.

— *Вы пишете, что почувствовали в Бродском нечто дьявольское — одновременно притягательное и пугающее.*

— Да, и если уж говорить всерьез, то Дьявол (он есть не только в христианстве, поскольку это все перешло из Ветхого Завета) относится к тем языческим временам, которые были до Авраама. И если уж говорить о религии, то Иосиф был язычником.

Возвращаясь к моей главе о нем, ему, может быть, не понравилось, что я сравниваю его с Достоевским, а точнее, с героем романа Достоевского «Подросток». И тут еще Анна Андреевна, совпадение имен и характеров, напряженный был материал.

— *Его поле гипнотического притяжения с ростом славы только увеличилось, но стало увеличиваться и отталкивание от Бродского, появилось больше недоброжелателей, особенно в России и в Англии. А как на этот счет обстояли дела в Америке? Оставим в стороне Аксенова.*

— Единственное, что я знаю, что я сразу по приезде в Америку потерял и Бродского и Аксенова. Единственный, кто остался, это Бобышев, он был благодарен, что я написал о нем. Я Васе позвонил, и он сразу же сказал: «Как же он (Брод-

ский) мне все испортил, все провалил, полностью». Но я тогда не представлял, что и я окажусь в положении Аксенова.

— *Но ведь вы не написали на него пасквиль, как Аксенов, не вывели его в своем романе в столь неприглядном виде и не стали его врагом.*

— Нет, до этого даже близко не доходило. Одно дело разойтись, другое дело затаить вражду. У меня была очень мудрая тетушка, она говорила: «Прежде чем ты женишься, ты должен знать, можешь ли ты без скандала разойтись со своей женой». Так и тут. Конечно, он был достойным человеком и с ним разойтись можно было мирно. Какие-то обиды были, но ни он, ни я никогда друг другу дурного не делали.

— *И среди русских поэтов в Америке вы не знаете недоброжелателей Бродского?*

— Во-первых, если бы такие и были, они при мне ничего бы не сказали, они знали, что я его очень высоко ставил.

— *А что вы скажете в защиту Бродского тем, кто обвиняет его в потере «русскости» с отъездом из России и утверждают, что в его стихах нет боли?*

— О, тут полная глупость, достаточно прочитав сборник «Конец прекрасной эпохи» с концовкой «Речи о пролитом молоке» или стихотворение «Песня». Или «Часть речи» со стихотворениями «Мы не пьем вина на краю деревни...» или «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...». Естественно, что фольклорная тема не была его темой. Ну и что? И у Слуцкого, и у Мартынова она никак не проявлена, кроме, может быть, «Подсолнуха» Мартынова. У Сельвинского единственно фольклорная тема — это его «Красное манто», где скорее воровской жаргон. Бродский не был фольклорным поэтом, но тем не менее он был русским поэтом. Я помню, как-то пришел к нему с бутылкой и мы сели выпивать в этой его полуконнате-шкафу. Я показал ему свои фольклорные стихи и сказал, что они понравились Мариенгофу, Анатолию Борисовичу, и он написал, что Сергей Александрович (Есенин) был бы очень доволен этими стихами. И я спросил: «Ося, а ты как к Есенину относишься?» Он ответил: «Я очень люблю Есенина и очень люблю Клюева».

— *Да, это я могу подтвердить, в один из своих приездов в Кил он жил у меня и все время читал двухтомник Клюева.*

— Вот видите. Потом мы с ним заговорили о новых «деревенщиках», о Бокове и о Рубцове. Сравните стихотворение Бродского:

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
заселенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки...

И стихотворение Николая Клюева, которое в другой ритмике написано:

В заборной щели солнышка кусок —
Стихов веретено, влюбленности исток,
И мертвых кашек в воздухе дымок...
Оранжевый сентябрь плетет себе венки...

Здесь он полностью раскрылся.

— *Вы описываете молодого Бродского почти как сумасшедшего: «Лицо, заросшее желтой, рыжей щетиной... рыжая взломаченная голова... картавый, каркающий, зловещий, завывающий голос, безумные глаза...» И это о человеке — холодном и рациональном?*

— Холодным он никогда не был. Становился надменно-презрительным или саркастичным к людям, которые ранили его ум или сердце. Но не холодным. Он был очень эмоционален и — одновременно — предельно рационален.

— *Бродский был открыт мировой поэзии еще живя в России. Какими качествами должен обладать поэт, чтобы вобрать в себя опыт мировой поэзии и преобразить его?*

— Знал он много в литературе. Особенно хорошо вначале русских футуристов, конструктивистов и обэриутов. Позднее пришел к классикам и современникам в английской поэзии. Потом приник к польской поэзии. Но ведь и вы, Валентина, и я можем назвать дюжину высокоэрудированных писателей, которые не поднялись выше стандарта профессиональности. Тут другое необходимо. Иосиф достиг максимальной в нашем поколении высоты полета, которая давала ему невиданный обзор. Он увидел всю красоту мировой поэзии и все скалы, завалившие в античности намеченные дороги поэзии. Он, как Антей, поднял эти скалы, отбросил их, преобразовал рус-

скую и мировую поэзию. Теперь нельзя сочинять, не оглядываясь на его подвиг.

— *Вы называете его стихи «голосом болящей совести», с чем многие русские согласятся. Но применимо ли ваше определение к его английским стихам?*

— Ничего не могу сказать о стихах Иосифа, написанных (в оригинале) по-английски. Я недостаточно силен в английском, чтобы судить об этих его стихах. Переводы же Иосифа собственных стихов на английский я сверял. Они вполне адекватны.

— *Считаете ли вы, что поэзия Бродского менее биографична, чем других поэтов?*

— Вся его любовная лирика предельно биографична. Скажем, стихотворение «Любовь»: «Я дважды пробуждался этой ночью...» Или стихотворение из книги «Примечания папоротника» — «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...». Да весь раздел «Часть речи» автобиографичен с гениальными стихами, которые я твержу, как молитву: «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...» Да и множество других абсолютно автобиографично. Даже когда он надевает маски Жукова, Марии Стюарт или римского патриция.

— *Поясняют ли обстоятельства жизни Бродского его стихи?*

— Этот вопрос, Валентина, кровно связан с предыдущим. Да, при доброжелательном и внимательном чтении стихи Бродского многое дают его биографам, читателям, исследователям его творчества.

— *Где, по-вашему, зарыто зерно его поэтической философии?*

— По-моему, он — футуролог смерти. Вся его поэзия с начала и до последних стихотворений — это ностальгия по смерти.

ВИКТОР ГОЛЫШЕВ, СЕНТЯБРЬ 2004, МОСКВА

— *Как рано вы познакомились с Бродским и где?*

— Мы познакомились, если не ошибаюсь, в январе 1964 года в Тарусе. В это время его уже всерьез преследовали в Ленинграде, и его московские друзья прислали его к нам в дом отсидеться. Он пожил в Тарусе, наверное, недели две, если не меньше, но ему понадобилось в Ленинград, и там его арестовали.

— *Его пребывание в Тарусе, видимо, приходится на конец января — первую половину февраля, потому что его арестовали 13 февраля 1964 года, сразу после возвращения из Москвы. Он часто останавливался в вашем доме, приезжая в Москву. Каким он был гостем?*

— Замечательным, легким гостем. Семья радовалась, когда он приезжал. С ним никогда не было скучно или затруднительно, за ним не надо было как-то ухаживать и развлекать его. Мы никогда не спорили — спор возникает, когда люди задерживаются на одном определенном уровне рассуждений. Он всегда имел в виду более высокий или общий уровень, над конкретной темой, а за ним еще один и т. д. Поэтому спорный вопрос снимался. «Малых правд пустая пря», как сказал Ходасевич, его не увлекала. А когда ему хотелось поесть что-

Виктор Петрович Голышев (род. в 1937 г.) — переводчик, член Союза писателей СССР с 1970 года С 1992 года преподает художественный перевод в Литературном институте им. Горького. Библиография переводов Голышева включает свыше 50 английских и американских писателей, среди них самые знаменитые Джеймс Джойс, Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек, Джорж Оруэлл. Он также переводил Владимира Набокова и Иосифа Бродского.

то особенное, он шел на улицу Красина (минут пять) и покупал себе пельмени.

— Почему Бродский звал вас Мика?

— Потому что так меня звали с детства родители, а потом родственники и приятели.

— Вы признались, что не оценили «Большую элегию Джону Донну», когда Бродский прочитал ее вам в 1964 году¹. Что вы думаете об этой элегии сейчас?

— Я боюсь, что я перечитал ее с тех пор всего один раз и это было очень давно. Я по-прежнему думаю, что это виртуозное произведение, но она, по-моему, слишком длинная, слишком умственная. Я до сих пор не очень понял ее содержание. Хотя технически, композиция и прочее — все изумительно. И написана она с большой страстью. Тут я должен признаться, что я не очень хороший читатель стихов.

— Андрей Сергеев рассказывает о нескольких выступлениях Бродского в Москве: в одной квартире в Лефортово, в ФБОНе (Фундаментальная библиотека общественных наук), на переводческой секции Союза писателей, где его приняли враждебно поэты СМОГа, в частности Губанов². Вы бывали на этих или других выступлениях Бродского?

— Был только на одном выступлении — в Союзе писателей. Помню только, что один из «смогов» начал говорить, что, мол, мы это слышали, это вроде Ахматовой. Андрей Сергеев, которого я видел впервые, очень авторитетно его обрезал. Помню, меня тронула эта лояльность, но подумал: суров. Он очень любил Бродского и был верным человеком. Восхищался, в частности, тем, что Бродский — единственный, кто может написать длинное лирическое стихотворение.

— Когда вы слушали, как Бродский читает свои стихи, вы были в состоянии воспринимать их на слух? Или у вас, как у многих других, было ощущение, что вы бежите за ним по рытвинам и ухабам?

— Он читал так, что похоже было на постоянное крещендо. Процесс завораживал, смысла доходило (до меня) поло-

¹ Виктор Гольшев. [Интервью] // Известия, 14 февраля 2004. В этом интервью — ошибка: знакомство с Бродским произошло в январе 1964 года, а не в январе 1963-го.

² Андрей Сергеев. Омнибус... С. 440—441.

вина. В музыке его (словесного смысла) вообще нет, а она действует. Никаких ухабов и рытвин, а очень сильный и увлекательный поток. Потом, с бумаги, доходила примерно еще четверть, а потом через несколько чтений — все (что вообще до тебя может дойти). В Америке он стал читать сдержаннее, там принято читать более сухо. Но он все равно читал своему. Его чтение мне кажется идеальным. Один человек мне сказал: «Когда он читает сам, кажется — конец света, а посмотришь на бумаге — стихи как стихи». Я согласен с первой частью и не согласен со второй.

— *Вы присутствовали на выступлении Бродского в Бостонском университете. Расскажите о вашем впечатлении.*

— Зал был битком набит: в Бостоне живет много русских эмигрантов. И он читал всю дорогу по-английски, а наши люди очень плохо знают английский язык. Даже местные, сидевшие рядом с ним на эстраде, понимали от силы наполовину: у него был довольно сильный акцент. А эмигранты сидели в полном недоумении — по-русски он не прочитал ничего. Он считал: здесь живешь — этот язык и слушай.

— *Где вы видите истоки его манеры чтения?*

— Не знаю, я почти никогда не слышал, как поэты читают. Никогда не ходил в Полититехнический музей. Один раз я слышал, как Мартынов читал, и Слуцкого слышал. Истоков никаких не знаю. Мне кажется, что его чтение очень правильно, что оно таким и должно быть. Он очень не любил, как актеры читают, потому что там какие-то нажимы есть, там дробится музыка; они как бы вытаскивают смысл, а на самом деле я не знаю, где больше смысла — в размере, в его анжабеманах или в том, что говорится.

— *Бродский восхищался вашими переводами Фолкнера, повторяя, что вы обновили русский язык⁴. Вы согласны с такой высокой оценкой вашей работы?*

— Не хотелось бы спорить с великим человеком. Я лично никогда об этом не думал. Если кто и обновлял, то Фолкнер и прежде всего сознанием, естественно, неотторжимым от языка.

— *Как соотносится ваша практика перевода с вашей теорией?*

⁴ Там же. С. 433.

— У меня нет никакой теории. Только одно соображение: то, что происходит в книге — движения, звуки, запахи, диалог, топография, переживания, — должно происходить с тобой и укладываться приблизительно в такие же фразы, желательно не более длинные и ритмически организованные подобным образом. Это возможно потому, что происходящее в книге на самом деле происходит в сознании. И почему бы при наличии некоторого резонанса тому же не произойти в другом? Но это относится к прозе, насчет поэзии — не знаю.

— *Вы сказали, что перевод — «сомнительное дело». Что побуждает вас к этой трудной, муравьиной, плохо оплачиваемой работе?*

— Не знаю, может быть потому, что я другой не хочу работы. Я вообще-то инженер по образованию, физик, но на самом деле мне нравится перевод. Это серьезный вопрос. Ты имеешь дело с лучшими писателями, точнее, имел до девяностых годов, сейчас похуже стало. Если ты сам не пишешь, то по крайней мере хорошо читаешь.

— *Бродский посвятил вам одно из лучших своих стихотворений «1972 год». Оно написано в декабре, когда Бродский был уже вне России. Как и когда вы узнали об этом посвящении?*

— Он время от времени присылал мне стихи, в том числе и это. Я считаю, что я ни при чем здесь, а стихотворение очень хорошее. Я читал его вне зависимости от себя и считал, что оно несколько преждевременное: ему было всего тридцать два года, какое там старение?

— *Преждевременное? Но посмотрите, как рано Пушкин зашел о старости: «Уже я стар» (1815), «Услышу старости угрозы» (1816). У Бродского масса параллелей с Пушкиным. Он и Нобелевскую премию себе предсказал еще в 1968 году¹.*

— Мы один раз сидели у Сергеева втроем, всех ругали, смеялись, а потом Бродский говорит: «Вот быть бы поэтом-президентом!» Мы долго хохотали и он сам дольше всех, понимая, что это невозможно. Это сейчас его биография строится как восхождение на Олимп. Я его видел в плохом виде и перед ссылкой и после ссылки. И кроме того, что он знал, что он обязан правильно писать стихи, никакой идеи Нобелевской премии не было.

¹ См. интервью с Генрихом Штейнбергом в этом сборнике.

— *Правильные в смысле поэтического языка?*

— Правильные в смысле того, что он думает. Конечно, он мог бы с этой страной замечательно примириться, но он свой долг поэтический знал, поэтому ничего и не опубликовал при советской власти, два-три стишка.

— *По-моему, больше: три — в журнале «Костер» («Баллада о маленьком буксире», Стихи: «Кто открыл Америку» — 1962, № 11, и «Январь» — 1966, № 1), два — в «Молодом Ленинграде 1966» («Обоз» и «Я обнял эти плечи и взглянул...») и два в «Дне поэзии 1967» («На смерть Т. С. Элиота» и «В деревне Бог живет не по углам...»).*

— Я знаю одну публикацию в Эстонии и в «Дне поэзии».

— *Да, в Тарту, «Подсвечник» в университетской газете — 26 декабря 1969 года, и еще одно — «Тракторы просыпаются с петухами...» в Коношенской районной газете «Призыв» — 14 августа 1965). Итого девять.*

— В принципе ему один наш большой поэт устраивал публикацию не то в «Юности», не то в «Новом мире». Я не хочу называть его имя.

— *Имя это всем известно.*

— Бродский послал его на три буквы, когда тот попросил его одну строфу выкинуть. Тот же Сергеев говорил, что прозу можно писать о чем-то умалчивая, а стихи так писать нельзя, стихи можно писать, полностью отдавшись им. Так был устроен Бродский. Даровитых людей много было, но выделился Бродский, потому что внутренний голос не позволял ему что-то делать. Этот внутренний голос не у всех так развит и почти ни у кого так не развит, как он был развит у Бродского.

— *Вы думаете, что Бродский знал себе цену?*

— Да. Но не всегда. Я помню, о «Песне невинности, она же — опыта», я сказал: «Замечательный стишок», а он: «Ну да, без мыла в жопу лезет».

А иногда говорил: «Ничего стишок» или «довольно замечательный».

— *А как вы относитесь к его запрету включать юношеские стихи в собрание сочинений?*

— Я думаю, что он лучше в этом понимает. Вначале он все-таки очень романтический человек был такой и довольно темный. Он не вырос в среде, в которой с пяти лет уже знают все на свете. Может быть, скорее какая-то наивность мешала, чем техническая неоснащенность стиха.

— *Вы наблюдали его процесс самообразования? Читал ли он книги из вашей библиотеки, когда он жил у вас? Или он многое хватал из воздуха?*

— Наверное, что-то читал, но как-то нам не этого было. Такая интенсивная жизнь в Москве происходила, что он не читал. А вот насчет «хватал из воздуха» вы правильно сказали. Это вообще отличие больших людей, то, что другие долго и подробно изучают, они ловят из воздуха. У него на этот счет большой дар был: мог почуять что-то важное даже по чужим оговоркам. И конечно, понимание того, что существенно, а что нет. Не зря он стал очень образованным человеком при том, что не получил систематического образования. Когда я был в Америке, Бродский показал мне список книг, которые должны прочесть его студенты. Там было триста названий, начиная с «Гильгамеша» и кончая Джойсом. Я ужаснулся: «Это же нельзя прочесть!» Он только пожал плечами: «Все равно, пускай читают».

— *Вы составили один из первых прозаических сборников Бродского на русском языке, «Набережная неисцелимых» (1992). Каким принципом вы руководствовались? Где и кто добывал оригиналы? Почему нет ссылок на первые публикации? Почему сборник назван по эссе о Венеции, а фотографии Бродского нью-йоркские?*

— Никакого принципа не было. Хотелось напечатать его эссе, русские и переведенные, какие имелись в наличии. Дело в том, что его никто не хотел переводить. В основном переводили молодые люди, Дашевский, Чекалов. А взрослые, которым я предлагал, они боялись, потому что под надзором человека, знающего русский язык, переводить очень трудно. Они справедливо боялись, потому что Бродский большинством тех переводов был недоволен, пока его Касаткина не стала переводить. Когда затевалась эта книжка (году в 1987-м), регулярного сообщения еще не было. Настолько, что «Бегство из Византии» собирались переводить; к счастью, вовремя узнали, что написано оно по-русски. В одной редакции тянули, пока она сама не развалилась. Бродский не приветствовал этого плана, говорил, что писал не для наших. Я возражал: интересно, что ты пишешь не для наших. Мне казалось, что у него очень производительные мозги для пишущего человека, что большая редкость. Обычно у человека две-три мысли свои,

остальные он прочел или услышал. Никто рукописей не добывал. Корнелия Бесси привезла «Less Than One» в Москву, а к кому-то попалась еще «Набережная...». Важно было с чего-то начать. «Набережная неисцелимых» — просто название, нельзя было назвать «Меньше единицы», потому что состав не совпадал с английской книгой. Почему и какая картинка — лучше ответил бы главный художник издательства «Слово», В. В. Медведев, но он умер. На обложке, впрочем, тоже Венеция, а не Мортон-стрит.

— *Бродский был доволен переводами своих эссе на русский язык?*

— Не слишком. На моем переводе (без подписи), который привезли ему на просмотр, он написал примерно так: «Ничего, но все равно буду морщиться, интонация не та». Правки при этом почти не было. Я и сам знал, что он пишет более отстраненно, но степень обезьянства каждый переводчик определяет сам, исходя из своих возможностей и склонностей. Про перевод другого человека, принятый здесь с восторгом, он сказал: «Кошмар»; про третий — «Ничего, но шуток не чувствует». Впервые был удовлетворен переводом Елены Касаткиной, о чем специально звонил в редакцию двух журналов. Сказал, что она поняла его и жлобство. В дальнейшем большую часть его эссе публиковали в ее переводах и Александра Сумеркина под наблюдением автора, пока он был жив. Потом, когда стало выходить Собрание сочинений, вышло три тома его эссе (не знаю, выйдет ли четвертый когда-нибудь), там работа была довольно сложной. Здесь его переводили в основном Касаткина, иногда Чекалов, там переводил Сумеркин уже без Бродского. Я редактировал всех, а потом отсылал все туда Энн Шелберг, и Сумеркин еще раз читал и делал свои замечания. Потом еще редактор издательства смотрел, но это чисто формально. Очень морока большая была с этим собранием, потому что две инстанции надо было проходить.

— *«Я не праведник... и не мудрец; не эстет и не философ»¹, — говорит о себе Бродский. Что вы читаете в этом самоопределении через отрицание?*

¹ Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. Сост. В. Голышев. М.: Слово, 1992. С. 212.

— Что не праведник — понятно. Что не мудрец? Мудрость, видимо, ум, достигший окончательных правильных выводов, состояние несколько статичное. Некоторые его прогнозы не оправдались, например что врожденный эгалитаризм нашего народа при наличии политической свободы придаст некое новое качество здешней жизни, которого нет на Западе. Пока что мы видим бездарное чванство людей, оказавшихся на верху социума, и традиционную для старой России глухоту к огорчениям менее удачливых. Достаточно того, что он был человеком с необычайно производительным умом. Для «эстета» он был слишком демократичен и не чурался низких тем. «Не философ». Философ, во-первых, профессия, понятно, что не философ. Во-вторых, плотность философского текста значительно меньше, чем плотность настоящей прозы, а тем более поэзии, которую он считал ускорителем мысли. В эссе он философствует довольно часто, но это не систематическая философия, хотя несколько лейтмотивов в его рассуждениях вполне очевидны. В-третьих, философия претендует на доказательность. Бродский не слишком этим затрудняется, он предпочитал сразу дать формулу или афоризм, а это скорее поэтический метод. Впрочем, тему он мог развивать последовательно и продолжительно, как не многие эссеисты.

— *Как вам видится у Бродского стратегия вытеснения лирического «я» из стихотворения?*

— Я не уверен, стратегия ли это. В этом есть некоторое целомудрие. Когда я читаю нынешних поэтов, то спотыкаюсь об их «я»: я съел то-то и то-то, у меня зуб заболел. При том, что себе-то он, наверное, интересен был, но есть какая-то вежливость — нельзя себя очень навязывать. Он, конечно, про себя писал, но старался говорить об этом как бы со стороны. Не говорить о самых мелких подробностях своей жизни, а только о том, что тебя объединяет с другими людьми. И если это любовные мучения, скажем, то или некоторое абстрагирование, или перевод из чисто личного плана. В наше время, особенно поэты-дамы, вдаются в частности своей эмоциональной жизни, а мне до этого дела нет. Я не знаю, или он интуитивно это понимал, или это действительно такая скромность душевная. Он умел отодвинуться от себя. Он также пишет и свои эссе как бы от имени некоего абстрактного человека.

— Да, эта объективизация своей личности особенно заметна в отождествлении с человеком вообще: «человек приносит с собой тупик в любую / точку света» («Йорк»). В «Письме Горацию» Бродский берет в поводь Горація, а не Вергилия, как Данте, но параллель все равно напрашивается. Очевидна ли она для вас? Или это натяжка?

— Мне кажется, он имеет в виду сходство темпераментов, почему-то относя себя к меланхоликам. Я скорее отнес бы его к холерикам, сильному типу, а меланхолическим был его взгляд на существование. Но вряд ли ему нужен был проводник как литературный прием, он сам вполне обжился в латинской античности.

— Бродский жалуется, что не написал «Божественную комедию», не создал «Метаморфоз» (б.365). Вам не кажется, что Бродский написал свою «Божественную комедию», но только во фресках?

— Не знаю, почему он жалуется. Не писать же их во второй раз? Их время ушло. Пересказывать мифы и мысленно рассказывать знакомых по камерам поздно. Слишком многие занимались и тем и другим практически в XX веке, располагая развитой техникой коммуникаций и репрессий. Его отличие от большинства (советских да и русских вообще) лириков в том, что когда он пишет о своих делах, он может смотреть на себя со стороны, и постоянно присутствует в его стихах мотив, что его дела — это вообще дела человеческие, а не что-то исключительное и только ему свойственное. Мне не кажется это эпической попыткой, а просто продуктом сильно усовершенствованного сознания. Претензии к миру у него более общего порядка. Но за ними — благодарность, о которой говорится в стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».

— «Я никогда не воображал себя его двойником», — говорит он об Овидии. Но мы знаем, что двойничество было его второй натурой: «И новый Дант склоняется к перу». О чем вам говорят эти параллели? Об амбициях Бродского? О его стандартах? О поисках параллельных миров?

— Насчет двойничества ничего не могу сказать. Мне самому это понятие кажется придуманным и уж к Бродскому совсем неприменимым¹.

¹ На эту тему см. мою статью Валентина Полухина. Больше одного: двойники в поэтическом мире Бродского. // Neo-Formalist papers. Eds. Joe Andrew & Robert Reid. Amsterdam: Rodopi, 1996. P. 222—243.

— Для многих Бродский чрезвычайно многолик. Какую черту его личности вы выделяете как самую характерную?

— Естественно в разных ситуациях он проявлялся по-разному. Но «многоликости» Бродского не понимаю. Он был цельным и душевно очень здоровым человеком. Мне трудно выделить в человеке какую-то одну черту, я воспринимаю его в целом. Что касается Бродского, то, наверное, надо перечислить первые, какие придут на ум: одаренность (вне зависимости от стихов), большой темперамент, открытость, благородство, терпимость к людям и эстетическая нетерпимость, юмор и неисчерпаемое остроумие. Все это перечисление выглядит довольно глупо. А еще он надолго сохранил в себе что-то мальчишеское, видимо с этим связан его романтизм.

— Можете ли вы назвать Бродского смиренным человеком?

— Нет. Он был настоящим демократом, относился к людям, которых уважал, как к равным, но хорошо понимал размер своего дарования. В нем был силен дух состязательности, и мне кажется, это не слишком способствует смирению. В конце восьмидесятых или начале девяностых, помню, он сказал мне по телефону (приблизительно): «Может, мое место будет не меньше, чем у Батюшкова». Он скромно не назвал Баратынского.

— «Неважно... сколько раз тебя предавали». Что вы знаете о предательствах, которые Бродский не мог забыть?

— Мне кажется, он жил — и в одной из речей перед студентами советовал им иметь в виду — в соответствии с простым принципом: помня обиды, причиненное тебе зло, ты продолжаешь носить их с собой. Я никогда не слышал от него разговоров о том, что его предали, обидели и т. д. О неприятностях он мог говорить, будучи впечатлительным человеком, но это были отношения с жизнью вообще, а не с предателями.

— Известно, что он с разными людьми говорил на разные темы. Андрей Сергеев пишет: «...со мной бывал предельно откровенен. Не боялся говорить с подробностями о своих обидах, претензиях к кому-то, о своей удаче, о горе, оскорбленности, уязвимости». И чуть ниже: «От друзей Иосиф почти ничего не требовал. Даже не искал в них понимающего читателя. Требовал, чтобы его не предавали, не делали пакостей. Требовал

верности, сам был очень верным другом»¹. Почему нам так трудно представить Бродского москвичом?

— Не знаю, я москвич, в Ленинграде всего два раза в жизни был. У него питерского снобизма по отношению к Москве, по-моему, не было.

— *О советском эксперименте Бродский сказал: «Нас раздели и разули и выставили на экзистенциальный холод». У кого еще из ваших современников было подобное понимание сущности советской системы?*

— «Экзистенциальный» — все еще мощное слово, из философии, созданной (по большей части) несостоявшимися поэтами. Так что с «холодом» это высказывание вдвойне поэтическое, рационально толковать его для меня затруднительно, так что «пониманием» это трудно назвать и тем более трудно сказать, кто из современников относился к советской реальности так же. А выставили, не раздевая, народ ибо в Нигерии на экзистенциальную жару, народ Камбоджи, народ Руанды, афганский народ и многие другие.

— *Бродский определил свою философию как философию стойкости². Чему он противостоял по большому счету?*

— «Противостоять», очевидно, приходилось режиму, который не позволял ему занять подобающее место в обществе и в конце концов вытолкнул совсем. Но стойкость — не только в противостоянии, а в терпении вообще; терпеть же он вынужден был и чисто личные неприятности разного рода, начиная с физических и кончая разлукой с родителями, страной, друзьями и т. д.

— *«Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что не варвар»³. Какое представление о христианстве дают нам его стихи и проза?*

— Христианин, наверное, в понимании личной ответственности за содеянное. В этом смысле, ему, по-видимому был ближе кальвинизм. Во-вторых, вся европейская эстетика, о которой имеет смысл говорить, последних полутора тысяч лет

¹ Андрей Сергеев. Указ. соч., сс. 438, 441.

² Иосиф Бродский. Большая книга интервью..., с. 22.

³ Там же, с. 30.

так или иначе пронизана христианским, а вернее, библейским сознанием. Естественно, и его — тоже.

— *«Отказаться можно от всего». От чего отказался Бродский, что не по силам обыкновенному человеку?*

— А мне это непонятно. Он все время восхищался формулой Цветаевой: «На твой безумный мир / Ответ один — отказ». На самом деле он не так от многого отказался. От стихов своих он не отказался, от еды — не отказался, от курева — не отказался, от выпивки — не отказался. Я думаю, что идея такая: ты можешь от многого отказаться, но это не значит, что ты отказываешься, но что ты готов. Я думаю, что это важно.

— *Как принимали и принимают Бродского в России?*

— Лет двадцать назад я узнал, что его много читают молодые. Был год 1984-й, еще вполне советская власть, он еще ходил в рукописных страничках. И молодые люди его знали лучше, чем взрослые, и взрослые гораздо хуже приняли его. Молодое поколение понимало, что он не только хорошие стихи писал, он какой-то образец поведения дал. Его желание — несколько отстраниться и абстрагироваться их вполне устраивало. Поэты предыдущего поколения были очень злободневные, а Бродский все политическое выводил в широкий исторический план. Как сейчас принимают, я не знаю. Я думаю, что многие молятся на него, а кое-кто, наверное, недолюбливает или не понимает. Я думаю, что он очень важный человек для всех.

— *Можно ли мне включить в сборник стихотворение Бродского, адресованное вам за полтора месяца до смерти? Вы уже публиковали его в «Новой газете»¹.*

— Конечно. Он сам попросил дать его письма Сумеркину для печати. Это последнее уже не успело попасть в почти готовую книгу «Портфель».

8-е декабря 1995 г. В. П. Голышеву

Старик, пишу тебе по-новой.
Жизнь — как лицо у Ивановой
или Петровой: не мурло,
но и не Мэрилин Монро.

¹ Иосиф Бродский. 8-е декабря 1995 г. В. П. Голышеву. // Новая газета, 22—28 мая 2000. С. 23.

Пришла зима. Застала лето.
У завтра началось вчера.
Теперь везде твердят, что это
— ионосферная дыра.

Ах, говоря про наши церкви
или мартеновскую печь,
не мудрено, что нежной целки
и в облаках не убережь.

Погода, в общем, дрянь. Здоровье,
умей себя оно само
графически изобразить, коровье
изобразило бы дерьмо.

Видать простых конфигураций
и красок возраст подвалил,
крича ценителю: «Помацай!»
Судьбе, видать, не до белил.

Но это, старичок, в порядке
вещей. За скверной полосой
идет приличная, и в прятки
играешь кое-как с Косой.

Живу на Бруклинских высотах.
Заслуживают двух-трех фраз.
Застроены в девятисотых
и, в общем, не терзают глаз.

Выходишь из дому и видишь
известный мост невдалеке.
Манхаттан — подлинный град Китеж —
с утра купается в реке.

Вид, извини за просторечье,
на город как в Замоскворечье
от Балчуга. Но без мощей
и без рубиновых вещей.

Вдобавок — близость океана
ноздрию ловишь за углом.
Я рад, что этим дышит Анна,
дивясь Чувихе с Помелом.

Я рад, что ей стихии водной
знакомо с детства полотно.
Я рад, что, может быть, свободной
ей жить на свете суждено.

Такие чувства — плод досуга.
Однако данный материк
тут ни при чем: они — заслуга
четырёхстопника, старик.

Плюс — пятилетки жизни в браке.
Представить это тяжело.
Хотя до склоки или драки
покамест дело не дошло.

Не знаю: дело во Всевышнем
или — физический закон,
но разницы лет в двадцать с лишним
для хамства — крупный Рубикон.

И, так как в Цезари не метим,
мы чем-то заняты все дни.
Мария — Ньюшкой, я — вот этим
или вот этому сродни.

Там — бусурманское наречье,
а тут — кириллицей грешу.
То переводами увечье
двум феням сразу наношу.

То — в корректуре, то — в наборе,
то — в гранках. Этого oprичь
сейчас приволокли «О горе
и разуме» сырой кирпич.

Я сочиняю из-за денег
и чтоб мгновение продлить,
и потому что, шизофреник,
привык все пополам делить.

Два языка, две пиш.машинки,
живу в двух штатах; наконец,
две тачки (но одна — в починке).
Старик, я все-таки Близнец,

и вижу я, объятый думой
о сочинениях своих,
их не собранием, но суммой
неконвертируемой их.

Что хуже автора в надире
чувств о себе? Он говорлив
и вроде зеркала в сортире,
в которое глядят, отлив.

Причина, старичок, в размере
стишка: он зеркалу под стать.
Взгляну в окно. По крайней мере,
в окне себя не увидеть.

Везде большие перемены
или — инерция с большой
«И». Где гуляли джентльмены,
все сильно заросло паршой

законов. В местном кислороде
немыслимо послать на «Х»,
и человечество в природе
распространилось вроде мха.

Людей теперь везде избыток.
Их больше, чем у Бога дней.
В лицо запоминать, убитых
оплакивать — теперь трудней.

Поэтому пирог бюджета
сопротивляется ножу.
Ах, имитируя поэта
(какого не скажу), скажу:

«Жизнь продолжается при Билле
как при любом другом дебиле».
Что — шизофреника в виду
имёя — так переведу:

«Жизнь продолжается при Боре
как при любом другом приборе».
А правильно ли я сказал,
решит Георгиевский зал.

Распалась крупная держава.
Остались просто города
и села. Слева или справа —
лишь долгота да широта.

Что, может, к лучшему. От части
рассудку менее вреда
нежели от целого, из пасти
которого бежать — куда?

И, скажем, вечером в Батуме,
не говоря — в Караганде,
переставляя буквы в ДУМЕ,
приятно получать МУДЕ.

Так получается в Нью-Йорке,
где, расстегнув воротничок,
и сам я что-то не в восторге
от этой шутки, старичок.

Вообще — завязываю. Штатник
давно бы завязал. Боюсь,
во мне засел Первопечатник;
но я с ним иногда борюсь.

Я взялся за перо не с целью
развлечься и тебя развлечь
заокеанской похабелю,
но чтобы — наконец-то речь

про дело! — сговорить к поездке:
не чтоб свободы благодать
вкусить на небольшом отрезке,
но чтобы Ньюшку повидать.

Старик, порадуешься — или
смутишься: выглядит почти
как то, что мы в душе носили,
но не встречали во плоти.

Жаль, не придумано машинки,
чтоб, околачиваясь тут,
пельмени хавать на Тишинке.
Авось еще изобретут.

Вот, что сказать хотел: но с толку
был сбит движением строки.
Власть — государю, чашу — волку,
а мне подай обиняки.

Но что сравнится с черным ходом,
Когда в парадном — мусора?
Целуй старуху. С Новым годом
и с Рождеством тебя! Ура!

P. S.
А вот вопрос из-за кулисы
для хитроумной Василисы:
«Что происходит без усилий?»
Движенье времени, Василий.

АЛЕКСАНДР СУМЕРКИН, НОЯБРЬ 2003, НЬЮ-ЙОРК

— *Вы подробно и замечательно описали ваше участие в рождении последнего русского сборника стихов «Пейзаж с наводнением». Кроме этого, вы переводили некоторые эссе и стихи Бродского с английского на русский. Был ли он так же требователен к переводам его стихов на русский, как и к переводам его стихов на английский? Много ли он правил ваши переводы?*

— Дело в том, что стихи я переводил, когда его уже не стало, и я делал не поэтические переводы (я никогда и не называл их переводами), а просто честные подстрочники. Эта идея родилась в Ленинграде во время конференции 1997 года. Поскольку журнал «Звезда», проводивший конференцию, не очень богат, то организаторы попросили своих друзей расселить некоторых гостей у себя. И я поселился у одного из друзей журнала: это был Владислав Александрович Станкевич, настоящий ленинградский интеллигент, который хорошо помнил всю историю с Бродским; он прекрасно владеет французским и немецким языками, но не знает английского, как часто бывает в России среди людей его поколения. Мы с ним

Александр Евгеньевич Сумеркин (род. в 1943 г.) — переводчик, с 1977 года живет в Нью-Йорке. В 1978—1990 годах работал в независимом книжном магазине/издательстве «Руссика», был редактором первого представительного собрания сочинений Марины Цветаевой, принимал участие в издании книг Юза Алешковского, Нины Берберовой, Сергея Довлатова, Эдуарда Лимонова и других авторов. С 1990 года совмещает переводческую и литературную деятельность; составитель сборника Иосифа Бродского «Пейзаж с наводнением» (1995).

очень сдружились, прежде всего на почве ночных чаепитий и любви к «Пиковой даме», и в какой-то момент он спросил меня: «А что, действительно Иосиф хорошо писал стихи по-английски?» Я ответил, что не знаю, хорошо ли, но есть стихи, которые мне, правда, очень нравятся. Он сказал: «А ты не можешь мне хотя бы какое-то представление дать об этих стихах?» И я попытался так вот, с листа, перевести «Epitaph for a Centaur». Но, конечно, у меня ничего не получилось. И когда я вернулся в Нью-Йорк, я подумал, что хотя бы для него нужно сделать подстрочный перевод этого стихотворения. Потом я сделал еще несколько подстрочников — мне очень приятно, что их включили в петербургское собрание Иосифа как приложение к его английским стихам.

— *А эссе? Их вы переводили при жизни Иосифа. Он просматривал ваши переводы?*

— Не только просматривал, но реально просто переписывал, очень много правил. Причем правил дважды: я делал первый вариант, черновой, потом я его старался немного привести в порядок сам, после чего показывал перевод автору, который сначала очень долго не хотел на него смотреть. Но потом все же смотрел и обычно возвращал мне мою машинпись с густыми пометками, которые я честно переносил, перепечатывал. К счастью, началась уже эпоха компьютеров, это было проще. После чего я ему приносил исправленный вариант, и он делал еще одну правку. То есть от исходного моего текста там оставались предлоги и союзы. Поэтому, между прочим, такая катастрофическая разница между моими (да и другими) переводами, которые делались уже после смерти Иосифа, и переводами, которые он успел поправить. Хотя Иосиф все равно был этими переводами не вполне доволен.

Все началось с того, что «Коллекционный экземпляр» хотели прочитать по радио «Свобода». И там какая-то симпатичная дама это эссе перевела, но перевела, правда, не очень хорошо, не потому, что она плохая переводчица, а просто это очень сложный текст. Тогда Иосиф спросил меня: «Может быть, вы это переведете заново?» Что мы, в сущности, и сделали вместе. У меня сохранились все варианты, оригиналы я отдал Энн Шелберг для архива. Иосиф вносил правку зелеными чернилами, так что она сразу заметна. А потом, когда он по второму разу перевод вычитал и дал «добро», мне по-

звонил из «Свободы» Сергей Юрьенен и спросил: может быть, Иосиф согласится прочесть хотя бы кусочек сам. Я передал эту просьбу Иосифу, и он ответил: «Нет, все-таки это не моя дикция». Хотя там каждое второе слово было написано им.

— Но ведь действительно, когда читает сам Иосиф свои вещи, это влияет на смысл. И когда те же вещи читает даже очень прекрасный чтец, это просто режет слух, искажается смысл. В своей рецензии на «So Forth» вы не беретесь оценивать английские стихи Иосифа и его автопереводы. Я — тоже. Одна из исследовательниц автопереводов Бродского объясняет несовпадения между оригиналом и английским переводом тем, что Бродский ставил перед собой задачу не совпадать с собой, а «обогащать и преобразовывать себя». Разделяете ли вы это мнение, что два языка высвечивают разные стороны автора, который пытается через себя приблизить эти языки друг к другу?

— Я думаю, что, как правило, он стремился как можно больше приблизить перевод к оригиналу, но с другой стороны, он действительно обладал уникальным языковым слухом, которому мы все можем позавидовать, и поэтому он часто что-то менял или дополнял: чтобы стихотворение стало читаемым английским стихотворением, а не явным переводом с другого языка, нужно было что-то изменить. И, конечно, будучи автором, он был здесь в привилегированном положении: возможно, другому переводчику он такого «своеволия» не простил бы, — ему бы казалось, что тот произвольно что-то поменял ради благозвучия. А поскольку здесь он был хозяином, то он отчасти переписывал стихотворение, так как это для него было важно. С прозой было по-другому: помню, я его спросил однажды, когда он в очередной раз сердился по поводу какого-то перевода прозы: «Иосиф, а почему бы вам самому не сесть и не перевести это?» Он ответил: «Что же я буду по второму разу пережевывать однажды съеденное!»

— Вы, вероятно, знакомы с отзывами о его автопереводах. Я, может быть, знаю это лучше других, поскольку я собирала все рецензии на английские сборники Бродского, — в Англии его автопереводы подвергались жесткой критике. В русских стихах Бродского смысл, стиль и звук, как известно, образуют органическое единство, что по природе своей не сохраняется в его автопереводах. Можем ли мы, русские, оценивать его автопереводы?

— Я честно говорю, что не могу, на меня влияет в любых переводах, в том числе и в переводах самого Иосифа, оригинал. Я как бы слышу русский текст. Невозможно отделаться от русского «подстрочника». Поэтому то, что может показаться неоправданным или натянутым обычному языконосителю, нам таковым не кажется, — мы понимаем, откуда это пришло и ради чего это сделано. А оценить, насколько оправдана та или иная натяжка или какой-то оборот, может только человек, который слышит это как языконоситель, а не как человек, язык выучивший, даже хорошо выучивший.

— *Кроме обвинений в том, что английский язык Бродского недостаточно идиоматичен, есть еще один аспект, который мало кем учитывается: нужно знать, что сейчас происходит в современной английской или американской поэзии. Насколько он попадает в сегодняшнее поэтическое русло или идет против этого течения, и тогда почему он это делает!*

— Мне кажется, что на этот вопрос он сам дал ответ в своем эссе про Харди. Понятно, что Харди сейчас как поэта не очень принимают. А в Иосифе был силен дух противоречия, это подтвердят все, кто его знал, и он хотел доказать, что «архаичный» Харди несколько не устарел. Известно, что Иосиф был большим сторонником русской традиционной просодии. Что значит русской? Это она сегодня русская, а двести лет назад она была всеобщая.

— *Потому что русская поэзия по крайней мере на двести лет моложе европейской.*

— Конечно, конечно. Поэтому он так настойчиво пропагандировал Харди, о котором как о поэте девяносто процентов языконосителей уже забыли. Он как бы настаивал на том, что эта форма жизнеспособна и сегодня, если поэту есть что сказать и если он обладает нужным мастерством. И русский опыт Иосифа доказывает, что эта система жизнеспособна, потому что русская поэзия, хотя она и молода, тоже нередко отходит от жестко традиционного стихосложения. Уже Кузмин, а потом Маяковский расшатывали классические формы. А за последние полвека в русском стихосложении родилось множество экспериментов. В рамках сугубо традиционной просодии сегодня, видимо, очень трудно сказать что-то, что не будет казаться повторением. Я думаю, что от этого у некоторых английских и американских критиков возникает

ощущение, что автопереводы Иосифа, которые стремятся сохранить эту просодию, звучат либо как повторение сказанного, либо как неудачная попытка сказать в этих рамках что-то новое, что-то свежее. Для русской поэзии это было ново, потому что Иосиф нашел внутренние ходы, которые позволили, не разрушая систему в целом, обновить ее, расширить.

— *А что вы знаете о заказе Юрия Любимова перевести хоры из «Медеи» Еврипида? Любимов утверждает (интервью, «Европейская газета» (Германия), ноябрь 2003), что переводы потеряны. Перевел ли Иосиф больше, чем опубликовано?*

— Нет, нет. Насколько я знаю, все, что он перевел, опубликовано. Помню, что я пришел к Иосифу по делам, а он сидел, обложившись «Медеей» в разных вариантах: там был и перевод Анненского, и какая-то старая английская версия. Иосиф рассказал, что Любимов попросил его, для какой-то новой постановки, сделать хоры удобопроизносимыми вслух. И Иосиф чрезвычайно этим увлекся. Между прочим, Иосиф отметил, что Любимов даже не упомянул ни о какой оплате заказа, в то время как работа оказалась гигантской. Но в результате мы должны быть признательны Любимову, потому что, по-моему, эти хоры из «Медеи» — одно из лучших поздних произведений Иосифа. Случилось, что я был первым публикатором перевода: я тогда временно работал в «Новом журнале», и первый кусочек, который Иосиф перевел, он мне отдал, потому что я был совершенно потрясен: когда-то в юности, в университете, я должен был читать Эсхила и Еврипида, и у меня осталось впечатление некоторой тяжеловесности всего этого. А тут вдруг удивительный стих, совершенно живой. Я занял: «Дайте напечатать». А он сказал: «Да вот берите, пожалуйста». Это была примерно половина. А потом, когда составлялся «Пейзаж с наводнением», я тоже настоял на том, чтобы включить эти хоры, потому что Эллендея Проффер — человек более академического склада, у нее как у издателя были свои представления, и она возражала: «Это же сборник оригинальных стихотворений. Зачем тут переводы Еврипида и Одена?» Я спорил: «Какие это переводы? Это русские стихи». Иосиф тогда еще какие-то мелочи поправил и отдал мне все, что было на тот момент. А больше, насколько мне известно, ничего не было.

— *Вернемся к началу начал. По мнению многих, Бродский*

появился как фигура идеального поэта задолго до того, как стал ему соответствовать. Что, на ваш взгляд, способствовало этой мифологизации?

— Мне кажется, его характер. Иосиф всегда очень сердился, когда речь заходила о биографии. На самом деле, если вспомнить его биографию, то задолго до того, как он решил стать поэтом и сознательно уже начал как бы действовать в этом направлении, он был человеком незаурядным и независимым. Поэтому даже если бы он не стал поэтом, он бы мог стать известным человеком в другой области: искателем приключений, преступником, изобретателем, я не знаю кем, но человеком, который живет вне принятой системы. Он ушел, как мы знаем, из школы, жил какой-то удивительной жизнью, работал в морге, ездил по геологическим экспедициям. То есть с самого начала в нем были задатки человека незаурядного.

— Талант сотрясал его изнутри.

— Да, да. В нем была энергия, которая искала себе выхода и никак не могла уложиться в стандартные общественные шоры. Советское общество в этом случае не имеет решающего значения, это могло быть и несоветское общество: просто его индивидуальная энергия и неспособность принимать многие общепринятые вещи как сами собой разумеющиеся определяли его поступки. Я думаю, что одной из его главных психологических черт была потребность все проверять, все ставить под сомнение, надо всем ставить вопросительный знак. И только после самостоятельного обдумывания приходило принятие или отвержение того или иного тезиса, правила, закона. Поначалу это касалось жизни, а потом стало касаться слова.

— А потом это превратилось в инстинкт. Даже в разговоре, если кто-то высказывал интересную мысль, он тут же уходил с обратного конца и возражал.

— Это, конечно, был и дух противоречия, но в то же время и внутренняя необходимость проверить все варианты. То есть проверить «да» и проверить «нет». Если кто-то говорил «да», он говорил «нет», и начиналась проба этих двух вариантов. Я думаю, этим и объясняется его, условно говоря, романтическая позиция, в результате которой и его биография и его творчество пошли не по обычному для российской интеллигенции 60-х годов руслу.

— У Бродского было несколько святынь, ради которых он готов был многим пожертвовать. Служение изящной словесности и независимость частного лица, например. Не могли бы вы продолжить этот список!

— Он был очень преданным товарищем. Я очень поздно с ним познакомился, уже на Западе. И первое время мне было трудно судить о его отношении к своим товарищам, потому что они оставались в Ленинграде, а он был в Нью-Йорке. Но я помню, с какой теплотой он о них говорил, с какой энергией и настойчивостью пытался пропагандировать стихи Рейна, стихи Наймана, стихи Уфлянда. Я помню, Иосифу прислали подборку стихов Рейна, еще до Горбачева, и он не знал, как лучше поступить: с одной стороны, он хотел как-то пропагандировать Рейна, а с другой стороны, опасался, что публикация на Западе может автору повредить.

Помню, когда я работал в «Руссике» (это был год 79-й или 80-й), мы уговаривали Иосифа сделать избранный том или двухтомник его стихотворений, а он сопротивлялся: «Ну, Саша, поймите, у меня тут уже вышло четыре сборника, у ребят-то в Ленинграде ничего нет. У Рейна до сих пор нет ни одной книжки». Меня это настолько потрясло, потому что я, честно говоря, и не знал тогда о существовании Рейна и Наймана, и Кушнера; вернее, Кушнера я знал по нескольким его стихотворениям времен то ли «Синтаксиса», то ли «Феникса». Это было реальное ощущение его товарищества.

А когда наконец началась перестройка, он всех здесь опекал и пристраивал. И хотя, как мы помним, в более поздние годы было много кошек разных, которые между ними пробегали, но это не мешало Иосифу в самые последние годы, когда он уже был действительно тяжело болен, встать с постели (или из-за рабочего стола), чтобы представить Кушнера на каком-нибудь чтении. Он мог ради Рейна обзвонить полстраны, чтобы устроить ему какое-нибудь выступление, чтобы Рейн мог заработать сотню долларов. Это прекрасно, с одной стороны, но, с другой стороны, я уже знал, чего это стоит Иосифу, и очень сердился на всех гостей, которые налетали на него и всегда о чем-то просили, а он старался что-то для них сделать, и до последнего дня тратил невероятное количество времени и сил, чтобы выполнить их просьбы. Я думаю, это чувство товарищества было в нем очень глубоко и сильно.

— Не кажется ли вам, что многие его друзья, приезжавшие из России, злоупотребляли его дружбой? Мы знаем случаи, когда они оставались недовольны всеми его заботами и хотели большего. Мы также знаем, что они воспринимали буквально каждое его слово, особенно высокие публичные оценки, и считали, что если он «учитель Бродского», то заслужил и Нобелевскую премию, и оксфордскую мантию.

— Да, да. Я помню, как сюда приехала еще до перестройки Белла Ахмадулина, которую я сам, кстати, обожаю. Иосиф ее представлял американцам, он написал маленький очерк о ней по-английски, опубликованный в журнале «Вог». На ее чтении он говорил, разумеется, по-английски, и сказал, что она — a poet of genius, что точнее всего можно было бы перевести как поэт с божественной искрой. А русские слушатели решили, что он назвал ее гением: «Ну какой она гений?» — сердилась Виктория Швейцер. Ибо по-русски гениальный поэт — это все-таки Пушкин или Пастернак.

— Тут в защиту Беллы я могу сказать, что когда я брала у нее интервью в октябре 1987 года в Лондоне, она сказала: «Мой способ отношения к Бродскому один... Это обожание... Это совершенное чудо».

— Вы правы, она действительно никогда не злоупотребляла его щедрыми словами. Вы также правы, что его высказывания воспринимались буквально или даже искаженно, им приписывалось больше, чем он имел в виду. Но, несомненно, это большой соблазн, если по-человечески рассудить.

— Мы знаем, что Бродский был меломан. Что еще интересовало его, кроме поэзии и музыки?

— Его интересовало все на свете. Вот что поразительно. Его интересовали и архитектура, и футбол, и джаз, и политика, и география, в частности — путешествия. Просто по образу жизни он реже ходил в театр, например, или на концерты. Он был чрезвычайно любознательным, что меня всегда поражало.

— Иосиф мог часами говорить, оставаясь на высоком уровне, никогда не повторяясь. Доводилось ли вам присутствовать при подобных монологах?

— Всякий раз, когда речь заходила о каких-то вещах, действительно для него важных, он был способен развить совершенно невероятное ускорение, совершить такой взлет, как

самолет, когда отрывается от земли. И иногда мне было трудно, с моими скромными способностями, следить за такими его взлетами. Но мне неоднократно доводилось при этом присутствовать. Помню, поздней осенью 95-го года он долго говорил о проблеме власти, о структуре власти, о том, что обществу нужен президент, король, то есть символический глава государства, который бы объединял народ. Очень интересно он об этом говорил и с невероятной увлеченностью. Очевидно, в этот момент он думал о России, как бы все так организовать, чтобы добиться единства нации при оптимальной широте политического спектра. Я очень жалею, что не пытался все это записывать. Казалось, что все это естественно.

— Саша, вам не кажется, что если бы вы записывали, это бы повлияло на качество вашей дружбы?

— Очень может быть.

— Он мог свободно говорить в вашем присутствии, зная, что вы ничего не записываете.

— К сожалению, это так.

— Когда я за ним все записывала почти полгода на магнитофон, несмотря на то, что он мне разрешил, он иногда просил: «Валентина, уберите микроскоп». Теперь другой вопрос. Что вам известно об отношении Бродского к Пастернаку? Критики отмечают, что Иосиф не посвятил ему ни одного доклада, хотя однажды был приглашен на пастернаковскую конференцию, не написал о нем ни одного эссе. Не дал ни одного обстоятельного интервью, не упомянул в Нобелевской лекции. Значит ли это, что из всей великоленной семерки Пастернак был ему наименее близок? Мне известно, что он его преподавал, называл его всегда Борис Леонидович и относился к нему с большой любовью. Что известно вам?

— Прежде всего, я думаю, если бы он дурно относился к Борису Леонидовичу, он бы не написал сравнительного эссе «Примечание к комментарию» о «Магдалине» Цветаевой и Пастернака. У меня такое ощущение, что он чувствовал своим долгом в первую очередь рассказать о Мандельштаме, рассказать о Цветаевой, довести сведения об их существовании до максимально широкой аудитории: в газетах, студентам, в нобелевской речи и так далее. Согласимся с тем, что если Борису Леонидовичу чего и досталось с избытком, хотя бы и посмертно, то это мировой славы. Я думаю, что тут сыграл

свою роль вот этот простой момент. А кроме того, я думаю, что он в каком-то смысле от Пастернака актуально зависел, скажем, в своих рождественских стихах. И, может быть, он это осознавал и даже как-то сопротивлялся этому.

— *И в этом смысле хвалить Пастернака — значит хвалить себя.*

— Ну, конечно. И в нобелевской речи понятно, почему он его не упомянул: он был его предшественником, и все это помнили. Если мы посмотрим на адресатов его серьезных трудов, то многие из них — и Фрост, и Харди, и даже Оден в каком-то смысле — не являются магистральными для современного литературоведения, то есть у Иосифа всегда была дополнительная цель — обратить внимание на этих недостаточно популярных поэтов. А Пастернак не страдал от невнимания к нему исследователей и критиков.

— *Эссе Бродского о нерусских поэтах — это результат его преподавательской работы или поиски родственных миров? Или просто культурная экспансия?*

— Конечно, поиски родственных миров, потому что, особенно в поздние годы, Иосиф был достаточно свободен в выборе тем, он мог посвятить эссе Т. С. Элиоту или Рильке или кому угодно другому. Я думаю, что это действительно выражало какие-то его внутренние движения и поиски опоры, особенно в западной ситуации. А себя он ощущал в некотором роде продолжателем тех, о ком он писал.

— *Бродский-эссеист и Бродский-поэт. Мы различаем их для облегчения понимания творчества Бродского. Как вам представляются внутренние отношения между Бродским-эссеистом и Бродским-поэтом! Или это, говоря словами Цветаевой, продолжение поэзии другими средствами?*

— Думаю, что это продолжение поэзии, но только другими средствами, потому что, если бросить взгляд на стилистику его прозы, по сути она очень близка к стилистике его поэзии. То есть это смешение всех штилей ломоносовских буквально на одной странице; это стремление к парадоксальным высказываниям, афоризмам, даже если они, может быть, не так броско звучат, как в стихах; это способность к довольно длительным отступлениям, как в стихе, когда вдруг начинается настойчивое развитие какого-то одного «побочного» моти-

ва. Я думаю, что в его прозе и стихах можно найти еще гораздо больше общего.

— Я сделала сравнение между «Watermark» и его стихами и могу продолжить ваш список: он переносит целые куски собственных стихотворений в «Набережную неисцелимых»; он наполняет прозу фразами, которые могли бы стать моностихами: «One's eye precedes one's pen», «love comes with the speed of light; separation, with that of sound»; аллитерация и ассонанс, анафора и эпифора, даже внутренние рифмы: «I was neither a star nor even an extra», «they don't so much help you as kelp you», повторы, параллелизмы поэтизируют его прозу.

— Очень интересно.

— Вся мировая поэзия осознавалась Бродским как «единый живой организм» или как единый культурный океан. Что помогло Бродскому не утонуть в этом океане?

— Я просто боюсь дать какой-либо ответ на этот вопрос. Я думаю, в нем все время звучала его собственная музыка, которая давала ему достаточную опору, это был надежный спасательный круг в этом океане, то есть он не боялся утонуть. Отсюда — его великолепные вариации других звучаний, например, «Испанская танцовщица», своего рода русское «эхо» стихотворения Рильке, — которые становились фактом русской поэзии. Он сам говорил, что вся поэзия — это продолжение, влияние, развитие.

— В поэзии все — эхо всего.

— Конечно. Он все это слышал и не боялся, потому что знал, что в нем есть собственная музыка, его собственный основополагающий аккорд, который все может отразить, но сам от этого не изменится.

— По мнению Ольги Седаковой, тот факт, что Бродский не получил российских наград и российских званий, есть самая высокая честь. Кстати, ему дали звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Принял ли он это звание?

— Я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что его приглашали в Петербург и он сначала хотел поехать, а потом все-таки решил этого не делать. Иосиф не раз говорил, что если бы он мог тихо поехать в Ленинград с Марией и с Нюшей и там просто побродить и показать им город, он с удовольствием бы это сделал, но он понимал, что он, увы, уже не частное лицо. Я не уверен насчет российских наград и званий. Я ду-

маю, что они были бы ему приятны, как всякому человеку. Мы знаем, что Брамс, например, когда был уже самым признанным и самым любимым композитором во всем тогдашнем культурном мире, так до конца жизни и не успокоился, потому что ему в родном Гамбурге не дали какого-то звания гамбургского. Так что признание в отечестве, каким бы оно ни было (Иосиф, кстати, часто в разных формах напоминал, что отечество остается отечеством), всегда приятно.

— *Я согласна с вами; помню, как в день объявления о Нобелевской премии я позвонила ему, он был в Лондоне, и сказала: «Наконец-то слепые увидели и глухие услышали». Он ответил: «Ничего подобного, Валентина, дома-то — ни слова». Кстати, какие чувства вызывали у Бродского изменения в России на протяжении 80-х и 90-х?*

— Мне кажется, и надежду и разочарование поочередно, как у нас у всех, но его они, конечно, очень глубоко волновали и очень беспокоили, и он очень радовался и даже тихонько гордился, когда возникла возможность публикации в России. Он прекрасно понимал, что он все-таки русский поэт и что его репутация обеспечена русским языком и русским читателем.

— *«Главное — это величие замысла», — говорил Бродский. Какой из его замыслов вы считаете великим?*

— Это очень сложный вопрос. Затрудняюсь найти объективный ответ. Мне лично дорог замысел «Школьной антологии», очень жаль, что он не был доведен до конца. Он хотел написать такую книгу, тридцать главок. Это была бы совершенно уникальная вещь.

— *Наблюдали ли вы, как менялся Бродский, его мироощущение, его характер? Эти изменения диктовались меняющимися обстоятельствами или ростом души?*

— Подозреваю, что это, как всегда, происходит вместе, поскольку наша душа тоже зависит от обстоятельств. Большую роль сыграла вынужденная эмиграция, а потом — брак и особенно рождение дочери. Он как-то невероятно смягчился, просто на глазах. То есть ему открылось нечто, чего прежде, очевидно, он никогда не переживал. И такая банальная вещь: мужчины обычно не очень хорошие отцы, если отцовство начинается рано. Его брак — это был как бы шок, который он сам себе нанес, и некоторое время сам не мог в это поверить

и прийти в себя. Но ко времени, когда родилась Нюша, в нем что-то изменилось, в нем открылась какая-то дверца, створка, о которой он сам не подозревал.

— *Настоящий поэт не может быть атеистом, поскольку он не может не чувствовать соучастия высших сил. Во что верил Бродский?*

— На московской книжечке «Рождественских стихов» — кстати, по-моему, единственной среди всех своих русских книг, которой Иосиф безусловно и безоговорочно радовался, — он сделал мне такую надпись: «Александр... от христианина-заочника». Мне это очень нравится, потому что, как мне кажется, точно описывает его позицию. Конечно, он не был атеистом, достаточно прочесть «Римские элегии»: «Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я / Благодарен за все...», где «Ты» с большой буквы. Но его как человека чрезвычайно независимого и свободомыслящего, до упрямства свободомыслящего, конечно же, отвращали любые формы организованной веры и исповедания. Кроме того, поскольку он был еврей по национальному происхождению, о чем он тоже не раз публично упоминал, то ему тем более было невозможно себя к церкви причислить, потому что если бы он объявил, что он — христианин, это было бы некрасиво. Как мы помним: «Еврей крещеный, что вор прощенный». Эта грубая русская поговорка несет в себе какой-то элемент истины. И он не хотел быть ни тем, ни другим. Помимо всего прочего, он действительно нигде бы не чувствовал себя на месте.

— *Вам, видимо, тоже приходилось слышать упреки со стороны приятелей евреев Бродского, что поминки Бродского проходили по-католически?*

— Поминки организовывала Мария. И она делала это так, как было естественно для нее и для дочери. Это все было в контексте семейной ситуации. А скромная семейная панихида проходила, кстати, в екуменической церкви, в Бруклине, неподалеку от их дома. Я уверен, что Иосиф достаточно любил Марию и Нюшу, чтобы не придавать этому никакого значения.

ПЕТР ВАЙЛЬ, МАРТ 2005

— *Как часто вы общались с Иосифом в последние годы его жизни?*

— С начала девяностых — довольно часто. Обычно встречи назначались в кафе. Иосиф любил восточную кухню — китайскую, вьетнамскую, реже японскую, но кафе — разумеется, итальянские. Поблизости от его Мортон-стрит в Гринвич Виллидж полно замечательных заведений. Его любимым, «придворным» — за углом от дома — было «Маурицио» на Хадсон-стрит, теперь несуществующее. Еще — «Вивальди», «Мона Лиза». В этой самой «Моне Лизе» я имел честь и удовольствие познакомить Бродского с Сергеем Гандлевским и Тимуром Кибировым, которые жили у меня в апреле 1995-го.

Ходили и в итальянский район Нью-Йорка — Литтл-Итали — в прелестное кафе с внутренним двориком «Восса ди

Петр Львович Вайль (род. в 1949 г.) — прозаик, радиожурналист. В 1977 году эмигрировал в США. В Нью-Йорке работал в русской периодике («Новое русское слово», «Новый американец», «Семь дней»). С 1988 года — на радиостанции «Свобода». Составитель и автор послесловий сборников И. Бродского «Рождественские стихи» (1992) и «Пересеченная местность» (1995), автор и редактор-составитель (совместно с Л. Лосевым) книги «Иосиф Бродский: Труды и дни» (1998). Автор книг «Карта родины» (2003), «Гений места» (1999). В соавторстве с А. Генисом — книг «Американа» (1991), «Родная речь» (1990), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Русская кухня в изгнании» (1987), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Современная русская проза» (1982). Живет в Праге.

lura» («Волчья пасть»): там как-то Бродский целый вечер вспоминал красавиц старого кино. У нас дома на память об этих посиделках — его первый сборник «Стихотворения и поэмы» с надписью: «Пете и Элле — эти старенькие стихи, вдохновенные Сарой Леандер, Беатой Тышкевич, Лючией Бозе, Сильваной Пампанини и Бетси Блэр, в свою очередь состарившимися».

Когда Бродские переехали в Бруклин-Хайтс, чаще встречались у них дома. Несколько раз Иосиф, либо с Марией, либо один, бывал у нас в Вашингтон-Хайтс. Вспоминаю пантагрюэлевское обжорство в ноябре 1994-го. В нашей квартире остановились приехавшие из своего Коннектикута Ира и Юз Алешковские. Мы с Юзом в пять утра поехали на оптовый рыбный рынок — Фултон-маркет, неподалеку от Уолл-стрит — и купили там огромное количество морской живности: омаров, гребешков, устриц, разной рыбы. Вечером приехали Иосиф и Лосевы, Нина и Лёша. За один присест все это поглотить не удалось, продолжили на следующий день.

Когда у Бродского намечались гости из России, он часто звал и нас. Раз приехала Галина Старовойтова, но случайно за столом оказалась и одна университетская американка, так что пришлось русским людям весь вечер беседовать по-английски. Бродский очень иронически это комментировал, как и то, что Старовойтова с самого начала поставила на стол магнитофон, сказав: «Когда у меня еще будет такой шанс».

Несколько раз по-семейному, вчетвером, ходили в театр, даже «тематически»: дважды на «Медею», как раз в то время, когда Бродский переводил хоры из Еврипида для постановки Юрия Любимова. Один раз это был драматический спектакль, который раздражал нас дикими криками, Бродского особенно: по-моему, надрыв он ценил только у Цветаевой. Зато другая «Медей» была опера Шарпантье в великолепном исполнении ансамбля «Les Arts Florissants». Старую, доромантическую, музыку Бродский любил: среди его главных предпочтений были Пёрселл, Бах, Гайдн.

— *Какие ваши встречи можно считать самыми памятными?*

— Пожалуй, рождественские сочельники у Бродских, которые мы справляли раза два или три в узкой компании: Мария с Иосифом, Саша Сумеркин, мы с женой, еще, может

быть, три-четыре человека. И на Мортон-стрит, и потом на Пьерпонт-стрит ставилась елка, которая с рождением дочки сделалась больше и нарядней. Мария накрывала стол, а сам праздник Иосиф превращал в какой-то непрерывный фестиваль дарения. Подарки полагались от каждого каждому. Церемония их извлечения из-под елки и раздачи занимала часа три. Тут Бродский гулял напропалую. Он вообще был человек щедрый, а в этот праздник вполне отвечал собственной строчке: «В Рождество все немного волхвы». Меня, наверное, переживет шикарный кожаный портфель, который он подарил мне в такой праздник. Сам получал подарки тоже с явным наслаждением, помню, как он ходит по комнате, намотав на шею новый шарф, надев новые перчатки, еле удерживая охапку свертков, и повторяет: «Это мы любим!» Это он, действительно, любил: получение, преподнесение, застолье, угощение.

— Для одних Бродский внимательный и сердечный человек, для других — высокомерный, холодный и расчетливый; называют и другие качества, исключаящие друг друга. Каким вы наблюдали Бродского в жизни?

— Я, разумеется, слышал о неприступности и надменности Бродского, даже резкости и грубости. Не хочу спорить: может, это относится к молодым его годам, не знаю, не видел. Я знал человека большой доброты, внимательности и тепла — которые мировоззренчески покоились, я думаю, на доверии к жизни. На том, по сути, религиозном сознании, для которого нет ничего случайного в мире — все уникально, все драгоценно. Думаю, даже уверен, что в сущности Бродский был таким всегда. Откуда же было взяты столь смиренному взору и робко-торжественной интонации — как в рождественском стихотворении еще 1965 года: «И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам — чистосердечный дар».

У меня нет оснований не верить людям, которые знали молодого Бродского. При этом ясно, что чем крупнее человек, тем больше о нем врут — это понятно. Я могу говорить только о том человеке, которого хорошо знал. Это Бродский девяностых годов, то есть последних пяти лет его жизни. Он, конечно, менялся, или как он говорил: «Я себя воспитывал». Говорил не однажды. «Я себя так воспитал», «Я себя воспитывал» — это его фразы.

Как-то он мне позвонил и говорит: «Тут появились два человека из московского журнала, надо с ними встретиться, а мне одному неохота». Я приехал, оказались надутые и помпезные люди. Несли ахинею, задавали глупейшие вопросы, в конечном счете оскорбительные. Знаете, вроде: «Над чем изволите работать? Чего ждать от дальнейшего общения с Музой?» — в общем, фельетон какой-то. Потом мы распрощались, я спрашиваю: «Иосиф, что происходит? Если бы они со мной так разговаривали, я бы минут через пятнадцать все закончил, слушать невыносимо. А вы почему терпите?» Он говорит: «Лет десять назад я бы так и сделал». Вот это в нем было — великодушие и нежелание обижать. С возрастом он менялся. Например, стал мягче после женитьбы и особенно после рождения дочери.

Лев Лосев как-то мне сказал о ситуации, требующей морального выбора: «Я в таких случаях прикидываю, как бы поступил Иосиф». У Бродского такой моральный императив был явствен. При общении такому уровню хотелось хоть в какой-то мере соответствовать. Это одушевляет и его стихи. Потому что гений — это талант плюс личность. Я думаю, мы найдем людей, талант которых не менее силен, но калибр оказывается мельче. Бродский был человек крупного калибра, с чем связан его магнетизм, который ощущали все. Татьяна Либерман, та самая Татьяна Яковлева, парижская любовь Маяковского, сказала как-то, что знала в жизни только двух настоящих гениев: «Пикассо и...» — все так закивали головами, в смысле, что Маяковский, конечно, но она закончила: «...и Бродский».

— *Почти никто не упоминает одну из главных черт характера Бродского — скромность.*

— Верно, он не заходил по поводу себя. Он даже словно стеснялся местоимения «я», из чего получались такие иронически-вычурные обороты как «моя милость». Представить себе, что он мог произнести «мое творчество» или «моя поэзия» — невозможно. Обычно — «мои стишки». При этом вовсе не притворялся, что реакция слушателей или читателей его не волнует, наоборот — очень интересовался. Любил только что сочиненное стихотворение читать — при встрече или по телефону. Удивительно: о Бродском тогда уже была написана куча статей и книг, но ему действительно не хватало живой реак-

ции. Моя жена удивлялась, что он ее простодушно спрашивал: «Правда, вам нравится, вам правда — нравится, да?»

Простодушие в нем было и проявлялось разнообразно, иногда почти по-детски. Как-то мы поспорили на бутылку приличного вина: на чем преимущественно играл Чарли Паркер — почему-то Бродский утверждал, что на тенор-саксофоне, и хотя я знал, что на альте, и мне было неловко держать пари на явный выигрыш, он настоял. Но когда спор разрешился, он промолчал и даже проигрыш не отдал — только потому, конечно, что самолюбиво не хотел признать поражения. Не любил проигрывать.

— *Вы писали о Бродском, еще когда он был жив. Читал ли он ваши эссе о нем и реагировал ли на них?*

— Кивал вроде одобрительно, но не высказывался, мычал что-то малоопределенное. По-моему, он проводил различие: одно дело — быстрый живой отклик, другое — нечто основательное, как о классике. А может, просто меня не хотел обижать.

Как-то, единственный раз в жизни, я взялся переводить с английского большой фрагмент из его статьи «Нескромное предложение» — не для печати, на это я бы не решился, а для радио. Принес перевод Бродскому, он прочел, сделал буквально три-четыре поправки, сказал, что все в порядке. Я страшно воодушевился и спрашиваю: «Ничего, значит, получилось?» Он отвечает: «Ну если серьезно братья, все переписывать надо, но вообще ничего». Я слегка обиделся и говорю: «А вам вообще хоть какие-нибудь переводы ваших сочинений нравятся?» Бродский объясняет, что нет, никакие. Я удивился: «А Гольшев?» Он сказал: «Понимаете, с Микой другое дело, я ему говорю, вот здесь бы надо исправить, а Мика отвечает — иди на хер».

— *Вы были составителем сборника Бродского «Рождественские стихи». Удовлетворило ли вас объяснение поэта, почему он так часто обращался к этому сюжету? Что вы можете сказать об отношениях Иосифа с Богом?*

— Мне кажется, он — как человек, воспитанный в советской не только безбожной, но и безмысленной системе — остро ощущал необходимость установления для себя мировоззренческих ориентиров. Вспоминаю, как он обрадовался моей идее собрать рождественские стихи в отдельную книжку, как заго-

ворил о том, что человечеству в целом и каждому человеку в отдельности нужна точка отсчета, а она уже натуральным, традиционным способом есть — Рождество Христово.

Человек он был, безусловно, нецерковный. Но помню, когда осенью 1995-го мы гостили у Бродских в Италии, в загородном доме родителей Марии под Луккой, они показали церквушку на вершине отдаленного холма, где крестили Ньюшу. Иосиф об этом крещении дочки говорил с большим подъемом, о том, как замечательно, когда из дома видна церковь, в которой тебя крестили.

Что до его отношений с Богом, могу только повторить то, что он мне сказал в разговоре о рождественских стихах Пастернака: «Совершенно непозволительные вещи — гадать по поводу его религиозных ощущений».

— *«Неверье — слепота, а чаще — свинство». Можно ли все-речь принимать неоднократное заявление Бродского о том, что он считает себя кальвинистом?*

— Об этом высказаться могу, потому что здесь вопрос не религии, а мироощущения и самовоспитания. Конечно же, Бродский прекрасно знал суть кальвинизма, и шире — протестантства, знал о первостепенном значении благодати и предопределения, но не случайно вычленил то, что ему самому было важно. Общение с высшей силой без посредников — первое. Второе — высокая степень личной ответственности. Попросту говоря, он ни на кого ничего своего не хотел перекладывать, ни на кого, включая...

— *Поклонение языку, абсолютизация языка, отождествление языка с Музой. Где истоки этого логотеизма?*

— По-моему, в атеистическом воспитании, в котором мы все выросли. Свято место пусто не бывает, а религиозное чувство в каждом человеке живо, оно действительно — святое место. Для Бродского это место занял язык, который был не просто Музой, но и той силой, которая и музами повелевает.

— *Лирического героя Бродского всюду сопровождают тени великих. Почему он в них так нуждался?*

— По сути дела, здесь снова разговор о точках отсчета. Для Бродского — прежде всего это античные авторы: Вергилий, Гораций, Овидий, Проперций. Иерархия в культуре — вещь не только необходимая, но и более чем натуральная: сама по себе оппозиция «нравится — не нравится», «люб-

лю — не люблю» есть расстановка по местам. Поэтому политкорректность, столь полезная в общественной жизни, в культуре — нелепа. У Бродского была своя иерархия, в которой высшие места занимали греки и римляне, даже римляне в первую очередь. Он по ним равнялся. У Лосева есть стихотворение, герой которого, некий русский поэт, горестно произносит: «И живительной чистой латыни мимо нас протекала река». Это о Бродском, конечно: он болезненно ощущал отдельность русской словесности, даже в своих великих проявлениях остающейся некой экзотической частью культуры европейской, западной — несомненно, ее частью, но именно экзотической.

— *Большинство английских и американских поэтов считают английские стихи Бродского посредственными. Бродский же мог не понимать степень риска. Что толкало его писать стихи на английском?*

— О качестве его английских стихов судить не берусь, замечу только, что стихов этих немного, Бродский же по-английски писал в основном прозу. Что до побудительного мотива, думаю, вот именно это — желание сблизить русскую культуру с мировой. В нем ведь силен был культуртрегерский позыв — взять хоть его затею создания Русской академии в Риме, куда могли бы приезжать русские поэты, писатели, художники, как бывало когда-то.

В 1997 году в Петербурге я принимал участие в конференции по Бродскому. Все выступавшие петербуржцы говорили о «печальном юбилее» — 25-летию отъезда Бродского из России. Поразительно провинциальная печаль. Поэтический глобус Бродского — беспрецедентно для нашей словесности — равен глобусу географическому. Нью-Йорк, Средний Запад, Швеция, Англия и Новая Англия, не говоря о Венеции и Риме — не места проживания или пребывания, а художественные события, равноценные у Бродского явлению Петербурга-Ленинграда. «В каких рождались, в тех и умирали гнездах» — написал он не о себе. А о себе: «Усталый раб — из той породы, что зрим все чаще — под занавес глотнул свободы». Его отъезд 4 июня 1972 года был переездом в мировую культуру.

— *Вам известно, почему Бродский не принимал ни французскую поэзию, ни французскую культуру вообще, несмотря на несколько очень близких друзей-французов?*

— Известно, прежде всего, с его слов. Он считал, что французская культура по преимуществу декоративная и отвечает скорее на вопрос «как», чем «что». Однако выделял Паскаля, Пруста, Бодлера, Дю Белле, потом назвал еще несколько имен, засмеялся и сказал, что из таких исключений уже составляет правило. Что до Пруста, то он его ставил на первое место среди прозаиков XX века. Как-то я предложил Бродскому идею книжки, на которую он откликнулся охотно: выбрать пять прозаиков уходящего столетия и поговорить о них. Идея возникла за полгода до его смерти, так что не воплотилась. Но пятерка Бродского выглядела так: Марсель Пруст, Андрей Платонов, Роберт Музиль, Уильям Фолкнер, Джеймс Джойс.

Мне кажется, его неприязнь к Франции объяснялась просто: он не любил мест, где не мог хоть как-нибудь объясниться, а французского не знал совершенно. Правда, после женитьбы на Марии, поклоннице французской культуры, его отношение несколько изменилось.

И еще: в сознании Бродского существовало некое противопоставление — отчасти исторически объяснимое — двух романских стран: Франции и Италии, с решительным выбором в пользу Италии.

— *Чем, по-вашему, объясняется такая любовь Бродского к Италии?*

— В свое время я спросил его и получил ответ: «Прежде всего, это то, откуда все пошло... В Италии произошло все, а потом полезло через Альпы. На все, что к северу от Альп, можно посмотреть как на некий Ренессанс. То, что было в самой Италии, разумеется, тоже Ренессанс — вариации на греческую тему, но это уже цивилизация. А там, на севере — вариации на итальянскую тему, и не всегда удачные». Историко-культурные мотивы всегда были важны для Бродского (помимо прочего, образцового туриста) — эта акмеистическая «тоска по мировой культуре». Но умозрительными соображениями не объяснить мощных эмоций, главная из которых — восторг: они звучат с такой силой только в итальянских стихах. «Я — в Риме, где светит солнце!», «Я счастлив в этой колыбели Муз, Права, Граций...» (число восклицательных знаков и прописных букв в «Пьяцца Маттеи» — рекордное для Бродского). И еще о себе, в третьем лице: «Пьет шоколатта кон панна в центре мироздания и циферблата!» Не

бог весть какой напиток — какао со сливками, но Бродский, у которого случайного не бывает, называет не что-нибудь помужественнее из того, что любил (граппу, например), а девичью усладу — потому что все возносится в высший ранг «в центре мироздания и циферблата».

Ключевое слово — «центр». Палиндром «Рим-мир» был известен Бродскому нутром. Лично. Италия была эмоциональным балансом, тем «посередине гвоздиком», который удерживал в равновесии два огромных кольца, два дальних конца — Россию и Америку, от Архангельской области до штата Мичиган, от палладианского Петербурга до палладианского Нью-Йорка. Можно дальше развивать метафору ножниц, появятся Парки и нити. Остановимся, оставим только разрез миров, существовавший в поэтическом сознании Бродского. Италия что-то штопала, сшивала. Не только историей и культурой, но просто несравненной гармонией — климата, природы, лиц.

Надо думать, женитьба на красавице-полуйтальянке тоже сыграла роль. У Бродских под Луккой в сентябре 1995-го мы однажды сидели во дворе, глядя, как у подножия холма лесник по имени, конечно, Виргилий (Вирджилио) жег листву. Дым уходил к дальним холмам — тем самым, мандельштамовским, «всечеловеческим — яснеющим в Тоскане», которые здесь бывают не только зелеными, но и синими, лиловыми, фиолетовыми. Мария взяла дочку посмотреть на костры. Они уже возвращались, поднимаясь по склону. Бродский оторвался от разговора и, охватывая взглядом картину, полувопросительно сказал: «Повезло чуваку?»

— *Принимали ли вы участие в обсуждении места захоронения Бродского?*

— Нет, ни в коем случае, хотя Мария моим мнением интересовалась. Считаю и считаю, что этот вопрос может решать только семья — в случае Бродского его вдова. Но правильно, что его могила в Венеции. Прежде всего потому, что это любимый город Бродского, о котором он больше всего написал, и что остров Сан-Микеле — самое красивое кладбище в мире, краснокирпичные стены которого уходят в воды лагуны, а над ними высятся кипарисы. Лучший пересыльный этап с этого света на тот. И концептуально все верно: Бродский принадлежал двум литературам, а надгробье его — посередине.

Вы ведь помните, как в июне 1997-го, после перезахоронения Бродского в Венеции, вечером мы все собрались в палаццо Мочениго на Большом канале, в тех самых апартаментах, где жил Байрон. Все в жизни рифмуется, в жизни поэтов особенно: не зря, значит, Бродский книгу любовных стихотворений, посвященных М. Б., назвал «Новые стансы к Августе».

— *Бродский называл несколько причин, по которым он не мог приехать в родной город. Какая из них для вас самая убедительная?*

— Не раз я разговаривал с Бродским об этом. Он ведь очень интересовался всем, что происходит в России. Когда весной 1995-го я поехал на чеченскую войну, он принял это близко к сердцу — не отговаривал, как многие мои знакомые, но предостерегал, вникал в подробности. Детально расспрашивал после, прочел в рукописном виде то, что я сочинил по возвращении, дал несколько советов, которыми я воспользовался. Вообще не припомню беседы в девяностые, чтобы он не заводил разговор о российских делах, о Ельцине, о той же Чечне. Это я все к тому, что Бродский, несомненно, обдумывал, проигрывал вариант поездки. Почему она не состоялась — для меня убедительны две причины. Одна — высказанная им, другая — мое собственное соображение. Однажды он сказал: «Если ехать, то надо там оставаться и делить все это. По многим обстоятельствам такое невозможно, но и туристом — нельзя». И второе, выведенное из разговоров: я думаю, Иосиф — подсознательно — просто чувствовал, что сердце может не выдержать огромной эмоциональной нагрузки.

Как он вообще с этим жил последние годы — поразительно: знал, что сердце больное, но знать не желал. Когда мы ездили с Иосифом и Марией по Тоскане, он был оживлен, весел, все показывал, изображая гида, но когда мы забрались в городишко Терельо на вершине горы и надо было ходить по крутым улочкам пешком, он останавливался каждые пять-десять метров. Однако уезжать домой отказывался наотрез.

— *Бродский посвятил вам стихотворение «Из Альберта Эйнштейна» (1994). Расскажите об обстоятельствах посвящения и о вашей реакции на него.*

— При своем обостренном чувстве языка Бродский всегда интересовался языковыми новшествами. В его стихах полно

жаргона — как ни у кого из русских поэтов. В разговоре тем более: «чувак», «канать», «хилять» и т. п. — жаргон его молодости. Новый сленг его тоже занимал. Помню обсуждение слова «тусовка»: Бродский согласился с его удобной многозначностью. Однажды я ему пересказал выражение, надолго не задержавшееся в языке, но тогда приведшее Бродского в восторг: «ломиться на позоре» — то есть ехать в общественном транспорте («Тачку поймать не смог, пришлось ломиться на позоре»). Как раз в то время он доводил до конца стихотворение «Из Альберта Эйнштейна» и вставил выражение в финал. А в начало — посвящение мне. О моей реакции говорить, полагаю, не надо — все и так ясно. Но Бродского, поблагодарив, я спросил: «А целый стишок из такого жаргона слабо сочинить?» Он сказал: «Приносите — упакуем».

Но главное все-таки — в этом стихотворении 1994 года, надо думать, нашли отражение наши частые разговоры того времени о том, что и как происходит на родине (или, по неизменной терминологии Бродского — «в отечестве»). Именно об этом там сказано: «Так солдаты в траншее поверх бруствера / смотрят туда, где их больше нет».

— *На наших глазах гаснут звезды современников Бродского, а его звезда горит так же ярко, как и при жизни. Откуда поступает энергия?*

— Бродский зарифмовал наше время и нас в нем. Спасительные формулы Бродского всегда под рукой: «За рубашкой в комод полезешь, и день потерян», «Свобода — это когда забываешь отчество у тирана», «Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево», «Ворюга мне милей, чем кровопийца», «Как медленно душа заботится о новых переменях», «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной», «Из всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные — штраф и уголовной», «Как там в Ливии, мой Постум, или где там? Неужели до сих пор еще воюем?», «Маленькие города, где вам не скажут правду», «Налить вам этой мерзости? Налейте».

Русская поэзия всегда была гораздо на формулировки, поясняющие нам себя, а значит — помогающие жить (Пушкин, Грибоедов, Тютчев, Маяковский, Цветаева, Высоцкий). Иногда это складывается курьезно: скажем, онегинский дядя вырос до эпической фигуры без всяких на то оснований, но,

так или иначе, на его честные правила мы ссылаемся, как на самого Пушкина («Кто платить будет? Пушкин?»). Пушкинские подсказки — универсальны. Тезисы Бродского — тоже. Но разница есть.

В середине семидесятых Бродский стал, как он сам выражался, «понемножку разваливать стих», переходя на разноударный дольник, который в конце концов стал у него господствующим. То, что он в совершенстве владеет гладкописью — ясно: не думаю, чтобы в стихотворчестве нашлось что-либо, чем бы он не владел в совершенстве. Намерение «развалить» было сознательным и произвело качественный скачок: даже не собственно в самих стихах, а в их восприятии. Ритм Бродского — в резонансе с современной жизнью, жизнью на стыке веков, даже тысячелетий. Резонанс увеличивает амплитуду. От амплитуд Бродского останавливается дыхание: слышен только его пульс, который кажется твоим собственным.

В этом смысле разницу между гармониями, между Пушкиным и Бродским — а они окаймляют два века нашей словесности — можно свести к следующему: Пушкин — о том, какими мы хотели бы быть, а Бродский — о том, какие мы есть.

БЕНГТ ЯНГФЕЛЬДТ, ОКТЯБРЬ 2003

— *Вы переводили Бродского, вы печатали его, вы писали о нем, представляли его шведской публике сразу после Нобелевской премии, наконец, вы долгие годы дружили с ним. В какой из перечисленных ролей вы предпочитали бы войти в историю русской литературы?*

— Трудно сказать. Я печатал его еще в 1972 году, когда я был a guest editor журнала «Lyrikvännen» — «Друг поэзии». Перевод был сделан замечательным шведским поэтом Вернером Аспенстремом с помощью его дочери, которая была моей ученицей. Это была «Большая элегия Джону Донну». Сам я перевел его эссе, и сборник «Less Than One» был готов в тот день, когда Бродский получил Нобелевскую премию. Это была очень большая и трудная работа, которая очень много дала мне, потому что тематика такая разная. Потом я переводил его поэзию и переводил рифмованно. Совсем неверно считают, что только по-русски можно рифмовать. Как раз наоборот, из-за того что на Западе не рифмуют уже полвека, накопилась масса свободных слов, которые никогда не были зарифмованы. Бродский, как известно, любит сочетать новый лексикон со старым, и это хорошо получается по-шведски. Это требует много времени, но это и очень много дает, потому что ты работаешь все время на грани возможностей собственного языка. И допускаешь меньше семантических ошибок, потому что все время приходится думать о точном смысле сказанного. А если переводишь белым стихом, то есть опасность, что делаешь мелкие ошибки, потому что кажется, что легко. Мы с Иосифом как раз

Бенгт Янгфельдт (род. в 1948 г.) — шведский филолог-русист, специалист по русскому футуризму и творчеству В. В. Маяковского.

что легко. Мы с Иосифом как раз много говорили об этом. Оказывается, что совершенно независимо друг от друга, когда он готовил свой сборник, вышедший посмертно, «So Forth», он выбирал приблизительно те же стихи, что и я, для шведского перевода. Были русские стихи, которые он сам не мог перевести, потому что слишком много заложено в языке, и в тех случаях, когда он решался на перевод, он очень много переделывал, как «Облака», например. Там такие короткие строки, так трудно что-либо делать переводчику, а он — в обоих случаях автор, и по-русски, и по-английски.

— *Не зная шведского языка, Бродский не мог вмешиваться в ваши переводы. Но он не мог и не вмешиваться. Как он выходил из этой нелегкой для него ситуации?*

— Ему нравилось в принципе, что я всегда стараюсь сохранить размер, и он это слышал. Иногда я спрашивал его о чем-то конкретном, он отвечал и комментировал. Однажды, когда я переводил «Назидание», я должен был немножко изменить смысл, чтобы получить хорошую рифму на шведском. К моему удивлению, он принял мое изменение, добавив, что это именно то, что он хотел, но не мог сказать по-русски, потому что рифма не получалась. А по-шведски получалась. Замечательно, не правда ли?

— *Значит ли это, что вы читали ему свои переводы?*

— Иногда. Иногда мы обсуждали, почему я выбираю один путь, а не другой. Вы знаете, что иногда он в своих английских переводах менял метафорику. Я спрашивал, могу ли я воспользоваться английским вариантом, если он лучше подходит для шведского языка, или могу ли я сочетать русский оригинал и английский перевод, то есть взять одну строфу или одну метафору из русского оригинала, а другую из его английского варианта. На это он давал свое согласие.

— *Как мы знаем, доподлинно поэтическая речь всегда остается глубже и шире ее анализа и описания. Как относился Бродский к вашим писаниям о нем?*

— Вы знаете, при его жизни я ничего особенно не писал о нем, правда, кое-что по-шведски и брал несколько интервью. Он чувствовал, что я его хорошо понимаю. Я имею в виду определенное отношение к жизни и к поэзии. Например, в эссе о Надежде Мандельштам он пишет, что в России «в тридцатые и сороковые годы государство производило писатель-

ских вдов в таких количествах, что к середине шестидесятых из них можно было создать профсоюз». Я ему говорю: «Иосиф, я писал то же самое 15 лет назад по-шведски. Но никто мне не поверит; все подумают, что это я украл у вас. А на самом деле это вы заимствовали у меня». На самом деле, разумеется, никто ни у кого не заимствовал, это просто совпадение.

— *Так много переводя Бродского, вы чему-нибудь научились у него как писатель?*

— Вы знаете, до Бродского у меня никогда не было никаких амбиций стать писателем. Я всегда удовлетворял свою страсть к языку переводами. У меня всегда было чувство, что это стихи мои. Поэтому я не любил, когда другие читали мои переводы, потому что это была как бы моя кровь. Когда я переводил Иосифа, мне приходилось иметь дело с последними возможностями языка и мышления. Это меня очень продвигало. Я думаю, что без Бродского я не решился бы писать такие большие вещи, которые я писал в последние годы, и, может быть, не позволял бы себе такую свободу формальную. То есть я понял, что неплохо владею собственным языком и могу себе позволить некоторую экстравагантность выражения.

— *Вы были свидетелем получения Бродским Нобелевской премии. А на следующий день вы представляли его, когда он читал стихи. Что было самым волнующим во время презентации и сразу после?*

— Знаете, я очень остро ощущал в этот момент всю судьбу этого человека. Всю страшную судьбу русского поэта. Для меня это был первый живой крупный русский поэт и мой современник. Я понял потом, когда он умер, что умер совершенно потрясающий голос русской речи. Так писали, когда умер Блок. То же самое было здесь. Я помню его неуклюжесть, я ощущал, что он переживает, сидя там во фраке. Он был тогда немножко без зубов, это тоже был знак советского прошлого. И это было очень трогательно. И он сам был очень тронут всем этим. Он говорил: «Я не хочу надевать фрак». Но потом ему все это страшно понравилось, особенно шведская королева, которая его очаровала до конца.

— *Чувствовалось ли, как он упражнялся в смирении? Ведь он был большим гордецом.*

— Да-да. Он был скромн и смиренн, кроме одного раза, это было на первой пресс-конференции. Он приехал в Сток-

гольм рано утром, хотя я его предупреждал... Я был в Нью-Йорке за неделю за этого, взял у него интервью, получил его нобелевскую речь, чтобы перевести, сфотографировал его вместе с котом Миссисипи. Я ему говорил: «Иосиф, вы не представляете, насколько будет трудной эта неделя: приемы, банкеты с утра до вечера, масса народу. Приезжайте немножко раньше, чтобы отоспаться». Но он приехал в то же утро и спал час или полтора. Я не был на первой пресс-конференции, но говорят, это было очень неудачно, особенно когда его спрашивали о Горбачеве, вопросы типа: «Как вы относитесь к Горбачеву?» или что-то в этом духе. Он ответил: «Никак, и я надеюсь, что это взаимно».

— *Расскажите о присутствии Иосифа как друга в вашей жизни.*

— Тут много можно говорить, потому что это не просто друг, это присутствие некой стихии, языковой главным образом. Он бывал очень разным. Иногда он чувствовал себя как бы дома, и так он чувствовал в нашей семье не только со мной, он очень любил мою жену и обожал старшую дочь Сару, для которой он писал стихи. Тогда он был очень расслабленным, тихим, много смеялся, никакой агрессии, которую он иногда проявлял в других ситуациях. Ему я всегда мог звонить, и если это было некстати, я слышал это по голосу. Но в принципе он всегда был готов помочь. Я помню, когда у Томаса Транстремера был инсульт, я ему позвонил, и он сразу спросил: «Нужны деньги?» Ну такая американская реакция, у нас же лечение бесплатное.

— *В сентябре 1990 года вы помогли организовать свадьбу Иосифа и Марии в Швеции. Почему он решил справить свадьбу в Швеции, а не в Америке или в Италии?*

— Потому что они хотели это сделать тайно. Кроме того, они в это время находились в Швеции, им это было просто удобно. Это была гражданская свадьба.

— *Вам не кажется, что Иосиф боялся быть как все в повседневной жизни?*

— Ну да. Это такая экзистенциальная неуклюжесть. Но на свадьбе он был счастлив, он был по уши влюблен.

— *Иосиф утверждал, что жизнь в иностранной среде помогает обрести лучшее знание самого себя. Насколько хорошо знал сам себя Бродский?*

— Пожалуй, он знал себя хорошо. Я понимаю, что вы имеете в виду: на чужбине ты гол, все снимается, все знакомства, связи.

— *Что вызывало у него депрессию? Что его могло привести в дурное настроение?*

— Его здоровье главным образом. И некоторые люди. Я ему говорил, что есть люди, с которыми не хочется встречаться, которые тебе просто противны. «Ох, — он говорит, — даже находиться с такими людьми в той же комнате не могу. Я тогда просто ухожу». Он мог не прийти, если знал, что будет кто-то неприятный ему. Но он был несправедлив иногда в своей неприязни так же, как он мог излишне обожать людей.

— *Почему Иосифу так и не удалось стать западным человеком? Он мог быть груб с друзьями, тем более со знакомыми, быть необязательным и высокомерным. Англичанин, например, так не может себя вести ни в какой ситуации.*

— Да-да, это факт.

— *Но как нам объяснить этот факт? Во всем другом, во взглядах на мир, в поэзии, в направлении мыслей он вел себя как русский европеец, а в личном поведении он оставался просто русским, если не сказать, советским человеком.*

— Да-да, это действительно очень интересно. Он первый русский, который принимал участие в литературной жизни Запада, первый после Набокова. Я имею в виду тот факт, что он родился в России и стал частью западной литературы главным образом потому, что стал писать на английском. Он принимал участие в дискуссиях, в конгрессах. Я думаю, что в некотором отношении он не жаловал западную манеру поведения, некоторую ее неискренность, ненастоящие отношения людей: слишком много «культуры». Одновременно он обожал эту культуру. Родившийся в Советском Союзе, то есть на периферии, всегда испытывает некоторое чувство неуверенности в поведении, живя на Западе. Он иногда меня спрашивал, как одеться, например.

— *По вашим наблюдениям, христианином или иудеем был Бродский?*

— Он человек христианской цивилизации. Здесь он очень похож на Мандельштама. Я как раз писал об этом в статье о Бродском, что для него христианство — это не религия, а цивилизация. Я думаю, что быть евреем — это значит всегда

быть евреем в каком-то отношении. Он был еврей, но когда ему говорили, что вы еврей и вы должны приехать в Израиль, он отказывался и, как известно, никогда в Израиле не бывал — именно потому, что он боялся, что там могут использовать именно эту сторону его личности.

— *Тем не менее в своих интервью он говорит, что предпочитает Ветхий Завет Новому Завету и иудаизм для него «более привлекателен, чем новозаветное христианство». Чем вы объясняете противоречие между этим признанием и тем фактом, что до конца дней своих он посвящал рождению Христа ежегодное стихотворение?*

— Я думаю, что в каком-то философском отношении Ветхий Завет ему был ближе. А как цивилизация, конечно, христианство синонимично западной цивилизации.

— *Вы в одном из ваших интервью с Бродским (1987)¹ спрашивали его в связи с Пастернаком о христианстве. Удовлетворил ли вас его ответ?*

— Иосиф не любил православие, потому что это государственная религия, такое своего рода раболепие. Он явно предпочитал протестантизм, где, как он говорил, у человека «Страшный суд с самим собой каждый день». Об этом он писал в эссе о Достоевском.

— *И еще одно раздвоение нашего поэта-Близнеца. Иосиф не был ни святым, ни жертвой. Однако именно эти образы навязывают ему критики. В чем тут дело?*

— Потому что в его биографии есть некий такой героизм, и мы в этом нуждаемся. Он же не любил говорить об этом суде. Он также говорил, что нельзя быть заложником собственной биографии. Я часто думаю об этом. Судьба может быть такая или иная, но человек сам отвечает за нее. Это было его изначальное отношение к своей судьбе. У Одена есть одно замечательное изречение: «Нас будут судить не по тому зеркалу, которое обнаружат при нас, а по тому, как мы его использовали, по нашему отклику на наше изображение».

— *Вы много занимались Маяковским и хорошо знаете его стихи. Видите ли вы нечто общее между поэтикой раннего Бродского и Маяковского?*

— Влияние или не влияние, но они очень похожи энергичностью стиха, ясностью высказывания, дидактичностью и т. д.

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 298.

Однажды у нас был разговор о Маяковском, это было в поезде из Стокгольма в Гётеборг на книжную ярмарку в 1988 году; пожалуй, это было единственный раз, когда мы так долго говорили о нем. Он знал, что я занимался Маяковским и опубликовал переписку Маяковского и Лили Брик, а я знал, что он всегда плохо высказывался в адрес Маяковского. Здесь мы спокойно говорили о том, что в конце концов Маяковский — хороший поэт, хотя он написал массу плохих политических стихов.

— *Любопытно, что Бродский долгие годы дружил с Татьяной Яковлевой в Нью-Йорке, где его весьма почитали и любили. А как относились к Бродскому в доме Лили Брик?*

— Я не помню, чтобы о Бродском в ее доме говорили, но Лиля Брик ценила все талантливое, у нее был безукоризненный вкус.

— *Бродский активно сопротивлялся тому, чтобы люди копались в его жизни, настаивая, что все, написанное поэтом, и есть его истинная биография. Официальную его биографию писать запрещено. Но наше любопытство о жизни гениального поэта ненасытно. Как его удовлетворить, не оскорбляя его память?*

— Я не совсем понимаю, что такое «официальная биография». Видимо, для «неофициального биографа» не будет полного доступа к архивам. В любом случае надо быть тактичным. Все зависит от того, кто будет писать. В конце концов, будут писать несмотря на все запрещения.

— *А в это время люди, знавшие Иосифа, стареют и умирают. Будущие биографы начнут творить миф?*

— Я думаю, надо просить всех написать свои воспоминания и собрать это в архив. Я об этом думал даже при жизни Иосифа, когда встречался с его друзьями, я им говорил: «Пишите, пишите».

— *Я вижу этот свой второй том интервью с современниками Бродского тоже в какой-то степени как материал для будущей биографии поэта. И я рада, что в этой работе мне помогают распорядители наследства Бродского в Америке и в России. Я отдаю себе отчет, что я должна быть предельно тактична, но я одновременно исследователь творчества Бродского и должна задавать вопросы по существу, даже если они не всегда комплиментарны. Мне, например, важно услышать мнения людей*

на чудовищное непонимание творчества Бродского Солженицыным или Коржавиным¹. Последний недавно опубликовал бездарнейшую статью о Бродском в «Континенте». Обе статьи весьма посредственные, но люди-то они известные и многими уважаемы. Стоит ли на них реагировать?

— Мне выход из подобных ситуаций подсказал Роман Яacobсон, он говорил, что с такими людьми не стоит полемизировать, надо своим примером показать, что ты прав.

— В 1988 году Бродский сказал: «Я бы вернулся в Россию при одном обстоятельстве: если бы там опубликовали все мною написанное»². Мы знаем, что когда все опубликовали, Бродский так и не вернулся. Обсуждал ли он с вами свое возможное возвращение?

— Да, однажды мы даже устраивали ему поездку в Ленинград, потому что можно было без визы на один день приехать. Это верно, что он всякий раз придумывал новые извинения — то здоровье, то не хотел бы приехать туристом и т. д. Но последнее его объяснение было такое: «Моя лучшая часть уже там. Это мои стихи». Я думаю, что он прав, что не поехал, там бы его на куски разорвали.

— Следует ли придавать какое-то значение тому, что российское правительство ни Горбачева, ни Ельцина не извинилось перед Бродским за суд и ссылку, за все страдания, причиненные ему советской властью?

— Когда Солженицыну исполнилось восемьдесят лет, он был приглашен в шведское посольство в Москве. Как вы помните, с его Нобелевской премией были проблемы, и наши хотели как-то извиниться. Пригласили туда и Горбачева. У него был золотой случай подойти к Солженицыну и извиниться от имени своих бывших коллег, но он этого не сделал.

— Между прочим, Иосиф рассказывал вам, как он встретился с Горбачевым в Библиотеке Конгресса?

— Да, но насколько я помню, они не встречались. Иосиф его просто видел. Он мне сказал потом, что он чувствовал, что это идет человек, ведомый судьбой.

— В моем присутствии Иосиф рассказывал несколько иную версию. Якобы секретарь вошел к нему в кабинет и сказал:

¹ См. примечание I на с. 62.

² Иосиф Бродский. Большая книга интервью..., с. 223.

«Joseph, there is somebody to see you» («Иосиф, там кто-то пришел»). Открывается дверь и входит Горбачев. Иосиф сказал: «Глядя на него, я чуть не заплакал — на меня смотрела страница русской истории». Потом Горбачев спросил Бродского: «До меня дошли слухи, что вы не одобряете мою политику». На что Иосиф ответил, что он не имеет ничего ни за, ни против и надеется, что это взаимно. Я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное Бродскому. Не хотите ли его здесь опубликовать?

— Я написал его через несколько дней после смерти Иосифа. Оно было опубликовано в шведской газете «Svenska Dagbladet» 30 января 1996 года и по-польски в журнале «NaGłos» (1996)¹.

Феникс

Иосифу Бродскому

Не знаю, как случилось, что ты, Аполлон,
сумевший заставить каждую вещь вибрировать своей
метафорой,
мог так влюбиться в Эвтерпу в роли
Тоски или Лючии ди Ламмермор.
Геннадия ли благодарить, который книгу писал о Мише,
но умер, не кончив свой труд о великой сопрано;
Вертумна вспомнить ли, твой итальянский друг,
который ознакомил тебя с Адриатикой и трамонтаной.
а потом упал бездыханный на мраморный пол...
Эти мысли приходят, когда слушаю божественный голос,
который врубал ты на полный напор в арендованном «вольво»
и который мне достался, когда ты осенью удрал отсюда —
так же как Roget's International Thesaurus, fourth edition,
который ты бешено листал во избежание истертого
переноса или чтобы найти неожиданную рифму на *-ition*.

¹ Гена в пятой строке — друг Бродского Геннадий Шмаков, который в 1981 году издал книгу «Baryshnikov» и который до самой смерти работал над книгой о Каллас. За «Вертумном», богом превращений, скрывается итальянский переводчик Бродского Джанни Буттафава, который умер от инфаркта. Стихотворение Бродского памяти Буттафавы называется именно «Вертумн». «Божественный голос» принадлежит Каллас в роли Лючии ди Ламмермор. — Примеч. Б. Янгфельдта.

Обо всем этом ты знаешь гораздо лучше меня: о песне и
о музыке слов.
Решил я потревожить тебя совсем по другой причине: хочю
тебе рассказать о том, что случилось на следующий день
после того,
как в последний раз ты двинул свою руку в сторону сердца.

Ты, помнится, часто жаловался на то, что никогда не имел
возможности
слушать ни Доницетти, ни Моцарта, когда бывал в Венеции:
в репертуаре был всегда Чайковский и Вагнер или какой-то
французик,
хотя ты ехал туда каждый год, как только был свободен.

Знаешь, не поздно: на следующий день после того, как ты стал
своими поклонниками.
С «La Fenice» случилось то же самое, что с тобой:
значит, вы находитесь теперь в тех же краях, ты и она:
трюк Создателя,
который ты, как мне кажется, оценил бы. Но если я знаю тебя
достаточно хорошо,
это для тебя не новость.¹

Феникс

Иосифу Бродскому

Как случилось, не знаю, что ты, Аполлон, в чьей воле
всё метафорами озвучить, жертвою пал амура
и влюбился, как мальчик, в Евтерпу в роли
Тоски или Лючии ди Ламмермор², а?

Может, всё из-за Гены, написавшем о Мише³, однако
не успевшем свой труд завершить о великой сопрано⁴?
Или виной Вертумн, итальянский твой друг⁵, — уж как он
познакомить тебя хотел с Адриатикой, трамонтаной! —

¹ Перевод с английского Бенгта Янгфельдта.

² Героини одноименных опер Дж. Пуччини и Г. Доницетти; см. также стихотворение И. Бродского «Эклога 4-я (Зимняя)».

³ Имеются в виду Г. Шмаков и М. Барышников.

⁴ М. Каллас.

⁵ Джанни Буттафава, памяти которого посвящена поэма И. Бродского «Вертумн».

а потом вдруг рухнул на пол в ванной своей безвольно...
Эти мысли приходят, пока я слушаю принадлежащий провидцу
голос, звучащий прежде в твоём арендованном «вольво»,
когда ты ещё не пересек новую для тебя границу,

за которой ты ступишь ногой на гранит свой
балтийский снова,
как на тот огромный словарь, на четвертое его издание,
которое ты бы изуродовал, дабы избежать дурного
анжамбемана, то ли в поисках свежей рифмы на *-анье*.

Твое знание песен и музыки слов совершенней. Я беспокою
тебя по иной причине: случилось что-то
в день, когда ты в последний раз коснулся груди рукою;
что-то, о чем, полагаю, ты знал ещё до ухода.

Помню твою досаду на то, что в Лагуне¹ ни разу
не заставал на афише Моцарта и Доницетти, —
Вагнер, Чайковский да чертов француз² представляли глазу
во всякий приезд твой, а ездил ты часто, почему-то лишь эти.

Знаешь, ещё не поздно: на следующий день, когда ты
стал своими поклонниками, «La Fenice»³ доглы, всецело
прогорел, претерпев ту же участь, исчезая, огнем объятый...
Тебе бы понравилось! Впрочем, не удивлюсь, если ты уже
в курсе дела.⁴

30 января 1996

¹ Здесь: Венеция.

² Вероятно, скрытая цитата из 11-й песни «Дон Жуана» Байрона;
здесь, возможно, речь идет о Ж. Оффенбахе или Ж. Бизе.

³ «Феникс» (*итал.*), Венецианский театр, уничтоженный пожаром
29 января 1996 года; семь лет спустя восстановлен и вновь открыт для
публики.

⁴ Перевод с английского и примечания Александра Леонтьева.

II

ЛЮДМИЛА ШТЕРН, 15 НОЯБРЯ 2003, БОСТОН

— У вас было много знаменитых друзей и в России и в Америке. Считаете ли вы дружбу с Бродским значительным событием в вашей жизни?

— Ну конечно, считаю. Если дружба с любым человеком продолжается около сорока лет, она непременно является значительным событием в жизни. Что касается «знаменитый», то Бродский им стал много лет спустя после нашего знакомства. В начале шестидесятых ни о какой знаменитости Иосифа не было и речи, он был совсем мальчиком, которого мы немножко опекали, подкармливали супом, утешали, когда он расстраивался, и с восторгом слушали его ранние стихи.

— Это между прочим, вы когда-нибудь слышали такую кличку юного Бродского — «еврейский Пушкин»?

— Кличку «еврейский Пушкин» никогда не слышала.

— Что покоряло в Иосифе больше всего: его гениальность или его душевное величие, душевная прелесть?

— Когда мы были молоды, мы своими душевными прелестями и душевным величием мало интересовались. Мы были уверены, что у нас у всех замечательные душевные качества и мы — самые лучшие, самые надежные, верные и близкие, и

Людмила Яковлевна Штерн — прозаик и эссеист, автор книг «По месту жительства» (Нью-Йорк, 1980), «Под знаком четырех» (Тенафлай, 1984), «Охота к перемене мест» (Тенафлай, 1998; М., 2003) и «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» (М., 2001). В мае 2005 года вышла книга воспоминаний о Довлатове «Довлатов, добрый мой приятель». Произведения переводились на английский, венгерский, голландский и итальянский. С 1976 года — в эмиграции. Живет в Бостоне.

мы над этим не задумывались. Меня в Иосифе пленяло многое. Во-первых, он был очень красивый, это немаловажно. Кроме того, меня покорила его абсолютная (сейчас легко говорить об этом, потому что это как бы известно по его жизни) независимость от обстоятельств, трудных обстоятельств, в которых он находился. Он был как тот кот, который живет сам по себе, что хочет, то и делает. Была в нем редкая для нашего поколения внутренняя свобода и раскрепощенность. Это загадка, как он умудрился быть свободным в тех обстоятельствах. Кроме того, он был несравненно талантливее своих друзей, которые были старше его и брали над ним шефство, — скажем, Рейн, Бобышев и Найман.

— *Я знаю это по себе и наблюдала за другими женщинами в восьмидесятих годах в Америке и позже в Европе, что его обаяние, его sex appeal были совершенно неотразимы. Вы лично это испытывали тогда, в юности? Другими словами, были ли вы чуточку влюблены в него?*

— Нет, абсолютно честно, нет. Я помню, однажды у нас была очередная вечеринка, и он сидел почему-то в передней, а я неслась мимо с тарелкой, и он меня схватил и посадил к себе на колени, и я сказала: «Извини, не чувствую ничего такого». Думаю, что и он никогда ничего «такого» ко мне не чувствовал. Как известно, его амплуа — это молчаливые загадочные блондинки, а не языкатые брюнетки в очках.

— *Да, но были и исключения.*

— Да, конечно, но я в них не попала. Помните стихотворение, посвященное Ларисе Каплан: «Вообще-то я люблю блондинок, / я, кажется, в душе брюнет / или начищенный ботинок / и светлого пятна в ней нет». Это на самом деле правда. Нет, я никогда не была в него влюблена. Сейчас, конечно, хотелось бы наврать что-нибудь романтическое, но нет, ничего «такого» не чувствовала и ничего «такого» между нами не было. Скорее у меня был комплекс заботливой еврейской мамы. От этого он иногда приходил в ярость.

— *Доводилось ли вам присутствовать при публичных выступлениях Бродского? Вы мало пишете об этом в своей книге.*

— В Ленинграде присутствовала на многих. В Америке тоже, если он выступал в Бостоне или Нью-Йорке. Я в книге описываю только одно выступление в Ленинграде, на котором Куклин хлопнул дверь. Потому что с ним связана исто-

рия нашего розыгрыша. Его выступления всегда были завораживающими и оказывали гипнотическое действие на слушателей. У меня довольно много записей его чтений. Есть видеокассета последнего его выступления в Бостоне, которое я организовала. Жалко, что в молодости не было у нас таких видеоигрушек. К тому же он часто читал у нас дома.

— *Любопытно, что никто из поэтов даже не пытался подражать его манере чтения.*

— Про поэтов я не знаю, но у него было и есть много имитаторов. Мой покойный друг Гена Шмаков, например. Хозяин «Русского самовара» Роман Каплан тоже потрясающе имитирует его манеру. Послушали бы вы «Речь о пролитом молоке».

— *Всеми ли принималась эта манера чтения? Или были среди поэтов и литераторов высмеивающие ее?*

— Среди поэтов не знаю, а просто среди слушателей очень даже были. Если человек не поддавался этой магии, этому гипнозу, то манера Бродского читать стихи могла восприниматься как еврейская заунывная молитва. Может ли молитва показаться смешной? Но для многих, и в том числе для меня, это было невероятное, почти физическое ощущение гипнотического внушения. Люди в транс входили. Впрочем, были и такие, которые смеялись и говорили: «Ну завыл».

— *Вам не кажется странным, что он никогда не менял эту манеру чтения?*

— Нет, не кажется. Более того, он раздражался, когда пытались читать его с качаловским выражением. Над Мишей Козаковым подтрунивал.

— *Я знаю, всякий раз, когда я организовывала его выступления в английских университетах, он говорил: «Валентина, прошу вас, никаких актеров и актрис. Пусть будет читать переводы какой-нибудь английский поэт или преподаватель».*

— Да, он терпеть не мог, когда его стихи исполняли актеры или актрисы. И его очень раздражали барды, которые пели его стихи под гитару.

— *Был ли Иосиф романтиком? Можно ли какой-либо период его творчества назвать романтическим?*

— Не могу назвать определенный период. Мне кажется, что романтической нитью пронизано все его творчество. Все стихи, посвященные Марине. И оборвалась эта нить стихо-

творением «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...»

— *Я знаю, вы осудили строки «...ты... развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком / и, судя по письмам, чудовищно поглупела» (3:250). Но ведь эти строки свидетельствуют не об излечении от хронической болезни, как вы пишете, а скорее о ее обострении: мы бьем по лицу обидчика именно в момент обжигающей боли.*

— Но ты мужчина и всемирно известный поэт, а она стареющая женщина. Некрасиво бить ее в этой ситуации.

— *Вы хотели бы, чтобы Иосиф был джентльменом. Но при всей моей и вашей любви к Иосифу Александровичу мы знаем, что джентльменом он не был.*

— Чего не было, того не было. А жаль. Мне за него было обидно.

— *Кстати, повторите, как он отреагировал на эти ваши упреки, рассердился?*

— Вероятно, очень рассердился. Я позвонить не решилась, написала ему письмо, процитировала Александра Сергеевича: «Я вас любил безмолвно, безнадежно...» Упрекнула, что он не сумел взять нотой выше. Он на мое письмо не отреагировал, никогда не упомянул. Но он его получил и читал одному общему другу...

— *Многие из бывших друзей Иосифа вспоминают, как юношеская близость сменилась охлаждением, а в Америке и отчуждением. Кого из бывших друзей Иосиф сохранял, кого терял, отсеивал и по какому принципу?*

— Мне бы не хотелось приводить список друзей, к которым Бродский охладел. Но причины его охлаждения были вполне понятны. Некоторые люди ему просто надоели. Его ужасно осаждали просьбами, считая, что старые знакомства, иногда даже шапочные или случайные, обязывают его заниматься проблемами этих людей и заботиться о них. И чем более знаменитым он становился, тем больше люди пытались пользоваться его связями для устройства своих дел. Самый яркий пример — это Анатолий Найман, который, действительно, был в юности близким другом. Но в конце жизни Иосиф его буквально возненавидел. Нет, возненавидел — слишком сильное слово. Просто он не хотел иметь с ним никакого дела. Найман был бестактным и бесцеремонным и

использовал Иосифа в хвост и гриву. Он, что называется, типичный user. Другие люди перестали быть ему интересными. К тому же Иосиф был невообразимо занят — трудно себе представить, как он был на самом деле занят и как он отбивался от тысячи мелких вещей, чтобы заниматься своим прямым делом, то есть писать стихи. Во-первых, ему надо было зарабатывать и писать статьи, эссе и предисловия, которые он бы не писал, если бы ему не нужны были деньги. Во-вторых, университетское преподавание. Это ведь не только лекции, это бесконечные проверки домашних заданий. Кроме того, его бесконечно приглашали выступать. То есть степень его занятости была невероятной. Плюс плохое здоровье. А многие думали, что Оська — по-прежнему кореш, ну что ему стоит... А он давно перестал быть «Оськой» и «корешом». Потом, после многих лет в Америке и Европе, ему казалось, к сожалению не без оснований, что приехавшие сюда друзья его юности ведут себя чрезвычайно провинциально, и он говорил мне: «Embarrassing».

— Да, я знаю, он мне тоже говорил об этом, он даже разочаровался в его любимом Жене Рейне. Уже при первой встрече в 1988 году Женя все время жаловался ему на жизнь в Союзе, так что Иосиф от этого устал. Вам не кажется, что, назвав Рейна своим учителем в знак благодарности, он этим навредил Рейну, ибо Рейн воспринял это совершенно всерьез?

— Нет, не кажется. Рейн — мой близкий друг, и мне не хотелось бы сказать ничего, что сделало бы Жене больно. Если Иосиф был недостаточно внимателен к Рейну в Нью-Йорке, то тоже по нехватке сил и времени. Рейна он любил и действительно в юности все ему читал и считался с его мнением. Можно сказать, что Рейн был одним из его учителей. Я думаю, что вы правы, он сказал это в знак благодарности. Чувствовал ли он так, я не знаю. Он был ироничным и человеком настроения. Иногда чувствовал так, иногда иначе. Часто раздражался. У Рейна, как у нас всех, есть качества, которые могут раздражать. Все-таки из многих друзей юности, кого он искренне любил, я бы назвала Женю Рейна, Мику Голышева и Андрея Сергеева. С Сергеевым, кстати, в Нью-Йорке тоже произошел какой-то инцидент охлаждения.

— А Яша Гордин?

— Думаю, что самый верный. Когда Иосиф уехал, Яша

заботился о его родителях и о его архиве. На Яшу он мог положиться и в практическом смысле. Думаю, что Яша — еще и хранитель его романтических тайн. Яша никогда ничего у Иосифа для себя не просил. И Яшу, и Тату Бродский искренне любил.

— *Почему вы считаете, что в Энн Арборе Иосиф жил как в вакууме? Вы его навещали там?*

— Я его не навещала там, он просто мне сам об этом говорил много раз. Первое время он был абсолютно один. Да, там были Профферы, но душевно близких людей там не было.

— *Да, но этого ни в Америке, ни в Англии вообще не найти. Когда я жила почти полгода в Энн Арборе в 1980 году, поначалу я слишком часто общалась с Иосифом, пока Элендеа Проффер не предупредила меня, что если я не хочу нажить себе врагов, я не должна каждый вечер проводить в обществе Иосифа, ибо на него там — очередь, все вечера расписаны, когда и у кого он сегодня ужинает.*

— Когда вы сказали? 1980 год? А мы говорим о 1972-м, когда он никого еще не знал, когда он был один.

— *Откуда исходят разговоры о том, что Иосиф подавал документы то в Бостонский университет, то в Браунский университет, куда его не вызвали даже на собеседование? Ведь на самом деле Бродский получил приглашение в Маунт Холиоке еще в 1981 году и поэтому ушел из Мичиганского университета.*

— Про Браун я не знаю.

— *Про Браун я сейчас выяснила с профессором Гарварда Стефани Сандлер, в восьмидесятые годы она преподавала в Амхерсте. Так вот она мне сказала, что это Браун очень хотел заполучить Иосифа, и все эти пять колледжей (Амхерст, Хампшер, Смит, Маунт Холиоке и Массачусетский университет), в которых преподавал Иосиф, очень взволновались, что новое предложение может его заинтересовать, потому что Браун находится рядом с океаном, а к водным пространствам Бродский был неравнодушен. Но Иосиф предложения не принял.*

— Наверно, это было уже тогда, когда Иосиф преподавал в Амхерсте. Я говорю о времени, когда он еще там не работал, он читал лекции в Колумбийском университете, и он искал постоянную работу. А про то, что его не вызвали на интервью в Бостонский университет, сказал мне он сам. Это из первых уст. А моя байка про Набокова, что Набокова в свое время не

взяли в Гарвард и какую роль сыграл в этом Роман Якобсон, об этом мне рассказала сестра Набокова Елена Владимировна.

— Но постоянная работа у него была в Мичигане, хотя он страдал оттого, что находится в глубокой провинции. И из Мичигана он ушел в пять колледжей с перерывом в год — 1981-й, который он провел в Риме в качестве стипендиата Американской Академии.

— Вероятно, находясь в Мичигане еще, он уже искал работу.

— Иосиф активно сопротивлялся тому, чтобы в чтение и интерпретацию его стихов вносили биографический элемент. Сам же он непременно это делал, говоря о Цветаевой, Мандельштаме, Ахматовой, да и о любом западном поэте. Что теряет читатель, мало знающий о жизни Бродского?

— Я думаю, что многое. Более того, мне кажется, что он сам очень много биографических элементов вносил в свою поэзию, достаточно завуалированных, но узнаваемых. Может быть, потому что я его давно и хорошо знала, я чувствовала, где о себе, а где не о себе. Достаточно вспомнить «Колыбельную Трескового мыса». Там всё о себе.

— А что, вы думаете, было главной причиной его запрета в завещании на официальную биографию в течение пятидесяти лет после его смерти?

— Причин могло быть несколько.

— Все мы получили письма с просьбой не помогать никому, кто решит писать биографию Бродского.

— Я знаю, я позвонила Марии и сказала: «Мария, ведь это глупо. Если вы не хотите, чтобы о нем писали друзья, которые его любили и которые могут написать правду, о нем будут писать все, кому вздумается: кто один раз был с ним в ресторане, кто с ним по бабам бегал... Вы не можете людям запретить писать о Бродском. Они напишут все, что угодно, у вас над ними контроля нет. Так как же вы вместо того, чтобы поддержать тех, кто напишет о нем правду с любовью и с добрыми намерениями, не понимаете, что на нем будут делать себе карьеру случайные люди?»

— Были ли у вас проблемы с вашей книгой? Вам тоже нужно было просить разрешение на цитирование стихов и писем?

— Да, они мне разрешили включить одно письмо, и то не

полностью, а только выдержки из письма, а у меня много его писем. Со стихами у меня не было проблем.

— *Нас призывают следовать указаниям самого поэта — не делать из него биографического героя. Но ведь наша память о нем, наши свидетельства — гарантия избежать будущей мифологии. Может быть, все его друзья должны написать о нем свои воспоминания, оставить какой-то документ?*

— Наверно. Мне кажется не очень дальновидным и его распоряжение относительно судьбы творческого наследия.

— *Может быть, потому, что трудно было найти кого-то среди русских для этой весьма неблагоприятной работы?*

— И в России, и в Америке есть люди, которые могли бы заниматься наследием Бродского эффективно. В России — Яша Гордин, если бы он согласился, а здесь — Лосев, Сумеркин, Вика Швейцер... Я думаю, Иосиф об этом всерьез не думал.

— *Знаете ли вы о взрослой дочери Иосифа от балерины Маши Кузнецовой? Почему, на ваш взгляд, он скрыл ее существование от Марии? И сейчас она и ее сын, внук Иосифа, обделены наследством.*

— Я о ней знаю, более того, мне однажды было поручено передать ей деньги. Я это и сделала через общих друзей, когда была в Петербурге. Но я с ней незнакома.

— *Последнее стихотворение, посвященное М. Б., датировано 1992 годом. Вы думаете, что Бродский так и не залечил рану, ею нанесенную?*

— Думаю, что давно залечил. Но ему нужно было иметь некую Дульцинею, в которую он безнадежно влюблен, потому что она была источником его вдохновения. Вы обратили внимание, что Марии ничего не посвящено?

— *Не посвящено, но адресовано, например, «Византийское», «Иския».*

— Это очень хорошие стихи.

— *«Отказаться можно от всего, — говорит Бродский. — От всего можно отказаться». От чего он отказался, что не по силам обыкновенному человеку?*

— Об этом мы читаем в его стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Лучше, чем сказано в его стихах, я не скажу. Он отказался от примирения с фактом, что Вселенная будет жить без него.

— Значит ли это, что он страдал таким грехом, как гордыня?

— Я думаю, это скорее понимание своей миссии. А может, и гордыня.

— Но он боролся с этим грехом почти физически, вы чувствуете, что его мышцы напрягаются, когда он упражнялся в смирении, хотел быть скромным и нарочито принижал свои поэтические достоинства, называя свои стихи стихиками и стихаками и так далее. Я об этом много думала и писала.

— Мы как-то забываем, что он был человеком с огромным чувством юмора и самоиронии. В кругу близких людей он любил и умел над собой посмеяться. Он относился к себе легко, «без придыхания». Поэтому мне трудно сказать, когда он смирял свою гордыню. Я знаю, есть люди, перед которыми ему было естественно быть таким горделивым, а он пытался себя сдерживать.

— Почему Бродский не достиг в России такой же популярности, как Высоцкий? Из-за качества своих стихов или оттого, что российский читатель тридцать лет не имел доступа к его текстам?

— А почему никогда не стали популярными такие величайшие поэты, как Мандельштам и Цветаева? Потому что это очень сложные поэты, все-таки одно дело — Хачатурян, а другое дело — Шнитке. Одному нравится Есенин, а другому — Бродский. Это должно быть разное ухо и разный слух. Мне кажется, что Бродский — элитарный поэт. Можно найти у него двадцать популярных стихотворений, как «Пилигримы», и переделать их в песню, а сложные вещи, например «Лицо трагедии», это просто многим не под силу.

— Не этим ли простым фактом объясняется и непонимание и неприятие Бродского Солженицыным?

— Именно этим. Александр Исаевич оказался глух к такой поэзии.

— В вашем эссе «Гигант против Титана» вы отмечаете единодушие Александра Исаевича с советским правосудием: он жалеет, что Бродского рано освободили из архангельской ссылки, ибо «животворное действие земли» не продлилось. Сам Бродский тоже заявлял в интервью, что ссылка в деревню — это лучшее время в его жизни. Кто тут из них лукавит?

— Никто. У Бродского, возможно, были сугубо личные

основания так считать. И вообще он и только он имеет право говорить о том, пошла ли ссылка ему на пользу или во вред. Но писатель, прошедший ГУЛАГ, не должен утверждать в печати, что поэту ссылка или любое лишение свободы пошло на пользу. Это неприличное заявление, и оно Солженицына не украсило.

— *Можно ли сравнивать архаичный язык Солженицына («из-жажданное окунать в хляби языка») и по-пушкински современный язык Бродского?*

— Мне солженицынские «хляби», «окунания» и прочие лингвистические арабески и пируэты кажутся пародией.

— *Бродский гордился тем, что советская система отвергла его как нечто чужеродное и что родители не воспитали его как послушного раба?*

— Нет, не гордился. И родители, насколько я знаю, никак особенно его не воспитывали.

— *Страдал ли Бродский ностальгией?*

— Думаю, что тосковал по Петербургу. Он хотел бы приехать без помпы и литавров, он не хотел никаких парадных приемов.

— *В августе 1995 года он был в Хельсинки, он прилично себя чувствовал, у него там был огромный успех — аудитория в три тысячи человек на открытом воздухе, но в Петербург он и не думал ехать.*

— Он боялся за сердце. В апреле 1995 года он выступал в Бостоне, и у нас был намечен маршрут его выступлений в Америке начиная с ноября, но он все отменил.

— *Ваш дядя Гриша еще в 1961 году понял, что Иосиф отмечен Богом и должен в Бога верить. Судя по его стихам, можно ли сказать, что он был верующим?*

— Я никогда не спрашивала напрямую, верит ли он в Бога, но уверена, что да. Да и по стихам это видно.

— *Вы наблюдали Иосифа практически всю его поэтическую жизнь. Как вам видится вектор его эволюции? Куда он двигался?*

— Он двигался в сторону философии. И мне кажется, что попытка философски осмыслить свою жизнь методами поэзии входила в противоречие с его огромным лирическим даром, потому что эта невероятная сложность того, что он хотел

сказать, требовала очень сложной формы. Это удаляло его от читателей.

— *Тут хочется добавить, что Бродский направил в великую реку русской поэзии струю английской метафизической поэзии от Донна до Одена; отсюда и рассудительность, и холодность, и отстраненность и прочие достоинства-недостатки, в которых его упрекают.*

— Вот для этого русский читатель и не готов, потому что это совершенно вне русла русской поэтической традиции. Иосиф в этом явился пионером. В Англии такая традиция существует четыре века; думаю, что много должно пройти времени, прежде чем эта поэзия войдет в кровь русского читателя. У нас в крови бродит Пушкин.

— *Благодарю вас за нашу беседу.*

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ, АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 2004, ПАРИЖ

— *Вы уже рассказывали, что познакомились с Бродским в 1960 году в Москве, когда Алик Гинзбург напечатал его стихи в 3-м номере подпольного «Синтаксиса». Опишите внешность юного Бродского, его настроение в то время. Был ли он доволен, что его стихи напечатаны?*

— Уточню. Сначала в связи с «Синтаксисом» я познакомилась со стихами Бродского, это было ранней весной, а Иосиф приехал в Москву осенью, в ноябре, и не помню, чтобы тогда был разговор, доволен он или нет. Алик Гинзбург уже сидел, и скорее Иосиф интересовался тем, что с ним, но это лишь обоснованное предположение, потому что я практически не помню содержания разговора (кроме уже приводившегося: «А каких поэтов Наташа любит?»). Зато позже, уже в эмиграции, он всегда бурно приветствовал Алика и называл его «мой первый издатель».

Внешности Иосифа я вспомнить не могу, накладывается все последующее знакомство. Сейчас такое впечатление, что он был больше похож на себя позднего, чем на семнадцатилетнего, как на фотографии, которую мне подарил его отец перед моим отъездом в эмиграцию. Но не самого позднего, а такого, как он был похож только на отца. В начале девяностых в нем появилось что-то, невероятно напоминающее мать.

Наталья Евгеньевна Горбаневская — поэт, с 1975 года в эмиграции, автор ряда сборников стихов — от «Побережья» (Ann Arbor, 1973), книги «Русско-русский разговор. Избранные стихотворения / Поэма без поэмы. Новая книга стихов» (М.: ОГИ, 2003). Живет в Париже.

Когда я ему в Париже об этом сказала, он страшно растрогался. «Правда?..» — у него была такая особая манера произносить это «Правда?..», как будто восторгался.

— *Вы участвовали в качестве машинистки в публикации первых стихов Бродского. Он, в свою очередь, через тринадцать лет выступил как корректор вашего сборника «Побережье», изданного в «Ардисе». Вы усматриваете в этом перст судьбы или глубокое взаимное уважение?*

— Я участвовала и в качестве машинистки («Синтаксис», потом просто всякие его стихи, «Исаак и Авраам», потом я выпросила у Мейлаха «Зофью», которую Иосиф не велел распространять, — и распространяла всюду), и даже переписчицы от руки. Но это было уже позже: Иосиф был в эмиграции, его стихи появились в «Вестнике РСХД», который попал мне в руки в Москве, и я переписала всю подборку и отправила Гарику Суперфину в лагерь: в лагерь же нельзя было на машинке.

— *А почему Иосиф не велел распространять «Зофью»?*

— Мне Мишка так объяснил: у Иосифа была задумана определенная, очень строгая композиция четырех частей поэмы — и не получилась (в чем именно, подробностей уже не помню — может быть, помнит Мейлах), поэтому он ее заблокировал.

Почему Иосиф оказался корректором моего «Побережья» — дело простое. Он только приехал в Америку, Профферы взяли его работать в «Ардис», и корректура, видимо, входила в его обязанности. Но для меня это не «перст судьбы», а подарок судьбы. Представляете: моя книжка, а в конце написано «Корректор И. Бродский!» Насчет «глубокого взаимного уважения» — не думаю. Иосиф относился ко мне хорошо, а моментами — и к моим стихам. Но только моментами.

— *У вас с Иосифом есть и другие общие жизненные обстоятельства, как поверхностные, так и глубинные: вы оба родились под Близнецами, оба оказались в конфликте с системой, оба узнали, что такое тюрьма, психиатрическое лечение, ссылка и эмиграция. Вы чувствуете это особое родство с Бродским?*

— «В одиночке при ходьбе плечо...» Я почувствовала эти стихи «своими» задолго до того, как попала — и даже начала подозревать, что попаду, — в тюрьму. Как-то они меня сразили наповал.

Под Близнецами — да, притом в мае. Как сказал Иосиф: «Мы в мае родились — нам с тобой обоим маяться». Банальность, но реальная.

Родство — может быть, это слишком сильно. Частичная общность судьбы — да.

— *Согласны ли вы с Солженицыным и с другими, даже никогда не сидевшими, что тюрьма и ссылка только пошли Бродскому на пользу и жаль, что он не отсидел весь срок?*

— Вы знаете, я не заметила у Солженицына такой фразы — давайте проверим. Он говорит так: «Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломленным городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное — и уже втягивал как радость. Думаю, поживи Бродский в ссылке подольше — та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться». Все-таки тут нет этого «жаль, что не отсидел весь срок». Что же говорят те «другие», я не знаю. Я думаю так: ссылка (но не арест, не тюрьма, не суд, хоть тоже аукнувшиеся прекрасными стихами) действительно пошла ему как-то «на пользу» — но тем более на пользу, что, слава Богу, не затянулась. И конечно, «В деревне Бог живет не по углам...» — это побольше, чем «животворное действие земли» и проч.

— *Вы писали, что для вас Бродский стал первым поэтом после поэмы «Исаак и Авраам». Что именно вы цените выше всего в этой поэме? Тему, ее интерпретацию Бродским? Или ее поэтическое воплощение?*

— Ну если выражаться в этих терминах, то скорее «поэтическое воплощение». Вообще, хотя я восхитилась стихами Иосифа еще в 1960-м, как большой поэт он начинается для меня где-то с 1962-го. И растет, растет, не останавливаясь.

— *Вы говорите «растет и растет». А вот я только что прочитала одну диссертацию, присланную мне из Саратова, о времени и пространстве в поэтике Бродского «с религиозным христианским осмыслением», где автор приходит к выводу, что «вообще, второй период жизни и творчества Бродского не отмечен „духовным возрастанием“»¹. Для вас такой вывод приемлем?*

¹ Руслан Измайлов. *Время и пространство в поэтике Бродского*. Дис. на соискание ученой степени канд. фил. наук. Саратов, 2004. С. 82.

— Ну конечно, неприемлем. Дух, известное дело, веет, где хочет, но у поэта — в первую очередь в стихах. У Бродского возрастание продолжается в поэтике и, вот здесь подчеркну то, что особенно сильно чувствуется в восьмидесятые-девяностые годы, в этике стихов. Конечно, этике не декларативной. В моем, вполне обычной православной верующей, восприятии, у него все больше появляется даже аскетическое отношение к жизни, стихам и прочему (хотя, если подумать всерьез, оно мерцало у него еще и в шестидесятые).

— *Как вы относитесь к рождественским стихам Бродского? Не все из них о Рождестве, некоторые по поводу Рождества и написаны «в монотонной холодности амфибрахия», что дает основание некоторым исследователям Бродского считать, что ни одно из них «не несет христианской радости вечной жизни» и что Бродский в них показывает «полное непонимание сущности христианства». Для вас Бродский — христианский поэт?*

— Я затрудняюсь кого бы то ни было называть «христианским поэтом». Это ярлык, этикетка, роль, как у Кублановского или Седаковой. Но насчет «не несет христианской радости вечной жизни» — какие глупости! У меня многие рождественские стихи Бродского ассоциируются с началом польской коляды: «Бог рождается, мощь крушится...» Другое дело, что у него нет того западного ограничения Рождества чистым праздником, Святками, где забывается обо всем, что будет дальше. И хотя он не написал ни одного стихотворения о Пасхе, а много — о Рождестве, по тональности он ближе как раз к православной традиции, где все-таки самый великий праздник — не Рождество, а Пасха с предшествующими ей Страстями и Распятием. Он в Рождестве всегда помнил о Распятии.

— *Вы очень внимательны к интонации своих и чужих стихов. Как бы вы описали доминирующую интонацию стихов Бродского? Как стороннего наблюдателя или как участника всего происходящего?*

— Как слушателя или даже «слышителя» — того, что вовне стихов, и того, что внутри их, вовне его самого и внутри. То есть участник и наблюдатель — не те термины, в которых я это воспринимаю. Это, впрочем, наверное, свойство моего восприятия, не объективного, направленного (в стихах и в отношении к стихам) на слух.

— *Вам не кажется, что многие формулировки Бродского в*

стихах и в прозе звучат как назидательные? Может ли Бродский «научить нас жить», как вас научила жизнь Ахматова?

— «Назидательность» у Бродского — на мой взгляд, свойство не этики стихов, а поэтики. У него ведь вообще часты формулировки, подобные естественнонаучным формулам, особенно в семидесятые-восемидесятые годы. «Назидательность» входит сюда же. Конечно, в человеческом поведении Иосифа были многие вещи, которые мне импонировали, были близки, но «учителем жизни» он для меня не был. Может ли — теперь, то есть только стихами — «научить жить нас», то есть кого-то? Почему бы и нет? Но это не специфика его стихов.

— *Вы глубоко уважали Ахматову и имели счастье знать ее лично. Говорили ли вы с Анной Андреевной о Бродском?*

— Ну наверняка говорила, но ничего конкретного не помню. Помню лишь, как она его любила, как за него волновалась, когда его арестовали и вплоть до самого освобождения. Помню их вместе — еще до его ареста, но всегда в большой компании. Она очень нежно к нему относилась.

— *Есть у вас и одно существенное расхождение с Иосифом. Вы любили и разлюбили Цветаеву, а он считал Марину Ивановну «самым грандиозным явлением, которое вообще знала русская поэзия». За что, по-вашему, он так высоко ее ценил?*

— Знаете, я так этого и не поняла. За «величие замысла»? Но мне всегда кажется, что и Ахматова повторяла эти слова с легкой иронией. «Грандиозное явление» — наверно, грандиозное. Согласна. Но вот вам «учитель жизни» наоборот. Да и «учитель стихов», по-моему, тоже наоборот. Мне кажется, что Иосиф, преклоняясь перед ней, слава Богу, ничему от нее не научился.

— *С другой стороны, Бродский говорил, что все, что он делает и пишет, «это в конечном счете и есть рассказ об Ахматовой». Как вам видится слияние этих огромных рек в море по имени «Иосиф Бродский»?*

— Ну вот, я думаю, что предыдущим ответом отчасти ответила на этот вопрос. Но продолжу. Мне кажется, что эти две «реки» вовсе не сливаются в море по имени «Иосиф Бродский». Не только Цветаевой я не слышу в поэтике Бродского, но, честно говоря, и Ахматовой, хотя «жить» она его, вероятно, во многом научила. Я вообще не знаю, откуда он идет.

Может быть, это английская поэзия? Тут я ничего не могу сказать, но подозреваю, что если копнуть поглубже, ответ будет тот же самый: и не оттуда. То есть все усвоено (и Мандельштам, и Хлебников, и кто угодно), но ничто прямо не проявляется. В конце концов, когда Бродский в качестве «учителей» называл своих чуть старших ровесников, он был прав, только он по щедрости называл их слишком в большом числе, зато имя Станислава Красовицкого (которому он в молодости был явно многим обязан) единственный раз мне удалось из него выжать.

— *Бродский помогал вам в переводе «Поэтического трактата» Милоша. В чем конкретно заключалась его помощь?*

— Мы внимательно читали перевод с рядом лежащим оригиналом, и он мне указал множество мест, которые я поправила сразу же, у него на глазах, или потом. Иногда предлагал свои поправки: например, «Интернационал» вместо «Интернационал», как у меня было сначала, — имея в виду, как поется: «С Интернационалом восстанет род людской». Других его поправок не помню, но были и еще. Успокоил меня относительно изредка попадававшихся шестистопных строк среди пятистопных, сказал, что это нормально. Весь перевод целиком прочитали, несколько часов.

— *В 1987 году вы присутствовали на нобелевских торжествах по случаю вручения Бродскому премии. Расскажите, пожалуйста, как он держался, как он себя чувствовал, какое ваше впечатление от церемонии, как он вас пригласил на нее?*

— Иосиф не приглашал меня в Стокгольм, я там была как корреспондент «Русской мысли». Держался он замечательно: вообще как мальчик, мальчишка даже, но во все нужные моменты (лекция, вручение премии, речь) — как «не мальчик, но муж». Сиял он — по-детски, никакого зазнайства, самодовольства, и излучал вокруг себя такую радость, что и все мы сияли не переставая.

— *Как стало особенно очевидным из Нобелевской лекции, Бродский был озабочен судьбой мира. Волновали ли его события в России в девяностые годы?*

— Я Иосифа последний раз видела в Париже еще в самом начале девяностых, так что ничего не могу сказать.

— *Как бы вы обрисовали основную координату движения мыслей Бродского?*

— О, я-то сама не мыслитель, какая трудная задача: «обрисовать основную координату»! Может быть, понять мир? И понять, что все равно до конца никогда не поймешь?

— *Я надеялась своим вопросом вернуть вас к христианству Бродского. В одном интервью он сказал, что «моя работа по большому счету есть работа во славу Бога» и что он согласен с Энтони Хект, что труд поэта — это элементарное желание толковать Библию. Вам не кажется, что исследователи Бродского пока не нашли подходящего языка толковать мироощущение Бродского?*

— О, вот это точно: «Работа во славу Божию» (я уточняю перевод: он ведь, наверное, сказал это по-английски). Но это еще не мироощущение — это описание своего дела в жизни, своего «труда поэта». Знаете, у меня есть такое стихотворение: «Но да будет, Господи, воля Твоя, чтобы тебя хвалило всякое дыхание» — и далее объясняется, что в том числе и мое. У Бродского «дыхание» хвалит Господа — даже в самых, казалось бы, неподходящих стихах (а в «подходящих», например рождественских — не менее). Это вам не «христианские поэты»!

То есть, переходя к мироощущению, оно, конечно, религиозное, монотеистическое и скорее христианское, чем иудейское: его Библия — это оба Завета. Но не декларированное, не ставшее программой (после чего и перестало бы быть мироощущением, как религия перестает быть религией, когда ее превращают в идеологию).

— *По вашему мнению, «мы все еще не до конца, не до самых глубин» поняли и восприняли Ахматову. Поняли мы хотя бы на четверть Бродского?*

— Тут другое дело. Может, и не поняли, но разбирались, разбираемся и будем разбираться. Посмотрите хотя бы все сборники по поэтике Бродского, к которым вы так или иначе приложили руку. А к Ахматовой не знаешь, как и подступить. «Я — тишайшая, я — простая...» Загадка, тайна — не знаю, как точно назвать. Тихий омут, только там не черти, а что-то другое, а до глубин никак не доглядишься, хотя и манит.

— *Известно, что Бродский не терпел вокруг себя определенный тип людей. Как бы вы охарактеризовали этот тип?*

— Вы знаете, для того чтобы ответить на этот вопрос, надо было быть ближе знакомым с Иосифом, чем я. Мы с ним были всегда в очень дружеских отношениях, но не было по-

стоянного с ним общения. И охарактеризовать, как он формировал свое окружение, я совершенно не могу.

— *Наташа, вы меня удивляете. Люди, которые с ним дважды кофе пили, считают его близким другом, а вы-то знали его с поэтического детства.*

— Да, я знаю его с тех пор, когда ему было двадцать лет, а мне двадцать четыре.

— *Как, на ваш взгляд, он относился к самому себе? С любовью, с уважением, с гордостью, с должным смирением?*

— В отношении к себе, к своим стихам, к своей славе он мне казался как ребенок. Я помню его в Стокгольме, он был совсем как ребенок. Он со всеми делил свою радость и был рад, что он нам доставляет эту радость.

— *Иногда Бродскому трудно было не только с другими людьми, но и с самим собой. Может быть, он не любил себя? В письме к Сергееву он говорит о своем «гнусном характере». Трудный у него был характер?*

— Вы знаете, я недавно одной своей православной подруге сказала: «Очень трудно любить ближнего, как самого себя, потому что мы чаще всего себя не любим». Она сказала: «Это отговорки». Я думаю, что наша нелюбовь к себе — это отговорки. Надо попробовать сначала полюбить ближнего, а потом, может быть, нам удастся полюбить себя, как мы любим ближнего. Иосиф-то ближнего в общем любил. Сколько я видела примеров его доброты к людям, его готовности помочь... Да даже эти пресловутые предисловия, о которых вы сами писали... Доброта его всегда была совершенно фактическая. Поэтому я думаю, что не то что он себя не любил, а он был к себе просто очень требователен. Я думаю, что я к себе все-таки меньше требовательна, хотя мне бывает и несносно с собою жить. Иосиф был очень требователен к себе, к ближнему он был как бы меньше требователен. И может быть, эта его мягкость к ближним в какие-то моменты срывалась на том, что кого-то, с кем он уж никак не мог быть мягок, может быть, он действительно не выносил. У меня в этом смысле очень просто: если кого-то не выношу, то это всем известно, в том числе и человеку, которого я не выношу. Иосиф по мягкости мог еще и не всегда сказать, а от этого не выносить человека еще больше. Все это с моей стороны догадки. Мы с ним были дружны, но никогда не были близкими друзьями. Иногда он мне

говорил что-то, что, как мне тогда казалось, не говорил больше никому. Я уже писала в своей статье на его смерть, как он мне тогда жаловался, когда Марина его бросила. Но я не все описала в этой статье, и то, чего я не описала, я и вам не скажу. Есть какие-то вещи, которые, мне кажется, Иосиф мне одной сказал. И не потому, что я близкий друг, а потому что я оказалась тут в эту минуту.

— *Он также был уверен, что вы не предадите. Кстати о предательстве, он несколько раз пишет о предательстве и в стихах и в прозе: «неважно, сколько раз тебя предавали». Что конкретно он имеет в виду? Предательство эсенин, друзей, знакомых? Или что-то более глубокое и общее?*

— Я думаю, что самой сильной была история о том, как Марина ушла к Диме Бобышеву, который был его другом. Дима ведь очень любил Иосифа. Я помню, как Иосиф меня только познакомил с Димой и как с другими Иосиф меня боялся знакомить, считая, что он слишком младший, а с Димой не боялся. Они тогда очень любили друг друга. И то, что Дима это сделал, это действительно было страшно. И ведь он Марину потом простил, а Диму он никогда не простил. Когда была редколлегия «Континента» в Милане, Иосиф отказался приехать, потому что там Наврозов. Я позвонила, и он сказал: «Я не хочу видеть Диму». Я думаю, что, наверное, вообще предательство друзей — это самое страшное. Там вообще непонятно, кто у кого оттянул... сложная душа Марины. И, может быть, уже тогда у Димы начиналось то, что мы сейчас видим в его писаниях (мне горько об этом говорить: Дима — мой крестный сын), — творческая зависть к Бродскому, и он сделал такую рокировку с другого края. Но он был, конечно, безумно влюблен в Марину. Он же Марине, уже беременной от Бродского, предлагал от него уйти к нему, к Диме. Бывают же такие женщины, как Марина, которую совершенно смертельно любили и Бродский, и Бобышев. У Иосифа сколько же лет это тянулось через все его романы. Никакие его романы от этой любви не исцеляли. И когда он в стихах ее полил¹, это значит, что ее предательство ему в этот момент было важно.

¹ Имеется в виду стихотворение 1992 года «Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне...» (3:250).

— Да, многие осуждают его за это стихотворение.

— Я тоже позвонила ему, а он говорит: «Ты не понимаешь, так надо». Для него вот это был момент исцеления. Он исцелился от любви и от памяти о ее предательстве одновременно. Он зачеркнул это. А у нас остались его стихи, поэтому мы этого не зачеркнем. И может быть, хорошо, что он написал это стихотворение: мы видим, чем Бродский от этого исцелился. Ничем другим он исцелиться не мог. Значит, так надо. Значит, он мне правильно сказал: «Ты не понимаешь, так надо». Я действительно не понимаю, но я ему верю, что ему в его случае так и никак иначе.

— *Самого Бродского тоже продолжают обвинять в предательстве: отказался приехать в родной город и получить звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, не вернулся в Россию, и вплоть до истеричных выкриков: «Нет, не любил он, не любил, не любил он родину». Стоит ли защищать его от пошлости неправды? Или лучше нам вспомнить слова самого поэта: «И защищать тебя / от вымысла — как защищать деревья / от листьев с ихним комплексом бессвязно, / но внятно ропщущего большинства» (3:275)?*

— Во-первых, мы знаем, какие круги это делают, стоит ли на них обращать внимание. Во-вторых, каждый человек имеет право «ехать — не ехать».

— *Но ведь вас, русскую, никто не обвиняет в нелюбви к родине, потому что вы не возвращаетесь в Россию. Вам не кажется, что тут есть элемент антисемитизма?*

— Если они попробуют сказать, что я русская, я тут же скажу, что, простите, но мой отец был еврей, хоть я, правда, и чувствую себя совсем русской, несмотря на то что во мне пятьдесят процентов еврейской крови. Прабабушка — гречанка, есть и смесь с украинской кровью.

— *И в России, и в Америке, и в Европе Бродский чувствовал себя одновременно иностранцем и как дома. Где нам искать объяснение этому странному феномену: в характере, в еврейских генах, в таланте?*

— Просто у него было свое одиночество везде. Я не думаю, что он чувствовал себя вытесненным. Я в нем не видела никогда никакой ущербности. Иосиф с ранних лет по экспедициям скитался. Он как бы от природы скиталец. Но бывало по временам, когда он чувствовал себя дома и в полутора ком-

натах, и в подвальной квартире в Нью-Йорке. В Париже, который он в общем не любил, но я бывала там, где он жил, около театра «Одеон», он и в этой квартире очень хорошо смотрелся, как будто он дома. Мы с ним встречались на углу в кафе, и он там себя чувствовал хорошо. Может быть, хорошо, как скиталец, который присядет и у него уже чувство дома. Так что не надо это преувеличивать.

— *Кстати, почему Иосиф не любил Францию?*

— А за что ее любить? Но он не любил и Париж, а я Париж люблю.

— *Он этого и не скрывал. Удивительно, что французы дали ему орден Почетного легиона.*

— Ну они это делают для собственной же славы. Французское государство себя прославляет, давая награды великим иностранцам.

— *Еще один любопытный нюанс, связанный с Бродским и Францией: Бродского освободили из ссылки раньше времени не потому, что за него просили Ахматова и Шостакович, а потому, что Сартр написал письмо Микояну. Сам Бродский предпочитал об этом никогда не упоминать.*

— Понятно. Мое отношение к Сартру от этого не переменится. Сартр же тогда отказался от Нобелевской премии и заявил, что лучше бы ее дали Шолохову. И Шолохову на следующий год дали-таки, как известно. Конечно, советское государство такому бесплатному агенту влияния могло оказать услугу и освободить «этого рыжего». А можно допустить и другой вариант. Они понимали, что Бродского надо освободить, и подослали к Сартру своих агентов влияния, которые и стали его тормозить: «Смотрите, что происходит с молодым поэтом в Советском Союзе. Жан-Поль, давай-ка ты возьмиись». Ну и Жан-Поль взялся.

— *Бродского также упрекают, что он был не благодарен Фриде Вигдоровой и Е. Г. Эткинду, что он отказывался говорить о суде. Его страшно покорибила вторая книга Эткинда о нем¹.*

— Книга Эткинда — это действительно нечто чудовищное. А запись суда Вигдоровой — это, конечно, гениальная

¹ Ефим Эткинд. Процесс Иосифа Бродского. Лондон, 1988.

вещь. Но Иосиф хотел, чтобы его судили не по суду, а по стихам.

— *Вы посвятили Бродскому несколько стихотворений. Что служило поводом или стимулом этих посвящений?*

— Ну все стихи были по конкретным поводам. «Три стихотворения Иосифу Бродскому» — после приговора. «Там, где Пушкинская осень...» — после Нобелевской премии, о которой я узнала в Риме (откуда поехала во Флоренцию — «Перед ангелом Мадонна»), вообще Италия для меня страна Иосифа куда больше, чем Америка. Остальные все стихи — на смерть и после смерти. Кстати, когда я осенью того же года, что был приговор и написаны «Три стихотворения Иосифу Бродскому», в «Трех стихотворениях, написанных в дороге» писала «...по улице Бродского / иду в метро», — это тоже о нем и, может быть, о том родстве судьбы (см. выше), то есть некоторое предвидение.

— *Какое из посвященных вами Бродскому стихотворений вам нравится больше всего? Можно его здесь поместить?*

— Возьмите из «Новых восьмистиший»¹:

* * *

Русский язык
потерял инструмент,
руки, как бы сами,
о спецовку отирает,
так и не привыкнет,
что Иосиф умер,
шевелит губами,
слез не утирает.

¹ Наталья Горбаневская. Набор. Новая книга стихов (март 1994 — февраль 1996). М.: АРГО-РИСК, 1996.

ЗОФЬЯ РАТАЙЧАК-КАПУСЦИНСКАЯ, 23 АПРЕЛЯ 2004, КРАКОВ

— Бродский посвятил вам несколько стихотворений: «Лети отсюда, белый мотылек...» (1960), «Пограничной водой наливается куст...» (1962), «Все дальше от твоей страны...» (1964), «Полонез: Вариация» (1981). Он назвал вашим именем поэму «Зофья» (1962). Знали ли вы об этих посвящениях в то время, когда эти стихи были написаны? Как вы реагировали на них?

— Да, я знала о них тогда же, когда они были написаны. Все эти стихотворения были присланы в письмах. А поэма «Зофья» была передана с Дравичем. Дравич привез эту поэму из Москвы, когда они первый раз встретились. Но еще раньше в письмах он упоминал, что пишет эту поэму: «Я тут написал такие стихи, за которые в другое время меня бы посадили». Меня это, конечно, очень заинтересовало, что это за стихи. Я не вижу в поэме «Зофья» никаких опасных вещей. Мне все показалось странно фантастическим в этой поэме. Я всегда удивлялась, почему эта поэма названа моим именем, потому что там гораздо более сложные проблемы его личной жизни. Я думаю, что это был какой-то перелом в его внутренней жизни и в его творчестве. Мне всегда казалось, что это как будто не Бродский, а кто-то другой написал поэму, потому что все стихи, которые я читала и слышала, казались совсем другими.

Зофья Ратайчак-Капусцинская — польский психолог, окончила психологическое отделение Ленинградского университета. После возвращения в Польшу занялась прикладной психологией в научно-исследовательском институте в Варшаве. Докторскую диссертацию защитила в 1972 года в Варшавском университете. Опубликовала три монографии по проблемам прикладной психологии, несколько сборников статей и рецензий. В настоящее время профессор психологии и директор Института психологии Силезского университета.

Есть еще несколько важных для меня стихотворений Иосифа, подаренных мне, особенно «Твоей душе, блуждающей в лесах...» (в письме от 1 ноября 1964 года, написанном рукой Толи Наймана), «В глазах темно...» и, конечно, «Полонез: вариация». Последнее, думаю, написано как реакция на события в Польше.

— Поэма «Зофья» действительно несколько загадочна, но, как заметила Ядвига Шимак-Рейферова, мы найдем здесь многие варианты тем и мотивов Бродского: мотивы дома, семьи, опасности, бегства, погони, Рождества. Она также находит в поэме следы прочитанного в это время Бродским: Библия, Махабхарата, Бхагавадгида, Лев Шестов, Серен Кьеркегор и многое другое. Профессор Рейферова напоминает нам, что Зофья — это польский вариант русской Софьи и греческой Софии, влекущие за собой «несколько значений: *Sophia — Anima Mundi*, мистическая Душа Мира, гностическая Душа, которая является Прачеловеком, самого себя приносящим в жертву»¹.

— Но Бродскому очень хотелось подчеркнуть, что это Зофья, а не София. И это было очень личное, без символических значений, по-моему. Там страшно много страстей. И у меня такое впечатление, что он удаляется от причинно-логического принципа, в ней много фантастического. Вот что он написал в письме от 21 февраля 1962 года: «Дело, Зошка, в том, что у меня в конце января были крупные неприятности с госбезопасностью.... Единственное неприятное обстоятельство во всей этой не кончившейся истории то, что при обыске у меня взяли все стихи и поэмы и среди них ту, которую я только начал, я теперь в какой-то темноте». Я думаю, что он работал над поэмой «Зофья». Это всего лишь догадка. В письме был вложен рисунок со стихами:

В глазах темно, вокруг темным-темно.
Огонь души в ее слепом полете
не был бы виден здесь давным-давно,
не будь у нас почти прозрачной плоти².

¹ Как работает стихотворение Бродского / Сост. Л. Лосев и В. Полушина. М.: НЛО, 2002. С. 30.

² Строки из стихотворения «Ступенька за ступенькой, дальше, вниз...». Есть небольшие разночтения с версией, включенной в «Сочинения Иосифа Бродского» (1:297).

— Бродский, по-моему, практикует в поэме «Зофья» прием монтажа: фотоаппарат, линзы, зеркала. Известно ли вам, когда Бродский читал Данте? В поэме содержится несколько аллюзий на «Божественную комедию»: образы тьмы и света, ада и рая, запряженных в рифме «клАД / хлАД», образ души («Ничто твоей души не сокрушит» и «от Страшного суда душа спасет») и многое еще.

— Я не знаю точную дату, когда он впервые прочитал Данте, но через несколько месяцев после передачи мне этой поэмы он мне писал о том, что читает «Божественную комедию». Вполне возможно, что он читал ее до написания и после написания «Зофьи». Ведь Данте становится настольной книгой для многих, кто его начинает читать.

— Наташа Горбаневская утверждает, что Иосиф запретил распространять «Зофью» в самиздате, но поэма эта так ей нравилась, что она переписывала ее от руки и «распространяла вовсю». Вы не знаете, почему Иосиф не велел распространять эту поэму?

— Мне кажется, что могли быть две причины. Одна, что он хотел ее сначала мне подарить, а только потом распространять. А другая, что поэма была неоконченной. Обратите внимание, что вторая часть во многом повторяет первую, я думаю, что это был вариант. Диалоги и голоса в этой поэме как будто идут с разных сторон.

— Поэма эта еще ждет своего исследователя. Она должна быть прочитана в более широком контексте.

— Я еще вот что хотела сказать. В одном из писем Иосиф прислал рисунок — вы знаете, что он довольно хорошо рисовал, мог даже портрет сделать. Я так поняла, что он видел себя как бы поэтом древности, римским поэтом или даже самим Данте. Возможно, он себя отождествлял с Данте.

— Да, вспомним его строки: «И новый Дант склоняется к листу / и на пустое место ставит слово» (2:309). Вы сказали, что не увидели ничего опасного в поэме. Но само слово «душа» тогда находилось под запретом. А в поэме Бродский говорит о «безмерной одинокости Души», «душа моя неслыханно чиста», «душа твоя тебя превознесет», подчеркивая свою индивидуальность и предсказывая свое будущее. Вам посвящено еще одно не менее интересное стихотворение 1981 года: «Полонез: вариация». Есть ли у вас объяснение, почему «полонез»? У Бродского обычно все названия значимы.

— Это стихотворение очень важно для меня. Оно написано по-русски, и Бродский сам перевел его на английский.

— *Расскажите, как вы с ним познакомились и когда?*

— Я слышала о нем и о его стихах гораздо раньше, чем я его увидела. Он дружил с Толей Найманом, с Женей Рейном и Галей Патраболовой, моей подругой по университету. Она тоже была психологом. Она-то и познакомила нас, пригласив его к себе. Это был конец 1960-го или уже 1961 год. Тогда-то я впервые услышала его стихи. На меня его чтение произвело грандиозное впечатление. Возможно, я тогда и не понимала поэзию, но мне казалось, что я все понимаю, что это страшно интересно и важно. Именно его душа взволновала меня: видно было, что это исключительно талантливый мальчик. Про него так говорили: «Мальчик, рыжий мальчик. Такой молодой! Кем он будет через 10 лет?»

— *Вы не помните, какие стихи он читал тогда при вашей первой встрече с ним?*

— Помню, например «Зачем опять меняемся местами...», «Теперь я уезжаю из Москвы...», «Приходит время сожалений...», «Приходит март, я сызнава служу...», «Теперь все чаще чувствую усталость...». Потом, когда я приехала в следующий раз, я заметила, что он стал уже довольно известным, признанным поэтом в литературных кругах. Стихи, которые он читал, были гораздо более зрелые и производили необыкновенное впечатление. Тогда он особенно ценил «Рождественский романс», «Холмы», «Ты поскачешь во мраке...» и, конечно, «Большую элегию Джонну Донну». Появились большие формы. При нем была рукопись поэмы «Гость», которую он мне показал, когда мы гуляли по Большому проспекту. Это была какая-то новая эпоха. Мы встречались очень мало. Потом я уехала в Польшу, и наша дружба, знакомство, связи, все то, что важно между людьми, все было перенесено в письма.

— *Вы сказали в одном интервью, что эта переписка была очень важной и для него и для вас¹. Какие вопросы вы обсуждали?*

¹ Jerzy Illg. Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim. Katowice, 1993.

— Трудно сказать, что мы обсуждали какие-то вопросы. Главным образом он выражал свои мнения (и сомнения), свои предчувствия, взгляды на жизнь и на вопросы, связанные с творчеством. Например, он писал мне: «...житейская правда только эхо другой грандиозной правды, которая сейчас мне не по силам. Это все чертовски страшно и мучительно, но здесь есть какая-то справедливость, о которой я догадываюсь, и поэтому разрешаю себе писать тебе письма». Понимаете, я была прежде всего адресатом, хотя он иногда спрашивал мое мнение, например про поэму «Исаак и Авраам». Я ответила, что суть этой поэмы не в сюжете. Он сказал: «Это гениально». У него был период какого-то душевного перелома, поисков, переоценки всего. Он был полон противоречий. С одной стороны, он был человеком очень целенаправленным, а с другой стороны, быстро менял отношения к другим, делал резкие переоценки, перебрасывался на разные темы и интересы. Был резок и нередко причинял боль другим. Короче говоря, это был период поисков самого себя. Но также неожиданно бывал очень мягким, с нежностью и вниманием готовый к грандиозной отдаче. Я его помню взволнованным, немного даже истеричным в реакциях, и одновременно — очень спокойным где-то внутри. Сам себя он считал обреченным на одиночество, но все знают, как часто он стремился к людям, к общению, к общине. Стихи — крик души, обращенный к другим. Все-таки.

— *Все, о чем вы говорите, нашло отражение в стихах: «Я ищу. Я делаю из себя человека». Вы упомянули вашу подругу Галину Патраболову. Это ей посвящен «Сонет» 1961 года «Мы снова проживаем у залива» с инициалами «Г. П.»?*

— Нет, не ей, но кому, я не знаю.

— *Он знал польский язык, когда вы с ним познакомились?*

— Я не думаю, но он интересовался польскими поэтами. Он хотел переводить их, чтобы получать какие-то деньги. Особенно он заинтересовался Галчиньским, может быть потому, что я подарила ему пластинку с его чтением. По-моему, он прекрасно перевел его «В лесничестве Пране». А «Заговоренные дрожки» — просто чудо, это конгениально. Но Норвидом он заинтересовался по другим причинам, не потому, что надо было переводить: в нем он нашел что-то близкое для себя. Потом как будто до него дошло, что польские поэты,

конечно, хороши, но это не то. Он начал искать метафизическую поэзию. И нашел, конечно, в Англии семнадцатого века.

— *К какому времени он все-таки овладел польским языком? Вы переписывались по-русски?*

— Исключительно по-русски. Но он очень забавно делал польские вставки в письмах ко мне, иногда переводы, иногда сам сочинял на польском языке стишки, смешные, старался меня развеселить.

— *Вы сказали, что переписка оборвалась. В силу каких обстоятельств?*

— Он уехал из России.

— *Вы снова встретились с ним в 1976 году в Америке?*

— Я была год в Соединенных Штатах на стипендии Фульбрайта в Питсбурге и приехала на несколько дней в Энн Арбор. Там был очень известный Институт Социальной Психологии. Я узнала, что Иосиф работает в Энн Арборе, потому что встретила с кем-то с кафедры филологического факультета в библиотеке, кто знал телефон Иосифа в Нью-Йорке. Я попросила у него номер телефона и позвонила Иосифу. Он абсолютно не ожидал такого сюрприза. У него еще не было своей квартиры в Нью-Йорке, он жил у своего приятеля-американца. Пригласил меня в свою «каюту» и читал мне свои стихи. Одно, особенно сложное, «Колыбельная Трескового мыса».

— *Ну это один из его шедевров. Продолжайте, пожалуйста, рассказ о вашей встрече в Америке.*

— Так вот, когда я позвонила ему, он очень обрадовался. «Это нечто мистическое», — повторял он несколько раз. Я была в Нью-Йорке три дня, потом уехала в Нью-Хейвен, и он звонил мне каждый день. И когда я вернулась в Нью-Йорк, мы встретились. Это было и смешно и страшно. Я боялась этой встречи. Знаете, как люди меняются. Но все было так, как будто мы вчера виделись в последний раз. Он пригласил меня в китайский ресторан, потом мы пошли в Гринвич Виллидж. И там он читал стихи по-польски в оригинале «Заговоренные дрожжи». И я обалдела, потому что это был прекрасный польский язык без акцента. Он и тогда переводил Галчиньского, исключительно хорошие переводы. Он схватил дух юмора Галчиньского. Официантка спросила, на каком языке мы разговариваем.

— *У вас есть любимые стихи Бродского, кроме посвященных вам?*

— Стихи о Венеции. Конечно, для меня тоже очень важна его поэма «Исаак и Авраам». Тоже нечто совершенно новое и необыкновенное. Ее привез Дравич из России. По-моему, эта поэма тоже доказательство его душевного перелома.

— *Говорили ли вы устно или письменно на религиозные темы?*

— Он сначала писал, что есть что-то, что можно назвать Абсолютом, а потом о своих сомнениях. По-моему, все свои личные невзгоды, бедствия, все осложнения жизни служили ему стимулом для творчества и для героической жизни. Но с другой стороны, он все-таки считал, что это несправедливо, что столько бед на него свалилось. А вот что он писал: «Я сейчас подумал, что если понадобятся какие-то мотивы, документы для поступления когда-нибудь в тот монастырь, можно будет с успехом употребить эти письма».

— *Да, самоуничтожение и гордость легко в нем уживались. Не потому ли его не принимали за своего ни христиане, ни евреи?*

— Может быть, он этого хотел. Он хотел во что бы то ни стало сохранить свою самостоятельность.

— *И все-таки мы не должны забывать, что он на каждое Рождество писал стихи.*

— Да, это как будто аргумент в пользу того, что он христианский поэт. Я думаю, что Рождество было таким праздником, который даже физически стимулировал его к размышлениям и к творчеству. К какому-то очень тонкому, без дерзости, без иронии писанию.

— *Вам не кажется, что он все время осознавал, как близко стоит за плечами смерть. Ведь у него с детства было большое сердце?*

— Мне трудно согласиться с этим. Это нечто спекулятивное. Ведь он страшно обожал жизнь и совершенно себя не берег. Мне рассказывали друзья из Оксфорда, что когда он приезжал в Оксфорд, он мог читать часами, пил, курил и любил поесть. Однажды у него был сердечный припадок, приехал врач, сделал укол и посоветовал лечь в больницу, но Иосиф отказался.

— *Я это знаю. Когда я приехала в Энн Арбор в 1980 году, он при первой же встрече попросил меня сделать сибирские пельме-*

ни. Я налепила их сотни. Вечером пришел Иосиф и его друзья, выпили и съели все пельмени. А на следующий день он здорово опоздывал на нашу встречу и явился только вечером. Спрашиваю, в чем дело? «Да обжелся вчера ваших пельменей, ночью плохо стало, и сам себя в больницу увез, думая, что это инфаркт». Вы были в Венеции?

— Да. Я была на похоронах Бродского.

— Вы получили приглашение от Марии Бродской?

— Нет, я получила приглашение от друга Бродского, которому он посвятил «Watermark» («Набережная неисцелимых»).

— Американский художник Роберт Морган. Когда я его навещала, у него подруга была полька. Недавно он подарил мне копию своего портрета Бродского и разрешил поместить ее на обложке этого сборника интервью. Очаровательный человек.

— Да, да. Мы как раз жили у его подруги Евы.

— Способствовали ли вы распространению стихов Бродского в Польше?

— В какой-то степени да, потому что у меня была подруга Евгения Семашкевич. Она была первым переводчиком Бродского на польский. Ее переводы были напечатаны в Польше, ее и Дравича, параллельно. Я удивлялась, как можно одно и то же стихотворение так по-разному перевести: «Огонь, ты слышишь, начал угасать» и «Слепые музыканты».

— Бродский и Польша. Почему его привлекал и польский язык, и польская поэзия, и польские женщины?

— Что касается женщин, не мне судить. Мне кажется, что это был такой момент, такой период исторический, когда в России молодые люди, особенно интеллектуалы, интересовались польской литературой, им нравилось читать польские журналы, например «Przekrój». В Польше в то время было больше свободы, чем в России. И это привлекало. Это был круг людей, которые интересовались польской литературой. Бродский видел некоторые фильмы Вайды, например «Пепел и алмаз», и считал его абсолютно гениальным, и идею этого фильма и как он сделан.

— И конечно, на польский язык были переведены многие западные писатели, как Джойс и Фолкнер, которые были недоступны в России.

— О да, я посылала ему эти книги и на английском языке,

потому что у нас раз в год проходили международные книжные ярмарки, на которых можно было купить все, что угодно. Книги, привезенные на выставку, оставались в Польше. Я покупала многие книги и посылала их Иосифу по почте. Может быть, не все дошло. Но и он тоже подарил мне несколько важных книг и сборников Державина, Тютчева, Баратынского, Цветаевой, Заболоцкого и много рукописных текстов самиздата. Он очень любил «читать лекции», и мне это очень нравилось. В качестве абсолютно необходимой литературы заставил читать Достоевского «Записки из подполья».

— *А как и где вы выучили русский язык так хорошо?*

— Я пять лет училась в Ленинградском университете и закончила психологическое отделение философского факультета. Вся существенная часть моей молодости прошла в России.

— *После отъезда Иосифа из России как часто он посещал Польшу?*

— Всего два раза. Первый раз его пригласил Анджей Дравич в 1991 году, который был тогда директором телевизионного центра. Иосиф был в Кракове три дня, и мы встретились в Кракове. А потом он приехал на неделю в Польшу в 1993 году, три дня был в Катовицах (21—23 июня) и три дня в Варшаве.

— *Чья это была идея дать ему звание доктора Honoris Causa в вашем университете?*

— Это была идея директора театра в Катовицах Богдана Тоши. Филологический факультет моего университета решил сделать это совместно, ибо он прежде всего поэт. Я, конечно, была «за» и так голосовала на заседании Сената. Театр ставил пьесу «Мрамор», и театральная труппа очень хотела познакомиться с автором. Я привезла вам книгу жены директора театра, Эльсбиты Тоши, в которой все описано и есть много фотографий¹. Конечно, славянское отделение тоже участвовало в этом торжестве. Приехало много народу: критики, переводчики Бродского, в частности Станислав Бараньчак, а также Катаржина Кржижевская и другие. Сам Милош представлял Бродского и три дня был в Катовицах. И они вместе

¹ Elzbieta Tosza. Stan serca. Trzy dni z Josifem Brodskim. Katowice: Ksiaznica, 1993.

читали стихи. Вся церемония описана в этой книге. Речь Бродского «Польша» очень интересна. Она также напечатана в книге Эльсбиты Тоши, *Laudatio*¹ было прочитано Т. Славком, ведущим англистом нашего университета.

— *Что произвело на вас самое большое впечатление в его речи на торжественной церемонии?*

— Он говорил о том, что научился искусству сопротивления у поляков, что у нас теперь нет «удобного» внешнего врага. Сейчас мы должны встать лицом к лицу со злом, которое в нас самих: «Сопротивление собственному интересу, постоянная забота о других требуют выработки совершенно иного инстинкта, нежели тот, который противостоял полицейскому государству». Что ни Запад, ни Восток не предлагают убедительной модели. Он советовал развивать хороший вкус и сомнение в самом себе. Говорил, что культура, в особенности литература — единственная защита от вульгарности.

— *Вы упомянули Бараньчака. Его переводы хвалил Милош в разговоре со мной*². *Но существует несколько разных переводов Бродского на польский. Чьи переводы вы считаете наиболее удачными?*

— Переводы Бараньчака, видимо, самые лучшие, но я бы хотела подчеркнуть большую заслугу Катаржины Кржижевской. Она писала дипломную работу, посвященную поэзии Бродского, и перевела почти все, что он написал. Некоторые стихи Бродского были здесь положены на музыку. Стихи Иосифа вообще очень музыкальны, правда? И потом, как он читает свои стихи!

— *Кстати, вы познакомились с ним в начале шестидесятых, и он читал вам стихи при первой встрече. Это та же манера чтения?*

— Да, та же манера. По-моему, она производила огромное впечатление.

— *Даже если люди не понимали языка, они были загипнотизированы голосом. Где именно в Катовицах читали Милош и Бродский?*

¹ Похвальное слово (*лат.*).

² Валентина Полухина. Бродский глазами современников. СПб.: Журнал «Звезда», 1997. С. 318.

— В Силезском театре. Были сотни и сотни слушателей. Был огромный интерес и еще больший успех. Вечер на большой сцене театра считался культурным событием страны. В тот же день вечером была организована встреча с актерами и друзьями театра на малой сцене. Они читали стихи Иосифа, а потом его самого попросили читать. И вдруг... с ним случилось потрясение, он стал рыдать, а Богдан Тоша просил успокоиться. Как оказалось, успешно. На следующий день на пресс-конференции он объяснил причины своего потрясения: вдруг вспомнились Ленинград, где проходила его молодость, друзья и климат тех времен.

— *Может быть, ему было грустно, что его чествовали в Польше, а не в России?*

— Нет. Посмотрите текст его выступления «Польша» на церемонии. Он выражает свое уважение Польше за то, что она никогда никому не покорялась. И в поляках ему больше всего нравилась их непокорность. Но ему тогда не нравились новые времена — дикий капитализм и тому подобное. Это был 1993 год, самое начало, но он уже видел, к чему это приведет. У него было очень острое зрение. Я наблюдала, как он все видит. Ему достаточно было заметить знаки чего-то, как он уже видел результат, во что это прорастет.

— *Его взгляд способен был проникнуть за занавес, закрывающий так многое для нас. Вы, конечно, читали его эссе. В них это его качество тоже заметно.*

— Да, конечно. У меня есть книги, подаренные им, его любимые — Цветаева, Заболоцкий, у которого сильная метафизическая струя. У меня много его подарков.

— *У вас также много его писем. Вы их вернули наследникам Бродского? Они всех нас просили вернуть письма и рукописи Иосифа.*

— Я передала им все письма, точнее — копии. Оригиналы я оставила себе.

— *Я тоже передала все пленки с его лекциями и семинарами. Все это лучше сохранится в архиве Бродского в Йельском университете. Еще один вопрос. Переводя польских поэтов, имея столько польских друзей, что он взял, позаимствовал, присвоил из польской культуры?*

— Я чувствую, в нем есть многое из Норвида, особенно форма стихотворения. Он считал, что у Норвида есть некое

прекрасное сочетание абсолюта с конкретным. Он одной рукой брал, а другой — отбрасывал.

— *Читают ли сейчас Бродского в Польше?*

— Читают. Еще как. Его популярность с самого начала огромная, особенно у молодой публики. Должна заметить, что стихи Бродского были впервые опубликованы в польских журналах раньше, чем в Советском Союзе. Журнал литераторов («Odgłosy», г. Лодзь) напечатал сонет в переводе Е. Семашкевич в 1963 году; «Большая элегия Джону Донну» в переводе А. Дравича появилась в журнале «Współczesność» (№ 21, 1963). Потом, начиная с 1985 года, регулярно появлялись стихи и проза в нелегальных издательствах (drugi obieg, нелегалы), например J. Brodski, «Wybór poezji» (переводчики Бараньчак, Дравич, Мандальян, Вирпша, Ворошильский, Краков, 1985, 1987). «Zeszyty Literackie» (№ 19, 1987) тоже печатала его нелегально. В течение 1989—1998 годов в Польше изданы следующие книги переводов поэзии Бродского: «82 wiersze i roematu» (пер. Бараньчака, предисловие Милоша, Краков, 1989); «Wiersze i roematu» (пер. Кржижевской, Краков, 1992); «Lustro Weneckie» (пер. Кржижевской, Краков, 1993); «20 sonetow do M. Stuart» (пер. Нэтс, Катовицы, 1993); «Poezje» (пер. П. Фаст, Катовицы, 1993); «Znak Wodny» (пер. С. Бараньчака, Краков, 1993); «Marmur» (пер. Гондович, Катовицы, 1993); «Zamieć w Massachusetts» (пер. Кржижевской, Краков, 1994); «Fin de siecle» (пер. Кржижевской, Краков, 1996); «Poezje wybrane» (пер. Бараньчака, Кржижевской, Ворошильского, Краков, 1996); «Pochwata nudy» (пер. Бараньчака, Колышко, Клобуковского, Краков, 1996); «Wiersze ostatnie» (пер. Кржижевской, Бараньчака, Краков, 1998). Журнал «Literatura na świecie» (№ 7, 1988) полностью посвящен творчеству Бродского. Похоже, это не полная библиографическая справка, но она достаточно свидетельствует о том, что Бродского знают и читают в Польше. Все его книги, изданные после 1993 года, были бестселлерами. Кроме того, существует много книг и статей о творчестве Бродского.

— *Если бы я попросила вас назвать самую определяющую черту характера Бродского, вы бы указали на клубок противоречий?*

— Нет, на страсть.

— *А как же упреки в холодности, рационализме, отсутствии теплой русской струи?*

— Эти критики тоскуют о сентиментальности, которая Бродскому была чужда. Он искал во всем новый смысл, все время шли поиски чего-то над, чего-то выше всего того, что человек видит. И чувствовалось, что он это может, что он это найдет. Что язык, который он считал универсальным средством духовной жизни, выведет его к этому высшему смыслу.

— *Вот почему он так идеализировал язык. От кого вы узнали о его смерти?*

— Я узнала от моей подруги, которая жила тогда в Петербурге. Она позвонила мне в Варшаву в тот же самый день вечером. Мне кто-то послал его последнюю фотографию. Мне было страшно, я его почти не узнала. Это такая фотография из газеты «Нью-Йорк Таймс», где много-много сигарет лежит на полу. А у него такое абсолютно безнадежное лицо. Он знает — конец. Потом я слышала, что многие посвящали ему стихи.

— *Я одно время собирала их, в моей папке более ста стихотворений, адресованных и посвященных Бродскому. Может получиться целый сборник. Уверена, что собрала не все.*

АННИ ЭПЕЛЬБУЭН, ИЮНЬ 2004, ПАРИЖ

— В июле 1981 года вы взяли у Бродского пространное интервью¹. Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах и поводе для столь подробного допроса поэта не только о нем, но и о русской поэзии.

— Я тогда работала на радиостанции «France-Culture» и предложила сделать серию передач о русской поэзии. Я решила рассказать об особом значении поэзии для русской публики, то есть объяснить среди прочих особенностей устный характер этой поэзии, значение фигуры Пушкина, роль поэзии как морального стандарта и т. д. и т. п. И я сразу подумала о Бродском. Но я знала, что человек он больной, что у него всегда было ощущение краткости жизни, к тому же он дал мне знать, что чувствует себя неважно. Короче, не следовало откладывать, заодно я хотела сделать обширное свободное интервью с ним, «про запас». Он в это время был в Лондоне, я попросила, чтобы мне заказали полдня на студии Би-Би-Си. Я решила расспросить его подробно о нем самом, о Пушкине и о русской поэзии, другими словами, собрать все возможное, а не только то, что мне нужно было для передачи. Условия были идеальные не только в смысле техники, но люди

Анни Эпельбуэн изучала французскую и русскую литературу сначала в Сорбонне, затем в Парижском университете Vincennes-Saint Denis (Paris VIII). 1970—71 учебный год она провела на стажировке в МГУ. Занималась переводом и писала предисловия к разным книгам, включая произведения А. Платонова и М. Мамардашвили, вела программы на радио «France-Culture». В настоящее время преподает литературу XX века в университете Paris VIII.

¹ Анни Эпельбуэн. Европейский воздух над Россией // Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 130—153.

были приятные. Иосиф был в хорошем настроении, и мы очень свободно говорили.

— *Вам явно удалось разговорить Бродского. Мы знаем из других интервью, что степень его щедрости не зависела от количества времени или от его самочувствия, а проистекала исключительно из того факта, нравился ли ему сидящий перед ним человек. Вы, безусловно, были ему очень симпатичны. Вы это чувствовали?*

— Ему вообще было приятно в этот период и жить, и говорить. Это был период ненапряженный, задолго до Нобелевской премии. Он еще не увлекся политикой и спокойно беседовал о литературе, то есть о самом важном. Он знал, что я специально приехала в Лондон, чтобы с ним увидеться, и что мы сможем спокойно пообщаться в течение нескольких дней, как у нас бывало время от времени. Погода была прекрасной, над Лондоном сияло июльское солнце, мы очень приятно гуляли по городу...

— *В вашей беседе с Бродским вы заметили, что «французы не знают, кто такой Иосиф Бродский». Когда французы узнали о нем?*

— Это, пожалуй, трудный вопрос. По-моему, французы до сих пор не знают, кто такой Бродский. Он остается для многих совершенно чужим, хотя есть все-таки узкий круг поэтов и интеллигентов, которые очень высоко его ценят. Виноваты, с одной стороны, сами французы, которым, чтобы принять поэта, требуется кое-что, чего у Бродского нет. Например, он никогда ни в стихах, ни в эссе не говорил о Франции, о французских поэтах. Тогда как такой писатель, как Макин, которого я никак не ставлю на один уровень с Бродским, пользуется успехом хотя бы потому, что его герои обожают Францию и французскую культуру. А Бродский обожал не французскую, а американскую культуру. К тому же Бродский — поэт сложный. Но Мандельштам тоже поэт не из легких, а пользуется тем не менее успехом: люди, не имеющие отношения к руссистику, читают его, знают его, цитируют, а Бродского — нет.

— *Однако попытки представить Бродского французской публике были предприняты очень рано. Французский журнал «La Grêche», основанный Андре Бретоном, 8 ноября 1965 года опубликовал обширный протест против судебного преследования Бродского. Почему именно сюрреалисты выступили в защиту Брод-*

ского? Ведь большинство из них были леваками, позже подписывавшими декларацию в поддержку Фиделя Кастро?

— Тут нет никакого противоречия. Можно было быть левым поэтом и бороться за свободу! Были разные сюрреалисты. Андре Бретон отличался от некоторых других французских поэтов тем, что он был свободен политически. Он был явным антисталинским писателем, в отличие от Арагона, он выступал против всякого рода цензуры и имел трезвые взгляды на советскую действительность. Бродский, если он пользуется во Франции какой-то известностью, с самого начала и до сих пор именно как фигура свободного поэта, который сумел противостоять советской власти. А потом он был вынужден эмигрировать и выбрал Штаты. Это и хорошо и плохо, ведь всегда вредно, когда поэзия уступает место биографии или политике.

— В какой степени стенограмма процесса над Бродским продемонстрировала западной левой интеллигенции истинную природу советского строя?

— Во Франции можно было быть левым и не быть просоветским. Большинство французской интеллигенции после войны левое. Здесь есть значимые нюансы. И в шестидесятые годы не все левые поддерживали миф Сталина, но интерес к тому, что происходит в Советском Союзе, был огромным. Первое потрясение в мозгах просоветской интеллигенции произошло в 1956 году, затем во время процесса над Синявским и Даниелем в 1966-м. Тогда уже всем почти было понятно, что можно обвинить писателя только за то, что он писатель. Мало кто знал о процессе над Бродским в 1964 году, а уже два года спустя все газеты рассказывали о процессе над Синявским и Даниелем; были опубликованы яркие протесты.

— Насколько широко известно во Франции, что Бродский обязан своим досрочным освобождением из ссылки в 1965 году не хлопотам Ахматовой и Шостаковича, а письму Сартра Микояну, Председателю Президиума Верховного Совета, в августе 1965 года? А в сентябре 1965-го Бродского освободили.

— Я ничего не знала об этом письме. И я не уверена, что такое письмо, если оно и есть¹, помогло. Было бы интересно

¹ Письмо Жан-Поля Сартра Председателю Верховного Совета Анастасу Микояну было опубликовано в «Литературной газете» 5 мая 1995 года и перепечатано в книге Якова Гордина «Переключка во мраке» (СПб.: 2000. С. 198—190).

знать, кто подсказал Сартру. Он же был явным просоветским писателем и в течение двадцати лет был попутчиком французской компартии, его приглашали в Советский Союз, ставили его пьесы, и он ни на что не возражал.

— *Наташа Горбаневская считает, что Советы понимали, что Бродского надо освободить, и подослали к Сартру своих агентов влияния, которые и подсказали ему идею письма к Микояну.*

— В том, что Сартр мог охотно принимать советских агентов и их советы, я уверена. А чтобы он сам решил выступить с письмом в защиту Бродского, не может быть.

— *Когда вы впервые услышали его имя и прочитали его стихи?*

— Профессор К. Фрию, специалист по Маяковскому, у которого я писала дипломную работу о Платонове, дал мне кое-какие адреса, в том числе и адрес Лили Брик, когда я поехала на стажировку в Москву в начале 1970 года. Он сказал, если я поеду в Ленинград, я должна попытаться там встретиться с молодыми одаренными поэтами, среди которых есть Бродский, про которого он только слышал. Одна французская стажерка, Мурель Серф, которая хорошо знала Бродского, повела меня к нему домой. И мы сразу как-то сошлись, сначала на тему Платонова. Тот факт, что я занималась Платоновым, его потряс, ему явно было очень приятно говорить со мной о литературе до самого вечера. У меня сохранились записные книжечки, в которых он сразу записал список книг, которые я обязательно должна прочитать. У него была такая склонность к дружеским педагогическим рекомендациям. Хотя этим он никак не давил на меня, а скорее «присвоил» меня, то есть принял как своего человека, и я сразу стала уважать его, потому что он почти всегда был прав, был именно тем, что я тогда искала в людях. Каждая его фраза имела для меня огромное значение, ибо отличалась от общей лжи и мифотворчества. Я была поражена ясностью и уверенностью его ума. Он попросил меня вернуться. Тогда он стал читать для меня свои стихи, и я познакомилась с его поэзией устно, записала его стихи на магнитофон. Это было в июне 1970-го. Только позже, в Париже, я стала читать его стихи.

— *Никакой дистанции между вами не было?*

— С самого первого момента мы стали общаться так, как

будто мы были давними друзьями и говорили на одном языке. Все, что он говорил, было для меня и прозрачно и необыкновенно ценно. Он сиял каким-то удивительным чувством достоинства. Это как раз то, что нас сблизило, впечатление было такое, как будто мы спасаемся от всеобщей грязи, находимся там, где спокойно и свободно дышится и говорится.

— *Бродский написал послесловие к вашему переводу платоновского «Ювенильного моря»¹. Он сам предложил свои услуги или вы его об этом попросили? Русская версия этого эссе Бродского мне неизвестна.*

— Я вернулась в Париж в январе или в феврале 1971 года. Я привезла с собой рукописи «Котлована» и «Ювенильного моря». Последнее ходило в самиздате, а «Котлован» я просто скопировала в Ленинке, попросив старый номер журнала «Октябрь»². Это были два последних крупных неизданных текста Платонова. «Чевенгур» только что был издан в Париже на русском и переведен на французский. Во Франции я договорилась с издателем, что я напишу предисловие, и предложила, чтобы Бродский написал послесловие. Иосиф с удовольствием согласился, так же как заведующий отделом иностранной литературы Петер Израэль. Он был американцем, слышал про Бродского и с удовольствием познакомился с ним в Париже, пригласил нас в ресторан, и они подписали отдельный контракт. Таким образом, это был первый напечатанный текст Бродского о Платонове. Потом Бродский шутил, что я единственная женщина, с которой он спит под одной книжной обложкой.

— *На каком языке Бродский написал это послесловие? У меня есть этот текст, но только по-английски, и я не помню, кто мне его дал.*

— Он написал его по-русски, отправил текст в издательство, и я перевела его на французский и вернула оба текста издателю. Мне кажется, что это было весной 1975-го. Книга вышла в 1976 году.

¹ Andrei Platonov. La Mer de Jouvence. Traduit du russe et preface par Annie Epelboin; Suivi de Andrei Platonov par Iossif Brodski. Paris: Albin Michel, 1976. S. 173—178.

² Первая публикация «Котлована» — Лондон, 1969, отд. изд. — *Ред.*

— *Вы наблюдали его довольно близко. Правда ли, что в любой ситуации он вел себя прежде всего как поэт? Как вы воспринимали Бродского, прежде всего как интересного мужчину или как поэта?*

— Думаю, что он был и удивительным поэтом, и нормальным человеком. Он любил поесть, любил смеяться, ходить в музеи, любил кошек. Время от времени вдруг он садился за стол и что-то сочинял. Или вообще никуда не ходил. У него был взгляд поэта в том смысле, что он смотрел на вещи и замечал необычное в обычном. У нас были серьезные шутки о деталях обыденной жизни: он был веселым человеком, но охотно подчеркивал главное именно в мелком. Я тогда говорила по-русски совершенно свободно, у нас были взаимные игры слов. Однажды в конце 1970 года мы встретились в Москве, и он говорит: «Знаешь, что я видел по дороге сюда? Стоит грузовик на тротуаре, из него вытаскивают бочки. И я вдруг вижу, что из бочки вылетает рыба и прыгает под грузовик». Это было очень красивый образ, из тех, в которых есть простой и глубокий смысл, которыми мы обменивались все время. То есть он видел жизнь глазами поэта, он умел ловить детали, которые открывают глубокий смысл жизни.

— *Бродский был весьма непредсказуем. Довелось ли вам испытать это его качество на себе?*

— Конечно. Я помню, например, как, узнав, что я в Ирландии, он назначил мне свидание в каком-то городе и не появился. Я ездила, ждала его, а он так и не приехал. Он мог опоздать на несколько дней и удивиться, что ты его уже не ждешь. Или попросить, чтобы я познакомила его с каким-то человеком, а потом быть очень грубым с ним. Но я не хочу вспоминать такие примеры.

— *Это все важно, ибо Бродский-человек не менее интересен, чем Бродский-поэт.*

— Как вы уже заметили, он был непредсказуем. Мы идем в одну сторону, вдруг он повернул, вдруг исчез, его нет. Вдруг он находится совсем рядом, вдруг другие планы, вдруг... Не было в нем последовательности в отношениях с людьми, по крайней мере с женщинами. И в то же время последовательность была: мы остались друзьями, как будто мы были родными. Это я применилась к его манере, к его характеру. Но

не могу сказать, что это было это легко. Кажется, ему было необходимо время от времени обижать человека.

— *Какие качества характера Бродского вас восхищали, а какие раздражали?*

— Восхищал его постоянный интерес к идеям, к высшим человеческим ценностям. Его интерес к реалиям жизни и умение превратить это в сцену, которая имеет универсальное значение. Раздражала именно эта непредсказуемость, ненадежность. И даже грубоватость.

— *Можно ли эту грубоватость объяснить его советским воспитанием?*

— Знаете, он был незаурядным человеком, который не зависел от воспитания. Есть и среди русских, выросших в Советском Союзе, очень тонкие, деликатные люди. Нет, это не зависит от воспитания. Или только от семейного воспитания. Вероятно, он был избалованным ребенком. Но недостаточно говорить об этом. Он же был взрослым и выбрал себе такой образ жизни или не мог иначе...

— *Может быть, потому что он был очень нервным человеком. У него ведь от рождения было большое сердце.*

— На самом деле он особенно ощущал краткость жизни. При всем при том он был довольно робким человеком. Он был удивительно уверен в себе как поэт: я познакомилась с ним, когда ему было двадцать девять лет, он был как будто еще молодым поэтом, но тем не менее уже окончательно сложился как поэт, считал себя несомненно крупным поэтом, мечтал уже о Нобелевской премии, он мне об этом написал в письме. Но как человек он не был таким уверенным в себе, часто краснел, стеснялся. И у него был какой-то комплекс неполноценности. Он не нравился себе физически. Это, возможно, объясняет его поведение, смесь невероятной нежности и грубости. Он очень нуждался в провокации.

— *На каких поэтических вечерах Бродского в Париже вы присутствовали? Как принимали его французы? Один из его вечеров 12 июня 1984 года был организован журналом «Континент» и газетой «Русская мысль» и снят на видеопленку итальянским телевидением. Присутствовали ли вы на нем? Был ли он показан по французскому телевидению?*

— Думаю, что я присутствовала на всех его вечерах. Конечно, есть большие любители стихов Бродского во Фран-

ции, среди них и французские поэты, но их немного. На его поэтических вечерах присутствовали в основном русские эмигранты всех поколений, студенты и слависты. Надо знать, что французская поэзия обычно читается не вслух и не публично, а в книгах, в интимной обстановке, каждый читает для себя. Нет такой традиции поэтических вечеров.

— *Тот факт, что Бродский не знал французского языка и не мог вмешиваться в переводы собственных стихов на французский, помогал или мешал качеству переводов?*

— Качество перевода в принципе не зависит от этого. Но это, конечно, мешало. Бродский отрицательно относился к Франции, к французскому языку, к французской культуре. Такая предвзятость не способствовала хорошим переводам или по крайней мере условиям подготовки и издания этих переводов. Он считал, что во Франции нет поэтов. Этой явной неприязнью к французской культуре он как будто заранее создавал условия для неприятия его во Франции. Тогда как его восторг перед англо-американской культурой способствовал его успехам в Штатах. Были и другие причины. Вначале руководил переводами его стихов Эткинд, но через какое-то время они поссорились. Бродский был ужасно недоволен его книгой «Процесс Иосифа Бродского» и недоволен его теорией перевода. Он тогда мне сказал: «Я ему запретил заниматься моими французскими изданиями. Не хочешь ли ты этим заняться?» Я должна признаться, что я отказалась, я не хотела брать на себя такую ответственность, вступать в трудные отношения с Эткиндром, с русской средой и с самим Бродским. Он мне об этом не говорил, но я чувствовала, что ему это, конечно, не понравилось.

— *Он вам честь оказал, а вы отказались.*

— Да, я отказалась от этой чести и отказалась даже от переводов. А он просил меня переводить какие-то стихи. Я жалею, что я отказалась, но я тогда испугалась, что перевод никогда не даст полного представления о настоящем размере этой поэзии, как это случилось, например, с переводами Пушкина, которые в основном дают жалкое представление о поэте. Но я потом сделала о нем серию передач по радио сразу после получения Нобелевской премии. Это была неделя Бродского. И я могла это сделать, потому что у меня была уже как раз пленка с Би-Би-Си, откуда я взяла куски из интервью с

ним, его чтение и сделала дополнительные интервью о нем с друзьями Бродского.

— *Кстати, чем вы объясняете некоторую неприязнь Бродского к французской поэзии и вообще к Франции? Ведь у него было несколько очень близких друзей в Париже, включая вас. Да и трудно забыть, что без французской поэзии Пушкина бы не существовало.*

— Он не знал французского языка. А когда он чего-то не знал, он реагировал не молчанием, а отрицанием. Это опять же чувство неполноценности. Если он в чем-то не разбирался, он утверждал, что там нет ничего интересного. Во-вторых, он мне говорил, что французская культура, французская литература уже кончилась, потому что сейчас одни коммунисты во Франции. Это было преувеличение и смешное преувеличение. В этом его слабая сторона. Или это часть его портрета, у него были какие-то детские черты: он отрицал всякие положительные качества того, чего он не знал. Не признавал, что нельзя все знать. Он мог говорить о японской поэзии, потому что мало кто ее знает. Но он хотел всегда занимать авторитетную позицию. Не усвоив ни языка, ни культуры, он сделал из Франции неинтересный предмет. Я называла ему имена и читала стихи Бодлера и других поэтов. Но он вяло реагировал.

— *Были ли у него друзья среди французов, кроме женщин?*

— Я не знаю точно. В Париже он прежде всего встречался с американцами, живущими здесь. Но с годами он полюбил город, Люксембургский сад, набережные Сены.

— *Бродский бывал в вашем доме в Париже?*

— Да, однажды он пришел на ужин ко мне, я познакомила его с моей маленькой дочкой, и он начал с ней говорить на языке кошек. Она ему отвечала, как будто понимала его язык. Ему это очень понравилось. До этого я никогда не видела Иосифа с детьми. Он тогда говорил о том, как тяжело ему было всегда быть связанным надолго с одной женщиной, с очагом, с семейной жизнью, а через год он вдруг женился.

— *Бродский познакомился со своей будущей женой Марией Соццани, по матери Бертеновой, во время выступления в Сорбонне, в январе 1990 года. Были ли вы свидетелем этой встречи?*

— Странно, что русские всегда уверены, что только в Сорбонне проводятся конференции в Париже. Это русский миф.

Сорбонна как парижский единственный университет прекратила свое существование в 1968 году. В ней в начале XX века Мандельштам слушал лекции Бергсона. Но после студенческих мятежей были созданы разные университетские центры, а в самом здании Сорбонны почти ничего не осталось. В 1990 году Бродский выступал в Коллеже философии (Collège de philosophie).

— *В беседе с Бродским вы много спрашивали его о Пушкине, о пушкинских стихах самого Бродского. Вы лично видите параллели Бродского с Пушкиным, не столько биографические, сколько по размеру их вклада в русскую поэзию?*

— Параллель не касается прямого стихотворчества. Речь идет о поведении обоих: тот же уровень свободы, не столько по содержанию стихов, сколько по манере себя вести в обществе, по вольному отношению к властям и к любой идеологии, по вкусу к провокациям в ответ на несвободу, по самоуверенности...

— *Можно найти и другие параллели: если Пушкин пересадила всю французскую поэзию на русскую почву, Бродский сделал то же самое с английской метафизической поэзией. Бродский сделал параллельное по культурному размаху дело.*

— Да, можно сказать, что его упорная работа над английскими переводами позволила ему открыть и для себя и для русской публики огромное поэтическое и метафизическое поле. Это тоже помогало ему создать определенную дистанцию, которая давала ему свободу. Хотя он родился на русской почве, но родился он на почве переводов. Без этих переводов и знания английской культуры он бы не вырос как Бродский, каким мы его знаем сегодня. Он не принадлежит одной культуре, он поэт транскультурный, он паромщик или проводник по всемирной культуре. Ему тесно на территории одной культуры, даже если он несомненно русский поэт. К сожалению, не было такого материала на французском языке. Основные поэты уже были открыты и переведены на русский в начале века.

— *Если Пушкин заканчивает свой путь «Памятником» (1836), то Бродский открывает — «Я памятник воздвиг себе иной...» (1962). Насколько вы ощущаете тему славы в поэзии Бродского? Был ли он равнодушен к славе?*

— Он как будто бросает перчатку Пушкину. Он чувство-

вал себя поэтом с самого первого стихотворения. И к славе он был равнодушен. Он имел самые высокие амбиции и не сомневался в том, что он один из самых крупных поэтов. Он, безусловно, стремился к славе. Я бы сказала: как хороший профессионал он делал то, что нужно, чтобы добиться своего. Но именно как профессионал, это не занимало всю его жизнь. Самым главным оставалась поэзия, живучесть языка.

— *В какую преимущественно сторону разворачивался взгляд Бродского? Нравственности общества, веры, красоты, смерти?*

— Я не считаю, что он был верующим человеком. Про иудаизм он не говорил, не проявлял особого интереса к этой религии. В какое-то время он интересовался в молодости индуизмом, но это было временно. Христианство его занимало все время как основа европейской культуры, а не как вера. В этом он был похож на Мандельштама. И для него было очень важно владеть основами культуры, которая в течение столетий шла по образам и сюжетам христианства. Это особенно важно, чтобы оценить и понять мотивы Ренессанса, которые играют такую важную роль в его поэзии. Смерть он видел везде и всегда — и в искусстве, и в обыденной жизни, она сливалась с самой жизнью и даже не мешала жить веселой интересной жизнью. Нравственная роль поэзии в обществе занимала его всегда, была компасом его жизни.

— *Как вы объясняете обилие стихотворений с рождественским сюжетом?*

— Да, эта была тема, которая его интересовала. Он даже рисовал картинки на эту тему, помните? Ангел дует в трубу, чтобы объявить людям, что Мессия родился. Какое-то время он рисовал ангелочков в письмах, я это принимала как поэтическую смешную подпись, как шутку над самим собой: он же провозглашал важную роль поэзии в мире. И свободное воздушное передвижение ангелочков иронически напоминает о его собственных странствиях...

— *Бродский говорил, что поэзия учит скромности (б.398). Обладал ли он, на ваш взгляд, этим качеством в заметной степени?*

— Почему он пользовался таким успехом у женщин? Не потому, что он был крупным самоуверенным поэтом, а потому что, несмотря на это, был скромным добрым человеком. Он был очень любезным, милым, он смотрел на людей с та-

кой нежностью, с такой лаской. Но скромность его имела границы: через полчаса он мог от тебя отвернуться и ранить словами или поступком, особенно женщину, забыв всякую скромность, всякую вежливость.

— *В стихах Бродского много иронии и остроумия, почему он воспринимается как трагический поэт?*

— Трагическое отнюдь не исключает иронического отношения к жизни, и наоборот. Это мы знаем от древних писателей. Эта смесь как раз определяет его поэтику, так же как и его собственное отношение к жизни.

— *Если во Франции он остался чужим по тем причинам, о которых вы говорили выше, то в России он для многих чужой, просто потому что он еврей. Кто он был для вас в первую очередь — еврей, русский или американец?*

— Он был американско-русский еврей! Я его спрашивала об этом. Он не считал, что он еврей, он говорил, что не ходил никогда в синагогу. Но если помнить, как он читал стихи, это, конечно, удивительно: его манера имела что-то общее с кадишем в синагоге. Как будто он говорит через поколения. Когда он читал стихи, менялся его взгляд, выражение его лица: он закрывал глаза, как будто не он читает эти стихи, а целые поколения страдающих, помнящих людей говорят с ним через века. Но он сам этого не признавал. А когда я была с ним в Нью-Йорке, он мне сказал с восторгом: «Я хочу, чтобы ты поняла, что такое американский еврей». Его явно интересовала эта среда. Это была его среда, несмотря на то что это были интеллектуалы, а он им не был, они были левыми людьми, а он левым не был. Но было явно, что он делил с ними нечто очень важное: этот легкий трагический юмор, ощущение непринадлежности к одной данной культуре.

— *И действительно, Роджер Страус, его издатель, Сюзан Зонтаг, его близкая приятельница, поэт Джонатан Аарон, можно назвать еще несколько известных американских евреев среди его друзей. Но все-таки поэтом его сделал русский язык и русская культура.*

— Он безусловно русский поэт, и это единственное, что он признавал.

**ЕЛЕНА ЧЕРНЫШЕВА,
18 НОЯБРЯ 2003, НЬЮ-ЙОРК**

— *Вы бывали на выступлениях Иосифа в Америке?*

— Нет, ни разу.

— *А в Ленинграде?*

— Я бывала на его частных, домашних чтениях, но никогда на официальных, потому что, когда я с ним познакомилась, я вела программу на телевидении для молодежи, но я уже жила в Москве и училась в ГИТИСе, поэтому я познакомилась с ним, когда я приехала в Питер в гости, а уже здесь мы подружились.

— *Я помню, когда он представил вас мне на его дне рождения в 1980 году, он сказал: «Вот Лена Чернышева, которую сам Барышников боится». Не помню точно, не то боится, не то слушается. Вы тогда работали с Барышниковым?*

— Да, я работала с Барышниковым, но у меня никогда не было с ним таких отношений, как с Иосифом и с Геной Шмаковым, потому что Миша — зажатый человек. А только о балете говорить ведь невозможно всю жизнь.

— *А чем вы сейчас занимаетесь?*

Елена Чернышева родилась в Ленинграде, закончила Вагаповское балетное училище, работала в Кировском театре, затем в Одессе. Училась в ГИТИСе. В 1976 году уехала в США, 14 лет работала в New York City Ballet, где вместе с Михаилом Барышниковым они поставили такие балеты, как «Дон Кихот» и «Шелкунчик». Последние 4 года работает в Северной Каролине в должности директора-консультанта. Готовит книгу о балете «Писать на воде».

— Сейчас я готовлю выставку, на которую мы будем приглашать фотографов, художников. Мы хотим центр такой сделать, где будет все современное, куда я буду приглашать всех, кто представляет лучшее в мире; в смысле движения это может быть балет, это могут быть шаманские танцы.

— *Этот центр будет в России или в Америке?*

— Они хотят и в России и в Нью-Йорке, но я считаю, что здесь это никому не интересно. А это все-таки следующий шаг нашей действительности — двигаться уже в эзотерические вещи. Иосиф сначала смеялся надо мной, что я с духами разговариваю, но все равно ему было любопытно. А потом у него появился даже серьезный интерес, потому что Гена умер, а я с Геной разговаривала.

— *Вы, кажется, видели Иосифа совсем незадолго до смерти. Расскажите, пожалуйста, как он себя чувствовал? О чем вы с ним говорили?*

— В последний день перед смертью мы сидели здесь в кафе, я должна была идти в театр, в New York City Ballet, а он на следующее утро надумал уезжать в Массачусетс. Он говорит: «Я уже Юзу позвонил, я у них остановлюсь. Он там еды мне вкусной наготовит. Нет, я на операцию не ложусь. Я должен позвонить врачу и отказаться». У него был appointment, назначена встреча с врачом. Но я почувствовала, что не все так просто. Я его уговаривала, конечно, делать операцию. А он говорит: «Нет, Елена». Какой-то ему врач дурацкий сказал, что (я знала этого врача, он тоже умер) там уже такие швы после двух операций, что это будет очень сложно, он может умереть под ножом. Я сказала: «Иосиф, техника сейчас такая современная, не стоит бояться. И лучше умереть под ножом, чем по дороге, когда вы будете вести машину». Я помню, что у меня какая-то дикая паника на этот счет была. Он сказал: «Ничего, ничего. Мне будет там хорошо, там мои студенты». Там его обожали, боготворили. Он хотел доехать до своего колледжа всеми правдами и неправдами. На следующий день был день рождения Миши Барышникова. Он меня уговаривал, чтобы я позвонила Мише, чтобы я не забыла позвонить. Ну я позвонила, Миша был во Флориде. Я оставила сообщение и перезвонила Иосифу. Это было где-то часов в десять вечера. Я говорю: «Осенька, я все сделала, как вы хотели, позвонила Мише и оставила ему большое поздравитель-

ное сообщение». Он говорит: «Очень хорошо, я очень рад». Я спрашиваю: «А что это у вас такой голос, как у мальчишки пятилетнего?» Я никогда не слышала такой радости в его голосе. Какая-то легкость и освобождение от чего-то. И молодой, молодой, юный голос. «А что такое случилось, Осенька? Вы звучите как нашкодивший мальчишка». Он отвечает: «Вы знаете, Лена, я сейчас разбираю свои архивы и нашел пару неплохих стишат. Теперь и умереть можно». По этому разговору я поняла, что он знал, что он умрет. Я боюсь, что он не принял лекарства, он знал. Что это он вдруг свои архивы перебирал? Что это он вдруг сказал: «Теперь и умереть можно»? И нашел пару очень неплохих стишат. Это во-первых. Во-вторых, мы сидели в кафе, и вместо того, чтобы я ему сказала, что у меня был только час или полтора времени, он сказал, что ему надо идти. А просидели мы четыре часа. Он принес мне новую книгу с его правками.

— *«Пейзаж с наводнением»?*

— Да. Мы обо всем говорили, он вдруг сказал: «Елена, я очень волнуюсь, такая плохая ситуация с работой в Америке». После всех моих работ, здесь оторвешься и тут же выпадаешь из марки. Вроде у меня и такой статус и знают меня все, но никому в голову не приходит, что у меня нет работы. А с другой стороны, я как-то не могу ходить, стучаться, искать работу: нас этому не научили. Иосиф очень волновался, он говорит: «Если бы вы были устроены, я бы чувствовал себя спокойнее». — «Боже мой, что-нибудь найду, не волнуйтесь». — «Нет, я говорю про вашу настоящую устроенность в жизни». Я так на него посмотрела, а он продолжает: «У меня всегда такое чувство, что вы знаете больше, чем вы говорите. У вас такая интуиция». И так смотрит на меня. И я, конечно, всякие мысли о его смерти отгоняю. То, что он мне написал в этой книжке, понятно — человек прощался. Я боюсь, что он не принял лекарство, и это было все сделано сознательно.

— *Лена, уже по глазам было видно, как он болен. У него очень изменились глаза.*

— Он страдал, он страшно страдал. Я умоляла его принять лекарство. В конце концов, перед тем как мы ушли из кафе, он принял таблетку. Ему нельзя было курить, нельзя было пить кофе, а он делал все наоборот. Я помню, как в другой раз мы встретились тоже в кафе, посидели, он проголодался.

И вместо того, чтобы идти домой на ужин, он купил hot dogs и что-то еще не менее ужасное. Дома для него ужин никто не готовил.

— *Почему, как вы думаете, он не хотел возвращаться в Россию?*

— Я думаю, самая главная причина — его здоровье. Здесь у него был свой врач. Он знал, что техника кардиологических операций здесь самая высокая. И второе — Мария. Дочь. Мария там бы не прижилась. А без них он не мог вернуться. Он не говорил, конечно, об этом. Россия — это его боль. И хотя он здесь прижился и все обожали его, но России ему не хватало.

— *Вы бы предпочитали, чтобы Бродский был похоронен в России?*

— Да, в России, в Петербурге, потому что там его читали.

— *Одни считают Иосифа жертвой режима, другие чуть ли не святым. Какой образ стоит для вас за Иосифом?*

— Я бы сказала, что он жертва режима. Он бы не уехал сам никогда. Он бы страдал вместе со всем народом, но не уехал. Вы же знаете Иосифа, когда он получил Нобелевскую премию, он сразу половину денег раздал. Он помогал каким-то талантливым безденежным ученикам, всем приехавшим из России друзьям. Мне, а я его не просила ни о чем. Перед тем как я поехала в Вену, я год была без работы, но у меня не такая была ситуация, что мне кусок хлеба был нужен. Я строила на даче бассейн. Он мне вдруг звонит на дачу и говорит: «Елена, в чем дело? Почему вы мне не скажете, что вам нужны деньги?» Я говорю, что мне не нужны деньги. Он говорит: «Пожалуйста, не врите. Сейчас же приезжайте в Нью-Йорк. Сейчас же, сегодня же». — «Нет, сегодня я не могу. Завтра приеду». — «Завтра чтобы вы были здесь, я послезавтра уезжаю в Италию. И, во-первых, мне надо стричься». Я приехала и его подстригла. И у него осталось от Нобелевской премии 50 тысяч. И он говорит: «25 тысяч для вас и 25 для меня». — «Но мне не нужно 25 тысяч». А он говорит: «Я знаю, вы найдете способ, как их потратить». Конечно, через три месяца я приехала в Вену и вернула ему эти деньги тремя порциями. И мы никогда больше об этом не говорили. Такой он был человек. Чтобы русский человек думал о деньгах, ему нужно изме-

нить ментальность. И некоторые из моих коллег по балету, став очень богатыми, изменили свою ментальность. Но не Иосиф. Я, к сожалению, тоже.

— Лена, вы не оговорились, сказав, что стригли его иногда?

— Почти всегда.

— Какой красивый был у Иосифа парикмахер!

— Он даже где-то писал об том, что я его стригла, как барана. Иногда он давал мне такие житейские советы, что думаешь: «Ну как, такой гений, с такими мозгами, ну что он несет!» Он придумал и говорит: «Елена, давайте бизнес делать». — «Какой, Осенька?» — «Я придумал спички, которые будут прикреплены прямо к пачке сигарет. Представляете, какое удобство? Мы продадим патент и сделаем большие деньги».

— Что в нем было самое притягательное, стихи или личность?

— Я думаю, что без личности не было бы и стихов.

— Для тех, кто знал его, магнетизм его личности все-таки перекрывал все. И стихи его читаешь как подтверждение того, что ты имеешь дело с гением.

— Абсолютно. Конечно. И без стихов вы четко знаете, с кем вы имеете дело. Теплота такая невероятная.

— У него было много знакомых и друзей среди людей балета и в России, и на Западе. Кроме Барышникова и вас, в Ленинграде была еще Маша Кузнецова, от которой у него есть дочь. Как часто он ходил на балет?

— Это я познакомила его с Машей. Он придумал, что ему обязательно надо иметь подругу-балерину. Тогда модно было иметь любовницу-балерину. А балет-то он вообще ненавидел и не ходил на балет. Я его однажды притащила, но я выбрала интеллектуальную программу. И он стал как бы снисходительно приобщаться к балету. Однажды он предложил: «Давайте „Лебединое озеро” переделаем». А мне предложили в Берлине ставить «Лебединое озеро». Я спрашиваю, как? «Ну вот, представляете, выйдут четыре маленьких лебедя в наполеоновских киверах. Такие маленькые наполеончики». Он увлекался, как ребенок. Но ему понравилась эта программа — как Миша танцевал, как он двигался. Такая координация, как во сне. Это он сразу понял, невероятную природную координацию. Это то же самое, что стихи писать: если у тебя нет

координации, гармонии, ничего не получится. И тут вдруг это он увидел, пластику эту почувствовал. Но все балетные сюжеты, они такие наивные, поэтому его не привлекал балет. Нет, балет он не полюбил.

— И оперу тоже, кроме «Дидона и Эней», на эту тему он написал даже стихи. Вам не кажется, что этот сюжет больше отражает ситуацию с М. Б., чем саму оперу?

— Абсолютно.

— *Он даже где-то сказал, что это стихотворение не о любви и не о сожжении Карфагена, а о предательстве в любви. То есть выдал нам секрет.*

— Полным текстом. А «Мрамор»? Я читала это в рукописи и под другим названием. О чем, вы думаете, эта пьеса? Он сказал: «Это как мои диалоги с Геной Шмаковым». Когда он начал писать пьесу, Генка был еще жив. Он сказал: «Пишу наши с Геннадием диалоги и споры». Гена был как ходячая энциклопедия. Иосиф часто к нему обращался за справками, за информацией. Он ведь знал Генку в России, я тоже. И он его очень не любил. А здесь нас было очень мало, когда мы приехали. И Генка сам потянулся к Иосифу, и Иосиф так снисходительно относился к нему. И только потом, когда я уже вошла в их компанию так плотно, с Геной мы дружили с России, я стала ему говорить: «Осенька, вы расслабьтесь и посмотрите на Гену, он добрый, он открытый, он эрудит. Это совсем не то, что вы о нем думаете». А потом он так с ним сдружился и говорил: «Лена, я вам очень благодарен, вы мне открыли Гену и Сашу Сумеркина». Он очень боялся за Сашу, Саша болен, не дай Бог, умрет. «Только не Сумеркин», — повторял он. Когда умер Гена, мы все так переживали. Иосиф больше не мог терять тех, кто ему и заменял Россию.

— *И с ними можно о чем угодно говорить: то, чего ему не хватало в американских друзьях.*

— Конечно. Но это были избранные русские. К Иосифу было не так-то просто попасть в дом и завязать близкие отношения.

— *Елена, вот вы здесь говорили о теплоте и щедрости Иосифа, а не знающие его, как Солженицын и Коржавин, обвиняют его в холодности.*

— В холодности? Это качество не имеет отношения ни к душе Иосифа, ни к его интеллекту. Он просто был очень

избирательный человек. И если ему по какой-то причине что-то в человеке не нравилось, то он сразу становился нелюбезным, но больше он был в России такой. Он просто хамил людям в лицо. Здесь он тоже хамил, но меньше.

— *Здесь еще одно противоречие: человек культуры, обожающий все тонкое и умное, как он мог так вести себя некультурно в жизни? Мог носить одну и ту же рубашку неделями, мог руками есть, мог отшить человека и т. д.*

— Это то уникальное качество, которое дано очень редким людям, — быть натуральным. Когда он должен был надевать смокинг, это были страдания. Он выглядел при этом шикарно. Вы знаете, на любого мужчину надень смокинг, и это — король. А Иосиф с дантовской такой сущностью — особенно был неотразим в смокинге. Но он никогда не любил новые вещи, он покупал все в «секонд хэнде». Не потому что он был жадный: Иосиф и жадность — это абсолютно несовместимые вещи. Это было удобно, и он был таким, какой он есть.

— *Я знаю. Когда он приехал в первый раз к нам в университет в 1978 году, я встречала его на станции и вырядилась в свою соболью шубу. Он обнял меня и, почувствовав качество меха, сказал: «А на мне пальто за сто долларов, купленное на рынке». На что я ответила: «Иосиф, вы можете себе это позволить».*

— Но он любил, когда женщины были одеты хорошо. Женщины существуют для любования. Поклонниц у него и женщин было бесчисленное количество.

— *Да, его донжуанский список будет подлиннее, чем у Александра Сергеевича. Вы упомянули Данте. Говорили ли вы с ним когда-нибудь о Данте?*

— Мы, конечно, Данте не обсуждали. Я вообще считала себя со своим балетным уровнем не на своем месте. Когда он мне читал свои новые стихи и спрашивал: «Ну как, Елена?» — я считала, что вообще не имею права говорить, что это хорошо. Но все-таки один-единственный раз я сказала: «Осенька, рок-н-ролл — это шестидесятые годы, а вы пишете стихи сегодня», — и думаю: что я несу. Я могу говорить про балет на любом уровне с любым человеком, но говорить с поэтом о его стихах — это неприлично.

О Данте. Приезжает он ко мне однажды на дачу, мой

московский приятель наготовил пельменей. Он пельмени совершенно обожал. Он остался ночевать у нас. И утро у нас такое философское было, и он мне говорит: «Елена, я думаю самое время начинать вам перечитывать Данте». Я говорю: «Да, у меня здесь есть, между прочим, Данте». Он взял и сказал: «Вот с сегодняшнего дня и постоянно». Он был так рад, что у меня оказался Данте. И сам все время перечитывал Данте.

— *Был ли Иосиф верующим человеком?*

— Да. В Бога он верил. Когда началось мое увлечение и подключение к потустороннему миру, он этим очень интересовался.

— *Вы, конечно, знаете, что многие его друзья были недовольны христианской службой и поминками.*

— Да, слышала недовольные голоса, но, понимаете, это никакого отношения к Бродскому не имеет. Он верил в Бога, но он прекрасно понимал, что это все ритуалы, нужные для людей, которым надо жить такой кучкой, жить правильно, а иначе они начнут есть ногами. Он не стеснялся своего еврейства и считал себя русским поэтом, но ни в какие ритуалы, ни в русские, ни в еврейские, он не верил. Что касается службы в соборе St. John the Divine, то это просто было великолепное зрелище в красивом месте, как театр с аудиторией в три тысячи человек.

— *А верил ли он в какие-либо указания судьбы?*

— Он все время у меня об этом спрашивал. У него была невероятно обостренная интуиция. Он часто ошибался в людях, это правда. Но гораздо чаще не ошибался. Этим же чувственным аппаратом он воспринимал все политические события. В нем глубоко жило чувство справедливости, чтобы всем было хорошо. Я часто говорила ему, что все держится на плюсе и минусе, и если всем раздать деньги, все будут бедные, и не будет прогресса. Я тоже хочу, чтобы всем было хорошо, и, могу я или не могу, пытаюсь всем помогать. Вот на эти темы мы иногда говорили.

— *А как Иосиф перестройку встретил и все дальнейшие изменения в России?*

— Он приветствовал, но он говорил, что должно пройти много лет, пока там поймут, что такое демократия.

— *Аксаков как-то сказал о Баратынском, что его чувства*

мыслят и рассуждают. Вам не кажется, что это относится и к Иосифу?

— Да, да. Всякий раз, когда он начинает о чем-то рассказывать или о чем-то спорить, у него сначала включается мозг. Он все так логично раскладывает, потом вы вдруг видите эту перемену: мгновение — и вошла эмоция и начала все разбрасывать в другие места. И эти процессы — энергетический, философско-психологический, эмоциональный — чередуются в течение одного ужина. И не потому, что он хочет с вами спорить, а потому, что он видит по-другому. В любой данный момент он может видеть по-другому и абсолютно в это верить. То, что он никогда не врал, то, что он не льстил никому. Хотя мне он один раз польстил. У меня есть письмо, я вам покажу, где он мне предложение делал, и он сказал: «Таких, как я, много, таких, как вы, — нет».

— *Таких, как он, много?*

— Да. Это же надо такое придумать! Я сказала, что я не принимаю такого комплимента. Он мог делать комплименты, чтобы сделать человеку приятное, но не чтобы получить от этого какую-то выгоду.

— *Его недоброжелатели говорят, что Иосиф знал, как использовать людей, на какие кнопки нажать, с кем водить компанию.*

— Это совсем не в его характере. Он мог иногда нажать какие-то кнопки, чтобы кому-то помочь.

— *Иосиф говорил, что к концу жизни он все чаще накладывает на себя запреты. Вы наблюдали какие-то ограничения, запреты?*

— Он стал мягче, он стал добрее, безусловно. Стал отвечать на письма даже совсем незнакомым людям. Он написал совершенно потрясающее вступление к моей книге, которая, наверное, вообще никогда не выйдет. Он несколько глав прочел и предложил написать вступление. Потом наследники требовали, чтобы я его вернула.

— *А книга написана?*

— Книга написана, я ее редактирую.

— *У кого-нибудь есть копия этого вступления? Мне казалось, что я собрала всю его прозу, но это эссе мне неизвестно.*

— Нет, ни у кого нет. Я его найду и вам пришлю. Он, помню, звонил мне целый день — я была в Коннектикуте — и

выяснял детали, а потом написал его за два дня. А еще я его научила плавать, он же не умел плавать.

— *Да, во время одной геологической экспедиции он дважды тонул.*

— Однажды после операции на сердце он приехал в Коннектикут к Либерманам, там был теплый бассейн с соленой водой. Я сказала: «Как не стыдно — не уметь плавать! Это же необходимая гимнастика для вашего сердца». Он сказал, что боится воды. Татьяна говорит: «Уверена, Иосиф, что она вас уговорит». — «Ну конечно, даже если она меня утопит, я пойду», — ответил он. Потом он мне кричал: «У меня сейчас будет разрыв сердца!»

— *Очень любопытные детали, благодарю вас.*

— Этих вещей никто не знает. Может быть, через сто лет кому-нибудь будет интересно.

— *Это интересно, поскольку в ближайшие десятилетия вряд ли появится официальная биография Бродского. Слишком много ограничений и запретов.*

— От кого исходят эти запреты?

— *Якобы от самого Иосифа.*

— Не верю.

— *Может быть, Мария не так его поняла. Казалось бы, мы уже все знаем о его жизни. Какие могут быть секреты?*

— Если будет объективная биография, что не просто: человек начинает писать и уже врет. Люди, которые рассказывают, всегда немножко добавляют. Если писать всю правду о Бродском, то тогда надо писать про все его похождения. Мария этого не хочет. А если взять один аспект, это же будет неполноценный человек. В последний день Иосиф говорит: «Елена, вы ведь знаете, уже девятнадцать лет я в вас влюблен». Я говорю: «Так что же, юбилей на следующий год будет?» И он: «Боюсь, что без меня».

ЛЕДИ НАТАША СПЕНДЕР, ИЮНЬ—СЕНТЯБРЬ 2004

— *Вскоре после смерти вашего мужа Иосиф написал эссе в память о нем (б:386—407). Вам оно понравилось?*

— Да, понравилось. Это наиболее достоверный и живой портрет Стивена.

— *Знакомство Иосифа со Стивеном Спендером состоялось задолго до их настоящей встречи. В июне 1965-го Стивен передал с Ахматовой для Иосифа граммофонную запись оперы Пёрселла «Дидона и Эней». Помните этот эпизод?*

— Да, о двадцатипятилетнем поэте, находящемся в трудовом лагере на севере России, мы со Стивеном слышали от Анны Ахматовой в 1965 году, когда она приезжала в Англию для получения почетной степени в Оксфорде. Мы послали ему через Ахматову том Джона Донна, запись Ричарда Бёртона, читающего избранные стихи английских поэтов, и какие-то «теплые вещи». Это стало прелюдией к одной из самых благодатных дружеских связей Стивена на склоне лет.

— *Вы присутствовали на церемонии в Оксфорде, когда Ахматовой присвоили почетную степень?*

— Я — нет, Стивен видел ее в Оксфорде, он присутствовал на церемонии. Потом я виделась с ней в Лондоне, обо всем этом написано в моей статье¹.

Леди Наташа Спендер (рожд. Литвина; род. в 1919 г.) — музыковед, пианистка, жена поэта сэра Стивена Спендера (1909—1995). После смерти мужа стала его литературным душеприказчиком. В 1997 году основала Мемориальный фонд Стивена Спендера.

¹ Natasha Spender. A family of poets // Independent on Sunday, 23 February 1997. P. 24—25.

— *Вы помните, как она выглядела, о чем говорила?*

— Она была чудная, правда, чудная. Она была невероятно величественна, но очень иронична.

— *Кто был у нее переводчиком?*

— Переводчика не припомню, по-моему, Ахматова говорила по-английски.

— *Вы были самым первым человеком, с кем Бродский познакомился, когда Оден привез его в Лондон в июне 1972 года. Вы встретили их в Хитроу и отвезли к себе домой. Что вы помните из того случая?*

— Уистан Оден привез его пожить к нам в Лондон спустя всего неделю или около того после его отъезда из Ленинграда. Самые яркие воспоминания остались от его первой недели в Англии в 1972 году, а затем от нашего последнего приезда в Нью-Йорк в 1994-м, в последние месяцы жизни Стивена. Хотя между этими эпизодами двадцать два года, обе картинки составляют единое целое. Как и у других больших художников, с кем я дружила, например у Генри Мура или Стравинского, его внутренний дух оставался неизменным, как бы сильно ни закручивалась и ни перестраивалась художественная и духовная жизнь вокруг него.

— *Вы заранее знали, что Оден привезет с собой Бродского?*

— Да, Оден позвонил из Австрии.

— *Каково было первое впечатление от Иосифа?*

— Первое впечатление у меня от Иосифа — как от Стравинского, его собрата по изгнанию — искрометная творческая энергия, рвущаяся наружу из слишком тесного тела. Естественно, в тот первый вечер нас заботило, как он чувствует себя, грубо оторванный от семьи, друзей, привычной повседневной жизни, даже от родного языка. То, что он называл «ретроспективным механизмом» потока сознания изгнанника, видимо, работало на полную мощность. Однако нас поразила его поэтическая решимость быть открытым любым впечатлениям. С самого начала мы восхищались его силой и не ощущали разницы в возрасте — он был на тридцать лет младше Стивена и всего на пять старше нашего сына Мэтью, с которым всегда был особенно близок.

— *Бродский был поражен красотой голосов в вашем доме: «Было ощущение, что комнату внезапно заполнили все вообра-*

зимое благородство, благожелательность, грация и отстраненность английского языка» (б:388), — писал он. Как звучала английская речь Бродского на подобном фоне?

— Он имел в виду в основном английский Стивена, язык Уистана был уже американизирован. Иосиф проявлял излишнюю скромность по поводу собственного разговорного английского. Он говорил свободно, только иногда сбивался, словно шел по камням через ручей; мысли у него опережали речь и благодаря своей абсолютной силе побеждали. Его необычайная осведомленность, в силу широты круга чтения, делала секундные заминки практически незаметными. Это право поэта — отвергнуть неточное слово. Я раньше думала, что его «Well» перед каждой репликой служило предварительным извинением за возможную неточность формулировок с точки зрения требовательных стандартов поэта.

— Как обнаруживала себя любовь Бродского к английской поэзии?

— Я была поражена тем, какие вещи он знал, когда он делился своей страстью к английской поэзии за ужином с Уистаном и Стивеном. Иосиф был в ударе, обращался к поэтам всех веков, не только к своему любимому Джону Донну. Меня поразило, сколько он помнит по-английски. Уистан обладал великолепной вербальной памятью, но у Иосифа память была лучше.

— Пожалуйста, перескажите тот случай, когда Оден и Бродский декламировали дуэтом стихотворение Джона Бечемана, которое начинается «Up the Butterfield aisle / Rich with Gothic enlacement...»

— Поскольку мы должны были присоединиться к Джону Бечеману через несколько дней на обеде у местного епископа, все трое начали цитировать Бечемана. Иосиф, к моему удивлению, на одном дыхании выдавал целые стихотворения, а затем присоединился к Уистану, чтобы нараспев прочесть роскошным дуэтом:

Up the Butterfield aisle
Rich with Gothic enlacement
(Licenced now for embracement)
You and I, Pam, as the organ
Thunders over us all.

По Баттерфилдскому проходу
Кружев готики заклатья
(Нынче с правом на объятия)
Ты да я, Пэм, а над нами
Всерокочущий орган.

Смесь американизированных интонаций Уистана и сочного русского акцента Иосифа добавляли веселья. На этом вдохновенном пиршестве умов я почувствовала, что поэзия была для него также ободряющей *terra firma* — твердой почвой в смятении изгнания.

— *Говорил ли он о своей жизни в Советском Союзе?*

— Нет, он никогда не рассказывал о своей прежней жизни и ее трудностях, разве что в виде странновато жизнерадостных сардонических анекдотов. Подобно Ахматовой, он обладал неистребимым сарказмом, не просто презрением к тирании, которую они были обязаны выносить, но отказом признать собственное бессилие. В 1965 году она дразнила Стивена за его англоязычные попытки произнести слово «Брежнев». «Кто?» — «Брежнев». — «Кто?» И затем сказала с доверительной иронией:

— Вы не можете произнести его имя — да и я не могу.

В том же духе Иосиф любил вспоминать, как американские туристы в Москве обратились к нему с вопросом, откуда им лучше посмотреть на Кремль, и свой веселый ответ: «Из кабины американского бомбардировщика».

— *Бродский говорил, что Оден и Спендер были его семьей. В каком смысле?*

— Я не понимала, до какой степени мы действительно заменили ему семью. Учитывая жестокое лишение близких контактов с родной семьей, особенно в последние дни жизни его отца, его семейное чувство к нам, казалось, давало хоть небольшое, но утешение. Он признавался мне, что пытался звонить отцу и не смог пробиться, и прошли годы, прежде чем он получил разрешение это сделать. Я знала, что он ощущает себя членом нашей семьи. Он также чувствовал себя старшим братом. Позже, когда он присоединился к Мэтью и Стивену на каникулах, устраиваемых ими раз в два года и начинавшихся в Венеции, его радость от ощущения себя частью семейной троицы стала полной. В то время он не говорил о скорби в отношении собственных родителей. Я не могу себе представить бóльшую щедрость духа, чем эта. Возможно, ключ к пониманию его тоски по ним заключается в последних словах прощания, обращенных к Стивену в церкви перед заупокойной службой. Он пришел на похороны и задержался в

изножье гроба Стивена и произнес: «Спасибо за все! Передай привет Уистану и моим родителям. Прощай».

— *Как вы думаете, он верил в иную жизнь?*

— Думаю, да, в каком то смысле. Что еще интересно, так это его отношения с моей дочерью, Лиззи, о которых я еще по-настоящему не думала. Когда он жил у нас, то водил Лиззи обедать. Он очень много ей выговаривал, как-то она разрыдалась, потому что он сказал, что она несерьезна, талантлива, но несерьезна. По-моему, она тогда учила русский. В тот вечер у нас тут был званый ужин, и он решил, что раз повел себя так ужасно с Лиззи, то не может показаться на ужине. Нам пришлось убеждать его, что все на самом деле в полном порядке.

— *Что вы знаете о его первой встрече с сэром Исайей Берлином?*

— Мы представили его Исайе. Исайя, конечно, знал о его существовании. Но когда Иосиф пробыл у нас уже два или три дня, мы позвонили Исайе, чтобы сказать ему, что Бродский здесь. Стивен доставил его в «Атенеум», чтобы выпить с Исайей чаю. Не только вследствие роскоши поговорить порусски в течение двух часов, но также благодаря их мгновенному взаимопониманию вид у него, когда он потом спускался по ступенькам, был очень довольный. Я забирала его оттуда. Так как он должен был читать в тот вечер на «Международном фестивале поэзии», я предложила отправиться прямо в концертный зал, где мы могли бы передохнуть. Вдруг он очень встревожился, схватился за нагрудный карман и сказал: «Но документы! У меня ни паспорта, ни других бумаг!» Когда я сказала, что здесь они для концертных залов и театров не нужны, он недоверчиво посмотрел на меня и неуверенно засмеялся. «Нет, правда? Вы уверены? — O wolle!» Несмотря на его браваду и раздражение советскими ограничениями, в те самые первые дни он порой, казалось, умилялся нашему беззаботному неорганизованному обществу, что оно такое немного безумное, однако мило-безумное.

— *Встречался ли Бродский с другими английскими писателями, пока жил у вас в 1972 году?*

— В ту первую неделю, когда почетным гостем епископа оказался не поэт Бечеман, а прозаик Ч. П. Сноу, мы подумали, что Иосифу предстоит утомительная проверка терпения!

Как только дамы покинули столовую, лорд Сноу произнес весьма напыщенную речь, в которой превозносил Михаила Шолохова как правдивого писателя и вообще великого романиста и носителя силы добра. Стивен говорил, что уничтожающий пассаж Иосифа, которым он поставил на место Сноу, и его презрение к вере Шолохова в то, что литературных диссидентов надо расстреливать, были великолепны. Я всегда буду жалеть, что не слышала этого, хотя я видела, с каким уважением смотрели на него эти представители правящих кругов. Неудивительно, что пока мы ехали в полночь через Вестминстерский мост, Стивен все еще наслаждался воспоминаниями о сдержанном моральном превосходстве Иосифа среди всех этих высокопоставленных незнакомцев.

Мы объяснили, что свет под Биг-Беном означает, что Парламент заседает, и спросили, не хочет ли Иосиф заглянуть туда. Она был потрясен тем, что мы можем спокойно зайти в Мать Парламентов (словно в британского образца Кремль). Полицейский провел нас к нашим местам на галерее, и мы слушали дебаты, насколько я помню, по поводу финансирования жилищного строительства. Вдруг я почувствовала, как целый ряд пустых, за исключением нас, сидений очень сильно трясется, и обернулась посмотреть, в чем дело: это Иосиф заходился в восторженном, неудержимом хохоте. Он счастливо прошептал: «Это так занудно».

— *Как Стивен Спендер реагировал на яростное осуждение Иосифом коммунизма и Советского Союза?*

— Я помню, однажды Иосиф и Исая, Стивен и я ужинали на Рождество, когда возобновились бомбардировки Вьетнама¹. Я сказала: «Мне стыдно за наше правительство. Премьер-министр Голландии и премьер-министр Франции, все протестовали, а где же Тед Хит?» А Иосиф возразил:

«Никогда не забывайте: все, что плохо для Советского Союза, абсолютно правильно».

Мы были слегка ошарашены. Но мы понимали его. Когда Иосиф ушел, Исая сказал: «Стали ли мы думать о нем хуже?» Мы ответили: «Конечно, не стали, мы понимаем почему».

¹ По воспоминаниям Исая Берлина, речь шла о бомбежке Камбоджи, а не Вьетнама. См. мое интервью с ним: *Знамя*, 1996, № 11, с. 130.

Тогда Исая сказал: «Но, по-моему, он стал хуже думать о нас».

— *Но, разумеется, он не стал хуже думать о вас. Наташа, вы помните, когда Бродский написал возмущенное письмо после нападок Йена Гамильтона на Стивена Спендера¹. В чем там было дело?*

— Это было после публикации «Избранных стихотворений» и «Дневников» Стивена. Рецензии были очень благоприятные за исключением одной, гамильтоновской. Стивен поделился своим раздражением с Ренолдз Прайс, которой были посвящены «Избранные стихотворения»: «Я нахожу разновидность глумливого критиканства, в котором сегодня специализируются англичане, весьма трудновыносимой. Такое ощущение, будто из тебя делают пугало для твоих же друзей. В „Литературном приложении“ к газете „Таймс“ была напечатана совершенно отвратительная статья профессионального пасквилянта по имени Йен Гамильтон, видели вы ее или нет, где среди прочего говорилось, что этот Йен Гамильтон не понимает, почему я питал такое восхищение и дружеские чувства к Одену, если Оден никогда не делал ничего в ответ на мою дружбу. К счастью, Бродский видел эту статью и, хотя ему предстояла операция на сердце, написал письмо, являющееся настоящим шедевром негодования². Наряду с Бродским, другие друзья тепло откликнулись на вышедший том».

— *В 1980-м Бродский прилетел из Америки, когда Стивен Спендер сломал обе ноги. Что произошло? Как он сломал обе ноги? Иосиф жил у вас или только приходил в гости?*

— Вечером 14 января у нас были гости. Стивен вышел купить копченой лосося на ужин. Было темно, шел дождь. Выходя из супермаркета «Уэйтроуз», он поскользнулся на поребрике, сильно упал и сломал обе лодыжки. Его отвезли на станцию метро «Финчли», позвонили в «скорую» и отправили в Королевскую бесплатную больницу. Но в больнице не поняли, что у него сломаны обе ноги. Ему зафиксировали одну ногу и спустя неделю попросили его встать на другую.

¹ Ian Hamilton's review of Spender's Journals // Times Literary Supplement. November 22. 1985. P. 1307—1308.

² Joseph Brodsky. Letter to the Editor // Times Literary Supplement. December 27. 1985. P. 1481.

Он сказал, что не может. Пришлось проводить вторую операцию, вот почему он пролежал в больнице три недели, а Иосиф его там навещал.

— *А в Америке вы с Иосифом встречались?*

— Много раз. Помню, мы все ужинали в Нью-Йорке, по моему, у Дика Сеннета, и Сюзан Зонтаг была там. Я играла для гостей фа-минорный дуэт Шуберта, и она слегка опьянела от музыки. Как бы то ни было, завязался какой-то разговор о скерцо. Иосиф сказал, что он не понимает смысла скерцо, первая и вторая части чудесны, зачем вводить это относительно легкомысленное скерцо? Тогда Стивен возразил, мол, как насчет скерцо в Девятой симфонии или в «Hammerclavier»? Тогда встряла Сюзан со словами, — она всегда поддерживала Иосифа и всегда пользовалась его одобрением, — что от скерцо ее тошнит. Иосиф просто пропустил это мимо ушей.

— *Он любил споры?*

— О да, он ими наслаждался. Он больше походил на Уистана. По-моему, они с Уистаном были очень похожи в этом. У него были собственные мысли насчет поэзии, писательства, всякой всячины, и они накапливались, накапливались. А затем он разгружал их в беседе. Стивен как-то сказал об Уистане, что когда тот приезжает на неделю, то привозит с собой целую диссертацию о том, что пришло ему в голову. Стивен говорил, как большинство гостей приносят тебе бутылку виски или букет цветов, так Уистан приносит то, что пришло ему в голову. И Иосиф был такой же. И они разговаривали о том, как преподавать поэзию. Это было позже, после ухода Уистана. Они оба заставляли своих студентов учить стихи наизусть.

— *Оден помнил свои стихи наизусть?*

— Да. Это делало его чтение чудесным. Я как-то совершила ошибку в том, что слишком растрогалась от его чтения на «Международном фестивале поэзии», когда он читал в той мудрой и сочувственной манере, которую напускал на себя, когда читал стихотворение с духовным содержанием. Я сказала: «Уистан, это было просто дивно». Он понял, что я слишком растрогана, и ответил: «Милая моя, я просто старый хрыч».

— *Когда Оден впервые появился в вашем доме?*

— Первый раз Уистан пришел в этот дом после войны и встал на пороге, я открыла дверь с ребенком, Мэтью, на ру-

ках. Уистан обернулся и сказал: «Где мой противогаз?» — с таким американским акцентом! Я подумала: «Ты же англичанин, ты не мог так быстро превратиться в американца».

— *Правда ли, что коллеги Одена в Оксфорде обращались с ним так плохо, как утверждал Иосиф?*

— Коллег Уистана по колледжу (Крайстчерч), где он каждый вечер ужинал за преподавательским столом, раздражало его многословие. А друзья одновременно и сочувствовали, и не могли вмешаться в ситуацию.

— *Видите ли вы какое-либо сходство между поэзией и прозой Бродского и творчеством Одена?*

— Подобно Уистану, он зачастую имел обыкновение выражать жесткие нравственные императивы в довольно игровой форме. Они разделяли страсть к истине и нежелание участвовать в житейских пересудах.

— *28 сентября 1984 года в Милане Стивен Спендер и Бродский вручили Энтони Хекту премию имени Еуженио Монтале. Вы тоже были там. Что вы помните?*

— Я помню, как они оба переживали за восьмидесятилетнего итальянского поэта Карло Беттоки, когда тот с трудом поднимался на помост. Иосиф и Стивен встали и начали ему аплодировать. Помню, наш сын Мэтью приехал из Тосканы в Милан повидать нас. В Венеции мы тоже были вместе. У меня где-то есть наша общая фотография, включая Иосифа, в Венеции. Я всегда переживала, что Стивен и Мэтью так редко видятся. А Маро заметила: «Мэтью думает, что вы всегда ездите на праздники с Дэвидом Хокни, а с ним — никогда». Поэтому было придумано устраивать раз в два года каникулы на двоих, во время которых Мэтью со Стивеном отправлялись на десять дней в Венецию. И раз или два в Венеции к ним присоединялся Иосиф.

— *В 1987 году Бродский был в Лондоне, когда объявили о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. Вы помните его реакцию на эту новость?*

— Я не знала. Это Лиззи позвонила и сообщила, что Иосиф получил Нобелевскую премию. На следующий день после вручения премии он обедал с Лиззи. Она сказала, что он без малейшего тщеславия отшучивался от мирских похвал. Ему было приятно, но тут присутствовало гораздо больше, он ощущал серьезную ответственность: использовать награду на

благо другим писателям, особенно его бывшим соотечественникам, для русской поэзии. Он произнес перед Лиззи целую речь.

— 6 октября 1990 года Бродский дискутировал со Стивеном Спендером в Институте современного искусства. Они обсуждали объединение Германии, Европейский союз и будущее России. Также они говорили о связи между Оденом и поэтами того поколения. Что вы помните об этих дебатах?

— Боюсь, меня там не было.

— Вы присутствовали на лекции Бродского в Британской Академии 12 октября 1990 года? Многие мне жаловались, что Бродский говорил слишком быстро, и очень трудно было уловить, о чем идет речь. Вы понимали его?

— Я понимала его без труда.

— Как вам известно, реакция критики на эссе Бродского была пересыпана такими эпитетами, как «блестяще, мудро, пронизательно, пробуждает мысль» и т. д. По сравнению с этим его англоязычные стихи были названы «великим американским бедствием» (Кристофер Рид). Чувствуете ли вы большую разницу между стихами и прозой Бродского на английском?

— Я не согласна с Кристофером Ридом, но порой в его стихах я находила, что ритм более русский, нежели английский.

— Вы дали разрешение на биографию Стивена Спендера и оказали профессору Джону Сазерленду большую помощь в ее написании. Как вы относитесь к тем вдовам знаменитых поэтов, кто запрещает писать биографии своих мужей: Кэрол Хьюз, Валери Элиот, Марии Бродской?

— Насчет Марии не знаю, но я должна заступиться за Валери. Она дала Тому обещание на смертном одре, что не допустит этого, и неукоснительно блюдет его волю. Она до сих пор преданно любит его. Но критики не избежать. На самом деле еще до смерти Стивена мы с ним обсуждали вопрос биографии с Джоном Бодли, редактором издательства «Фейбер и Фейбер». И Стивен отверг многих, предоставив выбирать биографа мне. Он уже был болен, это были его последние месяцы. Он отклонил кандидатуру одного по-настоящему выдающегося профессора, потому что, мол, это будет

слишком традиционно. Джон Сазерленд¹ — ужасно милый человек. Они с женой останавливались у меня во Франции, и я совершенно свободно говорила с ним, очень часто повторяя: «Это не для печати». Я не произнесла ни слова жалобы по поводу цитат из личного дневника. Я помогала как научный сотрудник, а не как писатель. Недавно я сказала кому-то, что пишу мемуары, а в прессе это подали как «она собирается нанести ответный удар». У меня нет ни причин, ни желания кого-либо бить, я просто хочу написать об ином ракурсе.

— *Присутствовали ли вы на Оксфордской церемонии, где Бродский получил почетную степень? Вам известно, почему Джеки Кеннеди-Онасис была там? Уж конечно, они с Иосифом не были друзьями.*

— Нет, я там не была, но Джеки — наш старый друг. Вот что раздражает меня в биографах: люди говорят, что Стивен бегал за Джеки Онасис. Правда в том, что мы были знакомы с Джеки еще до того, как она попала в Белый дом, потому что она была другом Джо Аслопа, журналиста, который являлся также большим ценителем искусств. И Стивен с Джо проводили много времени вместе. Помню, мы сидели с Джо, и вошла Джеки и сообщила, что только что произнесла предвыборную речь на итальянском. И закончила уморительной пародией на самое себя, заговаривающую избирателям зубы по-итальянски. Так что мы знали ее задолго до 1960 года. Я также была знакома с ее семьей, отчасти благодаря Гору Видалу, а также потому, что очень хорошо знала ее сестру. Если она приехала в Оксфорд, то потому, что восхищалась Иосифом, а также была очень честолюбива как издатель.

— *Почему, как вы думаете, Иосиф был так зачарован «Группой тридцатых»?*

— Когда Иосиф был в ссылке, английские поэты тридцатых годов служили ему спасательным кругом. Он стал считать Уистана и Стивена своими отцами в поэзии задолго до того, как познакомился с ними лично. В последнем письме ко мне он писал, что «всегда относился к Стивену как к существу высшего порядка» и скучал по Стивену, Уистану и по мне, «как собака скучает по голосу хозяина».

¹ John Sutherland. Stephen Spender. The Authorized Biography. London: Viking, 2004.

— *Вы знали нескольких русских, которые никогда не жили в Советском Союзе. Какое впечатление произвел на вас в этом отношении Бродский: русского человека или советского?*

— Единственный русский, которого я действительно хорошо знала, был Стравинский, а у них с Иосифом было много общего. Стравинский, давно осевший на Западе, перескакивал от мысли к мысли, словно кузнечик. Иосиф поднялся над уязвимостью изгнанника и насильно ухватился за свой давно воображенный свободный мир идей, в его восприятии не было ничего пассивного. Вам ли не знать, что самая важная вещь у русских — это тоска по дому.

— *Я лично ни единого дня не испытывала этой тоски, так же как и Иосиф, насколько мне известно. Не уверена насчет Стравинского, поскольку он не жил в Советском Союзе.*

— Стравинский тосковал по дореволюционной России до конца своих дней. Он особенно сочувствовал ностальгии Прокофьева, когда они были в Париже.

— *В своей статье для «Индепендент» вы говорили, что вспоминаете Иосифа с нежностью. Что было в его характере и его жизни, что вызывало такое отношение?*

— Я вспоминаю Иосифа с нежностью и с изумлением: как много всего уместилось в одной жизни — запойное чтение и путешествия, тесная и преданная дружба, мастерское владение собственным языком и другими, постоянное перенесение всего этого в стихи, переводы, эссе; его порядочность, его забавность, отказ тратить время на атрибуты официальной жизни и мирские блага. Эта жизнь, можно сказать, трещала по швам, жизнь, рассеченная на две половины изгнанием из России в 1972 году.

Последнее воспоминание о дружбе Иосифа — это наш последний приезд в Нью-Йорк, когда Стивену пришлось провести месяц в больнице Ленокс Хилл. Точно как в 1972 году Иосиф ощутил, как он говорил, «материнское крыло» семьи Уистана-Стивена, так же мы теперь чувствовали себя принятыми в огромную, несколько сумбурную русскую семью Иосифа и нескольких его товарищей по эмиграции. Они появлялись в больнице неожиданно, приносили вкуснейшие пирожки в огромных дымящихся свертках. Слишком застенчивые или тактичные, чтобы зайти в палату Стивена, эти сердечные русские незнакомцы сочувственно стискивали меня в мед-

вежких объятиях в коридоре, выпрашивали точные данные о состоянии здоровья и торопливо уходили, словно проникли во вражеский лагерь, чтобы накормить раненого пленника, и должны немедленно доложить на базу. И в самом деле, примерно через час раздавался звонок от Иосифа с точным списком вопросов, которые я должна задать врачу, или настойчивым советом проконсультироваться с каким-нибудь нью-йоркским светилом, за чем следовала непринужденная беседа со Стивеном, после которой тот смеялся — об Иосифовой версии личной жизни У. Б. Йейтса или еще о чем-нибудь. Между собой они игнорировали немощ Стивена. Они оба разделяли надменное пренебрежение Уистана к механизму собственного здоровья или болезни; для их мыслей и бесед она имела не больше значения, чем техосмотр машины после пробега в 5000 миль. И Иосиф проявлял бесконечную нежность к Стивену и любовное, предупредительное покровительство к Мэтью и ко мне.

Однажды пришли все трое Бродских. У Стивена был тяжелый сердечный приступ. Его срочно увезли в реанимацию, и Бродские прождали несколько часов вместе с Мэтью и со мной. Нам с Марией удалось немного отвлечься, играя с Анной, а Иосиф явно отзывался на страх Мэтью за отца и потребность сдерживать тревогу. В порыве вдохновения он начал одну из своих серьезных игр: «Кто шестеро самых великих русских романистов девятнадцатого века?» — и Мэтью с Иосифом погрузились в нее. Мария высказала несколько тонких замечаний, а я — несколько куда менее профессиональных. Помню только, что Иосиф отдал первое место Достоевскому, тогда как Толстой оказался на шестом; затем последовало некоторое добродушное препирательство относительно положения Лескова и Гончарова в пантеоне. Перестановки с жаром обсуждались, и благодаря твердой решимости ему удалось завладеть нашим вниманием и поддерживать наше увлечение беседой. Когда нас наконец позвали на пару минут к Стивену в палату интенсивной терапии, мы все, казалось, разделяли огромное жизнелюбие, которым всегда отличалась их долгая дружба. Иосиф отпустил несколько бодрых шуточек, обнял нас и ушел, оставив Спендеров в пылкой уверенности, что все будет хорошо.

— В 1994 году Иосиф сам был очень близок к смерти. Каково было его отношение к смерти?

— При всем сочувствии к другим, особенно к его старым друзьям и любимой молодой семье, мне кажется, что для самого Иосифа смерть не была чем-то особенным, она могла наступить в любой день. Его телефонный звонок мне в последнюю неделю был таким же насыщенным, как и каждая минута его жизни. Даже в тот момент физической слабости он отмахивался от врачей, будто от назойливых сантехников, и жадно говорил о Тоскане, о Маунт Холиоке, о фугах Баха, о том, как писать о музыке — мысли сыпались, словно искры. В нашей памяти всегда будет жить именно этот образ его творческой энергии, его преданности и великодушия.

— Был ли он религиозен? Обсуждали ли вы с ним какие-нибудь религиозные темы?

— Мы не говорили о религии. Он обладал чувством священного. Большинство моих лучших друзей подпадают под этот критерий: Айрис Мердок — подходящий пример или Стивен, коли на то пошло. На похоронах Стивена в маленькой церкви на Паддингтон Грин Иосиф проявил тихое признание вечности, которое дает человеку ощущение бессмертия духа.

Перевод с английского Анастасии Кузнецовой

СЮЗАН ЗОНТАГ, 11 НОЯБРЯ 2003, НЬЮ-ЙОРК

— Вы, вероятно, единственная, кто может дать русскому читателю представление о литературной жизни Нью-Йорка в момент выхода на ее поэтическую арену Иосифа Бродского. Трудно ли было Иосифу войти в нью-йоркскую литературную среду?

— Мне кажется, люди были очень расположены к Иосифу. Прежде всего, он производил на всех грандиозное впечатление — своей авторитетной, властной манерой держаться. А это расценивается здесь как высшее откровение — я хочу сказать, в Америке, потому что мне кажется, что американцы вообще, не только нью-йоркцы, очень склонны к восхищению, если есть чем восхищаться — склонны гораздо в боль-

Сюзан Зонтаг (род. в Нью-Йорке в 1933 г.) — американская писательница. Автор четырех романов, нескольких театральных пьес и сборника рассказов. Такие ее книги, как «Against Interpretation and Other Essays» (1966), «On Photography» (1977), «Illness as a Metaphor» (1978), «Where the Stress Falls» (2001), считаются классикой американской эссеистики. Автор нескольких театральных постановок и фильмов. Удостоена многочисленных наград: American Academy Ingram Merrill Foundation Award (1976); National Book Critics Circle Award (1978); Order of Art and Letters (Франция, 1984). В 2000 году она получила премию National Book Award за исторический роман «In America»; в 2001-м была удостоена Jerusalem Prize за свою литературную деятельность; в 2003-м получила сразу две премии: Prince of Asturias Prize for Literature и Peace Prize of the German Book Trade. Вскоре после нашей встречи Сюзан Зонтаг перенесла операцию по пересадке костного мозга, а 28 января 2004 года умерла от острой злокачественной лейкемии.

шей степени, чем англичане, которых я считаю злыми и недоброжелательными. Если англичанин видит, что тот, кого ему представляют, человек значительный, первым его порывом будет этого человека унижить, подорвать его авторитет какой-то злобной выходкой. Это то, что мне не нравится в Англии. В Америке же все совершенно иначе. Если у людей есть основания восхищаться кем-нибудь или чем-нибудь, они делают это с удовольствием. Думаю, что Иосиф вызывал у всех восхищение с самого начала. И конечно, с самого начала у него был небольшой круг читателей и людей, обеспокоенных его судьбой, которые были о нем наслышаны заранее. Расшифровка стенограммы суда с его замечательными ответами печаталась в «Нью-Йорк Мэгэзин». Помню, что сама ее читала и даже вырезала на память. Тогда-то, по всей видимости, я впервые и услышала об Иосифе.

Таким образом, отвечая на ваш вопрос, скажу: наоборот, Иосиф произвел на всех чарующее впечатление с самого начала и расположил к себе людей своей уверенностью в себе, своей безапелляционностью.

— *Вы помните вашу первую встречу с Иосифом? Когда она произошла?*

— Я помню ее совершенно отчетливо. Мне хотелось познакомиться с ним, потому что к тому времени я уже знала по переводам его стихи. Встреча состоялась в январе 1976 года. В издательстве, с которым я сотрудничала, — «Farrar, Straus & Giroux» — вышла его книга. Тогда он еще преподавал в Мичигане, но от издателя я узнала, что Иосиф ненадолго приехал в Нью-Йорк. Я сказала, что хотела бы встретиться с ним, и меня пригласили на обед. Дело было в ресторане. Мы мгновенно сошлись и на следующий день встретились снова. Первое, что я ему сказала, было: «Вы должны уехать из Мичигана и перебраться в Нью-Йорк». Иосиф ответил: «Мне очень нравится в Мичигане». Вы ведь знаете, он всегда норовил возразить. Я настаивала: «Вам необходимо перебраться в Нью-Йорк, здесь больше простора. Одной сугубо академической среды недостаточно. Если вы живете в глубине страны, этой большой континентальной страны, которой являются Соединенные Штаты, а не на одном из двух океанских побережий, тогда ваша читательская аудитория вынужденно сократится до сугубо университетской среды, потому что нашими куль-

турными центрами, нашими *maisons de culture*¹, как говорят французы, являются именно университеты. Места, где литературу обсуждают, где существуют читатели, — это университетские городки, такие как Энн Арбор, Мэдисон, штат Висконсин, Остин, штат Техас, и другие. Если же вы переедете в Нью-Йорк или даже в Бостон или в Вашингтон — эти места я люблю гораздо меньше, — или на Западное побережье, в Лос-Анджелес или Сан-Франциско, то сохраните связи и с университетской средой, и с другими людьми, потому что большинство ваших читателей не будут связаны с университетом. Мне кажется, для писателя это гораздо полезнее». Я сторонница больших городов. Вот что мне хотелось тогда до него донести.

— Как развивалась ваша дружба с Иосифом? Были ли в ней спады и подъемы или вы всегда любили и понимали друг друга?

— Нет, наша дружба была очень бурной, потому что, во-первых, я, как и многие другие женщины, привязалась к нему всем сердцем. Понятно, что к концу наших отношений мне было особенно тяжело, как это всегда бывает. Кроме того, в его характере было что-то, что мне очень не нравилось. Мне не нравилось то, как зло и презрительно он порой относился к людям. Он мог быть очень жесток, особенно по отношению к молодым. Помню, как однажды мы буквально поссорились. Я была у него в гостях, на Мортон-стрит, еще до Марии. Среди гостей была одна молодая женщина, лет двадцати пяти. Была весна или лето, и мы сидели в саду. Иосиф обратился к этой молодой женщине и спросил: «Так чем вы занимаетесь?» Она ответила: «Ну я писатель». Тогда Иосиф взорвался: «А кто вам сказал, что у вас есть к этому способности?» Это было очень жестоко, ведь он практически ничего не знал об этой молодой особе. Она заплакала. Если бы кто-нибудь рассказал что-нибудь подобное ему самому, он бы ответил: «Бог». А эта женщина не могла ничего ответить, она просто чувствовала себя так, словно ее избили, избил этот человек. Когда все ушли, мы поссорились. Я спросила у него, как он мог так обойтись с этой несчастной женщиной. Он, который вот-вот получит Нобелевскую премию, упивается, мучая сущее дитя! Я хотела сказать: ты, ты, такой большой, ты должен быть добрее. Конечно, в этой ссоре я играла традиционную женскую роль: уговаривала большого, грубого мужчину быть подо-

¹ Дома культуры (фр.).

брее. Он и был таким взрослым, грубым малым. Это одна сторона его характера. Никто, не исключая самого Иосифа, не взялся бы утверждать, что у него хороший характер. Порой он и сам любил говорить, что у него плохой характер. Разумеется, я не первая, кто вам об этом рассказывает. А если у тебя плохой характер, то, по-видимому, время от времени его нужно показывать, демонстрировать, подтверждать.

— *Рассказывал ли он вам о тех тяготах, что выпали на его долю, когда он отбывал ссылку в деревне Норенская — колхозе на Севере?*

— У Иосифа хватало такта и изящества утверждать, что он не особенно страдал в эти полтора года ссылки и, так сказать, внутренней эмиграции. Как известно, он написал там несколько прекрасных стихотворений.

— *Вы один раз вместе ездили в Венецию?*

— Мы ездили туда вместе несколько раз.

— *Иосиф описал вашу встречу с Ольгой Радж (7:32—34). Не могли бы вы рассказать об этой встрече сами?*

— Я могу рассказать то, о чем Иосиф, разумеется, умолчал. Мы приехали с Иосифом в Венецию и остановились в отеле «Лондра». Это было зимой, незадолго до Рождества. Однажды я отправилась погулять одна на площадь Сан-Марко; был туман, площадь была пустынна, и я все бродила по ней и бродила. Венеция зимой восхитительна; почти полностью черно-белая. И вдруг я увидела маленькую, тоненькую, хрупкую женщину — она пересекала площадь мне навстречу. Кроме нас, там не было практически ни души. Она подошла ко мне и спросила: «Вы — Сюзан Зонтаг?» Я ответила: «Да». Тогда она сказала: «Я — Ольга Радж». Я могла только вымолвить: «О, о!» Думаю, она понимала, какой эффект произведет на меня наша встреча. Из моей головы тут же улетучилось все дурное, и, вместо того чтобы подумать: «Это и есть та ужасная женщина!» — я произнесла: «Просто не могу поверить! Как чудесно, что я вас встретила!» Она сказала: «Может, вы зайдете ко мне, я хочу вам кое-что показать». Я ответила: «Конечно!» — и помчалась в отель. Там я рассказала о случившемся Иосифу, и мы отправились к ней вместе. Она изумительно держалась и все повторяла: «Эзра не был антисемитом. Как мог он быть антисемитом, если у него самого еврей-

ское имя?» Еще она сказала: «Этот молодой Аллен Гинзберг навестил его в больнице Св. Елизаветы, и Эзра принял его. Так какой же он после этого антисемит?»

— *Случалось ли Бродскому чувствовать себя в Америке изгнанником?*

— Он прекрасно написал об этом в эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием» (6:27—37). Это его самые серьезные и значительные размышления на этот счет. Мне кажется, он упивался своим положением изгнанника. Иосиф ведь был в высшей степени честолюбив и воспринимал изгнание как возможность занять еще больше места, привлечь к себе внимание. Огромным преимуществом, на мой взгляд, было именно то, что он оказался вне своей языковой и литературной среды; он мог повторить слова Томаса Манна, который, будучи в 1940-х годах в эмиграции в Южной Калифорнии, сказал: «Где я, там и немецкая литература». То же мог сказать и Иосиф: «Где я, там русская поэзия». Он чувствовал, что никоим образом не утратил положения, которое считал по праву принадлежащим ему — положения великого русского поэта. Зато у него была возможность воцариться на практически нетронутой территории, среди людей, читателей и поэтов, которыми он одновременно восхищался, наслаждаясь их обществом, и над которыми чувствовал нечто вроде превосходства. Он чувствовал себя настолько выше их, что позволял себе, опять же этим наслаждаясь, льстить американцам, льстить их стране, крича на всех углах о том, какая замечательная страна — Соединенные Штаты. Сомневаюсь, чтобы он думал так на самом деле. Меня всегда поражало, как он любил производить впечатление, как упивался тем, что знает больше своих собеседников, что его ценности и жизненные принципы неизмеримо выше, чем у других.

Думаю, нас связывало — помимо эмоциональной привязанности — именно то, что, как он сказал мне чуть ли не в самом начале, я была единственной американкой из всех, кого он встречал, кто руководствовался бы теми же высокими жизненными принципами, что и он. Поэтому я вовсе не типичная американка. Я, так сказать, европеизированная американка, причем по собственной воле.

— *Вас обоих можно назвать безудержными эстетам и одер-*

жимыми моралистами. Говоря о высоких принципах, вы имеете в виду эстетические и нравственные стандарты?

— Нравственные стандарты. У меня они, если говорить в общем, выше, чем у Иосифа, но дело не в этом. Я имела в виду нравственные стандарты в отношении к литературе, понимание того, что писательство — высокое призвание. Иосиф, бывало, подсмеивался надо мной, обижал меня, льстил мне — все вместе взятое, — говоря: «Сюзан, твои стандарты слишком высоки для меня; я — шлюха, а ты — нет. Я проститутка. Я угождаю людям, которых не уважаю, а ты нет». Он действительно говорил подобные вещи. Думаю, у меня тоже бывали моменты, когда приходилось идти на компромисс. Он прямо говорил мне или заставлял верить, что я единственный человек, с кем он по-настоящему общался в свои первые годы в Америке. Мы часто и подолгу беседовали, потому что я — добровольно европеизированная американка.

Уверена: Иосиф воспринимал изгнание как потрясающую возможность стать поэтом с мировым, не только русским, именем. Но, разумеется, прежде всего он был русским поэтом. Однако перемена империи, как он выражался, оказалась к месту. Помню, как в году 1976—77-м он, смеясь, говорил: «Иногда мне так странно, что я могу писать все, что вздумается, и это будет напечатано. Мне как будто чего-то не хватает!» Думаю, он упивался Америкой, чувствовал свое превосходство над Америкой.

— Кто еще принимал участие в карьере Бродского в США? Я знаю, что ему помогали многие, но кто именно?

— Его издатель. Главным же образом сам Иосиф. Он был необычайно продуктивен и уверен в себе. Как я уже однажды говорила, он ворвался к нам как снаряд, пущенный другой империей, вооруженный не только собственным гением, но высоким, взыскательным чувством превосходства поэта над другими людьми, свойственным русской литературе.

— Именно это помогло ему стать членом высшей поэтической лиги, куда входили такие поэты, как Шеймас Хини, Дерек Уолкотт, Лес Маррей, или были и другие факторы?

— Это было его мечтой. Были Шеймас, Дерек, Лес, и был Иосиф — в качестве лидера. Ему всегда необходимо было быть лидером. Если судить по словам Иосифа, то они все собирались получить Нобелевскую премию. И получили, словно так

и было задумано. Правда, Леса Маррея, к сожалению, обошли. Как Бродский этого достиг? Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов: во-первых, покровительство Одена, значение которого переоценить трудно. Да, забыла упомянуть: появиться на Западе, заручившись одобрением или, скорее, благословением Одена, который тогда считался первым из живущих англоязычных поэтов, а теперь его называют величайшим англоязычным поэтом XX века, что, согласитесь, слегка отличается от его репутации тридцатилетней давности... Так вот, я думаю, что благословение Одена изначально вознесло Бродского на недостижимую высоту.

— *И благословение Роберта Лоуэлла тоже. Помните, Лоуэлл читал переводы Бродского на Международном фестивале поэзии в Лондоне в 1972 году?*

— Совершенно верно, Иосиф возник из облака на сверкающей колеснице.. Как сказала Ахматова: «Какую биографию делают нашему рыжему!» И действительно: Иосиф, вооруженный печатной машинкой, бутылкой водки и томиком Джона Донна, садится в самолет в Ленинграде и летит в Вену, где его уже ждет Карл Проффер. Они напрямик направляются к Одну; затем в Лондон и т. д. Коронация, не что иное! Его прибытие на Запад сопровождалось коронационной атмосферой. Ну а потом, потом он оправдал ожидания, нарушив правила. Я не согласна с английской поговоркой, что исключение подтверждает правило; эти слова, видимо, неправильно истолковывают. Исключение проверяет правило. Люди заранее были готовы восторгаться Иосифом — благодаря его позиции, его самоуверенности, его стремлению быть американцем в каком-то смысле. Как и Баланчиним. На самом деле, единственный человек, кого можно сравнить с Иосифом, — это Баланчин. Баланчин считал, что вся история русского балета — у него в голове и что он может трансформировать здешний балет. Люди были готовы восхищаться Иосифом так же, как были готовы восхищаться Баланчиним. Ну и что, что его поэзия была известна в переводе? Она настолько сильна интеллектуально, что даже когда читаешь ее в переводе, сомнений не возникает. Сомнения стали возникать, когда Иосиф начал писать по-английски. Тут-то и появились те, кто стал на него нападать, вроде Крейга Рейна¹.

¹ Craig Raine. A Reputation Subject to Inflation // Financial Times, 16/17 November. 1996. P. 19.

— Почему, как вам кажется, Бродского сильнее критиковали в английской прессе, английские поэты, чем в Америке?

— Все по той же причине: американцы в литературных делах ведут себя гораздо корректнее англичан; они также более сдержаны. Большинство американских поэтов высказывали сильные сомнения по поводу английских стихов Иосифа. Но никому бы и в голову не пришло обрушиваться на него с ругательной статьей, как это сделал Крейг Рейн. И они не стали этого делать, потому очень хорошо к Иосифу относились; они не хотели его обижать. В Англии вы подобной деликатности не встретите.

— Сомневаются ли они также в том, что Бродский — прекрасный русский поэт?

— Нет. Их удивляли и смущали его постоянные заявления о том, что он овладел английским настолько, что может писать на нем стихи.

— А его эссе? Они ведь писались по-английски.

— Не забывайте, что его эссе сурово редактировались.

— Просил ли он вас когда-нибудь их просмотреть?

— Да, просил. Не английские стихи — он знал, что я их люблю, и не английские эссе. У него было несколько человек, которые занимались этим регулярно. А редакторы журналов, такие как Боб Силвер из «The New York Review of Books», наверняка переписывали половину его текстов. Меня, в период нашей близости, он часто просил посмотреть его переводы собственных стихов. И почти никогда не прислушивался к моим предложениям. У него был не слишком хороший слух к звучанию английского языка, к его настоящему звучанию. В голове у него сидел сленг — давно вышедший из употребления и немного дурацкий. Как «aren't», например. Так больше не говорят нигде и не говорят давно — может, сотню лет. Ему нравилось использовать сленг и сокращенные формы — особенно когда они звучат неправильно. Мы все время используем сокращения, но в речи — а вводить их в переводы, особенно в переводы поэзии нужно очень осторожно. В его знании английского было много заблуждений и в то же время он бесспорно обожал этот язык. Но он всегда был очень силен в передаче драматического содержания стихов. Я слышала, как он толковал таких поэтов, как Оден или Фрост, и это было прекрасно.

— *Посещали ли вы когда-нибудь его семинары или лекции?*

— Раз или два. Он бесконечно каламбурил и явно не готовился к ним заранее. Конечно, можно сказать, что глупые замечания Иосифа гораздо умнее продуманных выкладок других людей. Однако глупость этих замечаний была чем-то, его недостойным. Вообще преподавание обнаруживало в нем какую-то поверхностность: бесконечные подкалывания, желание покрасоваться, недостаточно тщательная подготовка. Однажды я приехала к нему в Маунт Холиок и на следующий день пошла к нему на занятия. Я сразу увидела, что он не готов. Чтобы скрыть это, он говорил: давайте читаем. Еще я часто — опять же в тот период, когда мы были близки, — выступала с ним вместе: он читал по-русски свои стихи, я — английские переводы. Это было приятно. Я хорошо читаю, но у Иосифа была эта волшебная, очень русская, манера чтения...

— *Как вы оцениваете Бродского-друга? Был ли он терпимым и великодушным или, наоборот, злопамятным, мстительным, с сильным духом соревновательности?*

— Мне не хочется обобщать. Думаю, он по-разному вел себя с русскими и с американцами, с мужчинами и с женщинами.

— *Он был привередлив в выборе друзей?*

— Не слишком. Думаю, что выбор этот был весьма произвольным, но оценить его я не берусь: мне кажется, он разбил много сердец. Но он мог быть и очень преданным. Думаю, он снисходительнее относился к своим русским друзьям, нежели к американцам. Он был великодушен, непредсказуем и великодушен. Знаю, что он помогал людям также и материально.

— *Несколько слов об отношении Бродского к женщинам: он был галантным кавалером или женоненавистником?*

— Как я уже говорила, он разбил много сердец, и главным образом женских.

— *Бродский всегда определял свою национальность по языку, а не по месту рождения. Язык для него — синоним поэтического голоса, Музы, поэзии. Связана ли его одержимость языком с одержимостью XX века лингвистикой?*

— Нет, это связано с тем, что он был поэтом, писателем. Я тоже одержима языком. Писатель, настоящий писатель —

это всегда язык. Ну и, разумеется, Иосиф любил потолковать о том, насколько поэзия выше прозы.

— *Сумел ли Бродский достичь гармонии между своим еврейским происхождением и христианским взглядом на мир?*

— Не могу ничего сказать по этому поводу. Я никогда не чувствовала, что Иосиф — еврейский писатель. Мы ни разу не говорили на религиозные темы. Я совершенно нерелигиозна и чувствовала, что и он совершенно нерелигиозен. В том, что он говорил, не было и намека на его еврейство. Христианством же он интересовался потому, что оно доминирует в европейской культуре. И я к этому присоединяюсь. Когда я узнала, что панихида состоится в католическом соборе в центре Манхэттена, а похоронен он будет на протестантском кладбище в Венеции — я была и там и там, — меня это не удивило: людьми после смерти завладевают родственники.

— *То есть вы не считаете его религиозным поэтом?*

— Я не воспринимаю его ни как религиозного поэта, ни как человека, который как-то по-особенному относился бы к иудаизму или своему еврейству; впрочем, как и я. Он был поэтом мировой культуры, в европейском смысле слова. Я никогда не привносила этого оттенка в наши отношения. Я просто видела, что его, как мне казалось, светский взгляд на мир вобрал в себя две тысячи с лишним лет европейской культуры. Ему *это* было важно: то, что в европейской культуре были Овидий, Гораций, Оден, Ахматова, Цветаева... При чем здесь иудаизм? При чем здесь христианство?

— *При том, что в конце жизни Иосиф сказал: «Убежден, что то, что я делал и делаю, Ему нравится (если Он существует); иначе Он не стал бы так долго меня терпеть».*

— Иосиф говорил много чего, потому что мысль о смерти ужасала его. Он был просто одержим этой мыслью. Он знал, что скоро умрет. Мне тоже сказали, что я скоро умру, поэтому я знаю, что это значит: думать о том, что ты скоро умрешь. К тому же он любил возражать, любил говорить то, что и не думал говорить за секунду до этого. Конечно, он часто повторял полюбившуюся ему мысль, но и провоцировать очень любил. Помню, как-то раз они с Мишей Барышниковым ходили на ужин, точнее, на такое светское мероприятие с участием богатых людей. Это был Мишин мир — богачи, покровители балета. Миша пригласил Иосифа, а Иосиф за столом

ляпнул что-то дико грубое. Не помню точно, но что-то вроде: «Вы — идиот» — самое нелепое и глупое, что я когда-либо слышала. Миша и я посмотрели друг на друга и буквально встали и вышли из-за стола в разгар ужина, официального ужина в квартире на Пятой авеню, потому что Иосифу взбрело в голову оскорбить кого-то из гостей. Ужасно было оставлять его там одного. Мы отправились в «Русский самовар» и там напились. Поэтому нельзя серьезно относиться ко всему, что он говорил о Всевышнем.

Перевод с английского Лидии Семеновой

АННЕЛИЗА АЛЛЕВА, МАЙ 2004, ВЕНЕЦИЯ

— *Когда и при каких обстоятельствах вам довелось познакомиться с Бродским?*

— Я познакомилась с Бродским в апреле 1981 года. В Риме на старинной вилле Mirafiori был организован цикл лекций для бывших студентов русского языка и литературы, получивших диплом факультета языков и философии. Бродский тогда находился в Риме в качестве стипендиата Американской Академии и жил в маленьком домике рядом с Американской Академией. Для небольшой группы студентов он читал лекцию о русской поэзии, о «Новогоднем» Марины Цветаевой, что уже было напечатано в виде статьи¹.

— *И чем он вас очаровал?*

— Он меня очаровал уже тем, как он вошел в класс широким решительным шагом в солидных, тяжелых мужских ботинках. Меня очаровал и его джинсовый пиджак, и его русский язык, и особенно его картавость. И еще он очаровал меня своим пренебрежительным отношением к нашему профессору, который буквально рта не мог открыть, чтобы не услышать в ответ от Бродского какие-нибудь резкости. Мне тогда было двадцать четыре года, ему почти сорок один.

— *Как развивались ваши отношения? Как часто вы с ним общались?*

Аннелиза Аллева — итальянский поэт, переводчик, эссеист, славист по образованию. Автор семи поэтических сборников. Переводила на итальянский прозу Пушкина (1990), «Анну Каренину» (1997), стихи современных русских поэтов, подготовила антологию современных русских рассказов («Metamorfosi», 2004).

¹ Иосиф Бродский. Об одном стихотворении // Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы. Т. 1. New York: Russica. 1980. С. 39—80.

— Он мне нравился, я смотрела на него, и мне казалось, что он тоже смотрел на меня, когда поднимал глаза во время лекции или во время вопросов. Так оно и оказалось. К концу лекции я подошла к нему вместе с другими за автографом: у меня был с собой двухтомник Цветаевой. Стихов самого Бродского я тогда еще не читала. Я заметила, что он подписывает книги тем, кто стоял за мной, а мне он жестом дает знать, чтобы я подождала. Потом он дал мне автограф, добавив к нему номер своего телефона. У меня сразу уменьшился аппетит и ухудшился сон. Потом он улетел в Англию, и мне тоже нужно было ехать в Лондон, чтобы изучать английский. Летом он вернулся в Штаты, и мне тоже потребовалось устроить поездку в Штаты с моими итальянскими приятелями. Это была невинная ошибка. Там я поняла, что он в свою берлогу не пускал никого. После Америки я решила больше не искать с ним встреч. Я получила стипендию для поездки в Россию. Бродский дал мне адрес своих родителей еще в Америке. Во время моего пребывания в России я ни разу ему не написала. И даже когда вернулась в Италию, не звонила и не писала. Он сам позвонил мне на Рождество 1982 года из Венеции и пригласил меня. Бродский крайне не любил терять людей. Наши отношения становились похожими на игру в шахматы. Он дал мне понять, что это он решает, когда, где и при каких обстоятельствах мы встречаемся. Мы встречались более или менее регулярно два раза в год, раз в неделю говорили по телефону и переписывались. Мы редко жили вместе, но случалось и такое — на Искии, на Майне, в Нью-Йорке, в Амстердаме, в Брайтоне, в Лондоне, во Флоренции. Путешествовали по Италии, часто встречались в Венеции. Так это и продолжалось до конца января 1989 года.

— *Вы писали о том, как осенью 1981 года вы приехали в Ленинград в качестве стипендиата и в течение всего года каждый четверг навещали родителей Бродского¹. Создалось ли у вас впечатление, что они понимают масштаб дарования сына? Ведь уже в 1980 году он впервые был выдвинут на Нобелевскую премию.*

— Да, я навещала родителей Иосифа каждый четверг в

¹ Аннелиза Аллева. Улица Пестеля, 27, квартира 28 // Нева. 1999. № 12. С. 162—168.

пять часов. Они, конечно же, осознавали, что они родители Бродского, очень им гордились, особенно мать. Но для них, особенно для Марии Моисеевны, говорить о нем было пыткой, болезненным пунктом. Мне казалось, хотя она никогда этого не высказывала, что ей было невыносимо думать, что я теоретически могу увидеть ее сына в любое время, а она, мать, не может. Поэтому мы о нем не говорили так уж часто. Но все равно он присутствовал в самом воздухе той квартиры. Там все было пропитано ностальгией. И я их очень уважала за стойкость, за то достоинство, с которым они переносили день за днем жизнь без него, за их порядочность.

— *Рассказывали ли они вам какие-нибудь интересные истории из детства и юности Иосифа?*

— Рассказывали, конечно, и я об этом подробно писала. Мария Моисеевна всегда защищала сына, считала его добрым. И в этом она была права. Иосиф был ее единственный сын. Он рос во время войны, мать работала, а сына приходилось оставлять дома одного. Она с гордостью рассказывала, как однажды, вернувшись с работы, она увидела, что ее трехлетний сын держит в руках книгу «Так говорит Заратустра», как будто читает ее. Она взяла у него книгу посмотреть и положила ее вверх ногами, а Иосиф тут же вернул ее в правильное положение. Он как будто читал в три года.

Мы с Иосифом часто обедали в ресторанах, а у Бродских я всегда ужинала по четвергам, и в жестах матери за столом я узнавала жесты Иосифа, например он так же ломал кусок хлеба. Этому он научился у нее, да и всему вообще он научился у нее. После войны Иосиф часто помогал ей носить из подвала дрова в квартиру. Картина редкой нежности. Действительно, Иосиф был добр, он всегда помогал друзьям, раздавал свою новую одежду, спасал кошек. Но в то же время он мог пригласить на день рождения своих друзей, а сам уйти в течение вечера. Он писал стихи под музыку Баха. Он купил в Кембридже галстук и послал отцу, Александр Иванович элегантно носил этот галстук.

— *Память всех нас подводит. Так, Мария Моисеевна вам рассказывает, как она несколько раз видела на Литейном вместе Ахматову и Цветаеву после возвращения Цветаевой в Союз. Но мы знаем, что они встречались только дважды в Москве 7 и 8 июня 1941 года. Или отец, показывая вам фотографии Иоси-*

фа, говорит: «А вот он после защиты диплома». Но никогда в своей жизни Иосиф никакого диплома не защищал, хотя и получил несколько почетных степеней доктора в разных странах, в том числе в Оксфорде в 1991 году. Как вы воспринимали эти истории?

— Я точно помню, как Мария Моисеевна мне рассказала, что Ахматова и Цветаева вместе гуляли по Литейному проспекту в длинных юбках и были похожи на учительниц. Ахматова жила недалеко; возможно, другая дама была не Цветаева, а действительно учительница. А возможно, что обе были учителями, просто одна из них похожа на Ахматову. Жалко, я ей тогда поверила и верю до сих пор. Мне просто нравится идея, что две великие русские поэтессы были похожи на учительниц, потому что так именно бывает. Что касается диплома Иосифа, то отчетливо помню одну черно-белую фотографию семидесятых годов где-то в Англии, на которой Иосиф выглядел худым, грустным, с длинными редкими волосами, в шляпе с кисточкой и, кажется, в темном плаще — типичная форма студентов, которые только что защитили диплом. Я им верила, и у меня никогда не было ощущения, что они говорили неправду. Разве иногда Александр Иванович что-то чуть-чуть преувеличивал. Когда Мария Моисеевна мыла посуду после ужина, мы с ним сидели в полукомнате Иосифа, я на жесткой кровати Иосифа, на которой теперь спал Александр Иванович, он стал рассказывать о приключениях своей молодости. Однажды он меня сфотографировал пару раз на фоне фотографий Иосифа до отъезда из России. Я до сих пор храню одну из них как сокровище, как память о тех временах.

— В какой степени эта дружба была важна и для вас и для них?

— Для меня очень важна. Не только тогда и там, но навсегда. В ленинградском общежитии для студентов из капстран на улице Шевченко, дом 2, тайно хранила черно-белую фотографию Иосифа, может быть, еще и потому, что его имя было под запретом. Было весьма опасно говорить, что ты его знаешь или что ты встречаешься с его родителями, тем более в коммунальной квартире. Для такой девушки, какой я тогда была, все это было весьма привлекательно. До сих пор, между прочим, у меня на левой руке — а я левша — сохранился шрам от тяжелой двери телефонной кабины на улице Пестеля.

Родители Иосифа составили мне компанию, кормили меня. Я их немного развлекала, дарила маленькие полезные вещи: вино, шоколад. Иосиф дал мне немного денег, чтобы я покупала для них кое-что в магазине «Березка», где товар был лучшего качества. На Рождество я ездила в Италию и оттуда привезла свитер и ботинки для Марии Моисеевны и костюм для Александра Ивановича, а также календарь с репродукциями Боттичелли и кое-что еще. Для матери я потом купила еще шапку в другом конце Ленинграда. Но не это главное. Я до сих пор помню их пословицы и поговорки, ее кухонные советы, его максимы, например что перед встречей с начальством надо сытно поесть. Я бы добавила: и перед тем, как идти к зубному врачу, то есть накануне страдания.

— *Вы заметили, что Иосиф был похож на своего отца. Только ли внешним было это сходство или более глубоким?*

— Иосиф был несомненно похож на отца, но отчасти и на мать. Она своей красотой смягчала его черты, унаследованные от отца. Выпуклые голубые глаза отца и только намек на выпуклость глаз у Иосифа. То же можно сказать и про его горбатый нос, у Иосифа нос был больше похож на материнский. То же самое с облысением. Но Иосиф был молодым, ведь он и умер в возрасте моложе отца. После смерти матери в 1983 году Иосиф просил меня написать письмоце отцу, «нежненькое, как предыдущее, которое ему так понравилось». У отца и у сына было еще нечто общее — быстрые руки, маленькие, белые. Да, у Александра Ивановича на правом мизинце был очень длинный ноготь. Было у них и большое внутреннее сходство: отец после свадьбы не пошел жить вместе с женой, а остался в своей прежней квартире¹. И только время от времени ездил к жене и к сыну. Она очень критически относилась к нему и иногда говорила: «Что-то таинственное есть в нем, — и добавляла: — Он эгоист, а мой сын не эгоист». И упрекала его, что после того, как они поженились, он ни разу не сводил ее в ресторан. Общее у отца и сына было отношение к женщинам. Они оба считали, что социальная

¹ Бродский родился на Петроградской стороне, а рос на улице Рылева, где жила мать; отец жил на углу проспекта Газа и Обводного канала. (См.: Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским... С. 20).

жизнь — это мужское дело, а женщинам лучше дома сидеть. Оба они любили, чтобы последнее слово оставалось за ними. Оба обладали необыкновенно быстрой реакцией, сообразительностью, практической ловкостью. Отличала их и любовь к блеску и увлечение женщинами. Мария Моисеевна косо смотрит на мужа за столом и говорит: «Он только любил проникать в чужие спальни». Еще Александр Иванович любил помпу, официальность. Я бы сказала, что Иосиф в какой-то мере тоже.

— *Странно, у меня совсем другое впечатление, что Иосиф не любил официальные мероприятия и избегал торжественных церемоний. Так, он отказался от поездки в Японию, получив приглашение от самого императора; отказался он и от поездки в Санкт-Петербург на церемонию вручения ему звания почетного гражданина города. Выспрашивал ли вас Иосиф о подробностях жизни родителей, когда вы с ним встретились после возвращения в Италию?*

— Иосиф, как и его родители, страдал от воспоминаний. Помню, мы были на кухне у моей венецианской приятельницы, пили чай, он спросил: «Она тебя угощала, да? Правда, она замечательно готовит?» Он вообще сильно скучал. Я помню, как я ему однажды показала свой ленинградский вельветовый альбом. Иосиф так медленно поворачивал странички, как будто он боялся того, что увидит за углом каждой страницы. Он говорил мне и писал, что когда был молодым, ему хотелось уйти из дома, хотелось жить отдельно. Но позже он понял, что на самом деле дома и была единственная настоящая жизнь. Его родители все время спорили, несерьезно, но постоянно. Так же любил спорить и Иосиф; видимо, это напоминало ему семейную жизнь.

— *Ваша дружба с Иосифом продолжалась несколько лет. Были ли в ней ямы и буераки?*

— Интересно определение наших отношений как дружба. У меня не было дружбы с Иосифом, скорее была война. Я спрашивала себя в дневнике и его в письмах: «Вы кто? Друг или враг?» Между нами были длительные паузы тишины, когда мы были вместе. Он был больше меня, по крайней мере, по росту, возрасту, языку, культуре. Я, как маленький Давид женского пола, внимательно его слушала, следила за его советами-упреками по поводу моего чтения. И одновременно я

изучала его поведение, хотела его понять, раскрыть и ему противостоять, как-то защититься от него, спастись, освободиться от него. Иосиф об этом знал и называл это намерение «поставить на мне крест». Но мне это долго не удавалось осуществить. Я читала и читала, потому что Иосиф говорил, что литература, особенно поэзия, развивает человека. Мне надо было быстро вырасти. Я была с ним наедине, и никто не мог мне объяснить, кто такой Бродский.

Были ли в наших отношениях ямы и буераки? Ямы для меня, иностранки, это места, где лежат покойники, где люди отдыхают. Я же горела, и процесс горения требует кислорода. Горение — это свет высокого пламени при свете солнца. Мне, увлеченной сердцем, надо было оставаться трезвой умом. Мне требовалось уловить его психологически, а он не позволял сформулировать представление о себе, он все время посылал противоречивые сигналы, создавая разные образы самого себя. По-моему, за всем этим туманом крылась какая-то неуверенность. Он притягивал к себе и уходил. Он крал любовь у других, чтобы скрыть свою неуверенность. Он уходил во имя самостоятельности. Какое усилие, не правда ли? Он мне говорил иногда о своих сомнениях, но мне трудно было поверить ему, потому что он посылал слишком много противоречивой информации. Он просил у тебя постоянства и покровительства, как всякий бездомный, но взамен давал слишком мало, в лучшем случае удалялся, делая тебя слабее и этим самым как бы удерживая тебя. Как будто у него это было единственное средство. Есть в этом нечто детское. Короче говоря, я не могла себе позволить свалиться в яму. Наоборот, я была очень бдительной, живой.

— *Что означало присутствие Иосифа в вашей жизни?*

— Присутствие Иосифа в моей жизни на самом деле было постоянным его отсутствием. Он именно этим и играл: показывался и исчезал, но не насовсем, держал меня на длинном поводке. Поводком был телефон. Закончилось тем, что я поехала однажды на велосипеде в телефонную компанию и попросила, чтобы мне изменили номер телефона. Потом я на время уехала из Рима в деревню и стала жить с художником Руджеро Савинио, который впоследствии стал моим мужем.

Мое отчаяние не проистекало из его отсутствия: когда он отсутствовал, я могла мечтать. А вот его присутствие приво-

дило меня в отчаяние: тогда мое одиночество умножалось, именно рядом с ним, таким долгожданным. Он всегда куда-то спешил — на интервью, ужины, приемы. Я описывала это состояние в моих стихах¹.

— *Коты — это тотем Бродского. В Ленинграде вы познакомились с «кошкой в белых сапожках». Знакомы ли вы с последним котом Иосифа — Миссисипи?*

— Это правда, коты — тотем Бродского. Он их очень любил. Я познакомилась в Ленинграде с «кошкой в белых сапожках». Я не знала последнего кота Миссисипи, но зато знала предыдущего, рыжего, увы, забыла его имя, как-то на «р», кажется Big Red (большой рыжий). После смерти этого кота Иосиф вставил его фотографию в рамку и поставил на стол в квартире на Мортон-стрит. Я называла Иосифа в письмах Giuseppe Gatti и подписывалась Anna Gatti. В письмах его ко мне и на книгах, подаренных им, много рисунков котов. Сейчас у нас дома есть кошка Аргентина, которую мы взяли недавно по просьбе моей дочки Джеммы. Я, очарованная ее грациозностью, вспоминаю, как Иосиф всегда говорил о грациозности кошек, что они грациозны в любом положении. Он очень любил на них смотреть.

— *Евгений Рейн в своем эссе-рассказе «Мой экземпляр “Урании”» пишет, что Бродский вписал ваше имя над несколькими стихотворениями, с вами связанными: «Ария» (1986), «Ночь, одержимая белизной...» (1983) и «Элегия» (1986). Почему нет ваших инициалов в опубликованных версиях?*

— Женя написал замечательную страницу о нашей встрече в Москве². Бог знает, почему Иосиф не поставил мои инициалы при публикации посвященных мне стихов. Одно из его самых последних стихотворений, опубликованное уже после его смерти, «Воспоминание»³, это именно воспоминание о нашей прогулке и о нашей маленькой утопии. Уже после окончания нашей связи он написал в 1989-м и 1990 годах

¹ См. подборку стихов Аннелизы Аллева в переводе Дениса Датешидзе в журнале «Звезда» (2004, № 8).

² Евгений Рейн. Мне скучно без Довлатова. СПб.: Лимбус Пресс, 1997. С. 195—196.

³ Иосиф Бродский. Пейзаж с наводнением... С. 194.

несколько стихотворений на эту тему. Я также узнала себя в «Набережной неисцелимых» в девушке с глазами «горчично-медового цвета» (7:10 и сл.). Узнала и в «Письме Горацию» (6:363—364). У меня было такое впечатление, что Иосиф иногда запутывает читателя в своих посвящениях, что он опять что-то скрывает. Он пользовался датами, названиями, посвящениями, меняя иногда сами стихи, то чтобы кому-то польстить, то чтобы кому-то досадить или просто поиграть в прятки с читателем. Это его подтексты или затексты. Он еще говорил, что женщинам следует показывать меньше того, что ты чувствуешь.

— В «Набережной неисцелимых» есть, кажется, и еще одна фраза о ваших с ним отношениях: «...ни для медового месяца (ближе всего к которому я подошел много лет назад, на острове Иския и в Сиене...)». Если верить сообщениям того же Рейна, под посвящением «Ночь, одержимая белизной...» после вашего имени Иосиф надписал: «... на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, еще и произойдет». Почему этого не произошло?

— Однажды, на Пьяцца Навона, он спросил у меня: «Ну посмотри на меня, разве я похож на семьянина?»

— Вы поэт и, судя по автопереводам на русский и на английский, поэт замечательный. Видел ли Бродский ваши стихи или переводы и какова была его оценка?

— Благодарю вас, Валентина. Иосиф видел некоторые мои опубликованные стихи и их ценил. Однажды он сказал мне в телефонном разговоре, что читал мои стихи по-итальянски с помощью Маши Воробьевой и что это было для него самой большой радостью после получения Нобелевской премии. Он вообще любил назначать каждому свое место. Он хвалил мои письма, говорил, что когда я пишу, что-то со мной происходит, говорил, что мои письма — его капитал. И он хранил одно из моих писем в своем кошельке. Он мне писал, что ему нравится прямота моих мыслей, что мне надо продолжать писать. Но что если я хочу писать, то следует начинать с самого простого. Я навсегда запомнила этот его совет. Бродский был первым, кто одобрил мои стихи. И его одобрение было для меня чрезвычайно важно. Однажды он даже сказал, что я, наверное, пишу лучше всех в своей среде в моем городе. Что это сознание — самое главное, чтобы начать, что я

могу писать, как Ахматова. Трудно мне забыть такие слова. Он ценил мое воображение, которое, по его мнению, присутствовало на моем лице, как облако на небе. Он ценил мои сравнения. Ему нравились мои переводы его стихов¹, нравилась игра ассонансов и точность перевода. Я иногда консультировалась по телефону с Иосифом во время перевода прозы Пушкина, и он мне подсказывал, как найти решение некоторых проблем. Мы однажды вместе работали в Брайтоне. Он мне подсказал нечто очень важное для перевода вообще. Эти его советы я помню до сих пор.

— *Меня особенно взволновало стихотворение «Кто входит в эту дверь»². Оно словно написано от имени всех женщин, влюбленных в Иосифа и им оставленных. Слышали ли вы из уст Иосифа слова «Я вас люблю»?*

— Редко. Он не говорил «Я вас люблю», а «Мы вас любим». Ведь его было много. Целая мозаика.

— *Доводилось ли вам посещать его лекции или чтения? Какие впечатления сохранились в вашей памяти от публичных выступлений Бродского?*

— Доводилось, но не часто. Я помню его самую первую лекцию, о которой я говорила раньше. Помню, когда он читал стихи на поэтическом фестивале на вилле Боргезе летом 1983 года. Он читал свои стихи по памяти, тембром большой личности, смело, громко, но при этом всегда немного волнуясь. За это волнение я его любила.

— *Вы, несомненно, читали многие интервью Бродского, в частности опубликованные в итальянских и американских журналах. Вы согласитесь, что ему было свойственно всех поучать. Следовал ли он сам тем жизненным правилам и критериям, которые он столь часто формулировал в своих эссе и интервью?*

— Да, конечно, я читала многие его интервью. Я даже думаю, что после столь многих интервью стиль интервью как-то вошел в кровь-чернила Бродского, или, может быть, лите-

¹ Iosif Brodskij. Tre elegie romane. Traduzione di Annelisa Alleva // Nuovi Argomenti. 1984. № 9. P. 16—18 (переводы трех из «Римских элегий»); Iosif Brodskij. Strofe veneziane // Nuovi Argomenti. Traduzione di Annelisa Alleva. 1985. № 16. P. 10—14 (перевод стихотворения «Венецианские строфы»).

² Annelisa Alleva. Chi varca questa porta. Roma: li Bulino, 1998.

ратурный стиль Бродского был естественно близок к устной речи, то есть к самим интервью. Я однажды присутствовала на его интервью для газеты «La Repubblica» и все время думала о том, что вот моя мама завтра откроет газету, которую она читает каждый день, и узнает, что Иосиф в Риме. Я его тогда от нее скрывала. Для нее его имя было как заноза в глазу. Разумеется, он не следовал в жизни тем правилам, о которых говорил. Тогда многие высказывания Иосифа осложняли мое понимание его. Сбивали меня с толку. Сегодня от всего этого со мной осталось редкостное богатство и сила. И тогда и сейчас самое интересное и важное для меня — это Иосиф-поэт, русский поэт: что он думал о жизни, о самых простых вещах, важен его опыт. Ради этого я терпела все остальное. Гегель писал в «Эстетике», что каждому человеку следовало бы имитировать Христа, пережить все этапы его пути. Так вот, Бродский был моей Голгофой. Пушкин писал, что страдание — хорошая школа, а счастье — самый лучший университет. Так вот, Бродский был моей школой.

Что касается того, что ему было свойственно всех поучать, это правда. Я шутя ему говорила, что он пытается меня агитировать. Поскольку на родине он все время протестовал, по моему, потом ему просто хотелось с чем-то согласиться. Мне нравился его подход к студентам как старого учителя, старого отца — все его абстрактные рассуждения были на грани жизненного опыта. Иосиф был очень популярен среди студентов, они в конце года дарили ему или майку с репродукцией его собственной фотографии или что-нибудь в этом роде. Будучи щедрым к своим ученикам и к своим знакомым вообще, он давал им в руки тот же самый инструмент, который им понадобился бы, пожелай они ему возразить. В последние годы своей жизни, в круглых очках, он был очень похож на профессора. И это еще раз подкрепляет рассказ Марии Моисеевны о двух поэтессах, похожих на школьных учительниц. Но поэты и профессора всего лишь похожи.

— *Вы наблюдали Бродского в общении как с итальянскими, так и с русскими друзьями. В какой степени его нежелание принадлежать к какой-то группе, организации, стране, даже одной женщине детерминировано его страхом быть пойманным?*

— Да, я долго наблюдала Бродского. У него была аллергия на группы, общества, организации. Он ненавидел подписыв-

вать письма в защиту кого-то. Он мне говорил, что он подписывает только те письма, которые сам написал. Он не мог бы войти в чужую группу людей, вместо этого он создал свою собственную группу, группу Бродского. Собственный mondo. Естественно, лидером этой группы считался он сам. Друзья его искренне и преданно любили. Он говорил мне, что очень хорошо выбирает своих друзей.

— *Помните, он писал: «Я плохой еврей, плохой русский, плохой американец, плохой христианин, но хороший поэт». Согласны ли вы с этой самооценкой?*

— Я согласна с тем, что он был очень хорошим поэтом. Я выросла на стихах Иосифа: когда я получала от него новую книгу, я ее открывала с таким чувством, как будто это еще не написанная мною самая книга. Я даже не читала, я пожирала его слова. Я люблю в его стихах школьную, ленинградскую, уличную, снежную, рождественскую, меланхолическую, лесную, камерную, сентиментальную атмосферу. Я предпочитаю его стихи вполголоса, нежели более напряженные, вызывающие немедленные аплодисменты, стихи на пятерки. Я люблю его сравнения, его богатое воображение, его рифмы. Иосиф говорил, что поэту необходима инерция, он должен жить в своем городе, повторять каждый день те же самые действия, и советовал мне не менять место жительства. И в языке он любил самую инертную и замедляющую часть речи — союзы. «Теперь так мало греков в Ленинграде...» — очень интересное начало именно в смысле инерции. Я помню, несколько лет назад мне довелось разговаривать на берегу Ирландского моря с талантливой русской художницей — Варварой Шавровой. Она сказала, что читала Бродского еще в России в самиздате, девушкой, в автобусе, и у нее сразу же создалось впечатление, что это нечто совсем новое, именно в смысле языка.

— *Помогает ли ваше знание Бродского-человека лучше понимать его стихи?*

— Несомненно. Вообще человек, который знаком с автором, оказывается в привилегированном положении и как читатель, и как переводчик, особенно если он сам писатель или поэт. После Бродского я познакомилась со многими русскими поэтами и убеждена, что знание биографии поэта очень помогает, как и посещение его квартиры. Иногда даже один

звонок чего стоит, так важно услышать голос поэта, голос ведь главный его инструмент.

— *Считаете ли вы Бродского религиозным поэтом?*

— Сказала бы, нет. Чувствовалась в нем какая-то дистанция, отстранение, удаление от земных сует, как бывает у больных людей. А он был ведь очень болен. Или у людей, которые многое испытали, многое потеряли. Сам о себе он говорил: «Я тертый калач» или «Я далеко не святой».

— *Вы перевели всего Пушкина на итальянский. И хорошо знакомы с его мировосприятием и его значением для русской культуры. Можно ли Бродского назвать современным Пушкиным?*

— Да, я много переводила, кроме Пушкина, перевела «Анну Каренину» и многих современных поэтов. Я не вижу в Бродском современного Пушкина. У Иосифа нет галантности, нет французской культуры XVIII века, нет так хорошо известных нам «ножек» Пушкина. У них действительно много общего, но скорее в характере: оба Близнецы, родились в мае, 26-го и 24-го; умерли в январе, 29-го и 28-го. Как будто у них был общий гороскоп. Общая неуловимость и двойственность, донжуанство, остроумие и мрачность, экстравертность и в то же самое время какая-то нелюдимость. Сравните, у Пушкина в «Онегине»: «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей» и у Бродского в «Натюрморте»: «Я не люблю людей». Правда, тут следует отдать дань литературному клише.

Я так представляю себе одну из родословных в русской литературе: Толстой от Пушкина, Ахматова от Пушкина, Толстого и Достоевского, Бродский от Ахматовой, многие современные поэты от Бродского, как Борис Рыжий, Олег Дозмор, Елена Тиновская и другие. Живут, пишут, страдают и умирают уже потомки Бродского.

— *Как вы оцениваете триумф Бродского на Западе?*

— Я благодарна Бродскому за все то, что он нам подарил. Но хорошо бы определить и место его современников и поэтов помоложе. Всякий триумф всегда в какой-то мере есть форма тирании. Я помню, как Иосиф позвонил мне из Лондона в день известия о Нобелевской премии и спросил каким-то жалобным голосом: «Пожалуйста, скажи, что ты рада». Я ответила: «Конечно, я рада. Вы большой молодец». Но мне показалось очень странным, почему он сомневался, что я рада, почему у него был такой жалобный тон.

— Был ли Бродский в Риме в ноябре 1995 года по делам Русской Академии? Принимаете ли вы какое-либо участие в работе Фонда имени Бродского?

— Я читала в газетах, что Бродский был в то время в Риме и что он намерен создать Российскую Академию. Я не член Фонда имени Бродского, но я работала с поэтами, которые получили стипендии этого Фонда. Я представляла Тимура Кибирова в первый раз в Римском университете и переводила его. Переводила и других стипендиатов Фонда: Строчкова, Стратановского, Елену Шварц, Айзенберга. Мои переводы опубликованы в разных итальянских литературных журналах. Я думаю, что Иосифу было бы приятно об этом узнать. Он сам, мой агитатор, всегда меня учил, что поэзию надо распространять, и мне чрезвычайно приятно осознавать, что все эти поэты говорят по-итальянски моим голосом. Я переводила и других поэтов, приглашала их на международные фестивали и сейчас планирую составить антологию русской поэзии на итальянском языке. Поэты, со своей стороны, мне благодарны и всегда помогают, когда я их прошу об этом. Зимой этого года я составила антологию современных русских рассказов, и поэты мне помогали советами, кого включить и где найти интересный материал.

— Когда вы читаете (если читаете) или просматриваете многочисленные исследования о творчестве Бродского в России и на Западе, какое у вас впечатление? Что идет активное усвоение его наследства? Что канонизация Бродского состоялась? Что бродсковедение — «бурно развивающаяся отрасль филологической индустрии»¹?

— У нас есть хорошая приятельница в Нью-Йорке, Ли Маршалл, которая бывает в Италии. Она привозит мне новые книги уже не самого Иосифа, а о нем. Мне очень любопытно, естественно, за этим следить. Но я знаю далеко не все, что опубликовано о нем в Америке и в России. Я думаю, что канонизация Бродского только отчасти состоялась, но подозреваю, что риск филологической индустрии есть. Для полной канонизации Бродского хорошо бы заниматься и другими поэтами, жившими до Бродского и живущими после него.

¹ Как работает стихотворение Бродского... С. 7.

Многие писали и пишут стихи о Бродском или посвящают ему стихи. Бродский превращается в клише в стихах его современников. Самое впечатляющее стихотворение я нашла в новой книге Александра Кушнера. Но я не читаю других в поисках какой-либо их зависимости от Бродского. Они сами по себе интересны. В конце концов, сам Бродский настаивал на теории следующего шага.

Кто входит в эту дверь

Не я эта одинокая девушка
(ей велик ее траур).
Не я эта вдова
(настоящее, забытое в прошлом).
Не мои линзы, темные туфли, запястья,
уши без серег.
Не я заправляла эту землю — как одеяло,
взбивала — как подушку.
Не меня окружили стеной
высокие кипарисы.
Не я. Это она впереди кортежа,
наследница горя.
Это она в молитве преклоняет колени.
Это она плачет. Утешьте ее.

Следуют другие.
Улыбка луны из-под спущенной занавески волос.
Ты качаешься в их глазах
лукавым эмалевым медальоном. Они владели тобой,
не владея. Ты у них был и не был.
Они были, как города, где задерживаются
на день-другой.
Ты не отнимал у них жизни,
разве что немного смерти у них отнял.

Теперь я смотрю на тебя без ненависти, без страсти,
без страха, без надежды.
Вижу тебя, каким ты был, ничего не прикрывая.
Вижу тебя, каким тебя уже нет.
Вижу расколдованным взглядом,
как вскапывают землю и как она
возвращается на место, порыжев.

Как тут плакать о тебе,
если ты был облаком, паром?
Появлялся, исчезал,
делалось темнее, светлее,
занавешивал собой солнце.
Всегда на бегу, как и твоя смерть.
Твоя тень ускользала —
и я плакала.
Но, выйдя из благородного возраста самотерзаний,
можно ли плакать об облаке?
Земля суха, как ресницы.
Ты был облаком, но дождь не шел.
Вот хоронят любовь. Из чего она сделана? Из слов.

Ничего не понимая, как любая невеста,
белая, легкая, ты шла,
не оставляя следов, сметаемых шлейфом.
Поднимаясь по ступеням церкви,
ты шагала по нашему общему
женскому телу.
Твое ровное восхождение — это были мы.
Чтобы не оборачиваться,
ты несла свое будущее перед собой.
Он скрепил тебе волосы шпилькой.
Сегодня, вдова, ты донашивашь наш траур,
ты просто последняя, кому он в обновку.

Девушка, которая страдает, мой двойник.
У нее светлые волосы, легкий загар.
Печаль вылепливает ей черты лица.
Наши судьбы только коснулись друг друга.
Так пчела касается цветка на лету,
как коснулось меня ее горе сегодня.

Ты узнаешь меня, но я-то другая.
Ты — шахматная королева, или нет, ты — Мария.
Он — сын, нет, отец, большой,
лежит у тебя на коленях.
Или — ты стоишь на коленях, ожидаешь Благовещения.
Ты меня узнаешь, потому что ты — та же.

Пока я тебя любила, сколько раз у меня было искушение
столкнуть тебя с крутой лестницы или в темный канал.

Как я молилась по ночам о справедливости:
«Господи, даруй жизнь только достойному жизни!»
Постепенно кошмары сменились пустыми снами.
Из болезненного ожога ты стал мазью.
Вот я и пою, чтоб спасти тебя от забвения.

Перед тысячным прощанием,
последним аэропортом, оскверненной постелью, стеклом
я открываю тайну, которой ты мне не открыл.
Ты уходишь, я остаюсь, вот и хорошо.
Когда горюешь, внутри холодно, горе,
так или иначе, переносимо — вот правда, которую ты
знал:

уголь становится пеплом, и его можно потрогать.
Сколько же потребовалось хворосту, дутья на огонь,
едкого дыма,
чтобы понять твою правду:
жизнь — не знание о жизни, я — жизнь.

Твои мысли мелькали, как моль,
которая прогрызает занавеску,
чтобы золотисто исчезнуть.
Ты пытался придать им форму,
обметать дыры,
залатать пустоту криком.
А в конце — ушел от живых и от мертвых.

Подруга кладет на могилу розу.
Незнакомка крадет горсть земли.
Все гуськом направляются в церковь,
рассаживаются ровными рядами,
как половицы в замолчавшем доме.

Кто входит в эту дверь,
отделен от земли,
как цветы в его руках.

Здесь покоится человек без земли.

Остров цвета
дряхлого железа
в бедных веснушках.

Привкус крови во рту.

Захочется пить — придет прилив.
Теплый ветер высушит пот.
Погаснет солнце.

Но листва будет все еще шелестеть.

Мягкие шишки кипарисов
падают на надгробье,
как «целую, целую».

Сидят птицы на кресте, да и мы уже не те.

Вот пишу, и уходит
каменное горе.
А я его провоцирую,
хожу вокруг да около, злюсь.
А оно царапается, гадина.
Чернила текут, чернея,
или карандаш — пока
витийствует, мозолит руку,
стачивает грифель.¹

¹ Перевод с итальянского Лева Лосева.

ТАТЬЯНА РЕТИВОВА, ИЮЛЬ—НОЯБРЬ, 2004

— *Когда и как вы познакомились с Бродским?*

— Это было в 1979 году, в Мичиганском университете, через полгода после моей первой поездки в Россию. Во время моей стажировки в Ленинграде я познакомилась со многими ленинградскими поэтами, с так называемыми поэтами «голубой лагуны», по названию антологии Кости Кузьминского. Общалась с Кривулиным, Еленой Шварц, Охапкиным, Мироновым, Чейгиным, Куприяновым, чьи неопубликованные рукописи я получила возможность прочесть в оригинале до поездки в Ленинград. Тогда все очень бурно обсуждали и спорили по поводу Бродского, его процесса, его отъезда — наверное, не проходило и вечера, чтобы его не вспоминали. Много лет спустя в России литераторы также бурно обсуждали его Нобелевку и его невозвращение. Ну так вот, можно сказать, что я поступила в аспирантуру именно в Мичиганский университет, под влиянием своей первой поездки в Россию, и чтобы воочию убедиться о том, что и так знала.

— *Вы были у Бродского в семинаре в Мичиганском университете в 1980 году. Каким он был преподавателем?*

— Я была на всех его семинарах, пока он у нас преподавал. Он был преподавателем необычным, что касается стандартов славистики, ну и тем более Мичиганского университета, где все, особенно тогда, были помешаны на формализме, структурализме и семиотике. Хотя для меня его метод преподавания был, как говорится, то, что врач прописал, бальзам

Татьяна Ретивова (род. в Нью-Йорке в 1954 г.) — переводчик, славист. Работала синхронным переводчиком при Госдепартаменте США. С 1994 г. живет и работает на Украине.

для души. Я, наоборот, очень изнывала от чопорного подхода к преподаванию литературы, так как настоящей филологией на нашем факультете давно не пахло. Фило- отделилась от -логии, и филология превратилась в раздвоенное изучение литературы и лингвистики, и, что симптоматично, — на факультетах славянских литератур и языков, те, кто усовершенствуют русский язык, не читают литературные произведения, а те, кто плохо знают язык, читают (в переводах в основном), за исключением студентов, которые являются изначально русскоязычными. А Бродский преподавал не как литературовед, а как поэт, и мне это было вовсе не чуждо, поскольку именно к такому методу я и привыкла, будучи студенткой в Монтанском университете, где я была слушателем курсов по литературному мастерству, поэзии и прозе и где я получила степень бакалавра по английской литературе.

Моим главным учителем на семинарах поэзии был поэт Ричард Гюго, а он, в свою очередь, был учеником поэта Теодора Рэтке, который, кстати, тоже был выпускником Мичиганского университета. Оба были яркими представителями послевоенной американской школы поэзии, Гюго даже был пилотом бомбардировщика во время Второй мировой войны. С его помощью я не только усовершенствовала верлибр, но и увлеклась различными формами стихосложения, что и продолжалось после моего знакомства с Бродским.

— *Как к нему относились студенты и коллеги Мичиганского университета? Не раздражал ли он коллег своими энциклопедическими знаниями и своей политической некорректностью?*

— Мне кажется, что для рядовых аспирантов славистики его подход к литературе был очень полезен, поскольку он предоставлял им такое толкование поэзии, с которым они вряд ли бы где-нибудь еще столкнулись, так как Бродский скорее всего занимался просветительским разъяснением текстов. Для опытных структуралистов, формалистов и семиотиков славистики это было крайне необычно, но им все равно было интересно с Бродским поспорить, поскольку их теорий он просто не воспринимал. Он нарушал все основные правила и принципы так называемой «новой школы» американского формализма, то есть что литературная значимость обусловлена самим текстом и только текстом, а все остальное как бы не в счет. Таким образом, даже с точки зрения самого элементар-

ного формалиста, Бродского запросто можно было бы обвинить в софизме или ложных доводах авторского намерения, поскольку его подход к интерпретации текста был более концептуальным, нежели текстуальным. Хотя, как известно, нет пророка в своем отечестве, и, откровенно говоря, Бродского гораздо лучше понимали, ценили и любили студенты других кафедр, которые посещали его семинары по американской поэзии или по русской поэзии в переводе. С ними он легко находил общий язык, поскольку специалисты по английской или сравнительной литературе были более восприимчивы и ближе к филологии, нежели будущие литературоведы с кафедр иностранных языков. Ну, во всяком случае, это относится к тем американским студентам, которые интересовались тогда Бродским, это же было до Нобелевки. Наверняка и на кафедре английской литературы тоже были свои заядлые формалисты, но они вряд ли посещали бы его семинары по американской поэзии только ради спора.

А что касается тогдашних коллег Бродского и их отношения к нему, это достаточно сложный вопрос, возможно, что некоторые считали его несколько одиозной персоной, так же как и его издателя Карла Проффера. И Бродский и Проффер были звездами, чья основная деятельность выходила за рамки обычного американского академического истэблшмента, и, естественно, обычных профессоров звездные успехи Бродского и Проффера явно не прельщали, тем более если эти же успехи превращались в академические, хотя руководству Мичиганского университета их звездность и деятельность за пределами университета не мешали, так как звезды привлекают студентов, а студенты — это деньги. Каждый факультет сильно зависит от успеха и востребованности своих профессоров.

— *С кем он дружил в Энн Арборе? Были ли у него там серьезные увлечения?*

— В то время, когда я училась в Энн Арборе, он часто бывал в разъездах, это было после его первой операции на сердце, он сильно переживал и был уязвим. В Энн Арборе Бродский жил бесплатно на чердаке одного большого особняка, владельцы которого считали за честь иметь такого квартиранта. Бродский у них часто бывал в гостях. А что касается сердечных увлечений, ну, помимо кошки хозяев, приходившей к нему поспать, наверняка был обычный антураж влюб-

ленных поклонниц. А вообще-то он в основном общался там с Лосевым, Ефимовым, Проффером и со старым питерским другом Гариком Восковым.

— *Были ли у него серьезные недруги в Энн Арборе?*

— Не знаю, если были, то сейчас это уже все забыто, как поется в одной старой эмигрантской песне: «Все что было, все что было, / все давным-давно уплыло».

— *Почему вы решили учиться в Мичиганском университете, а не в Вашингтонском, где жили ваши родители?*

— Да в Америке хорошие университеты разбросаны по всей стране, и никто не принимает решения о том, где учиться по принципу места жительства. Так называемые государственные университеты, университеты при штатах, как Мичиганский, привлекают много студентов из других штатов, и основная разница в том, что для тех студентов или их родителей, которые являются налогоплательщиками штата, стоимость обучения намного дешевле. Но я изначально решила там учиться — в основном потому, что там преподавал Бродский.

Кстати, Мичиганский университет иногда называют Гарвардом Среднего Запада, а Гарвард — Мичиганом Востока. В Мичиганском университете преподавали в свое время и Оден и Фрост. А Рэтке вместе с Фростом получили почетную докторскую степень в этом университете. Оден, кстати, дружил с Рэтке и даже был у него на свадьбе. А медовый месяц Рэтке со своей женой провели на вилле Одена в Искии. Бродский тоже бывал в Искии, наверное по стопам Одена.

— *Судя по эссе об Одене, Ахматовой и других, Бродский был очень благодарным человеком. Таким ли он был и в жизни?*

— Благодарным кому и чему — другим поэтам или своей судьбе? Не знаю, мне кажется, что, во-первых, он был благодарен своему дару и своему голосу. А во-вторых, всем другим и всему остальному. Безусловно, он всегда помнил и отдавал должное и Одену, и Фросту, и Ахматовой, и Цветаевой, и Мандельштаму, и всем остальным поэтам, которых он в себя впитал. В конечном итоге его судьба была легче, чем судьба поэтов плеяды Серебряного века, и он это осознавал. Бродский не раз говорил о так называемой вине оставшихся в живых и явно эту вину на себе ощущал. Хотя сам он был по своему везуч и любим, он был общительным любимчиком многих незаурядных личностей, у него было такое замеча-

тельное качество — не только заряжать других, но и трансформировать их как своим присутствием, так и своими стихами, то есть он был сущим харизматиком, в понятии Макса Вебера, в смысле харизмы божественного происхождения.

Но в ответ на ваш вопрос я бы сказала, что Бродский был, наверное, не только благодарен, но и обязан многим. Обязан в том плане, что ему трудно было существовать в вакууме или без общения, ему несвойственно было писать стихи в стол, он очень хотел стать классиком и сильно стремился к признанию. Он не был самодостаточен, ибо сильно нуждался в общении и признании. Конечно, он мог жаловаться, что, мол, ему не дают покоя, но он сам сильно зависел от этого постоянного беспокойства. Оно его заряжало и вдохновляло.

Нобелевская премия над ним висела, как дамоклов меч с обратным знаком, он не угомонился, пока этот меч не упал, есть у него где-то даже такие слова: «ждать топора да зеленого лавра».

— *Мы все знаем, какую большую роль сыграл в судьбе Бродского Оден. Но о влиянии Одена на поэтику Бродского написано пока ничтожно мало. Вы чувствуете это влияние?*

— Да, чувствую, но в основном не в стиле и не в конкретных словосочетаниях, а в драматической позе его как автора пророческих строк, в самом его обращении к читателю с некоторым авторитетом. Бродский якобы говорил, что начал писать по-английски, чтобы угодить тени, имеется в виду Оден. Вообще, как, наверное, известно, все, что Бродский ценил в других поэтах, он ценил и в самом себе. При разборе стихотворения Одена «Памяти Йейтса» Бродский подчеркивал оденовские переходы с высокого на более низкие стили, как тот употреблял то гражданский, то ироничный, то интимный лексикон. Бродский тоже легко переходил с одного стиля на другой, даже порхал, и вообще эти переходы были его стихией. «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» созвучно со словами Одена «I sit in one of the dives / On Fifty-second Street».

— *Почему Бродский так нуждался в других поэтах? Чем они его питали?*

— Они ему были нужны как отражение. Не буду вдаваться в излишние психоаналитические объяснения. Поэты пишут друг для друга, примерно так же как женщины одеваются друг

для друга. Извините за банальность, но увы, это так. С одной стороны, нужна Муза, и не важно, понимает ли она посвященные ей строки, а с другой стороны, нужен самый умный читатель в мире — и лучше, если это будет другой поэт.

— *Вы переводили его эссе о Цветаевой на английский. В какой степени Бродский вмешивался в вашу работу?*

— В этом не было активного вмешательства с его стороны. Я бы даже назвала его не вмешательством, а внедрением, и происходило оно непроизвольно. И вообще я не то чтобы переводила его эссе, в основном он мне поручил перевести «Новогоднее» Цветаевой на английский, и происходило это все достаточно стихийно. Закончилась эта попытка творческой разборкой текстов, мы вместе разбирали и стихотворение и мой перевод. Мне тяжело расшевеливать память, поскольку я об этом воспоминании уже писала и в эссе и в стихах. Если можно, лучше я приведу мое поэтическое восприятие ниже.

— *Вы родились в Америке и пишете стихи чаще на английском, чем на русском. В отличие от меня и других русских исследователей Бродского, вы в состоянии оценить как его английские стихи, так и его автопереводы. Ваше мнение.*

— Это раньше я писала стихи чаще на английском, чем на русском, сейчас больше на русском. Мое мнение двоякое, в его переводах звучит другой ритм языка, и этот ритм иногда мешает адекватно воспринимать текст, что, возможно, раздражало некоторых критиков его переводов. Например, он очень увлекался знаком апострофа и иногда ставил его там, где было уместно. А также он любил блеснуть каким-нибудь сокращением типа «ain't», что некоторых наверняка смущало. Если честно, то ему мешала, наверное, его слава, и это она скорее всего раздражала некоторых его англоязычных читателей и переводчиков, чем сами тексты, написанные им на английском. Его автопереводы и английские тексты не могли восприниматься отдельно от его личности, таким образом, те, кто к нему был хорошо расположен изначально, терпел его неординарные синтаксические выходы, а те критики, которые к нему не были хорошо расположены, со злорадством набрасывались и придирались к любому необычно использованному идиоматическому выражению. По большому счету его английские стихи уступают его русским стихам, в них слиш-

ком много выпендрежа ради самого выпендрежа, на радость его же критиков.

Но есть одно большое «но»: однажды я прочла в «Нью-Йоркере» его перевод двух стихотворений Цветаевой, совсем ранних, не помню точно каких, он был просто гениальным. Я его до сих пор храню в своем архиве. Ради этих двух переводов на английский ему можно (и надо) все выкрутасы на заимствованном языке простить.

— *В автопереводах foreignization («иностранизация») была ближе Бродскому нежели domestication («одомашнивание»). В какой степени он «обрусил» свои переводы на английский?*

— Его автопереводы были своего рода полем диалектики или полемики между центонной русской литературоцентричностью и английской сдержанностью и самодостаточностью, стычкой двух миров. Хотя если взять Шекспира, то он тоже был по-своему центонным, но он вообще был несравненным и гениальным уникалом. Его центонность сопрягалась не столько по цензурному принципу, сколько по эстетическому, и поэтому она и до сих пор воспринимается.

Если вы имеете в виду отчуждение в смысле «остранения» по Шкловскому, то да, я согласна, я думаю, что в этом поле сражения скорее всего наблюдался чередующийся процесс «остранения» каждого языка, как в кривом зеркале. Хотя если на это смотреть с точки зрения лингвиста Хомского, то необходимо отметить характер поэтики Бродского как бы и вне языка и в его пределах, ибо его поэтический язык является необычным, живым примером генеративной или порождающей грамматики.

— *Английские друзья Иосифа и его переводчики, в частности Бернард Майерс, отмечают огромную самоуверенность (arrogance) Бродского. У вас есть примеры?*

— Да нет, это просто была поза с его стороны. Он мог в течение нескольких минут перейти с огромной неуверенности к такой же самоуверенности, то есть его отрицание своих или чьих-либо мыслей, слов было частью его диалектического процесса мышления, по Гегелю — *Aufgehoben*, попыткой преодоления противоречия как бы на ходу, в течение изречения самой мысли, которая и есть ложь. Может быть, он становился сильно самоуверенным, когда сталкивался с людьми

ми, которые сомневались в возможности перевоплощения мысли в ее противоположность.

Мне скорее запомнились примеры обратного, Бродский, смущенный и несколько неуверенный в самом себе. Мы с ним гуляли по Сан-Франциско в 1984 году, я эту встречу очень хорошо запомнила, так как потом о ней написала иронично, с цитатами из «Евгения Онегина». Ну так вот, мы там провели вечер вместе с Владимиром Буковским, и был такой момент, когда они оба рассматривали что-то в какой-то витрине, пытаюсь разобрать, что это такое. Я уже не помню точно, что это было, какой-то костюм, ну и Иосиф сказал: «Ты уж нас извини, Татьяна, мы просто варвары». Эту фразу я запомнила навсегда и даже таким его про себя и назвала в одном стихотворении о прогулках в Сан-Франциско («Один белый шум»). Хотя, конечно, все мы варвары, с точки зрения древних греков и римлян, просто не все варвары осознают, кто они.

Если Бродский чего-то не знал, то это могло его несколько задеть или смутить; например, я отчетливо помню несколько таких моментов. Бродский не знал, что Томас Харди ценил поэзию больше, чем прозу, но только на старости лет бросил писать прозу и вернулся к поэзии. Обсуждалось это во время дискуссий на излюбленную тему, могут ли поэты писать хорошую прозу или прозаики писать хорошие стихи. Ну и в качестве примера удачного прозаика и поэта в одном лице имело смысл привести Томаса Харди, что я и сделала, чем сильно заставила Бродского задуматься. Ну и еще один такой несколько анекдотический момент из жизни поэтов. Известно, что Йейтс, видимо ради своей любвеобильности, подвергся пересадке обезьяньих тестикул. Бродского эта информация несколько смутила. Он даже покраснел!

Мы с ним громко поспорили во время занятий о цвете волос знаменитой «музы» и фам инспиратрикс Лу Андреас-Саломе, он утверждал, что она была блондинкой, а я — что она была брюнеткой. В таких ситуациях, во всяком случае в моем опыте, Бродский себя вел немножко капризно, но без агрессии, хотя, наверное, потому, что он меня щадил, ибо чувствовал, насколько я была искренне робкой. Наверняка если бы я проявляла признаки самоуверенности или агрессивности, то я бы этим вызвала у него такую же ответную

реакцию. Поэтому я не сомневаюсь, что с переводчиками он мог вести себя самоуверенно, я просто не вижу в этом ничего особенного. Перевод стихов — очень болезненный процесс, особенно когда автор знает оба языка. Я, например, ненавижу переводить стихи, ни хорошие, ни плохие. И то, что у него бывали стычки с представителями англоязычной интеллигенции, тоже не удивительно, просто он активно действовал в достаточно политизированном мире.

Однажды я Бродскому подарила книгу Роберта Бертона «Анатомия меланхолии», он был поражен тем, что никогда ни о книге, ни об авторе не слышал, что, естественно, заставило его сразу же погрузиться в состояние меланхолии. Кстати, Бродский был очень щедрым и сам часто раздаривал книги, не только написанные им, но и те, которые он особенно ценил. Например, мне он подарил своего старого потрепанного Козьму Пруткова, для меня это самый ценный подарок, так как эта книга долго была рядом с ним и много чего впитала из его жизни.

— *Страдал ли он русофобией или русофилией? Что вы можете сказать о понятии «русский дух» в стихах Бродского?*

— Бродский не любил ни русофобов, ни русофилов и в присутствии русофоба мог запросто превратиться в русофила, а в присутствии русофила — в русофоба. Ему свойственно было менять свои позиции в качестве реакции на раздражающего собеседника.

Но тут надо Бродскому отдать должное, он очень много сделал для того, чтобы изменять курс или направление левой нью-йоркской интеллигенции. Одним своим появлением на берегах Гудзона Иосиф их выпрямил и перестроил. До его приезда они только и делали, что выли по поводу американского вмешательства в дела Латинской Америки, а об СССР в основном молчали, ну и только благодаря диалогу и общению Бродского с Сюзан Зонтаг эта изначально просоветская, левая нью-йоркская интеллигенция существенно поправила. У них в сознании произошел такой же парадигматический сдвиг, как и у других знаменитых советских попутчиков, у французских новых философов. Вообще, Нью-Йорк Бродского — это целая тема для диссертации, ибо он этот город дикой хваткой перехватил и отбил у всех других писателей, ну кроме Довлатова. Я родилась в этом городе и должна при-

знать, что с тех пор, как я познакомилась с Бродским, Нью-Йорк перестал для меня существовать отдельно от Бродского. Город с поэтом для меня окончательно переплелись.

— Приходилось ли вам наблюдать, как Бродский сочиняет стихи?

— Сочинять стихи в присутствии других несколько кощунственно, в этом есть что-то театральное: как можно плакать о «музе», когда либо она, либо кто-то другой находится рядом?

Тем не менее Бродский любил показывать свои свежеспеченные произведения, даже незаконченные, и если ему особенно нравилось какое-нибудь место, читал вслух и мог в процессе чтения вслух или перечитывания что-нибудь помянуть. Где-то у меня сохранились гранки одного из его изданий на английском.

Я помню, когда он выступал в Сан-Франциско в 1984 году, он читал свои стихи и на русском и на английском, во время своего выступления он был не в ударе и сильно волновался, особенно по поводу своего чтения на английском. Ради того, чтобы немножко взбодриться после выступления, он поделился своими новыми стихами, которые вошли в сборник «К Урании», ну а я с ним поделилась некоторыми своими сонетами.

— Бывал ли Бродский в доме ваших родителей в Вашингтоне?

— Нет, у родителей не бывал, но родители с ним познакомились очень давно в гостях, когда он только приехал в Америку. Как вы, наверное, знаете, Бродский считал, что может по речи любого русского определить, откуда он. Но вот отец мой, который родился в Праге, но учился в русской гимназии, говорит на чистейшем русском языке, и его провенанс Бродский так и не смог раскусить, чем отец по сей день очень гордится. Кстати, когда мне в России говорят, что раз мой отец родился в Праге, значит, он чех, я всегда отвечаю вопросом, значит ли это, что и Мур, сын Цветаевой, тоже был чех? Ну где тут логика? Кстати, Мур был ровесником моего отца, и при рождении Мура роды принимали моя бабушка со своими сестрами и другими русскими эмигрантками. Моя бабушка была дочкой писателя Евгения Николаевича Чирикова, и Цветаева часто бывала у них в

гостях. Цветаева особенно дружила с сестрой моей бабушки, Людмилой Евгеньевной Чириковой, их переписка была опубликована.

— *За что Бродский так не любил вашего первого мужа, писателя Сашу Соколова?*

— Да он не то чтобы его не любил, просто Саша Соколов ему был чужд. Ведь Саша Соколов — модернист, а Бродский современных русских модернистов не очень уж хорошо воспринимал — ну, живых. И вообще он не любил красивых мужчин, особенно писателей.

— *Бродский не любил говорить о суде, ссылке и прочих неприятностях в бывшей империи. Говорил ли он на эти темы в личном общении?*

— Он не любил говорить об этом, когда его спрашивали, наверное. Мы с ним в основном говорили только о поэзии. Если он о суде и ссылке вспоминал, то в основном в контексте их влияния на литературу. Кстати, поэт Гюго, мой учитель в Монтане, неоднократно нам пытался внушить, что каждый поэт должен себя посадить в тюрьму, где тюрьма — это такое метафизическое состояние, при избытке времени в сочетании с недостатком пространства (как по Бродскому). Время и пространство, излюбленная тема Бродского! Мне кажется, что все поэты увлекаются этимологией, я помню, как я с Бродским поделилась своим толкованием слова «opportunity», от которого он пришел в восторг. Во времена Чосера это слово было еще живой метафорой, в которой сочеталось понятие благоприятной возможности одновременно и во времени и в пространстве, то есть благоприятное состояние обстоятельств, в предвкушении приближения корабля к порту, когда ветер у тебя за спиной и ты скользишь по морю (*ob portum veniens*). Это слово — поцелуй времени с пространством.

— *Существует мнение, что поэзия Бродского рациональна, рефлексивна и излишне культурна. Это поверхностный или глубокий взгляд?*

— Ну как вам сказать, мне кажется, что тут наблюдается своего рода психологическая компенсация. Люди, которые хорошо едят, редко хорошо высказывают свои мысли вслух. Английский писатель ле Карре был даже поражен, насколько Бродский лучше артикулирует свои мысли в письменном виде,

нежели вслух¹. Когда я проводила интервью с Бродским для «Голоса Америки», в 1984 году в Сан-Франциско, то его было просто невозможно слушать, сплошное «а-а-а-э-э-э» и т. д., где-то у меня сохранились эти «а-а-а-а-э-э-э» в неотредактированном виде. Мягко говоря, рациональности в том, что Бродский говорил вслух, было меньше, чем в фиксированном тексте. Мне это очень близко и понятно, я сама невероятно косноязычна и пишу стихи в основном для того, чтобы окончательно зафиксировать мысль или образ, иначе они убегут и будут жить своей жизнью, бесконечно перевоплощаясь в противоположность свою, такими «ауфгехобными» оборотнями.

По поводу поверхности или глубины мнения о рациональности, рефлексивности и культурности поэзии Бродского, мне кажется, что все это является попыткой рационализировать такие качества, которые вопреки всему смогли возникнуть на фоне совершенного отсутствия претенциозности и лицемерия. Как поэт Бродский никогда не кривил душой и умудрялся отстаивать свой личный классицизм вопреки всей жестокой действительности и обшарпанной серости советской жизни. Несмотря на целую плеяду без пяти минут бродских, размножившихся, как сорная трава, в разгаре его славы, его голос остается неповторимым золотым колосом, выросшим «из зернышка промеж двух жерновов», искалеченным гнилой плиткой питерских мостовых. Последнее мною сказано с орфической оглядкой и некоторым вызовом Александру Исаевичу, за его пресловутый «enjambement»².

Хотя отдаю я эту посмертную дань с некоторой оговоркой, так как помимо этих без пяти минут существует целый ряд совершенно разных еще более рациональных, рефлексивных и, возможно, излишне культурных поэтов, которых за это и никому не вздумается упрекать. И слава Богу!

— *Почему адресат любовных посланий Бродского нем?*

— Хороший вопрос! Адресат любовных посланий всегда нем, на то он и адресат. И слава Богу, не хватало бы нам еще и реплик адресата. Но если серьезно, муза только своей недо-

¹ Иосиф Бродский. Труды и дни / Сост. Лев Лосев и Петр Вайль. М., 1998. С. 111—120.

² См. примечание 1 на с. 62.

ступностью и немотой покоряет поэта. Поэт — это Татьяна Ларина, муза — Онегин, а все остальные действующие лица — читатели.

Для поэта-мужчины идеальная муза — это блоковская «Незнакомка», чей зыбкий образ мелкает в подсознании поэта и провоцирует его воображение своей аморфностью. Для поэта-женщины идеальный представитель музыки — это летучий голландец, как это отметил Юнг в своих рассуждениях об Аниме и Анимусе.

— *Бродский задавал масштаб, малодоступный для молодых поэтов. Чему вы научились у Бродского как поэт?*

— Это сейчас он недоступен для молодых поэтов, а тогда, когда я с ним общалась, он был достаточно доступен. Дело вообще не в возрасте, а в сознании человека, социума. Его масштаб соответствовал эпохе, и он был человеком своего времени. Сейчас другие времена, другой век, другая эпоха. Сейчас слово «инакомыслящий» уже можно считать анахронизмом.

Я бы даже так сказала: Бродский тогда был более доступен студентам американских вузов, нежели сейчас был бы студентам российских вузов. Я уже десять лет живу и работаю в русскоязычном мире (на Украине и в России), средний возраст моих сотрудников двадцать семь лет, многие из них выпускники инязов и пединститутов. Из ста человек, может быть, двое-трое читали Бродского, а им уже почти сорок, и, кстати, никому из этих ста не знаком владимовский термин «верный Руслан». Как это все прошло мимо них, понятия не имею. Просто вся эта знаменитая литературоцентричность России — большой миф!

Последний год я провела на Сахалине, здесь есть театр имени Чехова, музей имени Чехова, гора имени Чехова, наверное, поселок имени Чехова и также улица имени Чехова, в конце которой я живу, но книги Чехова не продаются ни в одном в книжном магазине, здесь нигде невозможно достать его «Остров Сахалин». Продолжают читать только чудаки и специалисты, извините меня ради бога, но мне уже давно «совершенно все равно, где совершенно одинокой быть», и я также давно смирилась со своим чудачеством. Здесь нет читателей, в этой постсоветской России, ну во всяком случае не больше, чем в западных странах. Неужели нам так важно и нужно, чтобы кухарки и работники птицефабрик читали Пуш-

кина или Шекспира? Мне, например, все равно, пусть литература будет элитарной, пусть ее читает только тот, кто может, и тот, кто хочет. От образованщины и уравниловки все равно никакого толка нет и не было.

Но вернемся к Бродскому. Чему я научилась? — Ну, наверное, самое ценное для меня было присутствовать при его разборках стихов на семинарах и наблюдать за ходом его мыслей. Несомненно, он заставлял нас всех напрячься. Он был элитарным поэтом все-таки, хранителем огня, переданного ему лично последним представителем Серебряного века.

— *Какие благоприятные условия создает эмиграция для поэта? О неблагоприятных мы все слышаны.*

— Не знаю, мне трудно вообще представить себе благоприятные условия для поэта, это как оксюморон, что ли? Неужели они бывают? Эмиграция — это уже устаревшее понятие, сейчас люди отправляются на заработки на Запад, это новые оstarбайтеры.

— *Как вы узнали о смерти Бродского и что вы при этом почувствовали?*

— Горе и одиночество. Как я узнала и как не узнала о его смерти? С 1994 года я живу на Украине и до 1997 года в основном жила и работала на территории бывшей советской войсковой части, расположенной в одном городе, в середине Украины. После работы часто отключали свет во всем городе, и приходилось проводить вечера при свечах. Чтобы не сойти с ума и не позволять мыслям о Елабуге просачиваться через мое сознание, я запоем перечитывала Дюма. О Елабуге — я должна признаться, что судьба Цветаевой для меня является своего рода эталоном, поэтому в трудные минуты мне всегда вспоминаются цветаевские окончательные безвыходность и безнадежность в Елабуге и ее разрешение этой ситуации.

В конце января 1996-го я поехала в Москву, где собиралась встретиться с родителями и сходить с ними на Татьянин день в новый храм Святой Мученицы Татианы при МГУ. Погода была отвратительной, лежал мокрый, грязный снег, и мы еле доехали, а потом еле дошли до церкви. Там мы пожертвовали деньги на храм, о чем мы даже получили свидетельство. Время мы провели хорошо, и в воскресенье, до своего отъезда обратно в Киев, я договорилась встретиться со своей подругой детства в итальянском ресторане на Арбате.

Как это часто бывает, во время трапезы мы с подругой о чем-то сильно поспорили, и во время длительной паузы по радио что-то начали передавать о Бродском. Хотя тон диктора меня насторожил, я не успела задуматься, как подруга меня спросила, когда я в последний раз видела Бродского. Пришлось вспомнить. Наша последняя встреча была на ежегодном собрании международного ПЕН-клуба в Вашингтоне в 1987 году. С российской стороны были приглашены Александр Кушнер, Юнна Мориц и другие. Отвлечшись и отдавшись своим воспоминаниям, я так и не успела узнать о свершившемся несчастье и вернулась в тот вечер на Украину в полном неведении. Только несколько месяцев спустя я прочла некролог о нем в журнале «Ньюйоркер», который получила с обычным опозданием. Никто даже не подумал мне о его смерти сообщить, и я до сих пор не могу понять, кто более оторван от мира был в тот момент, я или мои близкие? Ибо среда, в которой я обитала, была среда распада советской империи, где по вечерам все сидели без света, без воды, где показатель смертности выше рождаемости, где народ просто спивается оттого, что ему нечего делать. А среда моих близких — это среда избытка информации на каждом шагу, это и Вавилон, и Авалон, и рухнувшие башни-двойники, которых, слава Богу, Бродский не застал в падении.

— *«Вы можете многое сказать о человеке по эпитету, который он выбирает», — писал Бродский в эссе о Стивене Спендере (б:386). Какие из эпитетов Бродского помогают нам понять его самого?*

— Ну в одном из моих сонетов, посвященном Бродскому, я его называю «роаминг», то есть бродячим, хотя я знаю, что этимология его фамилии скорее всего связана со словом «брод», что по-немецки и хлеб и буханка хлеба. Но мне ближе ложная этимология его фамилии по созвучию. В моем стихотворении «Вер Блюд» Бродский у меня и бродячий, и хлеб насущный.

— *Бродский, кажется, считал, что поэт — личность исключительная. Свойственно ли Бродскому романтическое видение своего дара?*

— Мне кажется, что Бродский, конечно, верил в божественное провидение — не столько в романтическом смысле, сколько в метафизическом.

— Вы помните строки Бродского: «Набери, дружок, этой вещи в горсть, чтоб прикинуть, сколько до Бога верст...» («Метель в Массачусетсе», 1990). Был ли он ближе к Господу, чем мы?

— Нет, не думаю. Поэт, который написал, что вера — это почта в один конец, не может быть ближе к Господу, чем другие смертные. Его обращение к Господу Богу в стихах, по моему мнению, в основном обращение к Высшему Разуму за пределами музыки. Другое дело, что его рождественские стихи невероятно религиозны, но не в богословском, а чисто в эстетическом смысле, то есть я хочу сказать, что не надо здесь становиться жертвой заблуждений в намерениях.

Надо отдать должное роли невостребованной любви в его поэзии, поскольку Бродский обращался к Богу именно с ощущением невостребования, благодаря чему его религиозные стихи особенно производят сильное впечатление.

Возможно, неуместно говорить об отношении Бродского к Богу в контексте дарвинизма, эволюции и олимпиады, тем не менее Бродский был в первую очередь настоящим максималистом, и его больше интересовали человеческий потенциал и развитие человека, чем то, что можно определить как божественное в человеке. Я помню его реакцию, когда я несколько небрежно упомянула олимпийские игры, он меня быстро поставил на место и прочел целую лекцию на тему значимости олимпийских игр.

— Каким он был и каким он хотел быть?

— Он, наверное, хотел быть красивым высоким усатым мужчиной, потому что он таких ненавидел.

— Это остроумно, но не совсем точно: он любил Марка Стрэнда, высокого и красивого, а из усатых любил Джовани Буттафаву. Обоим посвятил стихи. Что не устраивало Бродского в его звездном статусе?

— Он плохо воспринимал патетику неискренних отношений, ну как и все звезды. Успех — отрава для поэта.

— Я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное Бродскому. Можно мне взять его для этого сборника интервью? По какому случаю оно было написано?

— У меня есть много стихов, посвященных Бродскому, самое любимое — это моя «Ода лире, вышедшей из строя». К сожалению, «Ода...» на английском, и перевести ее ни у кого

нет ни сил, ни желания, хотя я готова открыть конкурс и вознаградить победителя, если такой найдется. С концом прекрасной эпохи Бродского и нашей общей утратой я потеряла свою музу, и моя лира окончательно вышла из строя. Сами убедитесь в этом. Предлагаю включить в ваш сборник стихотворение «Вер Блюд», тем более оно хорошо воспринимается в контексте интервью на тему перевода «Новогоднего» Цветаевой.

Вер блюд

Вер либр блюсти —
Моя страсть. Два
Горба лопатки
Передвигают горами.

Созвучие блюд
Не в своих тарелках
И есть остранение
Птеродактиля,

Т.е. озарение.
Он же и праотец
Бустроферона, пашущего
Строфами во времена оно.

От версты до верси-
Фикации, одни milestones,
Землемерами окопы изме-
Ряющие, рифмой в час.

Я гусиным пером
Воспевала бывало
Некого бродячего хлеба
Насущного, гусляра.

Языком Шекспира
Извивалась, венками
Сонетов обручала
Лысину имярека,

Он же король бубновый,
Наотрез отказавшись
Пасти мой блюд,
Соблюдая некий дистанс.

Тем не менее я доила
Бустроферона в межах,
До отвала штурмовала
Дактилями, птеродактилями,

Анжамбментами, цезурой,
Виланелами, сестинами,
Одами, сонетами,
Темпо rubato и т. д.

Бродила, боготворила,
Вирши, вирши заплетала
Лептами в русую косу
Оды порчи моей.

Мой град, твой град,
Махнулись берегами.
Это мой Гудзон
Трубит в твоих элегиях.

Твоя Нева обтекает,
Разбухает во мне
Оттеками почек.
Соль впитанная сваями.

Поминки загадочные
Под венецианским небом
Миновала. Как и весь
Греческий хорей вдовий.

И не от излишка
Ретивого, ан нет.
А от кораблекрушения
Общего такого, финала
Речи.)]?! , то бишь эпохи.

День Касьяна, 1980 г.,
Энн Арбор, штат Мичиган.
Перевожу «Новогоднее»
Под Вашим руководством.

Спотыкаюсь, осознав,
Что и мне предстоит
Узнавать, отпевать,
А лучше не скажешь...

С Новым Местом!
«С Новым Годом — светом — краем — кровом!..
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!»¹

¹ Цитата из цветаевского стихотворения «Новогоднее», посвященного Рильке.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА, 10 МАРТА 2004, ЛОНДОН

— *Сколько вам было лет, когда вы впервые услышали имя Бродского?*

— Шестнадцать. Но сперва я прочла стихи и тогда стала пытаться узнать, кто автор. Узнать почти ничего не удалось, питерская жизнь была тогда далекой и абстрактной, во всяком случае, для тех, кто меня окружал.

— *А когда вы познакомились с его стихами?*

— Это был 1971 год, я заканчивала школу. Кто-то дал мне десяток половинных машинописных листков, там были стихи 1961 года: «Пилигримы», «Рождественский романс», «Ни страны, ни погоста» — понадобилось десять лет, чтоб они до меня дошли. Я была сражена. Я хорошо знала поэзию, читала с раннего детства, многое помнила наизусть. Когда я сдавала экзамен для поступления во французскую спецшколу, всех просили прочитать стишок. Я начала «Сказку о царе Салтане», через некоторое время меня прервали, сказали, что недостаточно, но я продолжала, возразив, что произведение нужно читать целиком. К поэзии я относилась трепетно, тем более что, по семейному преданию, долго не начинала говорить и

Татьяна Георгиевна Щербина — поэт, эссеист, журналист, филолог. Автор книг стихов «Ноль Ноль» (М., 1991), «Parmi les alphabets» (Франция, 1992; билингва), «L» (Франция, 1995; стихи, написанные по-французски), «Жизнь без» (М., 1997), «Диалоги с ангелом» (М., 1999), «Прозрачный мир» (М., 2002), «The Score of the Game» (2003), «Life Without» (2004) и др. Участник множества международных литературных фестивалей и проектов.

первое, что произнесла — были стихи. В старших классах я делала поэтические вечера-спектакли Блока, Есенина. Копалась в архивах Литмузея. Пастернака мне не разрешили делать в актовом зале, но дали два часа в классе вместо урока литературы. Я даже зачитала стенограмму об исключении Пастернака из Союза писателей. Учительница литературы (у нас была уникальная, либеральная школа) сделала мне замечание: «Ты ругаешь хрущевские времена, прошлое все ругают, а вот настоящее...» Настоящим был Бродский, кто-то рассказал, что его судили.

— *А вы сами уже писали стихи в это время?*

— Писала, но уничтожала. С подростковым вызовом повторяя фразу Чехова: «Я пишу все, кроме стихов и доносов». Тогда стихи писали почти все, занятие это казалось мне кощунственным. Казалось, что эпоха письменной поэзии кончилась. Я знала стихи Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского и других, но это казалось отдельным жанром, вроде эстрадных песен. Добровольно я слушала только бардов. Последним письменным поэтом был для меня Пастернак. И вдруг — Бродский, это был тот же субстрат поэзии, от Пушкина до Пастернака, которой у современных авторов я не встречала.

— *Кстати, вы видели даже более ранние стихи, чем 1961 года: «Пилигримы» написаны в 1958-м. Вы признались в одном из ваших эссе, что «жили с бумажным Бродским» восемнадцать лет¹. Как вы добывали его стихи все эти годы?*

— Хитростью и коварством. К 1980-му стихи Бродского быстро распространились, их стали многие читать, перепечатывать на машинке. В 1979 году, когда я уже закончила МГУ, писала статьи, однажды прорвался фонтан — я вдруг стала писать стихи, причем это было ни с чем не связано, я писала все время, километрами, это стало моим естественным языком. Поток стихов я воспринимала трагически: он мной владел, я не понимала, что происходит, не могла остановиться. Я все прятала, но не уничтожала на сей раз. Наверное, кому-то показала. Дальше все происходило само собой: стали просить читать (домашние чтения, часто в мастерских художников),

¹ Татьяна Щербина. Бродский. Жидкие кристаллы // Татьяна Щербина. Лазурная скрижаль. М.: ОГИ, 2003. С. 323.

переписывали. Не могу сказать, что я хотела стать поэтом. В этом смысле ничего не изменилось — мое желание и на сегодняшний день заключается в другом. Просто это форма выражения, которая оказалась мне органична, но дело не в самих стихах, они — частный случай текста. Теоретически стихи — message в чистом виде, без утомительных сюжетных или схоластических построений, или, скажем, Божественный глагол, одобренный собственным организмом. Практически стихи не у всех и не часто являются актом творения. Для меня же важна возможность подключения к тому измерению, в которое физическим телом не войдешь, но которое слегка приоткрыто. Мы не знаем ничего, писать — это возможность что-то узнать. Это для меня и есть самое важное.

И вот в 1980 году мне предложили выступить публично. На этом моем первом публичном выступлении мы познакомилась с Рейном и стали часто общаться. Тогда Евгений Борисович относился к себе скромно. Он мне показывал новые стихи Бродского, его письма. Он надо мной все время подшучивал, что я зациклена на Бродском, но тем не менее я все получала через него. Потом уже позже у меня появились американские друзья, слависты, они привозили мне ардисовские книжки Бродского. Я размножала его стихи на ксероксе, давала людям. Про Бродского я говорила постоянно, и публично, и просто в разговорах. «Защищала», поскольку в литературной среде о нем говорили пренебрежительно, припечатывая терминами «литературщина» и «вторичность». Помню, что спорила до хрипоты со знаменитым тогда нейрохирургом Кантором («он был хирург и даже нейро-», — Высоцкий написал о нем песню): он утверждал, что Вознесенский — великий поэт, а Бродский — просто словоблуд, даже не «профессиональный» поэт. Я всегда реагировала на подобное так, будто обижали или унижали меня лично. Я перестала говорить о Бродском, когда он получил Нобелевскую премию. Любопытно, что те же самые люди, которые говорили, что «Бродский мог бы стать поэтом, если бы остался в России», на следующий день после известия о премии стали говорить, что это великий поэт.

— *Служил ли Бродский стимулом каких-то ваших стихов?*

— Да. Мне хотелось подражать Бродскому, не его характерной интонации, конечно, не его манере письма, поскольку

ку я вовсе другой человек, другого пола, возраста, опыта. Но его отношение к языку, к рифме, дисциплину слуха я старалась перенять. Стимулом прежде всего было обращение Бродского с жизнью. Я считаю его демиургом, пророком, философом, представителем Христа, абсолютно бесстрашным, но безукоризненно ответственным. Даже страх Божий у Бродского был не страхом, а служением. Демиургов в истории нашей эры было всего несколько.

— *Вы хотите сказать, что для вас Бродский не иудей, а христианин?*

— Вы же знаете, что он писал стихотворение к каждому Рождеству и призывал праздновать день рождения Христа так же, как свой собственный. В чем подарок Христа? Каждый человек — им был и сам Иисус — одновременно и человек, и Бог. Это то, что должно было в принципе проникнуть в каждого, стать человеческой нормой. Именно этим человек отличается от остальных, от растений и животных, а не тем, что он мыслит, они тоже мыслят и даже умеют строить себе жилища. Но они не творят, не изменяют ежедневно мир, они сохраняют то, что есть. Человеку же дано творить, стать последователем Творца, но редко кто этот дар принимает и еще реже кто тренирует, развивает его. Как Творец сотворил по образу и подобию, и мы тоже можем творить. Но этим пользуются немногие. В иудаизме есть свод законов, которые человек должен выполнять вне зависимости от того, согласен он или не согласен, понимает их или нет. Ты по сравнению с Творцом — никто. А в христианстве законы те же, но важно, чтоб человек сам, на своем опыте, понял, что есть жизнь, истина, как он должен или не должен поступать. Потому в христианстве и появился индивидуализм и именно эта цивилизация, к которой мы принадлежим. Если человек пропитан Словом («Сейчас должно написанное сбыться. Так пусть же сбудется оно. Аминь»), он становится частью мироздания и о собственной миссии догадывается, у него есть язык для того, чтобы разговаривать с Богом. То, что Бродский пишет, и есть посредничество между человеком и Богом. Это бывает и бессознательным процессом (признание себя атеистом — чаще всего просто неприятие церкви), но мне думается, что Бродский осознанно шел по этому пути. Это не «дар напрасный, дар случайный», он посвятил этому жизнь, он над этим трз

дился. Возможно, это создавало впечатление, согласно которому его окрестили «рациональным» поэтом.

— *Не отсюда ли протекает его авторитетность, не только авторитетность тона, но и моральная авторитетность?*

— Тут опять можно вернуться к иудаизму. Некоторым это казалось чертой еврейского мудреца, толкователя высшего знания, потому авторитета. Многих это раздражало, его считали высокомерным и авторитарным. А в демократической стадии нашей цивилизации принято равенство. У каждого свое мнение, одинаковое со всеми право его высказывать. Но это лишь на уровне политкорректности. Социальное неравенство общество признает, право авторитарного поведения политика, чиновника, миллиардера — признает, а «возомнивший о себе» поэт раздражает. Помню, как в Америке в 1990-м, в компании славистов заговорили о возмутительном (то есть высокомерном) поведении Бродского. «Что он себе позволяет! Был бы нефтяной магнат — можно было бы понять, но он всего лишь поэт, пусть и Нобелевский лауреат». Мне тон Бродского казался естественным; если он и поучал, то у него действительно стоило бы поучиться.

— *Я знаю, что вы навещали родителей Иосифа. Расскажите, пожалуйста, о тех визитах к ним, что вам помнятся. Кто вас познакомил с ними?*

— Рейн. Я в Питер ездила почти каждый год, попросила у Жени телефон, или он сам предложил, не помню, но я к ним всегда приходила, когда приезжала туда. Они меня сразу радушно приняли, показали квартиру, какие-то остались вещи Иосифа Александровича, мы сидели обедали... Он похож был очень на отца; смотря на родителей, я как бы видела и его. Я ведь его никогда не видела, только фотографии. Тот же Рейн подарил мне фотографию периода ссылки, которая до сих пор висит у меня дома. Естественно, я спрашивала их об Иосифе. Они с ним разговаривали по телефону и переписывались. Я навещала их до самой смерти, сначала умерла мать, потом я была еще раз, когда отец остался один.

— *Расскажите о том, как вы встретили двойника Бродского в Москве.*

— Еду однажды в троллейбусе к себе домой. Какой-то мужчина пытается ко мне приставать, я отодвигаюсь, но не смотрю на него. Выхожу на своей остановке, он выходит за мной:

«Девушка, можно с вами познакомиться?» Тут я на него взглянула и увидела, что это Бродский. Во всяком случае, таким я его представляла по фотографиям. Я схватила его за руку и потащила к себе домой. Он обалдел от неожиданности. Дома был мой тогдашний муж поэт Бердников, который знал Бродского. Я хотела ему показать этого человека, чтоб он оценил сходство (вдруг тайный брат, близнец?). Звоню в дверь. Он спрашивает: «Кому это вы звоните?» — «Мужу». Он совсем перепугался, пытался убежать. А я его удерживаю. Муж открывает дверь и чуть не лишается чувств: «Бродский» (дело было в 1980 году). Мы заходим в квартиру, я расспрашиваю, кто он, что он. Выясняется, что никакого отношения он к Бродскому не имеет и его не знает, а занимается стройматериалами. От смущения он смотрит на стены, потолок и говорит: «Вам нужно срочно делать ремонт». — «Нет, ремонт — это не для меня, — говорю, — сойдет и так». — Он уходит. На следующий день обрушивается потолок, и мне приходится делать ремонт.

— *А вы когда-нибудь надеялись встретиться с ним?*

— Да. Мне приснился сон однажды. Бывают редко такие сны, которые, когда просыпаешься, кажутся реальностью и не забываются. Снится мне, что я куда-то приезжаю, в незнакомое пространство: полусельская местность, какие-то домики, покрытые красной черепицей, мельницы, травка зеленая. И там я встречаюсь с Бродским. Такое счастье, как только во сне бывает. Я тут же звоню Рейну и рассказываю ему подробности сна, как я встречалась с Бродским. Он говорит: «Ты сумасшедшая. Ты понимаешь, что никогда в жизни ты с ним встретиться не сможешь, потому что его не пустят в Советский Союз, а тебя не выпустят отсюда. А пейзаж, который ты описываешь, это Голландия. Мельницы есть только в Голландии». Теперь я знаю, что не только в Голландии. Но познакомились мы с Бродским именно в Голландии.

— *Это было на международном поэтическом фестивале в Роттердаме в 1989 году. Пожалуйста, расскажите об этой вашей первой и единственной встрече с Иосифом.*

— Это был мой первый выезд на Запад. Меня пригласили организаторы фестиваля, голландцы. Но это было не просто, пришлось вмешаться голландскому посольству, меня не выпускали. Были Ахмадулина, Кушнер, Рейн, Парщиков, Айги

и я. Это были годы перестройки, я была популярна, у меня брали интервью западные корреспонденты, я выступала почти ежедневно. В общем, выпустили. Я знала, что там будет Бродский, это волновало меня больше всего. Когда прилетели, Рейн вдруг сказал мне, что не познакомит с Бродским, если я не выполню определенных условий. А без него, мол, никак мне с Бродским не познакомиться. Надо учесть, что к тому времени девять лет мы были дружны. Я обиделась, мы поссорились. С Бродским я познакомилась сама, мы просто шли навстречу друг другу и столкнулись, я его, конечно, узнала, и он меня, кажется, узнал. Мы сели на диванчик и стали разговаривать, голландское телевидение, «RTL», нашу встречу засняло. Они мне дали видеокассету с этой передачей, а потом у меня ее кто-то украл из дома.

— *О чем вы разговаривали? Он знал о ваших встречах с родителями?*

— Знал. И стихи мои знал. Мне еще Юра Кублановский говорил, что когда он был в Нью-Йорке, видел у Бродского на столе мои самизятские книжки. Я не очень хорошо помню, о чем разговаривали: встреча была для меня шоком. Мы сидели на диване и разговаривали все утро, потом он сказал: «Пойдемте обедать». Мы вместе пообедали, собственно, провели вместе все время, что он был в Роттердаме.

— *А он там был всего сутки.*

— Да, и вот эти сутки мы провели вместе. Мне трудно описать эту встречу. Ну если бы я встретила Христа, может быть, это произвело бы на меня такое же впечатление... то есть это была не та встреча, когда знакомишься с человеком, которого уважаешь и ценишь, это было почти ирреально (все же я сжилась с мыслью, что только машина времени могла бы свести нас в одном пространстве). Помню картинку, как мы обедаем каким-то вареным мясом с вареной морковкой, местная кухня. Я пытаюсь высказать Бродскому свои восторженные чувства, но он эту тему категорически отвергает. И рассказывает об Одене, Фросте, о том, как он их переводил. В его поведении со мной я не почувствовала высокомерия. Хотя, будучи для меня кумиром, он мог бы красоваться как угодно.

— *Что-нибудь в Бродском вас разочаровало?*

— Под утро, в конце нашей встречи, именно этот вопрос он мне и задал. Я сказала: «Нет». Нет. Он вообще-то повел

себя невежливо по отношению к русским поэтам. Когда вечером мы вошли в отель, я села за русский стол, он — за американский. Потом он подошел к нам и пригласил меня за американский стол, одну меня. Другие поэты могли обидеться, но я, как вы догадываетесь, даже не колебалась в своем выборе. Встала и пошла с ним. С некоторыми из присутствовавших мои добрые отношения закончились в Роттердаме.

— *И таки некоторые обиделись. Айги отказался говорить со мной о Бродском осенью того же года, когда я собирала интервью для первого тома «Бродский глазами современников».*

— Дальше мы гуляли с Бродским и с Дерекком Уолкоттом. Подруга Дерекка, Зигрит, много нас фотографировала.

— *Тогда Дерек Уолкотт перевел ваше стихотворение «О пределах», все версии его перевода мы два года назад опубликовали¹. Было это сделано по инициативе Иосифа и с его помощью или с вашей помощью, ведь Дерек знает французский?*

— Я помню, что были изданы книжечки каждого участника фестиваля с его стихами по-русски, по-английски и по-голландски. Английские переводы моих стихов сделал Джим Кейтс, в том числе «О пределах». Инициатива пере-перевести это стихотворение была Дерекка, но он не знает русского языка. Кажется, Бродский сказал, что это плохо переведено на английский; видимо, Дерек переводил с его подачи. Но это было неважно. Я была рада и благодарна этим суткам, что я с ним провела. Потом, впрочем, я не продолжила общение, когда была в Америке.

— *Почему? Этого было достаточно или вы боялись разочароваться?*

— Это могло стать лишним. Мне не хотелось выходить из идеальной плоскости, а так он вроде должен был бы мне помогать, как помогал другим поэтам, приезжавшим из России. Этого я совсем не хотела. Может, из гордости, не хотела быть «младшей». И у меня, конечно, был очень сильный комплекс узника, знавшего только зону СССР; те, кто оттуда сбежал, эмигранты, вели себя по отношению к приезжавшим в тот

¹ Russian Women Poets // Modern Poetry in Translation, № 20. Edited by Valentina Polukhina and Daniel Weissbort. London, 2002. P. 200—208.

период на Запад как менторы, а иностранцы относились как к модной игрушке, называвшейся «поколение Горби».

— *Может, вы боялись, что произойдет что-то более личное?*

— Нет, дело в том, что конец нашего общения в Роттердаме к этому сюжету и привел, что меня испугало. Во-первых, я знала, что у него большое сердце, он всю ночь не спал, курил одну за другой и пил «Bloody-Mary». Я боялась, что сердце не выдержит. Во-вторых, ни к каким отношениям с человеком Бродским я не была готова, привыкнув общаться с его текстами. Это как отношения с языком — не все можно себе позволить.

— *Показался ли он вам холодным человеком или, наоборот, страстным и теплым?*

— Он мне показался эмоциональным, живым, независимым, сильным, а встретила я с ним, когда он уже был очень болен.

— *В 1989 году он чувствовал себя еще очень прилично, вторую операцию на сердце он перенес в декабре 1985-го. Я знаю, как эмоционально он переживал всякую ситуацию. Как сочетается это качество его характера с холодностью его стихов?*

— Его стихи не холодны, так воспринимается то онтологическое знание, которым они пропитаны. Его не ждут в стихах, его вообще не ждут от поэтов — «поэзия должна быть глуповата». По крайней мере, в русской, пушкинской, традиции. Бродский писал формулами, строки его стихов и эссе можно цитировать, как пословицы. Сейчас молодое поколение к его посланиям нечувствительно.

— *У меня другие наблюдения: мы сейчас делаем антологию современной женской русской поэзии, в которую включены поэты от двадцати до восьмидесяти лет. И я вижу, как у молодых всюду рассеяны образы, рифмы, выражения, прямые цитаты из Бродского, как будто его словарь уже у них в крови.*

— Да, но им кажется, что они с этим просто родились, как с родным языком.

— *Как при столь раннем знакомстве с поэзией Бродского и при такой любви к его стихам вы избежали его влияния?*

— Я надеюсь, что не избежала влияния, и стремлюсь в сегодняшнем, уже совсем другом мире развивать именно эту линию.

— *Вы хотите сказать, что он повлиял скорее на ваше мировидение, чем на вашу поэтику, на вашу интонацию?*

— Но послушайте, я другая, мир другой. Как это все может быть похоже? Но по существу, то, чем жил Бродский, это то же самое, что волнует и меня, поэтому для меня он так близок. Пример того, как одно замечание Бродского изменило мое отношение к будущему. В 1989 году мне казалось, что в СССР грядет военный переворот, пахло советской реставрацией. Я спросила у Бродского: что делать, если так будет? Он сказал мне: «Если так будет и когда будет, тогда и будешь думать, что делать, а сейчас еще ничего не произошло. Все будет не так, как представляешь заранее». Беспокойство перед будущим свойственно большинству, это укусы ужаса («а что будет, если»), стратегические построения, основанные на чем-то еще не существующем. С того самого дня, как Бродский ответил на мой вопрос, я больше никогда не испытывала фантомных тревог и забот. Он сказал так, что я как бы воочию увидела, как это смешно: путч 1991-го был трехдневным, сама я в это время была в Германии, реставрация же стала происходить значительно позже и без всяких танков, в США каких только докладов обо всех мыслимых угрозах не писали, а 11 сентября застало врасплох. Это и метафизически важно: не ждать от будущего подвоха, не ждать врага справа, он появится слева, вообще — не проецировать, а заботиться о настоящем времени.

— *Дух соревнования, в котором признавался сам Бродский, не покидал его всю жизнь. Чувствуете ли вы, что он пытался написать лучше, чем Мандельштам, чем Пушкин, чем Цветаева? Или ему не нужно было ни с кем соревноваться?*

— Лучше? У каждого большого поэта есть стихи, лучше которых не напишет никто. «Бесы» Пушкина, «Зеркало» Ходасевича, «Власть отвратительна, как руки брадобрея» Мандельштама, стихи из «Доктора Живаго»... У Бродского таких стихов даже больше, чем у других классиков. В русской поэзии (если уж о соревновании) я его ставлю на первое место. Не Пушкина, а Бродского, потому что Пушкин был первым, заговорившим на русском языке как на родном, до этого язык лишь формировался: Тредиаковским, Державиным, Жуковским. Пушкин был открытием для России, он был гениальным переводчиком: французский язык (дух, мышление, все что выража-

ется в языке) был родным языком российской знати, и Пушкин сумел найти для французского духа русскую языковую нишу, адаптировать его. У него есть стихи, которые почти переводы малоизвестных французских поэтов. И действительно в эту дремучую, патриархальную, вязкую Россию был привнесен легкий светский французский шарм и картезианство. Пушкин открыл новую Россию, где уже не одна немка Екатерина переписывается с Вольтером, а есть и свой Чайльд Гарольд — Онегин, свои сказки, свой эпос, свой «средний человек», где понятны Гейне и Гете... Для России Пушкин был всем, для других культур он не так интересен. Но и Россией Пушкин уже полностью впитан, и повторяя сегодня, что «Пушкин — это наше все», мы признаем, что остались на пороге XIX века, в предвкушаемой интеграции России в Европу. Бродский ушел значительно дальше, он итожил XX век, христианскую историю, Римскую империю, он предсказывал век XXI, в том числе и языком, сочетающим ампир и варварство, варварство как неоклассику и ампир как неоварварство. Он провел линии между горячими точками истории: Римская империя и советская, варвары, начавшие строить христианскую цивилизацию, и «наважденье толп, множественного числа», которое обесценивает наши уникальные достижения. Он предсказывал «новое оледененье — оледененье рабства». Бродский вписывал личное в социальное, социальное — в общий проект мироздания. То есть Бродский отправил русский язык (поскольку на нем писал) в космос, в пространство, где на одно измерение больше, он пытался поставить автора (не просто себя, а того, кто пишет) в позицию всевидящего ока, он разрабатывал оптику, запуская себя как телескоп на орбиту, он конструировал машину времени — короче, это не обогащение русской культуры другой региональной культурой: он уже жил в период глобализации, в период сжатия долгой истории в один закуток.

— *Но все это было важно и для английских метафизических поэтов XVII века, и мы могли бы «обвинить» Бродского в переложении их поэтики на русский язык. Помимо Донна, он привнес много из Одена и Фроста в русскую поэзию, их отстраненность и рационализм.*

— Я этих поэтов знаю только в переводах, поэтому мне трудно вам возразить. Но мне кажется, что Бродский сканировал одно другим: метафизикой — социальные модели, соб-

ственными чувствами — мироздание. Да, у Бродского есть английская струя, о которой вы говорите, но это только часть. У него есть вещи, которые он сформулировал, которые оказались и оказываются пророческими.

— *Например?*

— Примеров много, но наугад: «Тиран уже не злодей, но посредственность», «Новые времена! Печальные времена! Вещи в витринах, носящие собственные имена» и человечество, переходящее к стадии «неодушевленности холуя и вообще анонимности» («Fin de siècle»), «...уходящий во тьму мир, где делая зло, мы знали еще, кому». «Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы — не комары, и их не хватит на всех».

— *Бродский считал, что Цветаева — самое грандиозное явление, которое знала русская поэзия. Разделяете ли вы столь высокую оценку?*

— Куда же выше, чем оценка им Ахматовой: «...тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой Вселенной». К себе в стихах Бродский ироничен, небрежен, к поэтам, которые сыграли какую-то роль в его судьбе — преувеличенно восторжен. У Цветаевой была огромная сила безумия, безумия изгоя, который так неистово любит мир, что мир в ужасе бежит от такого напора, «выходит за сигаретами и уходит навсегда». Бродский же написал: «Я не люблю людей». Он — противоположность Цветаевой: тоже изгой, тоже отдавший дань всепоглощающей страсти, но если Цветаева — стихия, и ее письмо — звуки этой стихии, и потому у нее нет никаких ограничений, то Бродский не распоряжался собой вольно: таблица Менделееву может и присниться, но она не может быть хаосом, ее суть — в обнаружении закономерности. В безумии есть своя прелесть — накал такой, что все плавится, но найти в элементах систему и открыть Америку несравненно интересней.

— *Вы говорите, нет ограничений. В том числе лингвистических?*

— Да, в том числе лингвистических. Безумие дает свободу. Может быть, Бродский как-то этой свободе завидовал, но у меня потребности в такой свободе нет, я скорее Бродскому завидую, его неотрывному и жесткому взгляду, такому взгляду сняты формулы. Евангелие написано формулами, причем

есть формулы, которые невозможно изменить при переводе на современный русский язык. Ясно, что это Божественное послание. А есть в текстах Нового Завета и то, что приписано людьми из их собственных соображений, из их собственного понимания, и чтоб народу было понятнее. У Бродского (как и у некоторых других поэтов) это хорошо различимо: отсебятина и Часть Речи.

— *Вы хорошо знаете французский язык и современную французскую поэзию. Вы даже писали стихи на французском. Как звучат стихи Бродского в переводе на французский?*

— Переводы Вероник Шильц, основные в его книжке, это провал, на мой взгляд, а вот то, что переводил Окутюрье — очень хорошо, адекватно, но он мало переводил Бродского. Вообще Бродский плохо воспринимается во Франции, а я разговаривала с очень разными людьми, в том числе с многими поэтами. Пожимали плечами: «Чего ему дали Нобелевскую премию?» Это связано с тем, как устроено восприятие французское, во-первых, на сегодняшний день рифмованная поэзия вообще не воспринимается, все пишут верлибром, поэты считают, что это единственная возможная форма. Но это не форма, это отказ от каких-либо ограничений. Стихотворение, рассказ, роман, статья — журнальная или даже конституционная — это масса ограничений. И в жизни: человек, себя не структурирующий, не выбирающий, не сфокусированный, не ставящий себе ни планок, ни запретов — существо ничтожное. Может, потому современная французская (и не только) поэзия и потеряла читателя, что заявила о себе как о явлении расслабленном, отказавшемся от усилий.

— *Иосиф платил им взаимностью, он был франкофоб, не любил ни Францию, ни французскую поэзию.*

— А я франкофил. Вот какое несоответствие.

— *Идею о самоценности и саморазвитии языка Бродский высказал еще в 1963 году. И потом повторял чуть ли не в каждом эссе. Почему Бродский поместил язык в самый центр своего мироздания? Потому ли, что не получил филологического образования? Или это свойство любого поэта? Или он буквально верил, что «в начале было Слово»?*

— В начале было Слово. И потому что у нас нет другого инструмента, чтобы что-то сформулировать, и, конечно, для коммуникации между собой. Мы сначала называем реальность,

потом способны вычленить глазом предмет, сначала формулируем идею летать, потом строим самолет.

— *Даже когда мы влюбляемся, до тех пор пока мы не признались в этом себе или другому, мы еще можем сомневаться, да?*

— Да, но и это еще ничего не значит, потому что «я тебя люблю» — это не твои слова, это некое общее место. А вот если ты найдешь свои слова... нахождение собственных слов — это как прожить собственную жизнь. А если пользоваться только клише, это значит не прожить собственную жизнь, а просто влиться в колыихание толпы.

— *Так все-таки почему Иосиф сделал язык центром своего мироздания?*

— Потому что это самое главное.

— *Тогда это должно быть самым главным для любого поэта?*

— Конечно, для любого поэта, писателя, философа.

— *Но не у любого поэта мы найдем этот центр.*

— Правильно, есть поэты, рассказывающие нам о себе языком Пушкина или того же Бродского, они берут язык взаимы, чтоб поделиться чувством. Чувство, как правило — тоже навеянное — романами, фильмами, рассказами знакомых. «Равенство души и дара — вот поэт», — как формулировала Цветаева. Если я правильно ее понимаю: душа должна быть собственная, не накладная. И язык, он же дар. Но дар все же не единовременный подарок (сколько было одаренных юношей и девушек!), он приобретает ценность, лишь когда его приняли. То есть Цветаева выделяла не один центр, а два, равновеликих.

— *Продолжим цитату: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И тут мне бы хотелось вернуться к затронутой уже вами теме, христианин ли Бродский. Он сам говорил, что он плохой русский, плохой еврей, плохой американец, плохой христианин, но хороший поэт. Как я понимаю, если бы он не был христианином, он не сказал бы «я плохой христианин». Я же не могу сказать, что я плохая мусульманка, поскольку я вовсе не мусульманка. С другой стороны, практикующие христиане не считают его христианином, а иудеи не считают его иудеем. Сам Иосиф сказал о себе: «Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христи-*

анин, потому что не варвар». Судя по его стихам и эссе, для вас Бродский христианин?

— Да. Каждое Рождество он отмечал стихотворением. Помните он сказал в одном интервью: «В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный»¹. Потому что это и есть основа нашей цивилизации. Я лично не хожу в церковь, не чту апостолов Павла и Петра, не выбираю между церквами. Я это понимаю как человеческую потребность иметь начальника, иметь дом, куда прийти, но суть не в этом.

— А вы были крещены?

— Да, в раннем детстве, няней моей, конечно против воли родителей. Об этом мне рассказывали, а я сама себя крестила в реки Иордан, там, где крестился Христос, точнее, прошел инициацию. И на Голгофе я освятила крестик. Я хорошо знаю Евангелие, я его даже переписала от руки, когда впервые прочла. Оно живет во мне. Когда мне бывает страшно, одиноко (это одно и то же), я всегда обращаюсь. Сразу становится не одиноко, но это, конечно, аномалии, в нормальном состоянии ты всегда окутан теплом, причастностью, соучастием. Христос помогает, но и ему нужна наша помощь. Так я это чувствую.

— То есть, с вашей точки зрения, вы узнаете в стихах, в прозе и в интервью Бродского то, во что и вы верите?

— Да, это наша цивилизация. Вся европейская цивилизация основана на том, что принес Христос, и этим она отличается от остального мира. Неважно, верит человек или не верит, он на самом деле все равно христианин. С моей точки зрения, Бродский такой апостол христианства. Был еще один поэт — Фернандо Пессоа, христианский португальский поэт.

— Бродский говорил, что он «со своим ощущением божественного ближе к Богу, чем любой ортодокс». Слышали ли вы от его родителей, что когда Мария Моисеевна находилась с сыном в эвакуации в Череповце, женщина, которая за ним присматривала иногда, крестила его без согласия Марии Моисеевны?

— Нет.

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 557.

— Мария Моисеевна рассказывала об этом Наталье Грудниной. Я ищу подтверждения этого рассказа у других, но пока не нахожу. Как вы интерпретируете нежелание Бродского возвращаться в Россию или даже посетить родину в конце его жизни?

— Нам, живущим в России, казалось тогда, что все изменилось в России; снаружи, Бродскому, могло видаться по-другому. Что бы он делал? Давал советы, как обустроить Россию? Приветствовал бы толпы восторженных почитателей? Выступал бы в Союзе писателей, в котором никогда не состоял? Наверное, он не мог найти для себя подходящий жанр приезда.

— А вспомните, как вернулся в Россию Солженицын: на специально нанятом поезде, в сопровождении операторов Би-Би-Си, которые снимали его каждую встречу с народом от Владивостока до Москвы. «Только солнце и Солженицын приходят в Россию с востока», — саркастически заметил один журналист.

— Россия — тема жизни Солженицына, как он мог не вернуться? Россия была лишь одной из тем жизни Бродского.

— Кстати, Бродского обвиняют, в том числе и Солженицын, в потере «русскости». Когда я у него спросила в августе 1995 года на пресс-конференции в Хельсинки, потерял ли он свою русскость, он ответил, что грош цена той «русскости», которую можно потерять¹.

— Разве так важен национальный вопрос? Язык национален, конечно, без тяжелых потерь не переведешь. «Русскость» — она все же только русский язык. Еще — особенное отношение к свободе. «Все ж не оставлена свобода, чья дочь — словесность». «Французскость» очень диверсифицирована: в дизайне, ароматах, сырах, винах. «Английскость» тоже. «Русскость» в вещественном мире представлена скупо.

— Тот же Солженицын утверждает, что в стихах Бродского «нет боли», нет тепла. Так понимает великий писатель великого поэта.

— Ну, во-первых, Солженицын — скорее историк. Еще проповедник, социальный философ. Но его «боль» — это боль любого, кто видит покосившиеся избы, спившуюся «глубин-

¹ Там же. С. 674.

ку», власть ради власти, нескончаемый феодализм. Он написал гигантский труд о ГУЛаге, а его мнение о Бродском и о многом другом... ну, мнение.

— *Как история расценит тот факт, что российское правительство не извинилось перед Бродским за несправедливый суд и ссылку, за все преследования? Горбачев мог бы это сделать, они виделись в Белом доме, когда Бродский был Поэтом-лауреатом Соединенных Штатов.*

— Я думаю, что для Бродского это не важно было, потому что в его представлении Горбачев, Брежнев, Ельцин, Путин — если б он до него дожил, Андропов были плохо различимы (он заметил только Гавела, поскольку тот — писатель, с ним он мог говорить и ему написал открытое письмо обо всем, что хотел сказать о политике минувшего века). А вот что касается самой России, это другое дело: не то что перед Бродским не извинились, не извинились за физически и нравственно уничтоженный народ, теперь Сталин вовсе стал называться выдающимся правителем, а советский период — закономерным периодом российской истории. Не было Нюрнбергского процесса, увы, и трупик на Красной площади так и лежит. Он был и по-прежнему есть символ России. Если бы очищение произошло, тогда частным случаем было бы извинение перед Бродским. А поскольку этого не произошло, то происходит то, что происходит сегодня.

— *Сам-то Бродский считал, что его правильно наказали: он не признавал режим и его арестовали, сослали и т. д. Он отказывался считать себя жертвой или святым. Однако именно эти образы навязывают ему критики. В чем тут дело?*

— Мне лично кажется, что ему очень повезло. Похоже, что Брежнев (или Хрущев?) был добрый человек, ведь мог сгноить в тюрьме, искалечить, а его выпустили живым, мыслящим, здоровым.

— *Ну здоровым — сильно сказано: у него первый сердечный приступ случился в тюрьме на второй день после ареста 14 февраля 1964 года, а 18 февраля он был направлен в психиатрическую клинику на набережной Пряжки и помещен в буйное отделение, где провел три недели. Там его и кололи, и калечили, но с ума он не сошел, а написал «Горбунова и Горчакова».*

— Я, скорее, имела в виду моральное здоровье, он про-

должал писать и не замечал злодеев, то есть не признал их великими и ужасными, не признал за свое начальство, не умалился. Суд и ссылка над ним привлекли внимание всего Запада, «сделали судьбу нашему рыжему», как сказала Ахматова. Бродский признал лишь одного мучителя — М. Б. и подчинялся своему начальству — Христу.

— *Это тоже судьба: еврейский мальчик, плохо образованный, ушел из восьмого класса, имел такой дар, такое чувство свободы и обостренное восприятие всего вокруг и выше. Достаточно вспомнить «Большую элегию Джону Донну», где мысль и взгляд движется по кругу, а потом по вертикали: «Ты Бога облетел и вспять помчался». Откуда это устремление к беспредельному у Бродского? Я вижу тут родство с Данте. Помните, вы в свое время подсказали мне интересный подход к теме «Бродский и Данте». Сам Бродский горевал, что он не написал свою «Божественную комедию», а вы сказали, написал, только в форме фресок. Какие из его фресок для вас самые яркие?*

— Самые яркие — «Письма римскому другу», «Сидя в тени», «Стихи о зимней кампании 1980 года», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Нет, не получается, я не знаю, где остановиться. Ну а что касается современного Данте, то с временем же произошла метаморфоза. Время, и это научный факт, убыстряется, то, что занимало миллион лет, потом стало занимать десять тысяч лет. До недавнего времени единицей измерения был век, а сейчас каждое десятилетие — это уже другой мир. Кроме того, мироздание воспринималось прежде как история, непрерывный сюжет, имеющий начало и конец. Сегодняшний мир не монолитен («Войну и мир» или «Сагу о Форсайтах» уже никто не прочтет) — дискретны события, фрагментарно мышление и восприятие, не стоят за каждым движением головы олимпийские боги. То есть боги то стоят, но разные, их не всегда замечают (только Аллах сейчас ваяет героический эпос), представления о добре и зле спутались настолько, что единственный сюжет, вызывающий отклик, — Апокалипсис. Можно ли сказать, что Бродский описал мироздание? Да, но как фрески. Для него важно понятие империи как социальной организации; важен проект человечества как такового; будущее: «После нас — не потоп, / где довольно весла, / но наважденье толп, / множественного чис-

ла». В чем был ужас раньше? Пустота, ядерная зима, которая все разрушит. А он все время говорил, что пустота не самое страшное, самое страшное — деградация, которая сегодня реально происходит. А он об этом писал очень давно.

— *То, что вы обрисовали, можно назвать по-другому — это универсальные темы, о них пишут все большие поэты. Данте их выстроил в какую-то систему, а можно ли найти такую систему у Бродского?*

— Его система — еще одно обновление Евангелия, добавление к нему современного мира. Вы знаете про Ньютона, например, что он всю жизнь занимался расшифровкой Торы, а физика была для него частным случаем? И сейчас эти его расшифровки опубликованы; согласно Ньютону, в 2020 году наступит конец света. Расшифровка Торы — это была его концепция мироздания. Возвращаясь к Бродскому и Данте, я считаю Бродского посланником Христа. Его стихи и эссе — рекомендации сегодня живущему христианину (жителю нашей цивилизации). Этих рекомендаций не хватало, хотя бы в том, как пробиваться к реальности из многослойной лжи, которой покрылось человечество, к ним следовало бы прислушаться. Я все-таки не исследователь, чтобы говорить об этом подробно.

— *Любопытно, что Бродский сам о себе сказал нечто похожее 23 августа 1995 года в Хельсинки на вечере у Наташи Башмаковой, куда мы с Витей Кривулиным пригласили Бродского. Обращаясь к русским, он сказал: «Послушайте старого мудрого еврея».*

— Мне кажется, что в качестве проповедника он абсолютно непризнан, непонят, невоспринят.

— *Как вы знаете, Иосиф ставил эстетику выше этики и весьма ценил женскую красоту. Чтобы Иосифу понравиться, следовало быть либо красавицей, либо аристократкой. Признаете ли вы это за его слабость или за его силу?*

— Про красавиц я ничего не знаю, в стихах это как-то не выражено.

— *Как не выражено? В эссе о Венеции «Набережная неисцелимых» есть целые трактаты о красоте: «Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и само ее существование. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя Аполлона не кусается, и не укусит*

пудель Карпаччо. Когда глазу не удастся найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать...» О красоте и вся последняя глава: «Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником... Или же она [слеза] есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит»¹. Сознайтесь, если бы вы не были так хороши собой, разве бы он взял вас за руку и повел за собой?

— Не знаю. А что касается этики и эстетики, то они взаимосвязаны.

— *Тут я согласна с вами, и если Бродский иногда выделял эстетику, то чтобы заострить наше внимание на важности обеих. Мы как бы должны соответствовать предмету, о котором говорим. Возможно ли этого достичь в случае Бродского? Ведь даже его близкие друзья стали позволять себе уничижительный тон в своих воспоминаниях о Бродском после его смерти.*

— Про других не скажу; может, они и не хотят соответствовать. Может, для них он — парень из их компании, который вознесся, а они остались. Хотя компания была одна. Меня, к счастью, не отягощают воспоминания, мы не делили пуд соли, потому я бы хотела соответствовать предмету.

— *Что вы почувствовали, когда услышали о смерти Бродского?*

— Я услышала об этом в тот же день, от кого, не помню. Для меня это не было неожиданностью. Его последние стихи об этом говорили, они меня очень расстраивали, они мне не нравились. Было ощущение, что жизнь уходит, уходит, уходит... Но когда я вспоминаю рассказ о его смерти, я вспоминаю так, как будто я при этом присутствовала. То есть не словами, как кто-то рассказывал, а картиной, сценой.

— *Я здесь повторю, как это было на самом деле, а то в России пишут, что он умер во сне. 27 января около полуночи Бродский после ухода гостей поднялся поработать в своем кабинете. Так иногда случалось, что он засыпал в кабинете. Закончив дела, он встал из-за стола, шагнул к двери и потерял сознание. В это время его кот Миссисипи на Мортон-стрит*

¹ Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. М.: Слово, 1992. С. 243, 252.

мяукал и метался по квартире. На следующее утро около девяти часов Мария не могла открыть дверь, когда пришла звать его к телефону. Он лежал на полу в очках, улыбаясь. Вы слышали эту версию?

— Да.

— Вы написали два эссе о нем: одно при жизни — «Бродский. Жидкие кристаллы» (1989), а другое вскоре после его смерти «Ниоткуда с любовью» (май 1996)¹. Они были написаны по заказу или от тоски по нем?

— Хотелось о нем поговорить, но я вообще больше люблю говорить с бумагой, чем с людьми. А в случае с Бродским — наверное, никто не рассказал мне о нем ничего столь же интересного, как его тексты.

— А при каких обстоятельствах вы написали лимерик «Однажды по привычке идиотской / стал сочинять стихи Иосиф Бродский. / И написал опять / ну гениально, блядь, / и так писал всегда Иосиф Бродский»?

— Я прочитала английские лимерики в переводе Гриши Кружкова, и на меня это почему-то произвело такое впечатление, что я сразу тоже решила написать лимерики, но только не про географию, а про поэтов: про Пастернака, Ахматову, Мандельштама, Есенина, Сапгира и Бродского. Это было в 1980 году.

— Вы позволили себе слово «блядь» потому, что для Бродского такая лексика вполне нормальна?

— Она и для меня вполне нормальна.

— Сохранилась ли у вас до сих пор внутренняя потребность в чтении стихов Бродского?

— Конечно, я читаю его, и многое плавает в памяти. Я могла бы и не встретиться с ним, от этого ничего бы не изменилось.

— Какое качество его поэзии вы бы выделили как главное?

— Трансфокация. Он видел картину в целом, что для поэта — редкое качество, но видел и каждую деталь, миллион деталей, описывая сложноподчиненный и сложносочиненный мир. Такого количества деталей мир еще не знал. Бродский ощущал любое время как настоящее, и Тиберию, и династию

¹ Татьяна Щербина. Лазурная скрижаль...

Минь. XXI век казался ему, похоже, отвратительным, он явно не хотел в нем жить. Так и произошло. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я».

— *Вскоре после встречи с Бродским в Роттердаме вы написали стихотворение, ему посвященное. Я бы хотела завершить им нашу беседу.*

* * *

И. Б.

Можете угрожать,
направлять Betacam,
я не буду рожать
и без любви не дам.
«Earl Grey» заварив,
на арденнскую ветчину
налетаю, как гриф,
не будучи хищником. Я так жду, тяну.
Протянув восемнадцать лет, наконец и вдруг
я протягиваю все свои восемнадцать рук,
не будучи спрутом, но по органу в год
вырастало от ожидания, как Сонь и Тойот —
моя техника от японской не отстает
по опосредственности объятий.
Но теперь техника — за дверьми,
лучшее чудо из всех семи
позволяет нам целоваться. И жутко кстати:
можно пойти дальше, чем держит сердце,
двести ударов в минуту в одной кровати
может испепелить в двести граммов красного перца.
Уходи, уходи — говоря себе так,
как говорила другим, выходя сухой из атак,
я выхожу в другой мир. Имя ему — бардак,
воровство и шантаж, беспредел на крови,
и неправда, что жизнь дальновидней любви.

III

ШЕЙМАС ХИНИ, 30 МАРТА 2004, ЛОНДОН

— *Вы общались с Бродским с момента его прибытия в Англию (в июне 1972) до самой смерти. Не могли бы вы рассказать о ваших первой и последней встречах?*

— Первый раз я видел Бродского мельком, это нельзя назвать настоящей встречей. Он пришел на Международный фестиваль поэзии в Лондоне, где я должен был читать. Мы все были о нем наслышаны и только о нем и говорили с того самого момента, как он прибыл в Австрию по приглашению Одена. Теперь он был в Лондоне и собирался уезжать в Америку. Фестиваль продолжался три или четыре дня, каждый вечер выступали разные поэты; думается, среди них был и Оден. Не помню, почему мы с Иосифом оказались в одной программе, но отчетливо помню его самого, его рыжие волосы и яркую рубашку: он смотрел на меня, а я — на него. Тогда мне подумалось, что его, вероятно, заинтересовал мой тогдашний «адрес» — Белфаст, ведь бомбардировки и стрельба были как раз в самом разгаре. Но по-настоящему мы познакомились лишь спустя полгода или даже больше — в феврале 1973-го. Нас пригласили на очередной фестиваль поэзии, на сей раз в Амхерсте, штат Массачусетс, Иосиф приехал туда из Мичигана. Не помню, о чем шел разговор, но чувствовалось, что мы настроены на одну волну, возможно оттого, что оба были напичканы традиционной поэзией — анг-

Шеймас Хини (род. в 1939 г. в Северной Ирландии) — один из ведущих англоязычных поэтов своего поколения. Дважды получал Уитбредскую премию «Книга года» (за сборник «Ватерпас» в 1996 г. и за перевод «Беовульфа» в 1999-м). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1995).

лийской, разумеется, — и поэтому говорили больше о ней, чем о современных американских поэтах. Вскоре мы встретились еще раз, а потом еще раз — в Энн Арборе, где я знал Берта Хорнбека и Дональда Холла с кафедры английской литературы. Таким образом, к середине семидесятых мы были уже достаточно хорошо знакомы. Нашему сближению способствовало еще и то, что Иосиф познакомился с моим другом, Томом Маклинтером, писателем, преподававшим в Энн-Арборе литературу, и съездил вместе с ним в Ирландию.

Наша последняя встреча состоялась в Нью-Йорке, примерно за три недели до его смерти в январе 1996-го. День был отвратительный, на улицах — слякоть. Иосиф приехал из своей бруклинской квартиры и зашел в кафе на Юнион-сквер, где Мари и я обедали с Роджером Страусом и Джонатаном Галласси. Мы приехали в Нью-Йорк на выходные, чтобы посмотреть пьесу Брайана Фрила «Молли Суини», — худшие выходные, какие когда-либо выдавались: метель была такая, что транспорт запрудил все улицы. Однако к полудню пробки уменьшились, и Иосиф отважился на вылазку в Манхэттен. Он был бледен, есть не стал. Но просидел с нами до конца обеда: разговаривал, выходил покурить, снова садился, снова разговаривал, причем ясно было, что он не в лучшей физической форме, снова выходил покурить — и наконец отправился домой. Милый Иосиф! Он знал, что ему остаются считанные дни, но не терял присутствия духа. Месяцем раньше я был в Стокгольме¹ на вручении премии и, думаю, он понимал, что доставит мне удовольствие, если присоединится к нам, как бы трудно ему это ни было.

Но, знаете, говоря вам все это, я вдруг подумал, что на самом деле последняя наша встреча состоялась после его смерти, в петербургской квартире, в той самой, где он жил с родителями: мы были в компании его друзей юности, в этих пустых полутора комнатах, единственным убранством которых служили фотографии — те, что сделал в день отъезда Иосифа его друг Миша Мильчик; он, кстати, тоже был там. Все это происходило воскресным утром в июне 2003 года. Мы стояли кружком, пили водку и закусывали ее кексом. Я прочитал стихотворение «Оденское», которое посвятил памяти Бродского. Волнующий, трогательный, щемящий, незабываемый миг!

¹ Имеется в виду вручение Нобелевской премии Ш. Хини.

— *Несколько раз вы выступали вместе с Иосифом: в США, Великобритании, Ирландии, даже в Финляндии. Какое из этих совместных выступлений вам запомнилось лучше всего и почему?*

— Я помню многие из этих выступлений. Например, в Гейт-театре в Дублине, куда Иосиф был приглашен читать в один прекрасный воскресный вечер в начале 1980-х. Я читал его переводы и все торопил Иосифа закончить выступление до десяти часов — в это время по воскресеньям закрывались в те годы пабы. Но, разумеется, он пропустил мое замечание мимо ушей и все читал и читал в своей замечательной манере, пока наконец не пробил час, после которого выпить было уже негде... А вот еще один случай: мы оба принимали участие в вечере памяти Манделыштама, который состоялся в Лондоне. В зале сидел Исая Берлин, а у меня было волшебное ощущение, что за спиной у выступающего Иосифа с одной стороны витает тень Манделыштама, а с другой — Ахматовой. И все же я думаю, что самым запоминающимся и характерным было выступление в Финляндии, в Турку, потому что мы оба внесли свою лепту — я читал там собственные стихи, а Иосиф, когда подошло время, просто устроил лекцию о том, что и кого следует читать. Збигнева Херберта, Роберта Фроста, Томаса Харди. Весело, безапелляционно, без всяких там угрызений совести.

— *Вы написали стихотворное вступление к «Вечеру с Иосифом Бродским», который состоялся в феврале 1988 года в Американском Репертуарном театре в Гарварде. Оно опубликовано? Помните ли вы, по какому поводу оно было написано?*

— Разумеется. Несколькими месяцами ранее Иосиф побывал в Стокгольме, на церемонии вручения ему Нобелевской премии, и был на пике своей славы. К тому времени мы с ним еще больше близились: летом он приезжал в Дублин на пару дней, и мы провели их вместе, предоставленные сами себе. Стояли жаркие дни, и мы, в поисках прохлады, прогуливались, обдуваемые морским ветерком, по Южной Стене, вдоль длинной оконечности Дублинского порта, простирающейся до устья реки Лиффи, куда заходят и откуда выходят суда. Иосифу это напомнило бесконечные набережные Петербурга, и он откровеннее, чем раньше, рассказывал о семье, о своей молодости. Не говорю, что он делился со мной сердечными тайнами; просто в его словах чувствовались нежность и боль утраты, готовые выплеснуться наружу от одного

вида пустынного каменного мола и волн от проходящих судов. Как бы то ни было, после этих двух дней я уже не сомневался более в нашей дружбе и чувствовал себя соответственно абсолютно свободно: в каком-то смысле, воплощением — и прославлением — этой беззаботной уверенности как раз и явилось то стихотворное вступление к вечеру Бродского в Кембридже, о котором мы говорили. Помню, что Иосифу больше всего понравились строки, в которых его стихи сравнивались с детектором лжи. Кроме того, в этих строках есть скрытая отсылка к Кафке, к его образу книги как топора, разрушающего ледяную равнину внутри нас. А Иосиф, как вы знаете, в подобной литературной компании чувствовал себя как рыба в воде.

Пучок петрушки для поэтической макушки

Поэт, чей глас иных из нас
Еще до *гласности* потряс,
Сегодня с нами;
Он сам прошел свой трудный путь
И не нуждается отнюдь
В моей рекламе.

Втолковывать, кто он таков,
В аудиторье знатоков
Едва ли стоит;
В потемки брежневских времен
Еще юнцом ворвался он,
Как астероид.

Лирическое ремесло
Он в корне обновил — назло
Гнилым привычкам;
Он рифмам новый дал накал,
А поэтический вокал
Оставил птичкам.

В его стихах обрел свой глас
Тот страшный мир, что *новояз*
От света прятал;
Боль оскорбленных душ воспев,
Естественно, он вызвал гнев
Большого Брата.

Мне вспоминается рассказ,
Как человек дневник свой спас
 В года террора;
Он в банку рукопись закрыл
И во дворе ее зарыл
 Позадь забора.

Я представляю этот вид,
Ночь на исходе, он спешит,
 Скрипит лопата;
Когда за истину казнят,
Ее скрывают, будто клад
 Сребра иль злата.

Но случай Джозефа — иной,
Он не пытался под землей
 Зарыть талант свой;
Он в стены смерзшиеся бьет,
Он изнутри ломает лед
 Лжи и тиранства.

Он гонит разъяренных львов
Сквозь обручи горящих слов —
 Сердец мучитель!
Без клетки сей аттракцион:
Ни зритель в нем не огражден,
 Ни укротитель.

Стихи, как Милош говорил,
Суть звери горние; их пыл
 И ярь — от солнца.
Они сидят и бьют хвостом,
Глядят и дышат жарким ртом
 На стихотворца!

Нет, это не витийства блажь,
Не риторический вираж —
 А счастье встречи
С поэтом, чей могучий дар
Достоин пушек и фанфар —
 Не то что речи!

Ты помнишь, Джозеф, в том году
В пустынном Дублинском порту
 Средь мачт и чаек

Весь день гуляли мы с тобой,
Стихи твердя наперебой, —
Тандем всезнаек.

Всех перебрал наперечет,
Решали — кто не волочет,
Кто нынче в силе;
Кого — в тираж, кого — в музей,
Но выше всех своих друзей
Превозносили.

И вот средь нас — один из них, —
Расслышавший в волнах морских
Свой стих заветный,
Чья шхуна гордая «Полет»¹
Свершила за какой-то год
Путь кругосветный.

Его стихи оснащены
Так, что ни бурям с вышины,
Ни буканьерам
Их с курса верного не сбить;
Не знаю, с кем его сравнить —
Сравню с Гомером.

Или с Шекспиром: как Шекспир,
Райка и кресел он кумир
С душой повесы,
Сжигая свечку с двух сторон,
И ставит, и играет он,
И пишет пьесы.

Замри же, зал; померкнет, свет,
Когда столь редкостный дуэт
Сегодня рядом.
Пусть щелкнут в сумраке замки
И растворятся сундуки
Со скифским кладом!²

¹ Речь идет об огромном резонансе, вызванном поэмой Дерека Уолкотта «Шхуна “Полет”».

² Перевод с английского Григория Кружкова.

Не думаю, что стихи эти были опубликованы. В них есть строки и о Дерекке Уолкотте, и о Валласе Шоне, представлявшем отрывок из пьесы Иосифа — если я не ошибаюсь, из пьесы о двух астронавтах. Кроме того, они читали также переводы Бродского.

— *В одном из интервью вы как-то сказали, что именно Иосиф сподвиг вас на покупку «мерседеса». Как это произошло?*

— Ну, не то чтобы он буквально сподвиг меня на покупку, просто он сыграл важную роль в моем, так сказать, раскрепощении. К тому моменту мой водительский стаж насчитывал сорок три года, и к своему шестидесятилетию я собирался побаловать себя новой хорошей машиной. А пока что ездил на стареньком «ниссане», этаким тарахтящем драндулете на дизельном топливе, верой и правдой дослуживавшем свой век. И был у меня друг, бизнесмен, привыкший к машинам более высокого уровня; он знал одного автомобильного дельца и постоянно уговаривал меня купить себе что-нибудь попристойнее, пусть даже подержанное. Есть, однако, неписаное правило, которое все мы знаем с младых ногтей, о том, что поэт не должен поддаваться подобного рода буржуазным искушениям и роскошествам. Поэтому я чувствовал, что «мерседес» — это своего рода табу, но потом вдруг вспомнил Иосифа, который прикатил однажды из Саут-Хедли в Кембридж и сидел, широко улыбаясь, в салоне своего просторного, древнего, мощного мерса. И я подумал: если Бродскому можно, почему нельзя Хини? Вот как я оказался в рядах *homo mercus*.

— *Как и Бродский, вы обладаете удивительным чувством юмора и самоиронией. Способствовало ли это укреплению вашей дружбы с Иосифом?*

— Во всяком случае не мешало. Мы очень много смеялись.

— *У вас с Бродским по меньшей мере два общих фундамента: английская метафизическая поэзия и Данте. Чувствуете ли вы, что между вашей поэтикой и поэтикой Бродского существует связь?*

— Как я уже сказал, я всегда чувствовал, что мы настроены на одну волну. И волна эта — убеждение, что поэзия должна следовать некоему внутреннему закону и что ее судьба зависит в первую очередь от тех людей, чьи стихи доказали

непреодолимую ценность и жизнеспособность этого закона, и во вторую очередь от тех, которые видят в подчинении этому закону большой труд. Я знаю, это прозвучит и двусмысленно, и высокомерно, но надменность Бродского была заразительна. Обсуждение с ним поэтов нередко выливалось в простое перечисление имен и моментальное навешивание ярлыков: гений, дрянь. Но не реже это кончалось тем, что Иосиф садился на своего конька и пускался в долгие критические рассуждения о поэзии, проникая все глубже и глубже, пока наконец не докапывался, как ему казалось, до истины. Дурманящей, противоречивой, обманчивой, несравненной... Юный поэт в нем так и не повзрослел. И в то же время в нем была мудрость ветерана, понимание того, каким должно быть искусство. Он презрительно относился к поэтам, недостаточно образованным, недостаточно начитанным в классической поэзии прошлого и настоящего — это первое; худшим же грехом он считал незнание того, что потребует от тебя служение музе. Что касалось самого Иосифа, то он видел себя в одном ряду с Горацием и Харди: для него не существовало разных уровней, первостепенных и второстепенных поэтов — в его понимании вся поэтическая команда в целом должна сплотиться и идти, плечом к плечу, к одной общей цели. И все же это не означает, что он равнял себя с великими — он просто знал, что ими установлена шкала, по которой следует себя оценивать.

— *Кстати о великих, обсуждали ли вы когда-нибудь с Иосифом Йейтса? Знаете ли вы, как он относился к его поэзии?*

— Мне кажется, здесь у Бродского был некий пробел. Однажды он сказал мне, что рифмы Йейтса оставляют желать лучшего, и тут я почувствовал, что он слишком далеко зашел в своей категоричности и переубедить его уже невозможно. Если и существовал поэт, достойный восхищения Иосифа, это был Йейтс. Его вера в поэзию, его способность выходить за рамки лирики, физически ощущаемое биение его метра. Подозреваю, что Иосиф просто недостаточно вдумчиво читал Йейтса. Он, разумеется, числил его среди выдающихся поэтов, олимпийцев, но не был одержим им. Они оба достигли в поэзии таких, понимаете ли, недостижимых высот, что были как два мощных магнита, повернутых друг к другу разноименными полюсами.

— Для многих русских Бродский — не совсем русский поэт. Для вас он скорее русский или же еврейский или американский поэт?

— Русский. И причиной тому — язык. Речь Бродского выдавала, что английский ему не родной. Чем глубже зарывался он в новый язык, тем труднее ему было оперировать старым. Как всегда у него, к дерзости здесь примешивалось преклонение; к надменности — упоение и восторг. И все же, когда он начинал говорить о русской поэзии — и, главное, читать ее, — чувствовалось, что он в своей стихии. Ощущение было такое, что по какому-то невидимому кабелю пустили в полную силу ток и вся проводка раскалилась до предела и вот-вот загорится.

— Русифицировал ли Бродский английский в своих авторских переводах?

— Это получалось помимо его воли. Помню, как я как-то раз открыл «Ньюйоркер» и наткнулся на одно из тех стихотворений, которые он называл эклогами, — большие отрывки разбитых по строфам стихов, полные самых разных смыслов и метафорических сдвигов, с непонятным началом и практически таким же непонятным концом: достаточно густые дебри, чтобы сначала привести читателя в замешательство, а затем подавить его окончательно. Я восхищался их внутренней логикой, интеллектуальным импульсом и силой воображения, вызвавшим их к жизни, и все же мне мешало то, что я для себя определил как некую метрическую странность, особенно в том, что касается переносов. Фраза, скажем, требует, чтобы строка не заканчивалась в положенном месте, а переходила в другую, но для этого нужно сделать большой широкий шаг, не обрушиваться всей тяжестью, а плавно взмыть, как лошадь над препятствием, и плавно же приземлиться. В общем, я отметил несколько мест, где, как мне показалось, стих ступал тяжелой поступью, и отважился заговорить об этом с Иосифом, когда мы встретились в очередной раз. Но Иосиф сдаваться не собирался. Он стал читать эти строки с таким ритмическим напором, что привычные английские ударения и интонация смещались, уступая место, как я понимаю, русской интонации, русской мелодии стиха. И я решил больше об этом не заговаривать. Лучшее объяснение всему этому было, как вы помните, написано Дэнни Вейсбортом, —

замечательный стереофонический анализ, ибо ухо Дэнни подобно шкале, с помощью которой можно вычислить до мельчайшего градуса, что звучит по-славянски, а что — по-английски, никого при этом не раздражая и не вызывая лишних вопросов.

— *Почему, как вам кажется, английские опыты Бродского столь различно воспринимались в Англии и в США? В Америке Бродский никогда не получал столь язвительных отзывов, как в Англии (в рецензиях Крейга Рейна, Кристофа Рейда, Дональда Дэйви и Питера Портера). В США он, наоборот, считался одним из самых выдающихся поэтов современности.*

— Ну, во-первых, английские рецензии всегда более резкие — так уж повелось. Прокурорский тон издавна оттачивался в оксбриджских семинарах. Кроме того, существует простой культурный факт — по эту сторону Атлантики ухо до сравнительно недавнего времени было настроено скорее на традиционные ямбические размеры. От Ирландии до Австралии в программы университетских курсов обязательно включалась история стихосложения, поэтому образование, которое получал даже средний студент, подразумевало, что определенный метрический диапазон является нормой. *Ta-ma, ta-ma, ta-ma* принималось как данность. Когда дело доходило до чтения, до восприятия на слух, существовало нечто вроде соглашения, покоящегося на определенных условностях. Можно, если угодно, назвать это «строгим колониальным воспитанием», по горькому выражению Шейбин из стихотворения Дерека Уолкотта «The Schooner Flight», но факт остается фактом, и он все еще влияет на восприятие поэзии. Простите за каламбур, но школой английской поэзии заправляет директриса, которая требует, чтобы все классы безошибочно пели гаммы. Капельмейстер же американской капеллы более лоялен. В девятнадцатом веке с американским поэтическим слухом случилось нечто такое, что позволило ему услышать новую гармонию. Библия догнала Шекспира, и в итоге получился Уитмен. Поэтому теперь американский слух яснее, чем его английский соперник, различает лады и тональности поэтической музыки других культур, не совсем даже понимая, что они означают. Карлос Вильямс, например. О'кей, думает американская муза, Карлос — это нечто испанское, следовательно, отличное от нас — возможно, в его поэзии прозвучит

испанская нота. А Бродский? Интересно, в его мелодии явно будет что-то русское. Верная же собственной школе муза английской поэзии думает: гм, Бродский? Неплохо бы объяснить этому нахалу, что так просто ему это не пройдет. Это противно самому духу английского языка. Возможно, по-русски он и неплохо справляется, но, боюсь, ему придется попотеть, если он хочет получать высшие оценки в моей школе пения. Английская муза ревнива и взыскательна: она чувствует, что охраняет нечто, что было ей вверено, — такова, по крайней мере, точка зрения благожелателя.

— *В творчестве англоязычных поэтов, испытывавших влияние Бродского, упор, который он делал на формальную поэзию, давал хорошие или плохие результаты?*

— Я бы сказал, что влияние это ощущалось не только на личном, но и на институциональном уровне. Последнего, возможно, было даже больше. То есть напор, с которым Бродский убеждал в необходимости работы над формой, ощущался на всех литературных кафедрах американских университетов — подобно тому, как пассажиры небольших самолетов ощущают работу силового двигателя при взлете и посадке. Для студентов этих кафедр постоянное напоминание о глубочайшей поэтической культуре в ее исторической перспективе было очень полезно — как ни парадоксально, но это утверждает ее непреходящую ценность и актуальность. Впрочем, традиция, как заметил однажды Т. С. Элиот, усваивается лишь посредством тяжелого труда. Невозможно развить поэтический слух студента или школьника за два-три года. На практических занятиях студенты могут научиться писать разными размерами, усвоить схемы и правила рифмовки и почувствовать, что стихотворение — «хитрый словесный механизм», но глубокое, физическое, нутряное постижение внутренней логики стиха будет ускользать от них до тех пор, пока они не начнут слушать, слушать и слушать то, что уже создано их языком. Поскольку, осмелюсь заметить, Иосиф немало поспособствовал самодовольству и снобизму тех, кого сейчас в Америке принято называть «новыми формалистами», его влияние не всегда было позитивным. С другой стороны, стихи самого Бродского — всегда чистая импровизация, интуиция в хорошем, а не в плохом смысле. Поэтому для тех, кто способен научиться искусству полета, инициация была замечатель-

ной. Скажем, Гертруда Шнакенберг буквально воспарила благодаря примеру Иосифа.

— *Бродский считал, что XX век исчерпал возможности спасения, не вняв призыву Нового Завета. Вы с этим согласны?*

— Никогда не слышал, чтобы он формулировал это таким образом, но в этом весь Бродский: повышающий ставки, выдвигающий дерзкое предположение, формулируя его при этом настолько просто, что хоть в букваре печатай, хотя в нем есть немало, за что поломать копыя — схоласты и талмудисты точно завели бы на эту тему нескончаемый спор. Однако постойте... Если возможности спасения в принципе могут быть исчерпаны, то почему этого не произошло раньше, до появления Нового Завета, во времена Римской империи? В Послании апостола Павла к римлянам говорится, что ныне настала жизнь духа, другим словами, что не должно унывать, не должно сдаваться, каким бы губительным, опустошающим ни оказался натиск истории.

— *Как вы относитесь к высказыванию Бродского: «Убежден, что все мной сделанное делалось в конечном итоге во славу Господа... Какие бы дерзости у меня ни прорывались, даже они так или иначе свидетельствуют о моей любви к Нему»?*

— Звучит очень убедительно. Богу следует быть таким же великодушным и последовательным, каким был человек, написавший: «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность...»

Перевод с английского Лидии Семеновй

МАРК СТРЭНД, ФЕВРАЛЬ 2004

— В своей речи памяти Бродского 29 октября 1996 года вы сказали, что впервые встретились с Иосифом на вечере у Ричарда Ховарда. Когда вы представились, Иосиф прочитал одно из ваших стихотворений. Помните ли вы, в каком году это было?

— Я познакомился с Иосифом на вечеринке в доме Ричарда Ховарда после поэтического вечера Бродского в Нью-Скул в 1972 году. Мне кажется, это было вскоре после его приезда в США, хотя утверждать я не берусь. У меня короткая память на такие вещи. Я подошел к нему и сказал: «Господин Бродский, я — Марк Стрэнд. Я посылаю вам открытки с новогодними поздравлениями, они до вас доходили?» Он ответил «да» и прочитал мне одно из моих стихотворений. Я влюбился в него без памяти. Нет, скорее я был сражен. Мне никогда не удавалось запомнить хоть одно свое стихотворение, а у Иосифа была потрясающая память на стихи. У меня возникло чувство, что он, возможно, понимает в моей поэзии больше меня, поскольку помнит ее наизусть, а я нет.

— Когда вы в 1970-х годах жили в Гринвич Виллидж в Нью-

Марк Стрэнд (род. в 1934 г. в Канаде) — американский поэт. Образование получал в США, в Йельском университете. Преподавал во многих американских университетах, в том числе в Колумбийском, Принстонском, Гарвардском и Чикагском. Автор одиннадцати поэтических сборников, в их числе «Blizzard of One», получивший Пулитцеровскую премию, трех прозаических книг, нескольких томов переводов. Его перу принадлежит ряд монографий о современных художниках и три книги для детей. Лауреат многочисленных литературных премий. Поэт-лауреат США (1990—1991).

Йорке, у вас был круг друзей, куда входили многие поэты и писатели: Дерек Уолкотт, Сюзан Зонтаг и другие. Когда Иосиф стал частью вашей компании?

— В 1970-е годы в Нью-Йорке я действительно общался с Дерекотом Уолкоттом и другими поэтами, но не дружил с Сюзан Зонтаг. Я мельком видел ее два или три раза, и этим наше знакомство исчерпывается. С ней был дружен Иосиф, он также был очень дружен с Дерекотом, чьими стихами восхищался. Не уверен, что Иосиф был членом компании. Не уверен, что это вообще можно назвать компанией. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас ощущал себя членом компании. Поэты любят встречаться, но не обязательно группой. Иосиф встречался с Дерекотом. Он встречался также и со мной, и с другими поэтами, но чаще всего с глазу на глаз. За долгие годы нашей дружбы мы привыкли общаться по телефону, читать друг другу стихи, давать советы. Я нередко прислушивался к советам Иосифа. Он же к моим не особенно прислушивался. Подумать только, каким великим поэтом он был!

— Чем отличался Бродский 1970-х от Бродского 1990-х?

— Бродский 1990-х очень походил на Бродского 1970-х. Он был все так же предан друзьям и верен идеалам. Его раздражительность не столь бросалась в глаза, или, может, с годами он стал просто терпимее. Раздражение у него вызывала неспособность большинства американских поэтов четко определить, что они делают, их недостаточная компетентность или тупость в вещах, имеющих прямое отношение к поэзии.

— Что вы помните о похоронах Роберта Лоуэлла (16 сентября 1977 года), после которых вы, Роджер Страус, Сюзан Зонтаг, Дерек Уолкотт и Иосиф собрались у Элизабет Бишоп. Расскажите, пожалуйста, что вам запомнилось?

— Не помню, чтобы я отправился к Элизабет Бишоп после похорон Роберта Лоуэлла. Я вообще не помню, что был на похоронах¹.

¹ Брюс Кинг, биограф Дерекота Уолкотта, пишет: «Роджер Страус, Марк Стрэнд, Сюзан Зонтаг и Уолкотт приехали в Бостон на похороны (16 сентября), после которых они отправились к Элизабет Бишоп; так Уолкотт познакомился с Иосифом Бродским, и они очень быстро стали близкими друзьями» (Bruce King. Derek Walkott. A Caribbean Life. OUP, 2000. P. 354).

— Мне известно, что некоторые издатели и редакторы престижных американских газет и журналов посылают вам стихи — даже таких признанных поэтов, как Дерек Уолкотт, — на внутреннюю рецензию. Посылали ли вам когда-нибудь с этой целью стихи Иосифа?

— Ни одно американское печатное издание ни разу не обратилось ко мне за рецензией на чьи-либо стихи. Обычно издатель или издательница посылает кому-нибудь гранки будущей поэтической книги с тем, чтобы этот кто-то написал на нее хвалебную аннотацию в рекламных целях. Меня, однако, ни разу не просили написать что-либо подобное к книгам Иосифа или Дерека. Да и почему менее известный, менее значительный поэт должен рекламировать книги тех, кто превосходит его во всех смыслах?

— Иногда, а может, достаточно часто поэты просят у вас рекомендации при подаче на тот или иной грант или стипендию. Вы когда-нибудь писали рекомендации Иосифу?

— Нет, Иосифу я никогда никаких рекомендаций не давал.

— В январе 1980 года вы, Иосиф и Дерек Уолкотт давали несколько совместных вечеров в Вест-Индии. Каково ваше впечатление от чтения Иосифа?

— А, поездка в Вест-Индию! Замечательное было время! Праздновался 50-летний юбилей Дерека; я был весьма польщен, получив приглашение отправиться в поэтическое турне по Вест-Индии с ним и Иосифом. Дерек к тому времени был уже очень известен в этих местах. Люди перед ним преклонялись. Куда бы мы ни отправились, он всюду кого-нибудь знал. Иосиф тоже был великолепен. Его манера чтения стала открытием для тамошней публики. Глубокий резонирующий звук его голоса, его манера полуречитывать, полупеть свои стихи словно уносила слушателей куда-то вдаль. Я же слышал его и раньше, поэтому в Тринидаде никаких открытий для меня не было.

— Были и другие случаи, когда вы читали вместе с Иосифом. 1 ноября 1992 года Дерек Уолкотт, вы и Иосиф устроили благотворительный поэтический вечер в пользу Театра современной драматургии в Бостоне. Что вам запомнилось?

— Я вообще не помню, чтобы читал в Бостоне. Вы уверены, что я там был?

— В биографии Дерека Уолкотта написано: «В середине сентября Уолкотт обратился к спонсорам с просьбой выделить ему пять тысяч долларов, после чего пригласил их на ужин «а-ля-фуршет», за которым последовал вечер поэзии, музыки и танца в Тайском культурном центре Бостонского университета. Спонсорские деньги пошли на организацию благотворительного поэтического вечера в пользу Театра современной драматургии, который состоялся 1 ноября, с участием Клампита; Августа Уилсона, Стрэнда, Сойнки и Бродского, и на дорогой ужин со всеми участниками чтений»¹. В 1990—1991 годах вы исполняли обязанности Поэта-лауреата Соединенных Штатов. Вслед за вами на эту должность был избран Иосиф. Многим показалось странным, что иностранец будет Поэтом-лауреатом США. Была ли доля вашего участия в этом необычном выборе? Сталкивались ли вы с подобной критикой?

— Мне кажется, Иосиф прекрасно подходил на место Поэта-лауреата. Возможно, у меня и спрашивали, как я отношусь к идее назначения его на эту должность, хотя я не уверен. В любом случае я был бы за. Иосиф знал и понимал американскую поэзию едва ли не лучше самих американцев. Кое-кто из американских поэтов возражал против его назначения Поэтом-лауреатом, но я напомнил им, что у Иосифа американское гражданство и он имеет такие же права, как и они. Я не думаю, что нужно родиться здесь, чтобы быть американцем. Нужно чувствовать себя американцем, чтобы быть им, и я думаю, что Иосиф чувствовал себя американцем.

— Иосифа очень заботило то, что у поэзии ограниченное число читателей. Удалось ли ему как-то расширить читательскую аудиторию?

— Иосифу удалось убедить издателя распространить выпущенную им антологию американской поэзии по гостиничным номерам. Таким образом, какое-то короткое время поэзия бок о бок соседствовала с Библией. Антологию обычно утаскивали, а Библию оставляли. Иосиф всегда считал, что у поэзии должно быть больше читателей, и мне кажется, его собственные выступления расширяли аудиторию.

— Иосиф был хорошим публицистом в поэзии?

— Да, он был хорошим публицистом, если можно употре-

¹ Ibid. P. 531.

бить термин «публицист» по отношению к человеку, умно и тонко рассуждающему о своем любимом деле. Иосиф никогда не молот вздора. В этом смысле он был хороший «публицист».

— *Внес ли он какие-нибудь изменения в задачи и обязанности Поэта-лауреата?*

— Не думаю. Когда мы были лауреатами, какие-либо изменения вносить было трудно. Отделом поэзии¹ заправляла одна безумная дама, которая хотела, чтобы все плясали под ее дудку.

— *Как американцы читают Бродского: как поэта, пытающегося привить русскую ментальность английскому языку, или как обычного американского поэта?*

— Американские поэты читают Иосифа как русского поэта, которому переводы его стихов сослужили не лучшую службу.

— *Ваша поэзия очень отличается от поэзии Бродского — за что же вы любите его стихи?*

— Именно за это я их и люблю — за то, что они совершенно не похожи на мои.

— *Вы пишете обманчиво просто, почти традиционно, и несмотря на это ваши стихи потрясают до глубины души:*

*Мы читаем историю нашей жизни,
Как будто сами ее писали,
А потом проживали сами.²*

Можете ли вы назвать источник вашей убедительности?

— Я не имею ни малейшего понятия об источнике моей убедительности. Я даже не уверен, что мои стихи столь уж убедительны. И все же я вам поверю.

— *В ноябре 1986 года Иосиф произнес небольшую речь о вас в Метрополитен-музее. Он сказал, что движущая сила вашей поэзии — чисто языковая энергия. Вы согласны с этим?*

¹ Библиотеки Конгресса США.

² Mark Strand. Selected Poems. Manchester: Carcanet, 1995. P. 50. Перевод Вероники Капустиной.

— Мне кажется, он говорил обо мне в музее Гуггенхайма¹.

— *Иосиф часто повторял, что «так называемый голос Музы — это, на самом деле, диктат языка». Язык был для него вершиной творения. Согласны ли вы с таким отношением к языку?*

— Давайте не будем говорить о Музе. Муза в разные годы означала для меня разное, но обычно я связываю ее все-таки с тем, что дает мне вдохновение. Язык рождает язык, поэтому Муза, скорее всего, состоит из слов. Для меня это зыбкая почва.

— *Дерек Уолкотт понимает поэзию как метафору; Иосиф Бродский насыщает свои стихи метафорами; вы же прибегаете к ним чрезвычайно редко. Почему вы так недоверчиво относитесь к тропам?*

— Я редко использую метафоры, это правда, если только не считать, что стихотворение в целом и есть метафора, словесное оформление чего-то другого, чего-то, что существует, но не имеет формы.

— *Является ли слияние в вашей поэзии драматического и лирического начал сознательным выбором или это только критики так думают?*

— Не имею ни малейшего представления о том, что о моих стихах говорят критики. Я редко читаю о себе. Но мне нравится эта идея слияния в моей поэзии лирического и драматического. Я абсолютно сознательно соединяю в своих стихах смешное с серьезным. Часто стихотворение начинается смешно, а кончается не очень, или наоборот, и читателю в короткий срок и в небольшом пространстве (на протяжении нескольких строк) приходится преодолевать большое расстояние (прихологически). Иногда даже непонятно, шучу я или говорю серьезно. То же можно отнести и к Кафке — писателю, которого я ставлю выше всех писателей XX века.

— *Иосиф говорил, что учиться композиции поэты должны у музыки — что за чем следует. Ваши стихи очень музыкальны. Разделяете ли вы убеждение Бродского?*

— Думается, у Иосифа музыкальный слух был развит луч-

¹ Вечер двух поэтов, Марка Стрэнда и Говарда Мосса, действительно состоялся 4 ноября 1986 г. в Нью-Йорке, в музее Гуггенхайма. Текст выступления Бродского опубликован в переводе Е. Касаткиной в кн.: Иосиф Бродский. Письмо Горацию. М.: Наш дом, 1998. С. 99—102.

ше, чем у меня. У него вообще слух был лучше. Я хорошо улавливаю английские интонации в их американском варианте, но это то, что пришло ко мне спустя годы кропотливой работы — внимательного прислушивания к звукам английской разговорной речи. Я слушаю музыку, но не могу сказать хоть сколько-нибудь определенно, что она помогает мне сочинять. Иосиф очень любил Гайдна, но я, хоть убей, не вижу никакой связи между его поэзией и чьей-то музыкой.

— *Вы переводили многих поэтов, среди которых были Рафаэль Альберти, Карлос Драммонд де Андрада... Вам знакомы и разные подходы к переводу и проблемы, с которыми сталкивается переводчик. В своих автопереводах Иосиф стремился, прежде всего, передать просодию оригинала. Нередко это приводило к существенным семантическим сдвигам. Понимали ли те, кто критиковал переводы Иосифа, выбранный им подход?*

— Не думаю, что кто-нибудь мог разобраться в подходе Иосифа к переводу. Он стремился к просодической точности и адекватности, но это было практически невыполнимо. Он предлагал мне кое-что перевести, но я всегда отказывался. Русского я не знаю, а работать по подстрочнику — все равно что редактировать чужую версию. На мой взгляд, важнее всего в переводе то первое впечатление, которое человек получает по прочтении оригинала, а в случае с подстрочником получается, что первое впечатление одного искажается первым впечатлением другого. Даже если бы Иосиф руководил процессом перевода, я бы все равно чувствовал, что между мной и оригиналом существует определенная дистанция — я бы чувствовал себя секретарем Иосифа...

— *Вы читали стихи Бродского на поминальной службе в его честь, которая состоялась 8 марта 1996 года в соборе St. John Divine в Нью-Йорке. Какие у вас остались впечатления от этой церемонии?*

— Церемония просто потрясла меня. Три тысячи человек! Внушительная цифра для поминальных церемоний любого ранга. Иосифа любили. Это был независимый, с очень высокими мерками человек и поэт — в мире, где правят кумовство и посредственность.

— *Большинство еврейских друзей Иосифа были огорчены тем, что служба проводилась согласно христианскому обряду. Как вопрос вероисповедания соотносится с его поэзией, кем она написана — христианином, евреем, атеистом или язычником?*

— Меня повергли в недоумение рождественские стихи Иосифа, они потрясли меня как христианские, хотя сам Иосиф никогда не заявлял о том, что он христианские. Он был евреем, хотя из его поэзии это не вычитывается. Мне кажется, интерес Иосифа к христианству возник благодаря поэзии и поэтам, которыми он восхищался — они ведь все без исключения были христианами. Первые, кто приходят на ум, это Элиот и Оден. На мой взгляд, никакой разницы в том, по какому обряду служился молебен, нет. Ибо я думаю, Иосифа в этих вещах привлекало то, что он воспринимал как духовный источник стихов, которыми восхищался. В душе Иосиф был язычником.

— *Он признавался, что у него с английским языком нечто вроде романа. Достаточно ли хорошо он знал английский, чтобы писать на нем стихи?*

— Конечно, Иосиф прекрасно знал язык и мог писать на нем стихи.

— *Вас удивляло то влияние, которое приобрел Иосиф среди англоязычных поэтов. Может ли иностранный поэт, освоивший английский так же поздно, как Иосиф, стать английским поэтом?*

— Иосиф был гений, поэтому и мог писать стихи на английском, несмотря на то что выучил его сравнительно поздно. Не могу представить, кому еще это могло удасться.

— *Иосиф никогда не считал себя двуязычным поэтом, но двуязычным писателем он был. Не могли бы вы сказать несколько слов об английских стихах Бродского?*

— Английская поэзия Иосифа была прямым отражением его английского языка, полученного путем скрещивания британского и американского английского. Казалось, она выращена в пробирке, то есть звучала неестественно. Она была метрически выверенной (это ему было важно), но ей не хватало свободы, разговорности. Она чуточку недотягивала до разговорной, чуточку до формальной, но была последовательно собой. У Иосифа были оригинальные рифмы, почти всегда неточные — то есть эти слова будут рифмоваться, если произнести их с русским акцентом.

— *Не могли бы вы сказать несколько слов об автопереводах Бродского?*

— Принято говорить, что кого-то перевели на английский, кого-то на русский, но это в корне неправильно, потому что поэта переводят не на язык вообще, его переводят на язык

переводчика. Поэтому Бродский перевел Бродского на язык Бродского — на «бродский».

— Я знаю, вы как-то назвали его «потрясающим английским поэтом, но другого типа». В какой степени он был другим и в какой — потрясающим? Мне также запомнилась ваша строчка: «Правда лжет как никто другой». Что же тогда правда?

— Это определение срабатывало не всегда, но достаточно часто. Сила Иосифа — в концептуальности. Построение гипотезы, творение метафоры, тщательный подбор и нанизывание сложных образов — все это делало его стихи завораживающими, неподражаемыми. Правда лжет, как никто другой, потому что в искусстве правда всегда завуалирована, замаскирована. А что такое правда... понятия не имею.

— Вы понимаете, почему Иосиф так восхищался Оденем? Я знаю многих английских поэтов, которые не разделяют этого восхищения.

— Иосиф восхищался техническим совершенством и виртуозностью Одена, тем, как он совмещал возвышенный язык с разговорным, его способностью быть интересным читателю независимо от темы стихотворения. Правда, что Иосиф порой напоминает Одена; иногда мне даже кажется, что он слегка напоминает Эмили Дикинсон. Пусть кто не согласен, сочтет это преувеличением, это мое мнение. Возможно, он подобрал в себя обоих — и приправил Томасом Харди...

— Общаться с ним было просто или тяжело?

— Тем, кого он любил, общаться с ним было легко. В этих случаях чувствовалось, что он всегда рядом. Считать, что кого-то знаешь, — ловушка; кто может знать, знаем мы этого человека или нет? Мы строим всякие предположения на его счет, считаем, что знаем его достаточно хорошо, а потом он возьмет да и выкинет что-нибудь непонятное. Иосиф никогда не делал необъяснимых поступков.

— Что было самым приятным и самым неприятным из того, что он вам когда-либо говорил?

— Не знаю. Не могу припомнить ни самого приятного, ни самого неприятного — я никогда не оценивал с этой точки зрения то, что он говорил.

— Если бы вы сейчас вдруг столкнулись с Иосифом в Нью-Йорке, что бы вы ему сказали?

— Первым делом я спросил бы его, как он сюда попал.

— Не помните ли вы обстоятельств посвящения вам стихотворения «Секстет»?

— Помню, что был польщен тем, что Иосиф посвятил это стихотворение мне, но обстоятельств не помню.

— Вам известно, как Иосиф любил красоту. Что служило для него «мерилом совершенства», с помощью которого он оценивал красоту, будь то красота женщины или кошки?

— Иосиф никогда не говорил мне, по каким меркам оценивает красоту женщин и кошек.

— У вас наверняка есть стихотворение, посвященное или адресованное Иосифу? Можно мне включить его в книгу?

— В моей книге «Blizzard of One» есть стихотворение памяти Иосифа; можете его использовать.

Перевод с английского Лидии Семеновой

Памяти Бродского

Даже будучи здесь, можно сказать: оставшееся от тебя
Разматывается в меркнувшем свете, истончается в пыль,
направляясь туда,
Где пронизывают друг друга знание и ничто,
И дальше разматываясь, покидает освещенный тоннель, —
Направляясь в то место, которого, может, и вовсе нет,
Там невыразимое выговаривается — быстро, бегло, легко,
Как во сне — нам кажется, что во сне — прошедший дождь,
Разматывается еще, еще и еще, и нет границ,
Способных его задержать — будь то бесформенная пустота
Между нами, между телом и голосом небольшой зазор.
Дорогой Джозеф, эти внезапные напоминания — ты был —
Место и время, которым ты подарил их звёздный час,
Они за тобой увязались, и без нас разматываются теперь,
Настоящее для нас — «а пока...», будущее — всевозможные
«и т. д.»,

Всё разматывается быстро и навсегда.¹

1996

¹ Перевод с английского Вероники Капустиной.

Памяти Иосифа Бродского

Можно сказать, даже здесь: то, что останется от человека,
Развеется в гаснущем свете, истончится в пыль, улетит
Туда, где «ничто» и «я знаю» переходят друг в друга,
и сквозь;
Что оно пронесется, все тоньше, за подземелья —
за угасшую яркость —
И дальше, в места, где никто никогда не найдет,
где невыразимое,
Наконец, произносится — но легко и поспешно, как бы
случайным дождем,
Что проходит во сне, или снится, что проходит, как сон.
То, что останется от человека — всё тоньше и легче, ведь не
Удержать ни одною границей — ни той, между нами,
без формы,
Ни той, меж твоими телом и голосом... Иосиф,
Дорогой мой Иосиф, эти внезапные воспоминанья о том,
каким ты был — места,
Времена, которым ты дал их лучшие жизни — ныне
Всего лишь призраки на поминках. То, что останется от
человека, развеется
За пределы нас — тех, кому время лишь мера временного,
И грядущее не больше чем твое «и так далее и так далее...»,
но быстро и навсегда.¹

1996

¹ Перевод с английского Сергея Панцирева.

ПИТЕР ВИРЕК, НОЯБРЬ 2003, САУТ-ХЕДЛИ, ШТАТ МАССАЧУСЕТС

— *Бродский посвятил вам написанное по-английски стихотворение (1980). Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах этого посвящения.*

— Мой ответ на этот вопрос станет ответом и на последующие вопросы. Я не помню. Это было так давно. Стихотворение появилось в «New York Review of Books», и оно не обо мне, а о Берлинской стене. У меня кое-что было о Бродском в журнале «Agni», там напечатано интервью с ним. Думаю, у вас оно есть¹.

— *Когда вы впервые встретились с Иосифом?*

— Я был в Советском Союзе в 1961-м, 1962-м и 1963 годах. Первый раз я ездил по случаю обмена «певчими птицами». Кеннеди с Хрущевым устроили такой обмен: по два поэта от каждой страны, причем за государственный счет. Нам

Питер Вирек (род. в 1916 г. в Нью-Йорке) — историк, поэт, драматург и политолог. Его первый сборник стихов «Terror and Decorum» (1949) удостоился Пулитцеровской премии. Преподавал историю России и Европы в Mount Holyoke Colledge. Переводил Гете и Пауля Целана; автор обширной антологии мировой поэзии: «World Poetry: An Anthology of Verse from Antiquity to Our Time» (1998). Среди поэтических сборников Вирека следует выделить «Archer in the Marrow: The Applewood Cycle 1967—1987», о котором Бродский писал, что выход в свет этой книги — «важнейшее событие в американской поэзии наших дней, сравнимое с появлением «Paterson» Уильямса или «Cantos» Паунда» (Modern Poetry in Translation, № 18, 2001. P. 236).

¹ Lynette Labinger. A Conversation with Joseph Brodsky (Leningrad, July 13, 1970) // Agni. № 51, 2000. P. 17—20.

был оказан торжественный прием, мы могли поехать куда угодно, встретиться с кем угодно, хотя советская сторона последнее условие выполняла неохотно. Я хотел встретиться с Солженицыным, но мне — по вполне очевидным причинам — не позволили. Но мне-таки удалось встретиться с разными интересными людьми, в том числе с Ахматовой.

С Бродским я встретился во второй свой приезд в Россию — кажется, это было в 1963-м. В интервью, о котором я вам говорил, упоминается о том, что мы посылали друг другу письма со стихами. Но ни он, ни я так ни одного из этих писем и не получили... КГБ конфисковывал все — его собственные письма и письма к нему. Поэтому этих писем мы так и не увидели. Бродский посылал мне также фотографии с остроумными подписями. Я однажды даже сделал копию дарственной надписи, которую он сделал на одной из своих книг. Оригинал у меня здесь нет, потому что это очень ценная книга и хранится вместе с другими ценными книгами с инскриптами — от кого только у меня не было дарственных надписей: от Бродского, Томаса Манна, Роберта Фроста!..

— *Затем вы стали для советских людей персоной нон грата. Чем вы это заслужили?*

— Один из моих приездов в Россию действительно закончился депортацией — за то, что я разоблачил в одной из своих работ советский антисемитизм; книги мои были запрещены.

Я написал стихотворение о дереве, «A Tree Speaks». Там, от имени дерева, говорилось: «Вы все неподвижны. Лишь я в движении. А в конце все, кроме меня, посажены». Тогда Иосиф ответил мне, написав то ли на книге, то ли на фотографии: «Вы все живете. Я один неподвижен», имея в виду свою привязанность к месту. Когда я видел его в России, он даже не помышлял о том, чтобы уехать. Он считал это невозможным.

— *Более десяти лет Бродский преподавал историю русской и английской литератур в Маунт Холиоке, там же, где и вы. Любили ли его студенты? Приятно ли было с ним вместе работать?*

— Коллега он был одновременно блестящий и ненадежный. Преподаватель — очень добросовестный; очень много давал своим студентам. Хотя мог быть и безжалостным, особенно с теми, кто любил современный свободный стих. Не-

навидел прогрессивных левых интеллектуалов, которые любят выступать от имени «масс». В таких случаях он мог быть очень резок. Бывал иногда ненадежен: однажды мы пригласили его на ужин, а он явился на два часа позже.

Мы с Иосифом собирались организовать совместный семинар, который официально должен был называться «Поэты при Сталине и Гитлере». Между собой мы называли его «Rhyme and Punishment», причем «punishment» могло писаться также как «punish-man»¹.

Я подарил ему — а не следовало — пачку сигарет «Мальборо», если не ошибаюсь. (*Смеется.*) Так он начал курить. Ладно, он начал курить раньше, но именно курение его убило. Впоследствии, уже в Америке, после того, как я обнаружил, что он заядлый курильщик, я никогда не разрешал ему курить в моем присутствии. Он подчинялся, но в какой-то момент говорил: «Пойду, проверю, как там моя машина». Когда он возвращался, от него сильно пахло табаком. Он не мог бросить курить, хотя и пытался. Но так и не смог.

— *Это была ваша идея — пригласить Иосифа преподавать в Маунт Холиоке?*

— Конечно.

— *Расскажите об этом поподробнее.*

— Иосиф преподавал в Мичигане. Там они выпускали его книги, но ему хотелось перебраться куда-нибудь, где масштабы более человеческие. Мичиган — слишком большой, слишком безличный. А поскольку мы всегда были в хороших отношениях, он позвонил мне как-то, когда выступал неподалеку, в Амхерсте, и спросил, нет ли у меня какой-нибудь идеи на этот счет. А я в свою очередь спросил его, как он отнесется к идее преподавания в маленьком колледже: там, разумеется, платят меньше, чем в Мичигане, но и жизнь спокойнее при этом, и давления меньше, суеты; и работы тоже меньше. Иосиф ответил, что ему бы это подошло. И так году в 1981—82-м я нашел для него первое место.

— *Мне кажется, это было осенью 1981-го.*

— Возможно. Как бы там ни было, в первый год он пре-

¹ Букв. «Рифма и наказание». Игра слов — «Rhyme» звучит как «Crime»: «Crime and Punishment» — «Преступление и наказание»; «punish-man» — тот, кто наказывает, каратель.

подавал не в одном Маунт Холиоке, а в пяти разных колледжах: в Амхерсте, Смите, Маунт Холиоке и еще где-то. Позднее я убедил декана, Джозефа Аддиса, с которым мы были дружны и который подружился также и с Бродским, и ректора, тоже мою приятельницу и бывшую мою студентку — она уже больше не ректор; ее зовут Лиз Кеннан, — убедил их предложить Иосифу хорошее место. Мотаться по пяти разным колледжам было слишком утомительно и отнимало много сил. Адская езда и прочее. Чтобы найти ему место, пришлось немного потрудиться: это было еще до получения им Нобелевской премии, и Иосиф вовсе не был так уж хорошо известен. Фактически люди в тех местах никогда о нем не слышали. Помню, как один из деканов — не в Маунт Холиоке — расспрашивал меня. Я пытался гнуть свою линию, и вдруг он спросил меня: «Где Бродский получил PhD?»¹ Ректор захочет это знать». Тогда я, не моргнув глазом, ответил: «В Гулагском университете». Он никогда о таком не слышал... Это сработало. Иосиф поселился на углу Сорок девятой и Вудбридж-стрит. В старом доме, с деревянными панелями. Дом очень ему нравился. У меня была куча лишней мебели, и я помог ему устроиться. Поначалу он жил очень просто. Однажды, еще до того как он снял квартиру, Иосиф остался у меня ночевать. Он спал в гостевой комнате, не раздеваясь — в джинсах и майке. У него не было даже пижамы. Российская бедность... синдром перенаселенных квартир... А затем я стал наблюдать чуть заметные перемены. В какой-то момент он вдруг стал тонким знатоком виски. Мы говорили о виски, и он признался, что любит «Jameson». Тогда я сказал: «Слушай, малыш. Ты потерял невинность». Он стал знатоком автомобилей, всяких там «кадиллаков», и виски. Потерял невинность. О чем я сожалею, знаете ли.

— *Дом Бродского довольно далеко от центра кампуса. Был ли он счастлив в этом доме — настолько, насколько он вообще мог быть счастлив?*

— Он никогда не был счастлив. Где бы он ни находился, он всегда был неудовлетворен, всегда спорил с издателями и тому подобное. Но он был гораздо счастливее здесь, нежели в России. Гораздо счастливее меня, а я ведь родился в этой

¹ Степень доктора филологии.

стране. Например, он любил кока-колу, а в Европе это считается вульгарным, это знак американского дурновкусия. Европейцы толкуют о кока-колонизации. А Иосиф любил кока-колу. Он любил быструю езду, и у него было какое-то устройство, которое предупреждало его в случае близкого нахождения полицейского. Он жил без оглядки, без страха. Колесил по всей стране со своими лекциями, выкуривал по три пачки в день. Вот каким он был.

— *Ходили ли вы когда-нибудь на его поэтические выступления?*

— Да.

— *А читали с ним вместе?*

— В Амхерсте я присутствовал на его выступлении. А другой раз, в Маунт Холиоке, я, так сказать, предварял его чтение вступительным словом. К тому времени он был почти Нобелевским лауреатом, и мне не хотелось повторять надоевшие клише о нем и его поэзии. Это прозвучало бы оскорбительно. Он был известен во всем мире. Поэтому я процитировал пушкинского «Онегина»: «И возбуждал улыбку дам / Огнем нежданных эпиграмм».

— *Вы читали Бродского по-русски и по-английски?*

— Нет. Мой русский не настолько хорош, поэтому я читал его по-английски или с параллельными текстами. Я учил русский в Гарварде в 1940 году, и у меня практически никогда не было возможности говорить на нем. Я лишь знаю кое-какие фразы.

— *Как вы оцениваете автопереводы Бродского, вызывающие столько споров?*

— Да, я знаю, что на него очень сильно нападал Стэнли Кьюнитс. Однако здесь следует кое-что пояснить. Иногда он неправилен, но если повернуть его так, как если бы английский язык был зеркалом, и взглянуть на него сбоку, он вдруг предстают под совершенно иным углом зрения. Понимаете, английский его переводов — все тот же английский, но другому. Мне это кажется чем-то очень свежим. Возможно, некоторые английские рифмы натянута, я бы сказал, слегка хромают. Но это заставляет меня по-новому взглянуть на родной язык, который я люблю.

— *Иосиф чувствовал себя в англо-американской поэтической традиции как дома, но ни Ахматова, ни Цветаева — его,*

так сказать, учителя в поэзии — не интересовались этой традицией. Откуда, как вы думаете, возникла в нем эта любовь к англо-американской традиции?

— Не знаю. Он считал ее бездонным кладезем поэзии, даже более бездонным, чем русская традиция. И читал Джона Донна и Одена. Они были его любимчиками.

— Считаете ли вы, что сама русская поэзия требовала, чтобы в ее вены вливали струю свежей крови?

— Вот что я по этому поводу думаю. Английский язык — это на самом деле два разных языка. И это, как мне кажется, придает ему тот оттенок, которого нет больше ни в одном языке. После 1066 года аристократы говорили исключительно по-французски — норманны. Низшие классы говорили на англо-саксонском. Спустя несколько столетий два этих языка перемешались, и результатом явилось то, что там, где в русском, во французском или в немецком одно слово, в английском языке — два. Одно — аристократическое, витиеватое, другое — англо-саксонское. Все четырехсложные слова. Например, в среде аристократов «courtesan» («куртизанка») ценится выше, нежели «whore» («шлюха»), слово англо-саксонского происхождения. Слово «courtesan» — французское. Или «mortician» («владелец похоронного бюро») выше, чем «undertaker» («гробовщик»). Величие Шекспира отчасти и состоит в том, что в одной фразе он использует короткое англо-саксонское слово и длинное, мелодичное слово латинско-французского происхождения. В «Макбете», например. Макбет пытается смыть кровь с рук, и вот что он при этом говорит: «Will all great Neptune's ocean wash this blood / Clean from my hand? No this my hand will rather / The multitudinous seas incarnadine / Making the green one red» («Нет, с рук моих весь океан Нептуна / Не смоет кровь. Скорей они, коснувшись / Зеленой бездны моря, в красный цвет / Ее окрасят». Пер. Ю. Корнеева. Цит. по: Шекспир У. Полное собрание сочинений: В 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 7. С. 32). Это очень здорово, на мой взгляд, возможность подобного совмещения. Этот аспект английского, как мне кажется, и привлекал Бродского. В других языках ничего подобного нет. Я бы сказал, что у нас богатейший словарь — и никакой грамматики. От нашей грамматики остались лишь руины. Никаких окончаний, кроме как в словах «who» и «whom» («кто», «кому»), и to в них все путаются.

Люди, претендующие на некую интеллектуальность и при этом вульгарные, часто говорят «whom» там, где по смыслу нужно сказать «who». Вы замечали? Они всё путают. Они путают «flout» и «flaunt» («насмешка, издевательство, пренебрежение» и «щеголять, пренебрегать»), например.

Почти невозможно поверить, как быстро Иосиф научился писать по-английски. А усвоение и освоение английской ритмики заняло у него совсем немного времени. Помню, однажды он был у меня в гостях — пришел прочесть мне стихотворение перед тем, как отправить его в журнал. Если не ошибаюсь, это были стихи о Максимилиане из «Мексиканского дивертисмента». Впрочем, не уверен. Он прочитал их, и я сказал: «Они звучат как метроном: том-ти-том-ти-том». А красота английского языка как раз в том, что все имеет два уровня. Есть правильный ямбический пентаметр — «том-ти-ти-том», — и в то же время в нем слышится перебивающая его, противоречащая ему разговорная интонация. И от этого рождается замечательный эффект. Йейтс был мастером подобных эффектов. Плавное течение «том-ти-том-ти-том» и при этом поспешная сбивчивая силлабика. Иосиф прислушался к этому замечанию и переписал стихотворение, нарушив монотонный ритм, напоминающий бой метронома. Он был на редкость способным учеником.

— *Просил ли он вас когда-нибудь посмотреть его английский?*

— Он никогда не просил меня просматривать его переводы, поскольку моего русского для этого недостаточно. Он просил Джорджа Клайна и с ним и работал.

— *Ваш «Archer in the Marrow» написан строгими размерами и рифмами. Любовь к классической прозодии явно роднит вас с Бродским. Говорили ли вы когда-нибудь с ним о его поэтике?*

— Мы очень много говорили о метрике.

— *Вы никогда не переводили Бродского?*

— Нет. Он работал с Клайном Уилбером. Уилбер — прекрасный переводчик.

— *Марк Стрэнд как-то сказал, что для того, чтобы оценить рифмы Бродского, надо послушать, как он говорит.*

— У него были проблемы с произношением. Он мучился с английским произношением до конца дней. Например, он

говорил «concur» («совпадать») вместо «conquer» («завоевывать»).

— Бродский всегда старался избегать разговоров о страданиях, выпавших на его долю в России, но критики упорно это подчеркивали. Его это возмущало? Во всех книгах, статьях, интервью журналисты и исследователи упорно возвращались к «сибирской ссылке». Они вечно драматизировали ситуацию и без конца напоминали Иосифу о его страданиях и несчастьях.

— Нет, он никогда на это не жаловался. И всегда сочувствовал другим. Получив Нобелевскую премию и, следовательно, почувствовав в руке кое-какие денежки, он стал очень щедро помогать беженцам, причем делал это частным образом. Он при личном свидании, стараясь избегать свидетелей, давал им деньги. Когда это делается публично, это показуха — вроде того, как миллионер, у которого рыльце в пушку, основывает университет. А Иосиф делал это втайне от других, и меня это поражало. Поэты, казалось бы, так эгоистичны...

— Но если он держал это в тайне от всех, как вы об этом узнали?

— Хороший вопрос (смеется). Мне рассказал об этом один из его русских друзей, точно не помню кто. Кажется, даже двое русских упоминали об этом.

— Может, Виктория Швейцер?

— Да, ее муж любил повторять, что он сидел при трех царях: Сталине, Хрущеве и Брежнев.

— Когда Бродского избрали Поэтом-лауреатом США, было ли недовольство со стороны американских поэтов?

— Да, в среде сочувствующих коммунистическому режиму. Помню, как один профессор из Амхерста, у которого была очень хорошая репутация, сказал: «О, это просто часть „холодной войны“». А другой заявил: «Иосиф должен быть благодарен, что получил бесплатное образование в социалистической стране, а не кусать руку, которая его кормила». Как ему только в голову пришло назвать советскую идеологическую промывку мозгов образованием! Но вы даже представить себе не можете, сколько сочувствующих коммунизму в университетах Новой Англии! Там огромное множество интеллектуалов, этаких снобов из верхних слоев общества, как правило, богатых, которые хотят «epater le bourgeois» (*фр.* «эпатировать буржуа») своими прокоммунистическими настрое-

ниями. При этом ничего не знают! Они враждебно относились к Иосифу и считали, что все это — происки в духе «холодной войны». Иосиф тоже обижал людей своей резкостью и прямоотой. Например, однажды я пригласил его поехать со мной на какие-то поэтические чтения — в Теннесси, если не ошибаюсь; мы разговаривали между собой, и в это время ввалилась толпа обывателей, на что Иосиф сказал: «Ну вот, теперь можно и о пустяках поговорить». Это, на мой взгляд, удачная шутка, но очень обидная.

— *Можете ли вы что-нибудь сказать о его мировоззрении? Было ли оно христианским или еврейским или ни тем ни другим? Или чем-то между?*

— Один мой друг, еврей, причем достаточно религиозный, был оскорблен стихотворением Бродского «Натюрморт», которое кончается словами: «Он говорит в ответ: / — Мертвый или живой, / разницы, жено, нет. / Сын или Бог, я твой». Он воспринял его как своего рода предательство. На мой взгляд, Иосиф ценил духовность всех религий — иудаизма, христианства, язычества, — но не мусульманства. Думаю, он ценил духовное во всех его проявлениях. Но он никогда не был иудеем с догматической точки зрения — ничего похожего. Никакой кошерной еды. Ничего такого. Он восхищался духом. И даже вынашивал план мести ортодоксальным евреям, живущим в Нью-Йорке. И при этом очень гордился тем, что сам еврей. Любил говорить, что он еврей и по отцу и по матери и что его род происходит из польского города Броды — отсюда и фамилия Бродский.

— *Он любил Польшу?*

— О, да. Он дружил с Милошем — я знаю Милоша много лет, с тех самых пор, когда он стал диссидентом. Я как-то пригласил их с Бродским на обсуждение проблем современного мира; сохранилась запись этой беседы. Могу вам ее дать. Милош говорил очень много. Бродский — не очень, потому что опоздал. Он мчался из Нью-Йорка. Но его голос все равно слышен.

— *Расскажите подробнее о вашей встрече с Ахматовой.*

— Когда я приехал в Советский Союз по поэтическому обмену, о котором вам рассказывал, я попросил разрешения увидеться с Ахматовой. Меня привез туда мой русский переводчик, переводивший англоязычную поэзию — разумеется,

неполитическую — на русский. Это был сломленный человек. Сначала ему покровительствовал Бухарин, но после того, как Бухарина уничтожили, его тоже отправили в лагерь. Но к тому моменту он уже успел освободиться. Он был старым другом Ахматовой, еще по Цеху поэтов. Теперь же, окончательно сломленный, он был моим переводчиком и гидом. Итак, он привез меня к Ахматовой, и вдруг откуда ни возьмись возникла какая-то женщина, сказавшая, что она из Союза писателей, — я не знал, кто она такая. Но Ахматова знала и мой переводчик знал, потому что он сказал мне, когда мы вышли, что эта женщина — стукачка. КГБ не хотел оставлять Ахматову со мной наедине. Поэтому мы говорили о безопасных вещах, и Ахматова сказала, что любит печеные яблоки со сливками и т. д. Потом мы немного поговорили об акмеизме, и они с этим несчастным старым русским, имя которого я сейчас запаматовал, вспоминали 1912 год или что-то вроде этого — то время, когда движение переживало свой расцвет и когда они оба выпускали книги... Они встречались, уже увенчанные лаврами, и толковали о будущем. Они говорили: «Что за будущее нас ожидает! Грядет новый расцвет поэзии!» И вдруг их глаза встретились, и Ахматова заплакала. Она не могла сказать, чем вызваны ее слезы. Я понял это без слов. И вы это понимаете. Но Ахматова, в присутствии стукачки, не могла объяснить, почему она плачет, вспоминая свои надежды на высокое будущее России. Я был тронут до слез. Трагедия целого поколения уместилась в одной минуте.

— *У вас есть стихотворение Иосифу, написанное после его смерти. Можно мне включить его в мое собрание?*

— Конечно. Это отрывок из моей поэмы, получившей премию «The New England Poetry Club Prize» в качестве лучшего стихотворения, напечатанного в 1998 году.

Перевод с английского Лидии Семеновой

* * *

Бродскому

В ночь смерти над поэтом громкий хор
Его метафор крылья распростер.
Переодеты музами — клише
Бикфордов шнур поджечь готовились уже.

Жаргон тайком вползал в троянского Пегаса,
Готового, хрипя, домчаться до Парнаса.
Взбесились восклицания, повторы,
И грабят нагло полуправды-мародеры.
Удерживал светила в небе взгляд.
Глаза закрылись — и начнется звездопад.

Поэт еще способен подавить
Весь этот бунт, беспомощную прыть.
Он — прах, но пульс его, как давний гром.
Он — гонг, и гул не заглушит удара.
В горгулий обратившись и горгон,
Мы — песнь его, свидетели кошмара,
Осколки ямбов после похорон.
Сердцам и легким, и всему у нас внутри
Он сообщил простой двухтактный ритм,
В котором тело дышит, плачет, говорит.

Но и сквозь гнев мерцает нам покой —
Того не зная сам, блажен, блажен любой:
Нам непонятное, чужое ремесло —
Искусство всех заранее спасло.
Не черви обживают черепа —
Стихи, стихи, размера мощная стопа
Вращает всё, и ритмы вьются роем
От зноя до снегов. Он так весь мир настроил.¹

Редакция 2000 г.

Не черви

Бродскому

Поэт скончался, и в ночном затишье
Его метафоры, освободившись,
Над телом встали, празднуя свободу.
Под маской муз банальности-уроды
Напыщенностью пышут, и к Парнасу
Жаргон угнал троянского Пегаса.
Бунтуют восклицательные знаки,
И полуправд бродячие собаки
Скитаются под небосклоном мерзлым,
Где мертвым взглядом вытравлены звезды.

¹ Перевод с английского Вероники Капустиной.

Но пульс его, отлитый в форму строчек,
Наперекор гниению, грохочет.
И этот гром ни колокол, ни книга
Не заглушит — но мы во власти мига
Всё ловим прежних призраков впустую,
А грохот наполняет тьму густую...
Сердцам и легким не перебороть
Телесных форм — пусть целый мир им тесен:
Возможно, мы — лишь ямбы его песен,
И в стихотворном ритме бьется плоть?

Но будет в буйстве этом, несомненно,
затишье: мы тогда благословенны,
когда о том не знаем, и искусство
нам кажется навек лишенным чувства.
Не черви в этом черепе, но ритмы
кишат и извиваются. И видно,
что круг времен — от снега до цветенья —
еще одно его произведение.¹

¹ Перевод с английского Сергея Панцирева.

ДЕРЕК УОЛКОТТ, НОЯБРЬ 2004, НЬЮ-ЙОРК

— *Роджер Страус опубликовал вашу биографию, написанную Брюсом Кингом. Впечатляющий труд! Сотрудничали ли вы с ним?*

— Да, я отвечал на его вопросы, но он все равно многое перепутал. На самом деле я ее внимательно так и не прочел. Но Брюс Кинг работал как машина, без усталости: он опросил огромное количество людей.

— *Во всяком случае вы не возражали против биографии. Почему, как вам кажется, Иосиф так сильно противился тому, чтобы кто-нибудь написал его биографию?*

— Вне зависимости от того, кто ее будет писать?

Дерек Уолкотт (род. в 1930 г. в г. Кастри на о-ве Сент-Люсия, одном из Наветренных островов в составе Малых Антильских) — поэт, драматург и эссеист. Окончил Университет Вест-Индии (Кингстон) в 1953 году, а в 1957-м получил стипендию Фонда Рокфеллера на изучение американского театра в Нью-Йорке. По возвращении на родину основал в Тринидаде театральную мастерскую (Trinidad Theatre Workshop), ставшую первым антрепризным театром в Вест-Индии. В 1969-м его пьеса «Dream on Monkey Mountain» была с большим успехом поставлена Мемориальным театром им. Юджина О'Нила в Ватерфорде, штат Коннектикут. Вслед за ней последовали сборники стихов и пьес: «Another Life» (1973), «Sea Grapes» (1976), «Remembrance and Pantomime: Two Players» (1980), «Selected Poetry» (1981), «Collected Poems 1948—1984» (1986), «The Arcansas Testament» (1987), «Omeros» (1990), «Three Plays» (1992), «Poems 1965—1980» (1992), «Odyssey: A Stage Version» (1993), «The Bounty» (1997), «What the Twilight Says: Essays» (1998), «Tiepolo's Hound» (2000), «The Prodigal» (2005). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1995).

— Да. Написанию биографии как таковой. Наследники Бродского утверждают, что в течение пятидесяти лет ни одна биография не должна быть написана. Так хотел Иосиф.

— Пятьдесят лет!

— Да, полсотни лет.

— Нельзя же запретить биографам работать.

— Наследники попросили всех — друзей и исследователей Бродского — не сотрудничать ни с кем, кто планирует писать его биографию.

— Все равно им не удастся этого предотвратить. От кого исходит эта просьба — от Энн или Марии?

— От них обеих, я думаю. Мы вчера встречались с Энн, и она дала мне свое милостивое согласие на этот сборник интервью, считая, по-видимому, что он неким образом заменяет биографию.

— Почему вы должны спрашивать ее согласия на интервью?

— На сами интервью не должна, но если я собираюсь приводить в них цитаты из стихов Бродского, тогда должна. В своих интервью, особенно с нерусскоязычными людьми, я стараюсь цитировать как можно меньше. Я бы хотела поговорить с вами не столько о вашей поэзии, сколько о дружбе с Иосифом, если вы не против. Судя по тому, что вы до сих пор упоминаете Иосифа и в стихах, и в публичных выступлениях, вам его не хватает. Чего же не хватает больше всего?

— Иосиф был человеком, который жил поэзией. Он декларировал это всякий раз, когда мы встречались. Именно поэтому я так им восхищался. Он не вел себя как англичане или американцы, знаете ли, не скромничал, говоря: «На самом деле я не совсем поэт» — или: «Я не люблю, когда меня называют поэтом». И прочую подобную чушь. Он очень гордился тем, что он поэт и что его так называют. Что он — Бродский. Он был лучшим примером человека, который объявлял во всеуслышание: я — поэт. Он был трудягой, и невозможно отделить его труд от него самого. Мне кажется, биографии, литературные биографии грешат иногда высказываниями типа: «Да, знаете ли, Оден был таким-то и сяким-то, он был гомосексуалистом, но при этом...» То есть получается, что у писателя две жизни: личная и творческая. Иосиф не отделял свое призвание от личной жизни. Он лучший пример поэта-профессионала из всех, кого я знаю.

— *Как уместнее говорить об Иосифе: апеллируя к его поэзии или к его жизни?*

— Мне кажется, Иосиф — в том, что касается человека и творчества — разделял позицию Одена и многих других. Человек ему был безразличен. То есть интересовал не человек, не его биография, а только его творчество. Мне кажется, он считал, что биография не нужна и не важна и не стоит подменять ею поэзию. Другими словами, нельзя сказать: я не буду читать Одена, потому что он гомосексуалист. Или он гомосексуалист, поэтому плохой поэт, не заслуживающий внимания. Или еще что-нибудь в этом роде — что-нибудь, что вы черпаете из биографии, а не из творчества. На поэта нельзя навешивать подобных ярлыков. Презрение Бродского к фактам биографии мне близко, но для него оно было очень характерным.

— *Но при этом, когда Бродский говорил о Фросте, Кавафисе или Цветаевой (а я присутствовала на многих его лекциях и семинарах), он давал студентам необходимые биографические сведения, факты, сопутствовавшие созданию того или иного стихотворения. Так на что же смогут опереться читатели поэзии самого Иосифа, если не будут знать о его жизни?*

— Пусть Иосиф иногда говорил, что не нужно ничего знать о жизни поэта, в другой раз он мог сказать нечто совершенно противоположное: что о жизни поэта, которого читаешь, нужно знать немало. Однако использовать биографические сведения в качестве орудия интерпретации — вот что является ошибочным. Допустим, когда читаешь Кавафиса, неплохо знать кое-какие факты его биографии — он, кстати, тоже был гомосексуалистом, — но утверждать, что когда читаешь Кавафиса, нужно непременно накладывать их на конкретное стихотворение... против такого подхода Иосиф возражал. Таким образом, по большому счету биография не важна. Она не нужна для интерпретации, для анализа стихотворения.

— *В то же время нам известно, что большое количество стихотворений Бродского, составивших целый сборник, «Новые стансы к Августе (1962—1982)», посвящено и адресовано М. Б. Но даже значительно позже, когда Иосиф был уже женат, он все продолжал писать к ней и о ней; последнее из этих стихотворений датировано 1992 годом. Не зная источника боли, породившей такую поэтическую энергию, мы многое упускаем, мы*

не можем связать эти стихотворения друг с другом, не знаем, где центр, и т. д.

— Что касается самого предмета, да, предмет интригующий. Никто не может похвастаться доскональным знанием истории всех этих красавиц, которых испокон веков воспевают мировая литература. Все они мертвы. Мы не можем их увидеть. Не можем убедиться в их неотразимости. А вдруг они были страшилищами — откуда нам знать? И увидев их, мы бы спросили: «М-да, интересно, почему он был без ума от Х?» Но все это не имеет значения. Мне кажется, что ни для любовной поэзии, ни для какой другой конкретный предмет не важен. В этом все дело. Никакое стихотворение не может передать физические черты красоты. Стихотворение воспевает фантом. Мне кажется, Иосиф имел в виду именно это: идею красоты, идеал женщины, идеал любви. Женщину как таковую.

— В 1978 году вы с Иосифом были в жюри Нейштадтской международной премии по литературе. Что вам запомнилось из самой процедуры и общения с Иосифом?

— Помню, в какой-то момент, в ходе совещания членов жюри — Иосиф и сам часто об этом вспоминал, — я выступил и сказал, что хочу рекомендовать на премию Найпола, а если уважаемые члены жюри не согласны, то я всех перестреляю... паф-паф-паф. Иосиф просто покатился со смеху. Это так противоречило духу церемонии, торжественности, с которой она была обставлена... Все-таки слишком многие принимают поэзию всерьез.

— А чью кандидатуру выдвинул Иосиф?

— Ну я порекомендовал Найпола, а он — Чеслава Милоша. А я помню, как в Нью-Йорке, в общем, в каком-то городе — думаю, скорее всего это был Нью-Йорк — Иосиф сказал мне: «Мы должны постараться и включить Милоша в Американскую академию». Я знал, что есть такой великий польский поэт, не имеющий в Америке никакого статуса. Мне это предложение показалось забавным, и я подумал, что действительно неплохо было бы включить Чеслава в Американскую академию. И я ответил: «Разумеется, мы должны сделать все от нас зависящее». Тогда Иосиф и выдвинул кандидатуру Милоша. Для меня в этом весь Иосиф. Вся Европа аплодировала Милошу. А Иосиф говорил, что его нужно втя-

нуть в своего рода тусовку. В итоге они оба получили Нобелевскую премию.

— Да, и случилось это вскоре после вашей встречи. Чеслав получил Нобелевскую премию в 1980 году, а номинирование на Нейштадтскую международную премию проходило в феврале 1978 года. Так что в течение полутора лет Милош не только стал членом Американской академии, но и получил Нобелевскую премию. Инициатива Иосифа оказалась очень успешной. Кстати, раз уж мы заговорили о «высшей поэтической лиге» — вы, Лес Маррей, Шеймас Хини пишете по-английски, Иосиф же был иностранцем. Стихи его должны были переводиться на английский, и все мы знаем, какие противоречивые отклики эти переводы вызывали, сколько вокруг них было споров... И тем не менее Иосифу удалось войти в «высшую лигу» англоязычных поэтов. Как ему это удалось? Ведь его действительно знали лишь по переводам.

— Ну переводы — тоже его рук дело. Существует множество поэтов, которых мы знаем только в переводах. Например, Данте и Кавафис. Мне они известны в переводах. И Милош тоже. Да и всех, кого я знаю из иностранных поэтов, не писавших по-английски, я знаю в переводах. Я могу судить по отзывам других поэтов, по отзывам критиков, которые знают, как хороши были с самого начала стихи Иосифа, по реакции Одена. Ведь и Оден мог догадаться о том, насколько Иосиф одарен, лишь по переводам. В России с самого начала признавали его талант, его гений.

— Но может ли один великий поэт признать величие другого поэта, зная его лишь в несовершенных переводах?

— Гм, не могу ничего сказать. Кое-кто рассказывал мне о переводах моих стихов на итальянский или испанский: на их взгляд, переводы эти отвратительны.

Когда мы были в Роттердаме, если не ошибаюсь, меня попросили почитать переводы стихов Александра Кушнера. Мне они показались такими убогими, что мы с Иосифом провели несколько часов, просматривая и переписывая их. Когда я наконец продрался сквозь эту убогую оболочку, я подумал: «Да ведь это потрясающе!» Кстати, с русской поэзией связан еще один случай. Меня попросили почитать вслух одни переводы, а я, хоть и стараюсь никогда не вести себя как примадонна, отказался, потому что это было очень плохо. И сказал:

«Не хочу капризничать, но читать я этого не буду, потому что стихи прозвучат безумно пошло. А я не хочу в этом участвовать». И не стал.

— Да, подозреваю, что примерно то же самое случилось с Татьяной Щербиной. Вы переводили в Роттердаме одно из ее стихотворений или переписывали уже готовый перевод. Стихотворение было построено на созвучии слов «цикада» и «ЦК», и вы это сохранили. Вы отдали перевод ей, поэтому с вашего позволения мы опубликуем его в «Антологии современной русской женской поэзии». Для исследователей это такой ценный материал — то, как вы перевели это стихотворение.

— Понимаете, есть такие поэты, которые совершенно не поддаются переводу. Качество их поэзии просто невозможно передать, особенно если они лирики. Помню один наш разговор с Иосифом — мы вышли прогуляться, — когда я попросил его почитать мне Пушкина. Иосиф ответил: «Не стоит, потому что ты все равно не сможешь оценить, какой это потрясающий поэт. По-английски он звучит так пошло, так банально». Мне кажется, то же самое происходит и с некоторыми другими поэтами, главным образом с романтиками, когда их переводят на русский. Особенно если это короткие стихотворения. Может, неповторимость Шелли и можно передать по-русски. Не знаю. Что же касается Пушкина, то это как переводить воду. И хотя Иосиф этого не сказал, уверен: имел в виду он именно это. Однако поэзия самого Иосифа — в этом, собственно, и заключалась его гениальность — отличалась не столько лиризмом, сколько умом. Иосиф был поэтом феноменального ума. Это принцип его работы. Качество не английское, не американское.

— И Одена, и Бродского обвиняли в излишней холодности, излишнем умствовании, излишней обдуманности. Даже Солженицын недавно обвинил Бродского в этом.

— Поэтому Иосифа и тянуло к английским метафизическим поэтам. Его притягивал не только их лиризм, но и их ум, потому что сам он — феноменально умный поэт.

— Это оттого, что Иосиф также был в каком-то смысле поэтом-дидактиком — не говоря уже о том, что в жизни он не уставал давать советы всем и каждому. В связи с этим я хотела вас спросить, научила ли чему-нибудь поэзия Иосифа вас лично? Правда, частично вы уже ответили на мой вопрос.

— Есть одна вещь, которой я научился у Иосифа, за которую я его очень уважаю. Ладно, можно отлично строчить и строчить, но если не думаешь, когда пишешь, если не размышляешь в стихах, значит, не вкладываешь в них никакого труда. Я действительно научился этому от него. Это был его принцип. Как-то раз я показал ему стихотворение «Ураган», напечатанное в «New York Review of Books». Должен признаться, поначалу оно мне понравилось. Оно было хорошо написано. Но Иосиф прочитал и сказал: «Трупов нет!» Тогда я задумался и понял одну вещь: Иосиф хотел сказать, что цель, пафос этого стихотворения — риторика, чистая риторика и описательность. Другими словами, если романтизировать ярость урагана, не упоминая о том, какие реальные бедствия он приносит людям, — это просто воспевать силу. В стихотворении должно было быть что-то, касающееся человеческой реальности катастрофы.

— *У Иосифа столько стихотворений на смерть — на смерть друга, просто каких-то людей, даже на смерть Жукова. Почему именно этот поэтический жанр так привлекал его?*

— Мне кажется, Иосиф — поэт формы, а этот жанр поэзии очень формальный. Очень конструктивный. Элегия изначально конструктивна. Трагична. К тому же она очень классична: латинская штука. Форма очень традиционная, ожидаемая: «Кто напишет элегию обо мне?» — «Или мне первому суждено тебя оплакать?»

— *Напоминает двустиишие Иосифа, которое можно было прочитать одно время в нью-йоркском метро: «I'm tough, you're tough / But who will write whose epitaph?» («Я бандит, ты бандит / Но кто кому напишет эпитафию?»). Помните это стихотворение?*

— Правда! Нет, самого стихотворения я не помню. Однако потрясающе, насколько Иосиф был одержим рифмой; особенно рифмой на «is»: «I wish I was in Paris / Where my car is» («Я хотел бы в Париж, где моя машина»). Он очень гордился этой рифмой, и хотя я сказал ему, что это вполне обычная рифма, он все равно считал ее потрясающей. Но многие его рифмы были настоящими открытиями.

— *Но и вы, Дерек, привержены рифме, а это противоречит мэйнстриму американской поэзии. Что побуждает вас рифмовать?*

— А я и не американский поэт. Как раз наоборот, мой инстинкт — рифмовать. Рифмовка не обязательно быть реальной. Вы просто чувствуете, что здесь нужна рифма, что эти строки идут в одном направлении. Так что многие мои рифмы были продиктованы этими соображениями. Я не стремился рифмовать, оно само получалось. Есть целое поколение, у которого нет этого инстинкта. Инстинкт рифмовки вымер.

— *В русском язык хорошая рифма по-прежнему образует метафору. Выньте рифмующиеся слова из контекста и вы увидите между ними связь, связь по подобию или по контрасту — некую метонимическую связь. В таком случае это по-настоящему глубокая рифма, рифма на уровне семантики или даже концепции. Язык сам подводит к этому замечательному типу рифмы. Как вам кажется, на Иосифа оказал влияние, скажем, Огден Нэш? Он читал его?*

— О, да. Думаю, он обожал песенную лирику. Например, очень любил Кола Портера. Он наслаждался английской рифмой. Я не знаю русских рифм, но мне кажется, в русском рифмовать проще.

— *Проще благодаря огромному количеству многосложных слов и разного рода грамматических согласований. Иосиф — хотите верить, хотите нет — знал все русские рифмы наизусть. Поэтому повторяя мандельштамовские, пушкинские, ахматовские рифмы, он как бы приветствует этих поэтов или призывает читателя обратиться к их стихам, чтобы понять, на что он ссылается: дескать, мне больше нечего добавить — почитайте Мандельштама (или кого-нибудь другого). Дерек, вы с Иосифом зачастую любили одних и тех же английских и американских поэтов. А что вы скажете о русских поэтах? Разделяли ли вы здесь вкусы Иосифа? Любите ли вы Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Державина, Баратынского?*

— Я, разумеется, не так хорошо разбираюсь в русской поэзии, как Иосиф, и не могу судить о русских поэтах. Знаю, что он боготворил Цветаеву.

— *Иосиф считал Цветаеву величайшим поэтом XX века. Он отводил ей место на вершине. Но по переводам ее оценить невозможно, потому что переводить Цветаеву сверхтрудно. Но вы читали два эссе Бродского о Цветаевой и Рильке: «Поэт и проза» и «Об одном стихотворении», в котором дается букваль-*

но построчный анализ ее стихотворения «Новогоднее». Так что у вас могло сложиться представление о том, как Цветаева писала стихи. Дерек, знаете ли вы, как Иосиф приходил к той или иной строке, как он шел от стиха к стиху, от начала стихотворения к его концу? Знаете ли вы что-нибудь о том, как он технически выстраивал стихотворение? Когда вы сами работали над переводом его стихов, вы их практически переписывали.

— Однажды я жил в доме Кристины Армстронг. Она была в отъезде, и мы с Барри Рубеном и Иосифом остановились там. Мы с Иосифом работали в это время над переводом одного стихотворения. Работали вместе, и на третий или четвертый час работы результат нас все еще не устраивал. В какой-то момент Иосиф воскликнул: «На х.., на х.. — тебя, меня, всех!» И остановился, потому что это было мучительно. Но то, над чем мы бились, и то, что он хотел сохранить (я тоже старался это сохранить), были форма и размер, структуру которых мы и пытались передать как можно ближе к русскому тексту. На самом деле это почти никогда не удается, но попотеть над этим стоит. Но он не возражал (и это удивительно), если, например, я менял метафору.

— *Он не возражал против замены тропа?*

— Нет. И на мой взгляд, это удивительно. Но я думаю, главным для него было, чтобы переводчик следовал его замыслу, а не копировал оригинальное стихотворение. Иначе говоря, если вы сталкиваетесь с какой-то метафорой, которую ради сохранения рифмы нужно заменить, он не возражал: главное, чтобы сохранялся замысел — пусть даже поиск параллели приведет к переписыванию стихотворения. Он сам это делал или предлагал сделать. Думаю, что в конечном итоге он хотел получить английское стихотворение. Иосиф бесконечно восхищался английской поэзией. Мне кажется, что если сравнивать поэтов, английский едва ли окажется богаче, и Иосиф это понимал, но если говорить о материале для работы, то Иосиф считал английский язык бесконечно увлекательным и захватывающим. А люди, которые критикуют его переводы, по большому счету несправедливы: ведь даже искажения синтаксиса, которые допускает русский поэт, пишущий по-английски, должны приниматься в расчет.

— *В конце жизни Иосиф Бродский сказал: «... я убежден в том, что Ему — если Он существует — нравится то, что я*

делаю, иначе какой ему смысл в моем существовании»¹. Точно так же относился к своей поэзии Данте. Говорили ли вы с ним когда-нибудь о Данте? Менялось ли с годами его восприятие Данте?

— Не помню, чтобы мы говорили именно о Данте. Он, вероятно, возникал пару раз в наших разговорах, но не часто.

— Роберт Лоуэлл был одержим Данте и прекрасно знал его поэзию. Однажды Иосиф навестил Лоуэлла, и они целый вечер проговорили о Данте. Иосиф был так счастлив, что наконец-то можно с кем-то поговорить о Данте. А вы сами, каково ваше отношение к Данте и к его поэзии? Оказал ли он на вас влияние и менялось ли с годами ваше отношение к нему?

— Нет (долгое молчание, задумался). Нет. Влияние Данте заключалось скорее в том, что чем больше я его читал, тем больше открывал для себя шероховатость и даже грубость языка, языкового материала, которым оперирует Данте. Его поэзия покоится не на гармонии и изяществе. Она рождена опытом, непосредственным опытом.

— Иосиф говорил: «Надеюсь, Он одобряет то, что я делаю». Это звучит очень по-христиански, хотя большинство русских писателей и критиков не воспринимают Бродского как христианского поэта, невзирая даже на то что каждый год он писал по рождественскому стихотворению. Критики-евреи также не воспринимают Иосифа как еврейского поэта. Так какую же духовную позицию он занимал, как вы думаете?

— Иосиф считал писание стихов божественным призванием. И я разделяю этот взгляд. Он никогда не эксплуатировал свое еврейство. Никогда не изображал из себя жертву. Он терпеть не мог людей, изображающих из себя жертву — будь-то в жизни или в творчестве. Мне кажется, он считал этот путь слишком простым. Ясное представление о Бродском сводится к тому, что он был по-средневековому предан своему ремеслу и всему, что с ним так или иначе связано, ремеслу в смысле созидания, в смысле божественного провидения. Многие его стихи по своей структуре напоминают интерьеры собора с его алтарем, с его сводами и т. д. — целая концепция стихотворения как архитектурного сооружения, собора. Он предан поэзии как культу, как таинству — у Джона Донна было такое же

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 512.

отношение. Еще для него всегда было важно восприятие как часть интеллектуальной деятельности, а не просто как эмоция.

— *Были ли вы на его могиле в Венеции?*

— Нет.

— *Вам бы хотелось побывать в России?*

— Жаль, Иосифа там нет. Не думаю на самом деле, что мне понравится Россия. Я храню память об Иосифе, поэтому лучше я туда не поеду, опять же в память о нем. Он был мне как брат. А тут эти похороны, панихиды... Может, я когда-нибудь и перестану страдать. Хотя не думаю. А может, я говорю совсем не то, что хочу сказать. Может, и стоило бы увидеть Петербург.

— *Как Иосиф справился с последним актом своей драмы, со всеми этими многократными приглашениями мэра Петербурга, от которых он отказывался, несмотря на почести, которые ему сулили?*

— Что касается почестей, то это социологическая проблема, и дело тут не в отказе и не в нежелании простить. Люди, сулившие ему всякие почести, никогда его не преследовали. Просто это было слишком предсказуемо, слишком легко, как раз-два-три: тебе сделали больно, теперь все забыто, возвращайся домой. Это походило на одобрение, на оправдывание системы как таковой, вот что это было.

— *Ни Горбачев, ни Ельцин так официально и не извинились перед Бродским.*

— Потому что им казалось, что ответственность за случившееся лежит не на них. Я бы хотел, чтобы он себя превозмог и вернулся в Петербург, но, с другой стороны, я имел возможность убедиться в глубине его раны — он буквально сходил с ума, когда пытался добиться разрешения повидаться с родителями. Его не пускали. Как можно простить страну, которая не позволила тебе повидаться с умирающим отцом — даже если потом она испытывает угрызения совести и хочет заглавить свою вину? Он мог, разумеется, сказать, что это система, что любая система такова. Однако это клише — возвращение домой, где тебя встречают с распростертыми объятиями — перечеркнуло бы всю его жизнь. Да и к чему было возвращаться? Родители умерли. У него, возможно, оставался там сын, но Иосиф не хотел возвращаться в прошлое. Когда он хотел, ему не позволили. Что он мог сделать? Добраться до

границы, переодеться, замаскироваться и действовать на манер дебильного Джеймса Бонда?.. Зло в чистом виде. Зло, которое сотворили чиновники, тирания мелких клерков, сначала одного, затем второго, третьего... Как сказала Ханна Арендт, «худшее зло на свете». Тирания XX века. Банальность, пошлость зла. Его вкрадчивость. Когда твой враг не Чингисхан и не Сталин собственной персоной, не один тиран, а целая бюрократическая машина, ты не можешь сказать: «Да пошел ты!..» В этом случае некого обвинять; это система, просто система. И надо быть невероятно сильным, чтобы этому противостоять. Иосиф был феноменально сильным человеком.

— *Вы посвятили Иосифу несколько стихотворений, а также сборник эссе «What the Twilight Says» (1998). Есть ли у вас что-нибудь из последних стихов, что бы вы писали, думая об Иосифе?*

— Можете выбрать что-нибудь из поэмы «The Prodigal»¹. Когда я писал ее, я постоянно думал об Иосифе.

Перевод с английского Лидии Семеновй

¹ Derek Walkott. *The Prodigal*. NY.: FS&G, 2005. *Prodigal* — мот, повеса, блудный [сын] (англ.). В аннотации на обложке читаем: «...Это путешествие сквозь физический и воображаемый ландшафт, из Гринвич Виллидж в Альпы, из Пескары в Милан, из Германии в Карфаген. Но всегда в “музыке памяти, воде” присутствует остров Санта-Лючия, родина автора, и шумит океан. В своей новой книге Дерек Уолкотт создает широкую, но при этом очень личную панораму истощенной Европы, с ее колокольнями, пронзающими небо, и горами, с ее железнодорожными станциями и скульптурой, — места, где Новый Свет — отвлеченная идея, “карта на ветру”, где История поглощает первозданную красоту его “ненавязчивой, незаметной” отчизны, острова Санта-Лючия. Странник боится, что поражен изгнанием как недугом, что жизнь его невнятна, непереводаима на родной язык, что сами корни его ремесла — в предательстве невыразимо прекрасного архипелага, куда он должен вернуться, чтобы дышать дальше».

4. II

Завидую статуям. Вот откуда взялась эта зависть:
каждое утро в Милане, по дороге в класс,
я встречал своего неподвижного бессмертного друга,
Генерала,
восседавшего без выходных на угрюмом позеленевшем коне.
Войны давно миновали, а он остался в седле.
Погиб ли он под обстрелом, в каком-нибудь
благозвучном сражении? Бронзовый скакун —
взмыленный, напряженный, потеющий под летним
солнцем...

У нас на острове нет таких монументов.
Наша кавалерия — гарцующие волны,
вспененные, изгибающие грациозные шеи.
Кто знает, где сражался мой Генерал и чей выстрел
скосил его вместе с конем? Завидую фонтанам.
Бедный герой на своем островке среди снующих машин,
лишенный благодати тенистых лип
или каштанов: медали блещут сквозь листья...
Завидую колоннам. Покой. Завидую колоколам.
Миланский проспект будто шире в воскресной тиши.

Площадь подсвечена утренним солнцем,
длинная тень от собора — там, где шумные колокола
сотрясают восторг в голубом непорочном воздухе,
в квадратуре углов, параллелях де Кирико,
и где беззвучно храпящий боевой конь,
чья голова, безвольно поникшая, означает смерть
его всадника, переводит дыхание — долго, дольше,
чем мы, замершие на островке среди снующих машин.
Любовь к Италии становится шире, сильнее,
под солнцем Милана, против моей воли...
Мы всё верим, он здесь — и неважно, где:
сесть за столик, глядеть на светящийся шум
толпы на миланском проспекте... Смотри! Ведь это был он,
Иосиф, в зеленом плаще, словно лист
в прозрачном потоке, в толпе других листьев, текущих
от окраины к центру, и тонущий в них?¹

¹ Перевод с английского Сергея Панцирева.

4. II

Завидная участь статуи; вот она, тяга к ней:
по дороге на лекцию, ежедневно, в Милане
я миновал стойкого, бессмертный друг, полководца
с мрачно-зеленым конем его, даже по выходным.
Войны над ним бушевали, но он не спешил.
В благозвучной ли пал он битве, погиб ли он от огня
взрыва, снаряда? Бронзовый, в мыле, конь
промчался, сверкая от пота, в летнем солнце.
У нас на острове таких монументов не было.
Наша-то конница была лишь атакой волн,
пеню оперённых, вздыбившихся в броске.
На какой, кто знает, войне он сражен был и выстрел чей
Подкосил коня с его ржаньем? Участь фонтанов.
Бедный герой, островок среди транспортной суеты,
Отринувший утешенье липы, тень ее, колыханье
и сверкающую медалями каштановую листву.
Участь колонн. Безмолвие. Участь колоколов.
Упокоение ширилось воскресной аллеей в Милане.

Свет по утрам заливает площадь, падая слева.
Диото¹ с долгими теньями, где колокола легко
восторженно рвут плеву воздуха, синеву неба,
срезающую углы, параллели де Кирико,
и где, фыркающий беззвучно, мощномуудый конь,
чья понурая морда гласит о смерти
всадника, сдерживает свой вздох столь долго,
намного дольше,

чем мы свои на нашем острове суеты.
Любовь к Италии, против желанья, крепнет
и разрастается вместе с солнечным светом в Милане.
Ибо мы всё еще ждем свиданий, неважно где,
чтобы вновь усесться за стол под ошеломительный шум
дивной аллеи Милана; вот где! Он ли то был,
Джозеф в оливковом глянце плаща, словно лист,
несущийся в ясном потоке с толпою листьев
от окраины к центру и тонущий в их толпе?²

¹ Собор (*ит.*).

² Перевод с английского Александра Леонтьева.

ДЖОНАТАН ААРОН, НОЯБРЬ 2004, БОСТОН

— *Иосиф посвятил вам стихотворение «Ex Voto» (1983)¹. Нравится ли оно вам? Помните ли вы, что предшествовало посвящению вам этого стихотворения?*

— Я очень люблю это стихотворение. Это не перевод, а стихотворение, написанное Бродским непосредственно по-английски. Там есть такие строки: «The farther one goes, the less / one is interested in the terrain» («Чем больше странствуешь, / тем меньше интересуешься пейзажем и людьми». Или: «Чем дальше уезжаешь, / тем меньше интересуешься новыми землями»). Они проливают свет на мироощущение Бродского в то время. Ему нравилось в Америке, и ему начинало нравиться быть американцем. Но он всегда оставался русским в душе и, понятно, безгранично преданным России. Изгнание тяготило его. Мы нередко говорили с ним об этом. «Ex Voto» написано как раз о том, что значит свыкнуться с изгнанием, какой это долгий и болезненный процесс.

— *Как бы вы охарактеризовали свои отношения с Иосифом?*

— Я не могу охарактеризовать свои отношения с ним. Мы

Джонатан Аарон — поэт, преподаватель литературы в Эмерсон-колледже в Бостоне. Степень бакалавра по литературе он получил в Чикагском университете, а кандидатскую степень — в Йельском. Автор трех стихотворных сборников, два из которых, «Second Sight» (1982) и «Corridor» (1992), уже увидели свет, а третий, еще не имеющий названия, должен выйти в марте 2006 года.

¹ Впервые напечатано в «The Time Literary Supplement» (June 26, 1987). Вошло в кн.: Joseph Brodsky. Collected Poems in English. N. Y.: FS&G, 2000. P. 318.

познакомились в марте 1973 года и, как это часто случается, моментально сблизились. Рождество 1973 года Иосиф провел со мной и моими родителями. В последующие годы мы виделись очень часто, а созванивались по нескольку раз в неделю. Иосиф давал мне советы, наставлял меня, бесконечно помогал и поддерживал в моих попытках писать. Но если бы даже я был не писателем, а сантехником или автомехаником, или бухгалтером, ничего бы не изменилось. Иосиф был для меня как старший брат.

— *Помните ли вы вашу первую встречу?*

— Очень отчетливо. Издательство «Penguin» только что выпустило сборник его избранных стихов¹, и по этому поводу был организован поэтический вечер. Читать Иосиф должен был в Вилльямс-колледже, на северо-востоке Массачусетса, где я тогда преподавал. Меня попросили почитать на презентации переводы его стихов. Я читал по-английски, Бродский — по-русски. И так свыше двух часов. Публика состояла из студентов колледжа и по меньшей мере двухсот русских или русскоязычных людей, приехавших послушать Иосифа аж из Нью-Йорка и Бостона. После чтений мы отправились ко мне домой, где была организована вечеринка — в те годы подобные мероприятия всегда сопровождались таким домашними вечеринками, — с участием студентов и преподавателей. Иосиф задержался позже остальных. Мы не говорили о литературе. Мы говорили о Второй мировой войне, о русских и немецких самолетах и танках, о солдатской униформе и, конечно, о стратегии и тактике. Он играл с моими котами. Мы оба интересовались подобного рода вещами, и этот обоюдный интерес стал мостиком к нашей дружбе. Если бы я попробовал тогда вовлечь его в разговоры о литературе, то мы вряд ли бы встретились еще когда-нибудь.

— *Находились ли вы под его влиянием?*

— В поэтическом смысле, думаю, нет. Но в человеческом — вне всякого сомнения. Взять хотя бы то, что он просветил меня по части русской истории XX века. До встречи с Иосифом я думал, что Ленин — хороший малый, которого предал Сталин, и что Троцкий — этакий строптивый ангел, и

¹ Joseph Brodsky. Selected Poems. Foreword by W. H. Auden. Translated and Introduced by George L. Kline. Penguin, 1973.

так далее и тому подобное. Сейчас меня просто тошнит, когда я сталкиваюсь с подобным образом мыслей. Иосиф никогда не читал моралей, не разглагольствовал о советском тоталитаризме. Скорее он рассказывал о том, что пережил сам. О своих родителях. О друзьях, которые остались *там*. Он посоветовал мне прочитать воспоминания Надежды Мандельштам. Можете представить, что это было за открытие!

— В статье «*Song of the Atom*»¹, написанной вами вскоре после смерти Иосифа, вы называете его одним из величайших писателей современности.

— Совершенно очевидно, что Иосиф был одним из главных русских поэтов XX века. Но он также был одним из самых оригинальных и мощных представителей англоязычной художественной прозы XX века. Как ему это удалось — пусть в этом разбираются авторы бесчисленных кандидатских диссертаций, которые не заставят себя долго ждать. Бродский — писатель, обладающий исключительной самобытностью в двух языках и в двух литературных традициях. В этом смысле с ним сравним, на мой взгляд, лишь Джозеф Конрад. Конечно, именно русскость придает столько обаяния его эссе — одним из самых оригинальных из написанных на моем языке за последние пятьдесят лет. Я также уверен, что американский опыт Иосифа придавал еще одну грань его стихам, написанным, скажем, начиная с конца 1970-х и до самой смерти.

— В России Бродский считается завершающим звеном в цепи великих русских поэтов XX века — Блока, Хлебникова, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. На Западе Бродский-поэт известен главным образом в переводе. Несмотря на это, ему удалось достичь значительного и влиятельного положения в литературной среде, особенно в США. Как вы это объясните?

— Как вам прекрасно известно, формально образование Бродского насчитывает восемь классов средней школы. При этом он обладал необычайно широкими знаниями. Свообразными, но чрезвычайно обширными. Ко всему, что он писал или говорил, Бродский подходил с совершенно неожиданной, глубоко оригинальной точки зрения. В официальной беседе или за дружеским столом одновременно проявлялись его невероятная образованность и абсолютная трезвость мыс-

¹ Poets and Writers. Vol. 24, № 3. 1996. P. 16—21.

ли. Он дружил с выдающимися писателями своего времени — Дерекотом Уолкоттом, Шеймасом Хини, Чеславом Милошем, Октавио Пасом, — и все они восхищались им и бесконечно его любили.

— *Вам известно, как беспощадно набрасывались на него английские поэты?*

— Кто-то послал мне гадкую, оскорбительную статейку Крейга Рейна, напечатанную в «Файненшл Таймс» (другого места не нашел!) две недели спустя после смерти Иосифа. Момент, выбранный Рейном для публикации, говорит сам за себя. Что до других английских поэтов, по разным поводам нападавших на Иосифа, то нужно их прочитать, чтобы лучше понять, что они имеют в виду. Хотя зачем? Кому есть дело до их нападок? Это касается и тех, кто в Америке отпускал в его адрес колкости. Пройдет десять-двадцать лет, и кто о них вспомнит?

— *Записывали ли вы когда-нибудь — в дневнике или на пленку — свои разговоры с Иосифом?*

— Никогда. Никогда не записывал разговоров с друзьями. Мысль о том, что можно проговорить вечер напролет, а потом прибежать домой и записать все, о чем говорилось, для потомков, отталкивает меня своим дурновкусием.

— *Переводили ли вы какие-нибудь стихи Иосифа?*

— Нет. В его «Collected Poems in English» я числюсь, наряду с ним самим, переводчиком нескольких стихотворений, но я помог лишь в мелочах: заменить одно слово на другое, отсюда запятую убрать, а сюда поставить, и всё в таком роде. Он попросил меня просмотреть рукопись «Watermark», его размышлений о Венеции. Разумеется, это больше, чем просто размышления о Венеции. На мой взгляд, этот текст помогает лучше понять стихи, которые Иосиф писал в последние годы жизни, — если не является вообще ключевым для их понимания. Так или иначе, мы встретились в Лондоне, в доме Дианы Майерс, чтобы обсудить рукопись. У меня было много предложений, но в процессе обсуждения я вдруг понял, что мой подход в корне неверен. Эта рукопись вряд ли нуждалась в какой бы то ни было правке. Иосиф написал «Watermark» по-английски. И у его английского было свое, очень отчетливое звучание. Это был английский, мастерский английский с русским акцентом, который и является одной из важнейших осо-

бенностей его прозы. С тех пор, стоило Иосифу попросить меня посмотреть стихотворение, которое он сам перевел, я старался не забывать о том, чтобы замечаний делать как можно меньше.

— *Ваш взгляд близок политике невмешательства в творческий процесс?*

— Да, именно так.

— *Научились ли американские поэты чему-нибудь у Бродского?*

— Может быть, вопрос следует сформулировать иначе: «*Могут ли американские поэты научиться чему-нибудь у Бродского?*» Я абсолютно уверен, например, что его друзья Уолкотт, Хини, Милош, Пас, а также американцы Энтони Хект, Ричард Уилбер и Марк Стрэнд (назову лишь нескольких) ответили бы «да». И хотя я не стану даже пытаться отгадать почему, полагаю, что подобный ответ мог быть вызван теми его особенностями, которые Иосифу пришлось преодолеть, чтобы стать тем, кем он в итоге стал. Его преданность поэзии, а затем и прозе была безгранична; ею можно было только восхищаться. Подозреваю, что рано или поздно начинающие поэты, которые должны изучать своих предшественников и современников — ибо без этого не может быть поэтического роста, — станут читать Иосифа по-английски, так как он предельно (а порой и запредельно) раскрыл в своих переводах возможности английского языка — так же как в своих оригинальных стихах он до предела использовал возможности русского. По этой самой причине, не говоря уже о других причинах, его поэзия надолго останется фактором литературной жизни нашего времени. Иосиф сильно рисковал, взявшись переводить свои стихи на английский. Это вызвало, мягко говоря, противоречивые отклики. Сюзан Зонтаг, после смерти Иосифа, сказала то, что никогда не говорила ему при жизни: что его переводы были осколками его оригинальных стихов. Насколько мне известно, русского она не знает, поэтому, возможно, она повторила чужие слова. Как бы там ни было, я совершенно не согласен с этим мнением, хотя, не зная русского, не возьмусь утверждать, что переводы Бродского равновелики его оригинальным стихам. Мне просто кажется, что английские стихи Бродского являются не переводами в точном смысле слова, а — заимствуя у Роберта Лоуэлла термин,

которым сам он определял свои версии иноязычных текстов, — *подражаниями* русскому оригиналу. Я готов поспорить, что из трехсот стихотворений, вошедших в состав собранных переводов Бродского, по меньшей мере шестьдесят — совершенно самостоятельные и первоклассные английские стихи. «Collected Poems in English» — это рассказ о романе русского писателя с английской речью. Бродский шаг за шагом осваивает ее, испытывает, требует от нее того, что никому в голову не приходило от нее потребовать, так скажем, с конца шестнадцатого века. Неудивительно, что одним из его домашних идолов был Джон Донн.

— *Удалось ли Бродскому достичь гармонии между его еврейским происхождением и его христианским взглядом на мир?*

— Я никогда не слышал о том, чтобы тут существовала какая-то дисгармония. Скорее всего, он просто не придавал этому большого значения. В данном случае слово «дисгармония» применимо скорее к особенному, парадоксальному, противоречивому отношению Иосифа к миру. Но это то, что нам дается свыше, не так ли? Кто из нас не пребывает в более или менее постоянной дисгармонии с окружающей нас жизнью?

— *Бродский был религиозным поэтом?*

— Если под «религиозностью» мы понимаем состояние незнания того, что мы хотим преодолеть, тогда вся *настоящая* поэзия религиозна. Тогда Иосиф, несомненно, религиозный поэт, но не в православном или каком-то доктринальном смысле. Вислава Шимборска сказала в своей нобелевской речи, что поэтическое вдохновение рождается из постоянного ощущения того, что ты ничего не знаешь. Для всех истинных поэтов этим все сказано. Что касается Иосифа, то он очень много знал, и каждое новое знание заставляло его идти дальше — к тому, чего он, как ему казалось, еще не знал. В эссе «О скорби и разуме», посвященном Роберту Фросту, Иосиф говорит о Фросте, что «можно уподобить его космическому кораблю, который по мере ослабления земного притяжения оказывается во власти иной гравитационной силы: внешней. Однако топливо все то же: скорбь и разум» (6:200). Апеллируя к Фросту, Иосиф говорит и о себе самом, о своем уделе человека и художника быть безжалостно выталкиваемым гравитационной силой прочь, вовне, в неизведанное.

— *Как вы узнали о смерти Иосифа?*

— По телефону. Я постоянно вспоминаю этот день, поэтому, при всем моем уважении к вам, я бы предпочел не говорить на эту тему.

— *Я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное Иосифу¹. Можно мне включить его в интервью?*

— Конечно. Возможно, его следует немного пояснить. Оно написано по *шаблону*, каким послужило стихотворение Валери Ларбо. Не знаю, от чьего имени оно написано: то ли это Иосиф говорит, то ли я сам, вспоминая Иосифа. Если стихотворение непонятно, я даже рад. «Бушмиллз» — марка ирландского виски, которую Иосиф особенно любил.

Перевод с английского Лидии Семеновой

* * *

Однажды, когда я буду уже несколько лет, как мертв,
Но авто, как всегда, боками мокрыми под дождем
Будут жаться друг к другу (уж это останется без перемен),
Я вернусь ощущением прохладной руки у тебя на лбу,
Когда, переехав то, что называлось Бруклинский мост,
Подняв глаза, на миг перестанешь ты быть собой,
И черные обелиски обступят в сернистой мгле,
Или радиосвистом вернусь, состоящим из нот и слов,
Которые, слышим, не слушая, или я буду мысль,
Вписавшаяся в поворот, или на 6-й Авеню —
Затишье минутное после ветра, влекущего всех
К новым и новым зрелищам предательства и любви.
И еще, ты вечером почему-то вспомнишь меня,
И несколько капель «Бушмиллза» на пол прольешь,
В память о вечности, о моих в ней первых шагах.²

¹ Jonathan Aaron. «Offering» // The New York Review of Books. Vol. XLIII, № 10. June 6. 1996.

² Перевод с английского Вероники Капустиной.

УИЛЬЯМ УОДСВОРТ, 19 НОЯБРЯ 2003, НЬЮ-ЙОРК

— *Когда вы познакомились с Иосифом?*

— Я познакомился с ним осенью 1984 года; я был аспирантом Колумбийского университета и посещал его семинар.

— *Расскажите мне о вашей собственной реакции и реакции других студентов на манеру Бродского вести занятия.*

— Иосиф бесспорно отличался от всех других профессоров и преподавателей поэзии, которые были у меня раньше. Думаю, что и все в группе придерживались такого же мнения. Он очень сильно отличался от прочих преподавателей, большинство из которых сами были поэтами. Иосиф излучал не-

Уильям Уодсворт — поэт и эссеист. С 1989-го по 2001 год был исполнителем директором Американской поэтической академии, где помимо прочих программ организовал Месячник национальной поэзии и создал веб-сайт поэтов-лауреатов различных премий. Его стихи и эссе публиковались в «Tin House», «The Paris Review», «The New Yale Review», «The New Republic», «Grand Street», «The Best American Poetry 1994» и других изданиях. Посещал поэтический семинар Иосифа Бродского в Колумбийском университете в 1984 году, и тогда же Бродский написал: «За тринадцать лет преподавания в Америке я еще не встречал такого глубокого ума, каким обладает господин Уильям Уодсворт». В настоящее время является консультантом Мемориального фонда Иосифа Бродского, ведет поэтические семинары в Нью-Йоркском университете и в Новой школе г. Нью-Йорка; он также является одним из организаторов ежегодной литературной конференции «Tin House» в г. Портленд, штат Орегон. Член редколлегии «Tin House» и «The Paris Review» и экспертного совета «The Frost Place», «Zoo Press» и «Archipelago Press».

вероятную умственную энергию и невероятную принципиальность, а это, согласитесь, встречается не столь уж часто. Он задавал студентам такую высокую планку, к которой они вовсе не были приучены, и судил о поэзии как о таком нелегком деле, какое и присниться не могло большинству американских студентов. Некоторые студенты восставали против такого подхода, тогда как другие, и я в их числе, считали его воплощенной поэзией, а его подход — самым стимулирующим из всех, с какими они когда-либо сталкивались.

— *И в поэзии, и в дружеском общении Бродский отличался выразительной и открытой манерой говорить. Такая манера привлекала к нему людей или, наоборот, отталкивала?*

— И то и другое, в зависимости от человека и ситуации. Иосиф был чрезвычайно обаятелен, харизматичен и в то же время авторитарен, причем во многих вещах; зачастую он позволял себе резкие выпады, в том числе и оскорбления. Если человек не мог пропустить чего-то мимо ушей, если он был не согласен и при этом чувствителен и обидчив, тогда манеру Иосифа вынести было трудно. Кто-то из студентов однажды спросил его, не напоминает ли подавление левых сил в Латинской Америке советскую диктатуру в Восточной Европе (это были 1980-е годы, когда насилие в Сальвадоре и Никарагуа достигло своего апогея), на что Иосиф презрительно ответил: «Мне абсолютно наплевать на эту часть света». С другой стороны, дерзость Иосифа можно было отнести за счет его неподкупной честности, ее можно было принять как свидетельство и неизбежное следствие его непокорности, бунтарства, его отказа от поклонения любым предрассудкам и условностям. У него было потрясающее чувство юмора: презрительное, сардоническое, направленное зачастую на самого себя. Он как никто другой мог видеть сквозь «новое платье короля». Однажды, в Колумбийском университете, он ввалился в аудиторию, с чашкой кофе в одной руке и сигаретой в другой, пыхтя, как паровоз, и сказал: «Вы не поверите, что случилось со мной прошлой ночью... я встретил бога». И дальше он поведал нам, что накануне вечером был приглашен на прием в честь Далай Ламы, где сделал следующее наблюдение: самой запоминающейся чертой обличья «бога» был шрам от прививки у него на плече. Тем не менее они с Иосифом поладили, в результате чего бог почтил Иосифа персональ-

ным прощанием. В изложении Иосифа это звучало так: «Хотите верьте, хотите нет, но в конце он подошел ко мне — ко мне, вашему покорнейшему слуге! — и обнял на прощание». Одна особа женского пола, особенно преклонявшаяся перед Иосифом, воскликнула: «Иосиф, это, должно быть, ваша аура!» На что Иосиф мгновенно отозвался: «Нет, скорее мой галстук стал тому причиной. Видите ли, мой галстук был того же цвета, что его одеяние».

— *Что вам известно о деятельности Иосифа на посту Поэта-лауреата США и консультанта по поэзии Библиотеки Конгресса?*

— К тому моменту, как Иосиф занял его, пост консультанта существовал уже несколько десятков лет в качестве временной должности, дающей известным поэтам скромный доход. Тогда, в 1980-е годы, Конгресс дал ему высокопарное название, «Поэт-лауреат», которое большинство поэтов сочли претенциозным, хотя это явно было вызвано стремлением привлечь внимание общественности к этой должности и, следовательно, к самой этой форме искусства. Пока не назначили Иосифа, поэты, получавшие это звание, продолжали относиться и к нему и к самой должности в высшей степени формально. Иосиф кардинальным образом изменил положение вещей. В своей инаугурационной речи, «Нескромное предложение», он определил лауреатство по-новому: как служение на благо общества и платформу для пропаганды литературы. Его предложение заключалось в программе массового распространения поэзии, согласно которой поэтические антологии должны были бесплатно раздаваться миллионам американцев — в отелях, в поездах и самолетах, в отделениях связи и т. д. Это случилось как раз в тот момент, когда я занимал пост исполнительного директора Американской поэтической академии; это был потрясающий проект, прекрасно отвечавший задаче академии по повышению роли поэзии в американской культуре, и мы стали сотрудничать. Одно из важнейших замечаний, которое сделал Иосиф в своей речи, заключалось в том, что величайшим вкладом Америки в мировую культуру стали джаз, кино и современная поэзия. Как для академии, так и для поэтов Соединенных Штатов в целом, подобная оценка значения американской поэзии явилась просто откровением. Заняв чисто номинальную и не-

сколько странную должность, Иосиф неожиданно обратил ее в высокий, общественно значимый пост: сделал поэзию центром внимания. Для Соединенных Штатов, где поэзию принято считать в лучшем случае загадочной, сокровенной формой искусства, это был невероятный поворот событий. Прессу вдруг прорвало на комплименты в адрес Поэта-лауреата русского происхождения. По иронии судьбы, потребовался русский, чтобы убедить американцев в том, что их литература очень важна, что в XX веке американцы создали одну из прекраснейших поэзий в мире. Этой речью Иосиф положил начало изменениям в общественном восприятии поэзии и поэтов в американской культуре.

— *Как вы думаете, что давало Иосифу моральное право написать такое стихотворение, как «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», заключительными строками которого являются следующие: «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность»? Права ли я, считая, что возникновение подобных строк немислимо в контексте современной американской поэзии?*

— Не хочу умалять оригинальности Иосифа, не хочу отнимать у него хоть крупицу присущего ему таланта и поэтической мощи, но я как-то присутствовал на поэтическом вечере, где Иосифа представлял поэт Чарльз Симик, который, рассказав историю детства Иосифа, его преследований и ссылки, заключил ее следующими словами: «Ни один поэт не мог бы желать большего». Мирослав Голуб сказал однажды, что когда ситуация в Восточной Европе была действительно ужасной, «это очень благоприятствовало возникновению поэзии». Страшно сказать, но Иосиф был отмечен именно этой «ситуацией, благоприятствующей возникновению поэзии». Ни одному американскому поэту не выпало счастья насладиться столь ужасными историческими условиями. Следовательно, у Иосифа было моральное право так говорить, право человека, бросившего вызов институционализованному злу и пострадавшему за это, вид права, который вряд ли доступен его американскому современнику.

— *То, что вы сказали, перекликается с ахматовским откликом на процесс над Бродским: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Однако сам Иосиф восставал против био-*

графии как таковой, утверждая, что биография поэта — в гласных и согласных. Нет ли здесь противоречия?

— Противоречива сама сущность поэзии. Йейтс говорил, что поэзия рождается из «ссоры с самим собой». Фрост говорил, что противоречие — основа просодии: если ритм не противоречит метру, хорошего стихотворения не получится. Если бы Иосиф был поэтом, который заявлял: «Взгляните на мою жизнь, взгляните на то, что я сделал и что пережил — именно поэтому я великий поэт», сами его действия, его опыт и их важность были бы сведены на нет эгоизмом этого заявления. Именно тем, что он вел такую жизнь, какую вел, верил в то, во что верил, объясняется то, что язык стал его главным и абсолютным приоритетом, язык, отрицающий случайности биографии. Поэты живут парадоксами, и это был парадокс Иосифа — парадоксом являлось и его утверждение на суде, что поэзия не имеет ничего общего с политикой и социальной ответственностью, ибо само это утверждение стало политическим актом и повлекло за собой социальные последствия.

— *Многие из лучших стихотворений Иосифа представляют собой дань предшественникам: Джону Донну, Т. С. Элиоту, У. Х. Одену, Кавафису и Харди, хотя мы не находим в них и тени «страха влияния»¹. Почему? Не потому ли, что все они принадлежали другим культурам?*

— Начиная с Т. С. Элиота и до Хэролда Блума критики слишком большое значение придавали «отцеубийству». Я лично считаю, что для Иосифа язык включал в себя и время тоже, следовательно, все поэты были для него современниками, а не отцами и детьми. Задача младшего поэта — не отцеубийство, а поиск наиболее конгениальной компании среди теней. Иосиф был автодидактом, поэтому я подозреваю, что он не слишком страдал от бремени академически понимаемой традиции; я думаю, что он с самого начала чувствовал себя отдельно и потому охотно шел навстречу, так сказать, «вдохновению влияния».

¹ Намек на известную книгу американского литературоведа, основателя «новой школы» Хэролда Блума «Страх влияния» (Harold Bloom. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. OUP, 1973). Русский перевод: Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1998.

— Почему Бродский был так захвачен поэзией У. Х. Одена?

— Это безусловно связано с приездом Иосифа в Австрию и просьбой «отвести его к его герою». Оден играл роль повивальной бабки на пути Иосифа из чрева матушки России в Новый Свет. Оден, как и Иосиф, был виртуозом и вундеркиндом, чудесным явлением среди английских поэтов его поколения. Он, как и Иосиф, предпринял схожее, хотя и доброе, перемещение в Новый Свет и, более того, именно в Нью-Йорк. Но главным образом Иосифа привлекала, как мне кажется, поэтическая позиция Одена, со всеми ее философскими и политическими импликациями. Прежде всего, Оден был глубоко современным поэтом, отвергавшим в той или иной степени модернистское увлечение верлибром, — это развенчивало предвзятое мнение о том, что для того, чтобы быть современным, необходимо расправиться с традиционными формами стиха. Однако было еще нечто, более глубокое, чем просодия. На первом семинаре Иосиф написал на доске стих из Одена, а рядом — стих из Йейтса. Вскоре стало ясно, кому из них двоих он отдает предпочтение как поэту. Иосиф не терпел плаксивого национализма Йейтса и его увлечения оккультными системами, как не выносил он фашизма Паунда и, как можно догадаться, монархизма и антисемитизма Элиота. Современные поэты, которыми он больше всего восхищался, — Оден, Фрост, Харди — казалось, порождены традицией классического английского либерализма, главной ценностью которого является не миф, не система, не теология или идеология, а индивидуум, внутренняя стоимость и подлинность человеческой личности. По этой причине его привлекал Шестов, тогда как философским ключом к поэзии Одена является, конечно, философия Кьеркегора. Думаю, что и в Америке Иосифа привлекала именно эта традиция «неистребимого индивидуализма», прекрасным воплощением которой является, скажем, Фрост.

— Хорошим ли проводником был Иосиф для русской поэзии?

— Это интересный вопрос, вопрос, касающийся самой сути парадоксального мировосприятия Иосифа. С одной стороны, для американских поэтов и читателей Иосиф был воплощением русской поэзии — самым мощным, самым запоминающимся, самым влиятельным ее воплощением. С другой стороны, он остро осознавал проблему перевода русской поэзии на англий-

ский. Он прекрасно понимал, что его студентам необходимо знать Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, и в то же время открыто сетовал на качество имевшихся в их распоряжении переводов этих поэтов. В своем эссе о Мандельштаме он пишет, что Оден, прочитав Мандельштама в переводе, не смог оценить все его величие. И дальше он заявляет, что если англоязычный читатель хочет понять, как звучит Мандельштам, ему лучше прочитать вслух Одена, Фроста или Йейтса, но не Мандельштама в переводе. На своих занятиях по литературе Иосиф, не раздумывая, читал и хвалил английские переводы таких поэтов, как, скажем, Рильке, Проперций, Кавафис, Милош, Херберт и т. д., — но ни разу, насколько я помню, не упомянул о русских поэтах. Он не мог вынести того, что практически все переводы нарушали просодическую структуру оригинала. Более того, он страшно критически относился к русским поэтам, сумевшим вписаться в советскую систему, как, например, Евтушенко, к которому он испытывал глубочайшее отвращение и презрение. Хотя для большинства американских читателей, еще до появления на их литературном горизонте Иосифа, Евтушенко и Вознесенский представляли современную русскую диссидентскую поэзию во всей ее мощи. Но стоило появиться Иосифу, как они почувствовали, что должны выбирать между ним и этими поэтами, которые были чуть старше, и это неожиданным образом усложнило само понятие «русская поэзия».

— *Не хотите ли вы что-нибудь сказать об английских стихах Бродского?*

— Проблема перевода русской поэзии на английский ощущалась им особенно остро в связи с собственным творчеством, поскольку он настаивал на соблюдении просодической структуры оригинала. Результатом явилось то, что многие американские поэты и критики находили его английские стихи или автопереводы в лучшем случае посредственными. Поэт и критик Роберт Хасс сравнивал чтение стихов Бродского в переводе с посещением руин, о которых в путеводителе говорится, что на их месте некогда возвышалось величественное здание... С другой стороны, о его эссе, написанных по-английски, обычно говорилось, что независимо от остального творчества Бродского эти эссе являются шедевром, вышедшим из-под пера гения, что они великолепно сделаны, несмотря на то что написаны не на родном языке.

— *В какой мере английские стихотворения Бродского отличаются от его автопереводов?*

— Я не исследователь Бродского, не критик и не специалист по переводу. Это означает, что мне они не кажутся столь уж отличными от переводов, и это говорит само за себя. У Иосифа был бурный роман с английским языком. Сам факт того, что он писал по-английски стихи, удивителен, хотя, возможно, и не столь удивителен, если помнить о том, какое активное участие он принимал в переводе на английский собственных стихов. Как бы там ни было, мне хочется отдать должное его приемному языку, поэтам этого языка, наиболее для него значимым (его элегия на смерть Лоуэлла напоминает элегию Одена на смерть Йейтса): Иосиф хотел испытать свои максимальные возможности в этом языке, хотел исследовать его изнутри и, насколько это возможно, владеть им в совершенстве. В то же самое время он был страшно неуверен в своем английском, прекрасно зная, что его русский акцент зачастую препятствует пониманию того, что он говорит, особенно в тех случаях, когда мозг его переутомлялся и он начинал говорить с бешеной скоростью. Его стихи, написанные по-английски, как правило, очень короткие и зачастую стремятся к простоте песенной лирики — сами названия у них такие: «песня», «мотив», «блюз» и т. д. Нет ничего более трудного в английской поэзии, чем такие стихи, особенно когда они написаны короткими, двустопными или трехстопными, рифмованными стихами. Слух должен был абсолютным, а английский слух Иосифа, по вполне понятным причинам, абсолютным не был. В музыкальном отношении он прекрасно соответствовал, если не больше, хорошей английской прозе, но не этой чистейшей форме лирики. Хуже всего у него выходило что-то совсем уж идиоматическое, вроде стихотворения «Блюз», которое просто откровенно плохо. То же можно сказать и о его пристрастии к английскому сленгу, который он страшно любил вводить в свои переводы, «огрубляя их», как выразился один переводчик. С другой стороны, тот же подход превосходно срабатывал в легкой поэзии, где планка ниже (его детские стихи из книги «Discovery» — одно сплошное наслаждение). Его английские стихи бывали превосходны в тех случаях, когда написаны они были более длинными и спокойными размерами. Одно из прекраснейших его сти-

хотворений — стихотворение, посвященное дочери, в котором стоит обратить внимание на ироничную концовку: «Hence, these somewhat wooden lines in our common language» («Отсюда — эти чуть деревянные строки на нашем общем языке»). Прекрасный пример оборотной стороны Иосифа — его тенденция к самоуничтожению. Думаю, тот факт, что его английские стихи звучат не лучше (по крайней мере, на мой взгляд) переводов его оригинальных стихов, говорит сам за себя. Но заметьте его готовность к риску даже в попытках! Иосиф стремился сделать все, что было в его силах, чтобы как можно лучше настроить свой слух на английский язык.

— *Как принимали Бродского поэты вашего поколения?*

— Когда Иосиф прибыл в Америку, многие мои современники считали Одена устаревшим и не слишком хорошо его знали. Война во Вьетнаме все еще велась, левые студенческие группировки подвергались гонениям со стороны правительства, в обществе нарастали антиамериканские настроения, а модными стихами считались главным образом свободные стихи. Традиционное стихосложение воспринималось многими как признак академического истеблишмента, а это было время, когда студенты не доверяли никакому «истеблишменту» вообще. С одной стороны, Иосиф был героической личностью, парадигмой писателя-диссидента, в высшей степени романтической фигурой: он восстал против советского «истеблишмента», поплатился за это свободой и все равно одержал победу. С другой стороны, он превозносил культуру, приютившую его, не испытывал симпатии к левым и догматично отвергал свободный стих: «вино без бутылки: пятно на скатерти». Для своих хулителей он был нахалом и реакционером, ничего не смыслящим в модернистской американской традиции. Для других он был глотком — или, скорее, ураганом — чистого воздуха. Он очень много сделал для того, чтобы привлечь внимание к поэтам Восточной Европы, особенно Польши, и существенно стимулировал возрождение интереса к традиционному стихосложению у молодых поэтов 1980-х (мое поколение). Его пренебрежение к модернизму Паунда и У. Уильямса и более чем высокая оценка Одена и Фроста наложили неизгладимый отпечаток на многих молодых поэтов. Его нравственное, серьезное отношение к стихотворной форме способствовало тому, что большая часть

«постмодернистской» поэзии выглядела легковесной и пустой. Разумеется, бесконечные споры между строгостью и свободой, башней из слоновой кости и вольным путем не новы: они велись в американской поэзии со времен Дикинсон и Уитмена. Но Иосиф внес в них свежую струю.

— *Большинству западных читателей поэзия Бродского была известна в переводах. Как же ему удалось войти в так называемую «высшую лигу» поэтов, включившую Дерера Уолкотта, Шеймаса Хини, Леса Маррея и др.?*

— Пас тоже не писал по-английски, однако в «лигу» вошел; Милош тоже. При всем моем к вам уважении, считаю этот вопрос неправомерным. Правильнее было бы спросить, почему ни один американский поэт в нее не вошел.

— *Вы можете ответить, почему так случилось?*

— Думаю, что нет, за исключением разве что следующего: в Америке поэт не играет такой центральной роли в культуре, которую он играет в других странах. Никто не считает поэтов умами общества или нравственными авторитетами. Дело здесь не в качестве поэзии, а в качестве читателей, в природе общества в целом, общества, которое всегда недооценивало роль интеллектуалов и художников, и есть основания думать, что и роль такой нематериальной субстанции, как сам язык. Быть может, это следствие пуританства или американского материализма, или следствие разнообразия и относительной молодости нашей культуры, которая представляет собой смесь стольких народов и историй. Вследствие того, что в американской культуре поэты маргинальны, они не обладают в обществе таким авторитетом, каким обладают члены «высшей лиги». У нас членами «лиги» являются киношники, рок-музыканты, спортсмены и миллиардеры...

— *Бродский революционизировал традицию русской философской поэзии, привив ей сложное и серьезное остроумие Донна и новые формы поэтической строфы. Заметно ли это в английских переводах?*

— Да. Блеск его ума, метафизическая глубина и уровень просодии сохранены в переводах — может, благодаря твердой руке самого Иосифа. Неудачу терпит музыка, правильное звучание английского языка... Хотя сам Иосиф говорил, что достоинство переводной поэзии сравнимо с достоинством классической скульптуры, которой не хватает головы или руки:

воображение читателя должно включиться в задачу по воссозданию того, чего не хватает. Ничто не может сравниться с впечатлением от чтения Иосифом своих русских стихов; музыка сохраняется, не сохраняется смысл. Читая переводы, нужно представлять себе интонацию, высоту и тембр голоса Иосифа, читающего свои стихи по-русски, — тогда у вас будет представление о лирической силе его стихов.

— *Каково место Иосифа в американской поэзии? Был ли он английским или русским поэтом?*

— Иосиф, вне всякого сомнения, был русским поэтом. В английском языке нет никого, похожего на него, нет поэзии, похожей на его поэзию. С другой стороны, ввиду того, что он писал по-английски, правомерен вопрос: является ли он американским или английским писателем? На это я бы ответил так: несмотря на то что Иосиф обосновался в Америке, по своему менталитету он был скорее англичанином, нежели американцем. Быть может, правильнее сказать, что его второй культурой стала Новая Англия. Если Иосиф уезжал из Нью-Йорка и направлялся не в Европу, то, скорее всего, направлялся он в свой дом в Массачусетсе, на границе с Вермонтом, в самом сердце Новой Англии. Новая Англия — это отдельная область Америки, со своей отдельной историей, отраженной в самом ее названии: английское пуританство пустило здесь глубокие корни. Не думаю, что Иосиф интересовался или был хорошо знаком с американским Западом или американским Югом. У него не было на это времени, как не было времени на свободное стихосложение, модернизм Паунда и Уильямса, влияние классической китайской и японской поэзии, столь сильное в американской поэзии XX века. Ему ни к чему было знать о сильной французской струе в американском модернизме — от символистов до сюрреалистов, — столь явно проявлявшейся в творчестве поэтов от Элиота и Стивенса до Марвина и Эшбери. Между Эмили Дикинсон и Уолтом Уитменом — родоначальниками американской поэзии — Иосиф раз и навсегда выбрал Эмили. Поэты, к которым он относился с наибольшим сочувствием, были либо уроженцами Новой Англии — Дикинсон, Фрост, Лоуэлл, Уилбер, — либо англичанами (Харди, Донн, Крэшоу и т. д.). Оден, поэт, оказавший на Иосифа наибольшее влияние, был англичанин, перебравшийся в Америку — то есть буквально «новый англичанин». Еще больше углубившись в

проблему, можно сказать, что Нью-Йорк, город, избранный Иосифом для жизни, несмотря на свою космополитичность, является наиболее англофильским из всех американских городов, наиболее консервативным, «торийским». Поэтому, с точки зрения американца, я бы сказал, что Иосиф был «новоанглийским» поэтом. Но прежде и больше всего он принадлежит русской литературе, не английской.

— *Почему Бродский наделял поэзию такой властью?*

— Потому что он сам обладал бесконечно сильным духом. Поэзия была дарована ему Господом. Так уж вышло, что у него был этот дар, что у него была гениальность, что он был исключительно сильной личностью от природы. Иосиф был неукротим; он мгновенно доводил все до логического конца; он не боялся превосходной степени, бесстрашие было его отличительной чертой. Он бы не выбрал поэзию, если бы не чувствовал, что она выбрала его, что она требует абсолюта, что именно язык делает нас людьми и что чем сильнее и возвышеннее язык, тем сильнее и возвышеннее человеческая личность. Многие поэты так чувствуют, но у Иосифа был исключительный дар, чтобы сформулировать это требование — сформулировать так мощно, так убедительно, так категорично, как только возможно.

— *Бродский отрицал авторитет государства и утверждал авторитет личности.*

— Помню, как однажды на занятиях он сказал: «Поэт — это человек, который всегда говорит “нет”». Думаю, что его понимание личности было во многих отношениях противоречивым, особенно в том, что касается произвольной авторитарности. В конце концов, он ведь был автодидакт, то есть человек, который самоутверждается без какой бы то ни было оценки извне, человек, выросший вне какого-то организма, с которым ему бы хотелось себя отождествлять. Иосиф считал, что долг индивидуума — неуважение к властям.

— *Даже к американским властям?*

— О, да. Иосиф очень высоко ценил американский индивидуализм, но не американский конформизм. Американское общество угнетало его во многих отношениях. Однажды, в разговоре об американской массовой культуре, он заметил, что человеческие особи постепенно становятся «еще одной разновидностью мха».

— *Иосиф был тяжелый человек?*

— Он мог внушать робость и, как я уже говорил, мог быть надменным, равнодушным, нетерпеливым. Его требования, его утверждения, касающиеся поэзии и того, как она должна быть, казались многим студентам излишне авторитарными. Иосиф пугал их. Эти студенты не могли понять, что подобными утверждениями Иосиф пытается утвердить ценность человеческой личности или, по крайней мере, привить им такую же убежденность в ее неоспоримой ценности, какой обладал сам. В чем-то его метод преподавания напоминал «травлю», он стремился вызвать ответную реакцию. Иосиф уважал тех студентов, которые с ним не соглашались, вступали с ним в споры, противостояли ему, выказывая те же черты, что в годы непокорной молодости причинили ему самому столько неприятностей. Он любил состязаться, любил спорить, говоря о литературе. С другой стороны, он мог быть бесконечно щедр, великодушен, ироничен, прост — тогда с ним очень приятно было иметь дело, он был полон обаяния, его проказам и шуткам не было конца. Когда вы приходили к нему в гости, он, бывало, проскальзывал в комнату в своих тапочках, словно ребенок на скейтборде. Ненавидел снобизм и прентенциозность и искренне наслаждался компанией студентов, зачастую предпочитая ее компании университетских преподавателей и профессиональных интеллектуалов. Он обращался со студентами как с равными, поэтому-то и мог быть с ними очень жестким. Но помимо всего прочего, Иосиф был бесконечно верным человеком: никогда не предавал того, кого приручил.

— *Как вы читаете его стихи: как искреннее, глубокое свидетельство чрезвычайно умного человека или как холодные, расщудочные философствования обо всем на свете?*

— «Брось холодный взгляд» (Йейтс): возвышенное может быть холодным. Вы помните стихотворение Иосифа «Осенний крик ястреба»? По нему, как мне кажется, можно составить себе представление о видении Иосифом возвышенного: в вербальном полете поэт поднимается на такую высоту, где едва хватает воздуха, но откуда вид — «горизонт» — так высок и широк, так божественен, как только возможно. Элиот придумал термин «распад восприимчивости», означающий тенденцию современной культуры к разделению интеллекта и

эмоций, утрату целостности поэтического мышления. Иосиф был по-божественному «нерастворяем» — более страстного ума я не встречал. Средний интеллект охлаждается, претендуя на объективность, тогда как Бродский каждой своей строчкой утверждал первенство субъективности, индивидуальности сознания. И здесь мы снова вступаем на территорию Шестова и Кьеркегора.

— *Стал ли Бродский в конце жизни «этаким культурным гуру с местом жительства в Нью-Йорке, призванным ораторствовать по любому подвернувшемуся поводу» (Дж. Смит)?*

— Иосиф никогда не был «культурным гуру», что бы это ни значило. Он был поэтом, со своими симпатиями и антипатиями, полный самых разнообразных идей и мнений, как и положено быть поэту. Я думаю, что когда он получил Нобелевскую премию, а затем был назначен Поэтом-лауреатом США, в средствах массовой информации возник к нему интерес, осветивший его, как прожектором или лампой для допроса, как бы на это ни смотреть. Выражение «ораторствовать» как раз отражает уровень общественной заинтересованности в том, что он говорил. Для поэтов в Америке это, мягко говоря, непривычное положение. Я даже думаю, что его просили бы ораторствовать еще больше, живи он в культуре, где поэты ценятся выше. Возьмите хотя бы Октавио Паса: в Мексике ему регулярно приходилось выступать с речами именно потому, что он — великий поэт. Такого рода критика вызвана, скорее всего, завистью. Завистью к Иосифу как русскому поэту, образцу стойкости, харизматическому гению, Нобелевскому лауреату и т. д. Думаю, что многое в личности и жизни Иосифа могло вызывать зависть. «Культурный гуру с местом жительства в Нью-Йорке» — это из области карикатур и клише, это слова человека, чью узколобость выдает его собственная готовность сузить «горизонт».

— *Подобно Мандельштаму и Пастернаку, Бродский в своей поэзии перекидывал мостик между христианской и еврейской культурами. И все же многие критики считали Бродского христианином, и похоронен он был по христианскому обряду. Каково ваше мнение на этот счет?*

— Однажды в каком-то интервью Иосиф назвал себя кальвинистом — не случайно он чувствовал близость с менталитетом Новой Англии. Он, правда, добавил, что в протестантизм-

ме есть много такого, что ему не нравится, и что он вообще не уверен в том, что является верующим человеком. Но в кальвинизме его привлекал именно упор на индивидуальную ответственность, которая была ядром его нравственной позиции и ядром новоанглийской шкалы ценностей — вспомните «Self Reliance» («Опора на самого себя») Эмерсона или твердость, присущую Фросту. Кроме того, кальвинизм многое заимствовал из Ветхого Завета, что, должно быть, импонировало иудаизму Бродского. Но отношение Иосифа к жизни, его этика явно были христианскими, и он определенно считал христианский Запад в нравственном и культурном отношении выше Византии и Востока, как Ближнего, так и Дальнего. Хотя я бы сказал, что он был христианином не в теологическом смысле, а в нравственном и экзистенциальном. Как это часто случается, ум и душа его раздваивались, когда вставал вопрос о вере. Если уж на то пошло, субъектом и объектом его теологии был язык. Он был логотеистом.

— *Опыт изгнания и билингвизма Бродского часто сравнивают с набоковским. Но не следует ли скорее противопоставлять, а не сопоставлять поэта и прозаика и усматривать скорее различия, нежели сходства в их судьбах?*

— Конечно, следует. Не претендуя на глубокое знание Набокова, скажу, что Набоков был эстетом в том смысле, в котором Иосиф не был, что Набоков превосходно владел английской прозой в том смысле, в котором Иосиф ею не владел (хотя мощь его интеллекта была более чем создана для этого). Набоков был также русским аристократом, белым эмигрантом. Иосиф же был выкроен из грубой ткани, он был рожденным аутсайдером, автодидактом, не терпящим даже намека на ярлык. Он был моралистом и принимал всерьез существование зла. Забудьте об изгнании и билингвизме: единственный романист, с которым его можно сравнить, это Достоевский.

— *Но Иосиф не уставал повторять, что эстетика — мать этики, а не наоборот.*

— Между матерью и девой существует весьма принципиальная разница. Настоящий эстет не отваживается, пожертвовав красотой, вступить во взрослое царство, где такие проблемы, как человеческое зло и индивидуальная ответственность, принимаются всерьез. Когда Иосиф делал подобные

заявления, он также сравнивал эстетическую способность с суждениями ребенка, который может сказать лишь только: «Мне нравится то, мне нравится это», — не умея объяснить, почему. Для Иосифа эстетическое дитя может быть отцом — или матерью — этического человека, при этом дитя должно вырасти и столкнуться с такими серьезными вопросами, как «почему?». Суть в том, что для Бродского эстетическое и этическое были неразрывно связаны. «Искусство ради искусства» — не его кредо.

— *Согласны ли вы, что в некоторых заявлениях Бродского есть нечто иудейское?*

— Предполагаю, хотя никогда об этом не задумывался, что в страстном темпераменте Иосифа, в его стремлении к нравственному и эстетическому абсолюту есть нечто ветхозаветное. Иов, пророки, сам Иегова — у них у всех было много общего с ним. Его мистическое отношение к языку, к очертаниям самих букв напоминает еврейский мистицизм.

— *Почему критики и журналисты делали такой упор на изгнание Бродского, хотя сам он неоднократно повторял, что «из тирании можно быть изгнанным лишь в демократию»?*

— Романтика изгнания очень сильна, к тому же дает возможность простого, редуцированного взгляда. А Бродский не поддавался простым определениям. Он не хотел выступать в роли жертвы. Проблема в том, что он был изгнанником, причем дважды: один раз сослан в лагерь, другой — выслан из страны. Но в обоих случаях положение изгнанника подходило ему как нельзя лучше. Не желая показаться поверхностным, хочу сказать, что для Иосифа ссылка, несмотря на то что она была вынужденной, стала в каком-то смысле освобождением; ссылка дала ему возможность почувствовать экзистенциальную свободу, на худой конец свободу стойка, в противовес несвободе духа в репрессивном обществе. Проводником этой свободы, если помнить о переводах, которые он делал в трудовом лагере, был английский язык. Иосиф не вернулся в Россию, когда мог вернуться, и хотел, чтобы его дочь росла в Америке и чтобы ее родным языком был английский. Но его отношение к изгнанию противоречило общепринятому.

— *Как можно примирить величие и скромность положения Бродского в американской литературе?*

— Иосиф, как я уже говорил, был ходячим противоречием. Это то, что отличает поэта. Примирить его невозможно. Иосиф глубоко любил американскую культуру и страстно любил английский язык и английскую поэзию. Истинно любящий преклоняется перед тем, кого любит. А величие — это свойство любви как таковой, не положения любящего.

— *Некоторые критики считали Бродского образцом полярности: его называли жертвой изгнания и бездушным амбициозным карьеристом, скромным человеком и тщеславным эгоистом, верным и щедрым другом и злопамятным соперником, глубоко верующим человеком и умствующим циником, которому не хватает человечности, и т. д. и т. п. Правомерен ли такой подход?*

— Да. Но стоит только отбросить в сторону предвзятость критика, как ослабевает и само его эго, и полярность выступает в своем истинном свете: две половинки души, борющиеся между собой. Многие критики сами являются карьеристами и эгоистами, они злопамятны и циничны. Суть в том, что Иосиф честнее относился к самому себе, чем большинство критиков, пишущих с точки зрения следователя, а не подследственного. Достоинства Иосифа были гораздо существеннее и менее многочисленны, чем его пороки. Самым оголтелым его критикам я бы сказал: «Врач, исцелился сам».

— *Помните ли вы ваш последний разговор с Иосифом?*

— Да. Мы говорили по телефону за три дня до его смерти. Я все еще работал в академии, и мы с Иосифом продолжали заниматься нашим совместным проектом распространения поэтических антологий по стране. Иосиф позвонил мне в бюро и сказал: «Билл, ты знаешь, о чем написана вся американская поэзия?» — «Нет, Иосиф, не знаю. О чем же?» — «Вся американская поэзия — о колесах, о вольном пути. Она вся о колесах». — «Хорошо», — сказал я. «Так знаешь, что ты должен сделать?» — спросил он. «Нет, Иосиф, не знаю. Так что я должен сделать?» — «Ты должен позвонить «тимстерам»¹. Мы должны расписать грузовики стихами: они будут доставлять по утрам молоко в супермаркеты, а вместе с молоком — и поэзию». Поскольку всем известно, что «Teamsters Union» полностью коррумпирован, я ответил: «Иосиф, ты хочешь,

¹ Профсоюз водителей грузового транспорта (разг. Teamsters Union).

чтобы Американская поэтическая академия сотрудничала с организованной преступностью?» Последовала пауза. Затем Иосиф сказал: «Билл, в организованной преступности есть одно преимущество — она организована». Это было последнее, что я от него услышал.

— *Как разыграл он последний акт своей жизненной драмы — возвращение/невозвращение в Россию?*

— Я недостаточно близко знал Иосифа, чтобы он посвящал меня в это. Думаю, его отказ вернуться в Россию во многом связан с тем, что при жизни родителей он не смог добиться разрешения туда поехать. Это, как мне кажется, было главной трагедией его жизни.

— *Есть ли у вас стихотворение, посвященное Иосифу? Можно мне включить его в книгу?*

— Да, вы можете взять «Bloom's Photograph».

Перевод с английского Лидии Семеновой

Фотография Блума

И.Б.

В Рейкьявике саммит по разоружению провалился,
но мы выжили посреди завалов
из мертвых листьев, усыпавших эспланаду
около мавзолея генерала Гранта.

Ветер укладывал листья в груды
между скамейками и пожухлым газоном,
где-то далеко эскалация увяданья
продолжалась, а здесь разумные надежды

сдувало ветром. В безопасности, вместе
мы перечитывали Джеймса Джойса,
когда к церкви напротив подъехал
белый «Ролс-ройс». Невеста появилась

на свет, сияя и торжествуя,
словно будущее в подвенечном платье
вопреки Рейкьявику подарило надежду.
Это видение, покрытое позолотой

осеннего света, прервало цепочку
адюльтеров Молли Блум, увяданье
листьев было остановлено на время,
но тут молодожены внезапно исчезли

из виду. Тот выцветший снимок
жены, лелеемый Блумом, тенью
лег на невесту: одно дуновенье
ветра — и самый зеленый из листьев

гибнет. Теперь — перемена декораций.
Улисс Грант в разгаре боя
сидит, хладнокровней камня, поглощенный
составленьем письма, адресованного миссис

Грант, чтобы наконец объясниться:
все, во что он верил, исчезло,
подобно дыму. Попыхивая сигарой,
он заливает Теннесси кровью,

хороня совесть в каждом стакане
виски, и говорит генералу
Ли в Аппоматоксе, что победа
была печальной, что ему не по вкусу

унижать других — он жил без иллюзий.
Пусть же и нам дарованы будут
еще одна ясная холодная осень
и знание, как уходить со сцены.

Вечер. Невеста снимает платье.
Мальчишки колотят мячом о стену
мавзолея. Мы закрываем книгу
на слове «да» в Моллином монологе.¹

¹ Перевод с английского Веры Павловой и Стивена Сеймура.

ЛЕС МАРРЕЙ, 9 НОЯБРЯ 2004, СТОКГОЛЬМ

— *Вас считают таким эксцентричным австралийцем, деревенским поэтом, говорящим от имени городской культуры, католиком, говорящим от лица людей, по большей части неверующих¹. Вас устраивает такое восприятие?*

— Я не говорю ни от чьего имени, я обращаюсь к читателям поэзии. Они могут быть католиками, евреями, кем угодно. Я говорю от себя лично. Я — католик и не верю, что все остальные — люди неверующие. Интеллектуалы, возможно, чаще всего и являются атеистами, или от них ждут, чтобы они были таковыми. Но более широкая публика очень неоднородна: кто-то верующий, кто-то даже католик. Я обращаюсь к тем, кто хочет меня читать.

— *Какой литературной традиции вы придерживаетесь?*

— Своей собственной. Она опирается на творчество некоторых моих австралийских предшественников, в особенности такого поэта, как Кеннет Слессор, а также Роланда Робинсо-

Лес Маррей — один из известнейших австралийских поэтов. Первый сборник стихов «The Plex Tree» (1965). Роман в стихах «The Boys Who Stole the Funeral» (1980) состоит из 140 сонетов и является лишь скромным предшественником грандиозного романа в стихах «Freddy Neptune» (1998) — серии приключений и размышлений героя на пути сквозь XX век. Среди книг следует назвать: «The Vernacular Republic: Poems 1961—1981» (1982), «The Daylight Moon» (1987), «Dog Fox Field» (1990), «Collected Poems» (1991) и «Translations from the Natural World» (1993). Автор более 30 книг. Неоднократно удостоивался литературных премий.

¹ Michael Schmidt. Lives of the Poets. London: Weidenfels & Nicolson, 1998. P. 894.

на, Джеймса Маколи и других, чья поэтическая манера слегка отличается от европейской.

— *В каком возрасте вы их для себя открыли?*

— В школе мне рассказал о них мой учитель физкультуры: он понял, что я все равно не буду играть в футбол, и решил приобщить меня к поэзии.

— *Известны ли они за пределами Австралии?*

— Сейчас они становятся все более известными, в частности благодаря тому, что я пытаюсь сделать их известными. Британская Империя полагала, что только Англия способна породить поэзию. Мы же существовали для производства на свет солдат и шерсти.

— *Вы составили антологию «Five Fathers: Five Australian Poets of the Preacademic Era». В выборе этих пяти поэтов вы руководствовались вашими личными пристрастиями или это ведущие австралийские поэты?*

— Это ведущие австралийские поэты 1930—1965 годов: Кеннет Слессор, Роланд Робинсон, Дэвид Кэмпбелл, Джеймс Маколи и Фрэнсис Уэбб. Великое поколение поэтов-отцов. Мне кажется, книга получилась хорошей. Я только что закончил подготовку еще одной антологии, посвященной на сей раз ранней австралийской поэзии: один из поэтов, входящих в нее, отбывал в начале XIX века каторгу. Антология называется «Hell and After» и должна выйти в феврале следующего года. Поэта-каторжника зовут Макнамара. Наша народная традиция баллады восходит главным образом к нему. В книгу вошли стихи еще трех поэтов, родившихся и живших в девятнадцатом веке.

— *В ваших стихах часто рассказывается какая-нибудь история. Это сознательный прием?*

— Да. Я исхожу из устной традиции рассказа. Я вырос на этих историях; они окружали меня повсюду. Мой отец был прекрасным рассказчиком. Он был едва грамотным: любил балльные танцы, сплетни и разные истории. Сплетни и истории — это, разумеется, одно и то же.

— *У вас много метрически правильных стихов. Вы любите рифмованные стихи?*

— Да. И все любят, за исключением Джона Эшбери. Я ведь пишу не только для интеллектуалов и ученых. Когда мне хочется, я рифмую. Но не всегда. Кстати, из рифм я создаю

джаз, как бы рифмуя. Поэзия должна обращаться и к телу тоже, не только к душе. В наши дни слишком многие поэты совершают Аристотелеву ошибку: божественным началом в человеке они считают один только интеллект.

— *Иосиф писал, что называть вас австралийским поэтом — значит умалять ваше значение; это все равно что называть Йейтса ирландским поэтом. Вы — тот, «кем язык жив»¹. Согласны ли вы с этим определением?*

— С первой его частью согласен, вторая же мне кажется диким преувеличением.

— *Вы очень скромны. Однако это цитата из Одена:*

Время, которое нетерпимо
К храбрым и невинным
И быстро остывает
К физической красоте,

Боготворит язык и прощает
Всех, кем он жив.

«Памяти У. Б. Йейтса»²

— Иосиф говорил это о ком-то еще.

— *Иосиф знал ваши стихи еще будучи в СССР. Кто познакомил вас с поэзией Бродского и когда?*

— Это случилось в середине 1980-х годов в Нью-Йорке. Первое стихотворение, глубоко меня потрясшее, было «Снегирь».

— *У Бродского нет стихотворения с таким названием. Возможно, вы имеете в виду стихотворение «На смерть Жукова», которое написано по образцу державинского «Снигиря»?*

— Да, оно о маршале Жукове. Великолепное стихотворение. И перевод мне понравился. Помню, Иосиф сказал однажды: «Мы воюем до победного конца».

— *Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече с Иосифом. Произошла ли она на Международном фестивале поэзии в Лондоне или в Нью-Йорке?*

— Мы встретились в Нью-Йорке, у Марка Стрэнда, году в 1983-м. Тогда же я познакомился с Дерекотом Уолкоттом. Мы

¹ Joseph Brodsky in Les Murray. The End of Symbol. Завершение символа. Bilingual selection. New York — Stockholm: Ars-Interpres, 2004. P. 5.

² Перевод с английского Е. Касаткиной (см.: 6:260).

вместе обедали. Все они — хорошие поэты, возможно, только Стрэнд послабее. Мы долго разговаривали с Бродским — проговорили чуть ли не всю вторую половину дня. Я разговаривал также и с Уолкоттом, но Дерек со мной всегда какой-то шумный, называет меня «*Bwana*»¹ и т. п.

— В 1988 году вы с Дерекотом Уолкоттом, Шеймасом Хини и Иосифом Бродским принимали участие в круглом столе Дублинской писательской конференции в Дэн-Лэри¹. Его вел Майкл Шмидт. Что вам запомнилось из этой конференции и беседы?

— Я не очень хорошо помню нашу беседу. Кажется, я сказал Шеймасу, что его английский мне понятнее и привычнее, нежели английский язык Англии. Первое стихотворение Шеймаса, которое я прочитал, кончалось фразой: «*I'll dig with it*» с ударением на «*it*». Я прочитал ее и сказал себе: «М-да, клянусь, что в Англии этого прочитать не смогут; там это будет звучать как «*I'll dig with it*» (с ударением на «*dig*»), и это разрушит строку в целом». И хотя мы не говорили с ирландским акцентом, мы вспомнили, что фраза «*I'll dig with it*» (с ударением на «*it*») звучит как прекрасный чистый австралийский английский. Шеймас был очень польщен. Английских языков много.

— Помните ли вы какие-нибудь интересные высказывания Иосифа об английском языке? Он ведь был влюблен в этот язык.

— Да, я помню, он высказывал сожаление, что англичанам не удалось колонизировать Россию в 1918 году и что его, Бродского, писательская деятельность есть попытка эту ошибку исправить... Разумеется, английский для него ассоциировался не столько с колонизацией, сколько с цивилизацией; он имел в виду английский Джорджа Херберта, Марвелла, Донна и Шекспира.³

— Вы, Дерек, Шеймас, Иосиф — не британские поэты. Служит ли это доказательством того, что центр англоязычной поэзии сместился и больше не находится в Англии?

— Этот центр и так не всегда был в Англии; иногда он был в Америке, иногда — в Ирландии и Шотландии и даже, с некоторой натяжкой, в Австралии. Шотландия была центром

¹ В некоторых частях Африки используется в качестве почтительного обращения. Пришло в английский язык из суахили («отец наш», «отец»).

² Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 385—406.

³ Там же. С. 393.

англоязычной поэзии в 1970—1990-х годах, но все лучшие шотландские поэты, писавшие как на гэльском, так и на английском, умерли в 1990—95 годах. Норман Маккейг умер, и Сорли Маклин тоже умер. Чуть позже умер замечательный валлийский поэт Р. С. Томас. Мне кажется, что шотландские и валлийские поэты сильнее ирландских, но ирландцы известнее, потому что у них была война, а ничто так не способствует славе поэта, как война. Так что Англия не была поэтическим центром на протяжении столетий, но все еще сохраняет свое влияние в том, что касается публикаций и критики. В Америке поэзия тоже не очень сильная, потому что она растворилась в университетах. Можно по пальцам сосчитать настоящих американских поэтов — Шэрон Олдс, Рон Рэш; другие — это университетские преподаватели, пишущие стихи.

— *Как вписывается Бродский в англоязычную поэзию?*

— Если вы имеете в виду Англию, то никак; если Америку, то он — почетный гость. Залетная птица, птица Рух.

— *Известно ли вам о том, какая пропасть лежит между его оригинальными стихами и даже лучшими из переводов, выполненными либо самим Бродским, либо Дерекотом Уолкоттом, Энтони Хектом, Ричардом Уилбером либо профессиональными переводчиками?*

— Для этого нужно знать русский.

— *Двоюродный брат вашего прадеда составил «Oxford English Dictionary». Повлиял ли этот факт на ваше отношение к языку?*

— У меня было свое отношение, свой склад ума прежде, чем я узнал о Джеймсе Маррее. Я был прирожденным словофилом. Всегда любил язык. Я хотел стать художником, но к этому у меня не оказалось таланта. Тогда я решил живописать словами. Я — этакий языковой примитивист.

— *Сложный и оригинальный взгляд Бродского на язык лежит в основе его поэтического мира. Такой вывод можно сделать, читая его эссе или его стихи?*

— И то и другое, как мне кажется. Думаю, мне тоже свойственно богатство языка, но, в отличие от Бродского, я извлекаю философию из поэзии, а не из языка.

— *Вы считаете, что поэзия — универсальное творение, она не должна ограничиваться одним языком. Чем вы объясните одержимость Бродского языком?*

— Поэзия — не только язык. Она пропущена через язык,

создается языком, но включает в себя также музыку и живопись.

— *В этом бы Бродский с вами согласился. Однажды он заметил, что научился композиции у музыки. А сколько у него в стихах живописи! Он восхищался Возрождением.*

— Со мной то же самое. Я знаю массу художников, хожу во все галереи.

— *Бродский активно не любил левых западных интеллектуалов. Что так привлекает их в идеологии социализма и марксизма?*

— Она дает им ключ ко всем мировым проблемам. Она гласит: «Вы будете лидерами, вы будете главными, вы будете новой аристократией. Пусть даже в одной Республике Словесности!»

— *Семьдесят пять лет существования советской власти ничему их не научили.*

— Ровным счетом ничему. Поколение левых погубило австралийскую поэзию: около 75 процентов австралийских поэтов — левые. Люди готовы читать левую прозу, но не левую поэзию. Это всегда одна и та же песня.

— *При этом они всегда находят способы себя преподнести, завладеть журналами, напечатать своих единомышленников.*

— Большинство австралийских журналов и все газеты — левые.

— *Вернемся к Бродскому. Находясь вне своей культуры, Бродский тем не менее продолжал ей служить, прививая ей, так сказать, другую «ментальность». В попытке избавиться от свойственной русской культуре сентиментальности и провинциальности Бродский столкнулся с самой разнообразной критикой, как русской, так и западной: его упрекали в холодности, книжности, излишней рациональности, — при этом едва ли можно серьезно относиться хотя бы к одному из этих упреков. Как вы думаете, чем могла быть вызвана подобная критика?*

— Помню, как однажды в Амстердаме, вскоре после присуждения ему Нобелевской премии, в его честь был организован прием. В числе гостей была одна немка с очень красивой кожаной сумкой, и Иосиф сказал ей: «Мадам, какая великолепная сумка — она из человеческой кожи, я полагаю?»

— *У всех у нас с немцами проблемы. Мне понадобилось двадцать пять лет, чтобы решиться поехать в Германию.*

— Что же касается холодности, то разве у вас нет слова «душа»?

— *Конечно, есть, и мы многого требуем от нашей «души» и*

очень многое ей приписываем! Кстати, Бродский как раз и вернул слово «душа» в русскую поэзию после тридцатилетнего запрета властей на использование этого слова.

— Отвечая на ваш вопрос, скажу: думаю, что главная причина подобных упреков — ревность. Однажды — дело было в Массачусетсе — я спросил Бродского: «Не собираетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Россию?» Он ответил: «Нет». «Разве вы не скучаете по русским пейзажам, по русской природе?» — «Не скучаю. Здесь все то же самое». Я, как большинство австралийцев, безумно тоскую по Австралии, если расstaюсь с ней надолго.

— *Трудно тосковать по стране, которая так плохо с тобой обошлась.*

— Да, конечно.

— *Подобно Мандельштаму и Пастернаку, Бродский в своей поэзии перекидывал мостик между христианской и еврейской культурами. Каждый год он писал рождественские стихи. И все же многие православные русские не воспринимают его как христианского поэта. Что вы думаете по этому поводу?*

— Все мы делаем то же самое. Путь от Авраама к Иисусу можно назвать еврейской эволюцией, нравственной и духовной. Разница состоит лишь в том, принимаешь ты Христа или нет. Что же касается русской культуры, то она всегда была антисемитской, как мне кажется.

— *Возможно, вы не знаете, но в 1963 году Бродский написал поэму «Исаак и Авраам», где выступал, так сказать, скорее от имени сына, нежели отца.*

— Человеческая жертва неизбежна в этом мире. Знаете, я постоянно задаюсь вопросом: сколько требуется человеческих жертв для создания одного-единственного произведения искусства? Вот, собственно, в чем заключаются и эта традиция, и эта эволюция: принесение жертвы, ее поглощение и ее переработка до степени выносимости людьми. В итоге Бог берет жертву на себя и тем самым лишает законности все последующие буквальные человеческие жертвоприношения. Мне очень даже нравится еврейская эволюция!

— *Почему?*

— Иисус сказал Самаритянке: «Спасение пребудет через евреев». Английская теория эволюции — Чарльз Дарвин, Ричард Доукинс и им подобные — сводит человеческие существа к взаимозаменяемым единицам. Она приносит в жертву

нас всех, обращает нас в деньги, тогда как иудейство обращает нас в личностей. Личность умирает и возрождается — тем самым остается. А это и есть самая главная эволюция.

— *Бродский был на редкость эрудированным. Вы тоже считаете, что поэт должен быть вездесущ и всеведущ?*

— Да, и сам я стараюсь знать как можно больше. Мне всегда было интересно абсолютно все; для меня знать все было вопросом чести. Мне кажется, поэт должен знать все. Но многим поэтам не хватает подобной широты знаний. Я не уступал Бродскому в эрудированности, поэтому нам всегда было интересно друг с другом.

— *Сэр Исая Берлин однажды сказал, что когда общаешься с Бродским, чувствуешь себя в присутствии гения. Вы ощущали когда-нибудь нечто подобное?*

— Нет, но я чувствовал, что общаюсь с исключительно умным человеком. Я не очень понимаю, что значит гений.

— *Есть ли у вас стихотворение, посвященное или адресованное Бродскому?*

— Боюсь, что нет.

— *Как жаль! Все мои интервью с поэтами заканчиваются стихами Иосифу. Может быть, вы напишете такое стихотворение, когда вернетесь домой?*

— Попробую.

Перевод с английского Лидии Семеновой

29 декабря 2004 года я получила стихотворение: оно пришло из Австралии по почте; Лес Маррей отправил его 19 декабря, снабдив следующей припиской: «Боюсь, я уже опоздал со своим стихотворением и Вы не успеете включить его в Ваш проект, но я тем не менее посылаю Вам его хотя бы потому, что оно частично вызвано разговором, который был у меня как-то с Иосифом. Он сказал мне, что вынашивает идею стать христианином, пресвитерианином, если быть точнее. Простите за неологизм “gentrification force”. Он возник из “gentrification”¹. Подозре-

¹ Игра слов: «gentrification» (восстановление и реконструирование обветшавшей городской собственности за счет среднего класса и богатых людей, нередко приводящее к переселению бедных в другие районы) в соединении с «centrifugal force» (центробежная сила, движение от центра). «Gentrification» в США — очень противоречивый обществен-

ваю, что это практически сильнейшая из задействованных общественных сил. А церковь очень часто уличается в пособничестве. Засим отдаю это стихотворение на Ваш суд».

Церковь

Памяти Иосифа Бродского

Желанье быть правым
поспешно оставило нас,
но некоторые пришли
к Богу, в надежде на то,

что до сих пор они ошибались.
Прощай же, новомодная
центробежная сила!
Эта церковь — угловатое яйцо:

на дальней стене, высоко —
Евангелие, из тех времен,
когда он не был лишь книгой.
Все суждения кончаются здесь.

Свобода поедает свободу,
справедливость есть справедливость, любовь —
даже любовь. Но скучный старик говорит:
«Церковь заставляет меня желать греха».

В английской эволюции мы — деньги,
гены, чтобы купить в дарвиновских лавках
новые гены, до неразличимости личности.
Церковь же поднялась из еврейской эволюции.

Лишь один из многих тысяч,
голый в грязной канаве, скажет:
«Истинный бог жертвует плоть и кровь.
Ложные боги требуют ваших жертв».¹

ный процесс. С одной стороны, он благоприятствует развитию бизнеса, с другой — меняет устоявшиеся кварталы (особенно афро-американские), делая их недоступными для бедных слоев населения и тем самым вынуждая к переселению. Церковь, активно участвуя в этом процессе, облегчает городским властям задачу.

¹ Перевод с английского Сергея Панцирева.

IV

АЛЛАН МАЙЕРС, НОЯБРЬ 2003 — СЕНТЯБРЬ 2004

— *Возможно, вы единственный, кто может дать русскому читателю подробный отчет о посещениях Бродским Англии: вы были его другом и переводчиком более двадцати лет. Когда вы услышали о нем впервые?*

— Впервые я услышал о Иосифе Бродском в начале 1960-х годов, когда на Би-Би-Си инсценировали стенограмму судебного процесса по делу Бродского, обвиняемого в тунеядстве. Меня потрясла смелость ответов Бродского на судебном заседании, несмотря на то что я слышал их в исполнении актера, говорившего томным, «поэтическим» голосом, словно желая подчеркнуть жестокость государственной машины, давящей беззащитного художника. По радио читались также ранние стихотворения Иосифа в переводе Николааса Бетелла, и они произвели на меня сильное впечатление, хотя сам Иосиф их не ценил и постепенно перерабатывал. Я помню, мне не понравилась дописанная позднее часть «Большой элегии Джону Донну». Мне она показалась лишней, ненужной, на что Иосиф спустя много времени мрачно сказал, что мне просто не хватило запаса «крылатых выражений», чтобы ее понять. Это

Аллан Майерс — английский филолог и переводчик. Переводил русскую поэзию и прозу (повести Пушкина, «Идиот» и «Кроткая» Достоевского) XX века, произведения Ахматовой, Мандельштама, Замятина, Крученых, Вагинова, Хармса, «Факультет ненужных вещей» Домбровского, «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург и др. В переводах Майерса публиковались стихи, проза и пьесы Бродского.

напомнило мне короткометражный фильм, в котором показывалось, как Пикассо работает над одной своей незначительной абстракцией. Мне все время хотелось крикнуть: «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!» Но он все продолжал писать. Это вопрос вкуса, восприятия.

— *Иосиф был близким другом вашей жены, Дианы. Это она помогла вам понять огромность таланта, которым обладал Иосиф?*

— Иосиф приобретал все больший вес отчасти благодаря упоминаниям — правда, поверхностным и тенденциозным — в британской прессе. Диана рассказывала, как Иосиф заходил к ней и читал только что написанные стихи в своей непередаваемой манере, потрясающей, трагической. От нее я узнал, что он перепробовал массу ремесел, чтобы заработать на жизнь, и что слава его неуклонно росла, несмотря на то что его имя было в Советском Союзе под запретом. Более того, он советовался с ней по поводу того, что в данный момент писал, а однажды заявил, что она говорила ему то, чего он раньше ни от кого не слышал. Однажды он даже прилетел повидаться с ней в Тбилиси, так как в Ленинграде они разминулись. Улицы Тбилиси покрывал снег — редкое явление, хотя у Пастернака есть об этом стихи.

Когда Диана, после того как мы поженились, прилетела в 1967 году в Лондон, в руках у нее была охапка цветов от Иосифа, наказавшего положить их к подножию статуи Джона Донна в соборе святого Павла. Мы тут же, не раздумывая, сели на метро и отправились исполнять повеление Иосифа. Останавливаясь у нас в Англии, Иосиф продолжал советоваться с Дианой по поводу написанного; кроме того, он звонил нам из всех точек земного шара и по телефону читал свои стихи.

Память подсказывает мне, что я получил сообщение из Вены о том, что Иосиф, вместе со своим героем, Оденем, собирается прибыть в Лондон, на Международный фестиваль поэзии. Это был 1972 год. Как было условлено, я позвонил в Совет по культуре Чарльзу Осборну. Мне показалось, что это сообщение застало его врасплох: я говорил о человеке, о котором он, вероятнее всего, никогда не слышал. Выступление Иосифа в зале королевы Елизаветы стало сюрпризом для очень многих и породило множество толков. Всё это, вместе с его ссылкой на Север в 1960-х и недавним драматическим отъез-

дом из СССР с билетом в один конец, окружило личность Иосифа ореолом загадочности и героизма. К сожалению, печальные факты его биографии способствовали и тому, что журналисты и критики стали судить о его стихах главным образом как о «поэзии изгнания».

— *Итак, до июня 1972 года вы с Иосифом не встречались. Какое у вас было впечатление о нем как о человеке, когда вы наконец увидели его, так сказать, во плоти?*

— С Иосифом я в конце концов познакомился, когда он отправился в Хэмпстед навестить Ал Алвареса, после чего мы все дружно переместились, так сказать, в ресторан на Флэск Уок, который назывался, если не ошибаюсь, «Белый медведь». И тут я обнаружил, что передо мной не томный эстет, а сильный, уверенный в себе человек. Рыжеволосый, широколобый — он был весьма красив. Вел он себя экспансивно и отличался прекрасным чувством юмора, которое проявлялось у него по принципу набоковского каламбура: «And-drop-off!» («Андропов»). Кстати, он утверждал, что Набоков поселился в швейцарском местечке Веве, потому что оно соответствовало его инициалам: В. В. Иосиф редко смеялся во весь голос — у него была привычка обезоруживающе улыбаться, не раскрывая губ, словно он хотел сделать смешное лицо.

— *Помимо поэзии и музыки, были ли у него в то время более земные увлечения?*

— Первое, что он произносил, прилетая в Англию и входя в наш дом, было: «Футбол показывают?» Обычно в то время, когда он приезжал в Англию, отборочный сезон уже заканчивался, но чемпионаты Европы или Кубки мира проходили, как правило, в летнее время, поэтому он с жадностью смотрел трансляции матчей по телевизору. Он страшно обрадовался памяtnому голу, забитому Марко ван Бэстеном в ворота советской сборной, и не раз вспоминал о нем годы спустя. Мы устраивали на газоне возле нашего дома в Уэлвин Гарден Сити всякие подвижные, шумные игры, пока наконец не выходил сосед и не прогонял нас, потому что мы не давали спать его ребенку. Телевизор Иосиф не особенно смотрел, хотя очень любил фильм «Полночный бег» с Робертом де Ниро и Чарльзом Гроудином. Вуди Аллена он, разумеется, терпеть не мог. И конечно же, был ненасытным читателем и не только поэзии; «свобода нужна для того, чтобы посещать библиотеку». Он

никогда не выходил без книги; помню, он брал у меня почитать «Dog Beneath the Skin» (Одена и Ишрвуда) и прихватил с собой в Нью-Йорк Ивлина Во, оставив записку на четырех языках: «Ich grab votre Vo»¹.

— *Иосиф был одиночкой или любителем общества?*

— В минуты, когда он не был поглощен работой, требующей уединения, он очень любил общество. Однажды я заметил, что я человек общительный, но не стадный. «Почему так?» — поинтересовался он, вполне, как мне показалось, серьезно. Само собой разумеется, Иосиф царил на всех сборищах, где я его видел. Никто не мог с ним тягаться — Иосиф никогда не был в роли слушателя... Сборищам, проходившим в его отсутствие, казалось, не хватало центра притяжения. Помню одну такую вечеринку в Хэмпстед, куда Иосиф явился в назначенный час, пометался по комнатам с возгласом: «Где веселье? Где веселье?» — и снова исчез, решив прогуляться.

— *В разговоре Иосиф нередко бывал авторитарен, вы согласны?*

— Подобное владение разговором вновь заставляет нас вспомнить об Одене, хотя я читал, что Оден очень удивлялся тому, как серьезно люди относятся к его словам. Иосиф был не столь скромен; он знал себе цену, и досталась она ему к тому же нелегко. Когда я сообщил, что в одной из рецензий его назвали гением, он просто фыркнул: «Опять?» Питер Портер сказал мне как-то раз, что Иосиф — самый высокомерный из всех, кого он встречал. Однако очень многие его просто обожали и прощали ему всё без исключения.

Дома, когда не работал, Иосиф вел себя грубовато-добродушно, но настойчиво: женщины обычно принимали игру и радостно подчинялись всем его прихотям. «Киса, ну, киса!» — этим нежным обращением Иосиф добивался, чего хотел, от тех, кого и вправду любил (Иосиф был большим любителем кошек и своих родителей тоже называл «кот» и «киса»). Мужчинам, думается, устоять против его чар было легче; что касается меня, то у меня это получалось от случая к случаю и требовало немалых усилий. Иосиф же, если получал отпор, издавал свое обычное «мяу» и переходил к тактике хорошо продуманного задабривания. Если же и после этого ему не

¹ Я присвоил вашего Во (нем., англ., фр., рус.).

удавалось достичь цели, он со вздохом говорил: «Ну ладно» или «Олрайт» с таким горестным видом, что вы, с вашей непреклонностью, чувствовали себя дураком. Однажды — дело было в Кенсингтоне — он вдруг заявил: «Поехали в Египет! Прямо сейчас!» Обаяние его личности, его напор были так сильны, что я почувствовал себя просто «кайфоломщиком», когда ответил: «Я предпочел бы этого не делать». Разумеется, он тут же догадался, откуда цитата (Герман Мелвилл, «Писец “Бартлби”¹»).

— Любил ли он щегольнуть своими обширными знаниями?

— Несмотря на или, может быть, благодаря отсутствию формального образования, Иосиф обладал огромной *сетью* знаний (которые без усталости пополнял) и мог молниеносно переключаться с футбола на Филби, с Филби на философию, завершая — это был его излюбленный прием — свои рассуждения каким-нибудь бесспорным афоризмом вроде: «В теории нужно уметь терять вес так же быстро, как и набирать»; «Зло — плохой стилист»; «Цивилизация распространяется всегда с юга на север; варварство — с востока на запад». Я предположил, что в данном случае он имеет в виду Европу, но он и не думал этого утверждать. Тогда я, притворившись наивным, спросил: «А как же китайцы?» Он посмотрел на меня долгим взглядом, улыбнулся и протянул: «А кому вообще есть дело до них?»

Не отличаясь англо-саксонскими нерешительностью и скромностью, Иосиф упрямо спорил по любому поводу, даже в тех редких случаях, когда не хватало его огромного запаса знаний — от Катулла до обуви «Кларк». Мы, например, долго не могли его убедить, что «Мадам Баттерфляй» и «Чио-чио-сан» — одна и та же опера. За этим крылось не просто упрямство — скорее это был его способ открывать что-то новое. Античная история не являлась его сильным местом, и все то время, которое мы были знакомы, он звонил с вопросами мне или Вероник Шильц из Стокгольма или Реджио Калабрия. Помню, как он спрашивал, в какое время года Велизарий выступил против вандалов.

¹ По-русски рассказ известен также под названием «Имбирный пряник».

— Как все мы знаем, Иосиф много путешествовал. Были ли вы в контакте, когда он уезжал?

— Он посылал мне открытки и письма из заморских земель, подписанные «Тарзан», «vostro monstro»¹ или, в подражание Эмили Дикинсон, «spinsterly yours»². Иногда в посланиях был какой-нибудь совет — по поводу чего, я уже не помню, — вроде: «Держись, ногти для этого и сделаны». Я сам прибежал к этой фразе в общении с другими людьми, и она всем нравилась. А в открытках нередко встречались вирши.

— Он был всегда радостным и бодрым? Или вам случалось видеть его тоскующим и удрученным?

— Иосиф не всегда был веселым и жизнерадостным. Его угнетали литературные распри, семейные заботы — и, разумеется, здоровье. Он редко поверял мне свои мысли на этот счет, но порой раздраженно восклицал: «Ой, блядь!» А в последние годы тер грудь и постанывал. «Бедный Иосиф», — говорил я обычно в таких случаях, а он повторял это с притворным отчаянием и со стоном. Он рассказал мне, что по пути в операционную, где ему предстояла операция на сердце, его вдруг охватило чувство удовлетворения: он вспомнил, что в утренних газетах напечатано его письмо в защиту Стивена Спендера от нападок Йена Гамильтона. И почувствовал, что на этой ноте можно уйти, если так суждено.

Чтобы не говорить все время о мрачном, расскажу, как Иосиф вдруг страшно забеспокоился, что начинает лысеть. Я заверил его, что это от избытка мужских гормонов, и он долго веселился по этому поводу. Но даже в лучшие моменты общения с ним непросто было вести разговоры ни о чем. Как с Витгенштейном, с Иосифом нужно было хорошенько подумать перед тем, как сказать банальность — он никогда не давал спуска: автоматических ответов не допускалось. Как выразился Шеймас Хини, Иосиф набирал высоту моментально, а планка повышалась постоянно.

— Иосиф поселился в Америке, но каждый год регулярно выбирался в Англию — выступал по всей стране с поэтическими чтениями, принимал участие в Международном фестивале по-

¹ «Ваше чудовище» (итал.).

² Игра слов: «sincerely yours» — «искренне ваш»; «spinster» — «старая дева»; т. е. «девственно ваш».

эзии как в Лондоне, так и в Кембридже. Он всегда останавливался у вас с Дианой?

— Да, по крайней мере, на какое-то время. На самом деле он приезжал чаще одного раза в год. Иногда случалось, что у него были ключи от лондонской квартиры кого-то из друзей. На лето он обычно забирался в какое-нибудь уединенное местечко, чтобы поработать, но мне кажется, что одиночество — не та вещь, которую Иосиф мог выносить долго. В какой-то год мы посоветовали ему поехать в Бервик-на-Твиде, что в Нортумберленде, но ему там не понравилось. Иосиф скучал там смертельно и каждый вечер звонил Диане. Похоже, там продавалась только мороженая рыба, что довольно странно для рыболовецкого порта.

— Помню, однажды вы упоминали о какой-то особенно продолжительной поездке Иосифа на север Англии. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Первый раз, когда с нами была Вероник, мы все вместе ездили в Бибури и Чипинг-Камден, что в Котсуолдсе; другой раз, уже с Иосифом, мы отправились в Солсбери и Стоунхендж. Летом 1974 года Иосиф изначально собирался взять напрокат «форд-эскорт», но в результате мы поехали на нашей машине. Мне велено было продумать маршрут, после чего мы вчетвером — Диана, я, Вероник и Иосиф — отправились на север. Первым пунктом был Блюнхэм, куда ежегодно, с 1622-го по 1631 год, навещался Джон Донн, в свою бытность настоятелем собора св. Павла в Лондоне. По деревенской традиции он на обратном пути нагружал свою карету огурцами и так возвращался в Лондон. Мы остановились в Лейтон-Бромсуолде, где Джордж Херберт был пребендарием, а затем в Литтл-Гиддинг, прославленном в «четырёх квартетах» Элиота. После посещения великолепных руин елизаветинского Керби-холла (обед среди роз) мы посетили дом в Вулсторпе, где родился Исаак Ньютон, поразглядывали геометрические чертежи великого ученого и посидели на склоне под знаменитой яблоней — хотя я так устал, что не мог вспомнить оденского «apple falling towards England»¹.

— А Иосиф вспоминал об Одене во время этой поездки?

— Когда мы ехали вдоль южного побережья Хамбера, я

¹ «Яблоко, упавшее на Англию».

вдруг обнаружил, что извиняюсь перед Иосифом за невзрачный ландшафт: протоки, пакгаузы, краны. Иосиф заверял меня с несколько, как мне показалось, напускной искренностью: «Мне нравится, честно, очень нравится!» Тогда еще я не понимал, до какой степени он подражал Одну: для него это был тот самый оденский индустриальный пейзаж. Ночь мы провели в Йорке, а на следующее утро отправились на родину Одена. Потом заехали в Коксуолд, в «Шенди-холл» Лоренса Стерна, а затем пробирались к лиловым от вереска торфяникам Северного Йорка мимо аббатства Риво и широких белых сводов старинной сигнальной системы Файлингдейла. Наконец, когда мы добрались до Уитби, горизонт, казалось, сливался с небом, в яркой синеве которого застыли суда. Иосиф был потрясен. «Я остаюсь здесь писать!» — воскликнул он.

Я отправился на Север своим ходом, сев в Уитби на поезд, но тут мне дозвонилась Диана и сказала, что я забрал с собой ключи от машины. Мы с сестрой вернули их на следующий день, приехав на машине из Тайнсайда. Иосиф, казалось, очень забеспокоился, когда Диана подошла в Уитби к полисмену с просьбой помочь открыть машину. «Не надо! Не надо!» — умолял он. В конце концов в процесс взламывания машины вовлечена была большая часть полицейских сил Уитби, которые потом приветствовали трех путешественников, бродивших по городу, и спрашивали, как у них дела. На Иосифа это произвело большое впечатление. У него остались от этой поездки кое-какие фотографии, которые сейчас хранятся в его архиве. На мой день рождения, который мы отмечали 20 августа того же года, он написал несколько проникновенных строк:

С ключом не приключись беда,
нам не узнать, где и когда
вы родились. Бездушный свет
бросают фары в давность лет.¹

И т. д. В итоге Иосиф не остался в Уитби работать. На обратном пути через Линкольн машина Дианы сломалась, и путешественникам помог какой-то автолюбитель. Он спро-

¹ Перевод с английского Вероники Капустиной.

сил у них, какой они национальности — русская, француженка и американец (так определил себя Иосиф). «Единственный, кто нам сейчас нужен, — заметил автолюбитель, — это немец».

У Иосифа как-то был поэтический вечер в Дареме, и мне удалось устроить его на ночлег в замке принца Бишопса XI века. Тогда же он посетил вал Адриана, но связал ли Одена с пейзажем этих мест, непонятно. Если так, он бы наверняка съездил в край, который Оден назвал «своей землей». Рукхоп, где Оден в 1922 году впервые осознал себя поэтом, всего в нескольких милях от Дарема, хотя и Болтс Ло, где он бросил знаменитый камень в затопленную шахту, вполне заслуживал посещения. Мне пришло в голову, что Филипп Ларкин, скорее всего, у себя в Хэйдон Бридж, что за пару миль от Адриана вала. Однажды я уже напоминал о Ларкине — Иосиф лишь мрачно ухмыльнулся: «Кошачьи вопли». Среди писателей всех времен, тем паче поэтов, не было для него более чуждого. Однако, в отличие от Одена, Иосиф не перегружал стихи обилием знаний. Стихи никогда не становились «эхом прочитанного в изгнании».

— *Что так привлекало Иосифа в Англии? Ее климат, история, язык, поэзия или все вместе?*

— Не помню, чтобы Иосиф хоть раз упомянул климат. Он знал, что Оден предпочитал осеннюю погоду — ураганный ветер и проливной дождь, — которая, вероятно, воспитывала стоическое отношение к жизни. Мелкие детали, подробности английской истории также были ему неизвестны. Он, разумеется, любил английскую поэзию. Можно сказать, что ему нравилось в Англии все вместе взятое, он просто был англофилом. Еще в Ленинграде он столь живо общался с англичанками, что получил прозвище «Англосекс». Но особенно его привлекали *люди*, которых он встречал в Англии. Он упивался разговорами с такими личностями, как Стивен Спендер или Исая Берлин. Он любил само звучание хорошего английского языка, безусловно предпочитая его американской речи.

Иосиф был очень восприимчив к атмосфере, царившей в том или ином месте, к духу этого места, его *genius loci*, но не к архитектуре. Он не замечал отдельных зданий. В последние годы он говорил мне, что хотел бы поселиться в Нортумбер-

ленде, даже быть там похороненным. Это явилось для меня полной неожиданностью, учитывая склонность Иосифа к классической, главным образом римской цивилизации. Но я просто сказал: «Для публичного человека это довольно далеко от арены действий». — «Каких действий?» — свирепо отозвался он. Конечно, он восхищался Венецией и Римом, где основал свой Фонд, призванный утолить «тоску по мировой культуре» нынешних русских писателей. Однажды в одном из садов Хэмпстеда он набрел на классический парковый орнамент; с блаженной улыбкой воздел руки к небу и произнес: «Рим!» В то же время, как и у Одена, во всем этом крылась некая двойственность. Оден выразил ее в стихотворении «Goodbye to the Mezzogiorno» и всегда говорил о себе как о человеке Севера, живущего не среди «лаймовых рощ». В 1947 году он писал: «Задолго до того, как я попал туда, Север Англии представлялся мне сказочной страной моих грез. Не исчезло это чувство и тогда, когда я наконец туда попал; до сих пор железнодорожный узел Кру остается для меня волнующей, первозданной границей, где кончается ненавистный юг и начинается север, мой север».

— *Иосиф тоже предпочитал север югу; вспомните его строки: «Север крошит металл, но щадит стекло. / Учит гортань проговорить “впусти”. / Холод меня воспитал и вложил перо / в пальцы, чтоб их согреть в горсти».*

— Да, Иосиф любил повторять, что он «северный человек». Однако ни одно из его странствий по Северу Англии не породило стихов, если не считать «Йорка», проникновенной дани памяти Одену — хотя Одена увезли из Йорка в Бирмингем в младенческом возрасте. Впоследствии с этим стихотворением, в котором были строки «Скоро четыре года, / как ты умер в австрийской гостинице», произошла история, повергшая Иосифа в оцепенение: издатель «Ньюйоркера», собиравшийся его напечатать, усомнился в том, что после смерти Одена прошли все те же четыре года... «Он, что, хочет, чтобы я каждый год его переписывал?» — смеялся Иосиф.

— *Иосиф считал Одена одним из лучших англоязычных поэтов; он подражал его поэтическим формам (вспомните хотя бы «На смерть Т. С. Элиота»), его сдержанному стилю, а судя по вашим словам, еще и его манерам?*

— До конца жизни Иосифа я так и не смог оценить всю

глубину его преклонения перед Оденом, которого он считал величайшим мыслителем XX века — что является, мягко говоря, необщепринятым взглядом. У своего героя Иосиф перенял, так сказать, английский язык, на котором говорят где-то между Англией и Америкой, богато уснастив его американскими разговорными оборотами. Хотя, в отличие от Одена, Иосиф не выкапывал какие-то фантастические слова в словаре. Особенно в последние годы он тяготел к краткости и афористичности речи, также характерной для Одена. Достаточно странным образом он использовал псевдоаристократические выражения Одена типа: «Это было бы чрезвычайно мило!» Он посетил Исландию, где Оден предположительно собирался проводить время от времени шесть месяцев в году, отрезанный от мира жилищем с маленькими оконцами. «Я люблю похолоднее» — так называлась статья Одена об Исландии, написанная в 1947 году. Во время пресловутой совместной экспедиции в Исландию в 1936 году Луи Макнис угрюмо заметил: «Все, до чего он дотрагивался, оказывалось сигаретой». Иосиф ведь тоже дымил как паровоз. Он носил мешковатую поношенную одежду, опять же в подражание Одену, и даже выпросил у меня как-то старое пальто с капюшоном и деревянными пуговицами, когда я собирался его выбросить. Иосиф прибыл из Исландии в шотландский порт Скрабстер, на нем была непромокаемая ветровка с плеча Михаила Барышникова. Он подарил ее мне, и я с гордостью носил ее несколько лет. Иосиф никак не мог расстаться со своей пишущей машинкой как частью того же образа, хотя где-то году в 1990-м он спросил меня, трудно ли освоить компьютер. Я сказал ему, что это займет у него неделю-другую, пока наконец он к нему не привыкнет. Но Иосиф так и не обзавелся компьютером.

Иосиф безусловно следовал некоторым поэтическим формам Одена и безличному стилю Элиота и раннего, до 1948 года, Одена, но никогда не пытался подражать блестящей аллитерации, характерной для стольких стихотворений Одена, не говоря уже о виртуозно написанном «The Age of Anxiety».

— *Иосиф посвятил вам с Дианой свой цикл «В Англии». Не могли бы рассказать подробнее об обстоятельствах этого посвящения?*

— Здесь особо нечего рассказывать. Иосиф неожиданно привез эти стихи Диане в Париж, где они были тогда с Веро-

ной. Стихи отражают его первые впечатления от Англии, которые у Иосифа ассоциировались с нами, — например, стихотворение «Йорк» связано с нашей совместной поездкой в Уитби. В «Ист Финчли» он размышляет о нашем доме в тихом пригороде Лондоне, носящем это название. Иосиф находил наше сонное жилище очень умиротворяющим. Мы оба — Диана и я — фигурируем в стихотворении, а наш волнистый попугайчик (который очень раздражал Иосифа) превращается в чучело перепелки. Помню, как однажды я заметил, что фуксии в саду напоминают балерин в пачках, и Иосиф ввел этот образ в стихотворение: «танцовщицы-фуксии».

Мне очень нравится этот цикл, хотя я очередной раз поразился тому, что Иосифу иногда сложно завершить стихотворение, не произведя при этом впечатления произвольности или неясности. Мне всегда казалось, что свои длинные стихи он стремится завершать по-оденски: афоризмом или какой-то всеобъемлющей глубокомысленной фразой, — но центробежное движение его мысли препятствует этому, и строки нарастают как снежный ком, неумолимо множась — совсем как расширяющаяся Вселенная. «Those images that yet / Fresh images beget...» («О, эти образы, которые порождают все новые и новые образы...»).

Длинные стихи должны на самом деле быть бесконечными — как «вавилонская библиотека» Борхеса. Короткие стихи Иосифа в этом отношении более удачны, и я с нежностью отношусь к своему переводу «Классического балета» из цикла «Часть речи».

— *Вы перевели на английский цикл «В Англии». Насколько Иосиф контролировал то, что вы делали?*

— Иосиф очень помог мне с переводом этих стихов, несмотря на то что до тех пор я ничего подобного не делал. Я старался как мог, и перевод был напечатан в нескольких журналах в Англии и в США. Помню, что «Ньюйоркер» счел невозможным оставить мою фразу «so it goes» в стихотворении «Йорк», потому что в Америке эта фраза стала крылатой после романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Кто-то изменил эту фразу на «and so on». Иосиф приписал на полях рукописи «etcetera», но этот вариант был хуже. Были и другие мелкие замечания и замены — все они согласовывались с Иосифом, не со мной, но в принципе можно сказать, что

перевод этого цикла, который был напечатан в журналах, делал я. Самое короткое стихотворение цикла, «Каменные деревни», вошло с тех пор в несколько антологий, транслировалось по радио и т. д., при этом обычно о нем говорят как о написанном под влиянием Ларкина — это нелепо, потому что сам Иосиф был о Ларкине невысокого мнения. Славы мне эти переводы не принесли, и вскоре Иосиф несколько переработал одно или два стихотворения перед тем, как включить их в «Часть речи». Там же он обезоруживающе объяснил причину такой переработки: «Мне хотелось бы поблагодарить каждого из моих переводчиков, потративших долгие часы на передачу моих стихов по-английски. Я взял на себя смелость переработать некоторые переводы с целью приблизить их к оригиналу, хотя, возможно, пожертвовав при этом их гладкостью». «Гладкость» в моих переводах означала одно из самых ругательных слов в лексиконе Иосифа — «cute»¹. Я не стал дурно истолковывать то, что Иосиф частично переписал мои переводы; напротив, я был очень счастлив оказаться в подмастерьях у гения, который считал это само собой разумеющимся.

— Ставили ли вы когда-нибудь под сомнение компетентность Иосифа в английском языке?

— Знаете, да. Как преподаватель английского, поначалу я это делал постоянно, но когда обнаружил — с некоторой долей отчаяния, — что Иосиф вовсе не расположен прислушиваться к моим здравым замечаниям, смирился. Если конечный вариант перевода устраивал Иосифа и его издателей, то кто я такой, чтобы возражать? Как сказал У. С. Филдс: «Если у вас не получится один раз, попробуйте еще раз; если и во второй раз не получится, бросьте. Не стоит выставлять себя дураком». Я был любителем в том мире, где он должен был выживать как профессионал. Я просто хотел предостеречь его от элементарных ошибок, вроде той, которую он сделал в «Трех рыцарях», где он принял мое множественное число «сагр» за опечатку и исправил на «сагрс». Этот ляпсус так и переходил из публикации в публикацию, несмотря на мои возражения. Были и другие примеры такого рода.

— Бродский воспитывался на традиции миметического сти-

¹ Привлекательный, очаровательный, миленький; умный, сообразительный (амер. разг.).

хотворного перевода, согласно которой любой другой перевод, не стремящийся к точной передаче оригинала, не имеет права на существование. Просил ли вас Иосиф соблюдать его рифмы и размер?

— Я понимал, что он лишь до некоторой степени удовлетворен переводом цикла «В Англии». Он стал уговаривать меня переводить миметически, сохраняя точную форму оригинала и даже схему рифмовки — довольно непривычный подход для Англии, в который я сам к тому же не слишком верю. Мы никогда не сотрудничали в том смысле, что никогда не работали над стихотворением вместе. Я переводил, он правил, не вдаваясь в долгие обсуждения. «Я тут кромсал твои шедевры», — безжалостно заявлял он, лишь только я возвращался с работы. Он так же иронически посмеивался, если заставал меня за подсчетом слогов. Меня раздражало, что он относится к переводу как к разгадыванию кроссворда. Переводчик на это ответил бы, что у кроссворда есть заведомое решение, тогда как перевод можно «решать» до бесконечности. В конце концов, и без фонтана красноречия Иосифа, «перевод рифмованной поэзии на английский с соблюдением рифмы — самое трудное из всех искусств», как сказал Роберт Конквест. Кстати, будучи услужливым дилетантом, я счастлив был работать бесплатно, хотя Иосиф приходил от этого в ярость: «Никакого этого долбаного Красного Креста! Разве я когда-нибудь просил тебя работать бесплатно?»

Существуют, как известно, серьезные возражения против миметического перевода, особенно если речь идет о переводах с русского — языка, в котором слова в среднем на пятьдесят процентов длиннее, чем в английском. Переводчик в иступлении начинает совать определенный и неопределенный артикли куда попало, тогда как русские слова самодостаточны. Использование тире и многоточий вполне бы соответствовало духу Одена, если не считать того, что в современном английском это выглядит претенциозно. Одним словом, английский язык известен своим сопротивлением рифме, пока, мягко говоря, не «рискнешь», по выражению, если не ошибаюсь, самого Иосифа. Беда лишь в том, что любая «рискованно»-сложная схема рифмовки выглядит в английском языке как ловкий трюк, привлекая внимание читателя к технике автора, в ущерб содержанию стихотворения.

— *Восхищали ли вас его упорство и ирония, с которыми он утверждал, что перевод должен точно передавать форму оригинала?*

— Я невольно восхищался его упрямством — отчасти потому, что чувствовал в глубине души его правоту. Был ли я подходящей кандидатурой, чтобы подобный трюк повернуть, другой вопрос. Но, странным образом, по мере того как я отчаянно трудился над миметическими версиями (Иосиф использовал только кнут, не пряник — не помню ни одной похвалы в свой адрес), меня постепенно охватывала дрожь, которая всегда появляется в тот момент, когда сложность задачи рождает вдохновение. Я в результате начинал думать как Иосиф. Это было единственно верным решением. Его наставление на первенстве рифмы также приобретало смысл; если это понять, то можно добиться движущего импульса стихотворения, если не конечного результата. Иногда, конечно, стихи Иосифа просто не выходили, и тогда я оставлял их ему на усмотрение: это привилегия поэта, не переводчика — переписывать стихи до полного удовлетворения! Иногда его предложения были действительно удачны. Первое стихотворение «Мексиканского дивертисмента» практически полностью переведено мной (за исключением сурка). Не помню, как началась у меня вторая строфа, но Иосиф предложил свой вариант: «The crystal, be it noted, smashed to sand». Блестяще, нечего сказать. Я бы никогда до этого не додумался. В то же время не следует забывать, что у человека, занимающегося переводом для собственного удовольствия, не всегда хватает времени на такое ответственное задание, как сочинение законченного гладкого перевода, который мэтр будет переделывать. Тот, кто хоть раз пробовал миметически перевести рифмованные стихи, знает, что в качестве пожирателя времени этому занятию нет равных. Незамеченными могут пройти дни и недели. Идеальное занятие для тюрьмы. Сначала я был удовлетворен работой «с автором». И это видно по стихотворению «Рождество 1971 года», где весь перевод мой, за исключением последней строки. Поэтому, видимо, многие и думали, что я работаю вместе с Иосифом. Но когда стихотворение в конечном итоге оказывалось переписанным полностью, я почувствовал, что у меня нет больше желания делить лавры поровну. И вызвано это было не шепетильностью и не

моим несуществующим честолюбием, мне просто было неловко. Одно или другое, думал я. В результате я сказал Иосифу, что необходимо выработать другой *modus operandi*, и мы решили, что я буду поставлять Иосифу своего рода полуфабрикат, каркас, достаточно сложный и богатый, с которым он уже будет обходиться по своему усмотрению. К 1990-м годам это стало делать все труднее и труднее, и в конечном итоге я, помимо стихов, начал переводить крупные прозаические произведения, в том числе «Идиота» для издательства Оксфордского университета.

— *Полуфабрикат для перевода Иосифом «Tristia» Мандельштама — ваших рук дело?*

— Нет, он прислал мне свой перевод «Tristia» в качестве примера, на что он способен, даже если ему не помогать. Замечательный результат! Одну строчку я помню до сих пор: «And candles twist the temple colonnade». Думаю, он немало потрудился над этим переводом, не знаю только, почему он не сделал еще больше. Я за свою жизнь перевел лишь одно стихотворение Мандельштама. Остальные просто не получились...

— *Вы перевели стихотворение Бродского «1972 год» теми же дактилями, которыми оно написано по-русски, хотя в английском этот размер используется лишь для легкой поэзии. Кому из вас двоих это пришло в голову?*

— Надеюсь, вы не думаете, что мне! Я бы скорее повесился. Мой перевод был жестоко искромсан и едва проглядывал в окончательном варианте, несмотря на то что мы, так сказать, работали вместе... Хотя мне не кажется, что перевод Иосифа намного лучше. Он столкнулся с разгадыванием кроссворда без посторонней помощи и хотя мог использовать мой перевод в качестве болванки, схема рифмовки *aaa b ccc b* плюс дактилический размер сделали в итоге свое дело: перевод демонстрирует скорее невероятный умственный атлетизм, перед которыми можно только преклониться, но не законченное стихотворение.

Тем не менее вся эта поэтическая акробатика повлияла на мой подход в целом. Роберт Фрост однажды сравнил свободные стихи с игрой в теннис без сетки, и сколько бы сомнительными ни были результаты моего сотрудничества с Иосифом, я чувствовал, что если буду и дальше переводить по-

эзию, то именно так: при помощи того же факсимильного воспроизведения. Не помню, когда именно возникла идея перевода русской поэзии начала XIX века, но занимался я этим на протяжении 1980-х годов. После интенсивного инструктажа, который я прошел в школе Иосифа, передача точных форм русских поэтов начала XIX века с их сравнительно ограниченным словарем и скромными рифмами показалась мне настоящим отдыхом. Там, разумеется, возникали свои сложности — например, подбор восьми разных рифм к слову «God» из стихотворения Вяземского «Русский Бог», — но в целом я чувствовал, что справляюсь с этим куда лучше.

— *Какое стихотворение Иосифа вы перевели последним?*

— Иосиф до конца жизни заказывал мне переводы своих стихов, и я закончил один из них — «Я позабыл тебя; но помню штукатурку...» (1993) — совсем незадолго до его смерти. Я верю, что в нем слышен голос автора, даже если его рука не успела, увы, по нему пройти.

— *Что привлекает переводчиков к поэзии Бродского?*

— Пока Иосиф был жив, я бы сказал, что привлекал он сам — «как Эверест, тем, что он есть». Нобелевский лауреат, противоречивая фигура в том числе в области перевода, влияние в литературных кругах, вызов, который представляют для переводчика его стихи. Недостижимая вершина перевода, если угодно. На самом деле я совершенно не знаю, как обстоят дела с современными его переводами, после 1996 года. Посвятил ли себя кто-нибудь миметической интерпретации? Меньшая преданность способна породить лишь бескрайние просторы верлибра, к которым Иосиф точно бы отнесся неодобрительно.

— *Вы также переводили прозу Бродского. Насколько тесно вы сотрудничали с Иосифом в данном случае?*

— Думаю, вы сами догадываетесь. Мы никак не сотрудничали. Иосиф писал прозу так, как — по чьему-то меткому замечанию — танцор ходит; работать над ней было одно сплошное удовольствие. Это тот тип литературы идей, который я люблю больше всего и лучше всего знаю. Он попросил меня перевести свое прекрасное эссе «Побег из Византии» («Путешествие в Стамбул»), напечатанное в «Ньюйоркере». Я переводил также его пьесы «Мрамор» и «Демократия». «Мрамор» кажется мне маленьким шедевром; мой вариант перево-

да сохранился практически полностью. Иосиф внес в него кое-какие изменения, но редакторы «Comparative Criticism» в Кембридже, напечатавшие его раньше «Penguin», внесли свою правку, которая вновь приблизила перевод к моему первоначальному варианту. Странно, почему так и не сделали его инсценировку на радио (я предлагал). Мое восприятие персонажей пьесы кардинальным образом отличается от восприятия Иосифа. Он соглашался с тем, что пьеса в чем-то напоминает Тома Стоппарда («и все же это не “R & G”»). Сначала, в письме ко мне от сентября 1982 года, он описывает Публия как «левантинца наружностью, грузного, коренастого», а позднее делает его «старше и худощавее, нечто среднее между Ли Мервином и мной». И хотя Туллий — этаким утонченный джентльмен, называющий Публия варваром и не отказывающий себе в удовольствии поразглагольствовать о времени, пространстве, свободе и прочем, Иосиф не устал утверждать, что в его пьесе нет ни одного сложного характера.

Иосиф добавил кое-что, несколько страниц, к «Демократии» — для усиления, на мой взгляд, ненужного. Больше здесь означает хуже, а диалоги в духе Бернарда Шоу заслужили высшую похвалу в благоприятных отзывах, которыми встречена была премьера «Демократии» в Лондонском Gate Theatre. Переводить эту пьесу было опять же бесконечно приятно.

— *Иосиф подверг суровой критике переводы Мандельштама на английский, выполненные Мервином и Раффелем.*

— Эти переводы вышли в 1973 году. Не помню всех подробностей рецензии Иосифа, но он наверняка разнес их в пух и прах в «New York Review of Books». Я не читал переводов Раффеля, но знаю, что подход Мервина-Брауна его глубоко разочаровал. Для Иосифа перевод означал поиск эквивалента, а не замены. И начинать следовало с передачи метрических особенностей оригинала. А перевод стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», сделанный Мервином-Брауном, скорее напоминает буквальный прозаический пересказ, разбитый на строки. Кто по этому переводу сможет догадаться, что оригинальная схема рифмовки АВВА или что в первой и последней строках по тринадцать слогов, а в тех, что посередине, — по двенадцать плюс женские окончания? Что осталось от формальной и ритмической виртуозности Мандельштама, отличающей его стихи?

Думаю, следует сказать, что Иосифу нравилось, как Роберт Трейси перевел «Камень». Это не совсем точный перевод, но в нем, насколько это возможно, сохранена схема рифмовки.

— *Чем совершеннее был русский оригинал, тем хуже удавалось Бродскому передать его по-английски. Я имею в виду его цикл «Часть речи». Способен ли английский язык передать поэзию Бродского?*

— Тот же вопрос можно задать по поводу любого иностранного поэта. Кто-то сказал, что поэтов второго ряда переводить значительно проще, нежели поэтов первого ряда. При этом в пример приводился успех Эдгара Аллана По во Франции или Байрона где угодно. Если это действительно так, то это великая, хоть и запоздалая дань Бродскому как поэту. Односложный ответ на ваш вопрос — да. Английский язык безусловно способен передать поэзию Бродского (или, по его собственному выражению, придумать эквивалент) так же, как он способен передать Мандельштама. Но столь же простым фактом является и то, что это очень трудоемкий процесс; почему — я об этом уже говорил, говоря о миметическом переводе вообще. Это процесс изматывающий, пожирающий массу времени и, следовательно, нерентабельный.

Я хочу лишь подчеркнуть, что нет оснований утверждать, что такой тип стихов непереводим или что английский язык не способен их передать, — общее мнение в отношении поэзии Бродского.

— *Крэйг Рейн заклеил английский язык Бродского как ошибочный и странный; Джерри Смит писал, что «общий уровень автопереводов Бродского часто граничит с провалом». Согласны ли вы с ними? Как воспринимал Иосиф схожую критику от английских поэтов, таких как Питер Портер или Дональд Дэйви?*

— В прозе его случайные промахи в том, что касается идиом или словоупотребления, мне скорее дороги, особенно его использование слова «replete», которое я однажды при нем употребил, а он взял на вооружение. Парадоксальным образом эти незначительные солицизмы заставляют читателя чувствовать себя ближе к автору. Скорее, чем когда читаешь отточенную прозу, здесь, за не совсем привычной вербальной формулировкой можно ощутить и прочувствовать

напряженную мысль автора. Читатель сосредотачивает внимание на самой идее, легкой в основу содержания. Случайные языковые ляпсусы легко прощаются; в любом случае они в чем-то эмблематичны для авторской позиции Иосифа, которая зачастую расположена слегка под углом к остальной части вселенной.

Что касается стихотворных переводов, то здесь, по всей видимости, я вынужден согласиться с Рейном и Смитом, хотя и с тяжелым сердцем. К сожалению, я знаю, что Иосиф бросался в крайности из-за неспособности своих переводчиков, меня в том числе, передать силу и прежде всего энергию — так, как он сам ее понимал, — своих оригинальных стихов. Его раздражала предсказуемая гладкость этих переводов, и он стремился привить им энергию, неровный, сбивчивый ритм («ближе к оригиналу», по его собственному выражению). Он склонен был считать сопротивление протестом оскорбленной личности и, как я уже говорил, не слишком высоко ставил перевод как таковой. Иосиф хотел писать по-английски как мэтр, а не как ученик, но раздражающие трудности миметического перевода слишком часто оказывались непреодолимыми. Аналогия с разгадыванием «кроссворда», должно быть, обернулась против него, хотя временами возникает чувство, что он действительно прочесывает клетки кроссворда или поле скрэббла в отчаянных поисках нужного слова. Неужели тяжесть его повседневного существования привела к тому, что он недооценивал, сколько времени потребуется на выполнение задачи, которую он себе поставил? Все вышесказанное не отрицает наличия потрясающих строк, а то и целых кусков в «So forth» и других вещах — эпизодов, заставляющих читателей снова испытывать дрожь, обнаруживая эти бриллианты среди необработанных изумрудов и наскоро отесанных камней... Сама странность, непривычность этих эпизодов заставляет меня сосредотачиваться на том, что Иосиф хочет сказать; в каком-то смысле они являются высшей точкой творческого напряжения.

Питер Портер высказал нечто подобное, написав о «Части речи»: «Несмотря на все мои замечания, я считаю книгу Бродского очень глубокой и смелой».

Иосиф всегда повторял, что не читает критики, и, насколько я могу судить, это так и было. Если не ошибаюсь, Оден

говорил то же самое. Думаю, он просто не считал, что они расскажут ему что-то новое. Я никогда не слышал, чтобы он был задет приемом, который оказали критики его автопереводам. Непреклонность, которая была в его характере, влекла за собой определенную гордость, отрицающую саму мысль о возможной неудаче. В конце концов, он мог найти какого-нибудь поэта-американца, который прошелся бы по стихам и по крайней мере исправил бы ошибки в идиоматических оборотах и словоупотреблении. Каковы бы ни были причины, по которым он этого не делал, я не устаю задаваться другим вопросом — почему не вмешались его издатели? Кто-нибудь у них спрашивал?

— *Для многих критиков Бродский в своих автопереводах вольно или невольно выглядит другим, чужим, непривычным. Способен ли поэт сам себя перевести?*

— Ну, думаю, всем известно, что английские поэты, как правило, равнодушно читают собственные стихи, поэтому, возможно, мы в данном случае имеем дело с подобным феноменом. Поэт, возможно, слишком погружен в собственную культурную и языковую среду, слишком много вложил самого себя в свою работу, чтобы быть способным просто передать свои идеи, смиренно подчинившись тексту. Он не захочет пойти на компромисс, а посему задаст себе немислимые стандарты. Лучшим интерпретатором, переводчиком поэзии является ученый, человек высокообразованный, но при этом без собственных поэтических амбиций. На ступеньку выше безобидного работяги, коим является автор подстрочника.

— *Высказывал ли Иосиф когда-нибудь сожаления по поводу того, что он обосновался в Америке, а не в Англии или где-нибудь в Европе?*

— Иосиф принял Соединенные Штаты и американский образ жизни с ребяческим восторгом. Не говоря уже об использовании трансатлантического диалекта, он, если не ошибаюсь, завел пуховое одеяло той же расцветки, что и американский флаг, и назвал кота Миссисипи... Любил потолковать о достоинствах «Chivas Regal»¹. «Моя страна!» — восклицал он с насмешливой гордостью в любом удобном случае. В Аме-

¹ Марка американского виски.

рике его слегка раздражало лишь одно: он предпочитал звучные, истинно английские фамилии, вроде тех, которые встречались ему в книгах по XVII веку — Фэрфакс, Кромвель, Марвелл, Мильтон — разношерстным американским именам. Однажды он вполне серьезно обсуждал со мной оттенки слова «греу»; трансатлантическое «ггау» он недолюбливал. Как я уже говорил, Иосиф упивался звучанием образованной английской речи.

И Диане, и мне всегда казалось, что в Англии Иосиф был больше собой, более домашним, так сказать. Мы чувствовали, что на самом деле живет он здесь, а в других местах живет какой-то другой человек. У него были друзья, и он подолгу бывал не только в Америке, но и в Исландии, в Голландии, в Швеции, в Италии, в других местах, но где бы он ни находился, для нас это было частью его статуса публичного человека. Он был невысокого мнения о Франции и французской поэзии, что очень огорчало Веронику. Возможно, он и здесь шел по стопам Одена, презиравшего французскую поэзию за излишнюю эмоциональность в ущерб философичности, хотя мне кажется, что скорее это было вызвано незнанием языка. Итальянского он тоже не знал, но взял на себя труд его выучить.

— Вы не находите странным, что при всем тонком и глубоком проникновении в язык вообще, Иосиф был крайне неуверен в своем разговорном английском?

— Несмотря на нерушимую веру в собственные таланты, включая высокую оценку своих переводов, Иосиф испытывал порой странную неуверенность. Однажды, когда он должен был выступить с речью в Британской академии в Лондоне, он признался нам, что страшно паникует по этому поводу. Я догадался, что он принял это собрание за Королевскую академию или даже за Королевское Общество — как бы там ни было, он всё перепутал. Я пытался убедить его, что Британская академия состоит «исключительно» из британских интеллектуалов, как, например, сэр Исайя Берлин, с которым Иосиф чувствовал себя свободно. Но не вышло. Иосиф достиг апогея волнения и никак не мог от него избавиться. Он грешил определенными языковыми штампами — или «тиками», — например, любил говорить «etcetera» три раза подряд или «секундочку, секундочку», но они позволяли ему по-

добрать нужное английское слово. И все в таком роде.

— *Вы работали вместе с Иосифом над антологией русской поэзии XIX века, «An Age Ago» («Сто лет назад»). Расскажите об этом поподробнее.*

— Эпопея с публикацией антологии «An Age Ago» тянулась на протяжении большей части 1980-х. Мы с Иосифом потратили много времени на подбор авторов. Иосиф также составил подборку стихов, которые я должен был перевести. Затем он стал подыскивать издательство, которое бы заинтересовалось нашим проектом, — он демонстрировал им, сколько стихов должно было войти в антологию и в каком порядке. Я меж тем работал, пытаюсь понять, что «выйдет», а что «не выйдет». Иосиф так по-настоящему и не вник в процесс перевода и терял терпение, когда я переставал переводить, скажем, Вяземского. В результате лучшее стихотворение антологии — как раз Вяземский. Опять же не помню, чтобы он хвалил меня открыто. До меня, однако, дошли слухи — через издательство «Farrar, Straus & Giroux», — что Иосиф считал мои переводы Фета лучше оригинала. У меня также сохранилось письмо Иосифа, в котором он говорит, что мои переводы Тютчева «удивительно хороши». Их читали Ричард Уилбер и Иосиф на поэтическом вечере в Маунт-Холиоке, состоявшемся в 1983 году и имевшем большой успех. Он писал: «Должен сказать, что реакция превзошла все мои ожидания. Некоторые переводы просто потрясающи. После вечера очень многие люди говорили мне, что не представляли всего богатства русской поэзии, что глубина ее бесконечна, что теперь они наконец поняли, откуда берет истоки русский роман».

Тем не менее прошли годы, пока Иосиф написал наконец свои комментарии и предисловие. Почему-то, по какой-то неведомой мне причине, он хотел, чтобы я включил в антологию длиннущее стихотворение А. К. Толстого «Сон Попова», которое бы абсолютно нарушило структуру книги, даже если бы я исхитрился его перевести. Он долгое время настаивал, а когда наконец убедился в тщетности своих попыток, я догадался о причинах его настойчивости: от этого зависел исход затянувшихся переговоров о «доле» Иосифа. Он явно не хотел выступать единственным составителем антологии (я добавил кое-что по своему выбору). В предисловии он достаточно осторожно отзывается о моей работе, и это странно:

его одобрительное отношение к миметическому подходу, который я использовал в переводе, было хорошо известно, не говоря уже о похвалах в адрес отдельных авторов, чьи стихи в моих переводах еще раньше были напечатаны в «New York Review of Books». Для меня этот эпизод так и остался загадкой.

— *Бродский говорил, что «личные качества поэта — его характер и эстетическая культура — оказывают прямое влияние на содержание и форму его поэзии» (о Горбаневской). Проследивается ли подобная зависимость в его собственной поэзии?*

— Подобное заявление, возможно, слишком широко, чтобы строить на нем свои гипотезы. Не трюизм ли это? Но как бы там ни было, наиболее яркое качество поэзии Иосифа — это, на мой взгляд, своего рода врожденная универсальность, широта видения, постоянное, живое обращение к пространству и времени. О Витгенштейне говорилось, что он постоянно подгонял себя, не давал расслабиться, без усталости пытаясь найти слабое место в своих рассуждениях. Добавьте к этому личную глубочайшую страсть и затаенную боль, и вы получите, как мне кажется, достоверную картину поэтического мира Иосифа. Большинство людей считали Витгенштейна самым незаурядным и запоминающимся человеком из всех, кого они встречали, и Иосиф безусловно принадлежит к той же категории.

— *Вы явно очень любили Иосифа, несмотря на ваши мелкие и крупные разногласия. В вашей жизни он занимал важное место?*

— В последние годы я видел его сравнительно редко, особенно после его женитьбы и рождения дочери. Да и сам я в то время был занят своими большими прозаическими переводами. Но я всегда ощущал его присутствие; он был нравственным полюсом моего существования, и сейчас я постоянно ощущаю невосполнимость этой утраты. Я часто перечитываю его. И если я случайно выставил его в каких-то ситуациях чудовищем, нет ничего более далекого от истины. Его преданность музе была безгранична, бескомпромиссна, но злым он не был никогда. Напротив, это был неиссякающий источник остроумия, щедрости души и возвышенности чувств. Все, кто близко его знал, почитали за привилегию жить с ним на одной планете.

ДЭНИЭЛ УАЙССБОРТ, ФЕВРАЛЬ 2005, ЛОНДОН

— *Кто вас познакомил с поэзией Бродского и когда?*

— Никто: я сам с ним познакомился на литературном вечере в «Куин Элизабет Холл» в Лондоне. Это был вечер в рамках фестиваля поэзии, кажется, году в 1972-м.

— *Расскажите о выступлении Бродского на Международном фестивале поэзии в Лондоне, 14-24 июня 1972 года, куда Оден привез Бродского из Австрии. Вы были директором этого фестиваля...*

— Воспоминания довольно яркие. Иосиф приехал с Оден из Австрии, и Оден, насколько мог, «защищал» его от журналистов и прочих. Сам вечер стал сенсацией, и я подробно его описал в своей книге «From Russian with love» (2004). Как известно, Лоуэлл читал стихи Бродского по-английски, но это мне абсолютно не запомнилось, столь неизгладимым было впечатление от самого Бродского. Несмотря на то что мы слышали чтения других русских поэтов — в частности, Вознесенского и Евтушенко, — мы, слушатели, были совсем

Дэниэл Уайссборт — поэт, переводчик. Выпускник Кембриджского университета, изучал русскую историю в Лондонской школе экономики. Вместе с Тедом Хьюзом, Поэтом-лауреатом Англии, основал журнал «Современная поэзия в переводах». Заслуженный профессор университета штата Айова, почетный профессор Центра переводов и сравнительных культурных исследований Университета Уорвика. Редактор, совместно с Джоном Глэдом, антологии «Русская поэзия XX века» (Айова, 1992) и, совместно с Валентиной Полухиной, «Антологии современной русской женской поэзии» (Айова, 2005). Редактировал сборник «Русская послевоенная поэзия» (издательство «Пингвин»).

не готовы к гипнотизирующей манере чтения Бродского. Он читал по памяти, без бумажки — как, между прочим, Оден и, скажем, Роберт Грейвз — но время от времени сбивался или забывал строчку, и расстроено стучал себя по лбу. Он, очевидно, был очень напряжен, что неудивительно, если учитывать обстоятельства. Это было ошеломляющее, и в то же время в чем-то трагическое выступление. То есть в нем была какая-то трагическая составляющая: молодой поэт, практически один на сцене (хотя, конечно, Лоуэлл там тоже был!), один в целом мире, и рядом ничего — ничего, кроме его стихов, ничего, кроме русского языка, «мастером» которого он был, он сам предпочел бы сказать — «слугой».

— *Как английские слушатели реагировали на литургически-монотонную манеру чтения Бродского?*

— Насколько я помню, слушатели — то есть мы все — реагировали соответственно, что неудивительно, принимая во внимание то, о чем я только что сказал. Когда чтение окончилось, аудитория потрясенно молчала. Молчал и поэт на сцене — недоступный, опустошенный, выглядевший собственной тенью. Как будто из воздуха выкачали звук. И это была самая правильная реакция — беззвучие, в котором слышишь лишь собственное дыхание, чувствуешь присутствие лишь собственного физического тела, своей — изолированной — личности... Сказать, что мы были под впечатлением, было бы слабовато. Мы были тронуты — не только эмоционально, но и физически.

— *Вы общались с Бродским во время его первого визита в Англию?*

— Кажется, нет: он недолго здесь пробыл. Отсюда он отправился в Америку, в Мичиган, чтобы устроиться на должность в Мичиганском университете, которую ему организовал Карл Проффер. Разумеется, я общался с Бродским в его последующие визиты в Лондон.

— *В 1973 году вы уехали в Америку преподавать в Университете штата Айова и руководить отделением переводов. Вы часто общались с Бродским — лично, по телефону или в письмах?*

— Я видел его по крайней мере однажды в Энн Арборе и довольно часто встречался с ним после его переезда в Нью-Йорк, поскольку я сам бывал в Нью-Йорке как минимум два-

ды в год — проездом в Англию. Время от времени я звонил ему, чтобы узнать его мнение о том о сем. Когда он жил в Амхерсте, я консультировался с ним по поводу преподавания: я только что получил место в Айове, а он уже преподавал и имел некоторый опыт в этой таинственной профессии. А у меня опыта не было, и это меня беспокоило. Но он сказал, чтобы я не волновался, так как все, что я, европеец, произнесу, будет для студентов интересным.

— *Иосиф приезжал в Университет Айовы по крайней мере трижды — что вы помните об этих визитах?*

— Опять же, я помню его потрясающие выступления, его чтения. Всякий раз я читал английские переводы, поэтому видел его вблизи. Он был выдающимся исполнителем, и его память всегда меня поражала: он помнил все свои длинные и сложные стихотворения, и — в отличие от того первого раза в Лондоне — он читал их безукоризненно, лишь иногда делая паузу, чтобы припомнить строчку. Он был открытым, но в то же время несколько утрашающим. Отвечал на вопросы, хотя и несколько небрежно, как бы презрительно. Но конечно, американских студентов это не сбивало с толку. Мне кажется, что ему нравилась эта атмосфера вопросов-ответов. Я помню, его как-то спросили о Солженицыне, и он не рассердился, как ожидали, а ответил: «Для меня большая честь писать на одном языке с Александром Исаевичем»¹.

Как-то в 1987 году Иосиф прилетел в Айову около полудня и сразу спросил, какие у меня планы на этот день. Я ответил, что у меня занятия по литературному переводу. Он сказал: «Давай проведем их вместе». В результате я вошел в аудиторию, где сидела небольшая группа дипломников, в сопровождении новоиспеченного Нобелевского лауреата. Иосиф сказал, что только послушает, но уже вскоре втянул меня в диалог, который постепенно становился монологом. Кончилось все тем, что он отвечал на вопросы воодушевленных студентов.

— *Вы обнаружили что-нибудь общее между вами и Брод-*

¹ Вопросы и ответы после выступления Бродского в университете Айовы в 1978 г., под заголовком «В Солженицыне Россия обрела своего Гомера», см. Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 44—50.

ским? Скажем, разделяете ли вы его представление о поэзии как о силе, оздоравливающей разум и душу человека?

— Мы едва ли обсуждали с ним такие вещи! Тем не менее я верю в то, что поэзия — это разновидность терапии, как же иначе — и для писателя, и, в меньшей степени, для читателя.

— Что из его стихов вы перевели в первую очередь?

— Я переводил те стихи, что вошли в его первый сборник, «Остановка в пустыне», изданный Чеховским издательским домом в Нью-Йорке. Я не помню, какие именно стихи, но это, конечно, были ранние тексты — те, что он неохотно включал в позднейшие издания. Кроме того, я перевел, по его просьбе, цикл «Часть речи», но это было позднее.

— Я знаю, что вы переводили «Еврейское кладбище», «Из школьной антологии» и «Лагуну». Когда Иосиф начал вмешиваться в ваши переводы?

— В «Еврейское кладбище» он не вмешивался. Ему, как известно, не слишком нравилось это стихотворение, но он не возражал против его публикации в антологии «Русская послевоенная поэзия», которую я редактировал. Во время работы над «Лагуной» и другими текстами я уже был близко знаком с Иосифом, и мы обсуждали некоторые детали перевода. Он, разумеется, принуждал меня как можно ближе придерживаться формы исходного текста. В частности, он хотел, чтобы рифмы были сохранены.

— Когда вы начали систематически переводить его стихи?

— Я никогда не переводил их систематически. Как я сказал, я перевел несколько его ранних работ еще до того, как мы познакомились. В то время меня особенно интересовало одно его стихотворение, «Холмы». Я сделал черновой вариант перевода, но не довел его до конца. Это очень раннее, но пленительное стихотворение — как мне казалось, новелла, заключенная в сложную стихотворную форму.

— У вас с Иосифом были разногласия по поводу подхода к переводам?

— Да, мы чуть не разругались на этой почве! В то время я был твердо убежден, что переводчик поэзии должен сосредоточиться на строгом и четком смысловом воспроизведении оригинала. Любая попытка приблизиться к форме, для столь разных языков как английский и русский, по моим тогдашним представлениям, вела бы к предательству — семантичес-

кому предательству исходного текста. Я тогда был согласен с точкой зрения Набокова на этот счет¹.

— *Бродский известен тем, что он устанавливал правила, будь то в поэзии (ее моральные ценности), преподавании (он настаивал, чтобы студенты учили стихи наизусть) или технике перевода (он считал важным сохранение размера и рифмы). Насколько гибким или упрямым он был со своими переводчиками?*

— По-моему, он не доверял переводчикам. Я не стал бы его в этом обвинять: вся его жизнь была посвящена поэзии — в особенности русской поэзии. Он просто не принимал ограничений перевода. Этой точке зрения можно сочувствовать, но она не облегчала работу с ним.

— *Что его заставило переводить собственные стихи?*

— Думаю, то, что он оказался в двуязычной ситуации: русский поэт, живущий в Америке, в англоязычной — американской — среде. Кроме того, из-за его абсолютистского подхода к переводам, не разделяемого его переводчиками, единственным честным шагом для него был бы собственный перевод стихов. А еще, конечно, он очень много переводил на русский. Он очень ценил английских поэтов, в особенности метафизиков, как известно. Для того, кто перевел Джона Донна на русский, нет ничего невозможного!

— *Может ли английский читатель усмотреть разницу между стихами, написанными Бродским по-английски, и стихами, переведенными им с русского?*

— Думаю, да — потому, что большинство стихотворений, написанных Бродским по-английски, довольно просты (это как бы Оден в облегченном стиле), в то время как его автопереводы с русского зачастую достаточно сложны. С другой стороны, между ними есть и что-то общее, поскольку у Иосифа выработался своеобразный способ употребления английского языка.

— *В сборнике «Меньше единицы» (1986) из восемнадцати эссе только три в оригинале написаны по-русски. Вы знаете, как и почему Бродский начал писать по-английски?*

¹ Vladimir Nabokov. Problems of Translating «Onegin» in English // Partisan Review. 22 (1955). P. 496—512.

— Боюсь что нет, но очевидно, что для человека смелого — если не сказать безрассудного — каким был Бродский, искушение писать по-английски, обходя тем самым потребность в переводе, неизбежно искажающем оригинал, было непреодолимым.

— *Вы как-то сказали, что когда вы читаете Бродского по-английски, вы слышите голос Бродского по-русски...*

— Я даже вижу Иосифа, его руки, напряженные в карманах пиджака, выступающую челюсть, пристальный взгляд, как бы на что-то, привлечшее его внимание, в то время как он продолжает чуть рассеянно произносить строки, то есть пока строки продолжают им произноситься. Его голос повышается симфонически: «...Сын или Бог...», уже (как ни странно?) на пути к внезапному снижению — а затем пауза, и падение на полную октаву: «...я твой», — и поэт, с почти смущенным, неохотным поклоном и мимолетной страдальческой улыбкой покидает свое стихотворение.

— *Бродский переносил поэтику английских метафизиков на русскую почву, начиная с «Большой элегии Джону Донну» (1963), за которую Ахматова назвала его гением. В других стихах — таких как «Пенье без музыки» (1970), «Бабочка» (1973), «Горение» (1981) — он, по словам Чеслава Милоша, «пересмотрел, оживил и обогатил» поэтическую традицию XVII века. Что, по-вашему, заставило Бродского обратиться к великим елизаветинцам?*

— Не знаю. Думаю, он усматривал с ними духовную близость. Все поэты, великие в особенности, знают своих предшественников лучше, чем современников. Это почти всё, что я могу сказать. Можно провести параллели между замысловатой поэтикой, скажем, «Бабочки», и некоторыми стихами Джона Донна.

— *Вам не кажется, что четкость метафизического мышления, свойственная Бродскому, утрачена в современной поэзии?*

— Трудно сказать. Возможно, Бродский был инстинктивным метафизиком, в донновском смысле. Но я не уверен в этом, поскольку он был способен и на стихи-откровения, и на лирику величайшей простоты.

— *Бродского часто зачисляют в одну компанию с Чеславом Милошем, Шеймасом Хини, Дерекотом Уолкоттом, Марком Стрэндом и Лесом Марреем. Трое из них, кроме Бродского, стали Но-*

белевскими лауреатами. Вы считаете их поэтами одного уровня или у вас своя иерархия?

— Можно понять, почему его сравнивают с Милошем: оба изгнанники, оба славяне (хотя, конечно, Бродский был «иудейским славянином», если так можно сказать). Что до остальных, то думаю, что некая социальная иерархия существует и в литературном мире. Не могу обсуждать их отношения — я просто многого о них не знаю. Ему нравились бонвиваны, такие как Хини или Уолкотт. Он также любил интеллектуальные дуэли, а все эти литераторы — опытные дуэлянты.

— Из этой пятерки только Бродский и Милош писали не по-английски, так что они изначально находились в более слабой позиции по сравнению с остальными. Может ли англоязычный читатель их оценить в полной мере?

— Нет, разумеется. Чтобы постичь Бродского, нужно в первую очередь читать его по-русски. Тем не менее, поскольку он — как и Милош — жил в англоязычной среде и уделял довольно большое внимание своим переводам, у англоязычных читателей, как мне представляется, есть возможность приблизиться к оригиналу. Бродский существует в обоих языках как факт, а не только потому, что он, как всякий крупный поэт, был переведен. Он стал настолько крупной фигурой в литературе, что, на мой взгляд, оказал влияние и на английскую просодию. Разумеется, многие со мной в этом не согласятся.

— Когда Иосиф был жив, британская пресса регулярно его публиковала. Как он вписывался в английскую поэтическую среду?

— Не думаю, что он как-то вписывался. Английское общество куда менее гостеприимно, чем американское — по очевидным причинам. Иосиф любил Англию, но, по моему мнению, ему пришлось бы несравненно труднее, реши он поселиться здесь, а не в США. Хотя он был настолько упрямым и настолько великодушным, что, возможно, он и это преодолел бы!

— Как вы думаете, что явилось причиной того, что британская пресса, включая литературное приложение к газете «Таймс», перестала публиковать Бродского?

— Кто знает? Периодику вообще мало интересуют мертвые поэты, кроме, возможно, давно умерших.

— Его книги трудно найти в лондонских магазинах, и работы о нем практически не рецензируются в английской прессе.

Сохранился ли какой-либо интерес к творчеству Бродского у английских поэтов и критиков?

— Интерес есть, но давление «снизу» так велико, что Бродский утратил свои позиции. Но он вернется!

— *Как вы объясняете абсолютизм во взглядах Бродского на поэзию, пророческий тон, который, должно быть, кажется современным британским поэтам странным и даже высокомерным?*

— Это, опять же, можно объяснить русскими историческими условиями. В случае Бродского это сложилось из его личной судьбы, из того — пусть он и был склонен это преуменьшать, — что его история была символичной для определенного периода XX века, приведшего в конце концов к крушению Советского Союза.

— *Для американских и английских литературных кругов Бродский всегда был трудным, но интересным объектом. Какую реакцию он вызывал у вас?*

— Как я уже сказал, я не был с ним знаком лично, когда начинал его переводить. С другой стороны, с его помощью я осознал важность литературы, важность слова. Я это связываю с нашим еврейским происхождением — хотя Иосиф вряд ли согласился бы со мной! Мы, евреи, как мой отец всегда повторял — дети Книги.

— *Как бы вы описали духовный кругозор Бродского? Был он чуток к религии или не мог принимать любую веру без иронии?*

— Я думаю, что он воспринимал религию, хотя, опять-таки, это было малозаметно. Он был ироничен, это правда, по поводу официальных религий, и временами выглядел достаточно высокомерно — в этом отношении и во многих других — но в глубинном смысле он был религиозным, я бы даже сказал, богобоязненным.

— *Давайте поговорим о нем как о человеке. Бродский был нежным и грубым, скромным и высокомерным, я могу продолжать список противоречий в его характере. Какие из его качеств были вам особенно симпатичны?*

— Ну что в нем было обаятельного, так это, конечно, его обаяние! Но в нем был некий дух противоречия: если он видел, что вы его слишком начинали обожать, он делал нечто, что заставляло вас почти ненавидеть его. Но главное, что сейчас вспоминается, это его нежность, уязвимость — и невероятная щедрость, во всех смыслах.

— Иосиф любил составлять «список для прачечной», как он это называл — из имен современников. Поэты, которых он любил, известны. Вы можете назвать несколько имен, которые он презирал?

— Один из поэтов, которых он определенно не любил, — Евтушенко, хотя я думаю, что он до некоторой степени уважал его писательские способности — более, чем его литературного двойника Вознесенского. Я не знаю, кого он презирал, но таких было, вероятно, немало. Он не очень-то ценил Винокурова, поэта военных лет, которого я ставлю довольно высоко. Он, безусловно, презирал «официальных» советских поэтов, созданий режима, который он терпеть не мог. Но вот насчет английских поэтов я не уверен. Я не думаю, что он хорошо понимал наших крупных поэтов, Хьюза например. Думаю, Ларкин ему нравился...

— Как вы думаете, почему Бродский и Тед Хьюз были слепы к поэзии друг друга?

— Тед знал Бродского лишь по переводам. Он не слишком любил Одена, а Бродский был под сильным влиянием Одена. Что касается работ Теда, я думаю, Бродский воспринимал его как певца природы, и всё. Это ему было неинтересно, хотя я знаю, что лично к Теду он относился с некоторой привязанностью. Они существовали в разных мирах, в разных языках и, насколько мне известно, просто не слишком хорошо знали творчество друг друга.

— В примечаниях к вашей книге стихов «Письма к Теду», которую вы посвятили памяти Теда Хьюза и Иосифа Бродского, вы пишете, что и Тед, и Иосиф поддерживали вас в вашей работе над переводами Николая Заболоцкого. В чем выражалась эта поддержка?

— Иосиф высоко ценил Заболоцкого, считая его бесспорно выдающимся поэтом, почти на уровне Ахматовой и Цветаевой, хотя, как мне кажется, он сомневался в моей способности перевести его. Позднее его мнение до некоторой степени изменилось — или он просто понял, что меня ничто не остановит — и очень щедро предложил свою помощь, в самом конце своей жизни, когда состояние его здоровья становилось уже угрожающим и когда, как многим казалось бы, он не должен был тратить время на что-либо, кроме собственной работы. Но одной из его задач, конечно, было способ-

ствование переводам поэтов, которых он любил, и Заболоцкого в том числе.

— *Вы назвали свою недавнюю книгу о Бродском «From Russian with love» («Из русского с любовью»). Расскажите, откуда появилось это название и как оно связано с содержанием книги.*

— Когда я впервые увидел Бродского — как я уже упоминал, на фестивале в «Куин Элизабет Холл» — у меня был экземпляр «Остановки в пустыне», который я попросил подписать. Он написал «From Russian with love», явно имея в виду фильм о Джеймсе Бонде. Но вместо «Russia» он написал «Russian» — должно быть, намеренно, зная Иосифа, — что подсказало мне маршрут некоего литературного путешествия — из русского в английский, — которое я неизбежно соединил с занятием литературным переводом, что стало лейтмотивом нашей с Иосифом дружбы.

— *Какова, если можно так сказать, основная тема вашей книги?*

— Думаю, в ней я старался убедить довольно скептически настроенную аудиторию — в особенности британскую литературную аудиторию, — что эксперимент Бродского по переводам с русского на английский был, так сказать, оправданным и даже привел к самоценным результатам. Английский язык, как мне представляется, сейчас находится в особенно проницаемом состоянии — вероятно, из-за своей роли всемирного языка. Он способен впитывать в себя другие языки и диалекты, и в этом смысле он всепоглощающ! Бродский воспользовался этим преимуществом, на мой взгляд, чтобы расширить английский язык, русифицировать его — можно сказать, колонизировать его. Он создал, как сказано в одном из его некрологов, собственный «идиолект»¹, составленный из русского и английского языков. Он заставил английский язык говорить по-русски. При этом он встретил меньше враждебности в Америке, нежели в самой Англии. Американский английский — это до некоторой степени язык-полиглот, заимствующий нечто из каждой волны иммигрантов, привносящих собственные языки, проникающие в него. Бродский отмечал трудности при переводе с русского, как и Набоков до него. Но, в отличие от Набокова, он не жаловался, не заявлял о невозможности пере-

¹ Lachlan Mackinnon, Joseph Brodsky // The Independent. 30 January. 1996. P. 12.

вода в абсолютном смысле. Разумеется, он не мог ожидать, что английские переводчики в этом за ним последуют, поэтому в конце концов он сам занялся переводами своих текстов. Сначала он пытался работать с помощью переводчиков, но постепенно все больше брал эту работу в свои руки. Результат представляется мне захватывающе интересным и поучительным.

— *У вас есть стихотворение памяти Бродского. Могу я включить его в свое собрание?*

— Безусловно.

Перевод с английского Лидии Семеновой

* * *

Ты был среди нас, Иосиф...
Думаю, по-библейски.
По крайней мере, именно это приходит на ум.
Словно ребенок, существо, непохожее на нас,
странно незащищенный, незащитимый —
и при этом в позе крутого парня.
Нежный. Об этом не стоит и думать —
ты сам так говорил.
«Нежно твой», «с нежностью» —
мурашки по коже сейчас, как тогда.
Слово, воскресшее в нашем языке,
твоим и моим.
Ничего общего с «детьми цветов»,
с «переосмыслением мужского начала» —
это просто язык.
Ты был, ты нашел себя
среди нас — был здесь, чтобы *тебя* нашли.
Нашли, будто ты всегда был здесь,
больше — будто ты здесь родился...
Ведь ты менял любое пространство, в котором ты был.
А мы не верили, просто не могли поверить,
но принимали как свершившийся факт.
Это спасительная сила —
наше восприятие свершившегося факта.
Так вот, факт свершился, Иосиф,
мы говорили с тобой
как обычно, и вдруг
ты стал отсутствием в нашей жизни.¹

¹ Перевод с английского Сергея Панцирева.

ПИТЕР ФРАНС, 6 ЯНВАРЯ 2004, ЛОНДОН

— Не уверена, рассказывала ли я вам об этом. Когда вы прислали мне свой перевод «Двадцати сонетов Марии Стюарт» в 1989-м и я сказала об этом Иосифу, он пришел в восторг. Затем, несколько дней спустя, к моему ужасу, мне позвонил Аллан Майерс и сказал, что Иосиф переделывает ваш перевод. Я не знала, как сообщить вам об этом. Потом до меня дошло, что мы можем получить две версии одного произведения — включим ваш перевод в наш сборник «Поэтика и эстетика Бродского»¹ с вашими комментариями, а со своей «исправленной» версией Иосиф может делать, что хочет. И, будучи джентльменом, вы кратко согласились с моим предложением. Принимали ли вы и принимаете ли сейчас его «исправления»?

— Версия, опубликованная в вашем с Лосевым сборнике, не та, которую предлагал он, но, думаю, в некотором смысле результат того, что он говорил. Кое-что из сказанного им пригодились мне в плане улучшения собственного варианта. В то же время, переделывая мой перевод, он был довольно последователен: одни стихи вообще не тронул, другие переработал полностью. О тех, что он переписал, говорить трудно, поскольку это были новые стихи. Но мы многое обсуждали.

— *Отреагировал ли Иосиф на ваш перевод «Сонетов»?*

Питер Франс (род. в 1935 г. в Северной Ирландии) — филолог, переводчик. Высшее образование получил в Оксфорде и во Франции. Член Британской академии. Переводил стихи Блока, Пастернака, Бродского, Чухонцева и несколько поэтических сборников Айги, специалист по французской литературе XVII и XVIII веков.

¹ Lev Loseff and Valentina Polukhina. Brodsky Poetics & Aesthetics. London: Macmillan, 1990.

— Он написал мне по-английски, что он в полном восторге от моего перевода и т. д. и т. п., но сказал: «У вас нет слуха» — или что-то в этом роде.

— *Прямо так и сказал?*

— Да, прямо так и сказал, затем речь пошла о размере и рифме. Конечно, я заметил, что сделанные им изменения почти всегда усиливали рифму, однако не всегда шли на пользу размеру. Я думал, с размером у меня в переводах все в порядке, но он, очевидно, так не считал, и нам не удалось сойтись во мнениях этому вопросу. По части рифмы — ну он был готов пожертвовать ради рифмы большим, чем я. И результат получился очень интересный, в некоторых случаях лучше, чем мог бы придумать я, потому что он мог делать что хотел, а также потому что он обладал определенной смелостью и, будучи иностранцем, мог делать определенные вещи, на которые не способен носитель языка. Все это когда срабатывало, когда нет. Я бы не сказал, что наша переписка была вовсе неприятной. Думаю, он искренне писал мне как грубости, так и добрые слова, но я не придавал этому особого значения. И отвечал в свойственной мне джентльменски вежливой манере (надеюсь, по-русски это звучит иронично), а он порой принимал мои соображения, порой нет.

— *Как часто вы писали друг другу?*

— Нечасто. У меня два или три письма от Бродского.

— *Если абстрагироваться от вашего собственного перевода, какой из переводов «Двадцати сонетов» вы предпочитаете, его или свой?*

— Зависит от сонета. Некоторые получились лучше у него, некоторые — у меня. Но на самом деле я не могу достаточно абстрагироваться, чтобы судить, потому что они очень увлекли меня. Надо сказать, что многие сонеты очень трудно понять, и я не думаю, что они стали легче для понимания в его переводе, они остаются сложными.

— *Русским их понять немного легче, полагаю, потому что они в основном о его отношениях с М. Б. и основаны на фильме.*

— Я видел этот фильм.

— *И они также являются маской, прикрытием для написания любовного стихотворения с использованием старой формы. Елена Фанайлова написала чудную пародию на сонеты Бродского «Стихи к Марии С.»:*

Он слезы лил над ней, и он зарыть
Не позволял ее, и, боже правый,
Он целовал у ней рубец кровавый
Отрубленной прекрасной головы...¹

— *Сколько времени ушло на перевод сонетов?*

— Два или три месяца, не помню.

— *А почему вы решили переводить именно эти стихи? Это из-за годовщины Марии Стюарт?*

— Да, это из-за годовщины, вокруг нее в тот год было много шума на Эдинбургском фестивале. И показывали немецкий фильм «Das Herz einer Königin» с Зарой Леандер в роли королевы. Все это пробудило у меня интерес. Дело не в том, что мне особенно понравилось какое-то стихотворение и захотелось его перевести; просто я счел это вызовом, и мне сделалось интересно. В сборнике «Часть речи» много других стихов, которые я очень люблю, я переводил куски из них, когда делал главу о Бродском для своей книги «Поэты современной России»². Также мне близки все ассоциации с Парижем, я приезжаю посмотреть на ту статую в Париже несколько раз в год.

— *Какой подход к переводу вы предпочитаете — тот, что «одомашнивает» оригинал, или сохраняющий особенности оригинала?*

— При переводе балансируешь между ними двумя, ведь не хочется, чтобы стихотворение «одомашнилось» до неузнаваемости, как не раз бывало в английской традиции, но не хочется также, чтобы оно оказалось таким странным, что никто не захочет его читать. Думаю, современная мода склонна приветствовать сохранение национального колорита. И, по-моему, порой заходит слишком далеко. В этом смысле я, вероятно, больше похож на русского переводчика — русские переводчики традиционно не имели обыкновения сохранять специфические черты исходного произведения, они «одомашнивали» от всей души. Перевод — это литературный жанр.

¹ Russian Literature. Special Issue «Joseph Brodsky». Guest Editor Valentina Polukhina. XXXVII-II/III. 1995. P. 185—187.

² Peter France. Poets of Modern Russia. CUP, 1982. P. 188—219.

— *Согласны ли вы, что автопереводы Бродского склонны сопротивляться «одомашниванию»?*

— Да, насколько я могу судить, они весьма необычны. Они поражают всех читателей своей специфичностью, некоторые принимают ее за некомпетентность. На мой взгляд, это неверно. Мне кажется, он знал, что делал, знал, что будет выглядеть странно, и шел на это вполне сознательно. По-моему, их надо читать совсем не так, как переводы любого иного типа. Их надо читать скорее как автопереводы почти в стереоскопическом отношении к оригиналу, нежели как самостоятельные произведения. А сами по себе они не очень, но если рассматривать их в связи с оригиналом, они хороши.

— *Бродскому было трудно убедить своих переводчиков, что требуется упор именно на форму, а не на семантику. Вы с ним когда-нибудь обсуждали этот аспект?*

— Только в упомянутых мною письмах.

— *По-вашему, английские критики Бродского понимали его идею перевода?*

— По-моему, они всё понимали, но в нынешней англоязычной культуре это глубоко непопулярный взгляд. Они способны понять его, но от этого не станут больше ему сочувствовать. Я думал не столько об англичанах, сколько о французах, например французском поэте Иве Бонфуа. В статье «О переводе формы в поэзии»¹ он прекрасно формулирует противоположную точку зрения.

— *Расскажите о вашей первой встрече с Иосифом.*

— На самом деле я с ним незнакомился. Нас представили друг другу, но, по-моему, он не обратил на меня особого внимания. Я просто сказал ему «привет» и все такое, но мы никогда по-настоящему не беседовали. Давным-давно я видел его в Эдинбурге и Кембридже — задолго до того, как стал его переводить, — и с тех пор мы больше не встречались. У меня с ним вообще не было личных дружеских контактов.

— *Что заставило Бродского заняться автопереводом, когда у него было столько прекрасных английских и американских переводчиков?*

— Это просто, не правда ли? Он хотел избежать каких бы

¹ Yves Bonnefoy. On the Translation of Form in Poetry // World Literature Today. 52/3 (Summer 1979). P. 374—79.

то ни было споров, разногласий и так далее. Он, вероятно, думал, что сумеет перевести лучше, поскольку он ближе к текстам. Мне кажется, как правило, автоперевод поэтов — не самая замечательная идея. К нему неоднократно прибегали в Шотландии и в Ирландии при переложении с кельтских языков на английский. У меня сложилось впечатление, что при наличии выбора между чужим переводом и переводом самого поэта чужой обычно лучше. Это не абсолютное правило: например, не так давно Шеймас Хини опубликовал перевод стихотворения Соли Маклейна, который, на мой взгляд, явно не так удачен, как собственный перевод Маклейна. Так что правило работает в обе стороны. Конечно, Соли Маклейн, в отличие от Бродского, действительно двуязычен.

— *Повлияли ли переводы собственных работ Бродского на формирование его английского?*

— Не могу ответить на этот вопрос.

— *Вы читали его эссе, написанные по-английски. Что вы думаете о его владении языком?*

— Очень хороший, красивый язык, очень интересно читать.

— *Как бы вы охарактеризовали отношения Бродского с английским языком?*

— Это любовные отношения, и его эссе безусловно прекрасны, но я не знаю, не помогал ли ему кто-нибудь.

— *В то же время вы должны согласиться, что, кто бы ему ни помогал, идеи, ход рассуждений, обращение с синтаксисом — его собственные.*

— Разумеется.

— *Что, на ваш взгляд, побуждало его переносить столько из английской поэзии в собственную? Потому что этого не делалось до него? Даже русские романтические поэты заимствовали из английской поэзии только образ поэта-романтика, а не структуру метафор, строфическое разнообразие или логическое мышление. До Бродского этого не делали.*

— За исключением Шекспира, который сыграл важную роль в русской культуре. И кто-то вроде Пастернака переведил Шелли и Китса, а Шекспир — это сама Англия. Интерес же Бродского уходит прочь от Шекспира в сторону разных других вещей. Не знаю почему, не знаю, какую роль во всем этом сыграл Оден и когда он открыл Одена.

— Он открыл Одена в «Антологии английской и американской поэзии» Льюиса Унтермейера, которую кто-то из друзей прислал ему в Норенскую в 1964 году. Его стихотворение «На смерть Т. С. Элиота» метрически и композиционно опирается на стихотворение Одена «Памяти У. Б. Йейтса».

— Я всегда полагал, что стихи Одена к Йейтсу поразили его, особенно удивительные высказывания Одена о языке — они должны были потрясти его своей смелостью...

— «*Time [...] worships language and forgives / Everyone by whom it lives...*» («Время [...] боготворит язык и прощает / Каждого, кем он жив...»).

— Но я не знаю, достаточная ли это причина, чтобы влюбиться в английскую поэзию.

— Скорее это произошло еще до того, как он прочел Одена. Лидия Чуковская послала ему в Норенскую полное собрание Джона Донна, и Бродский перевел оттуда некоторые стихотворения. Но еще до ссылки Бродский читал кое-что из английской и американской поэзии, когда бывал в доме профессора Томашевского и у академика Алексеева, чьи библиотеки были огромны. Я лично провела однажды несколько ночей в кабинете Томашевского и спрашивала его дочь Зою Томашевскую, что читал Иосиф. Она ответила, что проще перечислить то, чего он не прочел. Приходим ли мы к выводу, что носители языка не могут прочувствовать в английских версиях техническую виртуозность оригиналов Бродского?

— Полагаю, это верно. Прошло много времени с тех пор, как я внимательно просматривал эти переводы. Некоторые из них очень удачны, Дерек Уолкотта или Ричарда Уилбера, но ни один из них, по-видимому, даже не пытался воспроизвести техническую виртуозность оригинала, точно так же как до самого последнего времени неадекватно переводили Цветаеву. Цветаева у Элейн Фейнштайн — очень хорошие стихи, но это не Цветаева. Их богатство и сложность, вероятно, вообще не в английском вкусе.

— Я рада, что вы упомянули об английском вкусе. Разница наших поэтических вкусов всегда приводила меня в недоумение. Это из-за того, что русская поэзия минимум лет на двести моложе английской? Все эти формальные приемы, которые до сих пор вызывают восхищение в русской поэзии и используются ею, уже пройдены английскими поэтами?

— Это неверно. Дилан Томас — ближайший пример фор-

мальной сложности — и концептуальной, и метафорической. А он был очень популярен и влиятелен как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Или кто-то типа Джеральда Мэнди Хопкинса, который фантастически богат и сложен. Но не как Бродский; на мой взгляд, он сильнее, чем Бродский. Существует, так сказать, линейная разновидность английской поэзии, но именно многомерная, очень сложная и высокоорганизованная английская поэзия способна заставить человека захотеть взять на борт переводной текст подобного плана. Но трудность в том, чтобы этот перевод сделать.

— *Что нам требуется, так это конгениальный переводчик. Как можно заставить великого поэта тратить свое время и энергию на перевод другого великого поэта, разве только у них не будет выбора, как в сталинской России?*

— Никак, но можно надеяться, что нечто подобное удастся случайному переводчику. Но хорошие переводчики ушли; вот, например, Уилбер хорош как формальный поэт, также Хект до определенной степени. Но большинство из нас недоотягивают до подобного уровня.

— *Вам никогда не казалось, что автопереводы Бродского «словарно-одержимы» (Кларенс Браун) или «своеобразны до невразумительности» (Питер Портер¹)?*

— Ну «словарно-одержимы» — может быть. Уверен, Бродский, как многие поэты, ощущал потребность наполнять голову, словно амбар зерном, максимально возможным количеством слов как профессиональную обязанность. То же можно сказать и о его русском языке, русский у него тоже «словарно-одержимый», если угодно, в том смысле, что он максимально использует лексическое богатство языка. Мне не кажется, что для поэта плохо быть одержимым словарем. Что до замечания Питера Портера, да, в англоязычном варианте он порой невразумителен, но и оригиналы его тоже иногда трудно понять. Не думаю, что он нарочно усложнял их при переводе — просто переводил как есть, я так понимаю. На Питера Портера это произвело сильное впечатление, потому что он поэт иного плана, он не любит неясностей. Мне кажется, что сложность, даже запутанность сегодня является неотъемлемой частью стихосложения.

¹ Peter Porter. Lost Properties. // Observer. 11 December 1988. P. 46.

— При переводе собственных стихов Бродский сосредоточивался главным образом на просодических свойствах стихотворения. Вызывало ли это определенный семантический сдвиг?

— Да, безусловно — и не тот сдвиг, к которому стремятся большинство переводчиков.

— Если учесть весьма специфические взгляды Бродского на перевод стихов, есть ли шанс, что английские поэты когда-нибудь примут его автопереводы?

— Думаю, есть — если они примут их за то, чем они являются. Вряд ли они когда-нибудь войдут в канон английской поэзии. Они останутся интереснейшим образцом соприкосновения двух культур.

— Почему английский литературный истеблишмент принял его так прохладно? Я имею в виду поэтов и редакторов типа Крейга Рейна и Кристофера Рида, которые не только отвергли его, но и смеялись над ним¹.

— Причины этого мне неизвестны. Но в целом они являются сторонниками того типа переводов, которые переделывают оригинал на английский манер. Взгляните на Мачадо в переводе Дона Паттерсона, который самый что ни на есть Дон Паттерсон, причем красивый, по-моему. Мне кажется, автопереводы Бродского этим не грешат. Они прочно связаны с русским языком.

— Коль скоро автопереводы Бродского на английский так сильно отличаются в семантическом плане от оригиналов, куда бы вы их отнесли: к переводам или к стихотворениям на английском языке?

— К переводам: они по большей части недотягивают до уровня самостоятельного произведения, по-моему.

— Согласны ли вы, что каждое русское стихотворение, переведенное Бродским на английский, должно рассматриваться как стихотворение на двух исходных языках?

— Может быть; или как двойной образ одного стихотворения.

— Присутствовали ли вы на каком-нибудь из публичных вы-

¹ Christopher Reid. Great American Disaster // London review of Books. 8 December 1988; Craig Raine. A Reputation Subject to Inflation. // Financial Times. 16/17 November 1996. P. 13.

ступлений Бродского, например в Британской академии в 1991 году? Если да, то какое у вас осталось впечатление?

— Только на двух чтениях, где (как и все остальные) я был потрясен мощью его подачи, концентрацией на форме и звуке. Очень по-русски.

— На какую ступень вы поставили бы Бродского среди крупных русских поэтов XX века?

— «Не за нами слово». Он один из десяти крупных поэтов в плане того, как его воспринимают и читают. Я не знаю, кого бы я назвал в десятке лучших и все такое — мне не нравится подобный подход к поэзии, — но от Бродского никуда не деться. И на самом деле, с тех пор как умерли Пастернак и Ахматова, не было ни одного другого поэта в России, который имел бы такое влияние. Я говорю об общей точке зрения, она не обязательно совпадает с моей.

— Но я предпочла бы услышать именно ваше мнение. Вы переводили стихи Геннадия Айги, который очень хорошо известен на Западе, и во Франции он более популярен, чем Бродский. Вас он явно крайне привлекает. Как вы их сравниваете?

— В этом отношении я человек предвзятый, да и творчество Айги я знаю несравнимо лучше, чем Бродского. Я не могу судить. Мое знакомство с творчеством Бродского очень ограничено. Поздних стихов практически не видел. Стихи, которые я прочел с огромным удовольствием, относятся к ранним, примерно до 1975-го или 1976-го. Но в этих стихах присутствует элемент, который мне не по вкусу: слишком много слов, слишком насыщенно, слишком сложно и так далее. Для меня как иностранца это слишком трудно. Если Бродский богатый поэт, то Айги — скудный. И мне очень нравится эта скудость. Сказав это, замечу, что все мое поэтическое воспитание должно было бы склонить меня в пользу Бродского. Он таков, каким, с нашей западной точки зрения, и должен быть поэт.

— Почему, как вам кажется, Бродский привлекал столько внимания? Потому что он превосходный поэт? Из-за процесса над ним? Благодаря покровительству Одена? Или по чистому везению?

— Это случайность. В англоговорящем мире большинство людей считают, что Бродский входит в суперлигу вместе с Лесом Марреем, Шеймасом Хини и Тедом Хьюзом, и поня-

тия не имеют, что представляет собой его поэзия. Они не могут ее читать. Очевидно, это как-то связано со средствами массовой информации и Нобелевской премией. И опять-таки мне бы хотелось понять, почему он получил Нобелевскую премию. По-моему, это изрядно прибавило ему популярности в Англии и в Америке и в остальном англоговорящем мире. И все эти политические дела тоже помогли. Это как с Синявским, и я удивлен, почему Синявский не получил Нобелевскую премию. У него дивная проза, может, слишком русская в каком-то смысле. Бродский тоже очень русский, но это также всемирная поэзия. И в мировой культуре Бродского присутствует нечто мандельштамовское. Это тоже помогает. Так любой человек на Западе, читая Бродского в переводе, ощущает некую мгновенную близость и родство со всем комплексом метафизических проблем, с набором культурных отсылок. А русские темы никуда не денутся. Прямолинейность его высказываний также делала его очень заметной фигурой. И тот факт, что его публиковало издательство «FS&G», вывел его на очень влиятельное положение в Штатах. Репутацию он заработал куда в большей степени в США, нежели в Великобритании. При том что в Англии его тоже высоко ценили, в Америке он был почти непогрешим.

— *Как вы думаете, если бы Бродский остался в Англии и не поехал в Соединенные Штаты, он не сделался бы таким знаменитым?*

— Не могу себе представить, здесь как-то нет места для великого писателя в изгнании.

— *Почему Бродский так враждебно относился к современной французской поэзии? Потому ли, что не знал языка? Или потому, что сегодня во Франции нет хороших поэтов, за исключением Ива Бонфуа?*

— Существует множество хороших французских поэтов, но они играют совершенно в иные игры — игры, в которых форма стиха не имеет особого значения. Для Ива Бонфуа форма стиха тоже не особенно важна. Если Айги был очень популярен во Франции, то это потому, что погрузился во французскую традицию: он учил французский в литинституте, он очень хорошо читает по-французски, он знает французский пантеон вдоль и поперек. Он погружался в норму

французской поэзии как метафизически так и формально в течение последних тридцати-сорока лет.

— *Что лучшее вам запомнилось из Бродского?*

— Я помню первое впечатление от прочтения нескольких его стихов, таких как «Большая элегия Джону Донну» или «Колыбельная Трескового мыса», но не могу не вспомнить и переписку о переводах Бродского, которая наложила на меня заметный отпечаток.

— *В каком смысле ваша переписка с ним изменила ваше отношение к переводу?*

— Думаю, она заставила меня с большей готовностью видеть достоинства в том проявлении экстравагантности, которое прежде меня утомляло.

Перевод с английского Анастасии Кузнецовой

МАЙКЛ СКЭММЕЛЛ, 4 МАЯ 2004, ЛОНДОН

— Вы были одним из первых, кто взял у Бродского интервью по прибытии его вместе с Оденом в Лондон, на Международный фестиваль поэзии, в июне 1972 года. Не могли бы вы рассказать о вашей первой встрече и об обстановке, в которой проходило интервью? Был ли Бродский взволнован, возбужден или, напротив, спокоен?

— Впервые я увидел его на сцене Королевского зала, в котором проходил фестиваль. Оден представил его слушателям. Бродский выглядел не слишком опрятно и заметно нервничал. Но стоило ему начать читать, как он погрузился в состояние, близкое к трансу, и стал нараспев декламировать стихи в своей замечательной манере, которая всем нам хорошо знакома. Это было просто волшебно, особенно для меня, поскольку я был в числе тех немногих, кто понимал по-русски. К тому же одним из стихотворений была «Большая элегия Джону Донну», сама своего рода песнь, заклинание...

С Иосифом мы встретились за кулисами. Думаю, нас познакомил Стивен Спендер.

— Иосиф остановился в тот раз у Стивена Спендера.

— Да-да, правильно. Думаю, именно тогда я попросил его

Майкл Скэммелл (род. в Англии) — литературовед, переводчик, преподает в Колумбийском университете. Издавал журнал «Index on Censorship», выпустил несколько антологий: «Russia's Other Writers», «Samizdat, Soviet Unofficial Art», «From under the Rubble». Автор биографии Александра Солженицына (Michael Scammell. Solzhenitsyn. London, 1985), получившей ряд премий. Среди его переводов — произведения Толстого, Достоевского, Набокова, Солженицына, Булгакова и др. русских писателей.

дать интервью для журнала «Index of Censorship», который мы только что начали издавать — первый номер вышел буквально накануне фестиваля. Иосиф согласился. Мы беседовали не в редакции, а в Ковент-Гардене. Иосиф пришел пешком, насколько я помню. Мы сели на скамейку, и я стал задавать вопросы. По-русски...

Не забывайте, что тогда о Бродском было известно очень мало. Какие-то наметки: арест, ссылка на Север, возвращение в Ленинград. Крупные вехи, так сказать. О них слышали все. Но никто не знал, скажем, о том, что он бросил школу, работал на разных работах... Поэтому интервью было построено на таких вот газетных историях и на его стихах, как ранних, так и последних. Оно было направлено на то, чтобы познакомить читателя с поэзией Бродского. Должен отметить, Иосиф держался очень приветливо, совсем не нервничал, был чрезвычайно любезен, так что никаких трудностей в разговоре с ним я не испытывал.

— *Что побудило вас взять у Бродского интервью спустя лишь месяц после его отъезда из СССР? Что подогревало ваш интерес: политическая подоплека, обычное любопытство, поиск материала для журнала? Вряд ли это была его поэзия.*

— Знаете, вы не совсем правы. Тогда мы печатали переводную поэзию. У нас был специальный литературный раздел. С тех пор его упразднили. А тогда я печатал много стихов и прозы. Стихи Солженицына, например, которые попали ко мне через самиздат. Стихи греческих поэтов — в Греции была тогда военная диктатура. Поэтому Бродский был мне интересен как с точки зрения культуры, так и с точки зрения политики. А то, что его не печатали в СССР, было вдвойне удачно для такого журнала, как «Index on Censorship». Он одним из первых дал интервью нашему журналу.

— *А тот факт, что он приехал в Лондон с Оденем?*

— О, это придавало делу еще один оборот. Раз Оден взял его под свое покровительство, остальным ничего не оставалось, как принять его так же всерьез.

— *А вы сами представляли в то время масштаб поэтической личности Бродского?*

— Абсолютно не представлял. О его стихах я думал, что они весьма необычны и довольно впечатляющи, но догадаться, как далеко он пойдет... К тому же большая часть его сти-

хов переведена не была, да и на русском их непросто было достать. Мы судили об айсберге лишь по его верхушке.

— *Посмею вам возразить: первая книжка Бродского, «Стихотворения и поэмы», вышла в США в 1965 году, а вторая, «Остановка в пустыне», — в 1970-м. Так что к моменту приезда Иосифа в Лондон в Америке были напечатаны две его книги.*

— Да, правда. Должен вам признаться, я не большой знаток и ценитель поэзии. Я знал, что Бродский — значительный поэт и что он поэт ни в коем случае не политический.

— *Когда Бродский говорил, что два года, проведенные им в Норенской, деревне на севере России, были лучшими годами его жизни, верили ли вы ему?*

— Я, признаюсь, отнесся к этому заявлению подозрительно. Скептически. Здесь, мне кажется, он играл. Сейчас я более склонен ему верить, но тогда мне это казалось бравадой: «Меня присудили к пяти годам исправительных работ на Севере, а я заявляю, что это лучшие годы моей жизни. Пусть думают, что заставили меня страдать, — а на мой взгляд, было просто здорово!» Он, так сказать, обращал довод противника против него самого.

— *Очень по-бродски.*

— Думаю, здесь было и то и другое. Уверен, ссылка заставила его заглянуть в себя, сподвигла на большую интроспекцию, на большие размышления — что в свою очередь не могло не сказаться на стихах.

— *Да, некоторые даже считают, что к 1965 году Бродский написал все, что должен был написать. «Исчезни он тогда, погибни или еще что-нибудь, прекрати писать, мы бы все равно имели Бродского»¹. Однако суть в том, что до конца жизни он сознательно принижал значение своего процесса, заключения, ссылки, решив раз и навсегда не жаловаться, не выпячивать этих фактов своей биографии, не позволять диссидентам себя использовать.*

— Да-да, именно так. Он очень четко дал это понять с самого начала. Пусть это вполне ожидаемо, пусть выглядит бравадой, но он явно не хотел, чтобы его считали лишь очередным мучеником.

¹ Анатолий Найман. Сгусток языковой энергии // Валентина Полушина. Иосиф Бродский глазами современников. СПб.: Журнал «Звезда», 1997. С. 47.

— Как вам известно, Бродский написал два стихотворения и два эссе памяти Одена — «глубочайшая дань признательности русской культуре англо-американской», по выражению Джерри Смита. Почему Оден так привлекал Бродского? Была ли то простая признательность за предисловие, которое написал Оден к первому его английскому сборнику стихов, и за приглашение поехать вместе в Англию? Или Бродский действительно находил в поэзии Одена нечто бесконечно близкое и созвучное себе самому?

— Уверен, что именно так. Возможно, чувство признательности и сыграло здесь определенную роль, но одной признательности мало. Не то чтобы он был неблагодарным от природы, скорее безразличным к такого рода вещам. Оден же привлекал его по двум причинам: во-первых, своим формализмом — в том, что касалось рифм и метра, он был одним из последних значительных формалистов нашего времени, пишущих по-английски. Во-вторых, своим религиозным чувством, своей преданностью христианству. Оден писал религиозные стихи в то время, когда это делали совсем немногие. Возьмите современников Одена — Стивена Спендера или Ишервуда — они абсолютно нерелигиозны, агностики, можно сказать. А Оден долгое время писал религиозные, христианские стихи. Именно эти две составляющие его поэтической личности глубоко импонировали Бродскому.

— *Очень интересный ответ, Майкл. Почему вы сделали такой упор на религиозные стихи? С чего бы им импонировать Бродскому? Русские, как правило, не признают в нем христианского поэта.*

— Насколько я понимаю, Иосиф гораздо больше писал о христианстве, нежели об иудействе. Хотя, как и в случае с признательностью, я не уверен, что это имеет такое уж прямое отношение к Иосифу. Иосиф не был поглощен или сильно заинтересован христианством. Мне кажется, он обладал глубоко религиозным... как бы это выразить? Его интересовала глубина религиозного отклика. На мой взгляд, ему импонировала эстетическая сторона христианской веры. Красота философии христианства или, если угодно, красота христианского мифа — если вы сами не христианин. Красота самой концепции. Кроме того, христианская этика была ему ближе иудейской. Вот эти вещи и привлекали его в христианстве. А

Оден был тем современным голосом, который высказывал в своей поэзии близкие идеи. Оден обеспечивал, так сказать, — и это парадокс, поскольку он писал по-английски, а Иосиф по-русски, — обеспечивал тот поэтический язык, которым Иосиф мог воспользоваться.

— *В настоящий момент среди исследователей Бродского ведутся горячие споры о его христианстве. Русские националисты используют любой предлог, чтобы не допустить мысли о том, что Бродский — христианский поэт. Но почему же тогда он на каждое Рождество писал по стихотворению? Думаете, ваш ответ убедителен? Его привлекала эстетика Рождества, рождение мифа?*

— Думаю, да. Мне кажется, его привлекала не только эстетика, но и этика христианства. Иосиф был глубоко нравственным человеком.

— *Да, он говорил, что человечество не изобрело ничего значительнее десяти заповедей.*

— Любопытно, что Иосиф — возможно, это следствие его советского происхождения и воспитания — постоянно ощущал угрозу, нависшую над цивилизацией. У него было такое ощущение, будто он живет на краю бездны, он заглядывал в эту бездну, различал ее в советском обществе. Одной из причин, по которой его столь влекло к классике — как влекло, кстати, и Одена, — было чувство, что цивилизацию — нашу, греко-римско-христианскую цивилизацию — нужно сохранить любой ценой. Поэтому, как мне кажется, он и был столь консервативен в своих вкусах, эстетических взглядах, нравственных принципах.

— *Оден служил Бродскому также нитью, живой связующей нитью с английской метафизической поэзией XVII века.*

— Совершенно точно подмечено. Не знаю, насколько доступны были в России английские метафизические поэты, но в Англии открытие Донна совпало с юностью Одена. Донна открывали заново в начале XX века — он был абсолютно забыт.

— *Видели ли вы когда-нибудь Бродского в компании Стивена Спендера или У. Х. Одена?*

— По большому счету нет. Только случайно, на каких-то важных приемах и тому подобных мероприятиях.

— *Каким образом Оден способствовал реализации Бродского как поэта?*

— Не думаю, что Бродский зависел от Одена поэтически. Хотя, возможно, его развитие пошло бы по другому пути, не встретить он Одена.

— *И оно уж точно не было бы столь стремительным...*

— Конечно.

— *Кстати, как вы думаете, если бы Иосиф остался в Англии, куда его привез Оден, а не отправился в Америку, была бы его карьера столь же успешной? Нашлась бы для него в Англии ниша?*

— Не думаю. С тех пор многое изменилось к лучшему, но в английском обществе, которое включает в себя и литературную среду, все очень запутано, связано, несвободно. Оден ведь тоже перебрался в конечном итоге в Америку, создав тем самым своего рода прецедент. Я, кстати, беседовал на эту тему с бесчисленным множеством эмигрантов. С одним из них, Павлом Литвиновым, человеком, совершенно непохожим на Бродского — его бабушка была англичанкой, — мы долго обсуждали, почему он не поселился в Англии. Он сказал, что рискует показаться ограниченным, но чтобы процветать в Англии, нужно стать англичанином. В Америке можно оставаться самим собой и при этом процветать. Думаю, что и для Иосифа Америка предоставляла куда больше возможностей, больше свободы действий — делай, что хочешь. Возможно, он уже тогда понимал то, чего я тогда не понимал и что понял лишь недавно: в Америке больше настоящих, больших поэтов, да и сама американская поэзия теперь интереснее английской.

— *К тому же в Америке он мог зарабатывать на жизнь. Ни в одном английском университете нет должности poet-in-residence, как в США.*

— Да, весьма существенная разница. Многие перебрались из-за этого в Америку.

— *И тем не менее Иосиф был влюблен во все английское: английскую поэзию, английский язык, английскую историю, даже в нескольких англичанок... Чем вы объясните столь длительный — длиною в жизнь — роман Иосифа с английским языком и Англией?*

— Тем же самым понятием греко-римской цивилизации, если угодно. Вспомните его стихи об Италии и Риме... Его интересовала высокая культурная традиция. К тому же, по-

добно очень многим русским, в душе он был империалистом. Ведь он родом из Петербурга, у него в крови этот имперский взгляд на мир, его восхищали империи в зените славы. И Британия восхищала его именно своим прошлым — как и очень многих англичан. Никогда больше — это можно утверждать почти наверняка — не достичь Англии таких высот, каких она достигла, будучи в зените своей имперской мощи. Все наши великие поэты, государственные деятели жили в период расцвета Британской империи, и тогда же апогея достигло развитие промышленности, науки и, разумеется, литературы. Иосиф бесконечно преклонялся перед этой традицией. Почему он предпочитал английскую традицию французской, не менее великой, мне сказать трудно. Хочу процитировать еще одного русского изгнанника, Солженицына. Когда он был в Лондоне, единственным местом, которое ему понравилось, оказалась Трафальгарская площадь. «Сердце великой Империи», — сказал он.

— Но Бродского занимало также крушение империи.

— Мы с вами обсуждали разные причины, почему он переехал в Америку, а ведь Америка — воплощение имперской политики.

— Точно. Он и сам говорил: «Я сменил империю». Вы упомянули Солженицына. Это естественно, вы ведь написали прекрасную биографию Солженицына, которую мы в Англии используем в качестве университетского учебника. Вы, должно быть, чувствуете, что хорошо знаете этого человека. Почему, как вам кажется, Солженицын не способен понять поэзию Бродского?

— Солженицын — это особый случай. Он порожден абсолютно иной эстетической традицией. Солженицын — постреволюционер, а Бродский — постпостреволюционер, если угодно. Солженицын — дитя 1920—1930-х годов, он вырос на социалистическом реализме. Не следует также забывать, что он долгое время был коммунистом. Меня лично это абсолютно не беспокоит. Солженицын в этом отношении интереснее Бродского — его детство пришлось на раннюю стадию коммунизма: вначале он воспринимал коммунизм идеалистически, затем проник его насквозь и вышел, так сказать, с обратной стороны. Бродский, принадлежавший к более молодому поколению, никогда так близко к коммунизму не прибли-

жался. Эстетика же Солженицына вобрала в себя и социалистический реализм. Я так и не смог определить, апокриф это или подлинное высказывание (оно приводится в моей книге) Ахматовой, которая, прочитав «Один день Ивана Денисовича», сказала: «О, соцреализм нашел своего гения!» Что это значит? А значит это то, что Солженицын воспользовался методом соцреализма, методом реалистической прозы, если угодно, — воспользовался и подорвал его изнутри. «Один день Ивана Денисовича» — это истинная поэзия. Поэзия присутствует, как мне кажется, и в «В круге первом».

— *К вашему списку следует добавить «Матренин двор».*

— Конечно, и другие рассказы. Да и «Архипелаг Гулаг» — пусть даже совсем в ином ключе. То, как Солженицын оперирует языковым материалом, очень интересно. Он превращает аббревиатуру «ГУЛАГ» в имя собственное, а теперь в английских словарях оно пишется с маленькой буквы. Это напоминает изобретение слова «холокост». Так что Солженицын — поэт, поэт своеобразный, ни на кого непохожий. Поэт от природы. Он прорывался сквозь социалистический реализм, но так и не смог полностью освободиться от цепей. Прорывался почти что бессознательно, стараясь достичь чего-то настолько возвышенного, чего никто до него достичь не мог. Этически, как мне кажется, Солженицын близок Бродскому, но эстетически это два разноименных полюса. Думаю, что именно это мешает Солженицыну увидеть в поэзии Бродского хоть какую-то ценность.

Не следует также забывать, к чему именно апеллирует Солженицын. Думаю, он реализовал свои мыслительные способности, эстетическое чувство, писательский талант. Хотя после 1973—74 годов он стал другим. И слова о Бродском написаны этим новым Солженицыным. Солженицыным, который так и не смог понять, что высшее проявление политической активности — игнорирование политики.

— *Именно этого советская власть и не могла вынести. Она знала, как реагировать на людей, которые выступали против нее, но не знала, что делать с теми, кому на нее было наплевать (как, например, Бродскому).*

— Да. Солженицын понимал психологию власти. А вот Бродский, возможно, не очень — он жил как бы в другой плоскости.

— Или предпочитал не обращать на эти вещи внимание. Однажды он сказал: «Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество „Память” или отдел пропаганды ЦК КПСС. Так же, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота?»¹ Солженицын бы никогда не сказал ничего подобного. Он также считал, что нет ни малейшего основания говорить о христианских взглядах Бродского («освещение катарсиса так и не найдено, поэт и не пытается передать нам его»), обвинял его в отсутствии интереса к политике («он [Бродский] не высказал ни одного весомого политического суждения»), в невнимании к еврейской тематике, в нелюбви к России². Для Бродского, как вы помните, политика представляла низший уровень духовной деятельности; для него задача писателя в том, чтобы хорошо писать, тем самым задавая читателю истинный масштаб ценностей. Он в свою очередь упрекал Солженицына в нежелании прислушаться к тому, что подсказывает интуиция, в нежелании признать, что человечество «безнадежно».

Сколько материала будет у будущих исследователей, которые обратятся к двум важнейшим писателям-современникам, Бродскому и Солженицыну, как представителям двух разных полюсов русской культуры! Не могу все же удержаться и не спросить: почему, в отличие от Солженицына, Бродский так и не вернулся?

— Всего лишь предположение: глубочайшее оскорбление, которое Бродский мог нанести режиму, — полностью пренебречь им. Поэтому он и поступил отличным от Солженицына образом. И все-таки, неужели в глубине души Бродский действительно был так оскорблен, обижен, так глубоко ранен, что всю жизнь не мог этого простить?

— Это выглядело бы вполне правдоподобно, если бы Бродский так не восхищался способностью прощать, которая была у Ахматовой: она простила систему за расстрел Гумилева, за арест сына и Пунина. Бродский говорил, что Ахматова преподала ему урок не столько поэзии, сколько великодушия.

— Он усвоил урок?

¹ Иосиф Бродский. Большая книга интервью... С. 384.

² См. примечание 1 на с. 62.

— *Хороший вопрос! Если так, то, должно быть, это далось ему нелегко — он ведь был очень гордым человеком. Вы встречались с Иосифом в Америке?*

— Да. Я присутствовал на нескольких его поэтических вечерах. Кроме того, мы оба входили в так называемый Институт человека при Нью-Йоркском университете. В 1981 году был организован круглый стол на тему «неанглоязычная литература»¹, в котором участвовал и Бродский. Собралась группа очень влиятельных интеллектуалов, блестящих мыслителей. Среди них была и Сюзан Зонтаг. Больше всего меня поразило то, как Бродский неуклонно гнул свою линию. Не из желания покрасоваться — просто ему всегда было что сказать. А может, отчасти и из желания покрасоваться.

— *Может, из желания поспорить?*

— Да, поспорить он любил. Круглый стол пришелся на конец пресловутого либерального периода, начало которому положили 1960-е годы. Многие в Институте были левыми. Сюзан начала тогда под влиянием Бродского отходить от левых, но все же оставалась очень либеральной. Бродский же придерживался противоположной большинству точки зрения... В 1979 году мы были вместе на конгрессе ПЕН-клуба в Бразилии, где нам тоже случилось побеседовать. И конечно, я присутствовал на его вечерах в Колумбийском университете и в других местах. В одном из таких вечеров, здесь в Лондоне, я даже участвовал — читал переводы. Бродский отозвался обо мне как о лучшем чтеце его стихов по-английски из всех, кто у него был. Тогда я пошутил, что ему следует приглашать меня всегда. «Нет уж», — отозвался он, глазами указав на очень красивую даму, сидящую в зале.

— *Это была шутка, потому что Иосиф терпеть не мог, когда переводы его стихов читала женщина. Я организовала для него несколько вечеров в британских университетах, и каждый раз он ставил одно и то же условие: ни актеров, ни женщин...*

— Ладно, пусть это была шутка. Так или иначе, но я всегда спорил с ним о его манере читать стихи. «Это звучит так старомодно, Иосиф», — говорил я ему. Понимаю, он хотел донести до слушателя музыку стиха — ту, которую он, воз-

¹ Literature in Languages Other than English // New York Arts Journal. № 24 (1982). P. 23—30.

можно, слышал, когда писал. Но мне казалось, что на публичных выступлениях лучше было бы об этой музыке забыть: музыка — это своего рода подчеркивание, усиление стиха, читать же следует синтаксически, подчеркивая смысл. А он не хотел доносить смысл, он хотел донести музыку.

— *Что он отвечал на ваши замечания?*

— Мне кажется, Иосиф хорошо ко мне относился, но всерьез не воспринимал. В ответ он просто смеялся. Другим предметом наших постоянных разногласий были его английские стихи. Он начал писать по-английски в начале 1980-х. Помню, как несколько раз он приходил ко мне показать свои опыты. Не говоря при этом, что это — оригинальные стихи или переводы. Однажды, правда, он предложил мне угадать. Я сказал: «Иосиф, это похоже на вас». — «Откуда вы знаете?» — отозвался он. Тогда я сказал: «Иосиф, мне кажется, по-английски вы пишете хуже, чем по-русски». Он был жутко раздосадован. Любопытно: бесконечно восхищаясь английским языком и английской литературой, он отчаянно хотел научиться писать по-английски.

— *Последний вопрос: кем был этот человек — изгнанником, жертвой, чья жизнь во многом определялась не зависящими от него обстоятельствами, внешними инстанциями, или честолюбцем, бестрепетно кующим собственную судьбу?*

— Вам лучше знать.

Перевод с английского Лидии Семеновой

ПОЛ КИГАН, МАРТ 2005, ЛОНДОН

— *Расскажите о вашей первой встрече с Иосифом.*

— Мне запомнилась вторая встреча. Что касается первой, то их, вероятно, было несколько, и все они были похожи друг на друга — Бродский рассеянный, Бродский погруженный в себя, Бродский нервный. Я тогда работал в издательстве «Penguin», которое только что приобрело права на «Уранию» и «Меньше единицы». Бродский частенько наезжал в Лондон — *capital incognito*, как он выражался, — останавливаясь, как правило, у Аллана Майерса. (Майкл Хофман вспоминает, что видел как-то Бродского, сидящего в одиночестве в лондонском кафе и увлеченно работающего — никто и не знал, что он в городе.) Потом, в один прекрасный день он получил Нобелевскую премию. В издательстве была организована пресс-конференция. Бродский, как обычно, дымил, а все вопросы касались его биографии, его личности, вошедшей в мировую историю (словно он получил Нобелевскую премию за диссидентство); не было задано ни одного вопроса о поэзии. Бродский отшучивался, уклонялся от ответов с обычной своей мученической улыбкой: как будто судьба, по иронии истории, наградила его очередной порцией абсурда.

Примерно в то же время состоялась вторая наша встреча: мы ужинали в пустом ресторане в Хэмпстеде. Он машиналь-

Пол Киган закончил оксфордский Мертон-колледж и университет Сорбонны. Преподавал на кафедре английского языка и англоязычной литературы Университета Йорка. До недавнего времени работал в издательстве «Penguin Classics». Сейчас возглавляет отдел поэзии в издательстве «Faber & Faber». Редактор следующих изданий: «Collected Poems of Ted Hughes» (2003) и «The Penguin Book of English Verse» (2004).

но чиркал шариковой ручкой по скатерти, так что к концу ужина, который длился несколько часов, скатерть из белой стала черной; официант пожаловался администратору, и в итоге мы вынуждены были эту скатерть купить. По этому поводу завязался долгий разговор, который неожиданно очень увлек Иосифа — он был любопытен и настойчив и словно желал убедиться в том, что уже знал. С тех пор мы много раз встречались либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Он всегда давал понять, что мы с ним — люди одного круга, иногда тесного и даже интимного, иногда — широкого и светского. У нас были общие близкие друзья, такие как Александра Прингл или Роберто Каласо, или Роджер Страус из Нью-Йорка — поэтому чаще всего мы общались втроем. Иосиф вообще любил треугольники — треугольники или кельи. У него была эта черта, которую я называл «Under Western Eyes»¹.

Каждая новая встреча фактически являлась продолжением нашей первой беседы — непрерывная вязь разговора, растянувшегося на десять лет и покрывавшего всё большую и большую скатерть... Он был изумительным слушателем под маской оратора или (роль, которую он любил меньше) проповедника. Думаю, что слушать было для него по-настоящему интимным делом. Вас уносит поток разговора, всегда более бурный и полноводный, чем казалось вначале, и уже не важно, кто говорит. Мне всегда казалось, что он не слушает, питаюсь в то же время собственным своим невниманием. На мой взгляд, он хотел, чтобы разговор складывался так, как складывается, наудачу, и чувствовал, что не нужно специально ничего выстраивать. Кроме того, он давал собеседнику понять, что тот участвует в разговоре, просто даже слушая. Так же, как он заставлял поверить, что чтение выше письма, что письмо — лишь приложение к чтению. Все вместе и составляло его непредсказуемость, неординарность — парадоксальность его судьбы.

— *Своим успехом на Западе Бродский обязан сочетанию таланта, удачи, представившихся возможностей. Какой из этих факторов сыграл, на ваш взгляд, наибольшую роль?*

— Странная и при этом хрестоматийная жизнь Бродского казалась в то время (вероятно, и ему тоже) тем, что Китс

¹«На взгляд Запада». Роман Джозефа Конрада (1911).

назвал бы аллегорией. Думаю, его путь был предначертан свыше; возможно, это последний случай в истории, когда жизнь индивидуума могла быть воспринята символически, как универсальная — по милости «холодной войны» и манихейского переустройства мира, ею вызванного. В общем, Бродский — мученик. Его жизнь была своего рода запрограммированным свыше крестным путем и по этой самой причине — трагической, аномальной. Особенно в Нью-Йорке, как мне кажется, его жизнь проживалась — от его имени — другими, его друзьями и почитателями, а сам он, казалось, из нее вытеснялся — как этим огромным семейством, так и своим языковым и культурным изгнанничеством, с которым никак не мог смириться.

— *В России Бродский считается последним великим поэтом XX века, в одном ряду с Блоком, Мандельштамом, Цветаевой, Пастернаком и Ахматовой. Соответствует ли репутация Бродского в англоязычном мире его статусу в России?*

— Учитывая его канонизацию в одной части света, с полной уверенностью отвечаю: нет. Но хочу добавить, что ни один из перечисленных вами поэтов — за исключением Мандельштама, что непостижимо (может, отчасти благодаря некоторым сопутствующим факторам, вроде воспоминаний Надежды Яковлевны), — не имеет в англоязычном мире никакого веса. Многие из нас по-прежнему ждут перевода Ахматовой, который откроет нам Ахматову; то же относится и к Цветаевой, новый перевод которой показал бы, что она больше, чем просто хороший поэт (несмотря на бесконечное почитание ее Бродским); и к Блоку, стихи которого в новом переводе хоть отдаленно могли бы сравниться с любой книгой *о нем*, такой как, например, захватывающие «Итальянские путешествия Александра Блока» Люси Вогел... Что до Пастернака, то он для английского читателя был и остается прежде всего прозаиком (несмотря на утверждение Бродского, что Пастернак гораздо интереснее как поэт).

Иначе говоря, я не уверен, что в английском языке вообще найдется ниша, куда можно было бы поместить статую «последнего великого русского поэта XX века». С другой стороны, мне не кажется, что восприятие Бродского англоязычной средой искажено, раз он ею таковым не признается. В Бродском ведь, в конце концов, уникальна именно эта двойственность, двойная идентичность: Запад способствовал воз-

рождению к жизни его личности в той же мере, в какой Советская империя ее изничтожала.

— *Сохраняют ли английские переводы те качества, которые присущи русским стихам Бродского: виртуозное владение техникой, безграничная изобретательность, изящество, дерзость и звучность метафор?*

— Да (богатство образов, фантазия) и нет (мастерство, изящество). Встречный вопрос: в своих оригинальных стихах Бродский также предпринимал отважные попытки писать на смешанном, сочном диалекте — своего рода суррогатном идиалекте?

— *Джон Бейли писал в рецензии на английское собрание Бродского, что по-английски он звучит, как «медведь, играющий на флейте». Это жестоко, справедливо или просто презрительно?*

— Ну в образе медведя, играющего на флейте, есть своя тонкость и меткость (это не имеет отношения к делу, но древнейший музыкальный инструмент, найденный в одной из пещер в Словении, — неандертальская флейта, вырезанная из бедренной кости медведя). Я почти уверен, что Бродский хотел проделывать с английским языком дьявольские шутки и стремился скорее к разговорности, нежели к виртуозности. Уж если ему выпало жить в английской — или, того хуже, американской — языковой среде, он хотел достичь большего, нежели просто выучить этот язык. Мне кажется — и мы часто это обсуждали, — набоковский перевод Пушкина и переводческие принципы, положенные в его основу, были ему близки и понятны, не говоря уже о набоковском образе переводчика («вопли попугая, трескотня мартышки»). Или об удивительном набоковском предисловии к собственному переводу «Героя нашего времени» или о его же исследовании новаторского гоголевского отхода от языковых норм как формы самоперевода...

Таким образом, проблема «беглости» речи вставала перед Бродским во всей своей парадоксальности и силе, поскольку он хотел включить свой исторический опыт — собственное историческое свидетельство — в сами фонемы неродного языка, которому, на его взгляд, не хватало историчности. Так сказать, оставить грязные следы на девственно чистом снегу. Он хотел заразить язык (английский) вирусом истории: очень

по-оденски. А этого нельзя достичь просто беглостью и правильностью речи.

— *Как вы оцениваете авторские переводы Бродского?*

— Авторский перевод, безусловно, возможен (Энценсбергер, Беккет). Бродский переводил себя *одновременно* на английский и американский: в результате выходило то, что было нужно ему, а не то, что можно оценивать с абстрактных позиций совершенства. Переводы его порой неудачны, но всегда дерзки и нахальны. В их основе — последовательно проговариваемая философия, которую он применял не только к себе, но и к тем поэтам, кто был с ним в одинаковом положении. Бродский, например, настаивал, что единственным осмысленным изданием Милоша на английском языке будет то, в которое войдут только авторские переводы Милоша, а все остальное — чушь собачья. Бродский не размышлял на тему, возможен или невозможен авторский перевод, — он считал, что это единственно возможная форма перевода.

— *Что подталкивало Бродского к переводу собственных стихов, когда у него было так много выдающихся английских и американских переводчиков?*

— Прежде всего, Бродскому с самого начала повезло, потому что, можно сказать, по наущению Одена (Хект, например, был большим поклонником Одена) вокруг него собралась целая когорта талантливых, дееспособных переводчиков, буквально прикрепленных к нему. Мне кажется, он их испугался, испугался, что они возьмут над ним верх — и не мог отнестись к ним иначе, как к уполномоченным цензорам. Милошу тоже баснословно повезло с переводчиками, но Милош в этом смысле оказался более цивилизованным — он, в отличие от Бродского, верил во взаимную пользу, которую может принести сотрудничество при условии его, Милоша, неусыпного контроля. В случае с Милошем цензором, по мнению переводчиков, главным образом Хасса, выступал сам автор!

Кроме того, Бродский отказался от услуг переводчиков, потому что хотел усовершенствовать свое знание английского посредством перевода собственных стихов. И наконец, потому что он хотел стать английским *поэтом* — опять же посредством перевода на английский своих русских стихов. Даже если это означало, что английский Бродский будет против-

положностью русскому. Поразительная идея, если задуматься! Поразительно, как ему удавалось обращать любые жизненные обстоятельства себе на пользу — и в то же время так легко, так беззаботно рисковать.

— *Что вы думаете о переводческих принципах Бродского?*

— Я бы сказал, он исповедовал эквивалентность (узнав, что Кавафис писал по-гречески с соблюдением традиционных форм, он стал ратовать за новый перевод Кавафиса, в котором это было бы отражено). В своих переводах Мандельштама — когда слушаешь Мандельштама по-русски, на ум приходит поздний Йейтс: звучные, правильные четверостишия — он попытался продемонстрировать этот общий принцип его поэтики. Мне кажется, он недоверчиво относился к свободному стиху, особенно к переводу свободным стихом. Чувствовал, что свободный стих — как и многое другое на Западе — не заслуживает своего привилегированного положения. Он разделял мнение Элиота: для верлибра необходимо, чтобы «за завесой свободы таился призрак простейшего метра». Для того чтобы нарушать правила, нужно знать их досконально. Обидно, что Бродский — в отличие от Милоша, чьи переводы Збигнева Херберта просто блестящи — не переводил других русских или польских поэтов. Намеревался, но не успел.

— *Как вы думаете, английские критики Бродского понимали его принцип перевода?*

— Скорее всего, нет. Его идеи, такое впечатление, отдавали диалектикой и даже гностикой. Противопоставление его Милошу опять же уместно и плодотворно. Милош взял за точку отсчета простой принцип: он хотел, чтобы его стихи существовали на английском. В конце концов, Милош — польский поэт, не английский, поэтому передача его стихов по-английски является тем, чем является — передачей польского стихотворения по-английски. При таком подходе перевод теряет свой ореол священнодействия, становится земным, грешным делом. Отношение Бродского к языку прямо противоположно. Думаю, у него бывали настоящие прозрения. Он понимал, что «время боготворит язык» (Оден), боготворит нужное слово.

Кроме того, английские критики Бродского руководствовались подспудным, часто упрощенным понятием внешнего

оформления. Они считали своим долгом исправлять языковые огрехи Бродского, годами приводя в свое оправдание одни и те же, на редкость плоские и примитивные, доводы.

— *Вы читали английские эссе Бродского. Как вы оцениваете его уровень владения английским языком?*

— В свое время прозаическая книга Бродского «Меньше единицы» явилась для меня настоящим открытием. Именно она заставила меня вернуться к его поэзии и взглянуть на нее новыми глазами (я с восхищением перечитал старое пингвиновское избранное и «Часть речи»). Мне часто приходило в голову, что английская проза Бродского сродни русской прозе Мандельштама. Что Бродский заимствовал скорость — быстроту развертывания образа — у Мандельштама («Путешествие в Армению»). Проза Бродского — невероятно совершенна.

— *Как бы вы охарактеризовали отношение Бродского к английскому языку?*

— Он с ним повенчался. Но относился как к заморской суженой, которую еще предстоит завоевать рабочему-иммигранту.

— *Кто из современных английских поэтов имел влияние на Бродского?*

— Никто. Он был глух ко всей *постоденовской* поэзии. Разве что, из любви к Хини, признавал нескольких ирландцев (Малдуна, Майхона). Еще, как мне кажется, он кое-что позаимствовал — или, по крайней мере, подметил — у Уолкотта. Но в принципе для жизни ему хватало Фроста и Одена. От Фроста он научился разговорной, народной речи: Фрост унаследовал от Вордсворта способность наделять грубые, неизящные обороты силой и мощью. Бродский уловил эту черту, поскольку знал ее еще по Пушкину. А изысканности и всему остальному он научился у Одена. Поэтому для Бродского и было характерно это напряжение между утонченностью, изысканностью и попыткой докопаться до лежащей в основе народной речи. Конечно, у него в поэзии есть и другое, но за этим другим, как мне кажется, он обращался уже не к англоязычным поэтам, а к европейцам, к грекам и римлянам.

— *Подход Бродского к поэзии был чисто интуитивным или с примесью определенной философской или религиозной ориентации?*

— Хороший вопрос, но чтобы найти ответ, нам нужно побеседовать с вами подольше.

— *Бродский несколько раз ездил в Ирландию: в январе 1986 года он был в Белфасте, в 1988-м и 1989 годах — в Дублине. Сопровождали ли вы его когда-нибудь в этих ирландских паломничествах?*

— Пару раз я был с ним вместе в Ирландии. Однажды мы провели неделю в Корке; если не ошибаюсь, это было в 1989 году. Он выступал в Кинсейле. Дерек Майхон объездил весь город, сдирая со стен написанные от руки афишки («Большой Б в Кинсейле! Начало в 8 вечера»), поскольку боялся, что Иосиф не так поймет. Мы немного пошлялись по холмам вокруг Кинсейла в противозаконных поисках первобытных дольменов. Погода стояла на удивление ясная — и так день за днем. Помню один наш долгий разговор о возможности интеллектуальной точности в поэзии, об изображении в стихотворении абстрактных идей. Еще я помню, Бродский поражался буйности ирландских черт — всем этим диким, доисторическим, неправильным крестьянским лицам; он говорил, что Гомбрович чувствовал бы себя на улицах Уексфорда как дома. Ему нравились бары, вид одиноких мужчин, молча потягивающих темное пиво. С брезгливым презрением вспоминал он в эти моменты английские пабы с их вечно орущей музыкой и едой, символизирующими «утрату веры в божественную силу алкоголя». Хотя, бывало, он скептически относился к некоторым проявлениям ирландского обаяния, которое определял как желание понравиться, угодить. У него было врожденное недоверие к подобным вещам. Мне часто приходило в голову, что в его натуре было что-то брехтовское (вспоминается детальнейший портрет Брехта, который дает в своей книге «Men in Dark Times» Ханна Арендт) — он же относился к этой мысли с отвращением.

— *Бродский хотел, чтобы русский звучал как можно чаще, поэтому бесконечно выступал. Бывали ли вы на его поэтических вечерах? Что вы о них думаете?*

— Я был на нескольких его вечерах, в разные годы. Мне кажется, он слишком много читал по-русски. Магнитные поля обоих языков мешали друг другу, и от близости с русским его английский начинал все больше и больше звучать по-русски. Мне хотелось сосредоточиться на английском, а русский (хотя

это всегда было очень поучительно) не давал мне этого сделать. Кроме того, у слушателей создавалось предвзятое мнение, что в своем английском Бродский опирается на русский.

— *Почему издательство «Faber & Faber» отказывается печатать английское собрание стихотворений Бродского?*

— Потому что восприятие Бродского в Англии всегда сильно отличалось и отличается от восприятия его в Америке: Бродскому-поэту (в отличие от Бродского-эссеиста и Бродского-символа) еще только предстоит обрести прочное положение в английской поэзии, и издавать большое стихотворное собрание — не лучшее начало. Издать нужно — хотя, похоже, этого в ближайшее время не произойдет — хорошо продуманное избранное, в котором бы Бродский и его переводчики были представлены в новом свете. Такой том «Penguin», пожалуй, напечатает. Ведь переводчики были — и остаются, на мой взгляд — единственным и естественным прибежищем Бродского в этой стране.

— *Как сейчас Бродский вписывается в английскую поэзию?*

— Двусмысленно, по тем же самым причинам, о которых шла речь выше. Если оставить эти сложности, то вписывается и не вписывается он точно так же, как Херберт, Милош, Загаевский...

— *Не слишком много людей так же сильно стремятся к свободе, так же страстно ее желают, как Иосиф, который этой свободой обладал и исповедовал ее в поэзии. Возможно, в этом причина его неприятия некоторыми английскими поэтами?*

— Не думаю. Мне кажется, он был любим и почитаем младшим поколением английских поэтов (таких как Глин Максвелл, Аллан Дженкинс, Майкл Хофман, Лахлан Маккиннон). На мой взгляд, его английские почитатели острее, глубже осознают его значимость, чем очень многие его американские друзья.

— *Бродский писал в своем эссе «Памяти Стивена Спендера»: «Люди — это то, что мы о них помним». Что вы помните об Иосифе?*

— Все вышесказанное и есть память о нем, поскольку он все возводил в разряд личного, а личное — в принцип. Он был очень цельной натурой.

Меня особенно привлекал в нем талант к плохим поступкам. Обидно, что он стал так знаменит, так востребован — это мешало ему проявлять свои людоедские наклонности. Хотя хорошо, что он уехал в Америку — тогдашнюю Америку, — а не обосновался в тогдашней Англии. Он любил большие машины...

Помню, он говорил о себе: «Я — нервный».

Перевод с английского Лидии Семеновой

РОДЖЕР СТРАУС, НОЯБРЬ 2003, НЬЮ-ЙОРК

— *Кто познакомил вас с поэзией Бродского?*

— Мне кажется, я знал ее всегда. Не могу вспомнить, кто познакомил меня с Иосифом. Знаете, я очень любил Иосифа, мы были близкими друзьями. Мы перезванивались практически ежедневно. Он обычно звонил и спрашивал: «Привет, шеф, что новенького?» Или я звонил ему. И так было всегда. Просто чудесно. У меня в кабинете, в моем загородном доме, висит замечательная фотография Бродского — он на ней слегка улыбается. Ну и так далее...

— *22 октября, когда стало известно, что Бродскому присудили Нобелевскую премию, вы были в Лондоне. Джон ле Карре рассказывал мне, что в тот день он обедал с Иосифом в китайском ресторане в Хэмстеде, и вдруг туда ворвалась Рене Брендель, жена Альфреда Бренделя, со словами: «Иосиф, вы должны срочно вернуться домой!» Бродский спросил: «Почему?» — «Потому что вам дали премию!» — «Какую премию?» — «Нобелевскую!» И тогда Джон ле Карре спросил: «Откуда вы знаете?» — «Репортеры дежурят у нашего дома». Вы были в то время в Лондоне, в отеле. Какова ваша версия этой истории? Вы тоже*

Роджер Страус — соучредитель одного из самых авторитетных издательских домов «Farrar, Straus & Giroux», умер в Нью-Йорке 25 мая 2004 года, в возрасте восьмидесяти семи лет. На протяжении шести десятилетий он играл важную роль в издательстве, которое считал последним оплотом независимого книгоиздания XX века. В этом издательстве выходили книги Исаака Зингера, Флэннери О'Коннора, Иосифа Бродского и Сюзан Зонтаг. В 1994 году Страус продал его немецкой информационной компании.

узнали о присуждении Иосифу Нобелевской премии раньше его самого?

— Мне позвонил один швед и сказал, что Бродский вот-вот получит Нобелевскую премию или уже получил. Я забыл, что был в тот момент в Лондоне. А затем встал вопрос, где можно провести пресс-конференцию. Возможности, которыми располагали отели, для этой цели не годились, и тут я вспомнил, что Брендели — большие друзья Иосифа, и решил спросить у них. Вы бывали когда-нибудь у них в доме?

— Да-да, такой большой duplex.

— Так вот, собралось много людей. Пятьдесят человек или что-то около того. Они то приходили, то уходили. Повод был замечательный. А потом мы всемером отправились ужинать.

— Фотография, которая висит у вас в офисе, с Бродским и Бренделем, была сделана тогда, в Лондоне?

— Да.

— Вы ездили в Стокгольм?

— Да, конечно.

— А королева Швеции действительно такая красавица, как заявлял Иосиф?

— Она очень красива. Я всегда рассказываю историю — разумеется, вымышленную — о том, как я приезжал в Стокгольм сначала с Исааком Зингером, затем с Надин Гордимер, затем с Иосифом, затем с Дерекком и, наконец, с Шеймасом. Так вот, когда я приехал в очередной раз, король повернулся к одному из своих приближенных и спросил: «Что этот нью-йоркский еврей все время здесь крутится?»

— Как вы считаете, Иосиф получил Нобелевскую премию скорее за свои эссе, чем за стихи, в переводе довольно непростые и недоступные? Согласны ли вы с тем, что его первый сборник эссе, «Меньше единицы», сыграл здесь решающую роль?

— Да и нет. Не знаю. Мне всегда казалось, что Бродскому присудили премию за его литературный труд в целом. Думаю, что так оно и есть. Ведь в конечном итоге известен он как поэт. Хотя, разумеется, проза его тоже замечательна. «Полторы комнаты» — первоклассная вещь, потрясающая. Но прежде всего Бродский — поэт, всегда считал себя поэтом и интересовался главным образом поэзией; кроме того, он был очень великодушен и щедр в своих отзывах о других поэтах — далеко не всем поэтам, которых я знаю, это свойственно.

— Поскольку я уверена, что вы в курсе, скажу: к Нобелевской премии его представляли уже в 1980-м. Я была тогда в Энн Арборе и полгода ходила за ним, как тень, ловя каждое его слово. Однажды утром он сказал мне: «Попахивает Нобелем». Так что, возможно, он номинировался на премию и раньше и наконец получил ее в 1987-м.

— Кто знает, знаете ли. У меня на столе как раз лежит сейчас книга одного Нобелевского лауреата, которую я еще не читал, хотя хотел прочитать. И в то же время у меня на примете есть два автора, оба из которых достойны, на мой взгляд, Нобелевской премии. Это Марио Варгас Льюса и Лес Маррей, поэт.

— Лес Маррей — великий поэт. Надеюсь, он получит Нобелевскую премию.

— Он был в Лондоне на прошлой неделе, вместе с моими друзьями. Не знаю, где он сейчас. Вообще, разговоры о том, что кто-то достоин Нобелевской премии, полная чушь, потому что все это решается совершенно иначе.

— Что вы думаете по поводу заявлений некоторых американских поэтов о том, что издательский дом «Farrar, Straus & Giroux» был настоящим промоутером Иосифа?

— Иосиф сам был своим промоутером. Мы просто попались ему на пути.

— Некоторые писатели, такие, например, как Дж. М. Кутзее, оценивают второй сборник эссе Бродского, «Скорбь и разум», ниже, чем «Меньше единицы». Считаете ли вы, что во втором сборнике Бродский шагнул еще дальше и глубже?

— Думаю, это вопрос вкуса. Некоторым людям понравились кое-какие эссе из второго сборника, некоторые отнесли к нему пристрастно. Думаю, кстати, что Кутзее — очень подходящий кандидат на Нобелевскую премию.

— Возвращаясь к поэзии, вы, вероятно, знаете, что между оригиналом и переводом лежит огромная пропасть. Вам, как и многим западным критикам и поэтам, стихи Бродского известны в его авторских переводах. Джон Бейли, в рецензии на сборник стихов Бродского по-английски, заметил, что Бродский по-английски напоминает медведя, играющего на флейте. Он сказал это из желания оскорбить Бродского или в этом есть доля истины?

— Переводы Иосифа всегда вызывали горячие споры. Но

дело здесь, думается, в том, что Иосиф настолько хорошо знал английский, что мог читать свои переводы сам. Уверен, что какие-нибудь пуристы могли придрататься к его произношению: например, он произносил «waɪr», а на самом деле это должно было означать «whir gir», но сами переводы были очень и очень хорошими. Помню, как на него обрушился с критикой один самодовольный глупец, которого я знал в Лондоне.

— *Вы имеете в виду Крейга Рейна?*¹

— И заявил, что переводы плохие, лишь для того чтобы унижить Иосифа. Иосиф же был выше всей этой суеты, подобная чушь его не трогала.

— *Как ему удалось стать Поэтом-лауреатом США?*

— Интеллектуалам Америки случается время от времени делать что-нибудь по-настоящему умное. Думаю, так случилось и в тот раз. В один прекрасный день они вдруг осознали, что среди них живет великий поэт, выработавший свой особый образ жизни, весьма привлекательный, и что стоит обратиться на этого человека внимание публики, поговорить о нем, почитать и послушать.

— *Кстати, вам нравилась его манера читать стихи?*

— Да, он замечательно читал. Когда я услышал его чтение впервые — не помню, когда это было, — оно напомнило мне пение в храме, в моем храме; впрочем, эти вещи схожи. Он был замечательным чтецом. Он читал почти всегда одинаково, но его манера была... как бы это сказать, завораживающей. Очень-очень еврейской.

— *Он никогда не изменял своей манере чтения.*

— Забавно, сегодня утром я получил длинный факс от моего друга Митчела Крюгера, в котором говорилось, что последний раз он виделся и разговаривал с Иосифом в Мюнхене. Речь тогда шла о покупке авторских прав на сотню стихотворений Бродского, и теперь он хотел бы вернуться к этому вопросу. Желая ли я это осуществить? Я ответил ему, что не против, но сначала мне нужно переговорить с его вдовой, Марией. Я только что отправил ей длинное письмо, потому что не смог дозвониться. Вы знаете, что Мария живет в Ми-

¹ Craig Raine. A Reputation Subject to Inflation // Financial Times. 16/1, November. 1996. P. 19.

лане и работает у моего друга Калассо. Так что я, скорее всего, на это пойду. Однако есть еще кое-что, что нам всем пришлось в голову одновременно, и Иосифу тоже: заново перевести его самые ранние стихи. Это просто необходимо сделать. Многие вовсе не переводились, другие переводились, но очень плохо — по крайней мере, так говорят. Что я об этом могу знать? Мне сказали, и я поверил.

— *Иосиф отказывался признавать влияние на себя каких-либо поэтов, но для Одена он делал исключение. Как вы думаете, почему он выделял Одена? Что именно привлекало Бродского в его поэзии? Его самообладание, легкий налет абсурда, сдержанный лиризм, нелюбовь к себе?*

— Когда я думаю об их поэтических голосах, они кажутся мне во многом похожими. Вот как я ответил бы на этот вопрос. Они оба замечательно звучат. У них одинаковая тональность.

— *Интеллектуальность, отстраненность?*

— Да.

— *Как вы думаете, стал бы Бродский Бродским, если бы не суд, приговор, заключение и ссылка, то есть политические преследования, которым он подвергся в молодости? Его всегда возмущало то, что критики уделяют так много внимания испытаниям, выпавшим на его долю в России.*

— Его это безусловно возмущало, но позвольте с вами не согласиться. Мне не кажется, что на это делался такой уж большой упор. В конце концов, тюрьма не мешала ему писать стихи: он писал стихи и в заключении, и в ссылке, как мы оба прекрасно знаем. Так он справлялся с неволей; даже когда у него не было карандаша и бумаги, он сочинял стихи в уме, а потом записывал. Я печатал Солженицына и знаю, как они оба справлялись с политическими проблемами.

— *Говоря о слишком большом упоре на страдания, я имела в виду не Иосифа, а критику. Практически все монографии и статьи о Бродском начинаются с этого факта его биографии. Ему это не нравилось. Может, поэтому он так был против того, чтобы кто-нибудь написал его биографию? Как вы думаете, нужно ли знать биографию Бродского, чтобы лучше понимать его поэзию?*

— Думаю, да.

— *Известно, что Бродский очень любил Англию и всё ан-*

лийское. Как вы думаете, он считал Англию имперской страной, ведь образ империи был исключительно важен для его творчества?

— Прошу меня извинить, но мне кажется, что Иосиф, приехав сначала в Англию, а затем в Америку, почувствовал себя свободным. Свободным политически. Иными словами, никто больше не следил за ним, не указывал, что можно делать, а что нельзя. Я, разумеется, фантазирую. Мы никогда не говорили с ним об этом. Знаю, что в Англии он чувствовал себя очень вольготно. В Америке тоже; когда он жил на Мортон-стрит в окружении всех этих людей, которых я знаю, он был счастлив. Кстати, я хотел повидаться с одной из его соседок, но, похоже, она в Камбодже.

— *С Марго Пикен?*¹

— Да. Знаете, это очень по-американски — такого рода коммуны. А у них вообще все сложилось на редкость удачно. Все, кто там жил, живо интересовались друг другом, восхищались теми или иными художественными талантами друг друга, поэтому от общения всегда была отдача. Иосифу, как мне кажется, все это очень импонировало. То есть это так и было, он сам говорил об этом.

— *Вы печатали многих известных, первоклассных поэтов. Фактически все они иностранцы. Как Бродский вписывался в компанию американских поэтов?*

— Он был очень щедр на похвалы. Говорил хорошо практически о них о всех. Если подумать, то можно, пожалуй, вспомнить парочку, которых он не любил. Но имен называть я не буду! В целом же он очень позитивно относился к современной американской поэзии.

— *Я знаю, что Дерек Уолкотт, Марк Стрэнд, Ричард Уилбер любили Иосифа. Но были и другие известные поэты, чьи имена вы не хотите называть, которые его не любили.*

— Я бы сказал, что очень многие поэты высоко оценивали поэзию Бродского и любили его самого. Не думаю, что эти вещи очень его занимали.

¹ Марго Пикен — близкая подруга Бродского, его соседка по дому Мортон-стрит, 44. Присматривала за котом Бродского во время его отлучек. Бродский посвятил ей стихотворение «Эклога 5-я (летняя)» (1981).

— Много ли есть американских поэтов, которые могли бы написать стихи, отличающиеся такой нравственной силой и таким совершенством языка, как те, что Бродский написал по случаю своего сорокалетия («Я входил вместо дикого зверя в клетку...»)? Они заканчиваются словами: «Но пока мне рот не забил глиной, / Из него раздаваться будет лишь благодарность».

— Трудно сказать.

— Поддерживаете ли вы решение Энн и Марии ограничить число переводов Бродского? Я как преподаватель знаю, что чем больше у студентов версий перевода, тем глубже они проникаются оригиналом. А что вы думаете на этот счет?

— Я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы рассуждать на эти темы. Русского я не знаю и не могу поэтому сравнивать разные переводы. Несмотря на то что я печатал многих иностранных авторов — испанских, немецких, итальянских и так далее, — я не знаю ни одного иностранного языка, за исключением, пожалуй, французского. Сюзан Зонтаг, мой большой друг, пишет на нескольких языках, и ее испанский издатель может сказать ей: «Мне не кажется это слишком удачным» — или: «Мне хотелось бы, чтобы вы переделали то-то и то-то». Я же не вправе это говорить, поскольку просто не знаю предмета! Для этого мне нужно посоветоваться с кем-нибудь, кому я доверяю. Сам же я не могу сказать, что хорошо, что плохо.

— Некоторые исследователи Бродского полагают, что отрицательным результатом его славы явилось то, что другие русские поэты оказались в тени. Предпринимало ли ваше издательство какие-нибудь шаги для того, чтобы исправить эту ситуацию? Намереваетесь ли вы опубликовать кого-нибудь еще из русских поэтов?

— Мы, по рекомендации Иосифа, издали сборник стихов Александра Кушнера.

— А других русских поэтов вы не собираетесь издать?

— В данный момент мне никто не приходит в голову.

— Какие еще интересы были у Бродского, помимо поэзии?

— Иосиф, помнится, любил китайскую кухню. Как-то раз мы были в Лондоне — а там есть чудесный китайский ресторанчик, который называется «Воспоминания о Китае», — и я пригласил его туда на обед. Для начала мы заказали водки, и Иосиф сказал: «Роджер, вы полагаете, что это водка?» Кстати, сильнее всего я напился, когда был в России.

— *А когда вы были в России?*

— В 1940-м. Затем я приезжал в Россию еще раз, в 1978 году, на пути из Стокгольма, где я присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии Исааку Зингеру, в Америку.

— *Вы знаете, что в сентябре следующего года в Москве планируется большая конференция, посвященная Бродскому? Вы хотели бы принять в ней участие?*

— Думаю, я предпочту остаться в Нью-Йорке.

— *Вы упомянули Солженицына; возможно, вы не в курсе, но несколько лет назад, уже после смерти Иосифа, Солженицын напечатал в «Новом мире» статью, в которой обвинял Бродского в том, что тот не был истинным евреем, поскольку не писал на еврейские темы. Истинным русским он также не был, поскольку не любил Россию. Почему, как вам кажется, Солженицын это написал?*

— Я объясню вам почему. Солженицына обвиняли — и, возможно, небезосновательно — в антисемитизме, и он решил ответить на это обвинение таким образом. Я не стал печатать его «Двести лет вместе». Мне предложили, а я отказался. Я напечатал его «В круге первом» и «В круге втором», но не стал печатать «В круге третьем» — мне это показалось неудачным. Зато я считаю, что очень интересное произведение — «Раковый корпус».

— *Что касается Иосифа, то он относился к Солженицыну с большей широтой. Возможно, ему не слишком нравилась солженицынская манера письма, но он не уставал повторять, что Солженицын — это советский Гомер, поскольку написал историю чудовищных преступлений, совершенных советским государством против своего народа. Одного этого достаточно, чтобы считать Солженицына великим человеком. К сожалению, в поэзии он смыслит мало.*

— Если говорить о еврейских темах, одно из любимейших моих стихотворений Бродского — стихотворение о еврейском кладбище под Ленинградом. Это не только замечательное стихотворение, но в каком-то смысле и важное свидетельство.

Перевод с английского Лидии Семеновой

Именной указатель

- Аарон Д. 270, 416
Авербах И. А. 151
Агеев Л. М. 88
Аддис Д. 393
Адмони В. Г. 76
Айги Г. Н. 348, 350, 488, 496, 497
Айзенберг М. Н. 319
Акимов Н. П. 130
Аксенов В. П. 107, 159, 160, 162, 164, 165, 278
Алварес А. 455
Алексеев М. П. 493
Алешковская И. Ф. 199
Алешковский Ю. (И. Е.) 26, 59, 128, 185, 272
Аллева А. 306, 307, 313
Аллилуева С. И. 11
Аллен В. 455
Альберти Р. 385
Амундсен Р. 87
Андреас-Саломе Л. 331
Андропов Ю. В. 40
Анна Мария Александра, дочь Бродского И. 108, 197, 203, 206
Анненский И. Ф. 189
Аннинский Л. А. 155
Арагон Л. 129, 261
Ардов В. Е. 120, 121
Ардов М. В. 119, 129
Арендт Х. 413, 517
Армстронг К. 410
Аристотель 444
Аронзон Л. Л. 110
Аслопа Д. 291
Аспенстрем К. В. 210
Ахмадулина Б. А. 192, 344, 348
Ахматова А. А. 12, 48, 62, 79, 84, 106, 107, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 140, 146, 149, 157, 169, 229, 238, 240, 244, 261, 281, 282, 284, 301, 304, 308, 309, 315, 318, 327, 354, 360, 363, 369, 381, 394, 398, 399, 409, 418, 429, 459, 482, 485, 496, 506, 507, 519
Багрицкий Э. Г. 89
Байрон Дж. 48, 207, 220, 471
Баланчин Дж. 301
Балашов Д. М. 22
Бараньчак С. 254, 255, 257
Баратынский Е. А. 174, 254, 278, 409
Барков Л., полковник ГБ 35
Бар-Селла З. 49
Барышников М. Н. 218, 219, 271, 272, 275, 304, 463
Басманова М. Н. 106, 116, 158, 224, 230, 242, 404
Батюшков К. Н. 177

- Бах И. С. 199, 294, 308
Башмакова Н. В. 361
Бейли Дж. 513, 522
Беккет С. 514
Белле Й. дю 205
Берберова Н. Н. 147, 185
Бергсон А. 268
Бердников А. 348
Беринг В. 92
Берлин И. 52, 53, 146, 285—
287, 369, 449, 461, 474
Бертон Р. 332
Бетеа Д. 163
Бетелл Н. 453
Беттоки К. 289
Бечеман Д. 283, 285
Бёртон Р. 281
Бизе Ж. 220
Битов А. Г. 89, 90, 100, 105
Бишоп Э. 380
Бишопс, принц 461
Блант Э. 13
Блок А. А. 47, 49, 125, 128,
149, 153, 157, 212, 344, 418,
488, 512
Блум Х. 427
Блумштейн Э. 109
Блэр Б. 199
Бобышев Д. В. 89, 152, 153,
157—161, 163, 164, 224, 242
Бодлер Ш. 140, 205, 267
Бодли Д. 290
Бозе Л. 199
Боков В. Ф. 166
Бонфуа И. 491, 497
Борхес Х. Л. 464
Боттичелли С. 310
Браун К. 494
Брамс И. 196
Бродская М. М., мать И. Брод-
ского 90, 116, 126, 308—311,
357, 358
Бродский А. И., отец И. Брод-
ского 90, 116, 308—311
Брежнев Л. И. 35, 38, 44, 52,
85, 97, 98, 284, 359, 397
Брендель А. 9, 520, 521
Брендель Р. 9—11, 520, 521
Бретон А. 260, 261
Брехт Б. 517
Брик Л. Ю. 216, 262
Британишский В. Л. 30, 88, 94,
139
Буднев Н. М. 93
Буковский В. К. 45, 331
Булгаков М. А. 499
Бурихин И. Н. 33
Буттафава Дж. 218, 219, 339
Бухарин Н. И. 399
Быков В. В. 49
Бэстен М. ван 455
Бюлов Х. фон 26
Вагинов К. К. 453
Вагнер Р. 26, 219, 220
Вайда А. 253
Вайль П. Л. 5, 115, 127, 198
Вахтин Б. Б. 27, 76, 157
Вахтины 27, 39
Вебер М. 328
Вейсборг Д. 375
Велизарий 457
Венцлова Т. 59, 140
Вергилий 176, 203

- Вигдорова Ф. А. 76, 123, 244
Вигзель Ф. 98
Видал Г. 291
Викулов С. В. 153
Вильямс К. 376
Виноградов А. П. 99
Виноградов Л. А. 89, 131
Винокуров Е. А. 485
Виньковецкий Я. А. 75
Виргилий (Вирджилио) 206
Вирек П. 390
Вирпша, польский переводчик 257
Витгенштейн Л. 146, 458, 476
Во И. 456
Вогел Л. 512
Воеводин Е. В. 121
Вознесенский А. А. 148, 164, 344, 345, 429, 477, 485
Волков С. М. 5, 84, 86, 87
Волошин М. А. 116
Вольтер 353
Воннегут К. 464
Вордсворт А. 516
Воробьева М. Н. 105, 314
Воронель А. 33
Ворошильский, польский переводчик 257
Высоцкий В. С. 137, 208, 231, 345
Вяземский П. А. 469, 475

Габричевский А. 147
Гавел В. 359
Гайворонский А. В. 22
Гайдн Й. 199, 385
Галасс Д. 368
Галушко Т. К. 30
Галчиньский К. И. 141, 250, 251
Гамильтон Й. 287, 458
Гандельсман В. А. 150
Гандлевский С. Г. 198
Гаспаров М. Л. 72
Гегель Г. В. Ф. 148, 316, 330
Гедеминовичи 52
Гейне Г. 353
Генис А. А. 115, 198
Гердт З. Е. 105
Гете И. 353, 390
Гинзберг А. 299
Гинзбург А. И. 234
Гинзбург Л. Я. 453
Гинзбург-Восков Г. 59, 81, 327
Гирландайо 149
Гитлер А. 392
Глэд Дж. 477
Гоголь Н. В. 47, 49
Голуб М. 426
Голышев В. П. 168, 169, 174, 202, 227
Гомбрович В. 517
Гомер 84, 257, 293, 372, 479, 527
Гондович, польский переводчик 257
Гораций 61, 71, 176, 203, 304, 314, 374, 384
Горбаневская Н. Е. 160, 234, 245, 248, 262, 476
Горбачев М. С. 70, 85, 106, 191, 213, 217, 218, 359, 412
Горбовский Г. 30, 88, 91, 94, 153, 162, 164

- Гордимер Н. 521
Гордин Я. А. 20, 77, 105, 115,
227, 228, 230, 261
Городницкий А. М. 30, 88
Горький М. 61
Грант У. 440, 441
Грачев Р. И. 78
Грейвз Р. 478
Грибоедов А. С. 208
Гродин Ч. 455
Грудинина Н. И. 126, 358
Губанов Л. 169
Гузевич Д. 47
Гумилев Н. С. 61, 507
Гурвич Ю. 39
Гуссерль Э. 148
Гутнер М. 67
Гюго Р. 325, 334
- Дазмарова Г. С. 114
Даниэль Ю. М. 80, 261
Данте 24, 75, 76, 127, 148, 176,
248, 277, 278, 360, 361, 373,
406, 411
Дарвин Ч. 448
Датешидзе Д. К. 313
Дашевский Г. 173
Державин Г. Р. 254, 352, 409
Дженкинс А. 518
Джойс Д. 67, 168, 173, 205,
253, 440
Дзюба 49
Диана, жена А. Майерса 463, 464
Дикинсон Э. 387, 432, 433, 458
Добровольский Ф. 113, 114
Довлатов С. Д. 44, 45, 87, 185,
223, 313, 332
- Дозморов О. В. 318
Домбровский Ю. О. 44, 453
Доницетти Г. 219, 220
Донн Дж. 50, 169, 210, 233,
249, 257, 281, 283, 301, 353,
360, 395, 411, 421, 427, 432,
433, 445, 453, 454, 459, 481,
482, 493, 498, 503
Достоевский Ф. М. 24, 44, 72,
84, 85, 128, 164, 215, 254,
293, 318, 437, 453, 499
Доукинс Р. 448
Дравич А. 246, 252—254, 257
Драммонд де Андрада К. 385
Дубик Ю. 96
Дэйви Д. 376, 471
Дюма А. 337
- Еврипид 108, 189, 199
Евтушенко Е. А. 133, 137, 138,
148, 344, 429, 447, 485
Егерев, сотрудник ГБ 33
Екатерина II 353
Елизавета, англ. королева
454
Ельцин Б. Н. 85, 207, 217, 359,
412
Энтин Л. Г. 109
Еремин М. Ф. 89, 131
Ершов П. П. 47, 89
Есенин С. А. 47, 73, 165, 231,
344, 363
Ефимов И. М. 45, 75, 76, 78,
83, 327
- Жаботинский В. (З.)Е. 49
Живова Ю. М. 120

- Жуков Г. К. 77, 124, 167, 408, 444
Жуковский В. А. 61, 144, 352
Заболоцкий Н. А. 89, 254, 256, 485, 486
Загаевский А. 518
Загреба В. 32, 33
Замятин Е. И. 453
Зенкевич М. А. 67
Зингер И. Б. 520, 521, 527
Зонтаг С. 270, 288, 295, 298, 332, 380, 420, 508, 520, 526
Зощенко М. М. 68
Иванов Вяч. Вс. 144
Иванов Л., футболист 93
Иванова Н. Б. 158
Измайлов Р. 236
Израэль П. 263
Ишервуд К. 456, 502
Йейтс У. Б. 293, 328, 331, 374, 396, 427—430, 435, 444, 493, 515
Кавафис К. 62, 82, 146, 404, 406, 427, 429, 515
Казак В. 29
Калабрия Р. 457
Калинец И. и его жена, украинские правозащитники 49
Каллас М. 218, 219
Калассо Р. 511, 524
Камбурова Е. 105
Кандинский В. В. 147
Кант И. 148
Кантемир А. Д. 141
Кантор, нейрохирург 345
Каплан Л. 224
Каплан Р. 225
Капоте Т. 11
Капустина В. Л. 388, 400, 422, 460
Карабанов В. П. 31, 34, 36, 41—43, 55
Карабчиевский Ю. А. 156
Карлайзл О. 29
Карре Дж. ле 9, 520
Касаткина Е. Н. 384, 444
Кастро Ф. 260
Катилюс А. 140, 141
Катилюс Р. 140, 141
Катулл 30, 457
Кафка Ф. 370, 384
Кашкин И. А. 67
Кейтс Д. 350
Келебай Е. 61, 62
Келдыш М. В. 99, 100
Кеннан Л. 393
Кеннеди Р. 390
Кеннеди-Онасис Д. 291
Кибальчич Н. И. 22
Кибиров Т. Ю. 198, 319
Киган П. 510
Кинг Б. 380, 402
Кирнарский В. 22, 23
Киселев 28
Китс Дж. 492, 511
Клайн Дж. 29, 396
Клампит А. 382
Клобуковский, польский переводчик 257
Клюев Н. А. 165, 166
Коган Б. 22
Кожухов Ю. В. 37, 38

- Козаков М. М. 105, 224
Колек Т. 53
Колумб Х. 87
Кольцов А. В. 47
Колышко, польский переводчик 257
Конквест Р. 466
Конрад Дж. 418, 511
Конрад С. (Кондратов А. М.) 12, 131
Конфуций 148
Коржавин Н. М. 62, 63, 147, 217, 276
Корнеев Ю. Б. 395
Коробовы 39
Королев С. П. 95
Косцинский К. 132
Красовицкий С. Я. 239
Крашенинников С. П. 92
Крепс М. Б. 48
Кржижевская К. 254, 255, 257
Кривулин В. Б. 133, 140, 324, 361
Кромвель О. 474
Кружков Г. М. 363, 372
Крученых А. Е. 453
Крэшоу 433
Крюгер М. 523
Кублановский Ю. М. 237, 349
Кузмин М. А. 188
Кузнецов А. В. 45
Кузнецова М. П. 230, 275
Кузьминский К. К. 153, 324
Куклин Л. В. 89, 224
Кулле С. Л. 30
Куллэ В. А. 67, 87
Кумпан Е. А. 76, 88
Куприянов В. Г. 324
Кутзее Дж. М. 62, 522
Кутик И. 70
Кушнер А. С. 30, 68, 88, 94, 105, 108, 139, 162, 191, 256, 320, 338, 348, 406
Кьеркегор С. 48, 247, 428, 436
Кьюнитс С. 394
Кэмпбелл Д. 443
Лагздина Г. Ю. 114
Ланской А. М. 39
Ларбо В. 422
Ларкин Ф. 68, 461, 465, 485
Леандер З. 149, 199, 490
Лейкин В. А. 30
Ленин В. И. 30, 34, 79, 70, 417
Леонардо да Винчи 149
Леонтьев А. Ю. 220, 415
Лерер, американский телекомментатор 71
Лермонтов М. Ю. 64, 79, 84, 89, 121
Лесков Н. С. 293
Лесючевский Н. В. 35
Ли Р. Э. 441
Либерманы 280
Лимонов Э. В. 185
Литвинов П. М. 504
Ло Б. 461
Лосев Л. В. 30, 45, 54, 57, 89, 115, 137, 198, 199, 201, 204, 230, 247, 323, 327, 488
Лосева Н. П. 199
Лотман Ю. М. 72, 144

- Лоуэлл Р. 301, 380, 411, 420,
430, 433, 477, 478
Луговской В. А. 21
Луконин М. К. 73
Лурье С. А. 68
Льоса М. В. 522
Любимов Ю. П. 108, 189, 199
- Магеллан Ф. 87
Майерс А. 453, 488, 510
Майерс Б. 330
Майерс Д. 419
Майхон Д. 516, 517
Маккейг Н. 446
Макиннон Л. 518
Маклейн С. 492
Маклин С. 446
Маклинтер Т. 368
Макнамара, австралийский
поэт 443
Макнил, американский теле-
комментатор 71
Макнис Л. 68, 463
Маколи Дж. 443
Максвелл Г. 518
Максимов В. Е. 123
Малдун П. 516
Мамардашвили М. К. 259
Мандальян, польский перевод-
чик 257
Мандельштам Н. Я. 211, 418, 512
Мандельштам О. Э. 64, 72, 73,
117, 121, 141, 146, 193, 214,
229, 231, 239, 260, 268, 269,
327, 352, 363, 369, 409, 429,
436, 448, 453, 468, 470, 471,
512, 515, 516
- Манн Т. 13, 299, 391
Марамзин В. Р. 23, 25—29, 31—
33, 35—40, 44, 45, 64
Марвелл А. 445, 474
Мариенгоф А. Б. 165
Мария, жена И. Бродского 70,
87, 108, 111, 128, 197, 199,
200, 203, 205—207, 215, 229,
230, 253, 267, 274, 280, 290,
293, 363, 403, 523, 526
Мария Стюарт 167, 488, 490
Маркиш Ш. П. 48
Маркс К. 65
Маррей Л. 300, 301, 406, 432,
442, 446, 449, 482, 496, 522
Мартынов Л. Н. 159, 165, 170
Марциал 30
Маршак С. Я. 121
Маршалл Л. 319
Мачадо А. 495
Маяковский В. В. 21, 73, 132,
133, 188, 201, 208, 210, 215,
216, 262
Медведев В. В. 174
Мейербер Дж. 26
Мейлах М. Б. 91, 92, 235
Мелвилл Г. 457
Мельников В., кинорежиссер
22
Менделеев Д. И. 354
Мервин-Браун Л. 433, 470
Мердок А. 294
Микоян А. И. 244, 261, 262
Милош Ч. 5, 11, 140, 143, 144,
239, 254, 255, 257, 371, 398,
405, 406, 419, 420, 429, 432,
482, 483, 514, 515, 518

- Мильтон Дж. 48, 474
Мильчик М. И. 28, 368
Миронов А. 324
Мирский (Святополк-Мирский) Д. П. 67
Михник А. 70
Мицкевич А. 143, 144
Монтале Е. 289
Монтень М. 148
Морган Р. 253
Мориц Ю. П. 338
Морозов П. Т. 124
Мосс Г. 384
Моцарт В. А. 219, 220
Музиль Р. 205
Мур Г. 282
Муравьев В. 140
- Набоков В. В. 168, 214, 228, 437, 455, 481, 486, 499
Наврозов Л. А. 242
Найман А. Г. 71, 79, 80, 89, 106, 107, 131, 137, 152, 157, 158, 161, 165, 191, 224, 226, 247, 249, 501
Найпол В. 405
Некрасов Н. А. 89
Никандров, сотрудник ГБ 33
Ниро Р. де 455
Ницше Ф. 66
Норвид Ц. К. 144, 250, 256
Ньютон И. 102, 361, 459
Нэтс, польский переводчик 257
Нэш О. 409
- Овидий 176, 203, 304
Оден У. Х. 29, 68, 140, 163, 189, 194, 215, 233, 282—285, 287—293, 301, 302, 304, 327, 328, 349, 353, 367, 387, 395, 403, 404, 406, 407, 427—431, 433, 444, 456, 460—463, 466, 473, 477, 478, 481, 485, 492, 493, 496, 499, 500, 502—504, 514, 516, 524
О'Коннор Ф. 520
Окуджава Б. Ш. 101
Окутюрье 355
Олдс Ш. 446
Орлов С. С. 67
Оруэлл Д. 168
Осборн Ч. 454
Оффенбах Ж. 220
Охапкин О. А. 324
- Павлова В. А. 441
Пампанини С. 199
Панова В. Ф. 156
Панцирев С. 389, 401, 414, 450, 487
Паркер Ч. 202
Парщиков А. М. 348
Пас О. 419, 420, 432, 436
Пастернак Б. Л. 124, 125, 140, 141, 154, 192—194, 203, 205, 215, 344, 363, 409, 418, 436, 448, 454, 488, 492, 496, 512
Патраболова Г. 249, 250
Паттерсон Д. 495
Паунд Э. 70, 390, 428, 431, 433
Пессоа Ф. 357
Пёрселл Г. 199, 281
Пикассо П. 201, 454

- Пикен М. 105, 525
Пинскер А. 109
Платонов А. П. 205, 259, 262, 263
Плеханова И. 61
По Э. А. 471
Подгорный Н. В. 101
Поло М. 87
Поляк Г. Д. 161
Поляков Л. Е. 81
Портер К. 409
Портер П. 376, 456, 471, 472, 494
Прайс Р. 287
Прингл А. 511
Прокофьев С. С. 292
Проперций 203, 429
Проффер К. 301, 326, 327, 478
Проффер Э. 189, 228
Профферы 81, 228, 235
Пруст М. 205
Пунин Н. Н. 507
Путин В. В. 85, 359
Пуччини Дж. 219
Пушкин А. С. 24, 47—49, 64, 72, 79, 89, 92, 125, 137, 136, 149, 153, 157, 171, 192, 208, 209, 223, 226, 233, 259, 266—268, 277, 306, 315, 316, 318, 334, 337, 352, 353, 356, 407, 453, 513, 516

Рабинович Р. 109, 115
Радж О. 298
Райс К. 51
Ранчин А. М. 61
Ратайчак-Капусцинская З. 246
Раффель Б. 470
Рахманова Н. Л. 228
Рейд К. 376
Рейн Е. Б. 20, 30, 59, 70, 75, 78—80, 88—91, 94, 98, 105, 107, 108, 117, 120, 131, 137, 147, 148, 152, 157, 159, 161, 163, 191, 224, 227, 249, 313, 314, 345, 347—349
Рейн К. 301, 302, 376, 419, 471, 472, 495, 523
Ретивова Т. А. 324
Рид К. 290, 495
Рильке Р. М. 145, 194, 195, 342, 409, 429
Робинсон Р. 442, 443
Робинсон Э. А. 68
Рождественский Р. И. 73
Розанов В. В. 148
Рольникайте М. Г. 39
Романовы 52
Рубен Б. 410
Рубцов Н. М. 166
Рыжий Б. Б. 318
Рэтке Т. 325, 327
Рэш Р. 446
Рябчук В., майор ГБ 28, 36, 40

Савельева Е. 85
Савинио Р. 312
Сазерленд Д. 290, 291
Сандлер С. 228
Сапгир Г. В. 153, 363
Сартр Ж. П. 244, 261, 262
Сахаров А. Д. 15, 16, 145
Светличный И., украинский диссидент 49

- Свифт Д. 46
Святополк-Мирский Д. П. —
 см. Мирский
Седакова О. А. 195, 237
Сеймур С. 441
Сельвинский И. Л. 21, 165
Семашкевич Е. 253, 257
Семенов Г. С. 88, 104
Сенешаль Д. 143
Сеннет Д. 288
Сент-Экзюпери А. 61
Сервет М. 21
Сергеев А. Я. 59, 65, 68, 69,
 71, 140, 149, 169, 171, 172,
 177, 227, 241
Серф М. 262
Силвер Б. 302
Симик Ч. 426
Синявский А. Д. 80, 123, 261,
 497
Сковорода Г. 148
Скотт В. 46, 48
Скэммелл М. 63, 499
Славинский Е. М. 109
Славк Г. 255
Слессор К. 442, 443
Слуцкий Б. А. 101, 158, 165,
 170
Смит Дж. 436, 471, 472, 502
Сморозин Б. 162
Сноу Ч. П. 285, 286
Собчак А. А. 86, 129
Соколов С. (А. В.). 81, 334
Сократ 148
Солженицын А. И. 16, 37, 41,
 62, 63, 83—87, 124, 147, 156,
 217, 231, 232, 236, 276, 358,
 391, 407, 479, 499, 500,
 505—507, 524, 527
Соловьев В. И. 43, 50
Соловьев В. С. 84
Сойнка У. 382
Соснора В. А. 88, 94, 162
Спендер Н. 281
Спендер М. 282, 284, 288, 293
Спендер С. 62, 281—294, 338,
 458, 461, 499, 502, 503, 518
Сталин И. В. 46, 261, 359, 392,
 397, 413, 417
Станкевич В. А. 185
Старовойтова Г. В. 199
Стейнбек Д. 168
Стерн Л. 460
Стоппард Т. 470
Стравинский И. Ф. 147, 282,
 292
Стратановский С. Г. 30, 319
Страус Р. 10, 270, 368, 380, 402,
 511, 520
Строчков В. Я. 319
Струве Г. 29
Стругацкий Б. Н. 19, 44
Стус В. 38, 49
Стрэнд М. 339, 379, 382, 384,
 396, 420, 444, 445, 482, 525
Суворов В. А. 124
Сумеркин А. Е. 174, 185, 230,
 276
Суперфин Г. Г. 235
Таран Ю. 96
Тарутин О. А. 88
Тимофеев Ю. П. 104
Тиновская Е. 318

- Тихонов Н. С. 21
Товстоногов Г. А. 41
Толстикова В. С. 120
Толстой А. К. 475
Толстой Л. Н. 84, 85, 147, 157,
293, 318, 499
Томас Д. 493
Томас Р. С. 446
Томашевская З. Б. 493
Томашевский Б. В. 493
Топоров В. Л. 64
Тоша Б. 254, 256
Тоша Э. 254, 255
Травинский В. 19, 21, 22, 24
Транстремер Т. 213
Трауберг Н. Л. 141
Третьяков В. К. 352
Трейси Р. 471
Триоле Э. 129
Троцкий Л. Д. 417
Туми М. 122
Тышкевич Б. 199
Тютчев Ф. И. 208, 254, 475
- Уассборг Д. 477
Уилбер К. 396
Уилбер Р. 420, 433, 446, 475,
493, 494, 525
Уилсон А. 382
Уильямс У. 390, 431, 433
Уитмен У. 376, 432, 433
Унтермейер Л. 493
Уодсворт У. 423
Уолкотт Д. 139, 300, 350, 372,
373, 376, 380—382, 384, 402,
413, 419, 420, 432, 444—446,
482, 485, 493, 516, 521, 525
- Утесов Л. О. 120
Уфлянд В. И. 30, 89, 105, 131,
191
Уэбб Ф. 443
- Фанайлова Е. Н. 489
Фаст П. 257
Фет А. А. 49, 475
Филби К. 14, 15, 457
Филдс У. С. 465
Фолкнер У. 168, 170, 205,
253
Фейнштайн Э. 493
Франс П. 488
Фрейд З. 18
Фрил Б. 368
Фрию К. 262
Фрост Р. 62, 67, 68, 140, 194,
302, 327, 349, 353, 359, 381,
404, 421, 427, 428, 429, 431,
433, 437, 516
Фук С. К. 15
Фэрфакс (Ферфакс) Т. 474
- Хабаров А. В. 99
Хаксли О. 67
Харди Т. 188, 194, 331, 369,
374, 387, 427, 428, 433
Хармс Д. И. 453
Хасс Р. 429, 514
Хачатурян А. И. 231
Хейфец М. Р. 19, 29, 33, 37,
38, 41, 43, 45
Хект Э. 240, 289, 420, 446, 494,
415
Хемингуэй Э. 67
Херберт Дж. 140

- Херберт З. 369, 429, 445, 459,
515, 517
Хини Ш. 300, 367, 368, 373,
406, 419, 420, 432, 445, 458,
482, 483, 492, 496, 516, 521
Хит Т. 286
Хлебников В. В. 239, 418
Ховард Р. 379
Ходасевич В. Ф. 14, 146, 168,
352
Хокни Д. 289, 368
Хомский А. 330
Хопкинс Дж. М. 494
Хорнбек Б. 368
Хофман М. 510, 518
Хрущев Н. С. 359, 390, 397
Хьюз К. 290
Хьюз Т. 477, 485, 496
- Целан П. 390
Целков О. Н. 130
Цветаева М. И. 24, 47, 55, 62,
84, 125, 144, 146, 157, 163,
179, 185, 193, 194, 199, 208,
229, 231, 238, 254, 256, 304,
306—309, 327, 329, 330, 333,
334, 337, 340, 352, 354, 356,
394, 404, 409, 410, 418, 429,
485, 493, 512
- Чайковский П. И. 219, 220
Чейгин П. Н. 324
Чекалов Д. И. 173, 174
Черкасов, профессор-геолог 99
Чернышева Е. 271
Чертков В. Г. 85
Честертон Г. К. 141, 145
- Чехов А. П. 336, 344
Чингисхан 43
Чириков Е. Н. 333
Чирикова Л. Е. 334
Чосер Дж. 334
Чуковская Л. К. 120, 493
Чуковский К. И. 121
Чухонцев О. Г. 488
- Шаврова В., художница 317
Шарпантье 199
Шварц Е. А. 319, 324
Швейгольц В. 109
Швейцер В. А. 192, 230, 397
Шевченко Т. Г. 47
Шекспир У. 24, 76, 84, 127,
140, 330, 337, 372, 376, 395,
445, 492
Шелберг Э. 87, 174, 186
Шелли П. Б. 407, 492
Шемякин М. М. 19
Шестов Л. И. 148, 247, 428,
436
Шеф Г. В. 78
Шильц В. 137, 355, 457
Шимаков-Рейферова Я. 247
Шимборска В. 421
Шкловский В. Б. 330
Шмаков Г. Г. 218, 219, 225,
271, 272, 276
Шмидт М. 445
Шнакенберг Г. 378
Шнитке А. Г. 231
Шолохов М. А. 244, 286
Шоне В. 373
Шостакович Д. Д. 244, 261
Шоу Б. 470

- Шраер-Петров Д. П. 151—153
Штейнберг А. С. 75, 89
Штейнберг Г. С. 88, 114, 171
Штерн Л. Я. 59, 86, 129, 223
Шуберт Ф. 288
Шульц С. С. мл. 113—115
Шульц С. С. ст. 114
- Щербина Т. Г. 127, 343, 407
- Эвентов И. С. 37, 38
Эйзенгардт Л., машинистка 27
Эйнштейн А. 102, 207, 208
Эмерсон Р. У. 437
Эммануэль П. 29
Энценсбергер М. 514
Эпельбуэн А. 259
Элиот В. 290
Элиот Т. С. 140, 194, 290, 377,
- 427, 428, 433, 435, 459, 462,
463, 492, 515
Эсхил 189
Эткинд Е. Г. 24, 25, 27, 31, 32,
34—37, 39—42, 45, 244, 266
Эткинд М. Е. 27, 31, 32, 34,
41, 42, 81
Эшбери Дж. 433, 443
- Юнг К. Г. 336
Юрский С. Ю. 40, 41
Юрьенен С. С. 187
- Якобсон Р. О. 144, 217, 229
Яковлева (Либерман) Т. 201, 216
Янгфельдт Б. 210, 219
Янгфельдт С. 213
Ярмуш М. Ю. 120
Яшин Л. И. 93

СОДЕРЖАНИЕ

Я. Гордин. Каким я его видел	5
------------------------------------	---

I

Джон ле Карре, 28 мая 1996, Лондон. <i>Перевод Льва Лосева</i>	9
Михаил Хейфец, июль 2004, Москва	19
Лев Лосев, август 2004	57
Игорь Ефимов, 10 ноября 2003, Нью-Джерси	75
Генрих Штейнберг, 2 сентября 2004, Москва	88
Эдуард Блумштейн, 26, 30 июня, 12 июля 2004, Лондон	109
Михаил Ардов, 4 сентября 2004, Москва	119
Олег Целков, июнь 2004, Париж	130
Томас Венцлова	140
Давид Шраер-Петров, 28 сентября 2003, Лондон	151
Виктор Голышев, сентябрь 2004, Москва	168
Александр Сумеркин, ноябрь 2003, Нью-Йорк	185
Петр Вайль, март 2005	198
Бенгт Янгфельдт, октябрь 2003	210

II

Людмила Штерн, 15 ноября 2003, Бостон	223
Наталья Горбаневская, апрель—июнь 2004, Париж	234
Зофья Ратайчак-Капусцинская, 23 апреля 2004, Краков	246
Анни Эпельбуэн, июнь 2004, Париж	259
Елена Чернышева, 18 ноября 2003, Нью-Йорк	271
Леди Наташа Спендер, июнь—сентябрь 2004. <i>Перевод Анастасии Кузнецовой</i>	281
Сюзан Зонтаг, 11 ноября 2003, Нью-Йорк. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	295
Аннелиза Аллева, май 2004, Венеция	306
Татьяна Ретивова, июль—ноябрь, 2004	324
Татьяна Щербина, 10 марта 2004, Лондон	343

III

Шеймас Хини, 30 марта 2004, Лондон. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	367
Марк Стрэнд, февраль 2004. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	379

Питер Вирек, ноябрь 2003, Саут-Хедли, штат Массачусетс. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	390
Дерек Уолкотт, ноябрь 2004, Нью-Йорк. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	402
Джонатан Аарон, ноябрь 2004, Бостон. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	416
Уильям Уодсворт, 19 ноября 2003, Нью-Йорк. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	423
Лес Маррей, 9 ноября 2004, Стокгольм. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	442

IV

Аллан Майерс, ноябрь 2003 — сентябрь 2004. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	453
Дэниэл Уайссборг, февраль 2005, Лондон. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	477
Питер Франс, 6 января 2004, Лондон. <i>Перевод Анастасии Кузнецовой</i>	488
Майкл Скэммелл, 4 мая 2004, Лондон. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	499
Пол Киган, март 2005, Лондон. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	510
Роджер Страус, ноябрь 2003, Нью-Йорк. <i>Перевод Лидии Семеновой</i>	520
Именной указатель	528

Полухина В.

П 53 Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996—2005) — СПб.: «Журнал „Звезда”», 2006. — 544 с.

ISBN 5-7439-0105-8

Жизнеописание Иосифа Бродского не существует, несмотря на вполне закономерный интерес читателей к его личности и судьбе.

Книга «Иосиф Бродский глазами современников (1996—2005)» в известной степени восполняет этот пробел в истории культуры XX века.

Читатель видит поэта глазами его друзей, переводчиков, издателей из России, США, Англии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Израиля. В итоге создается широкая картина жизни Иосифа Бродского в разные периоды. Читатель получает представление о личности одной из самых ярких и загадочных фигур последних десятилетий русской и мировой культуры.

ББК 84.7США

Валентина Полухина

ИОСИФ БРОДСКИЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОКОВ

Книга вторая (1996—2005)

Корректоры *Н. В. Виноградова, Л. Н. Комарова*

Технический редактор *С. А. Шараев*

Менеджер издания *В. В. Рогушина*

Подписано в печать 12.01.2006. Формат 60×88¹/₁₆
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. п. л. 32,0. Уч. изд. л. 28,6. Тираж 5000 экз. Заказ № 5

Издательство журнала «Звезда».
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.

Отдел реализации (812) 273-37-24
Отпечатано с готовых диапозитивов в «ИПК «Бионт»»
199026, Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., 86.



Жизнеописание Иосифа Бродского не существует, несмотря на вполне закономерный интерес читателей к его личности и судьбе.

Книга «Иосиф Бродский глазами современников» в известной степени восполняет этот пробел в истории культуры XX века.

Читатель видит поэта глазами его друзей, переводчиков, издателей из России, США, Англии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Израиля. В итоге создается широкая картина жизни Иосифа Бродского в разные периоды. Читатель получает представление о личности одной из самых ярких и загадочных фигур последних десятилетий русской и мировой культуры.